Тип. им. Котлякова. 4 — 7 500 000. 1985 г. ЛГ-087-01-589.
Цена 0 р. 58 к. за 1000 шт.

ЖАН ЖОРЕС

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Том II

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПЕРЕВ. С ФРАНЦУЗСКОГО
А. М. ВОДЕНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Гиз № 5548 Главлит № 16724. Москва. Напеч. 4.000. экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.

I.

От одного собрания до другого. Крестьянское движение.

Выборы в Законодательное Собрание начались до от'езда короля. Они приостановились на несколько недель во время кризиса, а затем спокойно окончились. В каком виде представлялась тогда проблема избирателям и избираемым? И каким образом предстояло развиваться Революции, так сказать, освободившейся от величественной власти Учредительного Собрания? Рискуя замедлить изложение драматического хода событий, мы должны сперва выяснить, каково было в действительности настроение крестьянских масс, какие желания, какие жалобы высказывали земледельцы в первичных собраниях и на собраниях выборщиков, какой мандат дали они своим избранникам. Однако наказов не было, на выборах 1791 года не существовало, собственно говоря, даже программ, так что мы не можем воспользоваться, как для выборов 1789 года, подлинным выражением мысли крестьянской Франции. Но земледельцы, наверно, часто обсуждали с кандидатами вопросы, касавшиеся деревенской жизни.

Многие из новых депутатов были членами революционной администрации, муниципалитетов, окружных и департаментских управлений; многие из них были в то же время юристами. Поэтому они были хорошо осведомлены о тех затруднениях, которые могли встречаться при применении революционных законов, и знали, какие пробелы и недостатки, по мнению крестьян, слишком часто мешали этим законам оказывать желательное действие. Именно по поводу отмены феодального режима, столь торжественно провозглашенной декретами от 4-го августа 1789 года и столь несовершенно осуществленной декретом от 15 марта 1790 г., в деревнях обнаруживалось сильное разочарование, и не подлежит сомнению, что этот вопрос часто обсуждался в ежедневных многосложных беседах революционных администраторов с крестьянами, при чем новые депутаты, конечно, приняли на себя некоторые обязательства. Несомненным доказательством этого служит тот факт, что в апреле 1792 г., в тот самый момент, когда Законодательному Собранию пришлось заняться грозным военным кризисом, оно выслушало доклад своего комитета феодальных повинностей, предложившего, в интересах крестьян, глубокие изменения в законодательстве об этом предмете.

Каким образом ставился вопрос? Я постараюсь выяснить это, пользуясь книгою г-на Даниоля, а главное, превосходным трудом г-на Саньяка — «О гражданском законодательстве французской Революции» и на основании тщательного исследования документов, относящихся к законодательству.

В августе собрание об'явило, что все повинности, вытекающие из личной крепостной зависимости, отменяются безвозмездно, а остальные подлежат выкупу. Я тогда же упомянул, что уже с 4 августа статья о выкупе чрезвычайно затрудняла освобождение крестьян. Но в марте 1790 года само Собрание создало двоякое затруднение для этого освобождения. Во-первых, существовало множество личных повинностей, принявших форму денежных оброков. Дворяне, сеньеры освободили крепостных или избавили их от некоторых личных обязательств, но, в качестве вознаграждения за это освобождение, они потребовали или ежегодной уплаты поземельного оброка, или единовременных уплат, как, например, пошлин с продажи земельных участков, которые чиншевики обязаны были уплачивать при всяком переходе обложенных чиншем земельных участков из одних рук в другие. Казалось, что раз отменялась без вознаграждения личная крепостная зависимость, то и оброки, являвшиеся как бы продолжением и новою формою этой личной зависимости, должны были также быть отменены без вознаграждения.

Собрание решило иначе: оно включило их в категорию повинностей, подлежавших выкупу. Во-вторых, собрание сделало выкуп почти невозможным для крестьян, составив из всех повинностей, от которых разрешалось откупаться, одно нераздельное целое. Правда, Собрание, повидимому, освобождало крестьян, разрешив им выкупать все поземельные ренты и даже бессрочные аренды, напр., аренды участков, засаженных кустарниками, в местностях, расположенных по нижнему течению Луары, и бессрочные аренды, обычные в Провансе и Лангедоке. Однако крестьянин не мог выкупать поземельных рент, он не мог выкупать таких отягощавших его ежегодных повинностей, как чинш и полевой оброк, не выкупая *в то же время* и таких случайных повинностей, как пошлины с продажи земельных участков. Этим тормозилась вся выкупная операция. Во-первых, крестьянам трудно было найти денежные суммы, необходимые для выкупа всех этих повинностей сразу. Далее, если крестьянин мог в крайнем случае решиться немедленно пожертвовать известную денежную сумму, чтобы освободиться от повинности, которую пришлось бы немедленно уплатить и которая отягощала его ежегодно, то от него трудно было добиться, чтобы он затратил довольно значительную сумму для выкупа такой повинности, как пошлины с продажи земельных участков, уплата которых производилась лишь в некоторых случаях и могла предстоять в далеком будущем. Это было тем труднее, что крестьянин видел, как при великом революционном потрясении исчезло множество старых властей и старых повинностей. Поэтому с его стороны естественно было думать, что и другие обязательства могли быть уничтожены, что и пошлины с продажи земельных участков, в свою очередь, могли быть унесены волнением, и что он стал бы жертвой обмана, если бы заранее выкупил такую повинность, которая, может быть, вскоре была бы отменена безвозмездно.

Очевидно, Собрание, весьма почтительно относившееся к собственности во всех ее формах, даже и в феодальной, опасалось, что если бы крестьяне получили возможность сперва выкупать ежегодные повинности, не выкупая случайных, то они настолько почувствовали бы себя полными собственниками, что, когда приходилось бы вносить пошлины с продажи земельных участков, оказалось бы невозможным взимать их. Итак, оно предписало полный, нераздельный выкуп, т.-е. сделало выкуп невозможным, т.-е. фактически сохранило феодальный режим. В течение пяти лет одним из важнейших и интереснейших элементов революционной деятельности явятся именно колоссальные усилия крестьян добиться применения общего принципа, провозглашенного 4 августа.

Повидимому, великие историки Революции не обратили внимания на эту непрерывную революционную деятельность, на это давление, оказанное крестьянами на буржуазию. Мишле, при всем своем живом понимании экономи-

ческих интересов, проглядел эту глубокую борьбу. Луи Блан, невидимому, даже и не подозревал ее существования. При чтении его кажется, что в ночь 4 августа внезапно воссиял яркий свет и что Революция походила на откровение. Он игнорирует последствия декрета от 4 августа, вызванное им сопротивление, ту борьбу, которую пришлось выдержать крестьянам. Таким образом историки исказили для народа ход и смысл Революции. При чтении их казалось, что новое общество явилось сразу, как пенящийся источник. Однако даже в разгар революции, от 1789 до 1795 года, даже после принципиальной отмены феодального режима, феодальная собственность рушилась лишь по частям и благодаря ряду усилий.

Без упорной настойчивости крестьян феодальная система, может быть, отчасти все еще продолжала бы существовать, вопреки обворожительной ночи 4 августа. Экспроприация феодальной системы производилась по частям, даже в разгар Революции. Это—великий пример для нас, и он учит нас не пренебрегать частичными и последовательными экспроприациями капитализма. Хотя переворот и не совершился мгновенно, он все же остается революционным. Истинное революционное воспитание состоит в том, чтобы внедрять в сознание пролетариата реалистический смысл истории.

Одним из наиболее тягостных для крестьян пунктов декрета от 15 марта 1790 г. было то, что сеньеры могли продолжать взимать феодальные поборы, не будучи обязаны пред'являть доказательства действительной правомерности требований, пред'являемых ими к держателям. Достаточно было сорокалетней давности владения, и держателю приходилось доказывать, что с него взыскивают неосновательно. А доказать это было невозможно!

С весны 1790 г. обнаруживаются недовольство и раздражение. Выражалось множество протестов. Я заимствую текст некоторых из этих протестов из приложения к книге г. Саньяка, сделавшего из них выписки в национальных архивах. Вот, например, выдержка из протокола административного Собрания департамента Нижних Альп (заседание 29-го ноября 1790 года). «Г. Бернарди сказал: § 3-й, ст. 36-я закона от 15 марта гласит, что разногласия относительно существования повинностей или относительно частей поборов, перечисленных в статье первой, будут разрешаться на основании доказательств, допускаемых статутами, обычаями и правилами, соблюдавшимися до настоящего времени.

«Но по каким же правилам решались у нас эти важные вопросы? Относительно этого не существует ни положительного закона, ни ясного обычного права. Парламентская юрисдикция относительно этого, в самом деле, притеснительна; по свидетельству всех наших авторов, достаточно одной расписки, подкрепляемой тридцатилетней давностью, чтобы заменить первоначальный документ для церкви или для сеньера, имеющего право верховного суда, а от лиц, являвшихся лишь простыми непосредственными сеньерами, требовались две расписки; итак, сеньеру, имеющему право верховного суда, т.-е. именно такому сеньеру, который мог всего более притеснять, предоставлялось всего более удобств для присвоения не принадлежавших ему прав. Если теперь следует руководиться подобными правилами, то всякая узурпация оказывается неприкосновенною. Чем сомнительнее или химеричнее право владения, тем более умножалось число расписок (т.-е. формальных удостоверений держателей, которые часто вырывались у них угрозами). И всякий из прежних сеньеров принял соответственные предосторожности... Собрание представителей Венесенского графства, приняв декреты Национального Собрания относительно феодальных повинностей, устранило тот пункт, на который я имею честь вам указывать. Оно постановило, что первоначальный документ, на котором основано сохранение феодальных повинностей, может быть заменен лишь двумя расписками, предшествующими 1614 году.

«Нам непременно нужен подобный закон. Следует, чтобы он требовал для установления прав, не подкрепляемых первоначальным документом, такого же периода времени, который мог бы устранить всякие узурпации, если же какая-нибудь из них ускользнула бы, то нужно, чтобы она, так сказать, стала заслуживающею уважения, благодаря продолжительности того промежутка времени, в течение которого она укреплялась.

«Собрание, выслушав прокурора генерального синдика, постановило, что вышеизложенные соображения будут представлены Законодательному Собранию для того, чтобы оно издало распоряжение, согласно которому, когда прежние сеньеры не будут в состоянии пред'явить документа, обосновывающего их права, признанные лишь подлежащими выкупу, они могут заменять этот документ лишь двумя расписками, доказывающими существование третьей и предшествующими 1650 г.—Шампела, председатель».

Итак, земледельцы не требуют отмены повинностей без выкупа. Они еще не осмеливаются пред'являть такое требование; но многим сеньерам трудно было бы пред'явить документы, требуемые департаментом Нижних Альп, и феодальные повинности фактически исчезли бы.

Вот выдержка из протокола общего собрания г.г. администраторов департамента Кот-дю-Нор от 6 декабря 1790 года:

«Один из членов собрания выяснил, что суровость феодального режима увековечится и после его упразднения, если от прежнего вассала будут продолжать требовать, чтобы он непременно выкупал случайные повинности, а именно пошлины с продажи земельных участков, ленные подати, чтобы получить возможность выкупать ренты, признанные подлежащими выкупу статьею шестою декрета от 4 августа 1789 года, и чтобы он при этом платил и за других вассалов, за которых он был ответственен в силу круговой поруки. (Когда несколько прежних вассалов были ответственны круговою порукой за исправное внесение какого-либо побора, они не могли выкупать его каждый порознь, но требовалось, чтобы выкуп производился ими сообща, и это было лишнее затруднение.)

«Выслушав прокурора генерального синдика и будучи убежден в том, что Национальное Собрание всегда стремится к тому, чтобы все граждане пользовались его благодеяниями, Совет,

«*принимая в соображение, что благодеяния, вытекающие из уничтожения феодализма, оказались бы почти призрачными, пока лица, обязанные выплачивать прежние феодальные ренты, могут освобождаться от них, лишь выплачивая пошлины с продажи земельных участков, ленные подати, и выплачивая, кроме своей доли, еще и суммы, причитающиеся с других должников*,

«принимая в соображение, что против ограничений, уничтоживших благотворные последствия декрета от 6 августа, раздаются общие и обоюдные возражения, —

«постановил и постановляет, *поддерживая протесты, заявленные различными муниципалитетами и собранием избирателей*, поручить своей директории настоятельно ходатайствовать перед Национальным Собранием об издании декрета, дозволяющего каждому лицу, обязанному выкупать прежние феодальные ренты, уплачивать причитающуюся с него сумму так, чтобы он не был вынужден ни выплачивать долей других должников, ни сумм, причитающихся за выкуп пошлин с продажи земельных участков и ленных податей».

«Подписано председателем и генеральным секретарем».

И в данном случае дело идет не об отмене феодальных повинностей без выкупа, а об облегчении выкупа путем его раздела. Однако крестьяне, очевидно, негодовали. Для того, чтобы департаментское собрание, в котором господствовали буржуазные влияния, приняло такое постановление, нужно было, чтобы на него в самом деле оказали сильное давление деревенские муниципалитеты и собрания деревенских выборщиков. Уже в наказах 1789 года резкие требования крестьян были смягчены городской буржуазией. Вероятно, что и теперь буржуазные департаментские директории также придают наиболее умеренную форму энергическим требованиям, раздававшимся в деревенских муниципалитетах.

Администраторы округа Ио протестовали в том же смысле 15 ноября 1790 г. «Возможность выкупа, предоставленная собственникам ленов и земельных участков, с которых причитаются случайные поборы, является совершенно призрачною из-за чрезмерной высоты размеров выкупа посторонних и случайных повинностей, которые приходится выкупать вместе с постоянными повинностями; таким образом следы феодального режима становятся неизгладимыми; таким образом нация не должна надеяться на то, что будет произведен выкуп повинностей, причитающихся с находящихся в ее распоряжении государственных и церковных имуществ, и на то, чтобы воспользоваться теми капиталами, которые можно было бы получить благодаря этому, для ликвидации государственного долга. Наконец, нация обременена чрезмерными платежами, которые она обязалась производить прежним сеньерам, благодаря выкупу распродаваемых ею национальных имуществ. Так что и для нации и для собственников ленов и участков, с которых причитаются случайные поборы, одинаково важно, чтобы размеры денежных сумм, требуемых для выкупа случайных повинностей, были понижены».

Администраторы округа Ио стараются связать в этом вопросе интересы государства с интересами чиншевиков. Церковь, поземельную собственность которой захватила Революция, обладала не только землею, но также и феодальными правами, которых государство не могло продать, так как размеры сумм, требуемых для их выкупа, оказались слишком высокими. Кроме того, и обратно: феодальные повинности тяготели на церковных имуществах. Государство не могло распродавать этих имуществ, не освободивши их предварительно от вышеупомянутых феодальных повинностей, и ему приходилось выкупать их по очень высокой оценке. Таким образом протесты раздавались со многих сторон и во многих формах. Но крестьяне не ограничивались протестами, они сопротивлялись, и это сопротивление очень беспокоило революционные административные власти, часто весьма умеренные, и приводило в сильное негодование буржуазию.

12 января 1791 года депутат от Перигора Луа составил доклад о смутах в Перигоре, Керси и Булони.

«Все крестьяне отказываются платить ренты, они собираются толпами, образуют союзы, постановляют, чтобы никто не платил рент, а если кто-нибудь станет платить их, то он будет повешен. Они врываются в дома сеньеров, духовных особ и других зажиточных людей; производят там опустошения, отбирают доли рент, полученные некоторыми раньше; заставляют лиц, продавших взысканный хлеб, выдавать им расписки и обязательства, или утверждают, что были уплачены пошлины с продажи земельных участков и другие поборы, которых не следовало взимать. Кроме того, все эти насилия и непосредственно вытекающие из них неудобства мешают владеющим ленами сеньерам, не знающим, на что им рассчитывать, составлять свои заявления и выплачивать свои патриотические взносы; очень желателен был бы такой декрет, который мог бы вернуть спокойствие этим провинциям. Один дворянин, которому было более восьмидесяти лет от роду, подвергся в своем замке нападению со стороны толпы

крестьян, которые начали с того, что поставили у главного входа виселицу. Это так взволновало сеньера, что он скоропостижно умер». Весьма умеренные, весьма буржуазные администраторы департамента Ло выражают сильное беспокойство.

Они пишут Национальному Собранию из Кагора 22-го сентября 1790 года: «Господа, вот уже несколько дней, как наши заседания беспрестанно прерываются удручающими известиями, приходящими из деревень нашего департамента. Беспокойство, овладевшее нами при приближении обычного срока взимания рент, оказалось весьма основательным, и мы тщетно старались предотвратить те смуты, которых мы опасались.

«Желая побудить сельское население к выполнению им своих обязанностей, мы старались заставить его внять требованиям разума и закона; такова была цель нашей прокламации от 30 августа. Эта прокламация вызвала признательность хороших граждан, а для злонамеренных людей она послужила поводом к коварнейшим инсинуациям и к движениям, вызывающим сильнейшую тревогу. В одних местностях муниципальные чиновники не осмеливаются прочесть эту прокламацию, в других им не дают дочитать ее, а в некоторых местностях они не могут прочесть ее вторично. В одном муниципалитете приходского священника, прочитавшего эту прокламацию, принудили сказать, что прокламация подложна, что она не исходит от директории, в других местностях народ возвращается к насаждению маиса, к этому однообразному сигналу мятежей, от которых страдала часть королевства в начале года; во многих местностях ставят виселицы для тех, кто станет платить ренты, и для тех, кто станет взимать их. Умереннейшие отказываются платить до тех пор, пока они, как они говорят, не проверят текста первоначальных документов; собственники ленов нигде не осмеливаются требовать причитающихся им земельных оброков. И все эти смуты разразились недалеко от нас, господа, недалеко от администрации. У ворот того города, где происходят наши заседания, в одной из деревень Кагорского кантона недавно была поставлена виселица, были прибиты зажигательные листки.

«Эта виселица стояла, эти листки оставались прибитыми, эти мятежные движения продолжались целый день, причем местный муниципалитет не принимал против всего этого никаких мер. Нас уведомил об этом соседний муниципалитет, потребовавший от нас помощи, и листки были удалены, виселица была сломана лишь тогда, когда стали грозить мэру и прокурору коммуны и когда они узнали о приближении национальных гвардейцев и линейных войск, шедших, по нашему требованию, с величайшим усердием для восстановления общественного спокойствия и охраны собственности и личной безопасности.

«Всего более удручает нас, господа, и особенно усиливает опасность этого зла то обстоятельство, что в некоторых местностях муниципальные чиновники являются или тайными зачинщиками, или соучастниками, или равнодушными свидетелями тех смут, картину которых мы принуждены изобразить вам. И мы осмеливаемся сказать: чего же можно было бы ожидать, господа, от столь слабых, столь невежественных корпораций, столь мало склонных подчинять всякие частные интересы интере-

сам общественным, одним словом, до такой степени неспособных выполнять свое великое назначение, как те, какими оказывается большая часть деревенских муниципалитетов».

Этот адрес, насквозь проникнутый буржуазной тревогой, весьма интересен. Во-первых, он свидетельствует об интенсивности крестьянского движения, направленного против продолжавшего существовать феодального режима. Дело не в том, чтобы в самом деле совершались насилия. Несмотря на виселицы и листки, из которых историк школы Тэна может извлечь ужасающие картины, в этом возмущении нет ничего такого, что походило бы на убийственную жакерию; насилию не подвергся ни один дворянин, и чтобы растрогать нас, пришлось рассказывать о том, что один восьмидесятилетний дворянин умер от волнения.

Фактически, крестьяне действовали, главным образом, силою инерции, соглашением отказываться от уплаты феодальных рент.

Но всего замечательнее содействие, оказываемое им муниципалитетами. С каким презрением и с каким негодованием буржуазные члены департаментской Директории, из которых некоторые владели документами, дававшими право на взимание феодальных рент, говорят об этих крестьянских муниципалитетах, придававших реальный смысл призрачным декретам от 4 августа.

Крестьяне сопротивлялись и в парижском районе. 8 сентября 1790 года Директория департамента Сены и Марны пишет Национальному Собранию: «Директория Сены и Марны спешит уведомить вас о прекращении беспорядков, вызванных в Нэмурском округе отказом вносить десятины и полевые оброки; она охотно выражает пред вами заслуженную признательность Нэмурской Директории, г-ну де-Шато-Тьери, начальнику парижской гвардии, г.г. де-Монтальбану Дюфренуа, Деларошу и де-Сертаману, офицерам линейных войск. Их деятельность, благоразумие и искусство выше наших похвал, и, несмотря на сперва оказанное им упорное сопротивление, им удалось заставить крестьян вносить полевые оброки в большей части заблуждавшихся приходов».

Но сопротивление крестьян возобновлялось и все усиливалось из года в год, в особенности всякий раз, когда приближался срок сбора податей, а именно феодальных поборов.

Учредительное Собрание, нетерпеливо переносившее агитацию летом и осенью 1790 года, хорошо поняло, что летом 1791 года предстояло возобновление борьбы, и в июне месяце, а именно 15-го, как раз через день после того, как оно вотировало закон, предложенный Шапелье, оно одобрило нижеследующую инструкцию, при последовательном применении которой сохранился бы феодализм: «Инструкция Национального Собрания относительно полевых оброков, чинша, пошлин с продажи земельных участков, ленных податей и иных прежних сеньериальных поборов, признанных подлежащими выкупу декретом от 15 марта 1790 года, утвержденным королем 28 числа того же месяца».

Прежде всего члены Учредительного Собрания заявляют крестьянам, что, уничтожая феодальный режим, они желали охранять индивидуальную свободу, но никоим образом, ни прямо, ни косвенно, не посягнули на собственность. «Уничтожением феодального режима, провозглашенным на заседании 4 августа 1789 года, Национальное Собрание выполнило одну из важнейших задач, возложенных на него верховною волей французской нации; но ни французская нация, ни ее представители не имели в виду нарушить этим священные и неприкосновенные права собственности.

«Итак, признав решительнейшим образом, что ни один человек никогда не мог стать собственником

другого человека, а, следовательно, права, присвоенные одним человеком над личностью другого, никогда не могли стать собственностью первого, Национальное Собрание в то же время точнейшим образом сохранило все выгодные для сеньеров права и повинности, поводом к возникновению которых послужили пожалования земельных участков, и только разрешило выкупать их».

Таким образом, откровенно говоря, Собрание, несмотря на свою тщеславную и почти бессодержательную декларацию от 4 августа, собственно, уничтожило вовсе не феодальный режим. Оно не отменило совокупности тех денежных повинностей, которые отягощали крестьянскую собственность в пользу сеньеров. Оно просто уничтожило существовавшие в обществе остатки рабства, в собственном смысле, крепостного состояния, личной крепостной зависимости. Но давно, уже благодаря самому прогрессу национальной жизни, благодаря все возраставшей подвижности людей и изменчивости интересов, эта непосредственная, личная крепостная зависимость исчезла, и уже в течение ряда веков она могла продолжаться, лишь скрываясь и принимая форму договора, при чем почти везде видимая и, так сказать, материальная цепь рабства, или крепостной зависимости, была заменена узами денежного поземельного оброка, и сеньеры благоразумно придали своей эксплоатации и старинному притеснению новый характер буржуазного права, а потому труд Учредительного Собрания в действительности был напрасен. Оно вырывало из земли несколько тощих забытых корней рабства и крепостной зависимости, но феодальное дерево, с его почти бесконечными разветвлениями в виде денежных повинностей, продолжало держать в своей тени крестьянское поле. Отсюда вытекало неустранимое недоразумение между юристами буржуазного Собрания и крестьянами-революционерами.

Собрание должно было признаться самому себе и заявить всем, что феодальная собственность, даже когда она применилась к юридическим формам новой жизни, являлась устарелою и вместе с тем притеснительною, что она стесняла необходимое развитие полной крестьянской собственности, и что следовало отменить феодальную собственность, рискуя затронуть даже и буржуазную собственность там, где она соединялась с феодальной.

Таков был непреодолимый инстинкт крестьян. Но доктрина Собрания была совершенно противоположна ему, и оно истощало свои усилия, стараясь доказать крестьянам, что они восставали под влиянием контр-революционных происков или подстрекательств. Ребяческий вымысел!

Оно также истощало свои усилия в доносах на деревенские муниципалитеты, представлявшие собою естественный орган крестьянского освобождения. Оно заявляет: «раз'яснения, данные относительно этого предмета декретом от 15 марта 1790 г., повидимому, должны навсегда восстановить в деревнях спокойствие, нарушенное в них ложными истолкованиями декрета от 4 августа 1789 г. Но и сами эти раз'яснения или упускались из виду или извращались во многих местностях королевства. Нужно сказать, что две причины, огорчающие друзей конституции и, следовательно, общественного порядка, способствовали и все еще способствуют распространению заблуждений относительно этого важного предмета.

«Первая из этих причин — то обстоятельство, что деревенские жители так легко дали вовлечь себя в смуты, к которым их подстрекали сами враги Революции, убежденные в том, что не может существовать свободы там, где законы бессильны, и что всегда можно наверно поработить народ, сумев увлечь его за пределы, установленные законами.

«Второй причиной является поведение некоторых административных собраний. Конституция обязывает их обеспечить сбор полевых оброков, чинша и других

повинностей, причитающихся нации. Некоторые из этих административных собраний проявили по отношению к этой части своих функций нерадивость и слабость, вызвавшие и участившие со стороны лиц, обязанных платить государству, отказы платить, а, под влиянием столь пагубного примера, среди лиц, обязанных платить эти оброки частным лицам, развился дух неповиновения, алчности, несправедливости».

Эти жалобы раздраженного Собрания свидетельствуют о революционной и народной силе муниципальной жизни.

В городах некоторые первичные собрания секций призывают бедняков-рабочих к общественной жизни, от участия в которой они были отстранены законом, а в деревнях муниципалитеты часто становятся соучастниками, покровителями крестьянского бунта, против буржуазного закона, являвшегося опорою старой феодальной системы. Отмечаю здесь одну черту, повидимому, ускользнувшую от внимания г. Саньяка.

Закон предоставил муниципалитетам возможность покупать у государства национальные имущества и заведывать ими, пока они не перепродадут их частным лицам. Многие муниципалитеты пользовались этим заведыванием для того, чтобы подать пример полного уничтожения феодальных повинностей.

В состав церковных имуществ входили феодальные права, поземельные ренты, полевые оброки. Крестьянские муниципалитеты, приобретавшие эти права, систематически воздерживались от пользования ими. Они не взыскивали с крестьян поземельных рент, которые последние обязаны были платить на основании феодальных документов. Таким образом они создавали грозный прецедент, некоторого рода юриспруденцию, сводившуюся к полной отмене этого рода платежей, применявшуюся затем крестьянами к оброкам, которые они были обязаны платить частным лицам.

В этом обнаруживается совершенно неожиданный результат действия закона, призывавшего муниципалитеты к участию в продаже национальных имуществ: таким образом народ возбуждался в бесчисленных центрах муниципальной жизни, и старое феодальное право втайне отменялось, несмотря на попытки буржуазных юристов упрочить его. Что могли сделать, в конце концов, буржуазные собрания против этих бесчисленных и упорных крестьянских усилий, подтачивавших феодальную систему?

Учредительное Собрание тщетно возвышает голос, в котором начинают слышаться угрозы:

«Пора, наконец, прекратить эти беспорядки, если не хотят, чтобы Конституция, осуществление которой они расстраивают и задерживают, погибла в колыбели. Пора гражданам, труд которых оплодотворяет поля и кормит государство, вернуться к выполнению своих обязанностей и относиться к собственности с надлежащим уважением».

Этот призыв был бесполезен: ведь юридические правила, намечаемые Собранием, слишком резко противоречат инстинкту крестьян, их надеждам и той идее, которую они вдруг составили себе о смысле декрета от 4 августа.

В самом деле, Собрание не ограничивается напоминанием о том, что все феодальные повинности должны продолжать существовать до выкупа, когда они представляют пожалование земли, некогда произведенное собственником-сеньерам держателям. Оно чрезвычайно энергично утверждает, что сеньер будет считаться произведшим это пожалование земельного участка, пока держатель не представит доказательства противного.

«Этот параграф (§ 2-й статьи II закона от 15-го марта) относится к повинностям троякого рода, а именно: к постоянным повинностям (как, например,

поземельная рента, выплачиваемая ежегодно), к случайным повинностям, которые должны выплачиваться при переходе земельного участка из одних рук в другие, и к случайным повинностям, которые должны выплачиваться как при переходе земельного участка из одних рук в другие, так и при переходе его от одного сеньера к другому. (Такова была в действительности совокупность поборов, тяготевших на крестьянах.) Общею чертою этих троякого рода поборов является то, что они никогда не носят личного характера, но вытекают исключительно из обладания обложенными ими земельными участками. Этот параграф устанавливает относительно вышеупомянутых прав два общих предписания.

«Во-первых: в руках владельца (владение которого носит все признаки, указываемые в старых законах, обычном праве, статутах или правилах и удовлетворяет всем условиям, требуемым ими относительно этого) эти права считаются представляющими собой вознаграждение за первоначальное пожалование им земельного участка.

«Во-вторых, это предположение может быть устранено доказательством противного; но представить это доказательство противного должно лицо, обязанное платить поборы, если же оно не может сделать это, то легальная презумпция восстановляется в полной силе и обязывает его продолжать производить платежи...»

Это означало осуждение крестьян на вечные времена. Ибо каким образом они могли бы представить доказательство противного? Отрицательное доказательство всегда трудно представить. Сеньер же был освобожден от обязанности представить положительное доказательство. Он освобождался от пред'явления первоначального документа, в силу которого его предки пожаловали земельный участок за вечный и феодальный оброк.

Для сеньера владение было равносильно документу. Каким образом мог бы крестьянин его опровергнуть? Каким образом мог бы он установить, что первоначально, в темной и глубокой дали веков, его бедные предки не получили этих земельных участков от сеньера, но были вынуждены нести феодальные повинности или потому, что сеньер одолжил им денег и, злоупотребив своим положением в качестве заимодавца, связал их цепью неопределенной вассальной зависимости, или просто потому, что сеньер подверг их насилию и угрожал им, или, наконец, потому, что они были рабами и крепостными, и феодальная повинность представляет собою выкуп за их свободу?

Требовать от крестьян, чтобы они таким образом рассказали с начала мрачный ход истории, значит требовать от булыжников, медленно размываемых водами, чтобы они указали неведомый источник ручья.

Еще и теперь между учеными, напр., Фюстель-де-Куланжем и Вайцем, существует разногласие относительно самого возникновения феодальной системы. Представляет ли она собой некоторого рода обеспечение военных иерархий земельными участками, является ли она преобразованием большого галло-римского поместья? История не решается дать ответ; каким же образом могли бы ориентироваться крестьяне? Каким образом они могли бы доказать, что их предки были вполне крепостными, и что они согласились на вечные времена платить поземельные оброки исключительно для того, чтобы освободиться от этой крепостной зависимости?

Тем не менее, от крестьянина требовали именно этого доказательства, чтобы освободить его от тяготевшего на нем векового бремени.

«Когда, в результате доказательства, пред'явленного лицом, обязанным платить поборы, обнаружится, что поборы не представляют собою ни вознаграждения за пожалование земельного участка, ни возмещения давно полученной денежной суммы, но являются лишь результатом насилия или

узурпации или, что сводится к тому же, выкупом прежней чисто личной крепостной зависимости, они, несомненно, должны быть просто безвозмездно отменены».

Опять-таки, ставить освобождение крестьянина в зависимость от подобного доказательства было насмешкой.

Однако в тот самый момент, когда Собрание отягощало земледельца, оно, повидимому, весьма приближалось к принципу, который мог бы освободить его. Ибо, если земледелец должен быть избавлен от обязательств, представляющих собою выкуп за освобождение от личной крепостной зависимости или результат насилия, то кто же не видит, что все феодальные договоры в их совокупности об'ясняются личною крепостною зависимостью, насилием? Нелепо допускать, что деревенское население приняло бы на себя эти тяжкие обязательства на бесконечный ряд веков, если бы оно не находилось под давлением крепостной зависимости или насилия.

Стоило Собранию об'явить, что первоначально крестьянский класс был непременно принужден насилием,—и все феодальное построение рухнуло бы. Но Собрание не решается на это великое историческое утверждение, которое целиком освободило бы крестьянский класс; Собрание не осмеливается сделать это. Оно требует, чтобы каждый крестьянин в отдельности пред'являл прямое доказательство того, что тяготевшие на нем повинности возникли вследствие особых актов насилия и вымогательства.

И вот крестьяне навсегда осуждены носить цепи, потому что они не могут найти первого кольца этих цепей, анализировать, из какого металла оно было сделано, и, так сказать, нарисовать тот молот, которым оно было выковано.

Кроме того, Собрание об'являет, что, в случае тяжбы, относительно существования какой-нибудь повинности или доли какого-нибудь побора, судьи должны, несмотря на тяжбу, предписывать временную уплату поборов, хотя и оспариваемых, но обычно выплачиваемых.

«Но в каком случае поборы, ныне признаваемые, должны считаться обычно выплачиваемыми? Общее правило, имеющее за собою вековую давность и установленно юриспруденцией, основанной на чистейшем разуме, таково, что когда дело идет о поземельных оброках, равно как и о материальных недвижимостях, владение в течение предыдущего года должно, за исключением всех местных правил, которые могли бы этому противоречить, временно обусловливать владение в текущем году. Но это правило имеет силу лишь тогда, когда взимание или неуплата не является следствием насилия, а, к несчастью, лишь насилие, фактически произведенное или возвещенное угрозами, освободило за два года большое число лиц от уплаты полевых и иных оброков. Поэтому Национальное Собрание нарушило бы основные требования справедливости, если бы оно не постановило, что оно и делает ныне, что, обычно выплачиваемыми в смысле декрета от 18 июня 1790 года и для предмета, к которому относится этот декрет, следует считать все те поборы, которые выплачивались и вносились или в год посева на полях, предшествовавший 1789 году, или в течение самого 1789 года, или в 1790 году».

Итак, Собрание уничтожало все последствия восстания крестьян. Кроме того, оно постановило, что крестьяне, конечно, могут требовать от сеньеров пред'явления документов, но что это пред'явление должно происходит в самих архивах.

«Вассалы, держатели и чиншевики никогда не могли требовать, чтобы им вручались в собственные руки и доверялись их добросовестности документы, уничтожение которых было бы для них в высшей степени выгодно».

Наконец, предложив муниципалитетам взыскивать феодальные поборы, причитавшиеся с национальных имуществ, Учредительное Собрание напоминает

Директориям департамента, что они, равно как и муниципалитеты, имеют право вызывать войска. Таким образом Учредительное Собрание возлагает охрану феодальной собственности, которой угрожают крестьяне, на городскую буржуазию.

После этого документа мало осталось от декретов от 4 августа. В некоторых местностях уже начались выборы в Законодательное Собрание, когда появился этот консервативный манифест Учредительного Собрания. Повидимому, он предназначался не только для предотвращения беспорядков, которые могли возобновиться в пору жатвы, но и для воздействия на избирателей. Не подлежит сомнению, что он живо обсуждался на собраниях избирателей. Крестьяне не дали ни убедить, ни запугать себя. Продолжались протесты, то сопровождавшиеся насилием, то легальные. 7 августа 1791 г. директор департамента Сены и Марны пишет:

«Возобновляются беспорядки по поводу взимания полевого оброка. Серьезные беспорядки происходят в Ишейском приходе в Бомонском кантоне: там, прибегая к насилиям, сопротивлялись всякой попытке взимания полевого оброка».

15 декабря 1791 г., через несколько недель после того как открылись заседания Законодательного Собрания, активные гражданские коммуны Лурмария (Устья Роны) пишут Собранию:

«Прошел двадцать один месяц с тех пор, как издан закон относительно феодального режима, и не выкупился никто из лиц, обязанных выплачивать ненавистные, связанные с ним поборы. Мы осмеливаемся предсказать вам, что, если Национальное Собрание не разрешит нам выкупать такие постоянные повинности, как полевые оброки, отдельно от случайных поборов или пошлин с продажи земельных участков, то население, подверженное этому ужасному режиму, будет мертво для свободы еще и через тысячу лет.

«Учредительное Собрание лишь намеревалось освободить деревни от этого чудовища, но у него не было средств сделать это, так как в его среде были дворяне-дельцы, защищавшие чудовище своими интригами и своим молчанием, а члены Собрания, искренно желавшие уничтожить чудовище, не знали, в каком месте следовало поразить его. Они лишь наметили общий план нападения, который был принят, как достаточный; чудовище же, неуязвимое во всех пунктах, кроме одного, осталось победителем после всех пущенных в него бессильных стрел.

«Учредительное Собрание почти сплошь состояло из горожан, города же лишь в слабой степени зависят от верховной ленной власти, а деревни, терзаемые полевыми оброками, пошлинами с продажи земельных участков, чиншами, сеньерами, агентами, фермерами, сторожами были забыты; никто не говорил в их пользу.

«И что же! Законодатели, эта все еще всемогущая шайка продолжает держать деревенских жителей в оковах. Эти бывшие сеньеры, их агенты и нынешние фермеры, в союзе с неприсягнувшими священниками и с фанатиками всех рангов, убивают революционное усердие простых и невежественных земледельцев, заставляя их бояться восстановления старого порядка вещей и, вместе с тем, мщения со стороны бывших дворян тем лицам, которые проявят себя сторонниками общественного дела.

«Но мы с наслаждением и с восторгом возвещаем, что уничтожение феодального режима будет смертельным ударом для аристократов. В надежде восстановить этот режим, они эмигрируют, устраивают заговоры и суетятся во всех

направлениях. Вы более, чем когда-либо, почувствуете, что свобода и феодальная система несовместимы, и что половина государства, и притом драгоценнейшая часть населения, так как она кормит остальную часть, стонет под гнетом этого ужасного режима. При таком положении дел Революцией стали бы дорожить лишь отчасти, и Конституция оказалась бы не вполне устойчивою, если бы вы не облегчили выкупа феодальных повинностей в большей степени, чем это было сделано до сих пор».

Тактика сторонников полного уничтожения феодальной системы намечается: они говорят Законодательному Собранию, что контр-революционная деятельность дворян и непокорных священников будет иметь решающее значение в деревнях, если немедленное уничтожение феодального режима не вызовет в крестьянах привязанности к Революции.

Крестьяне искусно пользуются затруднениями и опасностями, угрожающими революционной буржуазии, для того, чтобы, несмотря на ее нежелание, принудить ее к уничтожению всей феодальной системы. Собственно говоря, они, повидимому, еще требуют лишь больших облегчений для выкупа, но их тон, если так можно выразиться, резче их слов; в сущности же, они хотят полного уничтожения феодальной системы и начинают на него надеяться.

4 января 1792 г. Шатобриансний округ (Нижняя Луара) подает Законодательному Собранию подписанную многими петицию, при чем на этот раз земледельцы восстают против самого выкупа.

«Неужели несчастному вассалу придется продать часть небольшого наследия своих отцов для того, чтобы избавить остальную часть от рабской зависимости и притеснений?» Но кому же может он продать эту часть своего наследственного достояния? Так называемым сеньерам, этим старинным тиранам; благодаря уплате им феодальных поборов, они одни окажутся обладателями всех французских денег, все богатства Франции окажутся в их распоряжении.

«Благодаря этому, их богатства, которыми они гордятся, утроятся, они расширят свои владения и станут собственниками всего; наконец, благодаря этому, они сделают еще более тяжким иго старинного рабства, от которого некогда стонали наши предки, и за которое мы продолжаем краснеть. Таков, господа, общий крик, раздающийся в деревнях и в городах Шатобрианского округа, да и во всей Франции».

Вот, наконец, затронут пункт, имеющий решающее значение, и на этот раз смелое спасительное слово опять раздалось из Бретани. Коммуна Капль-Бирон (Ло и Гаронна) пишет Законодательному Собранию 20 марта 1792 г.

«Рента и другие феодальные поборы, сохраненные и признанные подлежащими выкупу декретом от 15 марта 1790 г., утвержденным 28-го, были бы весьма способны вызвать гражданскую войну, если Национальное Собрание не примет благоразумных мер, изменяющих как величину ренты, так и способ выкупа, установленный декретом Учредительного Собрания.

«В самом деле, что побуждает человека, живущего в обществе, к повиновению законам и к их соблюдению? Лишь оказываемая им и ему защита как в отношении его личной безопасности, так и в отношении обладания им своею собственностью и пользования ею.

«Но если недоимки, накопившиеся, благодаря обстоятельствам, с 1789 г., поглотят на большей части земельных участков, принадлежавших бывшим сеньерам, ценность самих участков, плательщики, видя, что их лишают всего их имущества или, что почти то же самое, если бы им пришлось уплачивать настолько чрезмерную ренту, что, несмотря на все старания, прилагаемые ими

при обработке земли, их доходы с земельных участков оказались бы недостаточными для уплаты этой ренты, то они, несомненно, противопоставят силу силе и им ничего не будет стоить пожертвовать своей жизнью.

«Затем коммуна требует, чтобы сама нация взяла на себя выкуп рент».

Очевидно, что терпение крестьян истощилось: они повсюду желают безусловного освобождения от феодальных обязательств. Сеньеры или не получат вознаграждения, или получат его от нации. Крестьянин отказывается платить феодальные ренты, он отказывается и выкупать их и во всеуслышание об'являет, что станет защищаться силою.

Это движение не могло не смутить новых депутатов, и все эти прокуроры, все эти адвокаты, все эти администраторы, будучи избраны, наверно, с первого же дня старались подыскать юридические уловки, при посредстве которых они могли бы придать экспроприации сеньеров наружный вид законности.

Феодальный комитет был назначен в самом начале заседаний Законодательного Собрания, и в нем уже не господствовало консервативное, верное традициям влияние Мерлена большинство. На вопрос был поставлен с трибуны Законодательного Собрания еще прежде, чем феодальный комитет представил свой доклад. Я полагаю, что впервые поднял этот вопрос Кутон, пылкий друг Робеспьера. На заседании 29 февраля 1792 года он сказал:

«Я прошу Собрание выслушать некоторые соображения, которые я считаю нужным ему представить; хотя они и не относятся к очередному порядку, они чрезвычайно важны».

Собрание решило выслушать его, и Кутон основательно вник в искусную тактику крестьян. Он доказал, что великие внутренние и внешние опасности, грозившие Революции, требовали, чтобы она для общественного спасения непременно обеспечила себе преданность земледельцев.

«Господа, может быть, приближается тот момент, когда нам предстоит, с оружием в руках, защищать нашу свободу против об'единенных усилий тиранов. Мы сохраним ее; сомневаться в этом было бы преступно; великий народ, твердо желающий быть свободным, всегда окажется непобедимым; он или сокрушит своих врагов, или оставит им, в качестве плода их завоеваний, лишь пустыни и пепелище...

«... Проникнемся сознанием наших сил, но в то же время постараемся упрочить, определить, направить их...

«... У нас есть внушительная армия, состоящая как из линейных, так и из национальных войск; но я осмеливаюсь предсказать, что эта армия надлежащим образом выполнит наши ожидания, лишь поскольку ее сила и сила нации составят единое целое, и благонамеренный народ об'единится с нею в намерениях и, если нужно, в действиях.

«Итак, Национальное Собрание должно постараться пробудить эту моральную силу народа, более могущественную, чем сила армии; это—общее мнение, столь существенное для порядка и для счастья всех, и прежде всего оно должно обеспечить себе поддержку этой моральной силы и этого общего мнения.

«До сих пор вам предлагали, как единственное средство, лишь обращения к народу. Я отнюдь не осуждаю этого средства; но, по моему мнению, эта мера имеет лишь второстепенное значение. Мое средство в ином роде: хотят просвещать народ, а я желал бы ему помочь; хотят речами вызвать в нем привязанность к Революции, а я желал бы вызвать в нем эту привязанность справедливыми и благотворными законами, так чтобы народ, всегда помня о них, не переставал дорожить правами и обязанностями гражданина.

«Из многих поводов, которые могут представиться для издания *популярных законов*, я выберу один, который, по моему мнению, не может вызвать больших затруднений. Каждый из нас был очевидцем той достопамятной ночи 4 августа 1789 года, когда Учредительное Собрание, чистое на своей утренней заре, со святым энтузиазмом провозгласило уничтожение феодального режима. За этот превосходный декрет оно заслуживает признательности народа, в особенности сельского населения, столь драгоценного и столь долго игнорируемого. Если бы, оставаясь последовательным, Учредительное Собрание благоговейно памятовало об этом законе и тщательно руководилось им в изданных им впоследствии законах, относящихся к частностям, оно всегда заслуживало бы лишь уважения и благодарности.

«*Но вскоре выяснилось, что эти громкие постановления оказались для народа лишь прелестным сном, вызвавшим в нем иллюзию, от которой у него осталось только разочарование.*

«Декрет, изданный 4 августа 1789 года и вызвавший восторг во всех частях государства, уничтожил, в *неопределенной форме*, феодальный режим, а через 8 месяцев после этого второй декрет сохранил *все выгодное* для сеньеров в этом режиме, так что, не принеся никакой пользы народу, Учредительное Собрание не оставило ему даже утешительной надежды на возможность когда-либо освободиться и от деспотизма бывших сеньеров и от вымогательств их агентов.

«В самом деле, господа, вы понимаете, что, в сущности, не почетные привилегии, существовавшие при феодальном строе, отягощали народ. Эти привилегии, несомненно, оскорбляли, унижали, позорили его, лишая его положения, свойственного всем людям, и унижали равенство, установленное природой.

«Однако наиболее обременительными для народа оказывались такие, выгодные для бывших сеньеров, поборы, как *чинш, оброки, сеньеральные ренты, полевые оброки, пошлины с продажи земельных участков, ленная подать* и другие поборы того же рода, причинявшие более существенный вред народному благосостоянию. Но все эти поборы были сохранены декретом Учредительного Собрания от 15 марта 1790 г.».

Кутон заявляет, что он не имеет в виду требовать отмены всех этих поборов без различия. Он разделяет их на две категории: существуют недавние права, основанные на документах и в самом деле вытекающие из уступки земельных участков сеньерами: эти права следует уважать. Но все старинные права представляют собой лишь узурпацию сеньеров, чудовищное применение их мнимого права собственности на всю землю.

«То, что я сказал о претензии бывших сеньеров на обладание всем, можно доказать множеством примеров, относящихся к тому, что и теперь еще происходит в большей части наших департаментов. Я ограничусь указанием на мой департамент (Пюи-де-Дом), в котором можно найти бесчисленное множество таких деревень, где сеньеры все еще пользуются правом всем владеть и все жаловать только потому, что они сеньеры; поэтому все им принадлежит; *несчастный человек, у которого нет других рессурсов, кроме его рук, у которого нет ничего, кроме лопаты*, лишен возможности пользоваться ими исключительно для удовлетворения своих потребностей. Природа предоставляет ему неблагодарную, заброшенную почву с сотворения мира покрытую ужасными скалами.

«И что же! Если он пожелает оплодотворить своим трудом эту часть *великого общего наследия*, то его бывший сеньер появляется в момент жатвы, чтобы отобрать от него четвертую или, по крайней мере, пятую долю урожая. Он делает это в силу своего мнимого права на обладание всем, из

которого он выводит молчаливое согласие несчастного землевладельца на это».

Учредительное Собрание не только не уничтожило этих несправедливых поборов, но организовало их выкуп таким образом, что он стал невозможен.

«Первое из этих постановлений гласит, что нельзя выкупить постоянных повинностей, не выкупая в то же время и случайных поборов.

«Второе удерживает круговую поруку между лицами, обязанными уплачивать эти сохранившиеся поборы».

Кутон ограничивается тем, что призывает Законодательное Собрание изменить эти два пункта.

«Господа, пора изменить эти постановления, оказывающиеся столь недействительными, столь несправедливыми, столь неблагоразумными в политическом отношении, столь неконституционными. Я выражаю вам требование народа, внося определенное предложение декретировать:

«Во-первых, что всякое лицо, обязанное выплачивать сохранившиеся прежние сеньеральные поборы, может производить их частичный выкуп, так чтобы нельзя было в силу круговой поруки заставлять его уплатить более причитающейся с него доли. Сохранившимися же и подлежащими выкупу будут считаться лишь те из упомянутых повинностей, которые будут удостоверены обосновывающими их документами, свидетельствующими о непрерывной уплате поборов, или, по меньшей мере, тремя последовательными расписками, равным образом свидетельствующими о непрерывном платеже поборов, при чем в старейшей из этих расписок должно содержаться упоминание о документе, удостоверяющем пожалование;

«во-вторых, принудительный выкуп случайных поборов будет совершаться лишь в том случае, когда, по окончании выкупа постоянных поборов, произошел бы действительный переход собственности из одних рук в другие путем продажи или акта, равносильного продаже».

Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что в словах Кутона о крестьянине, у которого нет ничего, кроме его рук и его лопаты, и который желал бы свободно обрабатывать часть великого общего наследия, слышится новый и более глубокий тон, чем в речах членов Учредительного Собрания. Настанет день, когда человек, произносящий эти слова, не поколеблется дойти до полного уничтожения поборов без выкупа. Но, на первых порах, он формулирует более осторожные предложения. В конце своей речи он снова связывает интересы крестьян с широкими интересами Революции.

«Желаете ли вы, господа, обеспечить: быструю уплату податей, повысить втрое курс бумажных денег, убить ажиотаж, принять действительные меры против беспорядков, имеющих будто бы религиозный характер, расстроить все планы злонамеренных людей, одним словом, довершить Революцию? Издайте подобные законы; позаботьтесь о народе; вы обязаны сделать это, так как он доверил вам свои драгоценнейшие интересы: Франция станет счастлива и свободна, если ваши труды будут освящены благословением народа. Наоборот, общественное спасение будет скомпрометировано, если мертвящее равнодушие народа поразит ваши декреты».

Точно так же, как при ярком революционном освещении 14 июля, появились крестьяне, и как они же заставили буржуазию при первом революционном потрясении издать достопамятные декреты, и в эти неясные и смутные дни первой половины 1792 года, при первой вспышке гражданской и внешней войны, опять вырисовывается облик обманувшегося и огорченного крестьянина.

Для своего спасения Революция будет вынуждена в самом деле дать ему то, что декрет от 4 августа давал ему только по виду. Юристы будут истощать свои усилия, стараясь придумать тонкие истолкования или строя исторические системы, чтобы оправдать экспроприацию сеньеров. Но Кутон выразил истинное

основание права крестьян: общественное спасение, спасение Революции требовало, чтобы они были освобождены.

Но в какой тесной связи между собой находятся различные факты! Какие последствия влекут за собой события! И до какой степени революции, даже совершающиеся в течение довольно короткого периода времени, представляют собою сложную драму! Именно измена короля, принудившая революционную буржуазию к отчаянной борьбе, заставляет ее уничтожить всю феодальную систему для того, чтобы привлечь крестьян к революционному знамени.

11 апреля 1792 г. Латур-Дюшатель от имени феодального комитета представил Собранию доклад и проект декрета «относительно уничтожения без вознаграждения разных феодальных повинностей, признанных подлежащими выкупу декретом от 11 марта 1790 г.». Сперва феодальный комитет также констатирует, что труд Учредительного Собрания был тщетен: «Учредительное Собрание тщетно об'явило, что оно издает декрет, уничтожающий феодальный режим, если фактически оно сохранило ненавистнейшую из всех феодальных повинностей, а именно побор, взимавшийся и все еще взимаемый всяким бывшим сеньером при каждом переходе собственности от одного лица к другому или при наследовании земельного участка, зависящего от его бывшей господской власти.

«Правда, Учредительное Собрание об'явило, что этот побор подлежит выкупу, но эта возможность уничтожается вследствие того, что огромное большинство обладателей земельных участков не в состоянии производить погашение, или же всем им пришлось бы продать часть своих земельных участков для того, чтобы выкупить остальную часть.

«Отсюда вытекает, что феодальная система еще вовсе не уничтожена, так как бывший сеньер все еще сохраняет настоящую верховную ленную власть над земельным участком. Его бывший вассал вовсе не перестает быть его вассалом, потому что ему приходится признать, что тот земельный участок, которым он владеет, зависит от бывшей господской власти, признанной уничтоженною: если же он продает этот участок земли, то он выплачивает этому бывшему сеньеру такой же побор, как и прежде.

Отсюда вытекает, что ленная власть бывшего сеньера, которая была уничтожена, всегда будет существовать, так как он всегда будет в праве требовать от своего бывшего вассала расписки, удостоверяющей зависимость земельного участка, принадлежащего последнему, от его ленной власти, при чем эта расписка, конечно, будет равносильна прежде выдававшемуся ему свидетельству.

«Отсюда вытекает, что в действительности срублены лишь ветви феодального дерева, а его ствол все еще существует; он вполне крепок и готов покрыться новыми ветвями.

«Итак, необходимо искоренить все следы феодальной системы, если нежелательно, чтобы она возродилась, и чтобы ее господство еще более усилилось».

Несмотря на этот резкий язык, как в принципах феодального комитета, так и в сделанном им выводе обнаруживалась большая путаница. Прежде всего он не осмелился об'явить, что все феодальные повинности являлись пережитком общественного строя, основанного на насилии, и что даже если они представляли договор, вытекавший из первоначального пожалования, феодальная форма этого договора должна была извращать его содержание. Феодальный комитет придумал странную историческую систему. По его мнению, все земли Галлии были первоначально свободны, и когда вожди франков роздали земли своим сподвижникам, они не возложили на последних феодальных повинностей: сеньеры обложили своих вассалов побором, взимаемым при переходе земельного участка от одного лица к другому, благодаря дальнейшей узурпации. Согласно исторической и юридической теории феодального комитета, кажется, что феодаль-

ные повинности были бы законны, если бы вожди франков с самого начала возложили их на своих сподвижников.

Очевидно, что феодальный комитет уклоняется от признания необходимости экспроприации. Он не осмеливается ясно высказать, что новая свобода требует исчезновения форм собственности, связанных с прежнею крепостною зависимостью. Как его принципы неясны, так и делаемый им вывод неполон. Он освобождает крестьян лишь от поборов, взимаемых при переходе земельного участка от одного лица к другому; зачем же сохранять ежегодные поборы, чинш, полевой оброк, бывшие наиболее отяготительными? Пока сохранятся эти поборы, останется не только воспоминание о старинных узах вассальной зависимости. Комитет не осмеливается их коснуться, так как эти поборы в высшей степени сходны с чистою поземельною рентою, с буржуазной рентой, и комитет боится, чтобы не показалось, что оно колеблет право собственности. Даже и по отношению к поборам, взимаемым при переходе земельного участка от одного лица к другому, он допускает, что они должны быть выкупаемы, если сеньеры пред'являют документы, устанавливающие первоначальное пожалование земельного участка. Это было неосновательное и опасное из'ятие. Прежде всего, это первоначальное пожалование, может быть, представляет собою не что иное, как гнуснейшее проявление тирании сеньера. Другие люди не могли стать собственниками небольших зависимых земельных участков иначе, как путем пожалования их сеньером именно потому, что сеньер присвоил себе всю территорию. Но то, что феодальный комитет признает доказательством права, является вернейшим признаком насилия. И это из'ятие поощряло сопротивление сторонников сохранения повинностей: оно доставляло им тот аргумент, который вскоре энергично выдвинул один из них, а именно Дэзи:

«Итак, вы признаете, что в некоторых случаях поборы, взимаемые при переходе земельного участка от одного лица к другому, представляют законную сделку; зачем же, требуя первоначального документа, вы делаете столь трудным доказательство честных сделок, существовавших, по вашему же заявлению?»

Тем не менее, проект феодального комитета является сильным ударом, нанесенным феодальной системе: он уничтожал безвозмездно все случайные феодальные поборы, все пошлины, взимаемые при переходе земельного участка от одного лица к другому, за исключением тех случаев, когда сеньеры могли бы пред'явить первоначальный документ, устанавливающий, что эти поборы представляли собою вознаграждение за пожалование участка земли. Сеньерам было бы очень трудно пред'явить этот первоначальный документ, у большинства их не было других доказательств, кроме владения или более поздних расписок, а потому фактически это постановление означало отмену без вознаграждения целой категории поборов, признанных Учредительным Собранием подлежащими выкупу. И кто же не видит, что вскоре, как неизбежное последствие, предстоял пересмотр вопроса о других феодальных повинностях, даже о таких ежегодных поборах, как чинш, полевой оброк, поземельная рента?

«§ 1-й. Национальное Собрание, отменяя параграфы первый и второй статьи III декрета от 15 марта 1790 года и все другие относящиеся к этому законы, декретирует, что с обнародования настоящего декрета, уничтожаются и остаются уничтоженными без вознаграждения все случайные поборы, известные под именами пятины, пятой доли пятины, тринадцатой доли, пошлин, взимаемых при переходе земельного участка от одного лица к другому, половинных пошлин, ленных податей и, под какими бы то ни было иными наименованиями, поборы, которые должны были уплачиваться по поводу перемен, происходивших в собственности или во владении земельным участком продавцом, покупателем, дарителями, наследниками и всеми другими преемниками прежнего собственника или владельца.

«§ 2-й. Все те выкупы вышеупомянутых повинностей, по которым еще не окончены платежи, перестанут производиться как целиком, если требуется выплатить всю причитающуюся сумму, так и тогда, когда остается еще уплатить часть этой суммы, даже и в случае рассмотрения экспертами договора или соглашения; но того, что уже выплачено, нельзя будет требовать обратно.

«§ 3-й. Однако бывшие сеньеры могут требовать уплаты упомянутых поборов, которые останутся подлежащими выкупу, согласно постановлениям декрета от 15 марта 1790 г., когда они будут в состоянии доказать первоначальным документом, свидетельствующим о пожаловании земельных участков, что последние были пожалованы и уступлены ими лишь под точным условием платежа упомянутых пошлин, взимаемых при переходе участка земли от одного лица к другому».

Вот первая серьезная попытка, после декрета от 4 августа, действительно уничтожить часть феодальных повинностей. Эта попытка была сделана под непрерывным давлением крестьян. Но, при всей ее неполноте и частичности, она все же вызвала в Законодательном Собрании энергичнейшее сопротивление. Один из депутатов от южной Франции, искусный юрист Дорлиак, тотчас же предлагает комбинацию, результатом которой является расширение, но также и смягчение системы комитета. Дорлиак, с своей стороны, также пытается раз'яснить в ученом рассуждении историческое происхождение феодальной системы. «Событие, давшее сеньерам возможность построить свою систему, заключается в том, что графы, злоупотребив слабостью потомков Карла Великого, добились капитулярия, сделавшего их наследственными и подчинившего их лишь праву инвеституры, от которой они вскоре избавились. Дальнейшие узурпации, которых добились от королевской власти, вызвали повсюду возникновение ленов,—ленов, зависящих от других ленов, вассальств. Эти выдумки являлись лишь взаимною поддержкою, которую поклялась оказывать друг другу против суверена толпа тиранов, впоследствии захвативших имения, обративших народы в состояние крепостной зависимости и уничтоживших все законы.

«Все они стали деспотами и утверждали, что они абсолютные господа тех, для кого они прежде являлись предводителями или покровителями, и всего того, что включалось в тот округ, где находились их господские имения».

Странная философия истории! Дорлиак не считает феодальной системы историческим моментом социальной эволюции. С его точки зрения, существовали законная власть, монархия меровингов или каролингов и власть узурпаторская, а именно власть сеньеров. И теория договора имеет такую власть над умами юристов, что Дорлиак, повидимому, вполне готов признать, что феодальные повинности были бы законны, если бы они представляли договор, заключенный при освобождении, если бы они являлись вознаграждением, которое рабы или крепостные согласились выплачивать для того, чтобы получить свободу. Он в самом деле закончил длинный исторический этюд следующими словами: «Таковы происхождение и развитие феодальных повинностей; они доказывают, до какой степени ложно предположение тех, которые утверждают, будто весь народ был прежде рабом сеньеров, и что он держит от них те земли, которыми он владеет; наоборот, из них вытекает, что бо́льшая часть тяготевших на нем повинностей является гнусным результатом тирании и подлога».

Спрашивается, думал ли Дорлиак, что Франция должна была бы вечно нести тяжесть феодальной системы в том случае, если бы феодальные поборы представляли собой выкуп всего народа, некогда бывшего рабом?

Но каков же практический вывод Дорлияка? Он заявляет, что так как при возникновении феодальных повинностей часто существовали тирания и подлоги, то эти повинности могут быть законны лишь в том случае, если сеньер докажет, что они представляют собою вознаграждение за пожалование земельного участка.

Между тем как Учредительное Собрание предполагало законность этих повинностей и возлагало на держателя доказательство противного, Дорлияк, соглашаясь в этом с феодальным комитетом, предполагает незаконность этих повинностей и обязывает сеньера представить доказательство их законности. Он расходится с комитетом лишь относительно рода доказательства: он гораздо менее требователен. При отсутствии первоначального документа, он довольствуется «одною или двумя расписками, подкрепляемыми столетним владением».

Разница громадна, потому что, насколько сеньерам трудно было пред'явить первоначальный документ, составляющий доказательство пожалования земельного участка, настолько же легко было им представить одну или две расписки, которые их ловкие управители и знатоки феодального права исторгали от зависимых вассалов; и чаще всего пользование этими поборами в самом деле продолжалось более ста лет. Таким образом система Дорлияка чрезвычайно облегчала для сеньера доказательство и фактически она продлила бы феодальное притеснение многих крестьян. Дорлияк очень ловко делает кажущиеся уступки крестьянскому движению и, повидимому, даже принимает систему комитета, возлагая пред'явление доказательства на сеньера, но в сущности, по крайней мере очень часто, он восстановляет, повидимому, уничтоженное им.

Предвидя, что вскоре станут добиваться уничтожения как случайных повинностей, так и ежегодных поборов, чинша и полевых оброков, он очень искусно придумывает целую замысловатую и обширную систему, которая в действительности спасла бы права сеньера. Всякое господское поместье, всякий лен, был, если можно так выразиться, и должником и вместе с тем кредитором. Иной лен обложен поземельною податью в пользу своего верховного владельца, но в то же время к нему было приурочено право на взимание поземельной подати с лена, зависящего от него. Дорлияк предлагает, чтобы государство приняло на свой счет все эти повинности и все эти права: оно станет взимать вместо сеньеров все поборы, причитающиеся с держателей, и оно же станет платить сеньерам.

Таким образом сеньеры не лишаются ни одного су из тех сумм, которые они получали, пользуясь своими выгодными для них правами, а бывшие держатели не станут платить ни на один су меньше, чем прежде; но сеньеры станут получать эти суммы уже не в качестве сеньеров, а в качестве кредиторов государства. Держатели станут платить уже не в качестве держателей, а в качестве должников государства. Феодальное отношение, связывавшее держателя с сеньером, будет уничтожено, и новые юридические отношения, а именно юридические отношения буржуазного государства к его кредиторам и должникам, заменят феодальную систему, при чем это юридическое преобразование нисколько не изменит ни тех денежных выгод, которыми пользовался сеньер, ни тех денежных повинностей, которые тяготели на крестьянине.

§ 17-й проекта Дорлияка: «С этого момента, т.-е. после экспертизы, произведенной муниципалитетами и округами, «в с е л и к в и д и р о в а н н ы е т а к и м о б р а з о м п о б о р ы и о б р о к и п р е к р а т я т с я и о б р а т я т с я в п р о с т ы е д о л г и; упоминаемые в оценках земельные участки будут об'явлены свободными и из'ятыми от всяких феодальных или чиншевых поборов; все отношения между бывшими чиншевиками и бывшими сеньерами уничтожаются; нация возьмет на себя как выплату обязательств по отношению к бывшим сеньерам, а следовательно, эти лица будут обязаны производить все-

платежи нации таким образом, как будет определено постановлением Директории округа. Нация, в свою очередь, будет обязана производить те же платежи бывшим сеньерам».

Это — чрезвычайно замысловатая комбинация для сохранения в пользу бывших сеньеров выгодных для них последствий феодальной системы, при чем феодальным обязательствам придавались формы современного договора. Это, если можно так выразиться, буржуазная национализация феодального режима, окончательное включение в новый государственный строй обязательств и оброков, установленных феодальною системою. Дорляк мог сказать, что в этом смысле он продолжает дело Учредительного Собрания: а именно, когда последнее об'явило подлежащими выкупу все феодальные повинности, оно утверждало, что сохраняет доставляемую ими выгоду, но в новой форме и при замене старого феодального обязательства чисто денежным обязательством. Так как нация вмешалась, чтобы придать новый вид старым обязательствам, то она могла пойти еще дальше и взять на себя все обязательства и все сборы, чтобы уничтожить старинную личную связь бывших сеньеров и бывших ленников. А затем уже нельзя было требовать отмены феодальных повинностей, так как уже не существовало феодальных отношений; пришлось бы требовать отмены государственных долгов, и это было очень трудно.

Таким образом бывшие сеньеры продолжали бы в течение неопределенного времени взимать крестьянские оброки под защитою современного государства и при его посредстве: и проект Дорляка клонится к обращению государства в главного сборщика старинных феодальных поборов, крестьянских оброков, взимающего их в пользу сеньеров. Это было очень выгодно для сеньеров и являлось серьезною гарантией для них, но это было очень опасно для обновленного государства, для революционной Франции. Ведь крестьянский гнев обратился бы против революционного государства, которое стало бы на место феодальных тиранов; революционная Франция унаследовала бы всю ту ненависть, которую возбуждал феодальный режим. Хотя проект Дорляка и предусматривал возможность выкупа, но крестьянам было бы столь же трудно произвести выкупную операцию по отношению к государству, как и по отношению к их бывшему сеньеру, а потому проект Дорляка вызвал бы постоянный антагонизм, ежегодный конфликт между революционным государством и крестьянами.

Революционные юристы должны были очень бояться коснуться собственности или произвести такое впечатление, что они ее коснулись, чтобы думать о спасении собственности, существовавшей в феодальной системе, посредством таких опасных комбинаций, столь гибельных для самой Революции.

Законодательное Собрание почувствовало опасность и не пошло тем путем, который указывал ему Дорляк. Однако оно также очень колебалось, прежде чем принять решение феодального комитета, жертвовавшего, как ему казалось, слишком необдуманно правом собственности, заключавшимся в оболочке феодального договора или феодального обычного права.

Это колебание тем удивительнее, что в апреле 1792 г. Законодательное Собрание об'явило войну австрийскому императору. Итак, ему нужно было привлечь на сторону Революции все силы, всеобщую преданность, и не подлежит сомнению, что именно эта мысль вызвала решение феодального комитета.

Агитация в деревнях становилась с каждым днем все более и более оживленною. Кроме специальных документов, петиций и жалоб, поданных в апреле и мае 1792 г., изданных г. Саньяком, я нахожу решительное доказательство этого в речи самого Ролана, тогдашнего министра внутренних дел, который все еще в очень неопределенной форме и с многозначительными оговорками, но во имя общественного порядка, потребовал от Собрания, чтобы оно, наконец, приняло решение. Он сказал с трибуны 16 апреля: «Другим источником

беспокойства и недовольства являются феодальные поборы: этот предмет всегда казался затруднительным для законодательства; однако, важно принять такую общую меру, которая успокоила бы возбуждение умов и, не нарушая справедливости, несколько облегчила бы бедствия тех, кто страдает уже в течение веков; не мое дело что-либо указывать, но я должен выяснить необходимость принятия мер».

Этого призыва Ролана, в котором слышалась тревога, было недостаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление духа собственности, и когда, в июне, началось третье чтение проекта комитета, он подвергся в высшей степени резким нападкам. Умеренный Дэзи, горячо поддержанный аплодисментами более чем половины членов Собрания, подверг его в высшей степени резкой критике. Он противопоставил свою историческую систему происхождения феодальных отношений системе комитета. По мнению Дэзи, выражение «феодальная система» обнимала весьма различные учреждения. Существовало, так сказать, три источника, находившихся на разной глубине, из которых вытекали феодальные обязательства. Прежде всего существовал пережиток древнего рабства, о котором свидетельствовали личные повинности, предававшие одного человека другому.

Все то, что вытекало из этого древнего источника рабства, должно было быть уничтожено без вознаграждения и в самом деле было уничтожено Учредительным Собранием. Затем существовали такие узурпации функций общественной власти со стороны сеньера, как право юстиции, патронажа и т. д., и когда общественная власть возвращала себе захваченные у нее полномочия, она не должна была выплачивать никакого вознаграждения.

Наконец, существовали обязательства, вытекавшие из договора: существовали феодальные повинности, представлявшие первоначальное пожалование земельного участка, и как можно было бы уничтожить такие обязательства, не касаясь самой собственности, столь же священной в этой форме, как и во всякой другой?

Кроме того, Дэзи доказывал, что сеньеры узурпировали собственно не феодальные права, а самую собственность по отношению к земельным участкам, и спрашивал Собрание, осмелится ли оно уничтожить самое право собственности на эти земельные участки? «Итак, если бы следовало сказать с комитетом, что первоначальный недостаток какого-нибудь права настоятельно требует его отмены даже и тогда, когда существующие законы всегда признавали его правом собственности; если бы, говорю я, нужно было принять этот неконституционный принцип, разрушающий всякое общество, то для того, чтобы быть последовательным и справедливо применять его согласно с фактами, следовало бы вывести из этого принципа не только уничтожение постоянных и случайных поборов, но следовало бы соединить с этим в то же время и уничтожение права собственности на наследства, если только не докажут, что эти наследства не принадлежат к числу первоначально захваченных сеньерами.

«Это двоякое следствие неизбежно оказывается нераздельным, так как и то и другое вытекает из одного и того же источника. Конечно, столь возмутительная претензия означала бы странное забвение принципов и повела бы прямо к аграрному закону. Я убежден, что никто никогда не осмелится предложить это».

Дэзи прибавляет, что феодальная собственность, во всяком случае, упрочена давностью, что она в силу законов дала повод к бесчисленным сделкам и договорам, и что ее нельзя уничтожить, не колебля всей социальной системы. «Думаете ли вы, господа, что вы в праве, восходя, под предлогом разыскивания происхождения права к отдаленной мрачной эпохе, теперь уничтожить действие

столькпх договоров, обеспечивающих состояния множества граждан? Пагубным результатом такой несправедливости явилось бы расстройство жизни многих семейств и их полное разорение, ибо я мог бы привести множество случаев, в которых все наследственное достояние разных частных лиц состояло из доходов, приносимых исключительно постоянными и случайными поборами. Да, господа, ваша честность убеждает меня в том, что вы поспешите отвергнуть столь возмутительную меру. Я осмелюсь даже сказать, что она превышает ваши полномочия.

«В самом деле, во все времена и при всяких обстоятельствах, нация, сама или через своих специально уполномоченных представителей, несомненно, имеет неот'емлемое право изменить существующую у нее форму правления и отменить все политические законы, регулирующие ее разные элементы, но распространять эти права на гражданские законы, которыми определяется собственность частных лиц, значило бы ниспровергнуть основные начала общественного договора. Но тогда собственность являлась бы лишь призрачною, так как она зависела бы от периодических революций в государствах, а известно, что устойчивость, безопасность и сохранение собственности являются одною из существенных основ всякого политического общества».

Собрание было глубоко смущено этой апелляцией Дэзи к высшему праву собственности, и, собственно говоря, буржуазным революционерам трудно было ему ответить. В сущности, возможен был лишь один удовлетворительный ответ: «да, всякая собственность временна; да, всякая собственность является переходною формою социальной деятельности; но какая-нибудь форма собственности может быть отменена лишь потому, что она противоречит новым общественным потребностям; ныне феодальная форма собственности устарела и опасна; мы ее отменяем, наше потомство, в свою очередь, отменит формы собственности, ныне кажущиеся нам законными, если общее изменение социальных условий сделает эти формы собственности злотворными».

Но говорить таким образом значило бы включить буржуазную собственность в процесс становления, значило бы ввергнуть буржуазное право в исторический поток, а они желали сделать из него вечный утес. Итак, они скорее обходили возражения Дэзи, чем отвечали на них.

Майль осмелился с наибольшею ясностью утверждать, что, в сущности, феодальные повинности должны были быть отменены безвозмездно в интересах общества, в интересах Революции. 9 июня, за три дня до большой консервативной речи Дэзи, он попытался исторически доказать феодальную «узурпацию». Наконец, он закончил: «бывшие сеньеры, несомненно, будут жаловаться, но на что же они не жалуются?

«Вы будете оправданы благословениями девяносто девяти сотых нынешнего поколения и будущих поколений. Отмена всех повинностей без вознаграждения является камнем, недостающим в фундаменте Революции... Когда нация сделает для своих членов все то, что повелевает справедливость, тогда они поспешат сделать все то, чего потребуют интересы отечества; они будут готовы на всякие жертвы для свободы, которая уже является нравственною потребностью просвещенных граждан и станет, благодаря вам, физическою потребностью всех французов».

Здесь собственность откровенно подчиняется свободе, и мы видим, как намечается будущая социальная точка зрения Конвента: теория общественного

спасения в применении к собственности, как и ко всему остальному. Но это пугало. И когда Лувэ 12 июля несколько пространнее формулировал эту теорию, он не успокоил этим Собрания.

«Если бы нельзя было скоро выкупить эти повинности, которые хотят сохранить, и которые являются как бы в самом деле началом всех феодальных прерогатив, отделенных от них, то что же произошло бы, господа? Они продолжали бы обеспечивать классу, привыкшему к господству, власть над лицами, обязанными уплачивать этому классу поборы, и эта власть не замедлила бы внести испорченность в наш избирательный режим, в наше представительное правление и стала бы неминуемым камнем преткновения для Революции.

«Господа, знаменитые политические писатели говорили, что тот, кто владеет землями, вскоре овладевает людьми, что граждане не могли быть свободны, когда их собственность была порабощена...

«Конечно, от меня далека идея возможности мгновенного уравнения состояний и сохранения такого равенства; от меня далека идея воображаемого раздела, о котором много говорят, но в который никто серьезно не верит; не правда ли, по крайней мере, ни одному рассудительному человеку никогда не придет в голову предложить подобный раздел или согласиться на него?

«Но здесь я обращаюсь к законодателям, к друзьям свободы и Революции и, на этом основании, я думаю, что мне может быть дозволено умолять вас, господа, принять во внимание, что у политического равенства и у Конституции нет более опасных врагов, чем чрезмерное неравенство состояний, что, может быть, первоначальная причина этого неравенства состояний, которое установилось во Франции, зависит от феодального режима...»

Некоторые депутаты в резкой форме выразили свои опасения. Анри, депутат департамента Верхней Марны, воскликнул 14 июня: «чтобы добиться отмены этих повинностей без вознаграждения, с этой трибуны было высказано, что политическое равенство исключает неравенство, даже излишек состояний. Эта грабительская идея, которая могла бы показаться искрой, вышедшей из анархической системы аграрного раздела, эта идея, тревожная для всех собственников, ниспровергающая общественный строй, будет подавлена при своем рождении.

«Вы настолько справедливы, что откажетесь признать эту идею, так как вы знаете, что неравномерное распределение частной собственности вытекает из того, что разные лица неодинаково бережливы, что некоторые ежедневно постоянно трудятся больше других, подвергая себя особым лишениям, занимаются коммерческими спекуляциями, которые прекратились бы, благодаря нестерпимой, неблагоразумной в политическом отношении, невозможной тирании системы имущественного равенства».

Какое достопримечательное сцепление: буржуазия не может установить верховенство нации и ее контроль над общественными делами, не сталкиваясь с прежними привилегированными классами; она может победить, лишь экспроприируя их, по крайней мере отчасти, и она не может экспроприировать их, не затрогивая самой собственности; и вот слова Лувэ направлены против излишка состояний,—всяких состояний; вот уже с 1792 года буржуазная собственность вынуждена защищаться против буржуазной Революции теми же самыми аргументами, которые позднее Бастиа противопоставит коммунистам.

На том же заседании Прувэр очень резко формулировал свои опасения: «раз будет нарушено право собственности, пусть мне скажут, где остановится общественное мнение. Руссо сказал: «человек, который первый построил забор вокруг участка земли и сказал: «это мое», был первым основателем обществ». Что же! Я также говорю: «человек, который ныне первый уничтожил бы преграды,

ограждающие гражданскую собственность, был бы разрушителем всякой собственности». Слово «собственность», скажу более: мнение, связанное с этим словом, является сводом того великого здания, которое об'единяет 24 миллиона людей в национальное целое; стоит поколебать этот свод, и здание рушится. Нации уже не будет, останутся лишь индивидуумы. Я не развиваю далее этой идеи; всякий может сделать из нее выводы. Этого достаточно для того, чтобы ответить на сказанное вчера о неравенстве состояний. Я лично сознаю, что если бы я до сих пор не решался составить себе определенное мнение, то у меня уже не было бы нерешимости после того, как были высказаны те слова, о которых я только что упомянул».

Следует заметить, что в Законодательном Собрании уже нет представителей сословий и, в самом деле, уже нет дворян. Итак, исключительно буржуазное собрание испугалось тех последствий, которые могло бы повлечь за собой первое посягательство на собственность, даже в феодальной форме. Те, чьи интересы были задеты, сильно волновались. Все же дворяне и буржуа (а таких было много), которые владели феодальными правами, издавали множество брошюр, принимали множество разных мер. Лувэ рисует в своей речи любопытную картину всей этой активности собственников: «Я знаю, господа, что интриганы и люди, лично заинтересованные, беспрестанно суетящиеся вокруг этой залы, не пренебрегли ничем для того, чтобы эти прения представились неблагоприятными для отстаиваемого мною мнения; анонимные листки, неоднократно раздававшиеся у дверей этой залы; замечания, оскорбительные для вашего комитета; письма о положении финансов, написанные председателю финансового комитета: петиции, подаваемые даже у этой решетки то от лиц, называющих себя обязанными платить случайные поборы, которые побудили требовать их сохранения, то от лиц, называющих себя кредиторами тех, кому принадлежит право на их получение,—все было пущено в ход для того, чтобы внушить вам неблагоприятные предубеждения против проекта декрета, представленного комитетом».

Точно так же, как Сийэс, борясь против отмены десятин, заявил, что она была выгодна, главным образом, богатым собственникам, умеренные, желавшие сохранить феодальные повинности, утверждали, что их отмена была бы всего выгоднее для больших имений, обложенных довольно тяжелыми поземельными оброками. Гойе ответил на этот аргумент: «Если верить им, то лишь та часть народа, улучшение участи которой должно постоянно занимать вас, не извлекла бы никакой выгоды от той отмены феодальных повинностей, о которой идет речь. Эта отмена будто бы принесла бы пользу лишь богатым приобретателям, крупным собственникам, и, однако, затем именно права этих богатых приобретателей, этих крупных собственников противопоставляют требуемой отмене феодальных повинностей, явно противореча таким образом самим себе. Таким образом, оспаривая проект феодального комитета, в одно и то же время предполагают и обогащение и ограбление крупных собственников, смотря по тому, имеют ли в виду представить этот проект несправедливым или сделать его безразличным именно для заинтересованных в нем. Если бы случайные поборы выплачивались лишь собственниками земельных участков, обращенных в лены, тогда можно было бы сколько-нибудь основательно говорить, что тот вопрос, о котором идет речь, не касается той драгоценной части народа, которая слишком долго почти одна несла на себе тяжесть всякого рода податей. Но в тиранической иерархии феодального управления, наоборот, все было устроено таким образом, что сеньер, владеющий леном, не платил тому лицу, от которого он зависел, ничего, не вознаграждая себя вполне за счет своих вассалов; эти последние взваливали свои платежи на зависевших от них вассалов, если та земля, которой они владели, сама являлась пожалованным леном, так что даже

ныне эта цепь притеснений в действительности тяготеет лишь на тех, кто не держит в своих руках ни одного из ее колец».

Собрание приступило к голосованию в конце заседания 14 июня: прения были очень несвязны. Один из умеренных, Дюмолар, предложил поправку, которая отчасти спасла бы феодальную собственность: «бывший сеньер может заменить пред'явление первоначального документа, свидетельствующего о пожаловании земельного участка, тремя расписками, из'ясняющими упомянутый документ, подкрепляемый всем известным и неоспариваемым сорокалетним владением».

Левая потребовала, чтобы Законодательное Собрание решило, стоит ли рассуждать об этом предложении. Результаты голосования оказались сомнительными и потребовали поименной переклички. При ней 273 голосами против 227 было решено, что следует обсуждать поправку Дюмолара. Это была победа умеренных. В самом деле, можно было предполагать, что то же самое большинство, отвергшее предварительный вопрос, будет голосовать и по существу за поправку. Но умеренные потеряли победу из-за чрезвычайно странного маневра. Или будучи утомлены затянувшимся заседанием, или, скорее, желая переждать после этой первой победы, чтобы выиграть время для ее упрочения, они потребовали прекращения заседания. Левая сопротивлялась, и умеренные, чтобы заставить председателя закрыть заседание, вышли из залы. Так жадно заботилось это буржуазное собрание о защите собственности, даже в феодальной форме!

Но левая не пришла в замешательство от этого ухода, сделавшего ее большинством; она осталась на заседании. Тщетно некоторые умеренные, оставшиеся на своих местах, кричали: «Они вынудят декрет». Гюа тщетно протестует против голосования: «Собрание, при поименной перекличке, решило, что следует обсуждать поправку г. Дюмолара. Я замечаю нечто, очевидное для всех: а именно, что большинство вотировавших при поименной перекличке... (продолжительный шум на левой), когда дело идет о голосовании по существу, следует предполагать, что вотировавшие за обсуждение поправки, вотировали бы за ее принятие. Каким же образом происходит, что теперь, когда они ушли, хотят добиться этого декрета? Я утверждаю, что в таком случае в первом голосовании и в постановлении Собрания заключалось бы чудовищное противоречие. Я требую, чтобы обсуждение вопроса продолжалось завтра в 9 часов, на утреннем заседании».

Делакруа резко отвечал: «Я протестую против этого предложения. Собрание издало закон против общественных чиновников, покидающих свой пост. Здесь раздаются голоса в пользу лиц, восстающих против декрета, удалившихся, чтобы не выполнить своего долга. (Аплодисменты с трибун.) Собрание не пожелало закрыть заседание; для принятия постановления достаточно 200 членов, а нас более 200».

Собрание в самом деле вотировало и приняло следующий декрет: «Национальное Собрание декретирует, что все феодальные повинности, которые не будут оправданы первоначальными документами, как вознаграждение за пожалование земельных участков, будут отменены безвозмездно».

Протокол констатирует, что в момент голосования этого декрета «крайняя левая полна, а остальная часть зала почти пуста». Любопытное обстоятельство: ночью 4 августа, хотя дворянское сословие имело своих представителей в Учредительном Собрании, существовало единодушие для принципиального провозглашения уничтожения феодального режима. А в Законодательном Собрании, исключительно буржуазном, едва нашлось большинство для того, чтобы в самом деле уничтожить часть феодальных поборов. Дело в том, что ночью 4 августа

речь шла о провозглашении принципа, а 14 июня 1792 г. речь идет о нанесении ощутительного удара реальным интересам.

Этого рода прения, крики ужаса, издаваемые частью умеренной буржуазии, начали распространять идею о том, что Революция могла бы вдруг предложить аграрный закон, раздел земель поровну между всеми гражданами. Враги Революции попытались запугать этим всех собственников и, вероятно, дебаты о феодальной собственности доставляли им аргументы. 14 июня Шерон Лабрюйер, после принятия декрета, отменившего феодальные повинности безвозмездно, потребовал слова для внесения добавочного параграфа и сказал: «нельзя скрывать от себя, что многие земельные участки были узурпированы. Я требую в качестве дальнейшего вывода из декретированного принципа, чтобы все земельные участки, владельцы которых не будут в состоянии пред'явить первоначальных документов, были об'явлены национальными имуществами». Собрание не приняло этого предложения, ужаснувшись, конечно, тех комментариев, которые вызвали бы такие дебаты.

17 и 18 июня Собрание закончило вотирование параграфов проекта комитета: умеренные, которым не удался их маневр 14 числа, не осмелились возобновить сопротивление. Однако уничтожение феодального режима было еще далеко не полно. Здесь дело идет лишь о случайных поборах. Новые, очень смелые шаги будут сделаны после Революции 10 августа. Итак, нам еще предстоит рассматривать феодальный вопрос, крестьянский вопрос при изложении дальнейшего хода революционных событий.

Здесь я с самого начала проследил постановку этого вопроса, потому что, при отсутствии наказов при выборах, я желал сразу выяснить крестьянскую мысль. Ясно, что крестьянское давление присоединяется к агитации в городах и к грозной логике событий, чтобы вызвать переход революционной власти от умеренных к демократам.

Война или мир.

Законодательное Собрание было довольно непостоянно и нерешительно. Почти у всех новоизбранных депутатов была известная революционная опытность. По крайней мере девятнадцать из каждых двадцати членов Законодательного Собрания были выборные чиновники Революции: мэры, мировые судьи, администраторы департаментов или округов, прокуроры-синдики, члены департаментских Директорий. Они близко присматривались к великим революционным операциям, к продаже национальных имуществ и контролировали ход этих операций. Они также наблюдали вблизи контр-революционные происки, интриги дворян, возмущения неприсягнувших священников. Итак, они были всецело преданы новому порядку и осведомлены о грозивших ему опасностях.

Но у них не было никакой определенной политики. Многие из них были выбраны под впечатлением событий, происходивших в июне 1791 года. Они видели, что Учредительное Собрание в отчаянии присоединилось к королевской власти, и им казалось невозможным попытаться пойти иным путем. Кровавый день на Марсовом поле, за который считали ответственными демократов, также оказал давление на выборы.

В Париже одержали верх умеренные. Дантон потерпел поражение на выборах; а Бриссо был избран с большим трудом после дюжины неблагоприятных для него голосований. Однако Париж, склонявшийся на сторону фельянов, на выборах в Законодательное Собрание дал большинство якобинцам и даже кордельерам на муниципальных выборах. Петион был избран парижским мэром

против Лафайетта, а Дантон был избран товарищем прокурора Коммуны. Обнаруживались неопределенность и колебания. Казалось, что о Законодательном Собрании можно было сказать то же самое, что Демулен сказал 21 октября 1792 г. о самой Конституции: «Она находится между народным государством и деспотическим государством, как колесо Иксиона между двумя крутыми склонами, так что малейшее наклонение должно было столкнуть ее в ту или в другую сторону».

Собиралось ли Законодательное Собрание усилить королевскую власть? Или оно, наоборот, готовилось развивать демократию? На первых порах казалось, что оно относится к королевской власти с некоторым недоверием и даже, если можно так выразиться, обнаруживает провинциальную обидчивость. Журналы двора осмеивали новых законодателей, явившихся в калошах и с зонтиками. Они заявляли новому собранию, что отсутствие всякой аристократии делало его почти смешным. Законодательное Собрание обнаружило свою слабость, обидевшись этими колкостями, и постаралось, как выражаются все его ораторы, «занять внушительную позицию, выказать характер, внушающий почтение».

Но, вместо того, чтобы проявлять этот «характер, внушающий почтение», в силе своих законов, в энергии и последовательности своих декретов, оно сначала занялось довольно ребяческими вопросами этикета. Собравшись 1 октября, оно отменило на одном из своих первых заседаний церемониал, установленный Учредительным Собранием для сношений между Собранием и королем. Оно постановило, что короля уже не станут называть «ваше величество», признавая лишь два величества: народа и бога. Оно постановило, что король будет сидеть не на позолоченном кресле, более высоком, чем кресло председателя, а на точно таком же кресле.

Но на следующий день после принятия этих довольно детских декретов, парижская буржуазия довольно сильно взволновалась, прежние депутаты Учредительного Собрания пришли в негодование и возражали, акции на бирже вдруг понизились ввиду угрожавшего конфликта между Законодательным Собранием и королем. Поэтому Собрание, довольно смущенное, отказалось от своего постановления. Порывистые депутаты Жиронды, сперва вовлекшие Законодательное Собрание в эти несколько ребяческие манифестации, должны были отступить.

Собрание выбрало председателем умеренного, Пасторэ, встретившего короля цветистою речью, в которой часто раздавалось обращение «ваше величество». Он дошел до того, что сказал королю: «нам нужно любить своего короля». То жеманное, то умиленное Законодательное Собрание вовсе не проявляло в эти первые дни того «характера, внушающего почтение», который оно желало проявить. Оно придумало также придать принесению присяги на верность, обязательному для всех законодателей, театральный торжественный характер. Оно декретировало, что депутация должна взять из архивов экземпляр Конституции.

За священным экземпляром Конституции отправились наиболее пожилые из депутатов. Когда они вернулись в Собрание, его члены встали, как бы в религиозной манифестации. Переносился кивот завета. Ревнители предложили, чтобы пока Конституция пребывала таким образом в Собрании, ни один депутат не мог говорить, подобно тому, как депутаты не говорили, когда присутствовал король. Пред святыми дарами Революции приличествовало молчание.

Собрание не дошло до этого, несколько смешного мистицизма. Однако было внесено множество в высшей степени странных предложений: присягая, депутаты должны были в с е в р е м я держать руку на экземпляре Конституции. Прервать на секунду соприкосновение значило бы уничтожить силу присяги.

Другие предложили, чтобы формула присяги на верность Конституции, нации, закону, королю была написана большими буквами на плакате, который был бы помещен над трибуною.

Собрание желало придать себе какой-то торжественный вид, и умеренные пытались сделать из Конституции 1791 г., в значительной степени монархической, своего рода священную книгу.

Но вскоре безотлагательные и серьезные затруднения заставили Законодательное Собрание отказаться от этих ребяческих церемоний и приготовиться к опасности. Сперва оно получило два зловещих известия: одно из Авиньона, другое из Сан-Доминго.

В Авиньоне секретарь патриотический мэрии Лескюйе был убит в одной церкви фанатизированною католическою чернью. Патриоты требовали мщения, но они сделали ошибку, допустив бандита Журдана, головореза, руководить движением. Он с помощью людей, опьяненных гневом и кровью, устроил ужасную резню в Леднике.

В Сан-Доминго мулаты и черные, приведенные в отчаяние обманчивою политикой Учредительного Собрания, восстали и в течение одной ночи жгли, грабили и убивали.

Но как бы ни были прискорбны эти насилия, они не задевали, так сказать, самого сердца Революции. Восстание колоний было далеко; графство Венессен было только что присоединено. Тревожнее, если не печальнее были повсеместные, контр-революционные волнения, оживление надежд контр-революционеров. Дело в том, что образ действия эмигрантов, собравшихся в небольшой отряд у французской границы, становился все более и более вызывающим; в самой Франции непокорные священники возбуждали умы, а особенно в Вандее загоралась гражданская война.

Однако, хотя повсюду возникли затруднения и даже опасности, сила Революции оставалась огромною, и достаточно было бы того, чтобы Законодательное Собрание держалось твердой и хладнокровной политики, и революционный порядок был бы упрочен. Но именно хладнокровия и не доставало этому неопытному и колебавшемуся Собранию. Все приводило его в замешательство. Прежде всего исчезновение великого Учредительного Собрания, спасавшего так часто, 20 июня, 14 июля, затем 21 июня 1791 г., Революцию, обнадеживало мятежников.

Врагам свободы казалось, что победившая их огромная революционная сила перестала существовать, и что предстоит изменение их участи.

Бессилие самого Учредительного Собрания после бегства короля в Варенн, его, так сказать, суеверное подчинение королевской власти, провокационной и предательской, внушало идею неприкосновенности монархии. Казалось, что монархия являлась единственною прочною и неприкосновенною силою, и что можно, ничем не рискуя, об'единяться вокруг нее.

Преследования, направленные после событий, происходивших на Марсовом поле, против ревностнейших патриотов, которые, как, например, Дантон, подвергались преследованиям даже в избирательных собраниях, еще более усиливали самонадеянность, саркастическое настроение и провокацию со стороны реакционеров.

Казалось, что наступил такой момент, когда Революция уставшая и как бы испугавшаяся своего собственного движения, переставала поражать своих врагов и поражала сама себя. Если бы Законодательное Собрание было благоразумно и последовательно, то оно дало бы революционной энергии вновь окрепнуть. Но Законодательное Собрание, у которого не было ни прошлого, ни престижа, не доверяло самому себе: оно сразу вообразило, что ему следует громко кричать, не жалея угрожающих жестов, чтобы его стали бояться. Молодые блестящие, пламенные ораторы, которых в нем было много, Гранжепев, Иснар, Гюадэ, даже Верньо, увлекаясь ораторскими эмоциями, вызвали в нем беспорядочную, лихорадочную и несколько искусственную горячность и особого рода поверхностный фанатизм.

Собрание беспрестанно колебалось между обольстительными предложениями жирондистов и советами фельянов, склонявшими его к немощной и притворной умеренности, и оно не было последовательно ни в умеренности, ни в проявлениях энергии.

Во всем Собрании было что-то поверхностное и искусственное. Оно не было носителем сильной, здравой и прямой мысли народа, устраненного от выборов законом о пассивных гражданах. С другой стороны, правящая буржуазия, очень смущенная и раз'единившаяся на следующий день после бегства короля в Варенн, дала ему лишь неясный и бессвязный мандат. Итак, оно как бы повисло в пустоте и находилось во власти необузданных порывов вдохновения, импровизированных предложений или искусных интриг, и ловкие люди, лица, считавшие себя «государственными людьми», естественно должны были подвергнуться искушению несколько презирать это непредусмотрительное Собрание и направлять его неполными аргументами к целям, лишь отчасти выясняемым ему.

Таким образом внезапно на одном заседании, в одной речи, Бриссо поднял вопрос о войне, но этот вопрос было возбужден отчасти искусственно, и за ним скрывались такие намерения, в которых не вполне сознавались.

Теперь эта проблема всего более занимает нас. Несомненно, может показаться ребячеством поправлять историю задним числом и задаваться вопросом, что случилось бы с Революцией, с Францией, с Европой, со вселенной, если бы революционная Франция могла избежать войны.

Но с другой стороны, эта великая военная авантюра причинила столько вреда Франции и свободе, она столь сильно разнуздала во Франции, стране философии и прав человека, грубые инстинкты, она так основательно подготовила банкротство Революции, приведшее к цезаризму, что мы вынуждены грустно спросить себя: была ли эта война Франции против Европы в самом деле необходима? Была ли она в самом деле вызвана намерениями иностранных держав и состоянием Франции? Наконец, чтобы высказать всю нашу мысль, нам было бы очень прискорбно унижать пылкий патриотизм, священный энтузиазм, примешивавшийся к этой великой авантюре, или не признавать этого патриотизма и энтузиазма; но если в самом начале этой героической авантюры мы выясняем участие интриг, хитростей, лжи, мы обязаны осведомить новые поколения.

Хорошо изучив документы, я считаю возможным сказать, что война была в значительной степени умышленно затеяна. Жиронда повела Францию к войне посредством стольких хитростей, что нельзя говорить, что война была в самом деле неизбежна.

Бриссо появился на трибуне 20 октября 1791 года по поводу дебатов об эмигрантах. Перед тем как он начал говорить, его приветствовали громкими аплодисментами. Очевидно, посвященные знали, какое впечатление он собирался произвести, какой сверкающий горизонт он собирался открыть; и даже прежде, чем машинист пустил в ход декорации, они возбуждали чувство Собрания.

Он начал с заявления, что было бы несправедливо и в то же время бесполезно поражать темную массу эмигрантов: следует потребовать возвращения глав эмиграции, должностных лиц, покинувших свой пост, принцев, братьев короля, а в случае их неповиновения, они должны быть лишены своих титулов и прав.

Бриссо льстил себя надеждою, что этим он остановит эмиграцию, поразит глав контр-революции.

Странная претензия! Ведь принцы, решившиеся на смертельную борьбу против Революции, презирали всякие декреты о лишении их прав и о конфискации: что за дело было им до декретов «бунтовщиков»? Что же касается их имуществ, то они отчасти уже реализовали их, а, победив, они без труда вернули бы их себе.

Тем не менее Бриссо воспламеняется, как будто это был смелый взгляд и решительное средство спасения:

«Вы должны подняться, господа, на высоту Революции. Вы должны заставить мятежников и особенно их вождей уважать Конституцию, или же она падет от презрения. Вот гибель: она ждет или дворянство, или Конституцию: выбирайте. (Громкие аплодисменты.) Вас будут судить по этому декрету. Они считают вас робкими, не решающимися поразить тех индивидуумов, которых пощадило предшествующее Собрание. Пусть они узнают, наконец, что вам известна тайна вашей силы...

«Неужели вы побоялись бы нанести этот удар, думая, что это было бы неблагоразумно? Именно само благоразумие предписывает вам его. Все наши бедствия, все беды, удручающие Францию, анархия, которую беспрерывно посевают недовольные, исчезновение вашей звонкой монеты, непрерывность эмиграций,— все это исходит из очага мятежа, созданного в Брабанте и руководимого французскими принцами. Погасите этот очаг, преследуя их, их одних, и бедствия прекратятся».

Каким ребячеством или какой уловкой было утверждение, будто вся контрреволюционная агитация зависит от скопления нескольких тысяч эмигрантов! Каким ребячеством или какой уловкой являлось утверждение, будто бы для того, чтобы положить конец всей этой агитации, достаточно будет произнести против принцев, глав эмиграции, угрозы, которых законодатели не могли даже привести в исполнение!

Но, вдруг, сам признавая тщетность этих мер, Бриссо ставит революционную Францию лицом к лицу уже не с жалким отрядом эмигрантов, а с монархической и феодальной Европой:

«Я уже предупреждал вас, что все ваши законы и против эмигрантов, и против мятежников, и против их вождей будут бесполезны, если вы не присоедините к ним существенной меры, которая одна способна обеспечить их успех, а эта мера касается образа действий, которого вам следует держаться по отношению к иностранным державам, поддерживающим и ободряющим эту эмиграцию и эти мятежи.

«Я доказал вам, что эта удивительная эмиграция происходила лишь потому, что вы пощадили вождей мятежа, лишь потому, что вы терпели очаг контр-революции, основанный ими за границей; и этот факт существует лишь потому, что до сих пор не позаботились принять надлежащие меры, достойные французской нации, для того, чтобы принудить иностранные державы перестать поддерживать мятежников, или потому, что боялись принять эти меры.

«Все представляется здесь, господа, рядом обманов и обольщений. Иностранные державы обманывают принцев, принцы обманывают мятежников, мятежники обманывают эмигрантов. Заговорим, наконец, языком свободных людей с иностранными державами, и эта система мятежа, держащаяся за неестественное кольцо, падет очень скоро; не только прекратятся от'езды эмигрантов, но они устремятся обратно во Францию, потому что те несчастные, которых таким образом увлекают из отечества, дезертируют, будучи глубоко убеждены в том, что несметные армии вторгнутся во Францию и восстановят в ней дворянство. Пора, наконец, прекратить все эти несбыточные надежды, вводящие в заблуждение фанатиков или невежд; пора показать миру, что вы такое, свободные люди и французы». (Продолжительные аплодисменты.)

Увы! Какая мистификация, и как легко Собрание увлекается столь же опасными, как и ребяческими рассуждениями! Ибо если в самом деле верно, что иностранные державы обманывают эмигрантов, если верно, что они вовсе не намерены предоставить к их услугам солдат, то истина не замедлит воочию обна-

ружиться всем: разочарование скоро побудит эмигрантов вернуться, и все это обольщение рассеется так, что Франция не подвергнется при этом риску раздражить иностранные державы хвастовством и угрозами. Если державы глубоко миролюбивы, то зачем же рисковать возбудить в них воинственные чувства?

Но вдруг, как будто почувствовав вздорность своего тезиса, Бриссо смущает собрание отвратительнейшей экзальтацией и в высшей степени странными противоречиями. Он обращается с призывом к славолюбию, к оскорбленному самолюбию. Он показывает, с каким неуважением державы относятся к революционной Франции, к ее новой конституции. Везде, в Неаполе, в России, в Швейцарии, в Льеже французским посланникам не оказывают того почтения, на которое они имеют право. И, рисуя ужасающую и мрачную картину, Бриссо тотчас же показывает нам, как вся Европа составила против нас заговор:

«Правда ли, что на пресловутом свидании в Пильнице сговорились уничтожить французскую Конституцию? Правда ли, что там составили ту, ставшую общеизвестной, декларацию, в которой государи обязываются поддерживать спокойствие в Европе и обратить свое оружие против Франции, если она не даст удовлетворения немецким князьям? Правда ли, что прусский король, в качестве Бранденбургского курфюрста, сделал такое же заявление в Регенсбургском сейме? Правда ли, что русская императрица написала императору письмо, в котором она заявляет, что считает себя обязанною, по многим соображениям и для спокойствия Европы, смотреть на дело короля французов, как на свое собственное? Правда ли, что она действительно дала вождям мятежников значительные суммы денег, что она послала к ним, чтобы сговориться с ними, лицо, занимающее выдающееся положение в ее государстве?..

«Правда ли, что государи условились созвать конгресс в Ахене, чтобы изменить нашу Конституцию и восстановить дворянство? Правда ли, что этот очевидный проект конгресса должен осуществиться, несмотря на заявление короля, что он принимает Конституцию?»

Но, если все это верно, то существует всеобщий заговор европейских государей против революционной Франции, и война вспыхнет. Мы-то знаем, что это неверно, что Бриссо, в своих угрожающих вопросах уничтожает все оттенки, совершенно не принимая в расчет всех тех бесчисленных трудностей, которые парализовали державы, оговорок, нейтрализировавших их декларации. А именно, мы уже знаем, что в Пильнице австрийский император и прусский король приняли лишь неопределенные обязательства, обусловленные содействием других держав, которые, как Англия, уклоняются. Но если, наконец, все это верно, то колебания в самом деле неуместны, нужно выяснить Франции как велика опасность, и призвать всю страну к священной борьбе за свободу.

Но вдруг Бриссо сообщает нам, что, в сущности, державы желают мира или неспособны вести войну, и что все это лишь фантасмагория.

«Сообразите же, господа, какими державами вас хотят запугать, и вы увидите, не должны ли вы проявить всю вашу энергию или по отношению к ним, или по отношению к мятежникам, которым они благоприятствуют.

«Английский народ любит нашу Революцию, хотя его правительство ее ненавидит, а чтобы судить о силах этого правительства, следует раскрыть перечень уплачиваемых им процентов, выслушать дублинских волонтеров, обойти необитаемые местности Шотландии и следить за лордом Корнваллисом в Серингапатааме.

«Умеренностью английского правительства мы обязаны Типпу, победителю или побежденному, этого правительства не нужно бояться, пока ему придется вести войну в обширном Индостане или управлять им. Я вовсе не хочу унижать здесь свободный народ, с которым у нас должна установиться самая тесная связь, требуемая природою вещей; этот народ призван быть нашим

союзником, нашим братом; но я хочу, я должен устранить неосновательные опасения.

«Таковы же и опасения, внушаемые Австро-Венгрией. Ее глава любит мир, хочет мира, нуждается в мире. (Аплодисменты.) Его громадные потери людьми и деньгами в последней войне, незначительность его доходов, беспокойный и мятежный характер тех народов, над которыми он властвует, недовольство в Брабанте, беспрестанно разжигаемое проповедями Вонкистов и разногласиями между Штатами и Советом, настроение войск, предчувствовавших свободу, уже давших примеры, пагубные для дисциплины, ободряемых снисходительностью, неслыханною в австрийских войсках,—все это заставляет Леопольда прибегать к переговорам а не к оружию.

«Привычки, вкусы и интересы побудят к тому же равным образом и наследника Фридриха Великого, который не может политически оправдать свой союз со своим врагом, если он желает быть вполне добросовестным; ибо французская Революция лишает Австрию части ее влияния в Германии.

«Что же касается той государыни (русской императрицы Екатерины), властолюбие которой не знает пределов, то все соединилось против нее: ее истощенная казна, ее разорительные войны, стихии, расстояния. Трудно подчинить себе рабов на расстоянии тысячи миль; на таком расстоянии нельзя одолеть свободных людей». (Аплодисменты.)

Но что же! Итак, чего хочет Бриссо? Если, несмотря на свои контрреволюционные манифестации, державы или хотят мира, или неспособны вести войну, если их демонстрация против новой свободы Франции является парадом, то они сами от него откажутся, когда увидят, что этот парад напрасен, что Франция не волнуется. Поэтому единственная благоразумная политика—сохранять хладнокровие Франции и осуществлять свободную Конституцию, не беспокоясь из-за иностранных держав. Одною своею прочностью революционная свобода расстроит маневры иностранных держав и восторжествует над всеми этими призрачными проявлениями враждебности.

Но раздражать державы, говорить с ними угрожающим тоном и рисковать таким образом обратить в действительно воинственные намерения их грубые парады или их неясные бессильные желания,—является преступлением против Революции, которой вследствие этого угрожали бы всякие случайности. Это преступление становится еще более тяжким, когда для того, чтобы побудить Францию решиться на эти неблагоразумные шаги, попустому преувеличиваются слабость и затруднения иностранных держав, внутренние затруднения, которые, наверно, не превышали внутренних затруднений самой Франции. И, однако, введя софизмами в заблуждение неосведомленное и неразмышлявшее Собрание, Бриссо одуряет его хвастливыми словами:

«Франция в праве сказать соседним правительствам: мы уважаем вашу страну, но уважайте же нашу; перестаньте давать убежище недовольным, не присоединяйтесь к их кровожадным проектам, об'явите нам, что вы к ним не присоединитесь; или, если вы предпочитаете дружбе с великой нацией ваши отношения с несколькими разбойниками, ждите мщения; мщение свободного народа медленно, но оно поражает наверно». (Аплодисменты.)

Отвратительное упоение невежеством и гордостью! Даже «Ça ira» прозвучало в речи Бриссо—«эта знаменитая песня, которая и в самые отдаленные времена будет разглашать историю Революции». Бриссо прочел проект декрета, оканчивавшийся следующим образом:

«Что касается иностранных держав, благоприятствующих эмигрантам и мятежникам, то Национальное Собрание предоставляет себе право принять в этом отношении надлежащие меры после доклада министра иностранных дел, отсроченного до 1 ноября».

Это была неопределенная угроза; это была зловещая туча, несшая войну. Когда Бриссо сошел с трибуны, где он проронил столько противоречивых, ослепляющих и пагубных слов, «бóльшая часть Собрания и трибун аплодировали неоднократно. Аплодисментами провожают г-на Бриссо до его места, и волнение продолжается несколько минут». Это был роковой день.

Ни один оратор не осмелился ясно ответить Бриссо, что он дерзко компрометировал мир, и что Революция не должна была рисковать собой в этой великой авантюре без верных сведений о состоянии Европы и без абсолютной необходимости. Они скромно и почти униженно заявили, что могут лишь «прибавить несколько искр к великим блестящим словам Бриссо»; другие ограничились заявлением, что он «изменил всю постановку обсуждаемого вопроса», и требовали, чтобы прения были отложены.

Демократические газеты были на короткое время смущены. Еженедельник Прюдома, «Парижские Революции», который тотчас начнет столь прекрасную и столь энергичную кампанию против войны, на первых порах молчит. Он едва упоминает о длинной речи Бриссо и не комментирует ее. Уже это молчание или почти полное молчание о столь сенсационной речи знаменательно: это—скрытое порицание, которое газета еще не смеет выразить. Даже Марат приведен в замешательство; он, который вскоре с такою яростью устремился против Бриссо, выжидает; однако, со своей острой прозорливостью, он, конечно, распознал софизмы и противоречия речи, но, можно сказать, что он не осмеливается открыто выступить с критикой этой речи, и его заключение очень неясно. В нумере своей газеты от 25 октября он пишет: «Я не последую за г. Бриссо в его соображениях о наших политических отношениях с иностранными нациями, которые мы должны считать враждебными, судя по тем обидам, которые от них претерпевают французы, друзья свободы.

«Он думает, что вместо того, чтобы напасть на нас силою, они прибегнут к совместному вооруженному посредничеству, для того чтобы добиться от нас признания дворянства и дать нам английскую форму правления. Но к чему же, скажет, может быть, какой-нибудь резонер, так сильно настаивать на необходимости требовать от них немедленных об'яснений, не ожидая, чтобы они напали на нас внезапно, потому что опаснейшие из них не могут нас очень напугать, тогда как другие заслуживают лишь презрения? А так как нам нечего бояться этих держав, то к чему же так сильно беспокоиться из-за эмигрантов, просящих их поддержки? Зачем чрезмерно преследовать их, не различая между запуганными гражданами и подлыми дезертирами и вероломными изменниками?

«Жестокие нападения на свободу, которые могут произвести эти державы в союзе с внутренними и внешними заговорщиками, и те смертельные удары, которые они готовятся нанести отечеству, должны, наконец, заставить нас раскрыть глаза на грозящие нам опасности и побудить нас прибегнуть к действительным мерам, чтобы заставить вернуться в наши стены беглых заговорщиков».

Очевидно, что возражения, вкладываемые Маратом в уста резонера, бросились в глаза ему самому, и речь Бриссо вызывает в нем беспокойство. Но он еще не решился перейти к наступательному образу действий.

Итак, при своем первом шумном проявлении, воинственная политика, повидимому, вполне восторжествовала. И, однако, намерения держав никогда не были более неясны. Никогда не представлялось более легким догадливою политикой предотвратить всякое нападение и воспрепятствовать соглашению государей. Я уже упомянул о письме английского короля, отказывавшего шведскому королю в каком бы то ни было содействии и своим твердым намерением соблю-

дать нейтралитет лишавшего пильницкое соглашение всякого значения. Я уже упомянул и о том, что писал Ферзен о совершенно отрицательных решениях императора Леопольда. Достоверно известно, что в октябре, в тот самый момент, когда Бриссо побуждает Францию к решительному шагу, у двора и у держав обнаруживаются очень сильный разлад и колебания.

Королевская измена продолжается. Ни Людовик XVI, ни Мария-Антуанетта не принимают Революции и Конституции. Но они поражены ужасом; они боятся, что неблагоразумие эмигрантов подвергнет их свободу и даже жизнь величайшим опасностям. Они стараются парализовать эмиграцию и требуют от иностранных государей созыва конгресса. Этот конгресс постарается навязать Франции новую конституцию, относящуюся к монархии с бо́льшим уважением. Это измена, но измена, к которой примешивался страх. Ибо Людовик XVI и Мария-Антуанетта боятся, что если конгресс государей сразу прибегнет к силе, то он вызовет ужасное восстание всей Франции. Нужно было бы, чтобы он мог действовать, оказывая некоторого рода давление. Но это давление окажет действие лишь в том случае, если державы будут совершенно единодушны.

Но это совершенное единодушие является, в данный момент, химерой. Некоторые державы выжидают и ссылаются на принятие Конституции Людовиком XVI. Принцы, эмигранты, которым король выражает свое неодобрение, которых королева боится, надоедают державам и с каждым днем все более и более раздражаются; но их ярость бессильна.

20 октября, в тот самый день, когда Бриссо впервые трубит о войне, граф Ферзен пишет шведскому королю: «Государь, я уверен в том, что император намерен одобрить санкцию французского короля и ничего не делать в данный момент под тем предлогом, что нельзя изобличать его во лжи. Но единственное, чего можно было бы добиться, было бы немедленное возвещение о конгрессе, выбор места и назначение членов, из которых он должен был бы состоять. Предлогом для этого конгресса послужил бы захват Собранием Авиньона. Следовало бы побудить папу потребовать вмешательства всех европейских держав против такого захвата. Испанский двор мог бы посоветовать этот шаг его святейшеству. О д н а к о я е щ е с о м н е в а ю с ь, ч т о и м п е р а т о р **п р и м е т а к т и в н о е у ч а с т и е в э т о й п о п ы т к е, е с л и е г о** н е п о б у д я т к э т о м у д р у г и е д в о р ы.

Мария-Антуанетта пишет 19 октября Ферзену: «Я пишу г-ну де-Мерси, чтобы ускорить конгресс. Я поручаю ему передать вам мое письмо; итак, я не вхожу в подробности относительно этого в данном письме к вам. Я видела г-на дю-Монтье, который также очень желает этого конгресса. Он даже развил мне некоторые основные идеи, которые я нахожу благоразумными. Он отказывается от министерства, и я даже посоветовала ему это. Этого человека следует сохранить для лучших времен, а он погиб бы».

И она продолжает свое письмо словами, свидетельствующими об унынии, почти об отчаянии: она не знает, кого она более боится: французов за границею, эмигрантов или французов внутри страны, революционеров: «В данный момент все довольно спокойно, но это спокойствие держится на волоске, и народ всегда таков, какой он был, от него можно ждать ужасов; нам говорят, что он за нас; я лично этому нисколько не верю. Я з н а ю ц е н у в с е м у э т о м у; в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в з а э т о з а п л а ч е н о; и он любит нас лишь постольку, поскольку мы делаем то, чего он хочет. Долго так невозможно существовать; в Париже не безопаснее, чем прежде, а, может быть, еще менее безопасно, ибо привыкают видеть, как нас унижают... Ф р а н ц у з ы ужасны со всех сторон. Н у ж н о, к о н е ч н о, б ы т ь о с т о **р о ж н ы м и, т а к, ч т о б ы, е с л и з д е ш н и е р е в о л ю ц и о н е р ы** о д е р ж а т в е р х и п р и д е т с я ж и т ь с н и м и, т о ч т о б ы

они не могли нас ни в чем упрекнуть; но следует также думать и о том, чтобы, если заграничные снова станут господами, не прогневить их...»

Это крайний испуг; она уже не знает, какая партия одержит верх, и хочет жить в ладу со всеми. Это уже не гордая и оскорбленная королева, рассчитывающая способы отмщения. Это — существо, находящееся в отчаянном положении, не желающее погибнуть; и с какой печалью она констатирует ничтожность этих «популярных» аплодисментов, оплачиваемых на счет цивильного листа.

21 октября барон Таубе пишет из Стокгольма к Ферзену: «Что касается французских дел, вот что говорят принцы в своем письме к (русской) императрице: медленность, проявляемая венским и мадридским кабинетами, нерасположение последнего, который мы имеем веское основание считать продавшимся нашим врагам; наконец, интриги барона де-Бретейля, — ибо пора назвать его вашему величеству,—который предпочитает все расстроить, чем видеть успех не им самим составленных проектов, и т. д. и т. д.».

Итак, у эмигрантов — гнев и разочарование; у королевы — ужас и двуличие; нерешительность и параличи держав; какое-то бесплодное и безобразное, неудачное старание вызвать измену и войну.

31 октября Мария-Антуанетта пишет Ферзену: «Письмо старшего из братьев короля (графа Прованского) к барону (де-Бретейлю) изумило и возмутило нас; но нужно иметь терпение и не слишком обнаруживать свой гнев в данный момент; однако, я перепишу это письмо, чтобы показать его своей сестре (Елизавете, сестре Людовика XVI, которая держала сторону принцев). Мне интересно, как она станет оправдывать это письмо среди всего того, что происходит. Наша домашняя жизнь — ад; с наилучшими намерениями ничего нельзя сказать. Моя сестра настолько болтлива, окружена интриганами, а, главное, подчиняется своему брату, находящемуся за границей, что нам нельзя говорить друг с другом, или пришлось бы целый день ссориться. Я вижу, что властолюбие людей, окружающих старшего из братьев короля, совершенно погубит его; сперва он вообразил, что все дело в нем, но, сколько бы он ни старался, он никогда не будет играть этой роли; его брат (Людовик XVI) всегда сохранит преимущество пред ним и доверие во всех партиях, благодаря постоянству и неизменности своего поведения. Очень жаль, что старший из братьев короля не вернулся тотчас же после того, как нас задержали; он всегда держался бы в таком случае того образа действий, который он возвестил, и он избавил бы нас от многих затруднений и несчастий, которые, быть может, явятся результатом тех требований, с которыми мы будем вынуждены к нему обратиться, чтобы он вернулся, на что, как мы хорошо понимаем, он не может согласиться, в особенности таким образом.

«Мы уже давно горюем из-за многочисленности эмигрантов: мы чувствуем, что это неудобно как для королевства, так и для самих принцев. Ужасно, как обманывают и обманули всех этих порядочных людей, у которых скоро не останется иных средств, кроме ярости и отчаяния.

«Те из них, которые настолько доверяли нам, что советовались с нами, были удержаны, и, по крайней мере, если они полагали, что их честь требует их от'езда, мы сказали им правду. Но чего же вы хотите? Принято, стало манией, для того, чтобы не выполнять из'явлений нашей воли, говорить не только, что мы не свободны (что очень верно), но что, следовательно, мы не можем говорить того, что мы думаем, и что нужно поступать наоборот... Однако возможно, что именно теперь они делают глупости, которые погубят все, а

потому я считаю нужным во что бы то ни стало остановить их (принцев). А так как, судя по тому, что возвещается в вашем письме, и по письму г-на де-Мерси, я надеюсь, что конгресс может состояться, по моему мнению, следовало бы послать к ним отсюда какого-нибудь надежного человека, который мог бы выяснить им опасность и нелепость их проекта и в то же время выяснить им наше истинное положение и наши желания, доказав им, что в данный момент единственный образ действия, которого нам следует держаться, заключается в том, чтобы приобрести здесь доверие народа, что это необходимо и даже полезно для каких бы то ни было проектов; что нужно, чтобы для этого все шло согласовано, и что, так как державы не могут притти с большими силами на помощь Франции зимой, лишь конгресс может собрать и об'единить возможные средства для весны.

«... У Испании была еще иная идея, которую, однако, я считаю очень плохою, а именно дать войти принцам со всеми французами, поддерживаемыми лишь шведским королем в качестве нашего союзника, и об'явить в манифесте, что они являются не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы присоединить всех французов к своей партии и об'явить себя покровителями истинной французской свободы.

«Великие державы доставили бы все денежные средства, необходимые для этой операции, и сами оставались бы по ту сторону границы, с войсками, достаточно многочисленными для того, чтобы произвести внушительное впечатление, но ничего не делать, чтобы нельзя было воспользоваться предлогом вторжения и страхом раздела Франции.

«Но все это неудобоисполнимо в таком виде, и я полагаю, что если император поспешит об'явить о конгрессе, то это единственный подходящий и полезный способ покончить со всем этим. Я не понимаю, почему вы хотите, чтобы немедленно уволили посланников и послов (уполномоченных в Париже державами); мне кажется, что так как будет считаться, по крайней мере на первых порах, что этот конгресс собрался как для дел, касающихся всех европейских держав, так и для французских дел, то нет оснований для этого быстрого удаления, а затем существует ли уверенность в том, что все державы поступят одинаковым образом, и не думают ли, что Англия, руководимая ею Голландия и даже Пруссия оставят своих посланников, чтобы помешать другим? Тогда во мнениях Европы обнаружилось бы разногласие, которое могло бы лишь повредить нашим делам; может быть, я ошибаюсь, но я полагаю, что лишь полное согласие, по крайней мере наружное, могло бы произвести здесь внушительное впечатление».

Ясно, что Революции не угрожало никакой непосредственной опасности, что она имела время организоваться, укрепиться внутри, расстроить интриги и измены и, может быть, заставить Европу и королей признать себя, благодаря престижу своей силы, не подвергая себя опасности войны.

Как неблагоразумно было со стороны Бриссо и его друзей возбуждать и об'единять своими вызовами, своими требованиями столь непостоянных и столь раз'единенных государей!

Еще 4 сентября Ферзен пишет из Брюсселя шведскому королю: «Все заставляет меня думать, что венский кабинет намеревается ничего не делать. Своими речами он уже заставил короля утвердить законы, лишил северные державы, соглашения между которыми он боится, возможности действовать. Император только что принял французского посла и новые кредитивные грамоты, представленные ему последним; он во всеуслышание выражает в Вене свое удо-

вольствие по поводу санкции французского короля и, сказав мне, что единственный способ притти на помощь королю заключается в том, чтобы принять Конституцию, не делая в ней никаких изменений, он выдает это самое принятие за основание для невмешательства. Кроме того, я знаю, что распоряжения, сделанные относительно передвижения войск, только что отменены, и граф де-Мерси холодно отзывается о созыве конгресса.

«Князь Кауниц не любит Франции, и ему доставит удовольствие унижение этой державы. Император слаб и подчиняется руководству своих министров, к тому же он лично симпатизирует Англии. Готовность прусского короля поддерживать короля пугает их; они усматривают в этом несомненный проект заключить союз с Францией; не подлежит сомнению, что они проектируют заключение союза с Англией, и некоторые выражения в разговоре графа де-Мерси с одним лицом, подробно переданном мне, подкрепляют мое вышеизложенное мнение».

Разлад еще увеличивается благодаря тому, что русский двор во всеуслышание порицает как слабость, как отступничество от дела государей даже и притворное принятие Конституции Людовиком XVI; итак, это совершенно противоречит тактике, рекомендуемой императором Леопольдом.

Барон Стединг, шведский посол в С.-Петербурге, пишет графу Ферзену 25-го октября (5 ноября): «Все то, что делается в Тюильери в течение последнего месяца, смущает весь свет. Неблагонамеренные и нерешительные дворы пользуются этим для оправдания своего бездействия. Враги монархии аплодируют, а верноподданные короля опечалены.

«Иногда мне кажется, что королева намерена снискать расположение народа, чтобы восстановить королевскую власть теми же руками, которые ее уничтожили... То, что я вам пишу, является не только моим личным мнением, но таково же мнение и ее величества (русской) императрицы (Екатерины), которая умна и очень верно судит».

Граф Эстергази пишет Ферзену из Санкт-Петербурга 28-го октября (6-го ноября):

«Мы не ошиблись относительно посредничества императора (Леопольда). Он сделал самое худшее, что только мог, для наших дел, и даже здесь стало известно 15-го октября, что маркизу де-Ноайлю (конституционному французскому послу) уже назначен день для аудиенции. Поведение здешнего двора (русского) несколько отличается от этого; он высказывается во всеуслышание, но еще не действует, и время года — хороший предлог, потому что так запоздали. Швеция выражает те же чувства, но, может быть, более сильное желание действовать; однако, для того, чтобы успех был верен, оба двора сильно желают, чтобы между Тюйльери и принцами установилось согласие...

«Раз'ясните нам, как можно об'яснить образ действий короля (Людовика XVI)? Если он искренен (принимая Конституцию), то он обрекает себя на унижение, в глазах своего века и потомства, а если он обманывает, то он заходит в этом слишком далеко, чтобы его можно было оправдать необходимостью или опасностью. Я желал бы, по крайней мере, чтобы он доказал видимым сопротивлением, что он вынужден пробовать совершать те унизительные поступки, которых от него требуют. Это дало бы оружие тем, кто хочет принести ему пользу, даже вопреки ему, и не позволило бы слабым, ищущим лишь предлога, бездействовать.

«Я согласен с тем, что основы нынешней Конституции так ошибочны, что она не может применяться, но пока непреодолимая сила не продиктует законов, не считаясь с тем, что было сделано, из нее кое-что сохранят, часть ее уничтожат, часть изменят, и результатом этого косного и ненадежного состояния

явятся беспорядки иного рода, которые всегда будут порождать анархию и бедствие, являющиеся их последствиями.

«Вы, мой друг, так же, как и я, желающий лишь блага королевской фамилии, старайтесь всеми способами доказать, что без соглашения нельзя ничего сделать, кроме зла. Прежде, чем знать, кто будет править Францией, приведем Францию в такое состояние, чтобы ею можно было управлять; и прежде чем спорить о том, кому достанется министерство, подождем, чтобы в ней существовал король. Всякое промедление в этом отношении является столь большим злом, что если оно еще хоть немного продлится, оно станет непоправимо. Правда ли, что эрцгерцогиня во всеуслышание говорит, что император не даст им ни людей, ни денег и что, так как король доволен Конституцией, было бы безумием подвергаться риску, чтобы ее изменить? Пусть она бережется! Устанавливая этот принцип, она может дать себя еще раз прогнать из Нидерландов, и верьте, что зараза быстро распространится повсюду, где государи не проявят достаточно характера, чтобы немедленно вырезать все то, что поражено гангреной».

Итак, между тем как австрийский император обнаруживает нерешительность и ищет всяких поводов для того, чтобы не вмешиваться во французские дела, между тем как Англия заявляет о своем абсолютном нейтралитете, — северные дворы, шведский и русский, высказываются довольно громко, но делают мало и, в особенности, ставят условием своего действия невозможное изменение в образе действий Людовика XVI. Они требуют от него, чтобы он подготовлял восстановление абсолютизма, которое ему самому кажется неосуществимым. Наконец, они требуют от него, чтобы он разоблачил себя в глазах французов и так ясно показал, что принятие им Конституции является вынужденным, что ни один француз не мог бы ни на одно мгновение доверять ему. В этом смысле шведский король пишет Ферзену 11 ноября: «Двусмысленное поведение этого государя (австрийского императора) и его беспрестанные увертки предвещали нам давно принятое им решение, и все, что он делал, клонилось лишь к тому, чтобы помешать действовать другим державам, заставляя их терять время; но верно и то, что постыдное поведение французского короля удивительно благоприятствовало его проектам, и хотя мы должны были ожидать слабых поступков, поведение французского двора, конечно, превзошло трусостью и бесчестием все то, что от него можно было ждать, и на что можно было найти указания в прошлом; однако, еще прискорбнее то, что, унизив до такой степени свое достоинство, он еще старается создавать препятствия для тех усилий, которые его братья и державы, интересующиеся участью этого государя и благом Франции, могут сделать для того, чтобы ему помочь. Если же королева предпочитает зависимость и опасность, среди которых она живет, зависимости от принцев, своих братьев (своих деверей), которой она, повидимому, более опасается, хотя весьма неосновательно, то я должен вам сказать, что (русская) императрица очень недовольна этим поведением».

И шведский король доходит до того, что третирует Марию-Антуанетту, как подозрительную, которая должна письменно засвидетельствовать свою ненависть к Революции. «Итак, вы должны энергично указать королеве на то, что она непременно должна дать письменные уверения, доказывающие насилие, которому она подвергается и подвергалась с тех пор, как она возвратилась, пользуясь кажущеюся свободою, для того, чтобы это письменное уверение служило оружием против тех предлогов, которыми воспользуется император, и чтобы заставить этого государя принять лишь на себя позор своего поведения, который он теперь пытается свалить на нее».

Итак, у врагов Революции обнаруживаются разлад, недоверие, паралич. И это бессилие становится столь резко выраженным, что 26 ноября 1791 года

Ферзен, в мемуаре, представленном Марии-Антуанетте, в котором он резюмирует общее положение дел, формально просит ее уже не рассчитывать на австрийского императора и обойтись без его содействия: «если верно, что, как я полагаю, вы уже не можете рассчитывать на австрийского императора, то вам непременно следует возлагать надежды на помощь с другой стороны, и этой стороной могут быть лишь Север и Испания, которые должны побудить Пруссию к решительным мерам и увлечь за собой императора».

Но это ребяческий план. Что такое представил бы собою конгресс государей, намеревающийся восстановить власть Людовика XVI, на который брат Марии-Антуанетты, австрийский император, не явился бы или явился бы лишь по принуждению. Впрочем, сам Ферзен не мог думать, чтобы прусский король неблагоразумно держался политики, которая могла бы повести к войне, не вовлекая в то же время в эту политику австрийского императора. В мемуаре от 29 ноября он пишет: «Мне сообщают из Берлина: русская императрица написала прусскому королю, приглашая его настоятельнейшим образом принять вместе с нею энергические меры для того, чтобы вернуть французскому королю его свободу и прерогативы его трона. Его величество, прусский король, ответил, что он готов и что он продолжает питать чувства, выраженные в Пильнице, лишь бы все остальные державы, и в особенности император, пожелали способствовать достижению той же цели. Принцам равным образом было передано, что им следует лишь строго сообразоваться с тем, что сделает венский двор, и что если этот последний будет продолжать бездействовать, то и прусский король с своей стороны ничего не сделает».

Итак, повидимому, решимость проявляла лишь русская императрица. А ее игра оказывается слишком явно эгоистическою. Она хорошо знает, что уже в силу расстояния, ей придется выставить против революционной Франции лишь ничтожную часть своих сил; тогда никто не мог предвидеть ужасной дуэли между Наполеоном и Россией. Итак, Екатерина вовлечет всю Европу в войну против Франции; эта война будет тем ожесточеннее, тем продолжительнее, она тем более поглотит силы Австрии и Пруссии, чем более деспотический режим и чем более суровые условия вознамерятся навязать Франции. А тем временем влияние России окажется неограниченным в Польше, в Турции, на берегах Дуная. Итак, единственная держава, громко высказывающаяся, старается втолкнуть других в западню, и самое ее рвение усиливает общую недоверчивость и нерешительность.

Несмотря на все это, Людовик XVI и Мария-Антуанетта не склоняются к политике эмигрантов. Они продолжают надеяться на то, что император созовет конгресс. 19 октября Мария-Антуанетта пишет графу де-Мерси-Аржанто: «Я сообщила вам мою идею относительно конгресса. С каждым днем эта мера становится все более и более безотлагательной. Братья короля, вследствие многочисленности присоединившихся к ним лиц, сами поставлены в такое положение, что они уже не могут сдержать тех, кого хотели бы, и может быть, в недалеком будущем, они будут вынуждены выступить. Судите о том, насколько ужасное их положение и наше. С одной стороны, мы будем вынуждены выступить против них, и иначе не может быть, а с другой стороны, нас еще будут подозревать в неискренности и в соглашении с ними...

«Нельзя предвидеть, без содрогания, последствия подобного события и ту опасность, которой мы подвергались бы здесь. Итак, следует во что бы то ни стало избежать этого, а это может сделать лишь император, открыв конгресс, немедленно назначив место его заседаний и некоторых из членов, которые войдут в его состав».

На основании записки от графа де-Мерси к Марии-Антуанетте от 26 октября, можно было бы полагать, что император в самом деле соглашается с мыслью о конгрессе. «Было заранее решено все, указываемое нотою от 19 числа относительно полезности конгресса; более чем вероятно, что державы присоединятся к этому предложению. К этому очень склоняются в Вене, куда та же самая нота от 19 числа будет отправлена без промедления. Теперь принцы жалуются на императора и приписывают ему все отсрочки и препятствия для осуществления своих проектов. Подобные приемы очень не нравятся монарху; он пользуется всеми находящимися в его распоряжении средствами для того, чтобы остановить активные проекты принцев».

Но уже 21 ноября Мерси-Аржанто сообщает Марии-Антуанетте, что не следует рассчитывать на конгресс. Император полагает, что король должен испробовать Конституцию. Он должен по крайней мере постараться вернуть себе популярность и лишь в том случае, если бы наступило противоположное тому, на что можно было бы рассчитывать от этой политики, державы вмешались бы. «Исходя из этого плана, конгресс считают бесполезным и даже невозможным. Нельзя вести переговоры с узурпаторами верховной власти; король не может принять их мандат, а если бы он его принял, то разве можно было бы требовать от него чего-либо не противоречащего только что принятым им обязательствам, так как всего, что стоило бы требовать, можно было бы требовать лишь от имени короля и для него? Беря на себя ведение переговоров, этот монарх должен был бы отстаивать и ту и другую сторону. Если, в случае отказа, решатся вести войну, то против кого же ее будут вести, так как после принятия Конституции уже нельзя отделять короля от Национального Собрания?»

Итак, австрийский император не ограничивается отказом от всякого вмешательства как дипломатического, так и вооруженного; он старается доказать Людовику XVI и Марии-Антуанетте, что, будучи связаны своим принятием Конституции, они обречены на непоследовательность и бессилие, если они не станут действовать в смысле Конституции.

Людовик XVI продолжает настаивать в мемуаре, адресованном на имя барона де-Бретейля: «Вся политика должна свестись к устранению мысли о вторжении, которое эмигранты могли бы попытаться произвести сами по себе; было бы несчастьем для Франции, если бы эмигранты оказались в первом ряду и если бы они получили поддержку лишь от некоторых держав.

«Как знать, не оказали ли бы другие державы, например, Англия, по крайней мере втайне, помощи другой партии и не извлекли ли бы они выгоды из печального положения Франции, которая раздирает сама себя?

«Нужно убедить эмигрантов в том, что они не сделают ничего хорошего до весны, что их интересы так же, как и наши, требуют, чтобы они перестали внушать беспокойство. Можно предчувствовать, что если они сочтут себя покинутыми, то они дойдут до излишеств, которых следует избежать; нужно, чтобы одни из них надеялись на весну, и следует позаботиться об удовлетворении потребностей других. Конгресс достиг бы желанной цели, он мог бы удержать эмигрантов и устранить мятежников.

«Державы сговорились бы относительно того, каким тоном следует заговорить со всеми партиями. Их совместные действия могут лишь произвести внушительное впечатление, не вредя интересам короля; кроме их частных интересов, может быть, представятся случаи, когда такое вмешательство оказалось бы необходимым: например, если бы пожелали основать республику на развалинах монархии. Невозможно, далее, чтобы в них не вызывало беспокойства то обстоятельство, что так как старший из братьев короля и граф д'Артуа не возвращаются, всего ближе к трону оказывается герцог Орлеанский; сколько тем для размышлений!

«Твердый и однообразный тон со стороны всех европейских держав, поддерживаемых грозной армией, повлек бы за собой счастливейшие последствия; он умерил бы пыл эмигрантов, которые стали бы играть лишь второстепенную роль. Мятежники пришли бы в замешательство, а хорошие граждане, друзья порядка и монархии, ободрились бы. Эти идеи имеют значение для будущего и для настоящего... Король не может и не должен сам по себе отменить то, что было сделано; следует, чтобы этого пожелала бо́льшая часть нации, или чтобы его принудили к этому обстоятельства, а в таком случае ему нужно приобрести доверие и популярность, действуя в смысле Конституции; при ее буквальном применении скорее обнаружатся ее недостатки, в особенности если устранить беспокойство, внушаемое эмигрантами. Если они вторгнутся, не располагая превосходными силами, то они погубят Францию и короля».

Но даже эта комбинация — созыв Европейского конгресса, на которую лукавый властитель рассчитывал для того, чтобы отнять, без опасности для себя самого, у Франции свободную Конституцию, которой он поклялся быть верным, решительно не удавалась королю и расстроилась. 30 ноября Мерси, выражая некоторое нетерпение и раздражение, повторяет отказ императора. Он пишет Марии-Антуанетте: «Были изложены доводы против конгресса, — и в силу многих иных соображений этот конгресс принес бы Франции более вреда, чем пользы, на что имеются более чем вероятные указания. Составился план побудить императора подвергнуться всякому реальному риску, тогда как другие избежали бы этого».

Между бароном де-Бретейлем и графом де-Мерси произошло очень резкое об'яснение, излагаемое Ферзеном в мемуаре от 26 ноября.

«Отказ императора от конгресса является новым доказательством того, как мало вы можете рассчитывать на его помощь и как важно, чтобы вы обратились в другое место. Барон имел по этому поводу очень резкий разговор с г-ном де-Мерси и выразил ему, до какой степени его огорчает то, что император так мало интересуется вашим положением, и подробно изложил ему, что он предвидит, что русская императрица с удовольствием сделала бы то, чего не пожелал попытаться сделать император; что король был бы обязан ей и шведскому королю за то, за что ему было бы приятнее быть обязанным императору что в таком случае император должен, по крайней мере, освободить его от выражения признательности, которую он из'явил бы тем, которые оказали бы ему столь важную услугу. Г. де-Мерси защищался очень слабо, он утверждал, что конгресс был бы совершенно бесполезен, и что в нем не было бы ничего внушительного, что за отсутствием предметов для переговоров, он бездействовал бы... и т. д.». Указание на отсутствие предметов для переговоров означало, что, следовательно, австрийский император воздерживался от давления на внутреннюю политику Франции.

Итак, достоверно известно существование двух важных фактов, осенью 1791 года, в течение двух первых месяцев деятельности Законодательного Собрания: во-первых, измена короля продолжается. Она более осторожна и как бы сдерживается страхом. Она столь же преступна. Король желает отклонить от себя компрометирующие предприятия эмигрантов, но он фактически продолжает побуждать иностранцев вторгнуться, потому что этот конгресс, «поддерживаемый грозными армиями», является прелюдией к вторжению; в самом деле, если Франция не примет той более чем на половину деспотической Конституции, которую ей предложит конгресс, то последний постарается навязать ей эту Конституцию силой оружия. Итак, король постоянно изменяет, хотя дрожащей рукой. Это—первый бесспорный факт, а вторым фактом является нерешительность монархической Европы или ее бессилие вмешаться.

Этими двумя фактами должна была бы определяться вся политика Законодательного Собрания. Оно должно было зорко смотреть за происками короля, заставить его назначить министрами патриотов, друзей Революции, быть наготове возбудить против него общественное мнение и народ в тот день, когда какой-нибудь преступный шаг обнаружил бы его тайную измену, и чрезвычайно заботиться о том, чтобы не раздражать Европы, чтобы избежать всякой возможности войны.

Совершенно наоборот, по внушению Бриссо, Законодательное Собрание в этот период от октября 1791 года до апреля 1792 года щадит короля, который изменял, и раздражает иностранные державы, вовсе не желавшие нападать. Как об'яснить это громадное и пагубное недоразумение? Я хорошо знаю, что Бриссо был сварлив и беспокоен. У него было высокое мнение о самом себе, постоянное себялюбие. Он рассказывает в своих мемуарах, что в детстве, когда он читал известия об играх и о воспитании сына короля, он говорил себе: «Почему же он, почему не я?» Он много читал поверхностно и наскоро и считал себя способным говорить обо всем. Прежде он проживал в Лондоне; он знал заграничную жизнь несколько лучше, чем его товарищи по Законодательному Собранию, и в революционной прессе любил постоянно говорить о Соединенных Штатах, об Англии, о мировых событиях. Какая слава, если бы благодаря ему Революция охватила всемирный горизонт! Он мечтал о громадном пожаре, очагом которого была бы Франция, при чем воссияла бы свобода, и, не рассчитывая опасностей и сил, он замышлял ловкие проделки.

Учредительное Собрание тесно замкнулось во внутреннюю политику: оно отвергло всякие завоевательные стремления, всякую систематическую внешнюю пропаганду; оно даже долго отказывалось принять свободное присоединение Венессенского графства, чтобы не вызвать недоверия иностранных держав. Новым людям казалось, что внутренняя политика не сулит ни сильных эмоций, ни славы. Конституция была установлена, или казалось, что она установлена, и как бы ни была она неполна и несовершенна с точки зрения демократов, они не могли изменить ее одним решительным ударом. Итак, внутри страны на их долю оставалась лишь неблагодарная задача подавлять клерикальное возмущение, упрочить финансы, следить за тем, как функционирует механизм, построенный другими. При такой необходимой и почтенной, но скромной работе, тщеславный, нетерпеливый, заваленный делами Бриссо был стеснен. Итак, он переходил к иностранным делам, обращался к миру. Там бесконечные осложнения могли доставить ловким «государственным людям» повод к действиям, дать им возможность достигнуть славы. Но как вовлечь Францию в огромную всемирную драку? Как связать столь явно замкнутое до сих пор революционное движение со всемирным движением?

Бриссо не желал ожидать того, что пример свободной и счастливой Франции вполне естественно подействует на другие народы. Он желал раздуть события. И он вдруг раздувает этот жалкий мелкий вопрос об эмигрантах, чтобы внезапно раскрыть перед Францией какую-то неведомую, смущающую и опьяняющую перспективу беспредельного действия. Через это жалкое, внезапно расширенное слуховое окно Бриссо начинает кидать на мир вызывающий взгляд.

Но как же за ним следует бо́льшая часть Собрания и общественного мнения? Каким образом Франция, казавшаяся столь решительно миролюбивой при Учредительном Собрании, принимает воинственную позу? Она еще говорит о мире, но ясно, что у нее уже нет страстного желания избежать войны, что она не предвидит всех ее опасностей и что в глубине ее души ее призывает нечто беспокойное, пламенное и отважное. Может быть, Собрание не было точно осведомлено о положении дел? Или оно преувеличивало решимость иностранных

государей начать войну? Но мы видели, что даже в своей столь противоречивой и столь опасной речи Бриссо признавал, что Европа желала мира.

И мы вскоре увидим, даже из слов тех, кто после Бриссо побуждал к войне, а именно из слов Рюля и Давергу, что они были точно осведомлены о положении дел и о мыслях держав. С другой стороны, могли ли жирондисты питать абсолютное доверие к королю? Могли ли они забыть бегство в Варенн и нарушение стольких клятв? Итак, откуда же явилась в данный момент эта воинственная опрометчивость Революции? Откуда явилось это вызывающее неблагоразумие по отношению к иностранным державам и это кажущееся доверие к королю?

Повидимому, некоторого рода расслабленность овладевала умами. Сопротивление дворян и священников продолжалось дольше, чем предполагали, и молодые ораторы Законодательного Собрания выражали свой гнев в резких словах, от которых терялось хладнокровие; мало-по-малу они вносили в иностранные дела, где в данный момент очень нужно было бы благоразумие, те же самые привычки к страстной декламации. Иснар восклицал 31-го октября по поводу эмигрантов:

«Хотя мы уничтожили дворянство и сословных представителей, эти пустые призраки все еще пугают трусливые души. Я скажу вам, что пора, наконец, самоуверенно применять великое уравнительное начало, которое установлено в свободной Франции. Я спрошу вас: разве, продолжая ставить некоторые головы выше законов, вы убедите граждан в том, что вы сделали их равными; разве, прощая всех тех, кто хочет снова поработить нас, мы намереваемся продолжать жить свободными; я скажу вам, законодатели, что толпа французских граждан, ежедневно видящая, что ее наказывают за малейшую погрешность, требует, чтобы вы, наконец, искупили великие преступления; я скажу вам, что лишь после того, как вы приведете в исполнение эту меру, уверуют в равенство и анархия исчезнет. Ибо не обманывайтесь относительно этого: долгая безнаказанность преступников сделала народ палачом. (Аплодисменты.) Да, гнев народа, подобно гневу бога, слишком часто является лишь ужасным дополнением к молчанию законов. (Громкие аплодисменты.) Я скажу вам: если мы хотим жить свободными, то нужно, чтобы нами правил закон, лишь закон; чтобы его грозный голос раздавался как во дворце сильного, так и в хижине бедняка, и чтобы столь же неумолимый, как смерть, когда она поражает свою жертву, он не различал ни званий, ни титулов».

Это были горячие слова, в которых Марат с радостью узнавал свой собственный тон. Он называет речь Иснара «речью, блистающею мудростью и проникнутою пламенными гражданскими чувствами».

Но тотчас же, тем же разгоряченным тоном, он говорит об Европе: «Один оратор сказал вам, что сильные должны быть снисходительными, что Россия и Швеция разоружаются, что Англия щадит нашу славу, что Леопольду приходится считаться с потомством; я же боюсь, господа, что вскоре вспыхнут заговоры, как вулкан, и что нас стараются усыпить в пагубной беспечности. Я скажу вам, что деспотизм и аристократия не мертвы и не спят; и что, если нация заснет на одно мгновение, она проснется закованною в цепи». (Аплодисменты.)

Для Законодательного Собрания и для страны было огромным несчастьем, что в это время в самом Законодательном Собрании не нашлось ни одного человека, у которого было бы сильное революционное чувство, и который, возбуждая святое стремление нации к свободе, в то же время предостерег бы ее от всяких воинственных увлечений. Ах! Если бы жил Мирабо, и если бы он жил, будучи свободен от всякой тайной связи с двором, его революционный и в то же время мудрый гений, может быть, спас бы свободу и отечество.

Однако ни беспокойные претензии Бриссо, ни ораторские увлечения и воинственная риторика Иснара не могут в достаточной степени об'яснить этот важный и столь странный факт: каким образом осенью 1791 года в Революции вдруг обнаруживается воинственное настроение? Вот, по моему мнению, решительное об'яснение. В сознании революционеров в конце 1791 года и в 1792 г. обнаруживалось ужасное беспокойство, возникало сомнение, и война смутно представлялась косвенным средством смело решить проблемы, которых Революция не могла прямо разрешить. Ей приходилось бороться с ужасною трудностью.

Ее точкой опоры была Конституция: она боялась, уничтожив ее, выдать все врагам свободы. Но эта Конституция предоставляла королю также полномочия, благодаря цивильному листу, благодаря выбору министров, благодаря приостанавливающему veto, простирающемуся на две легислатуры, что если бы король оказался недобросовестным, то он мог бы легально, конституционно извратить Революцию, предать ее обезоруженною врагу. А можно ли было в самом деле доверять королю? После бегства в Варенн было об'явлено, что нет оснований предавать короля суду, и он принял Конституцию: казалось даже, что, наружно, он сообразуется с нею, но сколько причин сомневаться в нем! Не мог ли он вести тайные переговоры с иностранцами? Какая гарантия имелась у нации? И революционная нация испытывала тягостное чувство пред загадочной фигурой, пред ненадежной и столь часто оказывавшейся предательской душой короля. Кто разгадал бы эту загадку? Какой огонь подверг бы испытанию этот подозрительный и нечистый металл? Ах! Если бы началась великая война, если бы король был вынужден выступить против иностранных государей, вооружившихся, повидимому, ради его дела, ему, конечно, пришлось бы признаться, наконец, открыться! Или он честно повел бы войну, и Революция, уверенная в нем, наконец, избавилась бы от часто возникавшего у нее и обессиливавшего ее подозрения, или он изменил бы, и эта измена короля по отношению к нации дала бы нации силу казнить короля. Нужно представить себе состояние народа, втихомолку ежедневно задающегося вопросом, что делает его глава, верен ли он или вероломен, или не сочетаются ли у него в неизвестных и изменчивых пропорциях верность и вероломство?

Это было для него угрожающей и в то же время раздражающей загадкой, одной из тех болезненных неотступных мыслей, от которых следует избавиться во что бы то ни стало. Но что же? Не лучше ли обратиться с призывом к революционной энергии народа и свергнуть внушающего подозрения короля, чем требовать от войны, может быть, пагубной, какого-то испытания двусмысленной лойяльности короля? Да, но в конце 1791 года революционные демократы уже не верили в революционную энергию народа, и, по правде говоря, сама Революция так часто подавляла эту энергию, так часто противилась решительным усилиям народных движений, что казалось естественным уже не рассчитывать на столько раз отталкиваемый порыв.

17 июля народ подал петицию, требовавшую Республики; сама Революция утопила его петицию в крови. Теперь народ молчал, и несомненно, что никаким возбуждением, кроме вызванного внешними войнами, нельзя было бы вывести его из его оцепенения. Итак, вовсе не энтузиазм, внушаемый свободою, как повторяли многие историки, вызвал войну.

Война началась вовсе не благодаря революционной восторженности, а, напротив того, вследствие ослабления Революции. Существует множество свидетельств относительно этого ослабления, этого уныния демократов, революционеров, в тот самый период, когда произносились пламенные воинственные речи. Марат переживал в эту эпоху кризис отчаяния.

В номере своей газеты от 21 сентября он заявляет, что Революция погибла, и рисует удивительную картину консервативных сил, развивавшихся в ней, и,

повидимому, подчинивших ее себе. «Мы, было, завоевали свободу удивительнейшею из всех революций, но едва воспользовавшись ею в течение одного дня, мы утратили ее благодаря нашей глупости, нашей трусости, и теперь мы дальше от нее, чем до взятия Бастилии. Пусть у нас будут законы, устанавливающие наши права; я сотню раз доказывал, что эти законы смешны, но даже если бы они не были сами по себе притеснительны, те, кому поручено их применение, являются непримиримейшими врагами отечества; они по своему произволу заставляют их молчать или говорить; они истолковывают их то в пользу врагов свободы, то против ее друзей, и защитники народных прав всякий раз умерщвляются мечом юстиции. Лица, приписывающие честь Революции нашей храбрости, об'ясняют гибель Революции нашим нынешним недостатком энергии. Они скорбят по поводу того, что эта энергия все более и более ослабевала, и говорят, что теперь у нас едва осталась хотя бы какая-нибудь искра ее. Но теперь мы представляем собой то же самое, чем мы были три года тому назад: стены Бастилии ниспровергла горсть несчастных. Пусть им дадут действовать, и они покажут себя такими же, как и в первый день; они не пожелают ничего лучшего, как сражаться против своих тиранов; но тогда они могли действовать свободно, а теперь они скованы».

«Если внимательно проследить ряд событий, подготовивших и вызвавших результат 14 июля, то получается такое впечатление, что революция была самым легким делом: она совершилась исключительно благодаря недовольству народных масс, раздраженных притеснениями правительства, и благодаря переходу солдат, негодовавших на тиранию своих начальников, на сторону народа.

«Но если принять в расчет характер французов, тот дух, которым проникнуты различные классы народа, противоположные интересы различных разрядов граждан, ресурсы двора и столь же естественную, как и ужасную лигу врагов равенства, нельзя не чувствовать, что Революция могла быть лишь кратковременным кризисом и что причины, вызвавшие Революцию, не могли поддержать ее».

Но Марат не ограничивается провозглашением окончательного банкротства свободы. Он утверждает, что на самом деле никогда не было искреннего и истинного освободительного движения, что когда вся Франция взялась за оружие в дни перед 14 июля и после него, это было сделано вовсе не для завоевания свободы, а из страха, внушаемого бедняками «разбойниками», и что, если революционная буржуазия тотчас же использовала это великое восстание, то она сделала это для того, чтобы запугать двор и воспользоваться властью в интересах новой олигархии.

Итак, по мнению Марата, главною движущею силою Революции был страх, использованный кастовым эгоизмом.

В это мрачное время, когда установление истинно-демократического режима кажется ему окончательно невозможным и когда Революция представляется ему неудавшеюся, он, так сказать, бесчестит ее корни.

«Ошибочно утверждают, что когда 14 июля взялись за оружие, это было общее восстание против деспотизма, так как тогда помощники деспота смешивались с его рабами; но это была простая предосторожность граждан, которые могли что-нибудь потерять, против посягательств бедняков, только что разрушивших заставы.

«Эта предосторожность, вызванная страхом в столице, распространилась, как пороховой провод, по всему королевству лишь в силу примера; только тогда, когда мелкие честолюбцы, руководившие плебеями в Генеральных Штатах, воспользовались

обстоятельствами для того, чтобы дать подкупить себя, показалось, что это развертывание национальных сил направлено против деспотизма.

«Во время этого всеобщего восстания казалось, что деспот, окруженный своею семьею, своими министрами и несколькими придворными, покинут всею нацией; но он сохранял тем не менее бесчисленный легион своих сообщников и своих приверженцев, за исключением линейных войск, сердца которых только что отдались отечеству; вооружившись, повидимому, против своего повелителя, они на самом деле вооружились лишь для его защиты, для поддержания его владычества, для сохранения своих привилегий и чинов.

«Тогда можно было видеть, как наглые фавориты двора, под маскою патриотизма, говорили лишь о верховенстве народа, о правах человека, о равенстве граждан и в костюме солдат отечества (национальная гвардия) униженно выпрашивали себе места начальников или ловко покупали их под предлогом благотворительности. Те, которые не могли захватить командование над национальными войсками, захватили власть в народных собраниях, места чиновников, и впервые можно было видеть важных должностных лиц с усами во главе батальонов; бывших членов государственного совета в париках с косичками, смиренно наклонявшихся над каким-нибудь бюро в округе рядом с их портными или нотариусами; гордых герцогов в буржуазных костюмах, заседавших в полицейских комитетах с их поверенными или с их привратниками, и мирных прелатов, ставших хранителями арсеналов и раздающих орудия смерти сынам Марса.

«Вскоре, вокруг этих властолюбивых интриганов, подлых креатур двора, соединились его сообщники и приверженцы: дворянство, духовенство, армейские офицеры, судейское сословие, приказные и законники, финансисты, спекулянты, общественные кровопийцы; торгующие словом, агенты крючкотворства, паразиты дворца, — одним словом, все те, кто основывает свое величие, свое состояние, свои надежды на злоупотреблениях правительства, кто живет на счет его пороков, его посягательства, его расточительности и кто старался сохранить эти беспорядки для того, чтобы пользоваться общественным бедствием. Мало-по-малу вокруг них сплотились люди, занимающиеся неблаговидными промыслами, ростовщики, рабочие, занятые изготовлением предметов роскоши, литераторы, ученые, артисты, которые все обогащаются на счет светских счастливцев или знатных сынков-баловней. Затем явились негоцианты, капиталисты, зажиточные граждане, для которых свобода является лишь привилегией беспрепятственно приобретать, безопасно обладать и мирно наслаждаться. Затем появляются трусы, менее боящиеся рабства, чем политических бурь; отцы семейств, боящиеся и тени перемены, которая могла

бы лишить их должностей или занимаемого ими положения».

Да, это удивительная, красочная и искусно нарисованная картина. Если бы у Марата были более широкие социально-философские взгляды, то он счел бы неизбежным, что буржуазный класс, вооруженный наукою и богатством, достиг господства при новом порядке и на первых порах воспользовался им в своих интересах; но он понял бы и то, что это движение, это потрясение были благоприятны и для самого народа, и что будущее принадлежало демократии. На этот раз это уже не пронзительный крик, выражающий гнев и ненависть, а крик, свидетельствующий о глубоком отчаянии, и сам он признает себя побежденным.

«Чтобы избежать кинжала убийц, я обрек себя на жизнь в подземелья, по временам за мною гоняются батальоны альгвазилов, я бываю вынужден бежать, блуждая по улицам среди ночи и иногда не зная, где найти убежище, отстаивая среди оков дело свободы, защищая угнетенных, с головой на плахе, становясь от этого лишь еще более грозным для угнетателей и для публичных плутов.

«Я вел этот образ жизни, простой рассказ о котором леденит сердца, приученные к самому тяжелому, целых восемнадцать месяцев, ни разу не жалуясь, не жалея ни об отдыхе, ни об удовольствиях, не обращая никакого внимания на потерю моего состояния и моего здоровья и никогда не бледнея при виде всегда угрожавшего мне меча. Что я говорю? Я предпочел этот образ жизни всем выгодам, доставляемым подкупом, всем наслаждениям, доставляемым богатством, всему блеску короны. Мне покровительствовали бы, меня бы ласкали и чествовали бы, если бы я просто пожелал хранить молчание; и сколько золота предложили бы мне, если бы я захотел обесчестить свое перо. Я отверг соблазнительный металл, я жил в бедности, я сохранил свое сердце чистым. Я был бы теперь миллионером, если бы я был менее деликатен и если бы я не забывал всегда о себе.

«Вместо богатств, которых у меня нет, у меня есть несколько долгов, взваленных на меня недобросовестными манипуляторами, которым я сперва доверил печатание и продажу моей газеты. Я оставлю этим кредиторам остатки того немногого, что у меня уцелело, и ухожу без денег, без поддержки, без средств, прозябать в единственном уголке земли, где мне еще позволят мирно жить, я ухожу, преследуемый клеветническими криками, поносимый публичными плутами, которых я разоблачал, проклинаемый всеми врагами отечества... Быть может, народ, для спасения которого я обрек себя в жертву, скоро забудет меня».

Марат не выпустит тотчас же пера из рук, но какой припадок глубокого уныния, и как хорошо он чувствовал, что ослабевший народ уже не отзывался на его страстные призывы.

Пессимизм Камилла Демулена столь же глубок. Он, так часто осмеивавший мрачное расположение духа Марата, в данный момент говорит и думает точно так же, как сам Марат, и длинная речь, произнесенная им 21 октября с трибуны у якобинцев, также является об'явлением банкротства Революции.

Демулен с удивительным вдохновением указывает на противоречия в Конституции. Сперва, для того, чтобы увлечь народ, нужно было изложить ему все его основные права, «собрать их под стеклышко и представить его взорам их упоительную перспективу».

Это была Декларация Прав; но затем эта Декларация Прав была как бы взята обратно в деталях бесчисленными ретроградными постановлениями; однако, не осмелились изгладить все ее следы. «К этому остатку стыда, иногда сдерживавшему сторонников министерства, прибавьте вспышки патриотизма на трибунах и на террасе, внушавшие подкупленному большинству Собрания некоторые убеждения и заставлявшие его несколько уклоняться в сторону обществен-

ного мнения. Результатом всего этого явилась Конституция, правда, уничтожающая свое предисловие, но не преминувшая заимствовать из этого предисловия столько пунктов, которые сами себя уничтожают, что, признавая эту Конституцию в качестве гражданина, я в то же время в качестве гражданина, пользующегося свободою выражать свое мнение и не отказавшегося от пользования здравым смыслом, от права сравнивать предметы, утверждаю, что эта Конституция антиконституционна, и смеюсь над секретарем Серютти, этим Пангиоссом-законодателем, предлагающим постановлением или декретом об'явить ее наилучшей возможной Конституцией; наконец, в качестве политика, я не боюсь предсказать ее близкий конец. По моему мнению, она составлена из элементов, до такой степени уничтожающих друг друга, что ее можно сравнить с ледяной горой, помещающейся на кратере вулкана. Непременно или горящие уголья расплавят и обратят в пар льдины, или льдины потушат горящие уголья».

Но Камилл Демулен нисколько не скрывал своих опасений относительно того, что лед может потушить горящие уголья. По его мнению, «демон аристократии» действовал в течение двух лет с адскою ловкостью. Отказываясь от единоборства с Революцией, он парализовал ее и притупил ее чувствительность. Благодаря ему неравенство вкралось во всю Конституцию; он предоставил право подачи голоса, право носить оружие лишь привилегированным, а народ дал ограбить себя, не сказав ни слова. А демон говорит: «я назвал их пассивными гражданами, и они сочли себя мертвыми».

«Но Париж совершил Революцию, Парижу же суждено и уничтожить ее. По мере того, как надежда патриотов исчезает, и они сознают ее призрачность, их первоначальный пыл охлаждается, и их партия слабеет с каждым днем, а та скорбь, в которой время не приносит утешения, а только усиливает ее, а именно скорбь, вызываемая утратой имуществ, все увеличивает желание мести у всех защитников старого режима; я усиливаю их партию корыстолюбием всех лавочников, всех торговцев, вздыхающих по своим заимодавцам или по своим эмигрировавшим покупателям; опасениями всех владельцев государственных процентных бумаг, чья боязнь банкротства так сильно способствовала Революции: теперь, видя в стране лишь бумажные деньги, полное отсутствие отчетов, а за границей приготовления к войне, они боятся банкротства. В особенности же я усиливаю эту партию у с т а л о с т ь ю парижских национальных гвардейцев. В продолжение двух лет я забочусь о том, чтобы с утра до вечера били в барабаны, чтобы удерживать их как можно дольше не за их прилавками, не у их очагов, не на их постелях.

«Среди полного мира столица так унизана штыками, как будто Париж занят 200.000 австрийцев. Парижанин, которого беспрестанно заставляют покидать свое жилище для дозоров, для смотров, для учений, устал от того, что его превращают в пруссака, он начинает предпочитать свою постель или свой прилавок гауптвахте, он простосердечно (чтобы смягчить выражение) полагает, что Национальное Собрание не смогло бы издавать декретов без шестидесяти батальонов, что лишь после Революции окончится его кампания, более утомительная, чем Семилетняя война. Когда окончится эта Революция? Когда начнется Конституция? Мы были менее утомлены при старом режиме».

Речь идет об усталых, утомленных, о партии усталости: Демулен, повидимому, полагает, что Революция уже неспособна ни к какому усилию. Его изложение показалось настолько мрачным, настолько отнимающим бодрость, что некоторые якобинцы порицали его, но никто ему не противоречил. Очевидно, в это время, в конце 1791 года, обнаруживалось глубокое чувство усталости, и

демократы, Демулен, подобно Марату, спрашивали себя, не истощилась ли революционная энергия. Та же нота, недоверчивая и грустная, слышится в еженедельнике Прюдома «Парижские Революции». В момент открытия заседания Законодательного Собрания, в номере от 1 — 8 октября он помещает статью, представлявшую собою нечто в роде манифеста:

«Патриотам второго Национального Собрания.

«Представители народа, который еще не свободен, но не вполне утратил надежду стать свободным, позвольте ему напомнить вам о ваших обязательствах; они больше, чем вы думаете. Хотя ваша задача и менее блестяща, но она труднее задачи ваших предшественников; они не все сделали, так как они предоставили столь многое сделать вам. Опасности, которым они подвергались, были не столь велики, как те, которые выпадут на вашу долю.

«В их время деспотизм показывался без покрывала. Вашим предшественникам приходилось бороться лишь с одним врагом; у вас, может быть, скоро окажутся два врага: *деспотизм и народ.*

«Замечаете ли вы, что двор уже старается соединиться с народом, в котором заключалась вся сила первого Собрания и который, может быть, послужит слепым орудием против второго? Нация устала, и если вы не будете настороже против этого, она готова вернуться к своим прежним привычкам.

«Рабам иногда живется лучше, чем свободным людям, и короли, знающие свое дело, распоряжаются таким образом, что люди считают себя более счастливыми под сенью короны, чем под колпаком свободы. Вам следует напомнить об этих первоначальных моментах энергии, одно воспоминание о которых заставляет бледнеть двор».

Еженедельник старается воодушевить новых депутатов ужаснейшими угрозами и мрачнейшими предсказаниями: «Если бы после трех лет стеснений и опасений, смут и бедствий, народ, только что доверивший вам заботу о своих драгоценнейших интересах, узнал, что вы втайне действуете заодно с Тюльрийским дворцом, если бы он заметил, что вы никоим образом не в состоянии расстроить министерские и иные коалиции, и что вы послужили лишь для того, чтобы дать нашим врагам время совершенно спокойно составлять свои пагубные заговоры, то в таком случае обычные юридические средства были бы отвергнуты или их действие приостановлено; сильное движение, без которого не может обойтись свобода, будет тотчас же вызвано во всей Франции. Тогда народ, одинаково гнусно обманутый всеми теми властями, которым он сначала оказывал полное доверие, сразу не даст пощады никаким властям и оставит будущим поколениям печальный, но необходимый урок. Все эти армии, медленно подвигающиеся вперед и тревожащие в данный момент наш сон, вовсе не будут страшны миллионам людей, каждый из которых будет сражаться за свою личную свободу. Грандиозное зрелище подготовляется к концу приближающейся зимы.

«Если бы нации, у которой истощились денежные средства, хлеб и запасы и которая обманута своими вождями, предстояло еще быть обманутой и своими уполномоченными, то вы, которые обманули бы ее или оказались бы ее плохими представителями, должны ожидать того, что вы станете первыми жертвами ее отчаяния.

«Вскоре неизбежно должно разразиться одно политическое событие: патриоты Законодательного Собрания, готовьтесь к катастрофе гораздо более важной, чем та, которая сделала ваших предшественников героями на один день. Все предвещает нам такое событие, что Революция 1789 года окажется лишь прелюдией к нему; берегите ваши силы, чтобы выдержать его удар и содействовать развязке этой величественной, но ужасной драмы, которая изумит Европу».

Странные и загадочные слова, в которых, как в мрачном магическом зеркале как будто заранее отражаются 20 июня и 10 августа, процесс и смерть короля. падение самих жирондистов и террор!

Каким образом тот же журналист, который констатирует, что нация утомлена, может в то же время предсказывать эти близкие революционные восстания? И чем об'ясняется чрезвычайная точность этих предсказаний? Очевидно, возвещая грандиозное зрелище к концу зимы, т.-е. к той поре, когда время года позволит армиям начать кампанию, журналист думает о войне. Вскоре еженедельник Прюдома заметит те опасности, которые угрожали свободе. Революции, вследствие отважной воинственной политики Жиронды, и будет энергически бороться против нее. Но в данный момент он еще не принял решения и он воспроизводит таинственные проекты партии жирондистов: вызвать войною против иностранных держав новое революционное действие.

В этом заключается тот важный секрет, который посвященные шопотом сообщали друг другу с тех пор, как открылись заседания Законодательного Собрания и еще до первых речей Бриссо. Я считаю эту статью одним из важнейших доказательств той тайной работы, которою занялась Жиронда с первых дней. Здесь выражена вся ее мысль: констатировать усталость нации и, чтобы толкнуть ее вперед, на революционный путь, итти которым она, повидимому, не решалась, прибегнуть к возбуждению, вызываемому войною.

Еженедельник Прюдома снова указывает на эту усталость, на это ослабление революционного духа в номере от 15 — 22 октября: «Парижане, мы с сожалением говорим вам, что дух общественности совершенно не развился среди вас. Вам множество раз говорили, что кризис прошел, что следует лишь жить спокойно и питать доверие к вашим вождям. Все люди, занимающие места, начиная с первого должностного лица и кончая последним из ваших муниципальных чиновников, так усердно прославляли вам мир и порядок, что вы стали неподвижны даже среди всякого рода волнений, замечающихся вокруг вас.

«Разве Конституция не закончена? Говорят ли они вам это? Разве она не принята? Чего же вы еще хотите? — Но ведь эмигрируют? — Тем лучше, отечество очищается при этом. — Но Людовик XVI сговаривается с эмигрантами? — Это невозможно; прочтите его прокламации, его письма.—Но министры недобросовестны? — Может быть, поэтому-то их и вызывают к решетке каждую неделю. — Но звонкая монета исчезла? — У вас остаются национальные бумажные деньги. — А все эти, находящиеся в обращении кредитные билеты? — Кого же в этом винить? Тех, кому угодно их принимать.—А все эти опасные места, открытые для игроков?—Кто же в этом виноват? Те, кто играет.—Но хлеб, эта главная пища бедняка, дорожает на рынке с каждым днем? — Это вполне естественно, когда деньги редки. Терпение и мир, порядок и повиновение, — все пойдет наилучшим образом. Любовь к королю, делающему все то, чего вы хотите. Повиновение должностным лицам, руководящимся только законом; доверие к Законодательному Собранию, всякое заседание которого отмечено каким-нибудь мудрым актом, и дело пойдет.

«Вот что такое беспрестанно внушают вам умеренные сторонники министерства, роялисты, аристократы-домоседы, более гордые или более привыкшие к борьбе, чем их вормские товарищи в своих газетах, в своих пасквилях, в своих кофейнях, в группах, а вы верите всему этому, потому что это благоприятствует вашей беспечности, и вы спите, доверяя всем этим искусно подобранным словам. В п р о ч е м, т о р г о в л я, п о в и д и м о м у, н е с к о л ь к о о ж и в и л а с ь. Вам было достаточно этого для того, чтобы усматривать панический страх и преувеличения в том, что патриотические газеты сообщают вам относительно плачевного состояния наших границ, относительно намерений Тюильрийского кабинета и относительно большого числа уже зараженных гангреною членов Национального Собрания».

Одновременно с демократами, королева Мария-Антуанетта констатирует это равнодушие и апатию народа в этот момент Революции. Она пишет Ферзену в письме от 31 октября, говоря о парижанах:

«Их занимают только дороговизна хлеба и декреты. Ч т о к а с а е т с я г а з е т, т о о н и д а ж е и н е з а г л я д ы в а ю т в н и х; в э т о м о т н о ш е н и и в П а р и ж е н а б л ю д а е т с я в е с ь м а з а м е т н а я п е р е м е н а, и з н а ч и т е л ь н о е б о л ь ш и н с т в о, н е з н а я, х о ч е т л и о н о э т о г о р е ж и м а и л и и н о г о, у с т а л о о т с м у т и ж е л а е т с п о к о й с т в и я. Я говорю только о Париже, потому что, по моему мнению, в данный момент провинциальные города хуже Парижа».

Революционерам, демократам приходилось очень опасаться этого изнеможения и даже этого реакционного увлечения народа, так что даже Марат пожелал принудить к молчанию трибуны, на которых до сих пор постоянно происходили манифестации в революционном духе. Он пишет 15 октября:

«В действительно свободной стране, дорожащей сохранением своей свободы, важно, чтобы народные представители всегда находились под надзором свидетелей, которые призывали бы их к выполнению долга, подавая им знаки неодобрения, когда они от него уклоняются, и поощряли бы их к добру, аплодируя им, когда они верно выполняют свой долг. Итак, рукоплескания и свистки являются правом всякого просвещенного гражданина, но важно, чтобы этим правом пользовались весьма сдержанно и лишь в важных случаях, чтобы действие этого драгоценного средства не ослабело. Может быть, ни у одной нации во всем мире состав публики не настолько хорош, чтобы было благоразумно предоставлять ей пользоваться этим правом; но, несомненно, благоразумно лишить этого права легкомысленную, необразованную и непоследовательную публику, которая не умеет ничего ценить, увлекается словами, привязывается к обольщающим ее ловким шарлатанам, портит всякое дело, поддаваясь мгновенному порыву и обращает серьезнейшие дала в жизни в какую-то комедию, в забавный фарс. Такова парижская публика, не расположенная свистать, но готовая аплодировать. Наш печальный опыт, при котором обнаружилась эта мания, должен был бы побудить нас отказаться от этого, если бы мы умели извлекать пользу из наших ошибок, если бы мы не были несправедливы.

«В данном случае я говорю не о тех толпах слуг, лентяев и полицейских шпионов, которыми плуты, заседающие в комитетах, наполняют трибуны, готовясь принять какие-нибудь решительные меры, но о тех слепых горожанах, чьих аплодисментов они добивались тем лицемерным вступлением, которое они предпосылали всем своим проектам пагубных декретов. Итак, благоразумие требует, чтобы у французов в национальном Сенате, в административных собраниях и на трибунах соблюдалось строжайшее молчание; но наше влечение ко всему, льстящему тщеславию, настолько сильно, и наше легкомыслие таково, что как только положительный закон вменил бы нам в обязанность молчание на обще-

ственных собраниях, члены собрания или законодатели сами первые стали бы
нарушать этот закон.

«Может быть, мои читатели обвинят меня в
том, что я изменил свой взгляд: не моя вина, если
они не умеют читать. В то время, когда просвещен-
ные патриоты наполняли трибуны Национального
Собрания и присутствовали в трибуналах, я часто
приглашал их знаками неодобрения побуждать де-
путатов, уполномоченных народа, выполнять свой
долг; и я был прав. В настоящее время, когда па-
триоты уже не осмеливаются показываться, а враги
свободы наполняют трибуны Сената и встречаются
везде, я требую, чтобы им помешали аплодировать,
заставляя их молчать: это опасное оружие, которое
я стараюсь вырвать из их рук».

Итак, в конце этого 1791 года общественное настроение беспокоило дея-
телей Революции: оно представлялось почти безнадежным для людей, которые
желали бы в самом деле установить демократию, дать всем гражданам политиче-
ские права и принудить исполнительную власть руководиться волеиз'явлениями
нации.

Двор, заграничные интриги которого можно было угадывать, но нельзя было
доказать, проявлял внутри страны мелочное усердие к соблюдению Конституции.

И, по правде говоря, Конституция отводила еще такую значительную роль
королевской власти, что она могла быть весьма могущественною, оставаясь кон-
ституционною. Король решил казаться уважающим Конституцию, чтобы вернее
подготовить ее ниспровержение. И, казалось, что король принял в качестве со-
ветников, в качестве руководителей лиц, принадлежавших к партии Ламетов и
Барнава, которые не были членами Собраний, но пытались тайными способами
продолжить свое влияние. До чего дошли сношения Ламетов и Барнава с королем
и с королевою? Трудно выяснить это. Повидимому, после принятия Конституции
состоялась лишь одна встреча Барнава и Марии-Антуанетты; но хотя Барнав
не замедлил удалиться из Парижа, он, наверно, часто давал советы.

Эти сношения двора с некоторыми умеренными революционерами тревожили
непримиримых приверженцев королевской власти; Мария-Антуанета вынуждена
писать к Ферзену 19 октября: «Успокойтесь, я не соглашусь присоединиться к
бешеным, и если я видаюсь или имею сношения с некоторыми из них, то я де-
лаю это лишь для того, чтобы воспользоваться ими; и все они мне слишком от-
вратительны, чтобы я когда-нибудь согласилась присоединиться к ним».

Однако, хотя они и внушали ей отвращение, уже в силу того факта, что она
сносилась с ними, она была вынуждена ладить с ними, принимать во внимание
их политику. А эта политика резюмировалась в двух чертах: применять Консти-
туцию внутри страны так, чтобы революционное возбуждение мало-по-малу пре-
кратилось, и восстановить одним применением самой Конституции силу исполни-
тельной власти; за границей поддерживать мир, чтобы избежать воздействия ино-
странного вмешательства на настроение Франции... Поэтому представляется чрез-
вычайно вероятным и даже почти достоверным, что двор скрывал от Ламетов, от
Дюпора, от Барнава свои тайные переговоры с иностранцами относительно кон-
гресса.

Однако в дневнике Ферзена содержится несколько строк, ужасных для па-
мяти Ламетов и Дюпора. Он замечает в своем дневнике 14 февраля: «Королева
сообщает мне, что они видаются с Александром Ламетом и с Дюпором, что они
беспрестанно говорили ей, что помочь могут только иностранные войска, что да-
лее так не может продолжаться, что они зашли гораздо дальше, чем желали, и

что их успех был вызван глупостями аристократов и поведением двора, который остановил бы их, если бы присоединился к ним. Они говорят, как аристократы, но она думает, что это вызвано их ненавистью к нынешнему Собранию, в котором они ничего не значат и не имеют никакого влияния, и что в этом сказывается их тревога, так как они видят, что все это должно измениться, и заранее хотят хвалиться своими заслугами».

Преступно было бы признать людей виновными в измене на основании столь изолированного и столь недостоверного свидетельства. Верно ли поняла Мария-Антуанетта смысл какого-нибудь язвительного намека Ламета и Дюпора? Точно ли она его передала? Хорошо ли его понял сам Ферзен? Этот призыв к армиям иностранных держав, безусловно, противоречил всей прежней политике Барнава: война выдавала умеренных или революционерам левой, или аристократии, и они вовсе не желали ее или желали как можно более ее ограничить. Не вырвались ли у кого-нибудь из них эти неблагоразумные слова в феврале, когда политика Жиронды, повидимому, решительно восторжествовала?

Кроме того, эти странные слова, приводимые Ферзеном, противоречат другому замечанию в его же дневнике, датированному 8-м января, в воскресенье:

«Мемуар королевы Марии-Антуанетты, адресованный императору, — отвратителен; он составлен Барнавом, Ламетом и Дюпором: имеет в виду запугать императора, доказать ему, что в его интересах — не воевать, а поддерживать Конституцию, из опасения, чтобы французы не распространяли своей доктрины и не развратили его солдат. Ясно, впрочем, что они боятся».

Я очень склонен думать, что через несколько дней после этого, чтобы оправдаться пред непримиримым Ферзеном в том, что она принимает таким образом содействие со стороны Ламета, Барнава и Дюпора, королева сказала ему: «Но вы не знаете их основной мысли: они, подобно вам, полагают, что единственное спасение заключается в армиях иностранных держав».

Наконец, я считаю возможным доказать (и я вскоре сделаю это в дальнейшем изложении), что очень важный мемуар Марии-Антуанетты, изданный графом д'Арнетом, в самом деле составлен, главным образом, Барнавом. А это миролюбивый мемуар: именно против него восстает Ферзен.

Во всяком случае, достоверно известно, что в октябре и в ноябре 1791 г. они советовали двору совершенно конституционную и миролюбивую политику. Барнав очень ясно выразил свою точку зрения в той столь замечательной книге, выдержки из которой я уже приводил. Во-первых, он утверждает, что державы хотели мира. Он пишет:

«У всякого, у кого, кроме общих соображений, имеются еще и некоторые сведения относительно хода дел в это время, в особенности же у тех, кто видел дипломатические депеши, не может быть никакого сомнения относительно этого пункта. Когда показалось, что во внутренних делах наступило успокоение, державы сочли себя как бы избавившимися от огромной тяжести, так как им уже не приходилось поддерживать на свой страх дело короля, задержанного, взятого под стражу и отрешенного от власти; соглашения, повидимому, существовавшие между ними, в особенности же то, что относилось к нам в известном Пильницком договоре, имели в виду лишь возможное повторение таких же событий; в самом деле, положение вещей и новый порядок не казались им настолько установившимися, чтобы они высказались о них, но осуществление всех их враждебных намерений было задержано, и они ожидали выяснения хода наших внутренних дел, чтобы окончательно определить свои решения относительно нас. Хотя эмигранты странно извращали как положение королевства в отношении общественного порядка, так и средства защиты, их вопли производили лишь слабое впечатление на кабинеты, которые, относясь вполне

равнодушно к интересам этих изгнанников, сообразовали свое поведение лишь со своею собственною политикою».

Далее, в главе, озаглавленной: «Образ действий, которого следовало держаться», Барнав точно указывает ту политику, которую он, очевидно, советовал двору. «Итак, ход наших внутренних дел должен был оказать решающее влияние на намерения держав и во всех смыслах обусловить нашу участь. Не требовалось глубокой политики для того, чтобы понять, каков должен был быть этот ход: эта политика была настолько ясна, что все одобряли бы ее, если бы вскоре, вследствие совместного действия разных причин, общественное мнение не было обмануто и развращено.

«Итак, следовало:

«Во-первых, окончательно восстановить порядок и подавить анархию. Такое Законодательное Собрание, которое сильно пожелало бы этого и сумело бы заставить уважать себя, осуществило бы это в течение трех месяцев.

«Во-вторых, укрепить новые власти против народной анархии и установить между ними субординацию и конституционные отношения, которые одни только могли обеспечить их правильную деятельность; для этого достаточно было бы пяти или шести очень строгих декретов.

«В-третьих, настаивать на взыскании податей для того, чтобы достать средства на удовлетворение общественных потребностей. Как я указал, обращение ассигнатов весьма способствовало установлению новой податной системы, и превосходный министр, стоявший тогда во главе этого дела, быстро улучшил бы его положение, если бы только ему оказали некоторую поддержку и содействие.

«В-четвертых, привести военную защиту в такое состояние, чтобы она, не будучи разорительною, внушала к себе уважение, в особенности же постараться восстановить субординацию, в течение нескольких месяцев очень усилившуюся в армии.

«В-пятых, позаботиться о поддержании гармонии между двумя главными конституционными властями.

«В-шестых, упорядочить наш государственный строй, издать законы, привести в порядок народное образование и т. д.

«В-седьмых, заняться иностранными делами лишь для улажения путем переговоров затруднений по отношению к владетельным князьям в Эльзасе, этого единственного серьезного спорного пункта между иностранными державами и нами, который, однако, если бы споры затянулись, мог бы беспрестанно ожесточать умы. Далее, вовсе не думать ни об эмигрантах, ни о державах; проявлять по отношению к ним спокойствие, свойственное силе; не обнаруживать пред иностранцами никакого признака страха и в то же время не подавать им никакого повода оскорбляться, и показать всем нашим поведением, что, решившись никогда не признавать их влияния на наши внутренние дела, мы равным образом решились предоставить им спокойно заниматься их делами и не касаться их правительственной системы, точно так же как мы желали бы, чтобы они не касались нашей.

«Если бы держались этого образца действий, то все препятствия, несомненно, скоро исчезли бы.

«Да и державы перестали бы бояться нас, как какого-то заразительного тела, и начали бы признавать нас организованною державою, а затем их расчеты по отношению к нам сообразовались бы с обычными политическими взглядами: каждая из них искала бы союза с нами и боялась бы нашей вражды; мы снова вошли бы в общую европейскую систему, где мы могли бы добиться признания тех взглядов, которые мы считали бы выгодными при нашем новом образе жизни».

Вот, какие советы давал Барнав, и вот какие перспективы он раскрывал Марии-Антуанетте и Людовику XVI и наверно, вновь высказывая мысль Мирабо, он добавлял при этом, что таким образом король сперва обеспечил бы себе спокойствие и безопасность, а затем, при новых условиях, стоя во главе свободного и более сильного народа, и большую власть, чем прежде. Несомненно, что двор притворялся, что он соглашается с этими взглядами, но он обманывал Барнава, потому что, между тем как Барнав желал, чтобы королевская власть энергически, консервативно и монархически, но добросовестно применяла Конституцию, двор притворно уважал ее лишь для того, чтобы тем лучше провести ее вынужденный пересмотр под угрозою иностранного вмешательства. Несмотря на все это, уже самыми своими сношениями с революционерами Учредительного Собрания двор распространял мысль о том, что он, наконец, принимал Конституцию, и, скрывая таким образом свою игру, он почти не давал своим противникам поводов к нареканиям. Во всяком случае, его явное поведение было достаточно корректно, достаточно легально для того, чтобы усыпить уже уставший и надорвавшийся народ.

Законодательное Собрание, обманутое этими наружными признаками, легко могло также склониться к большей умеренности и мало-по-малу подпасть под власть короля, поддаться его интриге. Мы видели, как быстро оно отменило свои первоначальные задорные меры; казалось, что оно не создано для непрерывной, энергической борьбы против королевской власти.

Заботясь о составлении финансовых отчетов и об усилении администрации для обеспечения повсюду свободной торговли хлебом, оно очень легко могло бы, думая, что оно лишь упрочивает общественный порядок, чрезмерно усилить власть Людовика XVI в то самое время, когда он вел переговоры с иностранцами для того, чтобы навязать Франции по крайней мере аристократическую Конституцию с Верхней Палатой, в которой наследственное могущество знати поддерживало бы наследственную власть короля.

В письме от 7 декабря королева сообщает Ферзену, что она начинает надеяться на Законодательное Собрание: «Наше положение несколько улучшилось, и, повидимому, все называющие себя конституционалистами, об'единяются для того, чтобы составить большую силу против республиканцев и якобинцев: они привлекли на свою сторону значительную часть гвардии, в особенности, получающей жалованье, которая через несколько дней будет организована и из которой будут сформированы полки. У них наилучшие намерения, и они горят нетерпением устроить избиение якобинцев. Последние совершают всякие жестокости, на которые они способны, но в настоящий момент за них только разбойники и злодеи; я говорю, в настоящий момент, потому что в этой стране все меняется со дня на день до неузнаваемости».

Бриссо же, почувствовавший почти подавляющую силу умеренных в Парижском Избирательном Собрании, где он был избран лишь с большими затруднениями, не предавался иллюзиям относительно Законодательного Собрания. Он хорошо знал, что для того, чтобы снова возбудить в нем революционную энергию, потребовалось бы ужасное потрясение. Лишь сильное извержение лавы могло приподнять огромное скопление смешанных интересов, старинных и новых, засорявшее кратер Революции; но какое пламя, кроме патриотизма, разжигаемого войною, могло бы вызвать новое проявление охладевшей и как бы застывшей народной силы? Какая сила, кроме страха, внушаемого этим ужасным и грандиозным зрелищем, могла бы одолеть умеренных?

Что касается министров, то в тот момент, когда начались прения в Законодательном Собрании, они не являлись ни гарантией для Революции, ни опорой для короля. Бо́льшая часть их вошла в министерство за год до этого времени, после отставки Неккера. Министерство было составлено из довольно разно-

образных, но одинаково посредственных элементов. Честнейшие из них, как, напр., хранитель печати [1]) Дюпор-Дютертр, были застигнуты врасплох событиями в Варенне. С трудом можно поверить, что никакой признак не обнаружил им всего плана заговора и бегства королевской семьи. Вероятно, с их стороны не было измены, но они проявили слабость, неспособность, какую-то ленивую привычку к тому, чтобы чувствовать вокруг себя интригу двора и не делать никаких попыток ей противодействовать.

В особенности двусмысленную роль играл министр иностранных дел Монморэн. Он ладил с левою стороною Учредительного Собрания и был министром с конца 1789 года. Один он из министерства Неккера остался на своем месте после опалы великого человека. Он был услужливым посредником между Учредительным Собранием и двором.

Когда г. де-Мерси, сносившийся с Мирабо при посредстве Ламарка, покинул Париж в августе 1790 года, было условлено, что тайна сношений между Мирабо и двором будет доверена министру Монморэну. Но хилый Монморэн с его слабою волею, уклончивостью и плохим здоровьем, никогда не заходил далеко вперед ни в какую сторону. С одной стороны, он не сумел добиться такого влияния на короля и на королеву, чтобы удержать их на революционном пути. С другой. хотя кажется невозможным, что он не догадался о приготовлениях к бегству, он никогда не был наперсником короля и королевы.

Ферзен определенно заявляет, что во Франции единственные лица, знавшие тайну, были он и Буйлье; и каким образом двор доверил бы эту тайну Монморэну, желая скрыть ее от Мирабо? Повидимому, Монморэн уклонялся от того, чтобы вникать в те интриги, которые он подозревал, опасаясь быть вынужденным принять решение и взять на себя ответственность.

При открытии заседаний Законодательного Собрания под давлением событий ему пришлось бы усвоить себе сколько-нибудь постоянный, определенный образ действий. Прежде всего, по принятии Конституции королем, восстановляются официальные отношения между конституционною королевскою властью и иностранными державами. В то же время продолжается тайная дипломатия двора: какую роль будет играть Монморэн? Положение становится затруднительным и даже опасным, тем более, что все возрастающее раздражение Собрания против эмигрантов, речи Бриссо и Иснара, первые декреты против принцев, ворчливые угрозы, направленные против Австрии,—все это предвещало бурный период, полный трудностей и опасностей. Монморэн ускользнул.

Я могу лишь таким образом об'яснить себе его выход в отставку. 31 октября 1791 года, через одиннадцать дней после речи Бриссо, он уведомил Собрание о своей отставке: «Уже в апреле я подал его величеству мое прошение об отставке, но расстояние, отделявшее меня от лица, назначенного им моим преемником, заставило меня продолжать мое дело до получения его ответа, который сказался отказом. Затем я уже никогда не мог подать прошение об отставке, и лишь надежда на то, что я еще могу принести некоторую пользу общественному делу и королю, могла утешить меня в том, что мне необходимо было оставаться в министерстве среди обстоятельств, делавших функции министра столь опасными для меня. Сегодня его величество соизволил принять мою отставку».

Итак, Зибель фактически слегка ошибается, говоря, что отставка Монморэна была вызвана декретом от 29 ноября против священников и эмигрантов: эта отставка была решена и возвещена уже в конце октября. Но, конечно, все возраставшая трудность ведения дел побудила Монморэна выйти в отставку. Повидимому, по мнению Зибеля, Монморэн вышел в отставку потому, что он н

[1]) Примечание переводчика: т.-е. министр юстиции.

мог побудить двор к энергической политике против Революции. И в самом деле, свидетельство Малле-де-Папа, на которое ссылается Зибель, весьма определенно.

Маллэ пишет в своих заметках в ноябре 1791 года: «Г. де-Монморэн был сильным человеком в министерстве в момент своей отставки. Малуэ и я побудили его предложить королю план поведения и легально воспользоваться обстоятельствами, а именно: отправиться в Национальное Собрание и заявить ему, что иностранные державы, (депеши которых он передал бы ему), не считают его свободным, а потому следовало констатировать эту свободу: вследствие этого он требовал, чтобы ему дали возможность отправиться в Фонтенебло или в Компьень, назначить новое министерство, которое не принимало бы никакого участия в выработке Конституции и в ее принятии, и притом отправиться туда со своей собственной гвардией. Или Национальное Собрание отказало бы и констатировало бы, что король не свободен, или оно согласилось бы, и король освободился бы от зависимости от своего Совета и составил бы новый энергичный Совет из усердных роялистов. Г. де-Монморэн настаивал три раза; он пал на колени пред королевой; все было напрасно: испугались последствий, побоялись восстания».

Я не верю ни одному слову из этого рассказа, поскольку дело идет о Монморэне. Он обманывал всех: он нисколько не жалел о том, что убедил Малуэ и Маллэ де-Папа, доверивших ему смелое поручение и опасный план, что он встретил непоколебимое сопротивление со стороны короля и королевы и в отчаянии удалился. Если бы он удалился, огорчившись тем, что его энергические советы были отвергнуты, то он не ходатайствовал бы (впрочем, тщетно) о том, чтобы остаться в Совете, получая оклад в 50.000 ливров без министерского портфеля, и он не оказался бы снова замешанным в тайной политике Людовика XVI.

Он просто старался уклониться от официальной, явной ответственности, которая вдруг могла бы стать тяжелою. Король не зная, насколько можно было бы рассчитывать на его услуги и как судить об его характере, не стал его удерживать. В этот страшный период пружины повсюду ослабели: народная энергия дремлет, и храбрость министров колеблется.

Что касается двора, он настолько плывет по воле ветра и течения, что у него нет никакого плана относительно того, кем заменить Монморэна и кому предоставить важнейшее в данный момент министерство, а именно министерство иностранных дел. Повидимому, он даже боится того, чтобы там был преданный ему человек, опасаясь, чтобы он не погубил и себя и его. С другой стороны, он не старается назначить туда человека, известного своею преданностью Революции, который мог бы успокоить умы, ободрив их. Королева пишет 19 октября, уже после того, как Мономорэн подал королю свое прошение об отставке:

«Я видела г-на де-Монтье, который также очень желает этого конгресса (держав). Он даже подал мне некоторые мысли относительно первоначальных основ, которые я нахожу благоразумными. Он отказывается от министерства, и я даже побудила его к этому. Этого человека *следует сохранить для лучшего времени*, а он погиб бы».

С другой стороны, она пишет к Мерси 1 ноября: «Несчастье в том, что у нас здесь нет такого человека, которому мы могли бы довериться. Г. де-Сегюр отказывается быть министром иностранных дел; этот пост не занят, и публичность всех этих отказов делает выбор почти невозможным».

Мерси настаивает в письме от 6 ноября: «Нужно осведомленное и верное министерство, и, если невозможно составить его здесь, то следовало бы, хотя бы очень несовершенно, заменить его тайным советом, составленным из нескольких лиц, отличающихся признанными способностями и преданностью, спо-

собностью выдержать всякое испытание и способных посоветовать, какого образа действия следует держаться каждый день. Еще нет никаких указаний на то, чтобы позаботились о составлении такого подходящего министерства. Сперва выбор г-на де-Сегюра указывал на противоположное. После его отказа сообщают, что вместо него будет назначен г-н де-Сент-Круа. Этот последний вообще считается самым от'явленным демагогом. Все кабинеты воспротивятся этому назначению, и оно подаст повод к прискорбным предположениям. Если этот выбор вытекает из плана, согласно которому нынешнее министерство не удержится и лица, составляющие его, заранее обречены на близкое падение, то иностранные дворы сделают из этого тот вывод, что французский двор полагается на случайности революции».

Королева отвечает ему 25 ноября: «Министром иностранных дел остается г. де-Лессар, перешедший из министерства внутренних дел в министерство иностранных дел. Одно время говорили о г-не де-Сент-Круа, но я никогда не потерпела бы его. Относительно того, что вы говорите о тайном совете, я нахожу, что это было бы хорошо во многих отношениях, но, с другой стороны, многое делает его невозможным».

А вскоре после этого королева заявляет, что она нисколько не доверяет г-ну де-Лессару. Итак, все оставлено на произвол судьбы, и не назначается ни решительно конституционного министерства, ни тайного совета; нет никакой уверенной политики. В тот самый момент, когда кажется, что у Революции нет доверия к Революции, у королевской власти нет доверия к королевской власти: всюду происходит какое-то неподвижное и беспокойное принятие временного состояния. Не вникнув по существу в эту тайну умов путем кропотливого анализа положения вещей, как можно было бы понять то чрезвычайное влияние, которое в несколько дней доставила Жиронде ее отвага, к которой примешиваются беззаботность и легкомыслие? Она — и только она — дерзала.

Я скажу лишь несколько слов о военном министре Дюпортэле и о морском министре Бертране де-Мольвилле. Дюпортэлю приходилось преодолевать значительные трудности; военные учреждения, созданные Учредительным Собранием, были весьма сложны. Например, принимать национальных гвардейцев и направлять их к границе должен был военный министр; а набором рекрутов, их снаряжением и вооружением заведывали департаментские Директории. Следствием этого являлись ежедневные осложнения и даже беспрерывные неприятности, справиться с которыми можно было бы лишь при героической преданности новому порядку. Но Дюпортэль поддерживал новый порядок, но не любил его, и малейшая критика со стороны Законодательного Собрания выводила его из себя. Поэтому, несмотря на свои административные способности, он оказывался бессильным.

Бертран де-Мольвилль стал морским министром 1 октября, в тот самый день, когда начались заседания Законодательного Собрания. Это был контр-революционер, лгун и плут. Его записки полны нелепых утверждений и ужасных клевет, направленных против деятелей Революции, и даже такие роялисты, как Маллэ-дю-Ман, не могли добиться от него, чтобы он исправлял совершенно ложные утверждения. Он считал себя очень ловким, потому что, управляя важным морским ведомством, в котором было множество контр-революционных элементов, он делал вид, будто он буквально соблюдает Конституцию, уничтожая, однако, при этом ее успешное действие путем особого рода тайного предательства и постоянной недобросовестности. Он беспрестанно повторяет, что следовало затрагивать обманчивую внешность Конституции, и бесстыдно сознается в своем методе тайной дезорганизации. Например, в тот момент, когда высшие офицеры, повидимому, устраивают стачку и отказываются от командования в

Брестском порте, в котором моряки несколько раз бунтовали, г-н де-Нейнье, прежде командовавший эскадрой, из'явил готовность занять это место.

«Он давно уже жил в принадлежавшем ему замке в Бигоррских горах. Он не поддерживал ни с кем сношений. Я придумал способ воспользоваться этим обстоятельством так, чтобы увеличить свою популярность и оказать г-ну де-Нейнье услугу, дав ему возможность выяснить себе последствия его согласия. Я прочел его письмо в Совете в тот же день и, похвалив его по заслугам, предложил королю, которому я раскрыл тайну, выразить г-ну де-Нейнье свое удовлетворение в письме, проект которого я прочел, и тотчас же назначить его командующим морскими силами в Бресте, вместо г-на де-ла-Грандьера, только что отказавшегося от этого места.

«Эти два предложения были приняты и весьма одобрены всеми министрами, по мнению которых мне следовало послать к г-ну де-Нейнье курьера, чтобы доставить ему письмо короля; но я заметил, что он почти тотчас же получил бы это письмо по почте, отправлявшейся на следующий день, и что произвести расход на нарочного было бы тем более бесполезно, что в Бресте, где г. Бернар де-Мариньи, отличный офицер, временно исправлял должность, не существовало никакой опасности.

«Истинный мотив, препятствовавший мне торопиться в этом деле, заключался в том, что я считал важным, чтобы письмо короля к г-ну де-Нейнье дошло до него не прежде тех писем, которые, как я рассчитывал, ему написали бы его друзья для того, чтобы осведомить его относительно нынешнего состояния флота и дать ему возможность принять окончательное решение, зная обстоятельства дела; благодаря этому, в своем ответе на письмо короля г. де-Нейнье отказался от командования морскими силами в Бресте и взял назад свое согласие принять новый данный ему чин. Сознаюсь, что несмотря на мою присягу Конституции, восстановление субординации в портах и на кораблях представлялось мне невозможным при новом режиме и я счел возможным по совести желать, чтобы все заслуженные морские офицеры, по крайней мере, на некоторое время, покинули службу, которой они не могли продолжать с честью и не подвергаясь опасности быть убитыми».

Какой плут! Но в этой системе тайного предательства, направленной против Революции, не обнаруживалось никакой решительности, и королевская политика казалась столь же бессильною, как и сама Революция.

При этой общей неурядице и при таком временном параличе партий и сил, Бриссо с необычайною смелостью увидел в войне единственное средство вызвать новое движение, возбудить революционную энергию, подвергнуть короля испытанию и, наконец, подчинить его Революции или ниспровергнуть его.

Война расширяла поприще, открывавшееся для деятельности, для свободы и для славы. Она заставляла предателей открыться, и темные интриги уничтожались, как муравейник, затопленный ураганом.

Война дозволяла партиям, стремившимся к движению, увлечь за собою умеренных, а в случае надобности, приневолить их, так как их холодность по отношению к Революции была бы об'явлена предательством по отношению к самому отечеству.

Наконец, благодаря волнению, вызываемому неизвестностью и опасностью, благодаря сильному возбуждению национальной гордости, война оживляла энергию народа. Уже нельзя было, пользуясь исключительно средствами внутренней политики, прямо побудить его к нападению на королевскую власть. Казалось, что на Революции тяготеет какой-то кошмар, вызывающий бессилие. Как? Ни 14 июля, ни 6 октября, ни даже после бегства в Варенн мы не могли ниспровергнуть короля или заставить его подчиниться. Мало того, при всякой выдержанной ею борьбе, даже при каждой из сделанных ею ошибок, королевская

власть, повидимому, усиливается, а тогда, когда следовало бы покарать короля, преследуются исключительно демократы. Для того, чтобы разрушить это вековое очарование монархии, нужно, чтобы она, наконец, отдалась Революции, или чтобы она, будучи уличена на месте преступления, в явной измене отечеству, возбудила против себя гнев граждан, уже разгоряченных борьбой против иностранцев.

Итак, Жиронда желала сделать из войны ужасный маневр внутренней политики. Страшная ответственность! При мысли о неслыханных испытаниях, которым предстояло подвергнуться Франции, при мысли о том, что за это мгновенное сильное возбуждение придется поплатиться двадцатью годами кровавого цезаризма, а затем, от 1815 г. до 1848 г.; можно сказать, от 1815 г. до 1870 г. во Франции будет меньше свободы, чем при конституции 1791 г., при мысли о том, что вооруженная пропаганда революционных принципов сильно раздражила против французов национальное чувство народов и создала ужасную военную систему, обременяющую народы,—возникает вопрос о том, в праве ли была Жиронда начать эту необычайную игру.

Иностранные государи не желали войны и, повидимому, если бы демократическая партия была едина, бдительна, благоразумна, если бы она боролась против подозрительных министров, если бы она мало-по-малу заставила короля назначать министрами патриотов, если бы она непрерывно старалась распространять демократические идеи, если бы она, в случае надобности, открыто об'явила войну королевской власти, то она могла бы довершить Революцию, не пускаясь во внешние приключения. Но политика жирондистов была сильна тем, что в 1791 и в 1792 годах она представлялась единственным способом действий; внутренняя усталость нации заставляла партии, стремившиеся к движению, искать новых возбуждающих средств. Мишле выразился по поводу войны, что океан Революции выступал из берегов и что жирондисты неслись на гребне его волн. Нет, океан Революции не выступал из берегов, наоборот, он успокоился, и Жиронда стремилась вызвать войну, как вихрь, опасаясь, что Революция, ставшая неподвижною в спокойном море, окажется во власти врага. Какая опрометчивость! Какая непредусмотрительность и какое нелепое притязание! Рассчитывая для осуществления плана, относящегося к внутренней политике, на чувства, которые вызовет в народе военное возбуждение, рассчитывая на гнев, который в нем вызовет измена, следует ожидать всяких ужасов и всякого ослепления; следует заранее вполне пожертвовать собою; следует предвидеть, что подозрение в измене коснется не только предателей, но, может быть, и хороших граждан; следует быть готовым простить возмущенному таким образом народу все ошибки, все насилия.

А жирондисты льстили себя надеждою, что они направят, как им угодно, эти мрачные волны. Они льстили себя надеждою, что они укажут патриотическому народному гневу предел и направление. Они считали себя непогрешимыми и навсегда верховными руководителями, властителями мрачного океана, и воображали, что под их руководством лодка Революции легко вновь переправится через Стикс войны в обратном направлении, отвезя в ад мертвую королевскую власть.

Итак, политика Жиронды будет такова. Она будет соблюдать осторожность по отношению к королю, чтобы не раскрыть своей игры слишком грубо. Она будет преследовать министров и нападать на них, пока не заставит их занять вызывающее положение по отношению к иностранным державам. Она будет раздувать ничтожные инциденты на границе, вызываемые присутствием нескольких тысяч эмигрантов в Кобленце или в Вормсе. Вместо того, чтобы успокаивать проявления национальной обидчивости, она станет беспрестанно возбуждать их и она побудит Собрание пред'являть один ультиматум за другим и

об'явить войну. Она будет готовиться к тому, чтобы или править от имени короля, если он отдастся в ее руки, или низложить его во время великого военного кризиса и провозгласить Республику, и, ведя невероятно двуличную игру, она будет и возбуждать страну и, вместе с тем, успокаивать ее; она подготовит войну, говоря, что державы не желают ее, не могут ее желать.

Сначала Собрание, после того, как прошло помрачение, вызванное речью Бриссо, повидимому, почувствовало опасность, и были даны благоразумные советы. Кох, депутат от верхнего Рейна, доказал на заседании 12 октября, что сборища эмигрантов никоим образом не могли вызвать опасность.

25 октября Верньо опять развивал тезис Бриссо и утверждал, что для революционной Франции безопасность заключалась в наступательных действиях. «Конечно, я вовсе не намереваюсь распространяться здесь о неосновательных тревогах, которыми я лично далеко не охвачен. Нет, эти столь же наглые, как и смешные, мятежники, прикрывающие свое преступное сборище странным наименованием Франции, находящейся в чужих краях, не опасны; их рессурсы истощаются с каждым днем. Увеличение их численности лишь ускоряет для них наступление полнейшего недостатка всяких средств к существованию. Рубли гордой Екатерины и голландские миллионы расходуются на поездки, на переговоры, на беспорядочные приготовления, и к тому же их не хватает для роскоши вождей мятежа. Вскоре мы увидим, что этим гордым нищим, которые не могли акклиматизироваться в стране равенства, придется в позоре и в нищете искупать преступления, вызванные их гордостью, и со слезами на глазах обратить свои взоры на покинутое ими отечество. А когда их ярость, более сильная, чем их отчаяние, побудит их броситься на территорию отечества с оружием в руках, не окажутся ли они, если они не найдут поддержки у иностранных держав, если они будут предоставлены своим собственным силам, лишь жалкими пигмеями, решившимися в припадке сумасбродства пародировать предприятие титанов против неба? (Аплодисменты.)

«Что же касается тех государств, к которым они обращаются с мольбою о помощи, то они слишком утомлены северною войною, чтобы нам пришлось очень опасаться их проектов. К тому же принятие конституционного акта королем, повидимому, расстроило все враждебные комбинации. Последние известия возвещают, что Россия и Швеция разоружаются, что в Нидерландах эмигранты не получают иной помощи, кроме той, которая заключается в гостеприимстве.

«Главное же, господа, верьте, что короли встревожены. Они знают, что для философского духа, давшего вам свободу, нет Пиренеев; они побоялись бы послать своих солдат в страну, еще об'ятую этим священным пламенем; они опасались бы, что день битвы обратит две враждебные армии в один народ (Аплодисменты.); «но если бы, наконец, пришлось помериться своими силами и храбростью, то мы вспомнили бы, что несколько тысяч греков, сражавшихся за свободу, одолели миллион персов, и, сражаясь за то же самое дело с такою же храбростью, мы надеялись бы восторжествовать таким же образом.

«Но при всей своей уверенности в скрытых от нас будущих событиях, я тем не менее считаю необходимым, чтобы мы оградились, приняв все меры предосторожности, указываемые благоразумием. Небо еще настолько пасмурно, что было бы весьма легкомысленно считать себя вполне безопасными от бури; ничто не скрывает от нас недоброжелательности иностранных держав; она достоверно доказана рядом фактов, столь энергически изложенных г-ном Бриссо в его речи. Оскорбления, нанесенные цветам национального флага, и Пильницкое свидание служат предостережением, данным нам их ненавистью, и благоразумие требует, чтобы мы воспользовались этим предостережением. Может быть, за нынешним бездействием кроется глубокое притворство. Делались попытки вызвать среди нас раздоры. Кто знает, не хотят ли внушить нам опасную беспечность?»

Возбудив таким образом тревогу, преувеличив ту опасность, которой эмигранты могли бы косвенно подвергнуть Францию, Верньо добавляет:

«Здесь я слышу восклицание: где же законные доказательства тех фактов, существование которых вы утверждаете? Когда вы их пред'явите, будет время наказать виновных. О, если бы вы, говорящие таким тоном, были в римском сенате, когда Цицерон разоблачил заговор Катилины, вы также потребовали бы от него законного доказательства!.. Законные доказательства! Ждите нашествия, которое ваша храбрость, несомненно, отразит, но которое обречет на разграбление и на смерть ваши пограничные департаменты и их несчастных жителей. Законные доказательства! Итак, вы не придаете никакого значения той крови, которой они стоили бы вам. Ах, лучше нам предотвратить те смуты, которые могли бы их нам доставить!

«Примем, наконец, строгие меры; перестанем терпеть, что мятежники выдают наше великодушие за слабость; произведем внушительное впечатление на Европу нашею гордою осанкою; рассеем призрак контр-революции, вокруг которого намереваются сплотиться все желающие ее безумцы; избавим нацию от этого жужжания жаждущих ее крови насекомых, беспокоющих и утомляющих ее, и вернем народу спокойствие». (Аплодисменты.)

В заключение Верньо потребовал суровых мер против всех эмигрантов, в особенности же против братьев короля, и сентиментально и трогательно выразился о самом короле:

«Говорят о глубоком горе, которое постигнет короля. Брут умертвил детей, совершивших преступление против его отечества. Сердце Людовика XVI не подвергнется столь тяжкому испытанию; но достойно короля свободного народа, чтобы он проявил такое величие, чтобы заслужить славу Брута. Если бы принцы не вняли нежным призывам и не повиновались его приказаниям, то не послужило ли бы это в глазах Франции и Европы доказательством того, что, будучи плохими братьями и плохими гражданами, они настолько же стремятся к захвату путем контр-революции той власти, которую конституция предоставляет королю, как и к ниспровержению самой Конституции? (Громкие аплодисменты.)

«В этом важном случае их поведение раскроет ему, каковы, в сущности, их сердца, и, если он опечалится, не найдя у них обязательных для них по отношению к нему чувств любви и повиновения, то, в качестве пламенного защитника Конституции и свободы, он обратится к сердцам французов: он найдет в них достаточное утешение в своих потерях». (Громкие аплодисменты.)

31 октября Собрание издало следующий декрет: «Национальное Собрание, принимая во внимание, что наследный принц еще не достиг совершеннолетия и что Людовик-Станислав-Ксавье, французский принц, совершеннолетний родственник его, в первую очередь призванный к регентству, находится вне королевства, об'являет, в силу третьей статьи второй главы Французской Конституции, что Людовик-Станислав-Ксавье, французский принц, приглашается возвратиться в королевство до истечения двухмесячного срока со дня обнародования прокламации Законодательного корпуса в Париже, где ныне происходят его заседания.

«В том случае, если бы Людовик-Станислав-Ксавье, французский принц, не вернулся в королевство до истечения вышеуказанного срока, он будет считаться отказавшимся от своего права на регентство, согласно параграфу второму конституционного акта.

«Национальное Собрание декретирует, что, во исполнение декрета от 30-го числа этого месяца, прокламация, содержание которой следует ниже, будет напечатана, расклеена и обнародована в городе Париже до истечения ближайших

трех дней и что в течение ближайших трех дней исполнительная власть представит Национальному Собранию отчет относительно тех мер, которые она примет для исполнения этого декрета».

Прокламация.

«Людовик-Станислав-Ксавье, французский принц, Национальное Собрание просит вас, в силу второго параграфа третьей статьи второй главы Французской Конституции, вернуться в королевство в течение двух месяцев, считая с нынешнего дня, а в противном случае и по истечении вышеуказанного срока вы будете считаться отказавшимся от вашего права на регентство, в случае если бы последнее оказалось необходимым».

Это была довольно бесполезная манифестация, так как было хорошо известно, что старший из братьев короля не вернулся бы и что значило для него лишение его права на регентство революционным собранием, которое он рассчитывал сокрушить? Но Законодательное Собрание желало, чтобы казалось, что оно действует.

8 ноября умеренный Дюкастель предложил от имени комитета проект декрета против всех эмигрантов:

«Национальное Собрание, выслушав доклад своего комитета гражданского и уголовного законодательства и принимая во внимание, что священные интересы отечества призывают всех удалившихся из Франции французов; что закон обеспечивает им полное покровительство; что, тем не менее, бо̀льшая часть их собирается под предводительством вождей, врагов Конституции; что они подозреваются в заговоре против государства и что национальное великодушие еще может дать им время раскаяться; но что если они не разойдутся до истечения этого срока, они обнаружат свои преступные замыслы, продолжая составлять сборище; что тогда они окажутся явными заговорщиками; что против них будет возбуждено преследование и они должны подвергнуться наказанию, как явные заговорщики, и что общественная безопасность уже требует строгих мер, декретирует нижеследующее:

«Статья первая: французы собравшиеся за пределами королевства, об'являются с нынешнего момента подозреваемыми в заговоре против отечества».

Эта статья была принята единогласно: в самом деле, не трудно было составить общую и неопределенную декларацию, трудно было организовать действительные санкции, и нерешительность обнаружилась уже во второй статье.

«Если к 1 января 1792 года они все еще окажутся составляющими сборище, то они будут об'явлены виновными в заговоре, против них, как виновных в заговоре, будет возбуждено преследование и они будут подвергнуты смертной казни».

Эта фраза была ужасна. Но как доказать юридически и достоверно, что в самом деле существовало сборище и что данное лицо участвовало в сборище? Кутон кратко и энергически указывает на эту трудность:

«Составлять сборище преступно, это не подлежит сомнению, но, господа, очень затруднительно установить факт, составляющий сборище. Можете ли вы сделать это обычным путем наведения справок? У вас не окажется других свидетелей, кроме самих бежавших французов, и вы знаете, какое значение можно было бы придавать их показаниям». (Ропот.)

Итак, Кутон предлагает заменить доказательство в собственном смысле легальной презумпцией и предлагает Собранию следующий проект:

«Будут считаться составляющими сборище, впредь до доказательства противного, подвергнутся преследованию и бу-

дут наказаны, как заговорщики, те из французов, которые, без заслуживающей уважения законной причины, остались бы вне королевства и не вернулись бы в него до 1 января 1792 года».

Часть Собрания начала роптать. Но уже с тех пор начинает энергически отстаиваться доктрина общественного спасения. Депутат Горгеро заявил:

«Я полагаю, что когда у вас имеется искреннее убеждение, которое с вами разделяет вся Франция, вся Европа; когда у вас имеется убеждение, которое окажется убеждением потомства, я полагаю, господа, что эти моральные доказательства должны быть достаточны для государственного человека. Нужно спасти государство, и вы не спасете его, если вы не желаете, чтобы заговорщиков судили, как обыкновенных нарушителей спокойствия... Переход от Учредительного Собрания к нынешнему законодательству должен явиться полным и совершенным разрывом связи между старым режимом и новым. При старом режиме все сильные люди уклонялись от действия закона; теперь закон должен покарать их всеми возможными и осуществимыми способами. Я не колеблясь говорю, что вы должны отказаться от Национального Верховного Суда и от трибуналов и от судебных форм, так как ваша главная обязанность заключается в том, чтобы спасти государство, вверенное вашему попечению». (Аплодисменты.)

Кутон ограничил применение своей поправки принцами и общественными чиновниками:

«Будут считаться обвиняемыми в покушении и в заговоре против общественной безопасности и против Конституции те из французских принцев и общественных чиновников, которые остались бы вне королевства и не вернулись бы в него до первого января 1792 г.».

В этой новой форме поправка Кутона была принята почти единогласно в добавление к также принятой второй статье проекта комитета. Дальнейшие статьи были приняты почти без прений:

«Статья 3. В течение двух первых недель того же месяца будет созван Верховный Национальный Суд, если к тому представится повод.

«Статья 4. Доходы эмигрантов, осужденных заочно, будут при жизни их взиматься в пользу нации, без нарушения прав их жен, детей и кредиторов, признанных законными до этого декрета.

«Статья 5. С настоящего времени на все доходы французских принцев, не живущих в королевстве, будет наложен секвестр. Нельзя будет производить ни прямо, ни косвенно никакой уплаты содержания, пенсии или каких бы то ни было доходов вышеупомянутым принцам, их уполномоченным или делегатам до тех пор, пока не последует иных решений Национального Собрания. Те лица, которые предписали бы выдачу денег и выплатили бы их, будут привлекаться к ответственности и присуждаться к двухлетнему тюремному заключению. Это же самое постановление применимо ко всем общественным, гражданским и военным чиновникам и к лицам, получающим государственные пенсии в отношении их жалования и пенсий.

«Статья 6. Все иски, необходимые для взимания доходов и секвестра, декретируемых двумя предшествующими статьями, будут предъявляться по прошениям прокуроров-синдиков департаментов по искам, возбуждаемым прокурорами-синдиками каждого округа, в котором окажутся вышеупомянутыми доходы, и получаемые суммы будут вноситься в кассы окружных сборщиков, которые будут обязаны представлять о них отчет. Прокуроры-синдики будут ежемесячно представлять отчет о состоянии исков, предъявляемых во исполнение предыдущей статьи министерству внутренних дел, которое также будет ежемесячно представлять о них отчет Собранию.

«Статья 7. Все общественные чиновники, не живущие в королевстве без законной причины после амнистии, дарованной законом от 15 сентября 1791 г. и не вернувшиеся во Францию, лишаются своих мест и всякого жалованья.

«Статья 8. Все общественные чиновники, не живущие в королевстве без законной причины после амнистии, также лишаются своих мест и жалованья и, кроме того прав активных граждан.

«Статья 9. Ни один общественный чиновник не может отлучиться из королевства без отпуска от министра, в ведомстве которого он служит, под страхом вышеупомянутых наказаний.

«Статья 10. Всякий военный офицер, каков бы ни был его чин, который прекратит выполнение своих обязанностей без отпуска или не получив отставки, будет признан виновным в дезертирстве и наказан, как солдат-дезертир. (Громкие аплодисменты.)

«Статья 11. По смыслу закона в каждой армейской дивизии будет составлен военный суд для разбора военных проступков, совершенных после амнистии; кроме того, общественные обвинители возбудят преследование против лиц, похитивших имущество или суммы, принадлежащие французским полкам, как против виновных в воровстве.

«Статья 12. Всякий француз, который вне королевства, завербует и наберет людей для того, чтобы они явились на сборища, упомянутые в статьях 1-й и 2-й этого декрета, будет подвергнут смертной казни. Тому же самому наказанию подлежит всякое лицо, которое совершит это самое преступление во Франции.

«Статья 13. Вывоз из королевства всякого рода оружия, лошадей и припасов воспрещается».

Вот, наконец, статья 14, влекшая за собой враждебные действия:

«Национальное Собрание поручает своему дипломатическому комитету предложить ему меры, которые оно попросит короля принять от имени нации по отношению к соседним иностранным державам, терпящим на своей территории сборища французов-беглецов».

Заседание было закрыто в шесть часов при аплодисментах и радостных криках с трибун.

Политика Жиронды торжествовала. Умеренные, после слабой попытки сопротивления, должны были согласиться на законы против эмигрантов; они не могли бы упорствовать, не навлекая на себя обвинения в потворстве вооруженному заговору против отечества. Далее, если бы король утвердил декреты, то он очутился бы в безвыходном положении; меры против эмигрантов оставались бы тщетными, если бы иностранные державы не разогнали сборищ; это, очевидно, вызвало бы дипломатические осложнения, которые могли привести к войне, а война вызвала бы новый революционный порыв. Если же король, наоборот, отказался бы утвердить декреты, то всем стало бы очевидно, что лишь великий кризис, в одно и то же время и внутренний и внешний, мог бы вызвать возобновление революционного движения... Наконец, самая тщетность законов, изданных против недосягаемых эмигрантов, естественно, внушила бы стране мысль о более решительном действии. Бриссо мог с уверенностью ждать событий. Его план начинал осуществляться.

Однако у некоторых демократов пробуждается недоверие. Робеспьера еще нет в Париже, он уехал в Аррас, чтобы отдохнуть в течение нескольких недель, но, несомненно, он начинает беспокоиться, так как возвращается через две недели. Еженедельник Прюдома выражает смутное беспокойство; повидимому, он еще не подозревает, что принятый образ действий ведет к войне. Но он задается вопросом, не обманывают ли нации.

«Все задаются вопросом, и никто не знает, каковы будут последствия декрета. Во-первых, кажется очень странным, что его проект был представлен г. Дюкастелем, выразившим совершенно противоположные взгляды при его обсуждении, и еще удивительнее, что этот декрет не вызвал заметной оппозиции со стороны приверженцев министерства... Змея в траве. Будем настороже, чтобы это не оказалось ловушкой или по крайней мере игрою. Недостаточно, чтобы Национальное Собрание приняло постановление; нужно, чтобы король его утвердил, а утвердит ли он его? Подпишет ли он смертный приговор своим братьям? Если он этого не сделает, то какое решение следует принять? Если он это сделает, то как верить в его добросовестность? И если предположить, что король утвердит декрет, если предположить, что он не будет противиться его выполнению, то разойдутся ли столпившиеся эмигранты? Вернутся ли они во Францию? Хватит ли у них духу раскаяться? Все признаки заставляют думать, что нет; эти негодяи увлекутся ложным славолюбием; они не разойдутся; они нападут на свое отечество; если так, то пусть уже не будет жалости, пусть закон карает неумолимо при осуждениях по суду, подобно тому, как будет неумолим меч храбрых национальных гвардейцев на границах; нужно, чтобы заговорщики нашли во Франции гражданскую смерть; нужно, чтобы они были поражаемы за границею кинжалами тираноубийц. Но пусть Национальное Собрание остерегается министров, пусть оно остерегается короля; пусть оно остерегается всякого, приближающегося к нему; если оно издало этот декрет лишь для того, чтобы обмануть народ, если оно не будет тщательно следить за его выполнением... топор поднят; нужно, чтобы он нанес сильные удары».

Очевидно, в умах революционеров, сотрудничавших в еженедельнике Прюдома, обнаруживается лишь недоумение и неясность. Они не предупреждают народа, что не следует искусственно раздувать вопрос об эмигрантах, потому что в таком случае этот вопрос будет разрешен только войною. Они делают сильные угрожающие жесты и, не подозревая этого, содействуют воинственной политике Жиронды. Марат также еще колеблется. Повидимому, он думает, что предстоит нападение иностранных держав и пишет 4 ноября:

«Итак, вопреки миролюбивым уверениям Монморэна и по его собственному признанию, державы, враждебных проектов которых нам приходилось опасаться, все еще против нас; стоило ли еще, после подобного признания, пытаться убаюкивать нас? Но что я говорю? Его внезапная отставка является вернейшим признаком того, что нам грозит нападение со стороны этих столь миролюбивых держав. Теперь, когда ужасный взрыв разоблачит его обманы и козни, он боится, что ежеминутно может раскрыться вся гнусность тех преступных проделок, при посредстве которых он восстановил их против нас, и он смеется над законом об ответственности, уклоняясь бегством от слишком заслуженного им наказания».

Но если Марат и ошибается относительно намерений держав в данный момент, он, по крайней мере, избегает всего того, что может создать возможность войны. Он выясняет истинное значение мер собрания против эмигрантов. Он показывает, что они останутся тщетными, что, главное, следует в самой Франции бороться против королевской власти.

Он пишет 12 ноября:

«Необдуманный читатель, может быть придет в негодование по поводу моего суждения о декрете против эмигрантов контр-революционеров; да так и должно быть, потому что для того, чтобы заметить его недостатки, скрывающиеся за наружною суровостью, весьма способною произвести внушительное впечатление на неразмышляющую массу, нужны сведения, которых нет у большей части людей. Пусть в ушах народа звучат громкие слова о любви к отечеству, о монархии, о свободе, защите прав человека, о верховенстве нации,

хотя плуты, у которых эти слова на устах, пользуются ими для того, чтобы поработить его, он неистово рукоплещет им... Что же будет, если вы станете, повидимому, строго наказывать людей, которых он привык считать своими врагами, изменниками и заговорщиками? Услышав о конфискации имуществ тех лиц, которые были бы осуждены, он стал бы издавать радостные крики, не смущаясь вопросом о том, подвергнутся ли они этому когда-либо. Услышав, что вожди заговорщиков будут осуждены на смертную казнь, он выразит свой восторг, не задумываясь о том, может ли эта кара когда-либо их постигнуть...

«Что делать, — сказал мне один патриот, радость которого несколько прошла после того, как он услышал мои комментарии к переданному им мне декрету,— приготовиться к гражданской войне, которая, наконец, неизбежна, ждать ее и прежде всего уничтожить наших внутренних врагов, занимающих все должности, дающие власть и требующие доверия; лишь уничтожив их, мы получим возможность успешно действовать против наших внешних врагов, как бы многочисленны они ни были; до этого все то, что мы предпримем, будет совершенно бесполезно, потому что, даже, если предположить, что законодатель, наконец, решился спасти Францию и доставить торжество свободе (чего я вовсе не думаю), то какому же общественному чиновнику поручит он выполнение своих декретов, который не продался бы государю или не был бы готов ему продаться? А сам государь является главою заговорщиков против отечества. Будьте уверены, что пока у него будут находиться ключи от казначейства, он будет душою всех дел».

Итак, Марат хочет, чтобы Революция внутри завершилась прямо, а не гибельным окольным путем войны; чтобы Революция поставила на все посты, дающие власть, верных уполномоченных и чтобы она кончила штурмом, направленным против Тюйльри. Марат советует 10 августа, без предварительного об'явления войны державам. И если бы все революционеры-демократы сговорились между собою, чтобы успокоить народное возбуждение против выдуманной опасности со стороны эмигрантов и направить народную энергию против внутреннего врага, то в этом заключалось спасение революции. Не доказано, что державы осмелились бы начать наступательные действия против революции, если бы она победила своих внутренних врагов. Во всяком случае, следовало испробовать этот шанс революции при сохранении мира, вместо того, чтобы разжигать внешние конфликты, для того, чтобы подогревать революцию пламенем войны. Понятно, что Марат, пока еще только выражающий некоторое беспокойство, не замедлит высказаться против политики жирондистов.

Король уведомил собрание 12 ноября, через хранителя печати Дюпор-Дютертра, что он утверждает декрет против своего брата. Относительно же декрета, направленного вообще против эмигрантов, он сообщил, что он обдумает: это была официальная формула отказа в утверждении декрета. Собрание приняло это сообщение совершенно молчаливо. Но когда хранитель печати, Дюпор-Дютертр, пожелал об'яснить, почему король отказал в утверждении, раздался ропот и Собрание заявило, что оно не обязано выслушивать об'яснения.

Непосредственное столкновение между королем и Собранием оказалось гораздо менее резким, чем можно было бы думать. Камбон даже сказал: «У наших врагов в данный момент имеется наиболее веское доказательство того, что король свободен среди своего народа, что он волен даже сопротивляться общему желанию: он только что отказался утвердить один очень важный декрет. (Аплодисменты.) Я радуюсь этому действию представителя, которое он совершил; это величайшее из'явление преданности Конституции, которое он мог выразить». (Аплодисменты.)

Не легко понять, почему Людовик XVI отказался утвердить этот декрет. На самом деле он не был очень опасен для эмигрантов. К конфискации присуждались одни лишь общественные должностные лица; против других эмигрантов оставалось трудным представить законное доказательство участия в сборище и, кажется, что Людовик XVI мог бы утвердить декрет, так как в данный момент его тактика состояла в том, чтобы снискать доверие народа.

Несомненно, он боялся еще более раздражить эмигрантов и вызвать с их стороны неблагоразумные поступки, если бы показалось, что он покидает их. Не лишился бы он того слабого влияния на них, которое у него еще оставалось, если бы они могли обвинить его в том, что он выдал их революции? Чтобы смягчить пред Собранием и пред страною действие своего отказа в утверждении, король сообщил Собранию 16 ноября прокламацию к эмигрантам и письмо к своим братьям. Он убеждал эмигрантов вернуться, отказаться от всяких проектов насильственных действий. «Вернитесь, таково желание каждого из ваших сограждан; такова воля вашего короля». Он убеждал также и своих братьев вернуться к себе. «Я докажу очень торжественным актом и притом по делу, вас касающемуся, что я могу действовать свободно. Докажите мне, что вы мой брат и француз, уступив моим настояниям. Ваше надлежащее место возле меня. Ваш интерес, ваши чувства равным образом требуют от вас, чтобы вы вновь заняли это место, я приглашаю вас сделать это и, если нужно, я повелеваю вам это».

Тщетные призывы, тщетность которых хорошо сознавал и Людовик XVI. Но этих документов было достаточно для того, чтобы воспрепятствовать всякому сколько-нибудь сильному возбуждению общественного мнения против отказа в утверждении декрета. Стране нравилось уверять себя в том, что король, доказывая свою свободу, этим самым отказом честно старался положить конец агитации эмигрантов и интригам принцев, и конфликт между королевскою властью и Революцией обострялся.

15 ноября глава умеренных, Вьено-Воблан, занял вместо Верньо председательское кресло в Законодательном Собрании.

Но в Собрании был поставлен другой жгучий вопрос: становилось необходимо подавить мятежные движения непокорных священников. 12 ноября докладчик Вельрнэ нарисовал от имени комитета законодательства очень беспокоющую картину клерикальной агитации: «Нет таких средств, которыми не пользовались бы священники-возмутители для того, чтобы, если это окажется возможным, ниспровергнуть Конституцию, которую мы поклялись защищать. Коварные инсинуации, зловещие действия, мятежные речи, возмутительные сочинения, клеветы на закон, избавивший нас от порабощения, домашние раздоры, оскорбления, которым подвергаются установленные власти, отказ допускать к таинствам тех лиц, которые приобрели национальные имущества со стороны незамещенных священников; союз этих священников с бывшими дворянами; разные бунты при введении в должность приходских священников, склонных к евангельской чистоте; кровавые обиды, наносимые им у самого подножия алтаря; сборища, устраиваемые у церквей для того, чтобы мешать богослужению; толпы сбитых с толку и мятежных женщин; изгнание, преследование, убийства приходских священников; наконец, ожесточение граждан, которым внушается фанатическая ненависть и которые готовы перерезать друг друга,—вот, господа, быстро набросанный общий очерк тех зол, которые удручают часть Французского государства».

Однако комитет, в котором господствовало влияние умеренных, ограничился тем, что предложил 14 ноября проект декрета, требовавший от священников гражданской присяги и лишавший неприсягавших их пенсий и окладов.

Иснар снова заговорил грозным тоном: «Я утверждаю, господа, что для этого рода преступлений оказывается в самом деле подходящим лишь один закон, а именно — изгнать из королевства священника-возмутителя. (*Аплодисменты на трибунах.*) Это средство было применено против иезуитов, и иезуитов забыли; только изгнанием вы можете прекратить заразительное влияние виновного, его нужно удалить от его прозелитов; ибо, если, наказывая его каким-либо иным образом, вы оставите ему возможность проповедывать, служить обедню (*смех*) и исповедывать (а вы не можете лишать его этой возможности, если он останется в королевстве, то он, будучи наказан, причинит вам больше вреда, чем если он будет оправдан. Я смотрю на священников-возмутителей как на зачумленных, которых следует отправлять в испанские и итальянские лазареты... (*Аплодисменты, ропот и одобрение.*) Следует наказать виновного священника. Всякие средства, клонящиеся к примирению, отныне бесполезны, и я спрашиваю, к чему же привело в действительности такое количество неоднократных помилований? Наша снисходительность усилила дерзость наших врагов; итак, следует изменить систему и применять, наконец, строгие меры. Эх! Пусть не говорят мне, что, желая одолеть фанатизм, удвоим его силу, это чудовище уже не является тем, чем оно было; оно не может долго жить в атмосфере свободы; уже раненое философией, оно окажет лишь слабое сопротивление; сократим же его опасную и судорожную агонию, умертвим его мечом закона. Вселенная будет рукоплескать при этой великой казни, потому что во все времена и у всех народов фанатические священники являлись бичами общества, убийцами человеческого рода; все страницы истории запятнаны их преступлениями; они повсюду ослепляют легковерный народ, они мучат невинность страхом и слишком часто продают преступникам то небо, которое бог дарует лишь добродетельным». (*Неоднократные аплодисменты.*)

Таким образом борьба между революцией и церковью становилась определенною, ясною и ожесточенною. Но Иснар, пылкий жирондист, обнаруживает сильное нетерпение начать борьбу, повидимому, угрожающую всему миру. Его ветряные слова распространяют на далекое расстояние жгучие зачатки войны.

«И вы поверили бы, — восклицает он со странным смешением вдохновения и напыщенности, — вы поверили бы, что французская революция, самая изумительная из тех, которые озарились солнцем, такая революция, которая сразу вырывает у деспотизма его железный скипетр, у аристократии — ее розги, у теократии — ее золотые рудники; которая вырывает с корнем феодальный дуб, разгромляет парламентский кипарис, обезоруживает нетерпимость, рвет рясу, ниспровергает пьедестал дворянства, разбивает талисман суеверия, прекращает крючкотворство, уничтожает фискальные законы; революция, которая, *несомненно, взволнует все народы*, заставит корону склониться пред законами, принудит министров выбирать между выполнением долга и казнью и *осчастливит весь мир*, совершится мирно, так, чтобы не могли повторяться попытки помешать ее успеху? *Нет, для французской революции нужна развязка*».

В данный момент Жиронда с лихорадочным нетерпением спешит покончить со всеми врагами, внутренними и внешними. Чуть только она начинает говорить, — и по поводу всякого вопроса — загорается всемирный горизонт. Этот воинственный энтузиазм полон величия, но он также полон и опасностей для свободы. Собрание несколько испугалось речи Иснара. Один из его членов воскликнул: «Я предлагаю, чтобы эта речь была послана Марату». И, несмотря на настояния левой, Собрание отказалось вотировать, чтобы эта речь была напечатана. Оно искало среднего решения между слишком примирительными законами

комитета и законами о высылке, предложенными Иснаром. И оно потребовало от комитета нового доклада и нового проекта.

Проект, представленный Франсуа де-Невшато, был принят почти целиком. Довольно оживленные прения вызвала статья 7-я, при чем Иснар безуспешно повторил предложение высылать мятежных священников. Оно было отвергнуто, но докладчик Франсуа де-Невшато ограничился указанием на его преждевременность. Он добавил: «Это одна из тех общих мер, которые вам следует отложить до выслушания отчетов, потребованных вами от Директории департаментов».

Итак, революция приберегла это страшное оружие. Прения возникли также и относительно добавочной статьи, предложенной Альбиттом. Он, очевидно, боялся раздражить часть католического населения, лишая его всякой возможности совершения богослужения, если бы оно не стало на сторону конституционного священника. Он предложил следующее: «Церквами или зданиями, принадлежащими нации, нельзя бесплатно пользоваться для нужд какого-либо иного культа, кроме того, который поддерживается на счет нации. Однако всякая религиозная ассоциация может покупать те из вышеупомянутых церквей, которые не служат для вышеуказанного культа, чтобы публично совершать в них свое богослужение, под надзором установленных властей, сообразуясь с законами относительно полиции и общественного порядка». Это казалось весьма либеральным, но это означало отмену закона или было бы совершенно бесполезным постановлением. Если бы католики, вовсе не признавшие конституционного священника, могли покупать церкви, не посвященные законному культу в приходах, где этого культа не было, то вскоре церкви принадлежали бы непокорным священникам. Но стали бы требовать от этих священников присяги. Если бы от них ее потребовали, то поправка Альбитта оказывалась бесцельною. А если бы их освободили от присяги, то весь закон упразднялся бы, и священники, отказывавшиеся присягнуть, были бы уполномочены публично служить обедню в тех самых зданиях, которые прежде служили для культа, если сплотившиеся вокруг них верующие приобрели их на свои деньги.

Верньо, Гюаде, несомненно, желая не доводить до крайности религиозной войны, повидимому, сначала отнеслись сочувственно к предложению Альбитта. Но какая непоследовательность со стороны Жиронды! Они боялись сильно возбудить в стране католический фанатизм; они желали, по мере возможности, смягчить конфликт между конституционным культом и старыми привычками и, в то же время, они терпели и поощряли проделки Бриссо, побуждавшего как из дипломатического комитета, так и с трибуны Собрания, к войне против Европы. Как будто бы трагический конфликт Революции с иностранными державами не вызвал ужасного осложнения всех внутренних конфликтов! Воинственные трубные звуки жирондиста Иснара терзали уши и раздражали нервы в тот самый момент, когда его друзья пытались несколько смягчить столкновение между католическими предрассудками и Революцией. Франсуа де-Невшато легко доказал, от имени комитета, что постановлене, предложенное Альбиттом, вновь открывавшее храмы для непокорных священников, противоречило всему каравшему их закону и, чтобы добиться окончательного принятия проекта в целом, он резюмировал в нескольких кратких и выразительных формулах светскую доктрину Революции:

«Я спрашиваю, можно ли призывать к терпимости по отношению к таким мнениям, которые являются не богословскими взглядами, а, очевидно, причинами смут, мотивами мятежа, зачатками раздора и междоусобной войны? Я спрашиваю, является ли жестокостью, является ли преследованием со стороны законодателя, если он, желая предотвратить эти смуты, требует от священников,

подозреваемых в том, что они придерживаются системы, столь вредной для общественного порядка, гражданской присяги? Я спрашиваю, можно ли предоставить лицам, отказывающимся подчиниться этому требованию, возможность отправлять мнимый особый культ, на самом деле отличающийся от культа, оплачиваемого государством лишь в том отношении, что служители этого последнего достойно выказали себя гражданами и своим патриотизмом способствовали Революции, давшей нам свободу и равноправие?

«Господа, я резюмирую сказанное мною. Церковь находится в Государстве, но государство не находится в церкви. Вы не сделаете ошибки, заключающейся в том, чтобы допустить государство в государстве; вы не подчините всего общества, великой семьи, державного народа, интересы которого вам доверены, честолюбию и жадности нескольких индивидуумов. Вы скажете этим индивидуумам, что если они добросовестны, то они не должны отказываться представить доказательство этого; что если их церковь желает быть принятою в государство, то ей следует подчиняться законам государства; ее служителям следует присягнуть, на повиновение и на верность государству». (Продолжительные аплодисменты.)

Как мы видим, Законодательное Собрание, если это возможно, еще более далеко, чем Учредительное Собрание, от всякой мысли об отделении церкви от государства. Наоборот, церковь должна быть связана законом государства, законом Революции. И мы сами в тот день, когда республика отменит бюджет культов и об'явит конец конкордату, должны не забыть сильной революционной мысли; церковная организация должна будет не организовать «государства в государстве».

Под впечатлением энергических слов де-Невшато Законодательное Собрание вотировало 29 ноября 1791 года целый закон относительно церковного благочиния, из-за которого возгорятся великие битвы и который следует привести дословно целиком:

«Национальное Собрание, выслушав доклад гражданских комиссаров, посланных в департамент Вандею, петиции большого числа граждан и доклад комитета гражданского и уголовного законодательства относительно смут, возбуждаемых в нескольких департаментах королевства врагами общественного блага под предлогом религии:

«принимая в соображение, что общественный договор должен связывать всех членов государства и одинаково покровительствовать им;

«что важно недвусмысленно формулировать это обязательство для того, чтобы неясность в словах не могла вызвать неясность в мыслях, что чисто гражданская присяга является ручательством, которое должен представить каждый гражданин относительно своей верности закону и своей преданности обществу и что различие религиозных мнений не может служить препятствием для принесения присяги, так как Конституция обеспечивает всякому гражданину полную свободу его религиозных мнений, лишь бы только «их выражение не нарушало порядка» или не вызывало бы действий, вредных для общественной безопасности;

«что служитель какого-нибудь культа, отказывающийся признать конституционный акт, который разрешает ему выражать свои религиозные взгляды и лишь обязывает его уважать «порядок, установленный законом», и «общественную безопасность», выразил бы этим самым отказом, что он намерен не уважать их: что не желая признавать закон, он добровольно отказался бы от тех выгод, которые ему может гарантировать только закон;

«что Национальное Собрание, которому очень нужно заняться важными делами, привлекающими его внимание, для упрочения кредита и финансовой системы, к сожалению, оказалось вынужденным прежде всего обратить вни-

мание на беспорядки, клонящиеся к расстройству всех общественных дел, препятствуя быстрой раскладке податей и их мирному взиманию;

«что, восходя к источнику этих беспорядков, оно слышало от всех просвещенных граждан в государстве единогласное выражение той великой истины, что религия служит для врагов Конституции лишь предлогом, которым они злоупотребляют, и орудием, которыми они осмеливаются пользоваться для того, чтобы устраивать смуты на земле во имя неба;

«что их таинственные преступления легко ускользают от обыкновенных мер, не затрагивающих тех тайных церемоний, которыми прикрываются их заговоры и благодаря которым они незримо господствуют над совестью людей;

«что пора, наконец, рассеять этот мрак для того, чтобы можно было отличить мирного и искреннего гражданина от буйного священника и злоумышленника, сожалеющего о прежних злоупотреблениях и неспособного простить Революции их уничтожения;

«что эти мотивы настолько требуют, чтобы законодательный корпус принял важные политические меры для укрощения мятежников, прикрывающих свой заговор священным покровом;

«что действительность этих новых мер в значительной степени зависит от патриотизма, благоразумия и твердости муниципалитетов и администрации и от той энергии, которую они могут внушить всем другим установленным властям;

«Что в особенности административные власти в департаментах могут оказать при таких обстоятельствах величайшую услугу нации и прославиться, стараясь оправдать доверие Национального Собрания, которое всегда будет с удовольствием отмечать их услуги, но которое, в то же время, будет строго наказывать тех общественных чиновников, нерадивость которых при выполнении закона походила бы на молчаливое потворство врагам Конституции;

«что, наконец, благодаря успехам здравого смысла и хорошо руководимого общественного мнения, закон во всяком случае окончательно восторжествует, и деревенским жителям выяснится своекорыстное вероломство лиц, желающих уверить их в том, что законодатели Учредительного Собрания затронули религию их отцов и что к чести Франции, в нынешнем веке просвещения, удастся избежать повторения тех ужасных сцен, котырми суеверие, к несчастью, слишком запятнало их историю в те века, когда правительство пользовалось в своих выгодах народным невежеством;

Национальное Собрание предварительно декретирует безотлагательность и окончательно декретирует нижеследующее».

Это прекрасное вступление, взывавшее как к силе закона, так и к силе просвещенного общественного мнения, могло узаконить еще более строгие меры, чем те, которые Законодательное Собрание готовилось принять в данный момент, потому что в действительности оно констатировало, что непокорное духовенство, отказываясь от нового соглашения, от «Общественного Договора», само ставило себя вне закона, вне нации. Уже с тех пор оно является теоретическим оправданием тех законов об изгнании, о высылке непокорных священников, которые Революция издаст лишь через несколько месяцев.

29-го ноября оно постановляет громадным большинством:

«Статья первая. В течение недели со дня обнародования этого декрета все духовные лица, кроме тех, которые сообразовались с декретом от 27 ноября прошлого года, обязаны явиться в муниципалитет, которому подведомственна та местность, где они живут, принести там гражданскую присягу в форме установленной пятою статьею второго раздела Конституции и подписать удостоверяющий это протокол, который будет составляться бесплатно.

«Статья вторая. По истечении вышеуказанного срока каждый муниципалитет доставит Директории департамента через посредство округа список

духовных лиц, проживающих в подведомственном ему участке, отличая тех, которые принесут гражданскую присягу, от тех, которые откажутся сделать это. Эти списки послужат для составления перечней, о которых говорится далее.

«Статья третья. Те из священнослужителей католического вероисповедания, которые подали пример повиновения законам и привязанности к своему отечеству, принеся гражданскую присягу согласно формуле, предписанной декретом от 27 ноября 1790 г. и не отреклись от этой присяги, освобождаются от всяких новых формальностей. За ними неизменно сохраняются все права, предоставленные им прежними декретами.

«Статья четвертая. Что касается остальных духовных лиц, то отныне ни одно из них не может получать, требовать выдачи или просить пенсии или жалования из казначейства, не представляя доказательства принесения им гражданской присяги, согласно вышеприведенной первой статье. Казначеи, производящие уплаты вопреки постановлениям этого декрета, будут присуждаться к возвращению уплаченных сумм и лишены занимаемой должности.

«Статья пятая. Ежегодно из тех пенсий, которых будут лишаться духовные лица вследствие их отказа от принесения присяги или отречения от нее, будет составляться капитал. Этот капитал будет распределяться между 83 департаментами для расходования генеральными советами коммун или на благотворительные работы для здоровых неимущих или для выдачи пособий неимущим, неспособным к труду.

«Статья шестая. Кроме лишения всякого жалования и пенсий, те духовные лица, которые откажутся принести гражданскую присягу или отрекутся от нее, принеся ее, будут, вследствие этого самого отказа или этого отречения, считаться подозреваемыми в возмущении против закона и в дурных намерениях против отечества и, как таковые, будут отданы под надзор установленных властей, особое внимание которых будет обращено на них.

«Статья седьмая. Следовательно, всякое духовное лицо, отказавшееся принести гражданскую присягу или отрекшееся от нее после ее принесения, которое окажется в такой общине, где произойдут беспорядки, причиною которых или предлогом для которых явятся религиозные мнения, может быть, в силу постановления Директории департамента по отношению Директории округа, во-первых, выслано из своего обычного места жительства, при чем это не исключает предания его суду, смотря по важности дела.

«Статья восьмая. В случае неповиновения постановлению Директории департамента, против нарушителей этого постановления будет возбуждаться судебное преследование, и они будут наказываться тюремным заключением в главном городе департамента; продолжительность этого тюремного заключения не может превышать год.

«Статья девятая. Всякое духовное лицо, уличенное в том, что оно вызвало неповиновение закону и установленным властям, будет наказано двумя годами тюремного заключения.

«Статья десятая. Если по поводу религиозных смут в какой-нибудь общине возникнут мятежи, требующие передвижения вооруженной силы, то расходы на это, произведенные из сумм, выданных вперед казначейством, будут возложены на граждан, проживающих в общине, с предоставлением им права взыскивать убытки с руководителей, зачинщиков и соучастников мятежей.

«Статья одиннадцатая. Если учреждения или лица, на которых возложено выполнение общественных функций, по небрежности не применят

средств, предоставляемых им законом для предотвращения или подавления этих мятежей, или если они откажутся применять такие средства, то они будут лично ответственны за это, против них будет возбуждено преследование, они будут преданы суду и наказаны согласно закону от 3 августа 1791 г.

«Статья двенадцатая. Церкви и здания, служащие для культа, расходы на который уплачиваются государством, не могут служить ни для какого иного культа. Принадлежащие нации церкви и часовни, признанные администрацией ненужными для отправления культа, расходы на который уплачиваются нацией, могут быть покупаемы или нанимаемы гражданами, придерживающимися какого-либо иного культа для публичного отправления в них этого культа, под надзором полиции и администрации; но это право не может распространяться на духовных лиц, которые откажутся от принесения гражданской присяги, требуемой первою статьею этого декрета (или которые отреклись бы от нее) и которые, вследствие этого отказа или этого отречения, об'явлены согласно статье 6-й подозреваемыми в возмущении против закона и в дурных намерениях против отечества».

Далее следовали постановления, устанавливавшие обязательные правила. Закон был строг. Гражданская присяга, присяга на верность всей Конституции (включая в нее гражданский устав духовенства) требовалась от всех священников; если они отказывались от нее, то они не только лишались всякого жалованья, всякой пенсии, но и об'являлись подозрительными, отдавались под надзор административных властей и, при малейшей смуте в их общине, высылались из своего местожительства; это было, так сказать, изгнание внутри страны и, в случае проступка, тюрьма.

Кроме того, на такие общины, в которых мятежные движения потребовали бы вмешательства войск, возлагалась коллективная денежная ответственность, с взысканием убытков с виновников и участников смут. Революция, наконец, решилась защищаться от пагубной клерикальной агитации. Было чрезвычайно важно, чтобы закон был утвержден и применяем, так как интрига церкви, эксплоатировавшей против Революции нелепый фанатизм населения, привыкшего к рабству в течение веков, была несравненно опаснее для зарождавшейся свободы, чем все сборища эмигрантов за границей. На этот пункт должны были направиться все, или, по крайней мере, главные усилия Революции. Что же касается самого короля, то если бы он был способен к свободной и сколько-нибудь широкой мысли, он был бы чрезвычайно заинтересован в том, чтобы положить конец агитации священников; потому что королевская власть в том виде, как ее определяла Конституция, могла упрочиться и спокойной функционировать лишь тогда, когда революционная страна была бы обеспечена от всякого насильственного восстановления прежнего режима.

Оппозиция церкви вызывала всякие проявления недоверия и гнева Революции. Ханжество короля, его умственная ограниченность, его бессилие даже осуществлять до конца усвоенную им систему притворства и конституционного лицемерия, помешали ему стать на сторону Революции в ее борьбе против церкви. Но в силу какого заблуждения умеренные посоветовали королю отвергнуть эти законы, которыми защищалась Революция? Однако, им было хорошо известно, что отказ в утверждении поощрил бы церковь и что, развиваясь уже в силу своей безнаказанности, католический фанатизм вскоре заставил бы Революцию прибегнуть к еще более суровым мерам.

К тому же в эти месяцы, в ноябре и декабре 1791 г., умеренные не желали войны. Они еще не присоединились к рискованным и нечистым планам измены.

Они почувствовали, что вооруженное столкновение с Европой возбудило бы во Франции жгучие страсти, и эта ужасная неизвестность пугала их. Но

какому же безумию они сыграли на руку Бриссо, рассчитывавшему именно на неудачу всей внутренней революционной политики для того, чтобы сделать неизбежною великую внешнюю диверсию?

Каким же образом Ламет, Дюпор и особенно Барнав, взгляды которого, однако, обыкновенно столь ясны, не почувствовали опасности? В своих этюдах о Революции Барнав очень энергически и ясно указывает на опасности для конституционной монархии и для умеренной партии, таившиеся в воинственной политике Жиронды. В намечаемом им плане примирительной, осторожной и благоразумной политики он не говорит ни слова о религиозном вопросе. Однако этот вопрос не мог ускользнуть от его внимания, так как именно он потребовал и добился от Учредительного Собрания первого декрета, делавшего присягу обязательною для священников, того самого декрета от 27 ноября 1791 г., на который, год спустя, ссылается Законодательное Собрание.

Я могу об'яснить себе это странное умалчивание, этот удивительный пробел в мыслях и в действиях Барнава лишь его желанием играть при короле и королеве тайную роль. Он, несомненно, боялся, напомнив о своем участии в борьбе против церкви и потребовав от короля утверждения новых революционных мер, задеть совесть Людовика XVI в самом болезненном месте и навсегда скомпрометировать свой авторитет, как советника, доверие к себе, как к тайному министру.

В самом Законодательном Собрании революционное движение в пользу закона было настолько сильно, что сопротивление умеренных было весьма сомнительно. Все ораторы констатируют, что суровейшие параграфы принимаются огромным большинством. Но, как только закон был вотирован, фельяны начинают кампанию против него, а члены Директории парижского департамента решаются на в высшей степени важный и чрезвычайно опасный шаг.

Как мы видели, закон, изданный Учредительным Собранием, воспрещал коллективные петиции установленных властей. Члены Директории обошли трудность, подписав петицию в качестве отдельных лиц, но они добавляли к своим именам указания на то, что они состоят членами Директории.

8 декабря Жермен, Гарнье, Брусс, Талейран, Перигор, Бом, Ла-Рошфуко, Демэнье, Блондель, Тион де-ла-Шом, Ансон и Давэ представили свой адрес королю. Они просили его не утверждать закона, по их мнению инквизиторского и проникнутого духом нетерпимости, заставлявшего администраторов посягать на тайну совести всех священников, такого закона, который, воспрещая известные формы культа, сильно возбудил бы религиозные страсти и восстановил бы в разгар Революции деспотизм и произвол:

«Тщетно будут говорить, что неприсягнувший священник подозрителен; не были ли в царствование Людовика XIV протестанты подозрительны в глазах правительства, когда они не желали подчиниться господствовавшей религии? И не были ли католики долго подозрительны в Англии?

«Пусть следят за неприсягнувшими священниками, пусть беспощадно карают их во имя закона, если они его нарушат, но пусть до тех пор уважают их культ, как и всякий другой...»

Умеренные забывали только одно обстоятельство, а именно то, что в этот самый момент в некоторых местностях во Франции начиналась гражданская война. Они утверждали, что Париж был обязан религиозным миром политике своих администраторов, проникнутой терпимостью; они забывали, что в Париже было меньше невежества и фанатизма, чем в Вандее. Несомненно, парижская Директория была вдохновляема фельянами, со страхом замечавшими, что возобновляется революционное движение, которое они, по их мнению, остановили. Раз начав религиозную борьбу, Революция отдалась бы партиям левой, энергически желавшим борьбы. Парижская Директория, недовольная шагами Законо-

дательного Собрания, желала сразу остановить движение. Но, считая католическую опасность незаслуживающею внимания, умеренные в то же время обращали внимание короля на опасности, угрожавшие со стороны эмиграции. Какое необ'яснимое извращение отношений! По сравнению с церковью, фанатизировавшею массы и пытавшеюся парализовать самое сердце Революции, сборища эмигрантов представляли собою лишь тщетную суету, может быть, раздражавшую, но не опасную. И каким же образом умеренные, эти мнимые мудрецы, не видят, что решительные меры, которых они требуют против эмигрантов, могут легко вызвать войну с Европой и что эта война гибельна для конституционной монархии и для умеренных партий?

Здесь фельяны с неслыханною беззаботностью играют в руку воинственной Жиронде, и неизбежно возникает вопрос, нет ли интриги и с этой стороны? Не представляется ли умеренным война, которою руководил бы король, с этого момента полезной диверсией, средством упрочить королевскую власть, тогда как для жирондистов она является средством ее уничтожить?

Во всяком случае, следует отметить, как тревожный симптом, следующие фразы из адреса парижского департамента:

«Призывая священное имя свободы, Конституции и общественного блага, мы просим вас, государь, не отказаться утвердить декрет от 29 ноября и предшествующих дней относительно религиозных волнений; но в то же время *мы заклинаем вас поддержать всею вашею властью только что выраженное вам с такою силою и столь благоразумное решение, принятое Национальным Собранием против мятежников, устраивающих заговоры на границах королевства. Мы заклинаем вас принять, не теряя ни одного мгновения, сильные, энергические и вполне решительные меры против безумцев, осмеливающихся столь дерзко угрожать французскому народу*».

Адрес парижской Директории произвел чрезвычайно сильное впечатление. Демократы усмотрели в нем целый план короля, клонившийся к тому, чтобы вызвать общую манифестацию Директорий департаментов, которые почти все были умеренными, и противопоставить эту силу мнения еще сомнительному возбуждению Собрания. Многие парижские секции послали делегатов к решетке Собрания для того, чтобы протестовать против парижской Директории. Они сделали это крайне резко и не щадили ни *veto*, ни короля. 11 декабря Камилл Демулен представил Собранию обворожительно-остроумную петицию, полную революционных угроз, с 300 подписей:

«Достойные представители, аплодисменты являются цивильным листом народа, не отвергайте же справедливой награды, присужденной вам народом. Выслушайте короткие похвалы, как вы не раз выслушивали длинную сатиру. Получить похвалы от хороших граждан и оскорбления от дурных значит получить все голоса». (*Аплодисменты.*)

Он осыпал насмешками Людовика XVI:

«Беря пример с самого бога, *заповеди которого не требуют невозможного*, мы никогда не потребуем от прежнего самодержца невозможной любви к национальному сомодержавию и мы вовсе не считаем дурным, что он противится своим *veto* именно наилучшим декретам».

Он обвинил парижскую Директорию в нарушении закона о коллективных петициях. Он воскликнул, как будто для того, чтобы приобщить Законодательное Собрание к революционному плану:

«Продолжайте, верные уполномоченные, и, *если будут упорно не позволять вам спасти нацию, то что же, нация сама*

себя спасет, как она уже сделала это (аплодисменты), так как в конце концов сила королевского veto имеет предел и посредством veto нельзя воспрепятствовать взятию Бастилии. (Аплодисменты.)

Это как бы предвещало дни 20 июня и 10 августа. Демулен окончил свою речь следующими словами:

«Не сомневайтесь более в полном могуществе свободного народа, но если голова дремлет, то как же станет действовать рука? Не поднимайте более этой руки, не поднимайте национальной палицы для того, тобы раздавить насекомых. Преследовать нужно вождей. Ударьте в голову; нанесите громовой удар принцам-заговорщикам, пользуйтесь хлыстом против наглой Директории и изгоните демона фанатизма постом».

Демулен был одобрен левою, и задорный тон этой речи очень отличается от его длинной элегии 21 октября. Видно было, что революционная энергия, которую демократы сочли было подавленною, пробуждалась. И, повидимому, с тех пор долг революционеров был ясен: им следовало бы возбудить народную агитацию против veto и против модерантизма, настаивать на применении декретов против мятежных священников, дать почувствовать министрам, что на их головы пала бы ответственность за всякую такую политику, держась которой они не выполняли бы своих обязанностей, виляли или изменяли бы, а если бы королевская власть заупрямилась или стала плутовать, то им следовало бы направить все усилия против нее и, наконец, уничтожить монархию, подобно тому, как уничтожили Бастилию; в то же время им следовало бы вооружить народ как против внутренних врагов, так и против всевозможных внешних опасностей, но тщательно воздерживаться от того, чтобы дать революционному действию иное направление, перенося его за границу, воздерживаться от всякой бесполезной провокации, которая вызвала бы войну.

Итак, было ли невозможно усилить революционное воодушевление народа и стремиться к Республике, избежав путей, ведущих к войне, и опасных окольных путей, придуманных Жирондою? Но речь, произнесенная Бриссо 21 октября, уже произвела впечатление. Воинственная горячность уже начала обуревать неблагоразумный народ, который не мог разглядеть сквозь дым сражений, уже омрачавший головы, глубокие бездны военного порабощения. И в речах секций, появлявшихся в декабре одна за другою у решетки Собрания, раздавались воинственные возгласы.

Каким образом усилилось это движение? 22 ноября, исполняя предложение, внесенное Бриссо и Верньо, принятое 8 числа, дипломатический комитет представил Собранию свой доклад относительно тех мер, которые следует принять по отношению к соседним иностранным державам, терпящим на своей территории сборища беглецов французов.

Докладчик Кок говорил очень сдержанным тоном; он возвестил мир:

«Главные европейские державы уж отвергают эти безрассудные проекты контр-революции, которыми тщетно стараются запугать нас в своей бессильной ярости враги Конституции».

Предложенный им проект декрета был осторожен и в то же время неопределенен:

«Национальное Собрание, выслушав свой дипломатический комитет и принимая в соображение, что сборища, скопища и вербовка французских беглецов, которым благоприятствуют имперские князья в округах Верхнего и Нижнего Рейна, равно как насилия, которым в разное время подвергались французские граждане на территории Страсбургского епископства по ту сторону Рейна, являются посягательствами на международное право и очевидными нарушениями общественных законов империи, несогласимыми с дружбою и с теми хорошими

соседскими отношениями, которые французская нация желала бы поддерживать со всею совокупностью германских государств, декретирует, что исполнительная власть будет приглашена принять наискорейшие и действительнейшие меры по отношению к иностранным державам для прекращения этих беспорядков, восстановления спокойствия на границе и получения надлежащего удовлетворения за те оскорбления, жертвами которых оказывались в особенности граждане Страсбурга».

Как я сказал, этот проект был проникнут умеренностью и миролюбивыми намерениями, но тем не менее он был опасен, так как становились возможными всякие случайности. В данный момент мир был возможен лишь в том случае, если бы сказали: «Не станем обращать внимания на интриги эмигрантов, будем презирать их, не станем для того, чтобы поразить их, вступать в переговоры, которые могут повлечь за собою войну; только приготовимся к самозащите и сделаем Революцию очень сильною внутри страны; накипь эмиграции разобьется об эту скалу». Такой тон вел бы к миру, все остальное даже в умереннейших формах, все равно, было это желательно или нет, являлось зародышем войны, влекло за собою войну. Но 6 ноября у демократов еще не существовало партии, стремившейся к миру.

Робеспьер все еще отсутствовал, Марат все еще молчал о внешних делах. Однако следовало бы сразу воспротивиться первым нерешительным шагам воинственной политики: самая умеренность первых формул и первых шагов способствовала лишь усилению опасности, скрывая ее. Уже 27 ноября Рюль и Давергу говорят повышенным тоном и стараются подстрекнуть самолюбие нации. Далее, между тем как Бриссо в своей речи, произнесенной 21 октября, еще принимал в расчет сложное положение дел и изображал Европу лишь отчасти воинственною, Рюль и Давергу, осмеивая эмигрантов, указывают на воинственные намерения государей и возбуждают сильную тревогу такими утверждениями, которые, как мы знаем теперь, более чем наполовину ложны. Рюль говорит Собранию:

«Итак, господа, во всей обширной Германии оказывается лишь три духовные лица, собирающиеся громить нас и обратить всю Францию в груду пепла, истребив племя неверных, обитающих на поверхности земли. Его высокопреосвященнейшая светлость монсеньор барон д'Эртель Майнцский архиепископ-курфюрст, который сам от себя может набрать отряд в 4.000 человек, если майнцы, его подданные, окажутся настолько глупыми, чтобы пожелать принять на себя расходы на это; его светлость монсеньор Трирский епископ, который может выставит армию в 7.000 человек (смех), включая сюда вспомогательные войска монсеньора князя Неувидского, его соседа его высокопреосвященнейшая светлость монсеньор Людовик-Ренэ-Эдуард, кардинал де-Роган, который, не считая 600 или 700 разбойников, главнокомандующим которых он имеет честь состоять (смех и аплодисменты), может набрать армию в 50 человек, сплошь отборных людей (смех), так как законы империи дают ему право набрать, самое большее, постоянную армию в 50 человек.

«Итак, господа, вам придется иметь дело не с варварскими ордами, а с солдатами тевтонской церкви, которые все обильно снабжены четками и благословениями, которые к тому же будут очень кротки и очень сговорчивы, когда Людовик-Иосиф де-Бурбон во главе всех своих странствующих рыцарей ринется на вас, неся смерть, вызывая резню. Но, господа, хотя у меня есть основания предполагать, что вы не очень испугались бы той бури, которою вам грозят, но которую вы не считаете настолько сильною, чтобы она могла омрачить сияющее над вами ясное небо, тем не менее, по правде говоря, недостойно было бы большинства такой великой нации, как наша, далее терпеть этот оперный огонь, дым от которого нам несносен (аплодисменты), и давать ужасным шутам, наглость

которых заслуживает порки, безнаказанно оскорблять нас. Простое частное лицо может отнестись с презрением к бахвальству забияки, но великая нация должна дорожить своею славою, должна строго наказывать дерзких людей, осмеливающихся не обнаруживать по отношению к ней должного уважения, должна уничтожить в самом начале всякий зачаток сопротивления ее верховной воле, раз эта воля была торжественно из'явлена пред лицом вселенной, раз эта воля была законно выражена всем составляющим ее индивидуумам.

«Не обманывайтесь, господа, кажущимся сном окружающих вас деспотов: это сон льва, подстерегающего свою жертву и устремляющегося на нее, как только ему покажется, что она уже не может избежать его когтей и плотоядных зубов. Этот Леопольд, которого вам изобразили столь миролюбивым и явные распоряжения которого столь противоречат аплодисментам наших эмигрантов, но тайные распоряжения которого вам неизвестны, этот Леопольд никогда не простит вам того, что вы дали практическое применение принципу, гласящему, что короли созданы для народов и что народы не являются собственностью королей». (Аплодисменты.)

С каким легкомыслием и с каким безрассудством Рюль предполагает здесь, что у австрийского императора сложился тайный план нападения. Наоборот, мы знаем, и не только из явной переписки, но и из тайных сообщений, что эмигранты ненавидели Леопольда, что он не желал вмешиваться в борьбу и что он доводил свою сестру Марию-Антуанетту до отчаяния. Именно эти опрометчивые и неверные предположения мало-по-малу возбуждали в умах воинственный пыл. Давергу также побуждал к войне речью, полною противоречий. Его тезис можно резюмировать следующим образом: эмигранты еще не очень многочисленны и не очень опасны; но их партия может усилиться и они могут стать опасными, если они неожиданно нападут на Францию в такой момент, когда она страдала бы от внутренних раздоров. Иностранные державы раз'единены, особенно благодаря польскому вопросу, но в тот день, когда Франция, раздираемая междоусобиями, показалась бы легкою добычею, они примирились бы, чтобы напасть на нас. Вывод: следует перейти к наступательным действиям.

«Эмигранты рассчитывают на внутренние смуты, которые они возбуждают и поддерживают всякого рода способами, а также и на тайные связи, которые, может быть, сохранились у них в некоторых пограничных крепостях. Получая денежную поддержку от иностранцев и скорее имея возможность пользоваться событиями и благоприятными случаями, чем вызывать события, они беспокоят, грозят, интригуют для того, чтобы стать более многочисленными, и медлят, чтобы выждать благоприятного для них случая; таково их военное положение и политическая система. Достаточно указать на нее, чтобы доказать, что наша политическая система должна иметь противоположное направление.

«Всякое промедление с нашей стороны беспокоит хороших граждан, охлаждает их усердие, усиливает надежду тайных врагов, вызывает мятежи и подготовляет для лиц, находящихся по ту сторону Рейна, тот благоприятный момент, который они подстерегают.

«Не дадим обольщать себя; наши силы окажутся внушительными лишь постольку, поскольку они будут хорошо направлены; но если бы наши враги выполняли свой план в то время, как часть этих сил была бы занята подавлением мятежей; если бы множество недовольных, находящихся внутри страны, присоединилось к неприятельской армии; если бы тревоги и беспорядок парализовали часть наших средств; если бы, не зная, какие пункты подвергнутся нападению, наши генералы обманулись; если бы быстрое движение неприятельской армии

привело в ужас слабые души и вернуло временным патриотам их прежние свойства; если бы в этот момент существовал разлад между двумя властями; если бы в самом Париже, при приближении неприятельской армии, нашлись изменники, подкупленные иностранцами, то каково было бы наше положение?

«Позвольте мне, господа, привести недавний пример. Когда меня преследовали в Голландии и я едва не погиб там на эшафоте за дело свободы, я видел, как это величественное дело погибло из-за промедлений. Голландия порабощена, потому что она применяла полумеры, ее противники не были во-время раздавлены, потому что она боролась лишь против следствий, не борясь против причин, потому что она дождалась до тех пор, когда ее врагов поддержала одна из великих держав.

«Не думайте, что, находясь на более обширной сцене и будучи в состоянии располагать более значительными средствами, вы могли бы безнаказанно пренебречь тем примером, который порабощенная Голландия подает нациям».

Как я сказал, в этой речи много противоречий. Прежде всего, если эмигранты станут опасны лишь вследствие внутренних раздоров во Франции, то нужно вести энергическую революционную активную политику внутри страны, прежде чем вызывать бурю за границею. Если Франция не должна ждать, пока ее враги выберут подходящее для них время, если она должна предупредить их, то она должна начать враждебные действия не только против эмигрантов, против мелких имперских князей, дающих им приют, а против всех враждебных или подозрительных государей Европы. Таким образом под тем предлогом, что не следует ждать наступления того времени, когда эмигрантов станет поддерживать одна из великих держав, следует вызвать против революционной Франции коалицию великих держав.

Наконец, Давергу боится, что иностранные державы нападут на нас, как раз в такое время, когда внутри королевства будут происходить восстания, как раз тогда, когда возникнет разлад между двумя властями, т.-е. между Собранием и королем. Но каким же образом он может быть уверен в том, что, приступив к наступательным действиям, Франция избежит этих ужасных случайностей? Может быть, он надеется на то, что борьба будет окончена одним ударом? Наоборот, если она затянется, при чем неудачи и успехи будут сменять друг друга, то всякие внутренние кризисы, всякие проявления анархии могут развиваться именно тогда, когда враг удвоит свои усилия. В самом деле, именно тогда, когда революционная Франция перешла к наступательным действиям, она подверглась тем опасностям, которых Давергу хочет избежать переходом к наступательным действиям; восстание Вандеи, смертельный поединок между Революцией и королем, сентябрьская резня, при которой погибли те, кого народ, обезумевший от нашествия, счел «изменниками, подкупленными иностранцами», т.-е. все самые мрачные черты в ужасной картине, нарисованной Давергу, появляются именно в истории Революции, ставшей воинственною. В силу какой необычной иллюзии деятели 92 года могли поверить, что они избежали бы всех предусматриваемых ими опасностей, вызвав европейскую войну с ее ужасными и неисчислимыми случайностями? Давергу окончил свою речь гораздо более решительным и резко задорным предложением, чем предложение, внесенное докладчиком Коком.

«Национальное Собрание декретирует, что депутация, состоящая из двадцати четырех членов, отправится к королю, чтобы передать ему от имени Собрания, что оно заботится о предотвращении опасностей, грозящих отечеству, вследствие вероломного соединения тех французов, которые вооружились и столпились вне королевства, и тех, которые устраивают заговоры внутри страны или подстрекают граждан к возмущению против законов, и чтобы заявить королю, что нация доставят удовольствие все те благоразумные меры, которые король будет иметь возможность принять для того, чтобы потребовать

от Трирского и Майнцского курфюрстов и от Шпейерского епископа, чтобы они, согласно международному праву, до истечения трехнедельного срока, разогнали вышеупомянутые скопища, образуемые эмигрировавшими французами; что с таким же доверием к благоразумию мер, принимаемых королем, нация отнесется к тому, что будут собраны войска, необходимые для того, чтобы силою оружия принудить этих князей уважать международное право в том случае, если бы скопища продолжали существовать по истечению этого срока.

«И, наконец, что Национальное Собрание сочло своим долгом сделать это торжественное заявление для того, чтобы король получил возможность доказать в официальных сообщениях об этом внушительном шаге Регенсбургскому сейму и всем европейским дворам, что его намерения совпадают с намерениями французской нации.» (Аплодисменты.)

А если князья откажутся подчиниться этому требованию? Если они потребуют помощи от сейма и от Леопольда, главы империи? И если еще и король, соглашаясь на эти меры, подготовить тайною изменою поражение Франции? В последней фразе предложения Давергу заключается ужасная двусмысленность: неизвестно, желает ли Собрание доставить королю случай представить это доказательство своего прямодушия Европе или Франции. Война, задуманная, как некоторого рода испытание огнем для испытания революционной искренности короля,—какой это зловещий обход! И какая слабость самой Революции, не осмеливающейся разом разоблачить короля-изменника и прямо нанести ему удар в лицо! Несколько депутатов с трудом добились того, чтобы предложение Давергу не было принято с энтузиазмом.

В данный момент в революционном сознании обнаруживается какая-то удивительная и мутная смесь героической восторженности и расслабленности. Революционная Франция была готова вызвать мир на поединок, чтобы защищать свою свободу; она была готова, как выразился Рюль, скорее «похоронить себя под развалинами храма, чем предать свое право». Она желала бороться, дерзать, «хотя бы даже все силы ада вооружились против нее, чтобы опять погрузить ее в ужасную пучину рабства». Но у нее не нашлось высшей формы храбрости: спокойного героизма, ожидающего, пока опасность станет очевидною, и не устремляющегося к опасности, вследствие, так сказать, болезненного очарования и лихорадочного нетерпения.

Обнаруживалась какая-то торопливость покончить со всем этим, предполагающая удивительный порыв нравственных сил, но также и начинавшееся смущение. Ах, какую несравненную услугу оказал бы Франции такой человек или такая партия, которая сумела бы поддержать в ней это геройское воодушевление, наделив ее, однакo, большим терпением и предусмотрительностью!

Однако, может быть, превышало силы человеческие, чтобы целая нация проявила такое изумительное благоразумие при этой изумительной горячности и такое полное самообладание даже в пылу возвышенного самопожертвования.

29 ноября, через два дня после речи Давергу, дипломатический комитет, увлеченный все усиливавшимся возбуждением умов, присоединился к предложению Давергу.

Однако он чувствовал его опасность и пытался слегка смягчить это предложение: он предложил не требовать от рейнских курфюрстов, чтобы они разогнали сборища в течение краткого, трехнедельного, промежутка времени.

«Ваш Комитет не счел благоразумным теперь же прибегнуть к угрожающим и оскорбительным средствам, не исчерпав благопристойных средств, освященных обычаем в сношениях между нациями.

«Подобный прием был бы тем менее уместен, что мы считаем возможным с уверенностью сообщить что многие из князей и государств империи всего более

хотят избавиться от этих беглецов, которые их беспокоят, и что сами они страстно желают, чтобы наступил момент, когда спокойствие восстановится на наших границах».

Это была сама истина, но что означали в таком случае все эти угрожающие и драматические приготовления?

Странное желание возбуждать неподвижную тучу до тех пор, пока не сверкнет молния войны. И какое значение могли иметь эти боязливые оговорки в такое время, когда умы, повидимому, электризировались?

Иснар опять увлекся своим воинственным энтузиазмом, и он никогда не был более красноречив, но также никогда не был более опасен. В его речи уже проявляется та грубая гордость, тот воинственный национализм, которые вскоре начнут примешиваться к Французской Революции; его слова производят такое впечатление, как будто Революция унаследовала высокомерие Людовика XIV: он говорит о том, чтобы освободить мир, тоном завоевателя и с видом превосходства; увлекаются уже не только свободою, но и могуществом и славою, и первый хмель великого наполеоновского упоения начинает омрачать головы. Послушайте Иснара; сначала он быстро доказывает, что проектированные энергические меры поведут к упрочению мира, ужаснув державы; но он спешит прибавить: «из уважения к достоинству нации, мы должны принять предложенную меру».

«Французский народ стал замечательнейшим народом в мире; нужно, чтобы его поведение соответствовало его новой участи. Когда он был рабом, он был неустрашим и велик; неужели он оказался бы слабым и боязливым, став свободным? (Аплодисменты.) В царствование Людовика XIV, самого гордого из деспотов, он с успехом боролся против части Европы: неужели он побоялся бы всей Европы теперь, когда с его рук сняты оковы?

«Поступать со всеми народами, как с братьями, уважать их покой, но требовать от них такого же внимания; не наносить оскорбления никому, но и не выносить ничьих оскорблений; обнажать меч лишь по призыву отечества, но вкладывать его в ножны лишь с победною песнею (аплодисменты); отказаться от всяких завоеваний, но победить всякого, кто пожелал бы покорить их; верно соблюдать свои обязательства, но заставлять других выполнять их обязательства; быть благородными великодушными во всех своих действиях, но грозными в своем справедливом мщении; наконец, всегда быть готовыми сражаться, умереть, даже скорее целиком исчезнуть с лица земли, чем дать вновь поработить себя,—вот каков должен быть, по моему мнению, характер французов, ставших свободными». (Ряд аплодисментов.)

«Этот народ покрыл бы себя неизгладимым позором, если бы его первый шаг на блестящем поприще, которое, как я вижу, открывается перед ним, был отмечен трусостью; я хотел бы, чтобы этот шаг был таков, чтобы он изумил нации, внушил им самую возвышенную идею об энергии нашего характера, надолго запечатлелся у них в памяти, навсегда упрочил Революцию и составил эпоху в истории». (Аплодисменты.)

«И не думайте, господа, то наше нынешнее положение лишает Францию возможности нанести, в случае надобности, сильнейшие удары «Мнение,—говорит Монтескье,—что народ, совершающий революцию для достижения свободы, склонен покориться,—ошибочно; наоборот, он готов покорять другие народы». И это очень верно, потому что знамя свободы есть знамя победы, и во времена революции люди забывают о домашних делах, ради общественного дела.

жертвуют состояниями, проявляют благородное самопожертвование, любовь к отечеству, воинственный энтузиазм. Итак, не бойтесь, господа, что энергия народа не будет сответствовать вашей; наоборот, опасайтесь, чтобы он не стал жаловаться на то, что ваши декреты не вполне соответствуют его храбрости. (Аплодисменты.)

«Нет, мы не обманем таким образом доверия народа. Окажемся же в данном случае вполне на высоте нашего призвания. Заговорим с нашими министрами, с нашим королем, с Европою тоном, приличествующим представителям Франции. Скажем министрам, что до сих пор нация была не очень довольна их поведением... (Аплодисменты.) Что отныне им приходится выбирать между общественною признательностью или мщением законов; что они не могли бы безнаказанно осмелиться издеваться над великим народом, и что под словом «ответственность» мы разумеем «смерть». (Новые аплодисменты в зале и на трибунах.)

«Скажем королю, что он заинтересован, что он чрезвычайно заинтересован в том, чтобы честно защищать Конституцию; что его корона держится, благодаря сохранению этого палладиума; скажем ему, чтобы он никогда не забывал, что он—король лишь благодаря народу и для народа; что нация является его государем и что он подчинен закону. (Аплодисменты.)

«Скажем Европе, что французы желали бы мира, но что если их заставят извлечь меч, то они забросят его ножны очень далеко и пойдут искать их, лишь увенчанные лаврами победы; и что даже если бы они были побеждены, то их победители не воспользовались бы победой, потому что они властвовали бы лишь над трупами. (Аплодисменты.)

«Скажем Европе, что мы будем уважать государственный строй всех государств, но что если кабинеты иностранных дворов попытаются возбудить войну королей против Франции, то мы возбудим им войну народов против королей». (Аплодисменты.)

«Скажем Европе, что десять миллионов французов, охваченных вдохновением свободы, вооруженных мечом, разумом, красноречием, могли бы, если их раздражать, переделать мир и заставить трепетать всех тиранов на их тронах».

«Скажем же ей, наконец, что все битвы между народами, происходящие по приказанию деспотов... (Аплодисменты.) Не аплодируйте, господа, не аплодируйте: уважайте мой энтузиазм: это — энтузиазм свободы.

Скажем ей, что все битвы между народами, происходящие по приказанию деспотов, подобны ударам, наносимым друг другу в темноте двумя друзьями, возбуждаемыми вероломным подстрекательством; чуть только становится светло, они бросают свое оружие, обнимаются и мстят тому, кто обманывал их. (Шум и аплодисменты.) Точно так же, если в тот момент, когда неприятельские армии станут сражаться с нашими, глаза их озарятся светом философии, народы обнимаются пред лицом свергнутых тиранов, утешившейся земли и удовлетворенного неба. (Аплодисменты.)

«В заключение я прошу Собрание единогласно принять предложенный проект декрета; единогласно, говорю я, потому что лишь благодаря этому совершенному согласию представителей нации нам удастся внушить французам полное доверие, духовно об'единить всех их, серьезно устранить всех наших врагов и доказать, что, когда отечество в опасности, в Национальном Собрании существует лишь единая воля». (Продолжительные громкие аплодисменты в зале и на трибунах.)

В этой речи Иснара содержится удивительная смесь героизма и самохвальства, священного энтузиазма, внушенного свободою, и военного упоения, любви

к человечеству и национального хвастовства. Это еще не систематическая война с целью пропаганды; возвещается, что будут уважать «государственный строй других государств»; но Иснар говорит о войне народов против королей с таким одушевлением, что, очевидно, он желает ее. Он ни разу не задается вопросом, не превратится ли вскоре свобода, распространяемая таким образом в мире, уже не могуществом примера, а силою оружия и для Франции, и для мира в безмерное военное порабощение. Он уже славит «победные лавры», которые увенчают героев свободы; он не предусматривает, что настанет день, когда эти лавры увенчают чело одного лишь Цезаря.

А затем, какая несоразмерность между запальчивостью этого тона и действительным положением дел в Европе! Если послушать Иснара, то кажется, что страна уже подверглась нашествию; однако, не достоверно, что в это время, ведя очень энергическую внутреннюю политику и проявляя большое дипломатическое искусство, Франция не могла бы избежать войны, спасти свободу и мир.

Но вполне утрачивалось чувство меры. Бриссо мог радоваться своему делу. Один из его противников сказал о нем, что он отлично умел «зажигать солому».

Несколько суетное воображение Иснара, жгучая провансская солома в самом деле разгорелась, и эта «зажженная солома», уносимая в даль в вихре слов, энтузиазма, героизма и тщеславия, вызовет вселенский пожар и вскоре уничтожит самую свободу.

Собрание единогласно принимает новый проект декрета, предложенный ему комитетом, и так же единогласно поручает своему председателю, умеренному Вьено-Воблану, прочесть королю составленный им энергический адрес. Казалось, что все партии совместно стремились к войне.

Однако демократы начинают предвидеть опасность. Робеспьер, вернувшийся из Арраса, произносит речь у якобинцев 28 ноября. Он вдруг чувствует, что его окружает слишком разгоряченная атмосфера, и не осмеливается прямо бороться против воинственной политики.

Может быть, даже изумленный силою движения, внезапно вспыхнувшего в его отсутствие, и в течение нескольких недель он еще не принял решения.

Очевидно, однако, что он, во всяком случае, сразу разгадал непоследовательность и лицемерие в политике Бриссо. Эта политика непоследовательна, если Бриссо воображает, что для успокоения и прояснения горизонта достаточно будет напасть на мелких князей на берегах Рейна. Она лицемерна, если Бриссо предвидит, что эта первая стычка поведет к великой войне против Австрии, но скрывает это от страны, чтобы легче увлечь ее.

И сперва кажется, что Робеспьер советует непосредственный и откровенный разрыв:

«Следует сказать Леопольду: вы нарушаете международное право, допуская сборища нескольких бунтовщиков, которых мы вовсе не боимся, но которые оскорбительны для нации. Мы требуем, чтобы вы разогнали их к указанному сроку, или мы об'явим вам войну от имени французской нации и от имени всех наций, враждебных тиранам... Следует подражать тому римлянину, который, когда ему было поручено потребовать от имени сената решения от врага Республики, не дал ему никакой отсрочки. Вокруг Леопольда следует начертить тот круг, который Попилий начертил вокруг Митридата. Вот декрет, приличествующий французской нации и ее представителям».

Итак, повидимому, Робеспьер сперва возражает против воинственной политики Жиронды, лишь впадая при этом в еще большее преувеличение. Увлечение ли это или тактика с его стороны? Желал ли он уменьшить шансы войны, раскрывая пред страною перспективу большой, опасной и дорого стоющей войны? Или же он сперва старается не лишиться своей популярности, избежать слишком сильного столкновения с уже увлеченным общественным мнением? Во вся-

ком случае, не такими двусмысленными речам, как та, которую он произнес 28 числа и в которой мысль о мире скрывалась под крайнею воинственною напыщенностью, он мог бы успокоить умы, и в этой речи, произнесенной 28-го, есть что-то фальшивое и натянутое. Этот первоначальный период воинственности не отличается искренностью. Все партии, при кажущейся восторженности, говорят обиняками и хитрят.

Марат молчал после заседания 27 числа, после заседания 29 числа, после предложения Давергу, после обращения Собрания к королю, как будто этот вопрос о войне приводил его в остолбенение. Искал ли он своей дороги? Был ли он оглушен воинственным красноречием Иснара и не задавался ли он вопросом, не затрубить ли неистово и ему? Но вдруг, в своем номере от 1 декабря, он как будто внезапно пробуждается, упрекает себя в своем долгом молчании, обличает воинственную политику и начинает вести энергическую кампанию против Жиронды. Я спрашиваю себя, не дошел ли до него какой-нибудь совет от Робеспьера, к которому он всегда питал полное доверие? Разобрав речь Рюля, произнесенную за четыре дня до того, Марат говорит:

«Вот речь, наверно, произнесенная подкупленным плутом для того, чтобы склонить Собрание к неблагоразумному и гибельному шагу, вызывающему разрыв с несколькими мелкими имперскими князьями, после которого нам вскоре пришлось бы иметь дело со всеми их союзниками. Если бы даже этот пагубный совет не был подозрителен ввиду тех ужасных последствий, которые непременно наступили бы, если бы он было принят, то можно ли сомневаться в том, что он исходит из Тюйлерийского кабинета, так как подавший его эмиссар министерства сам менее всего убежден в его необходимости? Для того, чтобы потушить **оперный огонь** (сам Марат печатает крупным шрифтом эти слова Рюля), он советует зажечь факел войны для того, чтобы добиться того слабого преимущества, чтобы нас не беспокоил бы дым».

И Марат, понимая, что факел, может быть, уже зажжен, обвиняет себя в оплошности:

«Я очень жалею, что не мог раньше заняться этим предметом, чтобы обнаружить ловушку: я очень опасаюсь, что в нее не попадутся патриоты, и я боюсь, что само Собрание, побуждаемое жонглерами, раболепствующими перед двором, согласится увлечь нацию в пропасть».

Итак, против тактики Жиронды, старающейся вызвать войну для того, чтобы или свергнуть короля или отдать его под жирондистскую опеку, начинает устанавливаться тактика демократов, говорящих, что война является ловушкою, что ее хочет двор.

Одновременно с Маратом и как будто существовал общий лозунг, сообщенный передовой партии, еженедельник Прюдома в номере от 3 декабря начинает бороться против политики Бриссо. И его аргумент таков:

«Станьте сначала свободны внутри страны; избавьтесь от внутренней тирании, представляющей непосредственную опасность, вместо того, чтобы устремляться за границу против сомнительных опасностей. Национальное Собрание намерено сказать германским князьям: мы недовольны теми сборищами, которые вы разрешаете у себя; мы требуем, чтобы вы прекратили их, или мы об'явим вам войну. Представители, эта мера была бы хороша, если бы вы представляли вполне свободный народ».

И он требует, чтобы королевское veto было отменено.

«Почему не заменить королевского veto национальною волею?.. Если бы Национальное Собрание оказалось великим, то оно гордо приступило бы к разрешению этого вопроса, обсуждало бы это veto на нескольких заседаниях (veto относительно декрета против эмигрантов), доказало бы его недействи-

тельность, вероломство короля и в заключение составило бы адрес к департаментам».

Итак, еженедельник Прюдома желал бы, чтобы по поводу вопроса о veto, Собрание возбудило агитацию во всей стране и сделало ее судьею между королем и собою. Это первое, несколько запоздалое усилие, клонящееся к тому, чтобы вернуть в русло демократической революции поток народной энергии, в котором снова прибыло воды и который, как мечтала Жиронда, благодаря ее усилиям, разольется по всему миру.

«Если бы Национальное Собрание приняло указанное нами решение, если бы это решение было одобрено большинством департаментов, *если бы нация и Национальное Собрание перестали заниматься не заговором, а заговорщиками* (эмигрантами), *если бы они отнеслись к ним с заслуженным презрением, то мы видели бы, что они сами рассеялись бы, и вскоре мы краснели бы по поводу того, что испугались их на несколько мгновений*».

В этом проявляется значительное, но уже несколько запоздалое благоразумие, над которым, несомненно, одержит верх пробудившееся в народе влечение к борьбе и к приключениям.

Почти все лица, одно за другим подававшие у решетки Собрания петиции от секций, чтобы протестовать против Директории парижского департамента, громко требовали войны. В адресе граждан Калэ было сказано: «Такова воля нации: **война, война»**. И трибуны и Собрание аплодировали. Лежандр, оратор депутации от секции Французского театра, воскликнул 11 декабря:

«Представители народа, повелевайте: *орел победы* и вековая слава парят над вашими и над нашими головами. Если раздадутся выстрелы неприятельских орудий, то молния свободы потрясет землю, озарит вселенную, поразит тиранов... Прикажите выковать тысячи пик наподобие тех, которые были у римских героев, и вооружите ими всех борцов».

Орел победы. О, безрассудные, не знающие, что настанет день, когда этот римский орел, ставший императорским, унесет в своих когтях раздавленную Революцию!

Что же делал двор в то время, как революционеры начинали расходиться во взглядах на вопрос о войне и некоторые из них, несколько подумав, противились слепому увлечению первых дней? В это время произошли перемены в министерстве. Как мы уже упомянули, Монморэн, побоявшись все возраставшей ответственности за свою двусмысленную роль, об'явил о своем выходе в отставку. 29 ноября, в тот самый день, когда Собрание решало вопрос об обращении к королю, Людовик XVI сообщил Законодательному Собранию, что он заменил в министерстве иностранных дел Монморэна Делессаром который до тех пор был министром внутренних дел, и что он назначил министром внутренних дел Кайе-де-Жервилля. Военный министр Дюпортэль, также испугавшийся, об'явил о своем выходе в отставку 2 декабря и был заменен 7 декабря де-Нарбонном.

Мы уже знаем, что двор не мог или не смел назначить в министерство, в особенности же в министерство иностранных дел своих людей, преданных его тайной политике. Кайе-де-Жервилль, назначенный министром внутренних дел, был умеренный, но довольно стойкий революционер-конституционалист. Революционное движение неизбежно оказывало влияние на назначения министров, производившиеся королем, и, желая хитрить с революционным народом, он избегал назначения таких министров, имена которых являлись бы вызовом. Однако лишь назначение нового военного министра, де-Нарбонна, оказало некоторое влияние на события.

Это был какой-то интриган и авантюрист старого режима, отчасти примкнувший к Революции: своего рода Дюмурье без проблеска гения или счастья. Двор не любил и даже презирал его; он был тогда или прежде любовником юной г-жи де-Сталь, дочери Неккера, расточавшей свой душевный пыл с политическими деятелями, а пыл своего темперамента — с военными. Она красноречиво по-педантски рассуждала о Конституции, и Мария-Атуанетта ненавидела ее и как королева, и как женщина. Она пишет Ферзену 7 декабря:

«Граф Людовик де-Нарбонн, наконец, стал со вчерашнего дня военным министром; какая слава для г-жи де-Сталь и какое удовольствие для нее иметь... в своем распоряжении целую армию».

Но она добавляет:

«Он может быть полезным, если захочет, так как он достаточно умен для того, чтобы привлечь конституционалистов, и умеет говорить таким тоном, которым нужно говорить с нынешнею армией... Но понимаете ли вы мое положение и ту роль, которую я вынуждена играть целый день? Иногда я сама себя не понимаю, и я бываю вынуждена подумать, чтобы выяснить себе, я ли это в самом деле говорю; но чего же вы хотите? Все это необходимо, и, поверьте, мы были бы даже еще в гораздо худшем положении, чем теперь, если бы я сразу не решилась на такой образ действия; мы, по крайней мере, выигрываем таким образом время и это все, что нужно. Как я буду счастлива, если мне когда-нибудь удастся опять стать настолько сильною, чтобы доказать всем этим плутам, что я не одурачена ими».

Итак, интрига, связанная с предательством и с ложью, удивительно усложнялась в это время. Двор, в самом деле, доведет революционное притворство до того, что согласится на войну. И он даже намеревается воспользоваться войною для своей политики. Он начинает надеяться на то, что король получит таким образом возможность стать во главе войск и вскоре обуздать Революцию.

Именно новый министр Нарбонн побудил усвоить эту тактику, прельщавшую его честолюбие авантюриста. Он добился бы таким образом славы и популярности, так как, выступая против эмигрантов, он угождал страсти патриотов, а вскоре, пользуясь этим престижем для установления во Франции некоторого рода ограниченной монархии по английскому образу, он явился бы человеком восстановившим королевскую власть и ограничившим свободу. Безрассудная мечта, потому что каким образом мог бы этот авантюрист направлять события, вызвав войну и сильно возбудив революционную страсть?

Однако король и королева настолько растерялись, что предались этим иллюзиям и последовали этому совету, и с половины декабря в политике, клонившейся к войне, происходит переворот: возвещается уже не война Жиронды, а война короля и двора. Относительно намерений и взглядов Нарбонна не может быть никаких сомнений. Через много лет после этого он говорил в выражениях, воспроизведенных нам г. Вилльменом:

«Раз была бы сформирована армия, она могла бы послужить для Людовика XVI точкою опоры для его избавления, тем прибежищем, воспользовавшись которым он поддержал бы здравомыслящее большинство и устранил бы клубы, как пожелал и попытался сделать это, но слишком поздно и слишком изолированно г. де-Лафайет».

Повидимому, Нарбонн увлек короля и королеву и склонил их к войне именно между 7 декабря, днем своего вступления в должность, и 11 декабря. Луи-Блан приводит письмо от Марии-Антуанетты к Мерси от 6 декабря, в котором излагается весь воинственный план двора. Это текст письма от 10 декабря, при чем три четверти его представляют собой подлог. Луи-Блан был введен в заблуждение неточным и даже подложным изданием.

С тех пор как Нарбонн вступил в министерство, Мария-Антуанетта смутно возлагала на него некоторую надежду; в особенности она думала, что он мог бы служить связующим звеном между конституционалистами и двором; но он, повидимому, еще не увлек короля и королеву к усвоению тактики, клонившейся к войне. И даже, когда 7 декабря Нарбонн в первый раз явился в Собрание, Мария-Антуанетта отзывается о нем неблагосклонно: «г. де-Нарбонн, — пишет она Ферзену, — произнес, появившись в Собрании, речь, неимоверно пошлую для умного человека».

Но 14 декабря дело принимает совершенно иной оборот. Король отправляется в Собрание, чтобы ответить на послание от 30 ноября. Его сопровождают все министры, «с г. де-Нарбонном во главе», как мы узнаем из письма аббата Саламона от 19 декабря. Г. де-Нарбонн фигурировал, если я могу употребить выражение, ставшее употребительным в новейшее время, в качестве председателя совета министров. Он выступал, как глава министерства. Король, стоя с непокрытой головой, прочел Собранию декларацию:

«Вы сообщили мне, что нация увлечена общим движением и что все французы восклицали: «Лучше война, чем разорительное и унизительное терпение». Господа, я долго думал, что обстоятельства требовали значительной осторожности в принимаемых мерах, что, едва избавившись от волнений и бурь революции и среди первых попыток применения рождающейся Конституции, не следовало пренебрегать ни одним из таких средств, которые могли предохранить Францию от бесчисленных бедствий, вызываемых войною. Я применил все эти средства... Император выполнил все то, чего следовало ждать от верного союзника, воспрещая и разгоняя все сборища в своих владениях. Мои обращения к некоторым другим государям не оказались столь же успешными: на наши требования были даны неосторожные ответы. Эти несправедливые отказы вызывают решения иного рода. Нация выразила свое желание: вы приняли его, вы взвесили его последствия; вы выразили мне его вашим посланием; господа, вы не предварили меня; в качестве представителя народа, я почувствовал нанесенную ему обиду и я сообщу вам решение, принятое мною для того, чтобы добиваться удовлетворения по этому поводу.

«Я приказываю об'явить Трирскому курфюрсту, что если до 15 января он не прекратит в своих владениях всяких сборищ и всяких враждебных приготовлений со стороны бежавших туда французов, я буду признавать его лишь врагом Франции. (Громкие аплодисменты и возгласы: «Да здравствует король!») Я прикажу передать подобную же декларацию всем тем, которые так же благоприятствовали бы сборищам, нарушающим спокойствие королевства, и, обеспечивая иностранцам все покровительство, которого они должны ждать от наших законов, я, конечно, буду иметь право требовать, чтобы было дано полное и быстрое удовлетворение за обиды, нанесенные французам. (Аплодисменты.)

«Я пишу императору, прося его продолжать свое благосклонное посредничество и, если понадобится, выказать власть, принадлежащую ему в качестве главы империи, для предотвращения тех бедствий, которые неминуемо повлекло бы за собою дальнейшее упорство некоторых германских государств. Несомненно, от его посредничества можно ждать многого; но в то же время я принимаю такие меры, которые наиболее пригодны для того, чтобы заставить уважать эти декларации. (Аплодисменты.)

«Но, смело полагаясь на это решение, поспешим применить такие средства, которые одни только могут обеспечить его успех. Обратите ваше внимание, господа, на состояние финансов; упрочьте национальный кредит; заботьтесь об общественном богатстве; пусть ваши решения, всегда согласные с конститу-

ционными принципами, примут серьезный, гордый, величественный характер, единственно приличествующий законодателям великого государства. (Громкие аплодисменты части Собрания и на трибунах.) Пусть установленные власти уважают себя для того, чтобы сделаться внушающими уважение, и пусть они оказывают друг другу взаимную поддержку, вместо того чтобы создавать препятствия друг другу, и пусть, наконец, признают, что они различны, но не враждебны. Пора показать иностранным нациям, что французский народ, его представители и его король образуют единое целое».

И он закончил следующими двусмысленными и в то же время льстивыми словами:

«Что же касается меня, то тщетно старались бы окружить неприятностями осуществление вверенной мне власти. Я об'являю пред всею Францией: ничто не может ни утомить моего постоянства ни ослабить моих усилий. Поскольку это будет зависеть от меня, закон станет опорою граждан и ужасом возмутителей. (Громкие выражения одобрения.) Я буду тщательно охранять Конституцию, и никакие соображения не могут побудить меня допустить посягательство на нее; если же люди, желающие лишь беспорядка и смуты, станут по поводу этой твердости клеветать на мои намерения, то я не унижусь до того, чтобы словами опровергать то оскорбительное недоверие, которое им угодно было бы распространять. Лица, внимательно, но без недоброжелательства следящие за действиями правительства, должны признать, что я никогда не уклоняюсь от конституционного пути и что я глубоко чувствую, что хорошо быть королем свободного народа». (Аплодисменты продолжаются несколько минут. Несколько членов восклицают: «Да здравствует король французов!» Это восклицание повторяется на трибунах и большим числом граждан, вошедших в залу в свите короля и занявших места на краю правой стороны. Трибуны, расположенные на обоих концах залы, и члены Собрания, занимающие места на крайней левой, хранили полнейшее молчание.)

В самом деле, это было ловко разыграно, и бойкий авантюрист, подсказавший эту речь королю, составил широкий план. Тон короля был достаточно популярен и решителен в конституционном смысле, чтобы, повидимому, исчезло тягостное воспоминание о Варенне. И новая тактика была хорошо определена: решительно добиваться популярности таким образом, чтобы казалось, что король увлекается воинственным возбуждением умов или даже идет еще далее; строго ограничить войну; выгородить из дела австрийского императора и утверждать, что его намерения хороши; приберечь ультиматум для мелких рейнских князей и вести таким образом благоприятную войну, которая, однако, обманывала бы стремление нации к движению и позволила бы королю принять начальство над войсками. До этих пор король и Нарбонн шли согласно. Далее их тайная мысль раздваивалась: министр полагал, что завоеванного таким образом престижа было бы достаточно для пересмотра Конституции; король упорствовал в своем мнении, что для этого оказалось бы необходимым содействие держав, собравшихся на конгресс, и он надеялся на то, что во время войны возникнут такие инциденты, которые сделали бы необходимыми заседания этого Конгресса.

В ожидании этого король утверждал свою конституционную волю и, когда он говорил о неприятностях, которыми «окружали осуществление его власти», неясно было, говорил ли он об эмигрантах или о революционерах. Собрание нисколько не старалось выяснить это и шло к пропасти с порывами энтузиазма. Ибо какое бедствие могло бы быть хуже для Революции, чем война, которую двор использовал бы таким образом в своих интересах и которую вели бы со столькими предательскими задними мыслями! Но умы были да такой степени

возбуждены, и Жиронда так опрометчиво одушевила их воинственным пылом, что, повидимому, утратилась всякая проницательность. Однако крайняя левая в Собрании и на трибунах хранила молчание. Робеспьеру и Марату удалось достигнуть того, что начало пробуждаться недоверие.

Не побудили ли короля тайные советники двора после бегства в Варенн, Ламеты, Дюпор, Барнав пойти этим рискованным путем, который открывал Нарбонн? Таково было мнение современников: аббат де-Саламон, которому было поручено осведомлять римский двор, писал 19 декабря кардиналу Целада:

«Члены Учредительного Собрания, не зная, каким способом они могли бы сокрушить якобинцев и добиться осуществления Конституции, подумали, что следовало поймать якобинцев на слове и об'явить войну, потому что благодаря этому произошла бы какая-нибудь вспышка, которая могла бы привести к достижению желательной цели, а именно, к несколько смягченной Конституции. Пылкий, умный и честолюбивый Людовик де-Нарбонн, желая удержаться на месте, усеянном опаснейшими камнями преткновения и будучи убежден в том, что военный министр может в самом деле проявлять активность только во время войны, не только одобрил этот проект своих друзей, членов Учредительного Собрания, по уверяют, что именно он и предложил его в Совете, выдал его королю за единственное средство расстроить планы Собрания и якобинцев и добился его принятия. Именно согласно этому решению была напечатана та жалкая речь, которую короля побудили произнести».

Весьма вероятно, что по крайней мере, Барнав не поощрял этой политики: он желал бы полного сохранения мира, но другие «члены Учредительного Собрания», повидимому, посоветовали эту интригу. Барнав, под заглавием: «Ошибки нового Собрания», пишет следующее:

«Правительству и конституционной партии следовало бы решительно воспротивиться войне и вообще оказывать энергическое сопротивление во всех делах, имеющих решающее значение, но, кроме этого, избегать всяких потрясений... Если министры, решившись по взаимному соглашению на принятие этих мер, послали их краткое изложение королю и полагали, что король придаст им большее значение, если они будут поддержаны мнением двух бывших депутатов, которые за несколько месяцев перед этим способствовали спасению его трона и его особы, то я об этом ничего не знаю, но это могло бы оказаться верным».

«Правительство никогда не придерживалось последовательного образа действий и оно почти всегда попадалось в те ловушки, которые его противникам угодно было ему расставлять: чуть только последние осмеливались открыто заговорить о войне, короля побудили произнести в декабре месяце речь, которою он, казалось, возвещал нации о ней и желая увлечь нацию в этом направлении; именно тогда война показалась вероятною; партия, называемая умеренною, которая до тех пор питала к ней отвращение, увидав, что правительство становится во главе сторонников этого взгляда, начала усваивать его, и немногие предусмотрительные люди, пожелавшие воспротивиться этому безумию, прослыли усыпителями».

Итак, в декабре, в тот самый момент, когда Нарбонн склоняет короля к политике, клонящейся к ограниченной войне, Барнав решительно противится всякой войне, но очевидно, что окружавшие его умеренные революционеры и монархисты также склоняются к тактике отважного министра. Ламеты и Дюпор, несомненно, сопротивлялись менее, чем Барнав. Может быть, бессилие добиться принятия его советов и досада, вызванная тем, что тайное влияние на короля и королеву, которое он сумел сохранить, было в один день уничтожено блестящим безрассудством Нарбонна, побудило Барнава покинуть Париж. Несомненно

также, что его пугала ужасная запутанность внутренних и внешних дел. Как он сам сообщает, он покинул Париж в первых числах января 1792 года, чтобы вернуться к себе на родину.

Впрочем, Нарбонн нисколько не скрывал от Собрания, что именно он внушил королю эту политику. На этом же самом заседании, 14-го, и тотчас же после речи короля он сделал вид, что он говорит, как великий руководящий министр, и ясно об'явил, что через него умеренная конституционная партия готовилась руководить войной, определить ее характер и ее границы: «Это—та же самая нация, та же самая держава, которая боролась в царствование Людовика XIV; захотели ли бы мы дать подумать, что наша слава зависела от одного человека, и что целый век напоминает лишь одно имя? Нет, господа, я не думал этого, когда я пожелал, чтобы было принято то решение, которое король только что принял. Я знаю, что уже захотели, что, может быть, еще захотят клеветать по поводу этого решения, что некоторые из людей горячо требовавших его, готовы оспаривать его, чуть только показалось, что оно принято правительством; но вы расстроите такие системы, и нелегко будет доказать мужественной нации, что пустых речей достаточно для защиты ее свободы».

После этого удара, нанесенного якобинцам и, несомненно, даже и Жиронде, Нарбонн ясно указывает самым выбором начальников, что военными действиями будут руководить явно монархические и умеренные революционеры. «Три армии были признаны необходимыми, и во главе их будут стоять г. де-Рошамбо, г. де-Люкнер, г. де-Лафайет. (Троекратный гром рукоплесканий.)

Наконец, смело раскрывая свою игру, он обращается с призывом к консервативным силам, поддерживающим порядок, и доказывает, что война должна послужить поводом к усилению исполнительной, т.-е. королевской власти. «Мы постараемся доказать Европе, что внутренние бедствия, по поводу которых нам приходится горевать, тем более, что мы, может быть, иногда отказывались преодолевать их, порождались беспокойным усердием к делу свободы, и что в то время, когда пришлось бы открыто защищать это дело, жизнь и имущества оказались бы в полной безопасности внутри королевства. Мы будем признавать врагами лишь тех, с кем нам придется сражаться, и всякий беззащитный человек станет неприкосновенным. Таким образом мы восстановим честь нашего характера, который мог представляться в ложном свете, вследствие продолжительных смут. Если раздастся роковое провозглашение войны, то оно, по крайней мере, явится для нас столь желанным сигналом к восстановлению порядка и справедливости; мы почувствуем, до какой степени исправная уплата податей, от которой зависят кредит и участь государственных кредиторов, защита колоний, от которой зависят коммерческие богатства; исполнение законов, сила всех властей, доверие, оказываемое правительству для того, чтобы давать ему необходимые средства для обеспечения общественного достояния и имущества частных лиц, уважение к державам, соблюдающим нейтралитет; мы почувствуем, говорю я, до какой степени честь нации и дело свободы настоятельно требуют от нас выполнения таких обязанностей».

И Нарбонн об'явил, что он немедленно уедет для осмотра границы; он потребовал кредита в двадцать пять миллионов на первые расходы.

Жиронда была и обрадована и в то же время встревожена этою речью. Она обрадовалась, так как она хорошо понимала, что вскоре эта, сперва ограниченная война непременно повлекла бы за собою общую войну, великое испытание королевской власти; она встревожилась, так как Нарбонн, по крайней мере, на время, повидимому, отбирал от Жиронды ее войну, обращая ее из революционной

войны в королевскую войну. Странный момент, когда для всех партий война является маневром внутренней политики: маневром короля, надеющегося осуществить таким образом свою мечту о конгрессе государей; маневром конституционалистов, желающих усилить исполнительную власть и ослабить якобинские влияния; маневром Жиронды, желающей бросить королевскую власть в открытое море, в разгар бури, чтобы, наконец, овладеть кормилом старого корабля, на котором был бы водружен флаг с новыми цветами, или потопить его. И для этой игры, для того, чтобы сперва принять руководство двора в войне, назначение которой заключалось в том, чтобы бороться против двора, для того, чтобы без страха подвергнуть себя опасности со стороны королевских интриг и измен и общей враждебности беспрестанно вызываемых на бой государей Европы, для революционеров Жиронды нужна была такая вера в революцию и в обновленную Францию, в лучезарную силу свободы и в героизм народа, что неизвестно, следует ли питать отвращение к их воинственному безрассудству или изумляться их энтузиазму.

Кто знает, не образовалась ли бы в конце концов коалиция королей, как бы ни были благоразумны и осторожны революционные партии? Кто знает, не охватила ли бы эта коалиция, с помощью изнурительной и тайной королевской измены, мало-по-малу миролюбивой Франции, не обступила ли бы она ее со всех сторон и не благоразумно ли было начать наступательные действия, броситься против мира с революционным мечом? Ум колеблется и смущается пред этою ужасною проблемою и безропотно полагается на судьбу.

На заседании 14 числа Бриссо, отвечая военному министру, обнаружил свою досаду по поводу речи, произнесенной Нарбонном. «Я вовсе не возражаю против напечатания отчета, только что представленного военным министром; этот отчет заслуживает серьезнейшего внимания; но я желал бы, чтобы к многочисленным истинам, содержащимся в нем, не примешивались несправедливые обвинения, более свойственные... (Ропот, смех и восклицания; аплодисменты на трибунах.) Я требую, чтобы обсуждение этого важного отчета началось лишь после его напечатания и чтобы оно было отложено до будущей субботы, и тогда выяснится, заслуживают ли патриоты возводимых на них обвинений». (Аплодисменты на трибунах.)

Итак, Бриссо не отступает. Он не заявляет, что, ужаснувшись интриги модерантизма, которая теперь могла бы извратить войну, он отказывается от того, чтобы советовать ее. Наоборот, он уверяет, что «патриоты»-демократы продолжают желать ее.

С этого дня Жиронда начинает по отношению к Нарбонну очень сложную игру. Она щадит его, так как, склоняя правительство к войне, он бессознательно служит революции или, по крайней мере, жирондистской политике. Но, в то же время она стремится к тому, чтобы война не ограничилась пределами, намеченными Нарбонном и королем. Сперва дело идет о том, чтобы с удвоенным ожесточением нападать на эмигрантов и на государей, чтобы обострить борьбу между Революцией и двором. Далее дело идет о том, чтобы втянуть и императора в конфликт, который король желал бы ограничить мелкими рейнскими князьями.

29 декабря Бриссо возобновляет борьбу. По поводу вотирования двадцати миллионов, потребованных военным министром, он снова излагает в очень длинной речи всю внешнюю и внутреннюю политику. Он повторяет сказанное им 20 октября относительно намерений Европы. Нет оснований опасаться нападения большинства государей. К тому же, народы являются друзьями революционной Франции. Не следует ограничиться тем, чтобы теперь рассматривать мелкие страсти, мелочные расчеты и королей и их министров.

«Французская Революция потрясла всю дипломатию. Хотя нации еще не свободны, однако, теперь они имеют значение на политических весах; короли вынуждены до некоторой степени считаться с их желаниями... Чувство англий-

ской нации по отношению к Революции уже не подлежит сомнению: она любит ее... В Венгрии раб борется против аристократии, а аристократия—против трона... Мы не являемся той горстью батавских мещан, которые желали завоевать свободу от штатгальтера, не делясь с неимущим классом...

«Политические кабинеты будут тщетно вести множество тайных переговоров; они будут тщетно волноваться и волновать всю Европу, чтобы напасть на Францию; все их усилия не будут иметь успеха, потому что в конце концов для того, чтобы платить солдатам, нужно золото; для того, чтобы сражаться, нужны солдаты, а для того, чтобы иметь много солдат, нужно большое согласие. А народы уже не расположены давать истощать свои силы для королевской, для дворянской войны, в особенности же для безнравственной, беззаконной войны».

Итак, Бриссо верит, что война непременно будет иметь демократический и народный характер. И, повидимому, он думает, что народы уже настолько угрожают европейским государям, или что последние уже настолько парализованы своими народами, что почти непосредственным последствием безопасной войны явится европейская Революция. Уже в нумере своей газеты от 15 декабря он яснее, чем он осмеливается высказать это с трибуны, предусматривает войну в форме вооруженной революционной пропаганды.

«Война, война! — пишет он. — Таково требование всех патриотов, таково желание всех друзей свободы, рассеянных по всей Европе, ждущих лишь этой счастливой диверсии, чтобы напасть на своих тиранов и свергнуть их.

Эта искупительная война обновит мир и водрузит знамя свободы на дворцах королей, наералях султанов, на замках мелких феодальных тиранов, на храмах пап и муфтиев, к этой священной войне призывал Национальное Собрание Анахарсис Клоотс от имени человеческого рода, при чем он тогда всего лучше заслужил, чтобы его называли другом человеческого рода».

Какая бездна между этою войною, в интересах всемирной Революции, и войною, в интересах сохранения монархии, которой в то время желал двор! И как неустрашима должна быть Жиронда для того, чтобы стремиться к первой, перешагнув через вторую! Но она умудряется со всех сторон опережать двор. Брисоо желает довести Революцию до борьбы со всем старым миром.

«Неужели нарисованное мною изображение держав оказалось бы обманчивым? Неужели государи пожелали бы войны, хотя все требует от них мира? Я временно допускаю это и утверждаю, что мы должны были бы поспешить предварить их. Тот, кто предваряет своего врага, уже победил его наполовину. (Аплодисменты.) Такова была тактика Фридриха, а Фридрих был мастером этого искусства.

«Итак, я допускаю, что император и Пруссия, что Швеция и Россия искренни и прямодушны в заключенных ими трактатах; я допускаю, что они обязались уничтожить силою Французскую Конституцию или изменить ее, включить в нее верхнюю палату, дворянство; я допускаю, что для того, чтобы осуществить эту странную смесь, им нужно созвать общий Конгресс европейских держав; я допускаю, что на нем они призовут к суду французскую нацию, что они станут грозить ей, если она не подчинится. Я спрашиваю вас, я спрашиваю всю Францию: кто оказался бы таким трусом, чтобы для спасения своей жизни согласиться на постыдную капитуляцию?» (Аплодисменты.)

«Война необходима для Франции со всех точек зрения. Она нужна для ее чести: Франция была бы навсегда обесславлена, если бы несколько тысяч разбойников могли безнаказанно оказывать неуважение двадцати пяти миллионам свободных людей. Она нужна для внешней безопасности Франции, потому что Франция подверглась бы гораздо большей опасности, если бы мы спокойно ждали

в своих жилищах этого пожара, которым нам грозят, чем если, предваряя эти враждебные намерения, мы пожелаем сами вызвать его в вертепах разбойников, осмеливающихся оказывать нам неуважение.

«Она нужна для обеспечения внутреннего спокойствия, потому что недовольные опираются только на Кобленц, взывают только к Кобленцу, потому что они наглы только вследствие того, что существует Кобленц. (Аплодисменты.) Это тот центр, где сходятся все сношения фанатиков и привилегированных; следовательно, нужно стремиться в Кобленц, если желательно уничтожить и дворянство и фанатизм».

Как мы видим, это та же самая тема, как и в речи, произнесенной 20-го октября; это то же самое предвзятое решение воевать. Если враждебность государей против Революции серьезна, то на них следует напасть для того, чтобы предотвратить опасность; если же она притворна, то все-таки на них следует напасть для того, чтобы положить конец этим шутовским штукам. Это—то же самое странное противоречие: для революционной пропаганды открывается весь мир, а затем вдруг этот необ'ятный горизонт, весь озаренный ярким светом, суживается до жалкого вопроса об эмигрантах. Но как смелость Бриссо, так и воинственное увлечение страны возросли за этот промежуток времени, и на этот раз он не боится требовать от короля насильственных мер против некоторых великих держав. Россия не признала наших уполномоченных; Испания из'являет дурные намерения; Швеция волнуется; император выражается двусмысленно; пусть от всех потребуют об'яснений; пусть министры короля будут обязаны сообщить Собранию результат этих шагов.

Таким образом сеть войны, в которую, как сперва казалось, должны были попасться только мелкие рейнские князья и эмигранты, вдруг охватывает всю Европу. Таким образом министры окружены роковою сеткою; потому что, если их обращения будут задорны, если они вызовут ответы в том же тоне, и если они сообщат эти ответы Собранию, то, вопреки их собственному желанию, они вовлекут в войну всю Европу. Если же они сделают лишь нерешительные шаги, если они смягчат полученные ими враждебные ответы, если они откроют Собранию только часть истины, то их обвинят в измене, и руководить дальнейшими операциями будет Жиронда, во имя революционной Франции. В данный момент Бриссо и Нарбонн походят на двух рыбаков, усевшихся в одной и той же лодке. Однако Нарбонн, несмотря на свои эффектные хвастливые жесты, повидимому, грозящие всему водному пространству, хочет ловить только такую мелкую рыбу, как князья. Бриссо не хочет дать ускользнуть крупной рыбе, и, прибегая в этой легкомысленной игре к лживому подражанию, Нарбонн будет вынужден работать для своего соперника, привлекать крупную рыбу, которую поймает другой. Пусть мне простят эту картину: она внушена мне проделками и интригами, применявшимися к первоначальным приготовлениям к войне. Но уже, все более и более волнуясь, нация шла выше всех этих расчетов и, считая войну неизбежною, она готовилась геройски сражаться; она старалась также сохранить среди предстоявшей жестокой бури свое человеколюбивое спокойствие, свою великую любовь к нациям.

Эро-де-Сешелль раскрывает на этом самом заседании 29 декабря «обширный заговор против свободы Франции и будущей свободы человеческого рода», придавая таким образом Революции всю ее полноту, охватывающую человечество. Кондорсе соглашается на войну, как на крайность, необходимую для спасения свободы, которой грозит опасность; но он старается, чтобы даже эта война была, так сказать, проникнута миролюбием; и он предлагает адрес к нации, в котором, сквозь весь мрачный дым сражений, все-таки виднеется указание на светлый мир. Это как бы возвышенное и горестное усилие согласить философию XVIII века, философию разума, мира, терпимости с неизбежностью войны; это

братское обещание даже и при выказывании силы, оливковая ветвь, развевающаяся во время вихря. «Французская нация не перестанет считать жителей стран, занятых мятежниками и управляемых, согласно покровительствующим им принципам, дружественным народом. Мирные граждане, территорию которых займут ее армии, не явятся для них врагами; они не явятся даже подданными. Она будет пользоваться тою гражданскою властью, блюстительницею которой она станет на время лишь для того, чтобы обеспечить их спокойствие и охранять их законы. Гордясь тем, что она отвоевала себе права нации, она не станет нарушать их по отношению к другим людям. Дорожа своею независимостью, решившись скорее похоронить себя под ее развалинами, чем допустить, чтобы осмелились предписывать ей законы, или хотя бы даже гарантировать ей ее собственные законы, она нисколько не посягнет на независимость других наций. Ее солдаты будут вести себя в чужой стране так же, как они вели бы себя в своем отечестве, если бы они были вынуждены сражаться в нем; граждане получат вознаграждение за убытки, невольно причиненные им ее войсками... Франция представит миру невиданное зрелище истинно свободной нации, подчиняющейся среди военных бурь требованиям справедливости и повсюду, во всякое время, по отношению ко всем людям уважающей права, одинаковые для всех». (Аплодисменты.)

Очевидно, война внушает отвращение Кондорсе. Он признает или как будто признает ее необходимость; но, отказываясь от прямого сопротивления воинственному возбуждению, он, так сказать, пытается произвести диверсию, напоминая Революции ее мирный идеал. В особенности же он, повидимому, боится «войны с целью пропаганды». Он понимает, что насильно освобождать другие народы— значило бы все-таки порабощать их. За несколько дней перед этим популярный оратор Лувэ воскликнул в Собрании с необычайным лиризмом: «Война! И пусть Франция немедленно возьмется за оружие; неужели возможно, что коалиция тиранов окажется полною? Ах, тем лучше для вселенной! Пусть тысячи солдат тотчас же, с быстротою молнии, ринутся на все феодальные владения. Пусть они остановятся лишь там, где окончится рабство; пусть дворцы будут окружены штыками; пусть Декларация Прав будет вносима в хижины; пусть в человеке, повсеместно просвещаемом и освобождаемом, пробудится чувство его первоначального достоинства. Пусть род человеческий поднимется и отдохнет! Пусть нации образуют из себя единую нацию, и пусть это семейство, состоящее из бесчисленного множества братьев, пошлет своих священных уполномоченных поклясться на алтаре равноправия, свободы вероисповеданий, вечной философии, народного верховенства, в сохранении всеобщего мира».

Этот чрезмерный энтузиазм беспокоил Кондорсе; он предвидел, что, желая осуществить всеобщее братство и всеобщий мир силою оружия, революционная Франция рисковала бы усилить конфликты и ненависть, что при этой системе не были бы возможны никакие отдельные переговоры с различными государствами, и он требовал уважения к законам других народов и даже к их предрассудкам.

Но не значило ли это уничтожить один из элементов, питавших воинственный дух? Кондорсе, как математик, производящий подсчет силам, повидимому, отказался от того, чтобы подавить необычайное воинственное возбуждение, вызванное несколько месяцев тому назад; но он старался сдержать его.

Еженедельник Прюдома и Робеспьер ведут прямую борьбу: они стараются преодолеть воинственное течение, усиливавшееся с каждым днем. В нумере от 17—24 декабря «Парижские Революции» помещают энергическую статью об опасностях войны: «Нисколько неудивительно, что король, министры и двор хотят войны, что аристократы хотят войны, что фанатики

хотят войны, что все враги свободы хотят войны; война может лишь способствовать осуществлению их убийственных намерений; но непонятно, что множество патриотов также хотят войны, что мнения патриотов относительно войны могут расходиться, и, однако, мы можем засвидетельствовать, что это так...

«Французская честь задета! И таким тоном говорят мнимые патриоты! Людовик XVI, Нарбонн, фельяны и сторонники министерства также говорят нации о чести. Еще раз повторяем, свободные люди никогда не знали, что такое честь. Честь является достоянием рабов, честь является ложным талисманом, пользуясь которым деспоты явно попрали ногами святое человеколюбие.

«После 14 июля мы уже не слышали разговоров о чести. Зачем же вдруг возрождать это слово и заменять им слово добродетель? Пусть народ будет добродетелен, пусть он будет силен, это самое важное для него; но честь... Честь обретается в Кобленце, и какое дело французской нации до мнения нескольких тиранов, нескольких рабов, бежавших на утренней заре свободы?... Однако Бриссо потребовал войны во имя этой чести».

А через несколько дней, комментируя адрес Верньо, в котором встречались слова: «нас ждет слава», смелая газета воскликнула: «Что касается славы, мы ее не хотим, мы хотим только счастья». И она добавляла серьезные и прекрасные слова: «Надеемся, по крайней мере, что Собрание не уполномочит иностранные народы последовать его наставлениям, а именно сопротивляться притеснению».

Речи, произнесенные Робеспьером против войны у якобинцев 2 января и 17 января 1792 года, отличались изумительною смелостью, проницательностью и силою; и я очень жалею, что не могу привести их целиком. Нам нравится, что именно наиболее откровенно демократическая партия, та партия, которая хотела, чтобы верховенство народа в самом деле осуществилось, с наибольшей энергией боролась против войны; впоследствии, когда война разразится, когда революционной Франции придется защищать свою свободу от составившей заговор против нее вселенной, революционеры-демократы будут защищать ее с неукротимою энергией, но пока мир казался им возможным, они боролись, даже против страстного народного увлечения, за то, чтобы сохранить мир.

Значит ли это, что в тезисе Робеспьера не было ни ошибки, ни пробела, ни недостатков? Для того, чтобы побудить революционеров отказаться от уже усвоенных ими воинственных стремлений, ему нужно было пробудить их недоверчивость. И он настаивал на участии двора в движении, клонившемся к войне, преувеличивая это участие. Робеспьер усматривал в войне злоумышление короля: он ошибался. Король и королева долго боялись войны. Лишь увидав, что возбуждение умов являлось почти непреодолимым, они, по совету Нарбонна, вознамерились использовать его, руководить операциями. Но в тот момент, когда говорил Робеспьер, конечно, было верно, что войною, во всяком случае, руководил бы двор и что он связал бы ее с своими контр-революционными планами.

«Если замысловатые остроты, если блестящая и пророческая картина военных успехов, после которых война окончилась бы братскими об'ятиями всех народов Европы, являются достаточными основаниями для разрешения столь серьезного вопроса, то я согласен, что г. Бриссо вполне разрешил его; но я нахожу в его речи недостаток, несущественный в академическом рассуждении, но имеющий некоторое значение при обсуждении важнейшего из политических вопросов; дело в том, что он постоянно уклонялся от рассмотрения основного пункта этого вопроса, чтобы, не касаясь этого главного пункта, построить всю свою систему на совершенно неустойчивом основании.

«Конечно, мне точно так же, как и г-ну Бриссо, нравится война, предпринятая для расширения царства свободы и я так же мог бы доставить себе удовольствие заранее рассказывать о ней всякие чудеса. Если бы я был властен располагать судьбами Франции, если бы я мог по своему усмотрению направлять ее силы и ее рессурсы, то я уже давно послал бы армию в Брабант, я оказал бы помощь жителям Льежа и освободил бы от оков батавцев; эти экспедиции мне очень нравятся; правда, я не стал бы об'являть войны мятежным подданным; я отнял бы у них всякую охоту устраивать сборища, я не позволял бы более страшным врагам, которые ближе к нам (двору), покровительствовать им и создавать нам внутри страны более серьезные опасности. Но, при нынешнем положении дел в моем отечестве, я с тревогой смотрю вокруг себя и задаюсь вопросом, такова ли будет война, как нам с энтузиазмом обещают, я задаюсь вопросом, кто же, каким образом и зачем предлагает ее?

«Именно в этом, в нашем совершенно необычайном положении, и заключается весь вопрос. Вы беспрестанно отвращали от этого ваши взоры; но я доказал то, что было ясно всему свету, а именно, что предложение нынешней войны явилось результатом проекта, давно уже составленного внутренними врагами нашей свободы; я выяснил вам его цель; я указал вам способы его осуществления, а другие доказали вам, что эта война была не что иное, как очевидная ловушка; нет никого, кто не заметил бы этой ловушки, сообразив, что после того, как постоянно оказывалось покровительство эмиграции и мятежным эмигрантам, было предложено об'явить войну их покровителям, при чем в то же время оказывалась защита их союзникам, нашим внутренним врагам.

«Вы сами согласились с тем, что война соответствовала желаниям эмигрантов, что она нравилась министерству, придворным интриганам, той многочисленной партии, слишком известные вожди которой давно уже руководят всеми действиями исполнительной власти. Все трубачи аристократии и правительства разом подают сигнал к ней; наконец, всякого, кто мог бы поверить, что поведение двора с самого начала этой революции не оказывалось в постоянном противоречии с принципами равенства и с уважением к правам народа, пришлось бы считать безумцем, если бы он был искренен; не лучшего мнения пришлось бы держаться и о рассудке всякого, кто мог бы сказать, что двор предлагает столь решительную меру, не имея при этом в виду своего плана; или можете ли вы сказать, что для блага государства безразлично, является ли руководящим мотивом войны любовь к свободе или дух деспотизма, верность или вероломство? Но что же вы ответили на все эти факты, имеющие решающее значение? Что вы сказали для того, чтобы рассеять столько справедливых подозрений?

«Недоверчивость, сказали вы в вашей первой речи, есть ужасное состояние; она мешает двум властям действовать согласно; она мешает народу доверять демонстрациям исполнительной власти; охлаждает его преданность, ослабляет его покорность.

«Недоверчивость есть ужасное состояние! Это ли язык свободного человека, полагающего, что нет такой цены, которая была бы слишком высока для того, чтобы приобрести свободу? Она мешает двум властям действовать согласно. Опять-таки, вы ли это говорите? Что такое? Разве недоверчивость народа мешает исполнительной власти итти вперед, а не собственная ее воля?»

По поводу этого пункта Робеспьер безжалостно нападает на Бриссо. В самом деле, повидимому, здесь обнаруживалось явное преимущество на стороне Робеспьера; потому что, если бы была об'явлена война, то сначала это была бы война двора. И Бриссо был вынужден с уверенностью сказать: король не изменит, или смело сказать: если нам изменят, тем лучше, потому что, если будет грозить измена, руководство военными действиями ускользнет из рук двора.

Бриссо сразу говорил и то и другое. В самом деле, то он жаловался на чрезмерную недоверчивость и как будто доверял «удивительному уму» Нарбонна. То он утверждал, что спасение заключалось бы именно в измене. Даже у якобинцев он сказал в той речи, на которую отвечал Робеспьер:

«Знаете ли вы такой народ, который завоевал бы свою свободу, ведя внешнюю, гражданскую и религиозную войну, под покровительством обманывавшего его деспотизма?

«Но что нам за дело до того, существовал ли подобный факт или нет? Разве в древней истории существовала революция, сходная с нашей? Укажите нам народ, который возвратил себе свободу после двенадцати веков рабства! Мы создадим то, чего не существовало.

«Да, или мы победим и эмигрантов, и священников, и курфюрстов и тогда мы упрочим наш общественный кредит и наше благосостояние, или мы будем разбиты и преданы..., и предатели будут, наконец, уличены и наказаны, и мы получим, наконец, возможность уничтожить то, что противится величию французской нации. Я сознаюсь, господа, у меня только одно опасение, а именно, что мы не будем преданы. Нам нужны великие измены: в этом заключается наше спасение, потому что в недрах Франции содержатся еще большие дозы яда, и для его удаления нужны сильные взрывы: тело здорово, нет ничего страшного».

По моему мнению, эти слова принадлежат к числу самых смелых фраз, сказанных людьми накануне великих событий. Но следует заметить, что в данном случае Бриссо все же только строит гипотезы: он предусматривает возможность измены; он ее не боится; наоборот, он желает ее, потому что она избавит Францию и Революцию от парализующего их тайного яда. Но Бриссо не смеет прямо и положительно сказать: «Настроение двора, логика королевского деспотизма таковы, что сначала мы непременно будем преданы и, пробившись через огонь измены, мы дойдем до великой революционной, республиканской и освободительной войны».

Нет, Бриссо маневрирует и виляет. Точно так же, как он хочет войны с великими европейскими державами и подготовляет эту войну, но успокаивает нацию, уверяя ее в том, что они хотят мира; точно так же он готовится завершить революцию благодаря королевской измене, выясняющейся на войне, но, конечно, он воздерживается от того, чтобы об'явить эту измену неизбежною. Таким образом он колеблется или как будто колеблется между двумя мыслями: между мыслью о войне совместно с двором и мыслью о войне против двора.

Он не хочет или не осмеливается выбрать, и Робеспьер пользуется этою нерешимостью, этим недоумением для того, чтобы выдать его за союзника, за угодника двора. Эта тактика была искусна, но она не соответствовала величию проблемы и силе опасности. Робеспьер ошибался и умалял прения, говоря, что войны хотела королевская фамилия и что она подготовила и затеяла ее.

Наоборот, воинственные побуждения исходили от части нации и двор примыкал к уже вызванному движению с тем, чтобы руководить им, извратить и использовать его. Робеспьер был бы гораздо сильнее, если бы он высказал всю истину. Но, может быть, он не замечал ее. У него не было чутья по отношению к этим широким, смутным движениям, к этому инстинктивному нервному раздражению, к этой потребности в грубом и непосредственном действии, которые иногда увлекают нацию, ослабленную ожиданием, неизвестностью и опасностью. Если бы он ясно понимал, в чем дело, если бы мелкая интрига двора не скрывала от него национального возбуждения, то он сказал бы Бриссо: «Да, нация начинает терять терпение и она стремится к войне, чтобы выказать свою силу, чтобы сознать ее, чтобы заставить всех своих замаскированных врагов

сбросить маски. Но у двора остается достаточно силы для того, чтобы направить движение на ложный путь. Да, возможно, что даже если двор изменит, революционная сила будет в состоянии пережить этот период измены, но ценою каких испытаний! А главное, что означает эта диверсия? Неужели вы в самом деле смотрите на войну, как на слабительное, необходимое для Революции? И если она в самом деле не может найти в своем благоразумии, в своей любви к свободе той силы, которая нужна для предотвращения контр-революции, то не опасно ли вовлекать в воинственные приключения нацию, столь мало уверенную в своей собственной сознательности?»

В этом заключалась подлинная проблема. В самом ли деле война необходима для Революции? В самом ли деле наша внутренняя политика требовала войны?

И я осмеливаюсь сказать, что в своих противоположных выводах оба они, и Бриссо и Робеспьер, впали в одно и то же заблуждение. Им обоим недоставало веры в Революцию.

Да, несмотря на его кажущуюся смелость, несмотря на его дерзкие парадоксы относительно измены, у Бриссо не было достаточного доверия к Революции, так как он думал, что война являлась необходимой конвульсией, так сказать, рвотным, необходимым для того, чтобы организм Революции отбросил содержавшиеся в нем нездоровые элементы, и у Робеспьера так же не было достаточно веры в Революцию, так как он не утверждал, что возможно внутреннее революционное действие, способное непосредственно удалить все эти дурные элементы.

Следовало сказать тем, которые предавались лихорадочному возбуждению и желали выступить в поход против Кобленца: «Нет, выступим в поход против Тюильери». Робеспьер же говорил или давал понять, что подлинная опасность была не в Кобленце, а в Тюильери: он не предлагал близкого революционного действия, не внушал надежды на такое действие. Небосклон, становившийся все более и более облачным и пасмурным, должен был проясниться благодаря громовому удару; громовому удару войны или громовому удару народной и республиканской Революции. Робеспьер не обещал, не желал ни того, ни другого. Он стоял за мир с иностранными державами и в то же время за легальность внутри страны: это значило требовать слишком многого от народа, возбужденные или утомленные нервы которого снова встрепенулись после нескольких месяцев ослабления.

Поэтому, хотя его борьба против войны была велика и благородна, она не имела успеха. Но какое удивительное чувство реальности, а главное, трудностей, препятствий обнаруживается у этого человека, которого обыкновенно называют идеологом, абстрактным теоретиком! И как он разбивает пустые мечты тех, кто верил, как выражается еженедельник Прюдома, что, «неся народу Декларацию Прав Человека на острых концах штыков», можно без труда установить всемирную свободу! «Нужды нет, — сказал он, обращаясь к Бриссо с могучею иронией, — вы сами сперва беретесь за завоевание Германии; вы ведете нашу торжествующую армию ко всем соседним народам; вы учреждаете повсюду муниципалитеты, Директории, Национальные Собрания, и вы сами восклицаете, что эта мысль величественна, как будто судьба государств определяется реторическими фигурами. Руководимые вами, наши генералы являются уже лишь миссионерами Конституции; наш лагерь — школою народного права; приверженцы иностраных монархов, нисколько не препятствуя выполнению этого плана, спешат к нам навстречу, но для того, чтобы слушаться нас».

«Досадно, что истина и здравый смысл опровергают эти великолепные предсказания: природа вещей такова, что разум прогрессирует медленно. Наиболее неудовлетворительное правление находит сильную опору в привычках, в пред-

рассудках, в воспитании народов. Сам деспотизм до такой степени развращает людей, что они ему поклоняются и что свобода с первого взгляда представляется подозрительною и страшною. Из всех мыслей, которые могут притти в голову политику, самая нелепая, это—та, что достаточно народу явиться с оружием в руках к чужому народу для того, чтобы побудить его принять свои законы и свою конституцию. Никто не любит вооруженных миссионеров, и природа и благоразумие прежде всего советуют оттолкнуть их, как врагов. Я сказал, что такое вторжение легче могло бы пробудить мысль о пожарах в Пфальце и о последних войнах, чем вызвать зарождение конституционных идей, потому что народной массе в этих странах эти факты более известны, чем наша Конституция. Рассказы знающих их просвещенных людей опровергают то, что, как нам передают, они страстно желают установления нашей Конституции и появления наших армий. Прежде, чем последствия нашей Революции скажутся у иноземных наций, нужно, чтобы она упрочилась. Желать дать им свободу прежде, чем мы сами завоевали ее, значит утвердить порабощение и наше и, вместе с тем, всего мира; это значит составлять себе преувеличенное и нелепое представление о вещах, думать, что как только один народ вводит у себя конституцию, все другие в то же самое мгновение отзываются на этот сигнал.

«Разве примера Америки, который вы привели, было бы достаточно для того, чтобы разбить наши оковы, если бы время и стечение счастливейших обстоятельств не привели мало-по-малу к этой революции? Декларация Прав вовсе не является солнечным светом, в одно и то же мгновение озаряющим всех людей; это вовсе не молния, одновременно поражающая все троны. Легче написать эту Декларацию Прав на бумаге или вырезать на меди, чем восстановить в сердцах людей священные письмена, изглаженные невежеством, страстями и деспотизмом. Что я говорю? Не нарушается ли эта Декларация Прав, не попирается ли она ногами, не игнорируется ли она ежедневно даже среди вас, ее обнародовавших? Не в одних ли принципах нашей конституционной грамоты только и существует равноправие?

«Не поднимет ли своей отвратительной головы деспотизм, аристократия, воскресшая в новых формах? Не угнетает ли она снова слабость, добродетель, невинность во имя законов и самой свободы? Похожа ли в самом деле Конституция, которую называют дочерью Декларации Прав, на свою мать?.. Каким же образом вы можете верить, что она совершит в то самое мгновение, которое наши внутренние враги выберут для войны, те чудеса, которых она еще не могла совершить?»

Дальнейший ход событий показал, что Робеспьер был прав, предсказывая сопротивление народов вооруженной Революции. Конечно, великие революционные войны потрясли старый режим во многих странах, но они вовсе не уничтожили его там, и для некоторых наций понадобилось более века для того, чтобы завоевать лишь часть тех свобод, которыми Франция обладала в 1792 г. Кто может сказать, что одна пропаганда примером оказала бы более медленное действие? Но революционные войны вызвали повсюду воинственный и жадный национализм, и нельзя думать без мучительного сожаления о том, каковы были бы отношения между народами и общая цивилизация, если Революция могла сохранить мир.

Для того, чтобы уничтожить иллюзии, распространяемые Жирондою, Робеспьер доходит до такой глубины социального анализа и, если я могу так выразиться, революционного реализма, что нельзя не удивляться ему. Он, который иногда, в неопределенных выражениях, говорит, что Революцию совершил «народ», признает, что нужно было, чтобы сначала пришли в движение привилегированные классы и, во всяком случае, богатые классы.

«Хотите ли вы, — говорит он, — иметь верное противоядие против всех тех иллюзий, которые вам внушают? Для этого достаточно вникнуть только в естественный ход революций. В государствах с таким строем как тот, который существует почти во всех европейских странах, существуют три силы: монарх, аристократы и народ, или, скорее, народ ничтожен. Если в таких странах происходит революция, то она может быть лишь постепенною, ее начинают дворяне, духовенство, богатые, народ же поддерживает их, когда его интересы сходятся с их интересом для того, чтобы сопротивляться господствующей силе, а именно—власти монарха. Таким образом у вас революционный почин исходил от парламентов, от дворян, от духовенства, от богатых; затем выступил народ. Они раскаялись в этом или, по крайней мере, они пожелали остановить Революцию, увидав, что народ мог овладеть верховной властью; но революцию начали они и, без их сопротивления и их ошибочных расчетов, нация все еще оставалась бы под игом деспотизма. Согласно с этою исторической и моральною истиною, вы можете судить о том, насколько вы вообще должны рассчитывать на европейские нации, так как у них аристократы, предупрежденные нашим собственным примером, вовсе не подают сигнала к восстанию, а оказываются столь же враждебными народу и равенству, как и наши и, подобно им, соединились с правительством для того, чтобы удерживать народ в невежестве и в оковах».

Поэтому, по мнению Робеспьера, надеяться на быстрое всеобщее распространение Революции — пустая мечта и следует сосредоточивать свои усилия против контр-революционеров во Франции: «Но что я говорю? Существуют ли у нас враги внутри страны? Вы их не признаете, вы признаете только Кобленц. Не сказали ли вы, что источник зла находится в Кобленце? Итак, его нет в Париже? Итак, не существует никакой связи между Кобленцом и другим местом, которое недалеко от нас?.. Знайте же, что, по мнению всех просвещенных французов; подлинный Кобленц находится во Франции... Вы говорите, что я привожу нацию в уныние; нет, я ее просвещаю; просвещать свободных людей—значит пробуждать их мужество, значит препятствовать тому, чтобы самое их мужество стало камнем преткновения для их свободы; и если бы я не сделал ничего, кроме обнаружения стольких ловушек, опровержения стольких ложных идей и дурных принципов и сдерживания порывов опасного энтузиазма, то я подвинул бы вперед общественный дух и оказал бы услугу отечеству!»

Да, но в речи Робеспьера не было именно революционного вдохновения: казалось, что он не более надеется на успех революционного движения во Франции, чем на военный успех. «Когда народ пробуждается и выказывает свою силу и свое величие, что бывает один раз в течение веков, все преклоняется пред ним, деспотизм повергается на землю и притворяется мертвым, как трусливое и жестокое животное при виде льва; но вскоре оно поднимается и приближается к народу с приветливым видом; оно прибегает уже не к силе, а к хитрости; его считают обращенным; из его уст слышали слово «свобода», народ предается радости, энтузиазму; в его руках накопляются несметные богатства, доставляемые ему общественным достоянием; ему представляют колоссальное могущество; оно может предлагать непреодолимые приманки для честолюбия и для жадности своих сторонников, между тем как народ может вознаграждать своих служителей лишь своим уважением... Наступает момент, когда всюду царит разлад, когда расставлены все ловушки тиранов, когда лига всех врагов свободы вполне

составлена, когда блюстители общественной власти оказываются вождями этой лиги, когда часть граждан, пользующаяся наибольшим влиянием благодаря своим познаниям и своему богатству, готова примкнуть к их партии. И вот нации приходится выбирать между рабством и гражданскою войною. Одновременное восстание всех частей раз'единенного таким образом государства невозможно, а всякое частичное возмущение рассматривается, как мятежное действие...»

Но кто же не видит, что этим пессимизмом Робеспьер способствовал Жиронде и войне? Если Революция до такой степени увязла в сыпучих песках, если она не может спастись ни путем всеобщего восстания, ни путем частичного возмущения, то испробуем, по крайней мере, великую жирондистскую диверсию. Робеспьер не предусмотрел 20 июня; он не верил в возможность дня 10 августа, и его совершенно отрицательная критика не могла остановить порыва безрассудных и пламенных страстей, возбужденных Жирондою.

В данный момент нужна была такая партия действия, которая не стремилась бы к войне. Робеспьер не сумел основать ее, и война оставалась единственным исходом. Однако во время всех этих споров между Робеспьером и Бриссо усиливалась взаимная ненависть: здесь начинается конфликт между Жирондою и Горою. В тот самый момент, когда жирондисты считали возможным осуществить план, дававший им власть, ставивший королевскую власть в зависимость от них и влекший за собою всемирную Революцию, они вдруг наталкивались на непоколебимое сопротивление патриота, демократа, моральный авторитет которого был громаден. Они чувствовали, что часть общественного мнения, часть революционной силы ускользает от них в то самое время, когда они надеялись прельстить все умы, увлечь за собою все силы. А гордость боязливого, недоверчивого, самолюбивого Робеспьера страдала от блестящей и хвастливой Жиронды так же, как его осторожность возмущалась ее отвагой.

Сперва казалось, что противники щадят друг друга; но вскоре они стали наносить один другому очень тяжелые удары. Жирондисты были опрометчивые клеветники. Робеспьер был глубокомысленный клеветник. Бриссо очень легкомысленно и недобросовестно выдал слова Робеспьера об осмотрительности за оскорбление, нанесенное народу. А Робеспьер ежедневно все вероломнее намекал, что Бриссо и его друзья поддерживали двор. В самом деле, так как жирондисты желали войны и притом желали, чтобы она началась тотчас же, все равно, с какими орудиями, они брали на себя страшную ответственность. Искусная и жестокая игра Робеспьера будет заключаться в том, чтобы об'являть их солидарными с легкомысленным Нарбонном, с Лафайетом, обагренным кровью народа, пролитою на Марсовом поле и, вскоре, с Дюмурье. Поразить Робеспьера, который не действовал, не принимал на себя обязательств по существу дела, было гораздо труднее.

Во время этих споров Революция все более и более склонялась к войне, и систематические провокации со стороны Жиронды начинали оказывать свое действие. 31 декабря 1791 года министр иностранных дел Делессар сообщил Собранию ноту, врученную 21-го числа австрийским министром князем Кауницом французскому послу:

«Придворный и государственный канцлер с своей стороны имеет честь сообщить ему, что монсеньор Трирский курфюрст равным образом сообщил императору о ноте, которую было поручено представить венскому посланнику в Кобленце; что этот князь в то же время уведомил его императорское величество о том, что он принял по отношению к вооруженным сборищам французских эмигрантов и выходцев и по отношению к доставкам оружия и боевых припасов точно такие же правила и постановления, как те, которые были приняты в австрийских Нидерландах, но так как среди его подданных и в окрестностях

распространяется сильная тревога насчет того, что спокойствие границ и государств могло быть нарушено вторжениями и насилиями, несмотря на эту благоразумную меру, монсеньор просил помощи императора на этот случай, если бы события оправдали его опасения:

«Что император совершенно спокоен относительно справедливых и воздержанных намерений христианнейшего короля и не менее убежден, что французское правительство чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы не восстановлять против себя всех иностранных государей насилием против одного из них, но что повседневный опыт отнюдь не внушал достаточной уверенности в прочности и в преобладании во Франции принципа умеренности и в повиновении властей, в особенности же провинций и муниципалитетов, чтобы не быть вынужденным опасаться, что насилия все же будут совершаемы, несмотря на намерения короля и несмотря на их опасные последствия. Его императорское величество как вследствие своей дружбы с Трирским курфюрстом, так и в силу тех соображений, которыми он должен руководиться, заботясь об общем интересе Германии, как совокупности государств и о своих собственных интересах, в качестве соседа, оказывается вынужденным предписать маршалу Бендеру, главнокомандующему его войсками в Нидерландах, оказать владениям Трирского курфюрста наискорейшую и действительнейшую защиту в том случае, если бы они подверглись нападениям или если бы им неминуемо грозили нападения.

«Император слишком искренне предан его христианнейшему величеству и слишком дорожит благосостоянием Франции и общим спокойствием, чтобы не иметь сильного желания предотвратить эту крайность и те неизбежные последствия, которые она повлекла бы за собою как со стороны главы Германской империи и входящих в нее государств, так и со стороны других государей, соединившихся для поддержания общественного спокойствия и для безопасности и чести своих корон, и вследствие этого желания придворному и государственному канцлеру поручено откровенно об'ясниться относительно этого с г-ном французским послом, ничего не скрывая».

Это еще не была война, но это в значительной степени приближало войну, и Бриссо трепетал от радости по этому поводу. Во-первых, выражая свои взгляды относительно движения партий во Франции, император оскорблял уже столь возбужденную национальную и революционную гордость. Затем он говорил о согласии государей и, хотя он отводил этому согласию чисто оборонительную роль, он наводил этим на мысль о том, что идея контр-революционного конгресса не была оставлена. Наконец, и главное, как на это надеялся Бриссо, дело шло уже не о схватке между Революцией и эмигрантами, а о непосредственном столкновении между Революцией и императором. Следовательно, это означало возможность большой войны,—такой войны, которой не желал двор и которой желала Жиронда. Король скрыл свой испуг и отправил Собранию следующую декларацию:

«В своем ответе императору я повторяю ему, что я не требовал от Трирского курфюрста ничего такого, то не было бы справедливо, ничего такого, пример чего не подал бы сам император. Я напоминаю ему, что французская нация позаботилась о том, чтобы немедленно предотвратить сборища британских жителей, повидимому, желавших собираться по соседству с австрийскими Нидерландами. Наконец, я повторяю ему, что Франция желает сохранения мира, но в то же время я об'являю ему, что если Трирский курфюрст не рассеет действительно и на самом деле сборищ, существующих в его владениях к указанному мною сроку, ничто не помешает мне предложить Национальному Собранию, как я уже об'явил, употребить силу оружия для того, чтобы принудить его к этому. (Аплодисменты.)

«Если эта декларация не произведет того действия, на которое я должен надеяться, если Франция будет вынуждена бороться против своих сынов и про-

тив своих союзников, то я выясню Европе справедливость нашего дела; французский народ поддержит это дело своим мужеством, и нация увидит, что у меня нет никаких иных интересов, кроме ее интересов, и что я всегда буду считать поддержание ее достоинства и ее безопасности существеннейшею из моих обязанностей». (Громкие аплодисменты.)

Между тем как король, связанный своими первыми действиями и к тому же увлекаемый Нарбонном, говорит таким образом, обращаясь к Собранию и к Франции и, повидимому, соглашается на войну даже против Австрии, двор делает двусмысленные и несвязные усилия воспрепятствовать войне, по крайней мере войне против императора. Во время этого кризиса королева обратилась к мудрости своих советников конституционалистов, Ламетов, Дюпора, Барнава.

Повидимому, между ними не было согласия относительно той тактики, которую советовал Нарбонн. Можно предполагать, что Ламеты и Дюпор нисколько не порицали ее. Наоборот, Барнав прямо противился ей; но все они сходились во взглядах, считая нужным предотвратить всякое распространение войны, всякий конфликт между королем и императором. Именно тогда, за несколько дней до того, как Барнав решительно покинул Париж, они совместно составили мемуар, отправленный королевою императору. Напоминаю весьма определенное относительно этого свидетельство Ферзена:

«Мемуар королевы императору, составленный Барнавом, Ламетами и Дюпором, свидетельствует о желании напугать императора, доказать ему что в его интересах не воевать (8-го января 1792 г.)».

Это, очевидно, тот мемуар, о котором Мария-Антуанета говорит в своем январском письме к своему брату Леопольду II.

«Мне представилась верная оказия отсюда в Брюссель и я пользуюсь ею, мой дорогой брат, для того, чтобы написать вам несколько слов. Вместе с этим письмом вы получите мемуар, который я вынуждена вам отправить, а также письмо, которое я была вынуждена написать вам в июле месяце. Имелось в виду еще письмо, но в нем говорится то же самое, что и в мемуаре, а потому, я воздержалась от того, чтобы написать его. Очень существенно, чтобы вы дали мне такой ответ, который я могла бы показать, чтобы вы сделали в нем вид, будто вы верите, что я думаю все то, что содержится в этих двух бумагах, точно так же, как вы ответили мне летом».

Почему же Мария-Антуанетта вынуждена переписать и послать императору мемуар и письмо, составленное Барнавом, Ламетами и Дюпором? Очевидно, она заинтересована в том, чтобы ладить с конституционалистами; но если бы они не передавали, по крайней мере до некоторой степени, мысли двора относительно войны, то она, конечно, сумела бы точно уведомить об этом своего брата. Она отказывается от ответственности лишь за выраженные в мемуарах взгляды на внутреннюю политику Франции. Этот мемуар не весь составлен Барнавом, так как он отчасти посвящен оправданию политики Нарбонна, которой Барнав не одобрял; но достоверно известно, что он принимал участие в его составлении. Кроме точного свидетельства Ферзена, самый слог некоторых мест равносилен подписи для тех, кто несколько освоился с манерой Барнава.

«Для того, чтобы здраво судить о французских делах, не только не следует прислушиваться к рассуждениям ни одной партии, так как все они одинаково ослеплены своим интересом или своими страстями, но и не следует надеяться лучше узнать положение вещей из высказываемых мнений. В данный момент мнения не являются ни настолько всеобщими, ни настолько глубокими для того, чтобы служить верными указаниями для людей, желающих рассуждать о политике. Следует придавать большое значение характеру французов и их способности увлекаться до самозабвения общими и абстрактными идеями свободы,

патриотизма, славы, монархии и т. д., всецело подчиняться внезапным и быстрым внушениям. Из этого вытекает, что легче руководить ими среди событий, если искусно располагать предметы, возбуждающие их ненависть или их привязанность, чем рассчитать их поведение».

И, рассмотрев состояние умов, авторы мемуара стараются доказать императору, что между республиканским меньшинством и контр-революционным меньшинством находится значительное большинство умеренных и мирных граждан, которые опять станут руководить делами, если мир будет сохранен. Итак, они выражают очень сильное беспокойство, вызываемое в них сообщением императора от 21 декабря:

«Приказ, данный маршалу Бендеру защищать Трирского кюрфюрста в случае нападения или грозящих враждебных действий, произвел здесь весьма неприятное впечатление. Этому очень способствовала неясность мотивов, приводимых в об'яснение этого поступка: показалось, что император отказывался от той системы воздержания и справедливости, которой он держался до сих пор, усвоив взгляды, неблагоприятные для счастья и для спокойствия Франции. Никто не подумал, что столь просвещенный государь мог разделять нелепые опасения Трирского кюрфюрста, что на него нападут муниципалитеты или провинции без приказания короля. Вообще из этого был сделан тот вывод, что император воспользовался этим предлогом для того, чтобы поддержать князей и приблизить свои войска к французской территории. Раздалось общее требование войны, и здесь уже не сомневаются в том, что она начнется.

«Однако прежде чем запутаться до такой степени, что уже нельзя было бы воздержаться от войны, следовало бы обратить внимание на бедствия всякого рода и на последствия войны.

«Легко представить себе то зло, которое она причинила бы Франции; если бы следовало ожидать, что этою ценою будут восстановлены порядок и благоденствие, то можно было бы согласиться на эту ужасную жертву, но думать это — значило бы жестоко обманываться. Если начнется война, то она будет ужасна; ее будут вести, следуя ужаснейшим принципам; ожесточенные люди, возмутители одержат верх, их советы окажут преобладающее влияние на общественное мнение. Король, вынужденный бороться против своего шурина и своего союзника, будет окружен подозрениями и, чтобы не усиливать их, ему придется принимать вынужденные крайние меры, преувеличивать свои намерения. Ему уже нельзя будет соблюдать ни умеренности, ни осторожности так, чтобы не показалось, что он действует по соглашению с императором, а таким образом он дал бы очень сильное оружие своим врагам и даже той части порядочных людей, которую всегда так легко прельстить. Эмигранты, рассчитывая на помощь императора, станут более упорными, их будет труднее укротить, возникнет раздор между двумя крайними партиями, а умеренные, благоразумные партии и истинное благо будут так же забыты, как и принципы человеколюбия».

Это отчаянный призыв к миру, это предсмертный крик конституционалистов, умеренных, которые чувствуют, что приближение великой войны окончательно губит их. До какой степени королева присоединялась к тем мыслям, изложение которых она переписывала и передавала? Трудно сказать это, потому что, должно быть, она была чрезвычайно смущена в глубине души и питала разные чувства. Она должна была опасаться кризиса великой войны, который, если я могу так выразиться, сильно возбудил бы всякие страсти и вызвал бы всякие опасности. Но она начинала чувствовать и то, что все средние пути ни к чему не приводили, и она могла надеяться на окончательное спасение благодаря великому потрясению. Такие преданнейшие ее друзья, как Ферзен, желали войны. Итак, она переписывала мемуар Барнава и Ламетов полумашинально, соглашаясь с ним лишь наполовину, полагаясь, главным образом, на случай-

ности. Барнав угадал все эти слабости и уехал в Дофинэ, оставив в бумагах в Тюйльери следы, оказавшиеся гибельными для него.

Не от'езд ли Барнава подал повод думать, что между двором и конституционалистами произошел полный разрыв? В нумере газеты Бриссо от 16 января говорится:

«Преобладание Барнавов и Ламетов при дворе кончилось. Они впали в немилость в субботу. Уверяют, что король сказал: «Эти люди с их советами лишили бы меня десятка королевств».

Вероятно, что по мере того, как война становилась все более и более возможною и все менее и менее возможно было держаться средней политики Барнавов и Ламетов, все возрастало желание двора расстаться с ними, и передача мемуара императору была последним результатом их влияния.

Война отнюдь не являлась решенным делом уже с этого момента. Император все-таки не решался вызвать ее; но она представлялась ему все более и более вероятною и, несмотря на свое недоверие к Пруссии, он заключил с нею 4 января оборонительный союз. Мерси писал королеве 2 января:

«Трирский курфюрст, испугавшийся угроз войною, обратился к императору с просьбою о помощи. Монарх приказал вручить французскому послу ноту, в которой говорится, что королю не приписывают желания напасть на Германию, если же партии приневолили бы короля, то в таком случае император был бы обязан поддержать государства, входящие в состав Германской империи и, в качестве меры предосторожности, маршалу Бендеру дан приказ двинуть корпус войск на помощь курфюрсту, если бы на него напали. Все это вовсе не изменяет существенно положения вещей. Курфюрст сказал, что он не будет допускать сборищ в своих владениях; к нему и не пред'являлось иных требований, следовательно, нет мотивов напасть на него, но французские принцы хотели бы воспользоваться случаем для того, чтобы затеять ссору, и в этом они следуют ложной системе, вместо того, чтобы предоставить Собранию принять на себя всю вину и навлечь на себя порицание несправедливым нападением, хотя ясно, что оно сделает эту ошибку, которая вызовет против него желание мести во всей Европе. Итак, хорошая политика заключается в том, чтобы все сообразовать с этим планом; приняв это за правило, полагают, что нельзя сделать ничего лучшего, как вообще и в отдельных случаях держаться прежнего образа действий до тех пор, пока это не выяснится. Известия из Вены, куда, несомненно, будет послано сообщение, укажут определенный образ действий. Морально невозможно, что дело кончится без гражданской или внешней войны; вероятно даже, что та и другая наступят в одно и то же время. При всей опасности подобного шанса, он может скорее, вернее, восстановить трон, чем всякий иной шанс и, если не сделают ошибок, если привлекут на свою сторону и упрочат за собой общественное мнение, то положение станет лучше, чем когда-либо прежде».

Так как война начинала казаться неизбежною, советы Барнава представлялись двору только стеснительными. Он отделался от него.

Понятно, что сообщение императора, переданное Собранию 31 декабря, доставило Бриссо случай снова побуждать к военным действиям, вовлекать Революцию в войну.

17 января, во время прений по поводу доклада, представленного Жансоннэ, он воскликнул: «Наконец, маска сброшена, ваш истинный враг известен, вы узнаете его имя из приказа, данного генералу Бендеру: это император. Курфюрсты являлись лишь подставными именами, эмигранты служили лишь орудием в его руке. Верховный суд должен отомстить за возмущение этих нищих принцев против нации. (Аплодисменты на трибунах.)

«Кромвель принудил Францию и Голландию изгнать Карла. Подобное преследование оказало бы принцам слишком много чести: наложите запрещение на их имущества и предоставьте их ничтожеству. (Аплодисменты.)

«Кюрфюрсты не более заслуживают вашего гнева; страх заставляет их броситься к вашим ногам. (Аплодисменты.)

«Однако их повиновение может оказаться лишь игрою; но что за дело великой нации до этого лицемерия мелких князей? Меч все-таки в ваших руках и этот меч должен служить вам ручательством за их хорошее поведение в будущем.

«Вашим истинным врагом оказывается император; на него, исключительно на него, вы должны устремиться; именно против него вы должны бороться. Вы должны заставить его расторгнуть лигу, составленную им против вас, или вы должны победить его. Иного средства не существует, потому что бесчестие не служит подходящим средством для свободного народа». (Аплодисменты.)

В самом деле, теперь, когда мы начинаем предчувствовать, что война неизбежна, что людские страсти или сила вещей, усталость, овладевшая умами, и происки партий влекут к ней Францию, накануне этой великой и трагической борьбы, в которой Революции придется сражаться против всего старого режима и отбиваться от всяких измен, мы хотели бы набросить покров на ошибки ее сторонников, на интриги ее защитников. Но очень трудно не выразить некоторого раздражения по поводу этого тона Бриссо.

Для него все средства хороши для того, чтобы разжечь воинственные страсти, сильно возбудить гордость и гнев и его не пугают бесстыднейшие противоречия. Он говорит на этом заседании 17 января нечто прямо противоположное тому, что он говорил в октябре, в декабре и даже в начале января. Тогда, для того, чтобы успокоить Францию, чтобы потихоньку вызвать для нее ряд осложнений, он говорил: «Мы имеем дело с курфюрстами, с эмигрантами: император хочет мира, он нуждается в мире».

Теперь, когда курфюрсты разгоняют эмигрантов, Бриссо восклицает: «Что вам за дело до курфюрстов, что вам за дело до эмигрантов? Вашим врагом является император, бороться следует с императором». Это почти циническое предвзятое решение вызвать войну, это война во что бы то ни стало. Я почти склонен был бы сказать, что единственное извинение Жиронды заключается именно в грубости ее ухищрений. Для того, чтобы они удались, нужно, чтобы нация испытывала какую-то глубокую потребность в том, чтобы решительным действием рассеять всякие опасения и кошмары. Но в этом нервном нетерпении, предающем Францию в жертву почти оскорбительным софизмам, почти пренебрежительным противоречиям Бриссо, я нахожу в данный момент более слабости, чем величия.

Верньо прикрыл своим красноречием и, так сказать, благородною ораторскою страстью те политические и воинственные ухищрения, к которым прибегал Бриссо:

«Я не стану говорить вам о смутном беспокойстве, терзающем души, о мучительной сердечной тревоге, о том унынии, которое может вызвать в слабохарактерных людях продолжительные огорчения, доставляемые Революцией. Я не стану упоминать вам о всех тех способах обольщения, которые будут пущены в ход для того, чтобы побудить граждан уклониться с пути, указываемого патриотизмом.

«Вы повсюду ходите по горячей лаве, и я хочу верить, что вам не нужно опасаться сильных извержений. Но я скажу: клятва поддерживать Конституцию была дана в надежде на то, что она доставит счастье. Если вы допустите, чтобы граждане беспрестанно подвергались мучительному беспокой-

ству, беспрерывным конвульсиям; если вы дозволите их врагам слишком долго делать их несчастными, если вы допустите, чтобы установилось мнение, что источником этих несчастий является Революция, то не придется ли вам тогда бояться, что ежедневно будут обнаруживаться все новые и новые измены делу народов?..

«Но, как мне кажется, эти неизвестность и тревоги, эти жестокие предчувствия в тысячу раз ужаснее, грознее, чем война. Война, несомненно, влечет за собою большие бедствия; она может даже привести к гибельным ошибкам; но в конце концов для народа, не хотящего существования без свободы, она может привести к победе и, благодаря ей, обеспечить спокойный и прочный мир. Наоборот, то состояние, в котором хотели бы оставить вас, является истинно губительным состоянием, могущим привести вас лишь к бесчестию и к смерти. (Громкие аплодисменты.)

«Итак, к оружию, к оружию; этого требует спасение отечества и честь; итак, к оружию, к оружию; или же, став жертвами беспечной беззаботности, прискорбной доверчивости, вы незаметно и от усталости опять подпадете под иго тиранов; вы бесславно погибнете, вы похороните с вашею свободою и надежду на освобождение мира и, став таким образом виновными по отношению к человеческому роду, вы не будете даже иметь того утешения, что он отнесется к вам с сожалением в ваших несчастиях». (Громкие аплодисменты.)

В самом деле, именно своего рода тоска, боязнь увязнуть побудила Революцию сделать большой скачок по направлению к войне.

Верньо требует окончательного расторжения союзного договора, заключенного с Австрией, на котором с 1756 г. основывалась вся политика королевской власти. «В данный момент на нас устремлены взоры Европы. Покажем же ей, наконец, что́ такое представляет собой французское Национальное Собрание. (Браво! Браво! Громкие аплодисменты.) Если вы проявите в своем поведении энергию, приличествующую великому народу, то вы добьетесь ее рукоплесканий, ее уважения, и союзы будут сами собой предлагаться вам. Наоборот, если вы поддадитесь трусливым соображениям, позорной осторожности, если вы упустите тот случай, который провидение, повидимому, предоставляет вам для того, чтобы сбросить с себя унизительные оковы; если, когда нация свергла иго своих внутренних деспотов, вы, ее представители, согласитесь удерживать ее в рабской зависимости от иностранного деспота, то я осмелюсь сказать вам: бойтесь ненависти Франции и Европы, презрения со стороны современников и потомства». (Браво! Браво! Громкие аплодисменты.)

Да, но в чем же проявлялось фактически действие этого внешнего деспотизма? И в этом ли в самом деле заключалось то препятствие, на которое натолкнулась Революция?

«Гремя против Филиппа, Демосфен говорил афинянам: вы ведете себя по отношению к македонскому царю так, как варвары ведут себя на наших играх. Если вы ударите их по плечу, они касаются рукою плеча; если вы ударите их по голове, они касаются рукою головы. Они думают о самозащите только тогда, когда они ранены; они никогда не оказываются настолько предусмотрительными, чтобы отразить удар; точно так же и вы, афиняне: если вам говорят, что Филипп вооружается, то и вы вооружаетесь, если вам говорят, что он разоружается, то и вы разоружаетесь; если вам говорят, что он угрожает какому-нибудь из ваших союзников, то вы посылаете армию для того, чтобы защитить этого союзника; если вам говорят, что он угрожает какому-нибудь

из ваших городов, то вы посылаете армию на помощь этому городу, так что вы подчиняетесь приказам Филиппа, ваш враг является вашим генералом.

И если бы оказалось возможным, что вы предадитесь опасной беспечности, потому что вам об'явят, что эмигранты удаляются из Трирского курфюршества; если вы дадите прельстить себя коварными слухами или такими фактами, которые ничего не доказывают, или обещаниями, не имеющими значения, то я также скажу вам: если вам сообщают, что эмигранты собираются в Вормсе и в Кобленце, то вы посылаете армию на берег Рейна; если вам говорят, что они собираются в Нидерландах, то вы посылаете армию во Фландрию; если же вам говорят, что они удаляются в средину Германии, то вы отзываете ваших солдат на родину.

«Если публикуют такие письма, такие сообщения, в которых вас оскорбляют, то пробуждается ваше негодование, и вы хотите сражаться. Если же вас смягчают льстивыми словами, если вас обольщают ложными надеждами, то вы поддаетесь внушениям, и ваш гнев проходит: вы думаете о мире. Итак, господа, вашими вождями оказываются эмигранты и Леопольд. Они руководят всеми вашими движениями. Они располагают вашими гражданами, вашими богатствами, от них зависит ваше спокойствие, они являются властителями вашей судьбы». (Браво! Браво! Продолжительные аплодисменты.)

Мне почти стыдно, что покажется, что я, в качестве запоздалого комментатора, порицаю эти пламенные слова, повлекшие за собою пламенные события. К чему мне бежать за этою огненною колесницею, повторяя: берегитесь! Какой опасный демон увлекает вас? Ослепительная и ужасная колесница, колесница, несущая свободу и войну, свет и молнию, продолжает свой путь. Если вскоре бог, овладев мечом, станет Цезарем и если ослепленные народы, одуревшие от молний войны, окажутся уже только огромною толпою слепых рабов, то разве это помешает тому, что Жиронда хорошо поговорила? Впрочем, если в эту знойную пору критическая мысль и разум еще сохраняют некоторые права, то каким же образом Верньо оскорбляется тем, что свободный народ сообразуется с движениями, совершающимися в самой действительности?

Кажется, что принимая меры предосторожности, предохранять себя от неясной и изменчивой опасности значит быть рабом этой опасности. Кажется, будто для того, чтобы избавиться от этого рабства, следует прямо устремиться навстречу самой опасности, разбудить дремлющую войну для того, чтобы не приходилось следить за ее сном.

«Господа, — говорит, оканчивая свою речь, плодовитый и благородный оратор, — теперь из глубины моей души вырывается великая мысль и в заключение я выражу ее. Мне кажется, что в этом храме толпятся тени поколений, почивающих в могилах; что они заклинают вас теми бедствиями, которые причинило им рабство, предохранить от него будущие поколения; внемлите же этой мольбе так долго угнетаемого человечества. Будьте великодушным провидением для будущего. Отважьтесь поддержать дело вечной справедливости; спасите свободу от усилий тиранов; вы станете благодетелями вашего отечества и человеческого рода».

Странно, что в Законодательном Собрании не раздалось ни одного голоса, даже голоса Кутона, для того, чтобы защищать тезис Робеспьера, чтобы протестовать против войны во имя демократии и Революции. Сопротивлялись лишь умеренные. Матье Дюма энергически заявил, что вовсе не было основательной причины для того, чтобы воевать, что «принимать последнее сообщение императора за формальный разрыв значило отравлять будущее». Он нападает на друзей Бриссо, которые, «повидимому, боятся, что удовлетворительные поступки, искренние действия, прочный мир заставят их отказаться от их химеры».

«Не следует,—прибавляет он,—чтобы обманутый народ усматривал в этом ужасном желании патриотическую меру; его мужество не нуждается в том, чтобы его возбуждали; желать или не желать войны одинаково нелепо; ее нужно вести, если она неизбежна для сохранения Конституции, но не следует делать ее неизбежною для того, чтобы вести ее».

Но чего можно было достигнуть этим спокойным тоном? Давергу, который, как мы видели, побуждал к первым решительным действиям против эмигрантов и курфюрстов и который таким образом подготовил общую войну, теперь боится широких воинственных планов Жиронды и энергически и метко изобличает их.

«Итак, если я доказал, что между государями существует только этот оборонительный союз, что от одних нас зависит расстроить нашими внутренними действиями замыслы тех, кто желал бы изменить нашу Конституцию на конгрессе; если также доказано, что все государи нуждаются в мире и они уже доказали вам это, разогнав сборища, посягавшие на ваше внутреннее спокойствие, то что же такое представляют собою в таком случае фразы тех, кто желал бы возбудить вас к несправедливой войне?

«Пред вами и в прениях, в которых идет речь о спасении общественного дела, я не умею кривить душою.

«Вас вводят в заблуждение, когда, основываясь на гипотезах и обманывая вас неосновательными опасениями, хотят побудить вас напасть на императора для того, чтобы заставить этот союз государей стать наступательным, потому что заявление о том, что договор 1756 г. расторгнут, и требование удовлетворения равносильно об'явлению войны. Итак, на этой трибуне противопоставили достоинство французской нации достоинству одного коронованного человека, прибегая к жалкой двусмысленности. Пока соседние с нами нации не изменят существующего у них образа правления, человек, стоящий во главе их, является фактически их представителем, и его достоинство становится национальным достоинством.

«Я не стану повторять вам, что договор с Австрией обременителен для вас. Это знает вся Франция: бесполезно представлять вам доказательства этого и здесь неуместно излагать общие места, но заслуживает вашего внимания рассмотреть вопрос о том, следует ли вам в такой момент, когда у нас нет никакого иного союзника, когда установилась связь между различными дворами, не только расторгнуть этот союз, но и принудить Леопольда к войне, основываясь на сомнительной надежде на то, что другие державы заключат союзы с вами.

«Разве следует нам, господа, действовать, руководясь столь ненадежными данными, когда дело идет об общественном спасении? И, если я могу употребить столь тривиальное выражение, разве, строя воздушные замки, мы защитим свободу и французскую конституцию?

«Не скрывайте от себя, что император и Пруссия, которые одни располагают 500.000 штыков, останутся союзниками и будут усилены союзом всех других держав в том случае, если война будет несправедлива с вашей стороны и если поведение этих самых держав не сделает ее необходимою по мнению всех народов.

«Вам указывали на пример Англии, но вам не сказали, что, превосходя на море все другие державы, она, благодаря своему положению, не должна была ничего бояться для себя... Вам называли Карла XII, но умолчали о Полтаве.

«Господа, скажем правду; друзья свободы хотели бы оказать поддержку философии, оскорбляемой лигою государей; они хотели бы призвать к этой свободе все народы и распространять священное восстание; вот

истинный мотив предлагаемых вам неосмотрительных поступков. Но не должны ли вы предоставить самой философии заботу о том, чтобы просветить мир для того, чтобы, благодаря более медленному, но более верному прогрессу, устроить счастье человеческого рода и братский союз всех народов? Или же вы должны для того, чтобы ускорить эти действия, рисковать гибелью вашей свободы и свободы человеческого рода, провозглашая права человека посреди резни и разрушения?

«Это предприятие будет благородно, велико, достойно вас, лишь в том случае, если вызывающим образом действий вас заставят вести войну, которая станет справедливою и необходимою, при чем нападение окажется единственным средством защиты, если, начиная военные действия, вы будете иметь возможность доказать всему миру, который на вас смотрит, и Франции, доверившей вам свои драгоценнейшие интересы, что вы вверяете участь и жизнь ваших братьев случайностям войны для того, чтобы сохранить ее Конституцию.

«Итак, представим философии заботу о том, чтобы просветить мир и, если ослепление этой лиги государей лишит вас возможности ждать наступления часа, искони предназначенного для основания единственного прочного царства, а именно царства разума, то пожалеем об участи страдающего человечества, которое тогда увидело бы эти светлые прекрасные дни лишь после столь ужасной грозы».

Речь Давергу произвела впечатление, и Бриссо счел себя вынужденным ответить на нее заметкою во Французском Патриоте (26 января).

«Г. Давергу отверг мой проект, потому что, как он говорит, в основе этого проекта лежит ложная гипотеза о союзе между различными державами против Франции. Я отвечаю, что, во-первых, это вовсе не гипотеза, что союз доказан различными актами, на которые я ссылался.

«Во-вторых, что моя система вытекает из следующей дилеммы: или император желает напасть на нас, или он желает только испугать нас; в первом случае нужно предварить его; во втором — принудить его отказаться от своих намерений.

«Ни г. Давергу, ни нападавшие на меня ораторы не выразили против этой дилеммы».

Ответ Бриссо был жалок. Прежде всего он вовсе не доказал существования наступательного союза. Затем, эта претензия свести живую и сложную мировую действительность к одной дилемме была возмутительно смешна. На самом деле император находился в таком положении, что на него оказывали действие весьма разнородные силы и к нему пред'являлись весьма противоречивые требования. Он страдал от тех опасностей, которым подвергалась его сестра; но он не желал опрометчиво об'явить войну. Его братские чувства, его чувство монархической чести побуждали его вмешаться, но его политический интерес побуждал его к воздержанию. И он маневрировал, чтобы согласить эти противоположные требования. Итак, от самой Франции и от Собрания могло зависеть, чтобы ум Леопольда, наконец, склонился к иному решению, и педантическая и пошлая хитрость Бриссо, сводившего ужасный вопрос о мире или войне и самую будущность свободного человечества к убогой дилемме, представляется в этой заметке в весьма непривлекательном свете.

В самом деле, во всех этих прениях единственное верное и глубокое слово было сказано Верньо, указавшим на состояние беспокойства, тоски, побуждавшее страну стремиться к быстрому решению, так что следовало заставить болезнь «выясниться». Но никто в Собрании не проявил столько мужества, чтобы

сказать: чем же вызвана у нас эта тоска? Внутренними или внешними причинами?

В самом деле следовало бы приступить к рассмотрению вопроса об отношениях между Революцией и предательскою скрытною и парализовавшею ее королевскою властью.

Законодательное Собрание уклонилось от этой ужасной проблемы, оно прибегло к огромной войне подобно тому, как человек, мучимый грустью, ищет прибежища в буре для того, чтобы заглушить заботу, которой он не может прогнать, чтобы успокоиться от расслабленности, вызванной неразрешимым сомнением. А посредственный Мефистофель Жиронды подстерег этот момент внутренней усталости Революции для того, чтобы побудить ее заключить договор о войне.

Теперь, когда я пишу, весь мир все еще связан этим договором. Когда же социалистическое человечество расторгнет его?

Он настолько прочен, он так тесно связал более века тому назад совести и умы, что даже величайшие мыслители, даже те, чьи сердца проникнуты чувствами миролюбия и братства, повидимому, не понимают, что можно было бы отделить Революцию от войны.

На том же самом заседании 17 января Кондорсе, даже не пытаясь поддержать Давергу и воспротивиться непоправимым поступкам, только старается придумать, какими способами можно было бы достигнуть того, чтобы война была чиста от всякой слишком грубой мысли о завоеваниях и ограничить ее. Он полагает, что откровенно революционная дипломатия могла бы легко заключить союзы, особенно с Англией, и он требует, чтобы исполнительная власть обновила весь личный состав своих представителей за границей.

Позднее, когда благородный и кроткий коммунист Кабэ пишет в 1832 г. главу о французской Революции, он даже не задается этим вопросом. Повидимому, он даже не подозревает, что возможна была иная политика, чем роялистская и миролюбивая политика фельянов или революционная и воинственная политика жирондистов.

Однако патриоты, которые ежедневно получают предостережения и которых тревожит и пугает множество признаков, беспрестанно спрашивают себя: но не изменяет ли нам король? Не решили ли иностранные державы воевать?

Члены Учредительного Собрания и умеренные, об'единившиеся в клубе фельянов (тогдашние доктринеры и сторонники умеренной правительственной системы), желая сосредоточить всю власть в руках буржуазии, боясь народа, в собственном смысле слова, верят в искренность Людовика XVI или притворяются, что верят в нее, или, по крайней мере, надеются на то, что мягкость и уступки в конце концов преодолеют его отвращение к Революции; они утверждают, что короли боятся Франции гораздо более, чем она должна их бояться; что мир настоятельно необходим, главным образом, для них; что их угрозы являются лишь хвастовством; что их приготовления имеют чисто оборонительный характер; что следует избегать всяких мер, которые могли бы их встревожить; и что дело обойдется без войны, если Революция окажется благоразумною. Их девиз легальность, конституция, доверие, уверенность и мир.

«Людовик XVI выбирает своих министров из них, но он сговаривается с людьми, желающими сделаться его сообщниками, и обманывает других; он скрывает от них свою частную переписку, враждебные решения иностранцев, их приготовления к нападению и даже их движение к нашим границам.

«С другой стороны, он беспрестанно ссылается на конституцию, предоставляющую ему достаточно власти для того, чтобы он мог найти способ уничтожить ее.

«Другие, которых оказывается гораздо больше, в том числе известные жирондисты, герцог Орлеанский и его сын, об'единявшиеся в клубе якобинцев, убеждены в том, что Людовик XVI никогда не примирится с умалением своей прежней власти, что он устраивает заговоры против Конституции; что он действует заодно с эмиграцией и с иностранцами; что короли заинтересованы в том, чтобы подавить Революцию; что они хотят не только восстановить неограниченную власть, но, более всего, разделить королевство; что их приготовления враждебны; что война неизбежна, что опасность неминуема и сильна; наконец, что общественное спасение требует того, чтобы готовились к войне и чтобы от иностранных правительств решительно потребовали точных об'яснений относительно их намерений и их проектов».

Эта картина, нарисованная Кабэ, была бы удивительна при всей своей краткости, если бы по отношению к вопросу о войне в ней не оказывалось несколько неточных черт и некоторой путаницы, а также и странного пробела. Прежде всего вовсе не умеренные, не фельяны желали уверить страну в том, что иностранные государи хотят мира и боятся Франции. Это делала Жиронда, это делал Бриссо. Бриссо же борется и против «недоверчивости».

Не верно и то, что умеренные сплошь и систематически противились войне, всякой войне. Следуя внушению Нарбонна, г-жи де-Сталь и даже некоторых из бывших членов Учредительного Собрания, они решились рискнуть.

Наконец, Кабэ совершенно забывает и, повидимому, даже игнорирует огромные усилия Робеспьера, еженедельника Прюдома, значительной части якобинцев, клонившихся к тому, чтобы не полагаться ни на двор, ни на Жиронду, ни на умеренных, ни на войну и направлять поток революционных сил к демократии и к миру.

В революционной традиции, в том несколько искаженном изображении, которое одно поколение передает другому, война и Революция связаны друг с другом. И если я могу так выразиться, это накладывание одного изображения на другое не раз делало возможным совместные выступления республиканцев и бонапартистов против угроз и попыток насильственного восстановления старого режима.

Удивительная вещь! Пламенный робеспьерист Лапоннерэ, основательно знавший жизнь Робеспьера, сочинения которого он издал, даже не отметил в 1831 г. в своих популярных лекциях по истории Революции великих усилий Робеспьера, стремившегося к сохранению мира. Однако с проницательностью, изощряемою ненавистью, он отмечает двуличие жирондистов, при подготовке войны. «Для торжества жирондистов не доставало только того, чтобы вызвать распрю между королем и Европою и принудить его вести войну против деспотов, сговорившихся вернуть ему прежние прерогативы: они взялись за это, и их усилия увенчались успехом. Однако министерство Людовика XVI еще могло (в апреле) предотвратить без позора враждебные действия: оно предпочло начать их...

«Перчатка брошена, ристалище открыто, враждебные стороны ринутся одна на другую. Начнется кровавая борьба, которая будет продолжаться двадцать пять лет; в течение четверти века Европа будет двигаться против Франции, Франция будет двигаться против Европы, вторгнется в Европу, и этот поединок между одним народом и двадцатью народами, одной нации против целого мира окончится позорным нашествием, которое один из величайших полководцев этой эпохи навлек на наше несчастное отечество.

«Война, сперва бывшая оборонительною, станет наступательною, ибо не в нашем характере ждать врага за окопами: французы сражаются, наступая и идя в штыки. Эта война, справедливая, законная и всецело пропагандистская, пока она будет защищать интересы Революции, через несколько лет станет несправедливою, завоевательною, грабительскою, когда один воин—враг свободы, захватит в свои руки руководство ею для того, чтобы использовать ее для своих честолюбивых проектов».

Вот каким образом, в 1831 г., восторженный робеспьерист, чтивший своего героя, как святого, вкратце излагал великую драму революции и войны, возникновение которой мы теперь исследуем. Он вовсе не обманут жирондистскою проделкою и он не думает, что война была неизбежна, но как осторожно и робко его указание. До какой степени он, несомненно, для того, чтобы не вызвать негодования слушавших его рабочих, не заботится о том, чтобы отметить ту, однако, столь славную, борьбу, которую Робеспьер вел против воинственных увлечений! И он, повидимому, допускает эту «войну с целью пропаганды», против которой так энергически возражал Робеспьер.

Таким образом то пленительное и мутное течение, в котором Жиронда смешала революционные и воинственные направления, проникло в сознание даже столь твердых людей, как монтаньяры и их наследники.

Может быть, именно потому, что мир, международное согласие представляется нам совершенно необходимым условием торжества пролетариата и социальной революции, мы вносим и в прошлое, уже и в демократически-буржуазную революцию, эту миролюбивую тенденцию.

Приписывать деятелям 92 года нашу чувствительность вместо той, которая была им свойственна, значило бы искажать смысл истории; но, отмечая интриги, софизмы и мрачную расслабленность, уже с тех пор игравшие роль в воинственной политике, мы, может быть, предостережем новые поколения от героических и пустых напыщенных слов, распространяющих лишь нелепую или низкую ненависть и реакционный дух.

В заключение, после всех этих январских прений, Собрание, на заседании 25 числа, издало декрет, который в самом деле походил на об'явление войны:

I. «Король будет приглашен посланием об'явить императору, что отныне он не может договариваться ни с какою державою иначе, как от имени французской нации и в силу полномочий, предоставленных ему Конституцией.

II. «Король будет приглашен спросить императора, хочет ли он, как глава Австрийского дома, жить в мире и добром согласии с французской нацией и отказывается ли он от всяких договоров и соглашений, направленных против верховенства, независимости и безопасности нации.

III. «Король будет приглашен об'явить императору, что, если он не даст нации до 1 марта полного и совершенного удовлетворения относительно вышеуказанных пунктов, его молчание, равно как и всякий уклончивый ответ, или всякий ответ, вызывающий замедление, будут сочтены за об'явление войны.

IV. «Король будет приглашен продолжать принимать самые быстрые меры для того, чтобы французские войска были готовы начать кампанию по первому данному им приказу.

«Национальное Собрание поручает своему Дипломатическому Комитету тотчас же представить ему свой доклад о трактате от 17 мая 1756 г.».

Как бы для того, чтобы подчеркнуть воинственный смысл этого декрета, маршал де-Рошамбо, командовавший одним из трех корпусов, присутствовал в этот день на заседании Собрания. Он просил его принять различные меры военного характера и окончил свою речь следующими словами, вызвавшими громкие аплодисменты:

«Я надеюсь, господа, что благодаря вашим декларациям, вы соблаговолите поддерживать усердие, одушевляющее более чем шестидесятилетнего старика, у которого сохранился жар души, хотя тело его истощено». Благодаря героическому и пламенному революционному вдохновению молодели тела и души.

Какое впечатление произвел этот декрет Собрания на французский двор, на австрийского императора, на министров Людовика XVI? Ясно, что война представилась всем гораздо более вероятною и более близкою, но еще не выяснилось ничего окончательного. Мерси, предупрежденный прениями Собрания, начинает предвидеть войну и организует, в согласии с королевою, шпионство. «То, что произошло в Собрании, — пишет он королеве 24 января, — оправдывает то мнение относительно бесполезности Конгресса и даже связанных с ним неудобств, которого держались в Вене. Кажется, что приближается тот момент, когда дворы определенно об'ясняется друг с другом; нужно, чтобы об этом тотчас же уведомили. Если вспыхнет война, то будет очень важно, чтобы в Тюйльери были осведомлены относительно ежедневных движений и относительно интриг всех партий. Для этого нужны были бы очень искусные и деятельные наблюдатели. Полагают, что имеются доказательства того, что... был бы очень пригоден для этого. При его ...посредстве можно было бы установить согласие во взглядах и относительно принимаемых мер; без этой согласованности много существенного будет упущено. Покорнейше просят обратить внимание на это замечание». Королевская измена с точностью определяется.

Но, несмотря на все более и более задорный образ действий Собрания, даже несмотря на вышеприведенный декрет, император все еще колеблется. Он сильно озабочен своими широкими планами в Польше. Уже несколько лет он старался избавить Польшу от русского и от прусского влияния, чтобы спасти ее от анархии и учредить в ней наследственную монархию, которая была бы союзницею Австрии и на которую Австрия оказывала бы большое моральное влияние. 3 мая 1791 года в Польше совершилась революция в этом смысле, под руководством короля Станислава, наконец, усвоившего взгляды Леопольда II. Право veto, т.-е. признававшееся за всяким дворянином право воспрепятствовать своею единоличною оппозицией всякому постановлению сейма, было уничтожено.

Крестьянам были даны гарантии, буржуазии были предоставлены политические права и была установлена двухпалатная система. Министерство должно было управлять во имя наследственной монархии. Польская корона должна была достаться дому Саксонского курфюрста, союзника Австрийского дома. Таким образом об'единенные Польша и Саксония, соединившись, представляли бы собой в Германии против Пруссии и России первоклассную силу, и влияние Австрии в мире чрезвычайно усилилось бы; Пруссия уже не могла бы отнять у нее Германию. Россия уже не могла бы препятствовать ее успехам в Турции. Понятно, что Леопольду II тяжело было отказаться от этого великолепного плана для того, чтобы начать обременительную и опасную войну против Революции.

Ему тяжело было договариваться с Пруссией, чтобы вступить с нею в соглашение против Франции и обречь себя тем самым на отказ от своих намерений в Польше, осуществления которых Пруссия не могла допустить. Поэтому он все еще старался, по крайней мере, отложить разрыв с Францией, и мемуар, адресованный им 31 января Марии-Антуанетте, наверно, соответствует его мыслям. Хотя королева писала ему, чтобы он послал такой ответ, «который можно было бы показать», однако, ясно, что в этом мемуаре находит свое выражение именно политика самого императора: «31 января 1792 г. Дорогая сестра, я думаю, что я всего лучше выражу нежную дружбу, питаемую мною к вам и к

королю, открыв вам мои чувства без всяких обиняков. Я делаю это вполне добросердечно в этом мемуаре, который я посылаю вам в ответ на тот, который вы передали мне при посредстве графа де-Мерси. Я очень рад, что наши идеи и ваши взгляды сходятся в существеннейших пунктах, и могу лишь предвещать благоприятный исход, который наступит спокойно и в то же время благополучно, если он будет соответствовать желаниям, диктуемым мне тою сильною вечною привязанностью, с которою я вас обнимаю».

Спачала Леопольд II излагает тот план пересмотра Конституции, который, по его мнению, следовало бы осуществлять: «недостатки новой французской Конституции делают необходимым, чтобы в нее были внесены некоторые изменения для того, чтобы обеспечить ее прочное и спокойное существование. Император одобряет в отношении этого благоразумную умеренность желаний и взглядов их христианнейших величеств».

«Восстановление старого режима неосуществимо, несогласимо с благополучием Франции. Разрушение существеннейших основ Конституции было бы несовместимо с нынешним настроением нации и подвергло бы ее крайним бедствиям. Связать эту Конституцию с основными принципами монархии является единственною целью, к достижению которой можно разумно стремиться».

«Те пункты, которые при этом следует иметь в виду, намечены с удовлетворительнейшею точностью в мемуаре, отправленном королевою. Сохранить для престола его достоинство и приличное положение, необходимое для того, чтобы добиться уважения к законам и повиновения им, обеспечить все права, согласить все интересы, и, считая формы церковного, судебного и феодального режима побочными пунктами, возвратить, однако, в Конституции дворянству, как составной части всякой монархии, политическое значение, которого оно лишено. В этих поправках заключается все то, чего нужно желать».

«Четыре месяца тому назад император разделял надежду на то, что с течением времени, благодаря указаниям разума и опыта, вышеупомянутые улучшения осуществятся сами собой. Прилагаемые при сем тайные сообщения докажут, с какою искренностью он, основываясь на этой надежде, поддерживал решение короля и королевы и выяснят, что не по его вине такие же взгляды не были усвоены всеми дворами (однако, эти взгляды были усвоены большинством их и, даже, принимая во внимание результат, всеми), равно как и братьями короля и эмигрантами.

«Тем не менее император продолжает верить, что вышеуказанная цель должна и может быть достигнута без смут и без войны, потому что он глубоко убежден в том, что можно осуществить что-либо прочное, лишь обеспечив себе поддержку со стороны многочисленнейшего из тех классов, на которые распадается нация, который состоит из лиц, желающих мира, порядка и свободы и питающих столь сильную привязанность к монархии. Но между лицами, принадлежащими к этому классу, нет полного согласия во всем, они тяжелы на под'ем и не способны быстро принимать решения, в их привязанности к Конституции замечается больше упрямства, чем понимания дела. Все это заставляет императора бояться того, что или этот класс, будучи предоставлен самому себе, будет всегда подчиняться другим или что его благие намерения будут расстроены и парализованы республиканской партией, у которой фанатизм некоторых из ее членов и испорченность других заменяют численность. Благодаря энергии этой партии, проявляющейся в ее деятельности, в ее интригах и принимаемых ею решительных и целесообразных мерах, она непременно должна одержать верх над вышеупомянутыми лицами, среди которых замечается разлад или равнодушие. Чем более вожаки этой партии (так хорошо охарактеризованные в мемуаре) чувствуют, что время и спокойствие уничтожают доверие к ним, тем более они

прибегают к отчаянным и насильственным мерам и стараются склонить нацию к непоправимым крайностям для того, чтобы заменить всеобщим фанатизмом скудные рессурсы и недостаточные конституционные средства.

«Такова истинная причина нынешнего кризиса. Благодаря заранее обдуманному намерению оживить революционное рвение нации, сборища эмигрантов, которых в общем итоге насчитывалось менее четырех тысяч человек и которых легко было обуздать мерами, соответствующими незначительности опасности, послужили предлогом для того, чтобы вооружить сто пятьдесят тысяч человек, из которых состоят три армии, сосредоточенные на границах Германской империи. Вместо того бережного отношения, которого заслуживает воздержный образ действия императора, в довершение всего приказавшего обезоружить эмигрантов в Нидерландах, вместо соглашения с теми имперскими князьями, имущества которых были отобраны, в сущности, вопреки постановлениям трактатов, вместо всего этого, надменными и угрожающими декларациями и чрезмерными вооружениями принуждают императора и империю со своей стороны позаботиться о безопасности своей границы и о спокойствии своего государства...

«Желания злых людей, вызвавших эти крайности, исполнились бы, если бы раздраженный таким поведением император, совершенно утратив надежду на успешность примирительных средств, дал увлечь себя проектами разрыва, открыто присоединившись к делу эмигрантов и соединившись с теми, кто желает полной контр-революции. Они, несомненно, с нетерпением ждут этого момента, чтобы одолеть умеренную партию и чтобы путем насильственных действий поскорее довести нацию до такого нового положения, которое окажется хуже нынешнего и будет сопровождаться бесчисленными бедствиями, при чем уже нельзя будет ни предотвратить эти бедствия, ни изменить положение дел.

«Император предохранит, если это окажется возможным, Францию и всю Европу от такой развязки. Сперва он увеличит численность своих войск в Верхней Австрии приблизительно на шесть тысяч человек, так как эта мера является необходимою, если даже принять в расчет только тот мятежный дух, который уже развивается в местностях Германии, расположенных по берегам Рейна. Он будет содействовать еще более значительным вооружениям, соразмерным с вооружениями Франции, так как эти последние непосредственно угрожают безопасности и чести Германской империи и спокойствию Нидерландов. Однако, ограничивая цель этих мер мотивами обороны и предосторожности, заставляющими прибегнуть к ним, он, далеко не отказываясь от тех благоразумных и спасительных принципов, убежденным сторонником которых он является подобно королю и королеве, и не противореча этим принципам, приложит все свои старания к тому, чтобы сочетать их с теми мерами, о которых идет речь, и побудить равным образом принять их и все дворы, которые примут участие в новом соглашении, предлагая, как существенные основы этого соглашения и как необходимое условие своего содействия, чтобы не оказывали никакой поддержки делу и претензиям эмигрантов; чтобы не вмешивались во внутренние дела Франции никакими активными мерами, за исключением того случая, если бы король и его семейство подверглись новым явным опасностям, и что ни в каком случае не станут добиваться уничтожения Конституции, но ограничатся тем, что окажут содействие ее исправлению согласно вышеизложенным принципам и притом кроткими и миротворными способами».

Итак, еще в конце января австрийский император желал мира и упорно продолжал надеяться на его сохранение. Правда, план предусматриваемой им

полу-аристократической Конституции является совершенно несбыточным и ретроградным; но так как он вовсе не желает прибегнуть к вмешательству для того, чтобы навязать его, какое дело до него Франции? Какое дело до него Революции?

Правда, он все-таки об'являет, что вмешается, если будет грозить явная опасность Людовику XVI и Марии-Антуанетте. Но ему было в самом деле неудобно говорить иным тоном со своею сестрою. И не только он вовсе не хочет войны, но, следуя взглядам конституционалистов, он старается доказать королю и королеве Франции, что война погубила бы их.

Но что же это означает? Допускаем ли мы на мгновение, что Революция должна была терпеть какое-либо, даже мирное, даже миротворное вмешательство иностранцев в свои внутренние дела? Нет, нет, относительно этого пусть не будет никаких недоразумений: Революция была обязана прежде всего заявить—и это было необходимо для ее спасения и даже для ее существования,—что она желала развиваться свободно, эволюционировать по своему благоусмотрению, и что ни угрозы, ни советы не могли бы заставить ее сойти со своего пути. Но Жиронда побуждала Революцию к нападению на иностранные государства, на императора в то самое время, когда последний определенно отказывается от всякого вмешательства.

Опять-таки, что же это означает? Утверждаем ли мы, что, при большем благоразумии, война, наверно, была бы предотвращена? Нет, нет, здесь не может быть никакой достоверности. Может быть, несмотря ни на что, произошло бы столкновение революционной демократии с абсолютистскою и феодальною Европою. Вероятно даже, что в тот день, когда Революция, порвав с двусмысленностью и карая за измену, ложь и клятвопреступление, подняла бы руку на королевскую власть и на короля, иностранцы тронулись бы.

Угрозы Леопольда или оскорбления, нанесенные им республиканской партии, не должны были остановить логический и необходимый переход Революции к Республике. Но я утверждаю, что в тот момент, когда Жиронда об'явила войну, она не могла верить и в самом деле не верила в то, что война была неизбежна, что Жиронда сделала все для того, чтобы вызвать войну. Дело в том, что она забыла, что если бы Франция дождалась нападения Европы и если бы она сперва избавилась от внутренней королевской измены, прежде, чем вызвать на бой иностранные державы, она была бы гораздо лучше вооружена для того, чтобы выдержать борьбу. Я утверждаю, что рассчитывать на войну для того, чтобы возбудить революционный фанатизм, значило рассчитывать на алкоголь для того, чтобы сильно возбудить энергию и бодрость. Да, Жиронда подумала, что Революция наполовину изнемогала, что она без этого искусственного возбуждающего средства не сумела бы подавить контр-революцию, низвергнуть королевскую власть, и она почти предательски заставила ее проглотить алкоголь войны, алкоголь гордости, подозрения и ярости, который вскоре предаст униженную свободу цезаризму и реакции.

Но что же это означает, в конце концов? Даже если мы не ошибаемся, если честолюбивая и хвастливая опрометчивость Жиронды в самом деле толкнула Революцию на опасную дорогу, то мы должны извлечь из этой ошибки, сделанной людьми, урок для будущего, а не аргумент против самой Революции.

Она остается в мире правом, надеждою на свободу, и мы будем всецело на ее стороне в той ужасной битве, которую она, может быть, отважно в первом раздражении начала против сил угнетения, мрака, посредственности, подстерегающих всякую ее неосторожность, следивших за всеми ее движениями, и мерила своею ограниченною мыслью парение ее мечты.

Мы проследим действия великого народа, взявшего Бастилию, ставшего великим народом, сражавшимся при Вальми, по мере возможности в мирное время,

а когда нужно, и на войне; но пусть новые поколения черпают из чаши Революции чистый героизм свободы, а не пришедшие в брожение подонки воинственных страстей.

В это время император проявляет еще такую нерешительность, что королева Мария-Антуанетта считает нужным подстрекать его. Она, до сих пор избегавшая связать себя соглашением с русскою императрицею Екатериною, которую она подозревала в чрезмерной снисходительности по отношению к эмигрантам, теперь обращается к ней и отправляет в Вену русского уполномоченного Симолина для того, чтобы торопить своего брата. Она решилась: как и Жиронда, она хочет покончить дело и она решительно предпочитает войну со всеми ее опасностями тому состоянию тревоги и нервного напряжения, которое она уже так давно переживала. Итак, Революция и королевская власть решились на великое испытание приблизительно в одно и то же время.

В первых числах февраля королева пишет графу де-Мерси: «...г. де-С. (Симолин), который встретится с вами, милостивый государь, согласен взять на себя мои поручения... Та полная неизвестность относительно намерения венского кабинета, в которой я пребываю, делает мое положение с каждым днем все более и более прискорбным и критическим. Я не знаю ни как поступать, ни какой тон усвоить себе; все обвиняют меня в притворстве и в лживости, и никто не хочет верить (и по основательным причинам), что брат так мало интересуется ужасным положением своей сестры, чтобы беспрестанно подвергать ее опасности, ничего ей не говоря. *Да, он подвергает меня опасности и притом в тысячу раз в большей степени, чем если бы он действовал*; ненависть, недоверие, наглость являются тремя силами, приводящими эту страну в движение в настоящее время.

«Они наглы вследствие чрезмерного страха и потому, что в то же время они полагают, что из-за границы ничего не сделают. Это ясно, достаточно обратить внимание на те моменты, когда они полагали, что державы в самом деле заговорят приличествующим им тоном, а именно, после сообщения императора от 21 декабря, никто не посмел ни заговорить, ни возмущать до тех пор, пока они не успокоились.

«*Пусть же император почувствует оскорбления, наносимые ему самому*, пусть он появится во главе других держав с военными силами, но с значительными военными силами, и я уверяю вас, что здесь все ужаснутся. И уже нечего беспокоиться за нашу безопасность; эта страна вызывает войну, Собрание хочет ее.

«С одной стороны, конституционный образ действий, усвоенный королем, обеспечивает его безопасность; с другой стороны, его существование и существование его сына настолько необходимо всем окружающим нас злодеям, что это обусловливает нашу безопасность; и я утверждаю, что нет ничего хуже, чем оставаться в нашем нынешнем положении, и уже нельзя надеяться на то, что поможет время или кто-нибудь в самой Франции.

«Трудно будет провести здесь первое время, но следует быть очень благоразумным и осторожным. Как и вы, я полагаю, что нужны были бы ловкие и надежные люди, но где их найти?»

Какой мрак нисходит в этот час на французскую землю! В то время, когда Революция слабеет, а жирондисты уверяют ее в том, что император, старающийся избежать борьбы, является тем врагом, которого следует поразить, королева принимает за страх промедления, неизбежные для жирондистов, стремящихся склонить страну к мысли о войне. Одолеваемая сомнениями королева так же, как и жирондисты, бросается на дорогу, на которой она должна погибнуть, да и они погибнут. И теперь она побуждает своего колеблющегося брата к нашествию на Францию.

Она обещает изменять, поскольку ей дозволят те посредственные орудия, которыми она располагает. И все это делается потому, что королевская власть ни на минуту не соглашалась искренно принять Конституцию, переделывавшую на новый лад, обновлявшую, может быть, на целые века силу королевской власти! Ослепление! Мелкий эгоизм! Тирания привычек! Безрассудное честолюбие! Пусть решает сила, и пусть разразится гроза, так как в этом повсеместном мраке возможен только свет молнии, молнии войны! Молнии смерти, и пусть всякого постигнет его участь.

Ферзен, находившийся в Брюсселе, отмечает в своем дневнике 9 февраля проезд Симолина: «Симолин приехал в одиннадцать часов, не встретив никаких препятствий; обедал с ним у барона де-Бретейля. Он едет в Вену с поручением от королевы: выяснить императору их положение, состояние Франции и их подлинное желание, чтобы им была оказана помощь. Он видел их тайно; королева сказала ему: «Скажите императору, что нация слишком нуждается в короле и в его сыне, так что им нечего бояться; именно их интересно спасти: что касается меня, я ничего не боюсь и предпочитаю подвергнуться всевозможным опасностям, а не продолжать жить в том униженном и бедственном положении, в котором я нахожусь.

«Симолин был тронут до слез разговором с нею. Он говорил мне о прелестных письмах королевы к императору, к императрице и к князю Кауницу. Г. Мерси, которого он видел, говорил своим обычным тоном. Симолин упрекнул его за поведение императора, столь отличающееся от того, которое было намечено в декларациях в Падуе, и он был вынужден сознаться в том, что он обманул державы».

Итак, королева рассчитывает на то, что король и его сын будут казаться нации столь необходимыми, что она пощадит их даже во время войны, начатой от их имени и ради них. И ей ни на одно мгновение не приходит мысль о том, что гнусно изменять народу, который еще привязан к своему королю такими узами. Веря, что власть короля будет господствовать над нацией даже во время ужасного кризиса, вызванного войною, об'явленною ради короля, она не думает о том, что, став верным служителем Конституции и народа, он безопасно и спокойно обладал бы огромною властью.

Но опять-таки, заметьте, что Мерси говорит с Симолиным своим обычным тоном, т.-е. что он старается, насколько возможно, уменьшить вероятность войны и побудить отказаться от гордой и безрассудной суеты. Впрочем, сам он пишет Марии-Антуанетте 11 февраля:

«Я должен повторить, что несправедливо было бы сваливать на императора ответственность за колебания и промедления, которые вовсе не зависят от него. С очевидностью доказано, что император, который первый идет напролом, на самом деле не получает ни от кого сильной поддержки. Ему создают тысячу мелких хлопот, ему причиняют множество затруднений; Англия препятствует всем мерам, а французские принцы расстраивают их иным способом. Я собрался с небольшим остатком своих сил, чтобы иметь очень существенный разговор с г. де-Симолиным. Я сказал ему, каким тоном следует говорить в Вене, и указал ему, каким образом всего полезнее изобразить там вещи в их подлинном виде. Я верю, что он хорошо исполнит поручение... Взрыв неминуемо произойдет в ближайшем будущем; но, существенно, чтобы он оказался всеобщим и в особенности был дан совет следить за Испанией...»

Все еще тактика, клонящаяся к тому, чтобы вызвать отсрочку. Леопольд находит, что эмигранты требуют слишком многого и что Англия недостаточно активна, и он до такой степени ставит свои действия в тесную связь с всеобщими

действиями Европы, в данный момент невозможными, что в действительности он уклоняется. Этими обескураживающими мыслями Мерси произвел на Симолина, при его проезде через Брюссель, тяжелое впечатление. Император, Кауниц и его наперсник Мерси думали только о том, чтобы укротить все страсти и выиграть время.

Однако королева в самом деле решилась, так как она только что вызвала к себе Ферзена. Последний, рискуя своею головою, выехал, перерядившись, из Брюсселя 11 февраля в девять с половиною часов. Королева знала, что Ферзен стоял за войну, и если она просила его явиться, то, конечно, для того, чтобы укрепить в себе это опасное решение: ей нужно было, накануне этого ужасного кризиса, иметь возле себя своего единомышленника. Никогда она не была в столь глубоком уединении. Советы конституционалистов, Ламетов, Дюпора ужасно надоедали ей, так как она желала войны, а они ее не желали.

Министр иностранных дел Делессар, которого Жиронда тотчас же обвинит в преступном соучастии с двором, старался предотвратить войну, т.-е. действовал как против двора, так, в то же время, и против Жиронды. Между ним и королевою не существовало никаких сношений. Она приняла Симолина совершенно тайно, и ему было поручено передать поручение, о котором министр не знал. И в тот момент, когда королева решалась на войну, она чувствовала себя более, чем когда-либо, далекою от сестер Людовика XVI, потому что она решалась на нее с совершенно иною мыслью: она продолжала питать ненависть к эмигрантам и к принцам, братьям короля. Сам король был нерешителен и неповоротлив. Теперь она могла поговорить с доверием с одним человеком, с тем, кто пренебрег всеми опасностями для того, чтобы подготовить бегство в Варенн; взаимная любовь, меланхолическая и преодолеваемая, связывала Ферзена и королеву, и эта любовь доходила у него до самопожертвования, а у нее—до принятия самопожертвования. Правда, поездка была настолько же опасна для королевы, как и для Ферзена. Человек, игравший роль кучера при от'езде в Варенн, погиб бы, если бы его узнали; но королева, если бы ее заподозрили или обвинили в том, что она затевает новый проект бегства, так же могла бы оказаться скомпрометированною. Велико должно было быть их волнение, когда втайне, в Тюильери, все время подвергаясь опасности, они поговорили об этом печальном путешествии в Варенн, когда королева рассказала несколько подробностей этого путешествия Ферзену, записавшему их в своем дневнике. Но это мучительное возвращение к прошлому не могло продолжаться долго. Нужно было решить вопрос относительно будущего. Ферзен снова старается побудить короля бежать или, по крайней мере, соединить бегство с войною. Ферзен становится представителем абсолютистских тенденций пред королем. Ему кажется, что если Людовик XVI останется после об'явления войны среди Революции и в той роли посредника, которую для него предусматривает австрийский император, Людовик XVI сделает слишком много уступок новым идеям. Наоборот, пусть он бежит, пусть он согласится быть похищенным завоевателями и тогда он вмешается уже не как посредник между Революцией и контрреволюцией, но как глава контр-революционных сил.

«14 февраля, вторник: очень хорошая и теплая погода. Видел короля в шесть часов вечера. Он не хочет уехать и не может сделать этого вследствие чрезмерного надзора; но, по правде говоря, он совестится сделать это после того, как он так часто обещал оставаться, потому что он—честный человек. Однако он согласился, когда появятся армии, уйти с контрабандистами, все время пробираясь лесами, и устроить встречу с отрядом легкой кавалерии. Он хочет, чтобы сначала конгресс занялся исключительно его требованиями, и если на них согласятся, то тогда настаивать на том, чтобы он уехал из Парижа в место, назначенное для ратификации. Если же откажутся, то он согласен на то, чтобы державы действовали, и готов подвергнуться всем опасностям. Он верит, что он ничем не рискует,

так как бунтовщики нуждаются в нем для того, чтобы выпросить капитуляцию. Он (король) носил красную ленту. Он видит, что нет иных рессурсов, кроме силы, но, вследствие своей слабости, он считает невозможным вернуть себе всю свою власть. Я доказал ему противоположное, я сказал ему, что этого следовало добиться силою и что таково желание держав. Он согласился. Однако я не уверен в том, что, если его не будут постоянно ободрять, он не станет пытаться вести переговоры с бунтовщиками. Затем он сказал мне: «Ах, да! мы наедине и мы можем поговорить. Я знаю, что меня обвиняют в слабости и в нерешительности, но никто никогда не находился в моем положении. Я знаю, что я упустил момент, это было 14 июля; следовало удалиться, и я этого хотел, но как же было сделать это, когда старший из моих братьев сам просил меня не уезжать, а маршал де-Брольи, который тогда командовал войсками, отвечал мне: да, мы можем отправиться в Мец, но что же мы сделаем, когда мы будем там?—Я упустил момент, а с тех пор он уже не представлялся. Я был покинут всеми». Он просил меня предупредить державы, что они не должны удивляться всему тому, что он был вынужден делать, что его заставляли это делать и что это являлось следствием принуждения. «Нужно,—сказал он,—чтобы мне предоставили полную свободу действий».

Какое расстройство! Какое падение! Я не говорю об этом ребяческом проекте итти лесом навстречу неприятельскому авангарду, чтобы дать себя похитить. Но каким же образом этот король, который сам признает, что он не может вернуть себе всю свою прежнюю власть и что, следовательно, Революция была неизбежна, каким же образом он все еще упорно продолжает бороться против нее? А главное, как король французов до такой степени утратил французское национальное чувство, что поверил, что Франция испугается при первом шаге врага, и что она, трепещущая, прибегнет к нему. Как, этот народ, который в течение своей страдальческой исторической жизни так часто, благодаря прекрасному мужеству, подымался из глубины пропастей, теперь падет к ногам завоевателя? Вот истинное отречение короля от престола! Вот истинное низложение! Он уже не знает, что такое представляет собой та нация, главою которой он является. Ферзен уехал обратно в Брюссель 23 февраля.

Однако император, наконец, утвердил план соглашения с Пруссией, но насколько неопределенен еще был этот план! Правда, повидимому, он решился на вмешательство во внутренние дела Франции, т.-е. на войну; потому что, сообразуясь с соглашением, заключенным между Австрией и Пруссией, Мерси пишет королеве 16 февраля.

«1. Иностранные державы, воздерживаясь от того, чтобы предписывать что-либо относительно способа осуществления (королевской власти), тем не менее уполномочены потребовать, чтобы она существовала в приличном виде.

«2. Пусть Франция прекратит свои враждебные демонстрации против Германии, удалив три армии, численностью каждая в пятьдесят тысяч человек, о которых открыто возвещалось, что они назначаются для насильственных действий.

«3. Пусть князья, имеющие владения в Эльзасе и столь же несправедливо, как и насильственно лишенные того, что им гарантировано торжественнейшими трактатами, будут вполне восстановлены в своих правах и пусть им будут возвращены их владения.

«4. Пусть Авиньон и Венессенское графство будут возвращены папе.

«5. Пусть французское правительство признает действительность трактатов, существующих между ним и другими державами Европы».

Одною формулировкою этих условий император возбудил бы негодование Франции. Но он еще желает избежать того, что может вызвать взрыв.

«Французская нация, — пишет Мерси, — разделена на различные партии. Следует дорожить сохранением этого разделения. Только благодаря этому воз-

можно, без сильных потрясений, уничтожить Конституцию. В случае открытого нападения извне на эту последнюю, все партии соединятся для того, чтобы защищать ее, и вся нация, поддаваясь обаянию своей мнимой свободы и равенства, сочтет своим долгом пожертвовать ей своими внутренними разногласиями».

И даже относительно вышеприведенных точных условий, в которых, повидимому, заключается провокация, Мерси прибавляет в том же самом письме от 16 февраля:

«Для того чтобы сделать эти предложения и декларации настолько вескими, чтобы заставить принять их, император предлагает, независимо от своей армии, уже находящейся в Нидерландах, двинуть сорок тысяч человек, лишь бы только прусский король согласился выставить такое же количество войск для успеха предложенного плана; эти войска не должны начать активных действий и даже могут приступить к ним лишь в том случае, если сама французская нация каким-нибудь насильственным поступком или бесспорным упущением заставит прибегнуть к крайним мерам».

Вся эта политика Австрии еще является двусмысленною, колеблющеюся и, в самом деле, Революции не приходилось отстранять или отклонять стремления к войне. Повидимому, если бы она захотела, у нее нашлось бы несколько шансов сохранить мир без отречения от своих прав, без всяких уступок. Мария-Антуанетта очень хорошо поняла, что в этом письме еще шла речь о замедляющих средствах, и 2 марта она отвечает Мерси:

«Нация в самом деле разделена на различные партии, но лишь одна из них господствует над всеми остальными. Из трусости, беспечности или даже из-за внутренних разногласий, никто не смеет выступать и, лишь под воздействием внешней силы и когда они будут уверены в том, что их поддержат, они отважутся высказаться за свои собственные интересы и за интересы короля. Идеи императора хороши и статьи декларации кажутся мне хорошими, но все это было бы лучше сделать шесть месяцев тому назад. Это опять вызовет потерю времени, а здесь не теряют времени, действуя против нас. Каждый день приносит с собою новое бедствие и усиливает зло. Утрата всех богатств частных лиц, банкротство, дороговизна зерновых хлебов, невозможность перевозить их из одного места в другое, полное отсутствие звонкой монеты и недостаток доверия к бумажным деньгам, наконец, то, что ежедневно все более и более унижают власть короля то в сочинениях и речах, то в том, что его заставляют говорить, писать и делать, все предвещает близкий кризис и, если не будет оказано помощи извне, то каким же образом можно будет дать этому кризису благоприятный для нас оборот?»

Вот что пишет королева 2 марта. А накануне, 1 марта, Делессар сообщил Законодательному Собранию ответ императора на требование об'яснения, пред'явленное к нему по приказанию Собрания. Но даже этот ответ императора кажется королеве двусмысленным и недостаточно вразумительным.

«Я увольняю себя от рассуждений о последней депеше, которая вчера была прочитана в Собрании. Может быть, она была внушена политикою; я недостаточно понимаю ее для того, чтобы судить о ней, лишь ее последствия и эффект могут установить мои взгляды на нее».

Министр иностранных дел Делессар находился уже два месяца в очень затруднительном и даже опасном положении. Он лично желал сохранения мира, он полагал, что война погубила бы умеренную партию, и он решительно старался предотвратить войну. Это означает, что он не действовал заодно с двором, который, как мы доказали, с нетерпением старался вызвать войну в конце ян-

варя и в феврале. Двор тщательно скрывал от Делессара свои воинственные замыслы. Мало того, Делессар питал отвращение к военному министру Нарбонну, фантазии и комбинации которого казались ему весьма неблагоразумными. Делессар полагал, что если бы началась война, то уже нельзя было бы ее ограничить и что, начав с такой войны, которая имела бы характер парада, в смысле Нарбонна, непременно кончил бы огромною войною, которая имела бы характер пропаганды в смысле Бриссо; логика воинственной политики уже сама заставляла Нарбонна мало-по-малу уклоняться в сторону Жиронды, которая щадила его и даже иногда наполовину хвалила его в своих газетах в ущерб его товарищам. Нарбонн чувствовал, что он истратит свою энергию на пустые демонстрации и манифестации, на смотры и на блестящие слова, если он не приберет к рукам внешнюю политику, и он старался заменить Делессара. А Делессар, ежеминутно опасаясь, что какая-нибудь опрометчивость Нарбонна заставит его отклониться от намеченного им образа действий, старался удалить его. Итак, между этими двумя министрами существовал острый конфликт. Королева отмечает этот конфликт в письме, написанном ею в начале февраля к Мерси: «В настоящее время существует явная вражда между министрами Делессаром и Нарбонном. Последний хорошо понимает, что его место опасно, и хочет получить место первого: из-за этого они оба вызывают нападки друг на друга со всех сторон; лучший из них никуда не годится».

Но в особенности фальшиво и опасно было положение Делессара по отношению к Собранию. На него было возложено чрезвычайно затруднительное поручение к императору. Он должен был потребовать от него об'яснений относительно его интимных чувств, добиться выяснения его тайных мыслей, его намерений относительно Революции. Если бы это требование было выражено угрожающим или даже очень настойчивым тоном, то оно непосредственно повлекло бы за собой войну с Австрией, а Делессар не желал брать на себя ответственность за эту войну не из потворства двору, который скрывал от него свои предательские поступки и который ненавидел его, а из благоразумия, из совестливости, а также из преданности конституционной партии, которая нуждалась в мире или думала, что нуждается в мире.

Наоборот, если бы это требование было выражено осторожным тоном, то дела остались бы в том же положении. Оно продлило бы мир, а жирондисты хотели войны. Оно продлило бы и неизвестность, и предстоявший обмен дипломатическими заявлениями ничего не решал. Ожидание тех, кто желал покончить с этим или войною или несомненным миром, было бы обмануто, и министр вызвал бы разочарование и возбудил бы против себя гнев. 1 марта Делессар сообщил Собранию ноту, адресованную венскому кабинету через французского посла, и полученные им ответы.

Письмо Делессара было бесцветно и холодно. Он то довольно решительно утверждал, что Франция не допустила бы посягательств на ее Конституцию, то, как будто, защищал Революцию, указывая на обстоятельства, смягчающие ее вину. «Попытки изменить нашу новую Конституцию силою оружия оказались бы тщетными: она стала для значительного большинства нации своего рода религией, которую она приняла с энтузиазмом и которую она стала бы защищать с энергией, свойственной восторженнейшим чувствам». (Неоднократные аплодисменты.)

...И он прибавил: «Вы, милостивый государь, несколько раз уведомляли меня о том, что в Вене чрезвычайно поражались видимым беспорядком в нашей администрации, неповиновением властям, непочтительностью, иногда проявляемою по отношению к королю. Следует принять во внимание, что мы едва оправляемся от одной из величайших когда-либо совершавшихся революций, что сперва характернейшие для нее события совершались чрезвычайно быстро,

а затем она продлилась вследствие раздоров, возникших в разных партиях, и вследствие борьбы страстей и различных интересов.

«После такого сопротивления и стольких усилий, стольких нововведений и стольких сильных потрясений неизбежно происходили продолжительные волнения, и следует ожидать, что восстановление порядка оказалось бы возможным лишь с течением времени».

Делессар заявил, что угрозы эмигрантов сильно возбуждали умы: «пусть перестанут тревожить нас, грозить нам, доставлять предлоги лицам, желающим лишь беспорядка, и порядок скоро восстановится. (Аплодисменты.)

«Впрочем, количество пасквилей, сыпавшихся на нас в таком изобилии, значительно уменьшилось и с каждым днем все уменьшается. Равнодушие и презрение — вот то оружие, которым следует бороться против этого бича. Неужели Европа могла волноваться по этому поводу и винить французскую нацию, потому что среди нее оказалось несколько декламаторов и несколько сочинителей пасквилей, и неужели было бы желательно удостоить их ответом в виде пушечных выстрелов? (Смех и несколько аплодисментов.)

Затем он пытался отвлечь императора от всякой мысли о нападении, указывая ему на опасности, которые победа повлекла бы за собою, и это предположение, повидимому, обрекавшее Революцию на поражение, раздражило Собрание. «Я возвращаюсь к существенному пункту, к войне. Выгодно ли для императора дать склонить себя к этой роковой мере? Я допущу, если угодно, исход благоприятный для его войск; ну что же? Что из этого выйдет? То, что в конце концов успехи императора поставят его в более затруднительное положение, чем его поражение, и единственным результатом этой войны для него будет та печальная победа, благодаря которой он уничтожил бы своего союзника и способствовал бы усилению своих врагов и своих соперников». (Ропот.)

Министр оканчивал очень умеренным, очень примирительным и несколько униженным тоном: «Вы, милостивый государь, должны стараться, чтобы вам были даны об'яснения относительно трех пунктов: во-первых, относительно сообщения от 21 декабря; во-вторых, относительно вмешательства императора в наши внутренние дела; в-третьих, относительно того, что хочет сказать его императорское величество, говоря о государях, соединившихся в согласие для безопасности своих корон. Каждое из этих об'яснений, которых мы требуем от его справедливости, может быть дано с достоинством, подобающим его особе и его власти...

«Господа, я резюмирую сказанное мною и я выражу вам в одном слове желание короля, желание его совета и, я не боюсь сказать это, желание здравомыслящей части нации: мы хотим мира. Мы требуем прекращения этого разорительного военного положения, в которое нас вовлекло роковое стечение обстоятельств; мы требуем возвращения к мирному состоянию. Но нам дали слишком основательные поводы к беспокойству, так что нам нужно полное успокоение».

Существенный недостаток этого документа заключается в том, что, так сказать, допускаются прения с императором, с иностранцами относительно наших внутренних дел. В нем обнаруживается старание добиться мира для революции обещанием, что она будет очень смирна, обнадеживанием, что если ее не будут тревожить, она не перейдет за известную черту. Итак, министр, повидимому, требовал лишь условного признания революции. Но, в самом деле, как мог бы он иначе поставить вопрос? Требуя от императора, брата Марии-Антуанетты, публичного и безусловно признания революции, требуя, чтобы он заявил, что он не нападет ни в каком случае, даже если Франция ниспровергнет королевскую власть, даже если, по примеру Англии в 1648 г., она обезглавит короля, Жиронда заставляла императора или сделать такое заявление, сделать которое он

не мог, или начать войну. Свобода Революции и миролюбивые расчеты Леопольда могли согласоваться лишь при молчании.

Но Жиронда всего более хотела, чтобы это молчание было нарушено, а министр иностранных дел, не имея возможности молчать и не желая произнести непоправимых слов, был вынужден говорить этим вялым и слабым тоном, конечно, не соответствовавшим революционной и французской гордости. Жиронда тем, что я назову ее скрытною дерзостью, мало-по-малу делала неизбежною для Франции и для Европы войну, которую она, однако, не осмеливалась сразу об'явить.

Понятно, что ответ императора показался Марии-Антуанетте недостаточно вразумительным. Очевидно, и на этот раз он старался только о том, чтобы выиграть время без разрыва с Францией и не унижаясь пред революцией. Но министр Кауниц выполнил эту операцию с такою грубостью и с таким незнанием французской обидчивости и революционных страстей, которые не делают большой чести австрийской дипломатии. Он не формулировал ни одного из тех условий, ни одного из тех требований, которые в это самое время служили базою для сомнительных переговоров между Австрией и Пруссией, а именно, — возвращения графства папской власти, восстановления политического значения дворянства.

Но он говорил о волнениях во Франции грубо и неловко. Он сознался в том, что в Пильнице было подписано соглашение для того, чтобы охранять короля Франции от усиления «анархии». Он прибавил, что после того, как король принял Конституцию, это соглашение имело силу лишь при наступлении событий, которые «могли случиться или не случиться».

И он резко обвинял партии левой: «Пока внутреннее состояние Франции, вместо того, чтобы оправдывать благоприятное предвещание г. Делессара относительно в о з р о ж д е н и я п о р я д к а, в л а с т и п р а в и т е л ь с т в а и и с п о л н е н и я з а к о н о в, наоборот, будет обнаруживать все усиливающиеся с каждым днем симптомы непостоянства и брожения, у держав, дружественно относящихся к Франции, будут существовать основательнейшие поводы опасаться повторения по отношению к королю и королевской фамилии тех же самых насилий, как те, которым они уже не раз подвергались, и бояться, что Франция опять подвергнется величайшему из бедствий, которые могут постигнуть большое государство, а именно, народной анархии.

«Но из всех зол это зло также наиболее заразительно для других народов, и между тем как в некоторых иностранных государствах уже наблюдались пагубнейшие примеры его распространения, пришлось бы оспаривать такое же право других держав сохранять свое государственное устройство, как то, которого Франция требует по отношению к своему государственному устройству, чтобы не признавать, что никогда не существовало более законного, более неотложного и более существенного для спокойствия Европы мотива для тревоги.

«Пришлось бы также иметь возможность отвергать свидетельство достовернейших ежедневно совершающихся событий для того, чтобы приписывать главную причину этого внутреннего брожения, происходящего во Франции, настойчивости эмигрантов или их проектам... Вооружения эмигрантов прекращены, вооружения Франции продолжаются. Император не только не поддерживает их проектов или их претензий, но настаивает на их спокойствии, имперские князья следуют его примеру...

«Нет, истинная причина этого брожения и всех вытекающих из него последствий слишком очевидна для Франции и для всей Европы. Этой причиной является влияние и наглость республиканской партии (с и л ь н ы й р о п о т), которая осуждена принципами новой Конституции и Учредительным Собранием, но кото-

рая имеет на нынешнее Законодательное Собрание влияние, опечаливающее и ужасающее всех тех, кто искренне желает спасения Франции».

Он очень хорошо разгадал план Жиронды сделать Францию республикою при посредстве войны. «После того, как новая конституция об'явила неприкосновенность монархического образа правления, вожаки этой партии непрерывно стараются ниспровергнуть или подорвать основы этого образа правления либо непосредственными предложениями и нападениями, либо последовательным планом уничтожить ее фактически, побуждая Законодательное Собрание присваивать себе существенные функции исполнительной власти или принуждая короля уступать их желаниям возбуждаемыми ими вспышками и теми подозрениями и упреками, которые падают на короля вследствие их проделок.

«Так как они убедились в том, что бо́льшая часть нации противится принятию их республиканской или, лучше сказать, анархической системы, и так как они потеряли надежду на то, что им удастся склонить ее к этой системе, если восстановится внутреннее спокойствие и сохранится внешний мир, то они изо всех сил стараются, чтобы не прекращались смуты и чтобы была вызвана внешняя война».

«...Вот почему, вместо того, чтобы устранять тайные опасения, давно уже возникшие у иностранных держав относительно их темных, но доказанных происков, клонящихся к тому, чтобы соблазнять другие народы, подстрекая их к неповиновению и к мятежу, они замышляют их теперь, до такой степени публично признаваясь в них и прибегая к таким мерам, которые являются беспримерными в истории всех цивилизованных правительств. Они, конечно, рассчитывали на то, что государи должны были бы, наконец, перестать противопоставлять их оскорбительным и клеветническим декламациям равнодушие и презрение, увидав, что Национальное Собрание не только терпит их в своей среде, но и принимает их и предписывает их напечатание. (Продолжительный ропот.)... Несмотря на столь вызывающий образ действия, император даст Франции очевиднейшее доказательство постоянной искренности своей преданности, сохраняя, с своей стороны, спокойствие и умеренность, внушаемые ему его дружеским интересом к положению этого королевства». И в заключение он ограничивается заявлением, что он стал бы защищать имперских князей, если бы они подверглись нападению.

Каков истинный смысл этого документа? К задорным и оскорбительным словам примешивается очевидное старание избежать разрыва. Я сказал, что император больше всего хотел выиграть время; но он хотел этого вовсе не для того, чтобы лучше приготовиться к войне, а для того, чтобы представились шансы мира. Очевидно, пример революционной Франции, тайная и неизбежная пропаганда свободы беспокоят и раздражают его. Однако он не об'являет принципиальной войны Революции, так как он прикрывается великим Учредительным Собранием, провозгласившим права человека и верховную власть нации. В таком случае, почему же, желая мира и все еще надеясь на него, он сказал значительной и влиятельной части собрания много оскорбительных слов? Это, несомненно, вызвано несколькими причинами. Прежде всего, желая мира, император соглашается на войну и начинает считать ее неизбежною: особенно же он желает, чтобы, если война начнется, ответственность за нападение падала на Францию. Поэтому он не очень старается избежать того, чтобы вызвать раздражение умов. Далее он, может быть, воображал, что грубость этого тона произвела бы впечатление, и что левые партии, на которые было там прямо указано, откажутся от своих намерений. Странное игнорирование силы революционного порыва. Кроме того, я полагаю, что, указывая без обиняков на план жирондистов, тех,

кого он называет республиканскою партией, т.-е. на намерение внести посредством внешней войны сильное возбуждение во внутреннюю политику, император желал уведомить короля и королеву, что они неправы, играя с огнем. И он оправдывал таким образом перед миром свою собственную медленность, колебания и осторожность, за которые его так сильно упрекали непримиримые эмигранты и монархисты.

Итак, мир был возможен, но при одном условии, а именно, чтобы революционная Франция проявила в данный момент достаточную ясность ума и твердость для того, чтобы хорошо понять всю истину. Нужно было бы, чтобы министр иностранных дел мог представить Собранию, его дипломатическому комитету, доказательство того, что император в самом деле хотел мира и сопротивлялся двору. Нужно было бы, чтобы дипломатический комитет и Собрание могли доверять этому министру. Но в этом печальном инкубационном периоде войны все было смутно, фальшиво, нелогично: у партий все являлось ложью, предательством, двоедушием, низким притворством, скрытым расчетом. Король и королева изменяли. Они изменяли цинично, но непоследовательно: они то боялись войны, то желали ее, но для того, чтобы вернее спастись с помощью иностранцев. Бывшие члены Учредительного Собрания, желавшие Конституции и мира, вели подозрительные переговоры с двором: они согласились, чтобы их дипломатический мемуар был передан императору чрез посредство королевы, прямодушие которой не могло не представляться им подозрительным. Жирондисты интриговали и старались вызвать войну хитростью.

Они кружились вокруг королевской власти нерешительно и лукаво, порой мечтая ниспровергнуть ее при великом внешнем кризисе, но предоставляя себе также право найти себе место при ней, как победители в старинном доме, и прикрыть свою министерскую власть престижем древней монархии. Наконец, Робеспьер, который мог бы избавить умы от внешнего обольщения лишь великим усилием, клонящимся к внутренней революции, ограничивался тем, что неясным и робким жестом указывал на Тюйльери. Революционная Франция была удивительна, незадолго перед этим, когда она провозглашала Права Человека, свою возвышенную веру в разум, свободу и мир. Она будет удивительна в ближайшем будущем, когда она станет защищать Революцию от угрожающей ей опасности, будущность мира—от адского заговора всех тираний. Но в этот период темного и скрытого подготовления войны все было бы печально и низко, если бы порой не чувствовалось, что в глубине народного сердца пробуждается возвышенная надежда на всеобщее освобождение людей и героический вызов всем убийственным силам.

Собрание выслушало все эти сообщения с тягостным чувством. Сперва оно даже стало аплодировать Делессару, но неудовольствие скоро обнаружилось.

Тотчас же, на вечернем заседании, Руйе указал на то, что, по его мнению, император и министр действовали заодно: «Я мог бы сказать вам,— воскликнул он,—что сам дипломатический комитет, когда министр Делессар сообщил ему эти коварные ответы, рассмеялся ему в лицо, сказав ему: «Не стыдно ли вам за подобные документы, которые будут признаны в Собрании лишь вашим собственным сочинением». (Браво! Браво! Многократные аплодисменты на трибунах.) «...Но разве ему платят за то, чтобы выражать империи опасения нации, чтобы лгать иностранным державам? Свободному народу нечего бояться, он насмехается над теми усилиями, которые могут быть направлены против него. Он хочет и может признавать всех деспотов, которые пожелали бы напасть на него, только побежденными. Но пока мы будем подчиняться таким продажным рукам, как его, нам будут навязывать этот тон. Итак, я доношу на министра иностранных дел и, хотя бы мне пришлось погибнуть жертвою моего патриотизма, я не перестану его пре-

следовать до тех пор, пока закон не решит процесса между обвинителем и обвиняемым». (Браво! Браво! Многократные аплодисменты.)

Итак, пред'явлен обвинительный акт. Продажный человек? Делессар не был таким. Он не изменял Революции в интересах ненавидевшего его двора. Но действовал ли он заодно с императором? Существовало только сходство взглядов. Был такой момент, когда взгляды и надежды умеренных конституционалистов, органом которых являлся Делессар, и взгляды и надежды императора были одинаковы. Делессар и император одинаково желали мира, и, желая мира, оба они надеялись, что руководящая роль в революции не перейдет в руки партии Жиронды, партии войны. Когда Руйе и враги министра говорили, что он продиктовал и редактировал ответ императора, они не вполне ошибались, так как, с одной стороны, письмо, отправленное Делессаром нашему послу в Вене, было очень сходно с мемуаром, пересланным Барнавом, Ламетами и Дюпором императору в первых числах января при посредстве королевы, а, с другой стороны, публичный ответ г-на Кауница во всех чертах походит на мемуар, пересланный императором королеве в ответ на ее мемуар. Именно фельянское направление служит связующим звеном между Тюйльери и венским двором. Император употребляет формулы фельянов. Именно фельяны нарисовали в своем мемуаре изображение того, что они называли «республиканской партией», в выражениях, почти тождественных с теми, которые употребляет Кауниц в документе, прочтенном Собранию.

Но я повторяю, император, нуждавшийся в мире, побуждаемый призывами своей сестры Марии-Антуанетты, надеялся, что события не заставят его вмешаться, и таким образом он вполне естественно согласился с системою конституционалистов, при чем, однако, их нельзя было обвинять в каком-либо предательстве.

Бриссо прежде всего старается подчеркнуть это согласие между фельянами и императором. «Мы увольняем себя,—пишет он во «Французском Патриоте», — от длинного анализа этого ответа, представляющего собою лишь немецкое истолкование наиболее выдающихся мест из наших министерских бумаг. Император совершенно неожиданно выступил в качестве защитника Конституции, но и в этом он сходится с фельянами, и нас удивляет только то, что он не процитировал знаменитого девиза: «Конституция, вся Конституция, ничего, кроме Конституции».

Затем Бриссо с иронией напоминает о нападках императора на народные общества: «Он не скрывает, что, удерживая армию в пассивно-наблюдательном положении, он делает это для того, чтобы помешать этой грозной силе якобинцев ниспровергнуть французскую свободную монархию, к которой он питает столь нежное сочувствие; такова же и цель соглашения, заключенного им с разными державами: подобная лига не представляется излишнею против этой ужасной секты. Понятно, что эти опасения и эти угрозы вызвали сильнейший взрыв хохота: сами сторонники министерства, повидимому, краснели по поводу этих декламаций. Они хотели бы нескольких тирад против республиканцев и якобинцев, но изображать их, как некую силу, — это значило позорить и суфлеров и ученика».

«Нота прусского посла, заявляющего, что его повелитель присоединяется к выводам императора, и что он обязан сопротивляться всякому вторжению в территорию империи, и послание короля закончили эту дипломатическую комедию».

«Король об'являет императору, что он считает несоответствующим достоинству и независимости великой нации обсуждать эти различные пункты, касающиеся внутреннего положения королевства; что он желал бы более категорического и более ясного ответа относительно этого соглашения, заключен-

ного между державами, и что это соглашение совершенно беспредметно, что он требует его расторжения для того, чтобы положить конец этому тревожному состоянию, в котором нация не хочет и не может оставаться. Он предлагает разоружиться, если император удалит часть своих войск».

«Простота и ясность этого ответа, представлявшие поразительный контраст с германской неясностью депеш венского кабинета, вызвали аплодисменты Собрания. Людовик XIV был бы менее терпелив, хотя он и не был королем свободной нации; но свободная нация любит сперва исчерпать хорошие способы действия».

«Каков бы ни был результат этого ответа, друзья народа должны радоваться этому дню».

«Он показал превосходство этой нации, преданной народной анархии. Император повиновался народному желанию, ответив до истечения назначенного ему срока».

«Он был вынужден оправдываться пред народом, к которому относились с презрением».

«Он разоблачил великую тайну интриги, об'единяющей оба кабинета,—венский и тюйльерийский,—ими руководит один и тот же дух, убогий дух нескольких интриганов, которые, чтобы отомстить разоблачившим их людям и обществам, пользуются услугами писателей, преданных королю и министерству, которые оказываются настолько слабыми, что они соглашаются способствовать их низким проделкам».

«Наконец, этот день погубил и дипломатов и репутацию политических кабинетов, считавшихся глубокомысленными. Существует ли что-либо более жалкое, чем эти депеши? Теперь выясняется, почему министры так любят облекаться таинственностью: в ней так нуждаются слабость и невежество. И вот плод шестидесятилетнего опыта: Кауниц одурачен молодыми честолюбцами, очень невежественными и очень бесстыдными! Кауницу приходится бороться против республиканцев и якобинцев! Какая школа для восьмидесятилетнего старика! Такие ошибки не заглаживаются: он показал, на что способны он и его повелитель, и с такими способностями нельзя одолеть великую нацию, желающую своей свободы».

Бриссо торжествует и опьяняется; он парит над Европою. Но сперва его тщеславие, повидимому, идет вразрез с его намерением. Он так гордится тем, что от императора получен ответ на продиктованные им требования, что он на одно мгновение забывает о том, чтобы разжигать войну. Ибо, если, как говорит Бриссо, император уже унижен, то зачем же преследовать его далее и требовать от него более формальных заявлений? Если он предпочел это унижение разрыву, то почему же Революции не позаботиться о сохранении мира, представляющемся возможным?

Если император является игрушкою фельянов, если Барнав, Ламеты и Дюпор управляют им по произволу, то не очевидно ли, что император надеется, оказывая благодаря им умеряющее влияние на внутренние события во Франции, избавиться от пугающего его вмешательства? В таком случае, почему же не итти скорым и непоколебимым шагом по революционному пути, не смущаясь внешним призраком, не стараясь найти в войне пагубной диверсии? Если ответ Людовика XVI прост и искренен, если он заслуживает аплодисментов всего Собрания, то как же будет возможно нападать на королевскую власть? Как же будет возможно нападать также и на министра иностранных дел, составившего

от имени короля этот ответ и получившего от императора поспешный, унизительный для последнего, ответ? Эта статья Бриссо являлась защитою министра, которого через десять дней после этого Бриссо обвинит в измене. Эта статья являлась наилучшею защитительною речью в пользу мира, который Жиронда будет упорно и страстно желать нарушить.

И что значит это кокетничанье с Людовиком XVI, который в это время, на самом деле, оказывался предателем по отношению к нации? Но какое дело было Бриссо до всех этих противоречий? На мгновение он преисполнился тщеславия: он самодовольно говорил себе, что у него было больше гордости, чем у Людовика XIV. Он трепетал от радости по поводу того, что он заставил императора ответить. О, жалкий выскочка, у которого не было революционной гордости и который, казалось, нуждался в том, чтобы Революцию одобрил император!

И что же означает такое умаление своей собственной партии, республиканцев и якобинцев? Они, в самом деле, являлись организованною силою революции. Император не ошибался, констатируя их могущество. Впрочем, якобинцы приняли вызов со справедливою гордостью. Но Бриссо пошло унижал своих друзей для того, чтобы иметь возможность глумиться над императором. Тщеславие без достоинства и интрига без величия.

Однако Бриссо, у которого опьянение ребяческою гордостью на одно мгновение прервало и затемнило политическую мысль, не замедлил понять, что он может извлечь из дня 1 марта двоякую выгоду. Он может раздражить национальную обидчивость и вызвать в народе нервное возбуждение, говоря, что император пожелал вмешаться в наши дела, и что, после его двусмысленного ответа, продолжали существовать мучительные сомнения. Он может также, поразив Делессара, дезорганизовать министерство, устрашить двор и, наконец, взять его под опеку Жиронды.

Он пишет в субботу 3 марта, по поводу того вечернего заседания 1 марта, на котором говорил Руйе:

«Нашлось время подумать о дипломатическом фарсе, сыгранном утром, и, повидимому, выяснилось, что один из главных актеров теперь оказывался суфлером на этом представлении; это был г. Делессар, и на него был сделан формальный донос г-ном Руйе. Г. Шарлье поддержал обвинение и выразил мысль, что следовало об'явить, что министр утратил доверие нации. Дипломатическому комитету поручено рассмотреть конфиденциальную ноту г-на Делессара, посланную нашему послу в Вене, ту ноту, которую можно считать как бы завязкою этой письменной интриги. Впрочем, этот документ будет напечатан, и можно будет судить путем сравнения, не принадлежат ли письма и ответы одному и тому же перу».

Бриссо будет несколько дней собираться с мыслями и приготовлять обвинительную речь, которая, поразив Делессара, вызовет распадение умеренного министерства и расчистит для Жиронды путь к министерской власти. Очевидно, в интересах короля против этой тактики было поддержать министерство, защитить Делессара, удержать Нарбонна и сказать, что один из этих министров был представителем миролюбивой политики, а другой — воинской бдительности. Но в министерстве существовал внутренний разлад вследствие тайного конфликта между Делессаром и Нарбонном, в особенности же вследствие острого конфликта между Нарбонном и реакционером Бертраном. Этот последний, подвергавшийся резким нападением в Собрании, был раздражен погоней Нарбонна за популярностью. Нарбонн делал вид, что он относится с большою предупредительностью к комитетам Законодательного Собрания, к которым Бертран относился пренебрежительно. Морской министр жаловался на то, что Нарбонн вызывал нападки на него в якобинских газетах. И в самом деле, хотя газета Бриссо в первых

числах марта довольно часто нападает на Нарбонна, она всякий раз делает это чрезвычайно осторожно, а «Хроника» Кондорсе хвалит его.

Но король питал доверие только к Бертрану, который все более и более вкрадывался в доверие Людовика XVI и даже оказывал ему частные услуги, добывая для него золотую монету, которую король предпочитал ассигнатам, путем мошеннического предварительного вычета из кассы морского ведомства.

Нарбонн почувствовал, что ему грозит опасность. Он попросил назначенных им генералов, Рошамбо, Люкнера, Лафайета, поддержать его. Они вмешались в дело, написав письма, которые были обнародованы и раздражили короля, и он уволил Нарбонна в отставку.

Бриссо пишет 9 марта: «Король лишил сегодня военного министра, г-на Нарбонна, министерского портфеля. Уверяют, что на его место назначен г. Деграв. Мотивы отставки не вполне ясны. Одни об'ясняют ее интригами министра Бертрана и его сотоварищей, поддерживающих его; другие полагают, что двор ненавидел г-на Нарбонна, потому что, по его мнению, он становился слишком популярным; наконец, некоторые думают, что предлогом послужили письма генералов к г-ну Нарбонну, напечатанные в газетах».

«В этих письмах генералы Рошамбо и Лафайет просят министра не покидать своего поста в такой момент, когда он может оказать столь большие услуги, и уверяют его, что его отставка была бы общественным бедствием. Нельзя было найти лучшего средства для того, чтобы погубить г-на Нарбонна».

«Г-н Нарбонн может упрекнуть себя в одном. Он говорит в своем ответе, что он хотел выйти в отставку, потому что он был несогласен с одним из своих товарищей (г-ном Бертраном), личный характер которого он уважает, но не одобряет, однако, его поведения, как министра».

«Каким образом г. Нарбонн уважает характер человека, солгавшего пред лицом Европы, отрицавшего то, что утверждал король, министром которого он состоит, и беспрестанно обнаруживавшего свою бесстыднейшую недобросовестность?»

Как расстался король таким образом без всяких колебаний с Нарбонном? Начать, по его советам, политику, клонившуюся к ограниченной войне, и дать ему отставку как раз тогда, когда приобретенная им видимая популярность могла защищать двор, было ошибкой, доказывавшей или полное бессилие или полную непоследовательность королевской власти. Это решение короля губило Делессара. Не осмеливаясь открыто порицать решения короля относительно министров, Собрание отомстит, возбудив против одного из министров обвинение в измене. Я не стану подробно разбирать обвинительного акта, пред'явленного 10 марта с трибуны.

В сущности, все аргументы сводятся к одному: «Делессар преступен потому, что он не сделал всего для того, чтобы вызвать войну». Бриссо упрекает его, как за измену, даже за осторожность дипломатических выражений. Он упрекает его, как за измену, за такие слова, за такие позы, к которым еще недавно прибегал сам Бриссо. «Повидимому, — говорит он, — г. Делессар желал скрыть соглашение государей или сообщить о нем лишь как можно позднее; повидимому, он приберегал себе этот новый предмет для об'яснения и для переговоров, чтобы умерить пыл французской нации, горевшей нетерпением напасть и отомстить за нанесенные ей оскорбления».

Искусный министр-патриот усматривал бы в этом соглашении средоточие всех бед, которые могли угрожать Франции. Он настойчиво стремился бы к его расторжению. Наоборот, г-н Делессар не касался этого средоточия и преследовал лишь некоторые разветвления или сборища эмигрантов, владетельных князей».

Но мы знаем, что, на самом деле, этого наступательного союза не существовало. Мы знаем, что Леопольд постоянно старался найти замедляющие средства. И мы припоминаем, что Бриссо незадолго перед этим говорил: «Средоточие зла находится в Кобленце». Он уверял, что император желал мира, нуждался в мире.

Он взвешивает все слова письма Делессара: «Как слабо говорит министр об этом согласии, существование которого было так хорошо доказано, задача которого была столь противоположна интересам Франции. Он говорит: «Выражение— государи, составившие согласие,—произвело чрезвычайно неприятное впечатление; оно было сочтено за признак существования лиги, образовавшейся без ведома Франции, может быть, против нее». Признак! Каким образом столь трусливое, столь преступное выражение вырвалось у министра?»

Итак, Бриссо намерен предать министра верховному орлеанскому суду, потому что выражение признак в дипломатической переписке кажется ему недостаточно сильным.

И еще: «Не было ли старание г-на Делессара проповедывать мир еще более способно вовлечь нас в войну, или, по крайней мере, вызвать унизительные для нас ответы? Прочтите конец его письма: мы хотим мира... Кто не знает здесь, господа, что австрийский министр должен был усмотреть в этих миролюбивых возгласах лишь выражение яростного бессилия и малодушия?.. »

Столь вескими доводами обосновывает Бриссо требование предания суду. Пред'является тринадцать обвинений. Делессар был виновен в том, что «он низко просил мира». Это обвинение № 7. Он виновен еще в том, что «он сообщил австрийскому министерству такие подробности относительно внутренних дел Франции, которые могли внушить неблагоприятное мнение относительно ее положения и вызвать пагубные для нее решения», как будто намекая на волнения, на конфликты, естественно последовавшие во Франции после великого революционного потрясения, — Делессар о чем бы то ни было уведомлял иностранцев.

И в этой софистической обвинительной речи против министра нет ни слова о короле, ни слова о дворе. Это все та же система лицемерия и лжи. В течение нескольких месяцев проворные и боязливые люди извращают совесть Революции. Решено щадить короля. Решено сильно возбуждать национальную страсть для того, чтобы оживить революционную страсть, которую считают ослабевшей. Принять это решение подходить к королевской власти лишь окольными путями, нападать на нее лишь косвенно,—значило осудить себя на то, чтобы лгать, плутовать, и не осмеливаясь сказать народу ту грубую и резкую истину, что нужно решительно поразить королевскую власть и короля, страну доводят до безумия подозрениями, вымыслами относительно измены. Бриссо исчерпывает свои рессурсы, прибегая к плохой диалектике против Делессара, который ограничился тем, что честно выразил миролюбивую политику умеренных, но Бриссо не говорит ни одного угрожающего слова против короля, который изменяет, который предает отечество, но который еще раздает министерские портфели. Однако, если король не изменяет, то в чьих же интересах изменяет Делессар?

Прозвучавший на том же самом заседании 10 марта против Тюильери великий гневный и красноречивый голос Верньо вызывает после всех этих хитростей софиста и педанта чувство облегчения:

«Позвольте мне, господа, высказать одно соображение. Когда Учредительному Собранию предложили установить декретом деспотизм христианской религии, Мирабо произнес следующие слова: «С этой трибуны, с которой я говорю вам, видно то окно, откуда рука французского монарха, которого гнусные крамольники, примешивавшие личные интересы к священным интересам религии, вооружили против его подданных,

выстрелила из аркебузы, что послужило сигналом к Варфоломеевской ночи».

«Ну, что же, господа, в этот момент кризиса, когда отечество в опасности, когда составляется столько заговоров против свободы, я также восклицаю: я вижу с этой трибуны окна дворца, где злые советники вводят в заблуждение и обманывают короля, данного нам Конституцией, куют оковы, в которые они хотят заковать нас, и подготовляют интриги, посредством которых они имеют в виду предать нас Австрийскому дому. Я вижу окна дворца, где замышляют контр-революцию, где придумывают средство, с помощью которого нас можно было бы снова обратить в ужасное рабство, сперва вызвав у нас всякие анархические беспорядки и подвергнув нас всем ужасам гражданской войны. (В зале раздаются аплодисменты.)

«Наступил день, господа, когда вы можете положить конец такой дерзости, такой наглости и, наконец, смутить заговорщиков. Страх и ужас часто исходили из этого знаменитого дворца в прежние времена и во имя деспотизма. Пусть же сегодня они возвратятся туда во имя закона. (Многократные аплодисменты.) Пусть они проникнут там во все сердца. Пусть все обитатели этого дворца знают, что наша Конституция дарует неприкосновенность только королю. Пусть они узнают, что закон поразит там всех виновных без всякого различия, и что ни одна голова, уличенная в преступлении, не могла бы ускользнуть от его меча. Я требую голосования относительно декрета об обвинении». (Оратор сходит с трибуны при неоднократных аплодисментах Собрания и публики.)

Наконец, смелая рука разорвала завесу: было прямо указано на королевскую измену. Революция снова заговорила искренним и могучим голосом. Угроза королеве была ужасна. Обвинительный акт против Делессара был принят. Друзья Марии-Антуанетты испугались за нее.

Ферзен отмечает это в своем дневнике 23 марта: «Возвращаясь, я застал у себя Гогела. Он проехал через Калэ, Дувр и Остенде. Он выехал неделю тому назад. Их положение (короля и королевы) внушает ужас. Депутаты говорили: «Делессар выпутается, но королева не выпутается». Двое других, на террасе фельянов, сказали, говоря об от'езде короля: «Эти люди не уедут; вы это увидите».

Он же пишет 18: «Кавалер де-Куаньи передавал проект якобинцев заточить королеву в монастырь или отвезти ее в Орлеан для того, чтобы поставить ее на очную ставку с Делессаром».

Страх и ужас в самом деле вошли во дворец во имя Революции.

И почти в тот же самый момент, как будто для того, чтобы двор впал в мрачное уныние, пришло известие о смерти императора Леопольда. Газета Бриссо пишет 11 марта: «Смерть императора уже не подлежит сомнению; о ней было официально об'явлено. Эта смерть изменяет всю политическую систему Германии. Это известие и известие о возбуждении обвинения против г-на Делессара вызвали уныние в дворце».

По правде говоря, Бриссо преувеличивал доверие двора к императору. Непримиримые друзья Марии-Антуанетты, абсолютисты, не очень жалели о смерти медлителя, беспрестанно откладывавшего войну и желавшего примирить французскую королевскую власть и Революцию.

Ферзен пишет в четверг, 8 марта, в Брюсселе: «Викопт де-Верак, епископ и многие лица полагали, что это изменит все и все замедлит, вызовет промедления. Я не был этого мнения, я доказывал им это, и я знаю, что барон де-Бретейль был моего мнения. Тогда я решился написать королеве мое мнение относительно этого».

И на следующий день: «Генералы не выражают ни малейшей печали, но почти противоположное. Тугут сказал барону, что он был очень обрадован этим. В городе это не произвело никакого впечатления: офицеры были даже довольны этим».

Но хотя королева, из-за своих намерений относительно вооруженной контрреволюции, была недовольна своим братом, его внезапное исчезновение делало, если я могу так выразиться, неизвестность еще более тягостною.

Во всяком случае, система фельянов, рассчитывавших вместе с Леопольдом на установление умеренного режима и на мир, рушилась как за границей, благодаря смерти императора, так и во Франции, благодаря обвинению, возбужденному против Делессара.

Людовик XVI и Мария-Антуанетта были поставлены в безвыходное положение и поражены ужасом; у них оставалось лишь одно средство—призвать к власти жирондистское министерство. Они решились на это, и в марте 1792 года Жиронда достигла власти. Это был огромный революционный шаг.

Каковы бы ни были опрометчивость и честолюбие жирондистов, они являлись представителями революционного духа, готового усмирить всех мятежников из дворянства и из духовенства во Франции, готового вызвать на бой всех сговорившихся тиранов за границей, всех тех, которые угрожали новой свободе, а также всех тех, которые хотели ее ограничить.

В то время как изменническая королевская власть безумствует и предает, волонтеры идут тысячами к границе; на своем пути они выражают Собранию, которое на мгновение прекращает свой шум и свои раздоры, чтобы приветствовать их, свою готовность пожертвовать жизнью. Непричастные ни к каким интригам, они, не зная, что воинственные крики Жиронды были не вполне естественны, и будучи убеждены в необходимости и в святости революционной войны, готовятся сражаться, победить или умереть и, освобождая себя, освободить мир.

ДОСТИЖЕНИЕ ВЛАСТИ ЖИРОНДОЮ.

На самом деле, даже в это время, даже в марте 1792 г. жирондистская и якобинская партия не имели большинства в Законодательном Собрании. Но фельяны, умеренные, погубили себя в течение нескольких месяцев своею бездарностью, своим непостоянством, своею неспособностью понять Революцию. В делах, касающихся внешней политики, они не изменяли, они не советовали измены, но они согласились быть советниками двора, который изменял.

Некоторые из них, отстраненные от политической деятельности законом, согласно которому члены Учредительного Собрания не могли быть вновь избираемы, прибегали к тайным действиям, при чем, однако, их сношения с двором вовсе не оказывались настолько тайными, чтобы ускользнуть от взоров недоверчивой Революции; они были достаточно таинственны для того, чтобы подать повод ко всяким подозрениям и чтобы вызвать легенду (наполовину верную) об австрийском комитете.

По отношению к вопросу о войне они были так же лукавы и вели себя так же двусмысленно, как и Жиронда, но у них было гораздо менее последовательности и проницательности.

Жиронда могла говорить двусмысленно и обманывать. Она могла вовлекать в большую войну, которая имела бы характер пропаганды, сперва, повидимому, предлагая всего лишь своего рода полицейскую экспедицию против эмигрантов. Она хорошо знала, что, раз начавшись, война развивалась бы в силу своей ужасной логики.

Наоборот, фельяны или, по крайней мере, некоторые из них предавались бессмысленной надежде на то, что они могли бы безопасно начать войну, что

они по произволу руководили бы ею и ограничили бы ее, и что они воспользовались бы ею для упрочения королевской власти. Они сами пускали в ход ужасную машину, которая должна была раздавить их.

Такое же ослепление, такая же слабость обнаруживалась и во внутренней политике. Они не поняли, что их могли спасти только энергические меры, принимаемые для подавления контр-революции, так как, усилившись внутри страны, Революция гораздо менее соблазнялась бы мыслью о том, чтобы искать диверсии за границею; а примирение между преобразованной королевской властью и Революцией было возможно лишь при сохранении мира.

Они уничтожили действие декретов против бунтующих священников, а внушенная ими попытка парижской Директории дала Людовику XVI возможность противопоставить свое veto законам против мятежных священников.

На юге, в Арле, в Авиньоне, в Марселе они действовали медленно и вяло и, не поддержав во-время патриотов, которым угрожали дворяне и паписты, они допустили на юге кровавую анархию. Солдаты полка Шато-Вьэ, осужденные после событий, происходивших в Нанси, возбуждали живую симпатию революционеров. Бегство в Варенн разоблачило интриги Буйлье против Революции, и таким образом они представлялись мучениками. Мысль о том, чтобы избавить их от каторги и устроить им блестящий прием в Париже, должна была, естественно, возникнуть у друзей свободы. Фельяны с непонятным ожесточением воспротивились этому освобождению и этому торжеству, а великий поэт Андрэ Шенье, являвшийся лирою фельянов, исчерпал свое вдохновение, осмеивая и оскорбляя освобожденных солдат и их друзей в своих блестящих язвительных ямбах. Жалкая и неразумная политика! Наконец, фельяны, так сказать разойдясь таким образом с Революцией и с каждым днем все более и более утрачивая революционное чувство, вообразили, что революционное и демократическое движение являлось искусственным, что его поддерживали одни только клубы. И они направили против якобинцев бессмысленную полемику, которая раздражала и в то же время возвышала их. Именно они побудили австрийского императора сказать, что все «излишества» Революции исходили из клуба, помещавшегося на улице Сент-Онорэ. Один умеренный депутат, Муйссе, даже потребовал, чтобы зал заседаний Собрания был открыт по вечерам для депутатов, которые пожелали бы неофициально совещаться. Это значило основать против якобинского клуба своего рода легальный клуб, как мы выразились бы теперь, парламентский клуб. Были даже предложены карательные меры против депутатов, которые не явились бы на заседание Собрания и присутствовали бы на заседании клубов.

Придумывая эти жалкие полицейские ухищрения, умеренные, примкнув в то же время по расчету к плану войны, мало-по-малу утрачивали всякую способность к сопротивлению. Если бы они откровенно с самого начала явились партией мира, то они могли бы поставить Жиронду в очень затруднительное положение. Они могли бы использовать против нее жалобы Робеспьера. Поддерживая Нарбонна, они сами лишили себя возможности серьезно говорить о мире; они допустили возникновение боевого и лихорадочно-возбужденного настроения, при котором зарождались всякие подозрения, и среди них с трудом нашлось несколько человек, отваживпихся вяло защищать Делессара против обвинительного акта, составленного Бриссо, который, однако, являлся столь софистическим. Ни у одного из них не нашлось мужества напомнить Бриссо, что сам он не раз говорил о миролюбивых намерениях императора в тех же выражениях, за которые он теперь упрекал Делессара, как за преступление. Итак, несмотря на силу, еще оставшуюся у них, благодаря их многочисленности в Законодательном Собрании, фельяны не имели в марте действительного влия-

ния. Жиронда, смелая и возбуждаемая революционным вдохновением, должна была восторжествовать.

Король, растерявшийся после распадения министерства вследствие ссоры Нарбонна и Бертрана, возбуждения обвинения против Делессара и смерти императора, искал в жирондистском министерстве не спасения, а нескольких месяцев передышки. 16 марта король сообщил Законодательному Собранию, что он назначил де-Лакоста морским министром и Дюмурье—министром иностранных дел. Впрочем, как будто для того, чтобы засвидетельствовать упадок королевской власти, Дюмурье предварил его и за несколько часов до этого сам непосредственно уведомил Собрание. Де-Грав уже несколько дней был военным министром. 24 марта король сообщил Собранию, что он назначил Клавьера министром финансов или, как тогда выражались, общественных сборов, а Ролана де-ла-Платьера—министром внутренних дел.

И на этот раз король прислал депутатам сообщение, в котором указывал основания для своего выбора. Это — признание человека, ставшего безвольным и плывшего по ветру и по течению, человека, независимость которого сводится к тайному предательству:

«Господа, будучи глубоко тронут бедствиями, постигшими Францию, и выполняя возлагаемую на меня Конституцией обязанность заботиться о поддержании порядка и общественного спокойствия, я не переставал применять все те средства, которые она предоставляет в мое распоряжение, чтобы восстановить порядок и заставить исполнять законы. Я избрал своими главными доверенными людей, заслуживших этого, по указанию общественного мнения и вследствие честности их принципов. Они покинули министерство; тогда я счел своею обязанностью заменить их другими, известными своими популярными мнениями. Вы так часто заявляли мне, господа, что эта партия является единственною, которая могла бы прекратить нынешние бедствия, что я счел своим долгом вверитъся ей для того, чтобы у недоброжелательных людей не оставалось никаких способов возбуждать недоверие к моему постоянному и неизменному желанию применять всевозможные средства для того, чтобы осчастливить наше отечество. Вследствие этого я сообщаю вам о сделанном мною назначении г-на Ролана де-ла-Платьера министром внутренних дел и г-на Клавьера министром общественных сборов».

Закон, изданный Учредительным Собранием, не разрешал депутатам быть министрами. Итак, министрами приходилось назначать лиц, не принадлежавших к числу членов Законодательного Собрания, и наиболее выдающиеся вожди Жиронды не могли лично войти в состав правительства. Но, конечно, двор произвел свой выбор под влиянием Бриссо, которому помогал ловкий Дюмурье. Со вторника 13 марта Бриссо открыто выставлял в своей газете кандидатуру Дюмурье на пост министра иностранных дел: «Люди, желающие энергии, познаний и патриотизма, хотели бы видеть на этом месте г-на Дюмурье».

В четверг 15 числа, прежде, чем новое назначение стало официальным, «Французский Патриот» пишет: «Утверждают, что патриот Дюмурье назначен министром иностранных дел. Никогда министр не находился в условиях, столь благоприятных для проявления своих талантов и своих гражданских добродетелей. Конечно, г. Дюмурье не забудет, что он дорог патриотам, и будет помнить об этом лишь с мыслью, что они окажутся для него тем более строгими судьями, что их желания призывали его на то место, которое он займет; он будет помнить, что та строгая ответственность, которой он подвергнется, будет соответствовать проявленному им патриотизму».

Эти заявления устанавливали солидарность между Дюмурье и Жирондою. Бриссо и Дюмурье отправятся к Ролану, чтобы побудить его войти в состав министерства. Г-жа Ролан сообщает нам это в своих «Мемуарах»: «Между тем

некоторые депутаты Законодательного Собрания иногда собирались у одного из них, жившего на Вандомской площади, и Ролан, которого уважали за его патриотизм и познания, был приглашен бывать там; дальность расстояния отбивала у него охоту к этому; он очень редко являлся туда. Один из наших друзей, часто бывавший там, дал нам знать около середины марта, что испугавшийся двор старался, очутившись в затруднительном положении, сделать что-нибудь такое, что доставило бы ему популярность: что он был бы не прочь назначить министрами якобинцев, и что патриоты заботились о том, чтобы его выбор пал на серьезных и способных людей; это было тем более важно, что даже и это могло оказаться ловушкою со стороны двора, который не огорчился бы, если бы его побудили назначить таких вздорных людей, что он был бы в праве на них жаловаться или над ними насмехаться. Он прибавил, что некоторые лица подумали о Ролане, положение которого в ученом мире и его известные справедливость и твердость свидетельствовали об его постоянстве. Тогда Ролан часто посещал общество якобинцев и работал в их комитете корреспонденции. Эта мысль показалась мне несбыточною и не произвела никакого впечатления на мой ум.

«21 числа того же месяца Бриссо однажды вечером пришел повидаться со мной и повторил мне то же самое в более положительной форме, спросив, согласился ли бы Ролан возложить на себя это бремя; я ответила ему, что когда я поговорила с ним об этом после того, как было сделано первое предложение относительно этого, мне показалось, что, принимая во внимание трудности и даже опасности этого, это не представлялось несоответствующим его усердию и его активности; что, однако, следовало рассмотреть это обстоятельнее. Мужественный Ролан не устрашился; сознание своих сил внушало ему надежду на то, что он будет полезен свободе, отечеству, и этот ответ был передан Бриссо на следующий день.

«В пятницу 23 числа, в одиннадцать часов вечера, он пришел ко мне вместе с Дюмурье, который, выйдя из Совета, уведомил Ролана об его назначении министром внутренних дел и приветствовал своего товарища. Они оставались четверть часа; назначили свидание на следующий день для того, чтобы принести присягу. «Вот человек,—сказала я своему мужу, когда они удалились, говоря о Дюмурье,—которого я только что видела в первый раз, у которого проницательный ум, обманчивая наружность и к которому, может быть, придется относиться с бо̀льшим недоверием, чем к кому бы то ни было во всем мире. Он выразил большое удовольствие по поводу того патриотического выбора, об'явить о котором ему было поручено, но я не удивилась бы, если бы он когда-либо вызвал твою отставку». В самом деле, при одном этом беглом взгляде на Дюмурье для меня обнаружилось такое значительное разногласие между ним и Роланом, что мне не казалось возможным, чтобы они долго действовали заодно. С одной стороны, я видела само прямодушие и искренность, суровую справедливость, совершенно чуждающуюся тех средств, к которым прибегают придворные; другой показался мне очень остроумным повесою, отважным кавалером, должно быть, презирающим все, кроме своих интересов и своей славы».

Это первое жирондистское министерство являлось в действительности министерством Бриссо—Дюмурье, хотя лично Бриссо и не вошел в состав Совета. Преимущественно же это было министерство Дюмурье. Ловкий и обворожительный авантюрист, воин и дипломат должен был сыграть решающую роль при образовании нового правительства. Может быть, он даже внушил и мысль об этом правительстве. Он мог лучше, чем кто бы то ни было, служить посредником между Жирондою и двором.

С одной стороны, он очень недавно засвидетельствовал свою преданность Революции в Вандее и он познакомился там с Жансоннэ, посланным туда в конце 1791 г. в качестве комиссара, производящего расследование; он продолжал под-

держивать с ним дружеские отношения и, несомненно, благодаря ему, он вошел в тесную связь с группою жирондистов. С другой стороны, он не прекращал сношений с двором; в железном шкапу был найден составленный им в конце 1791 г. мемуар относительно политического положения, адресованный королю. Одно время он имел столько же шансов стать военным министром, как и Нарбонн, и у него, конечно, остались пути для сношений с королем и с его приближенными. К тому же двору казалось менее унизительным довериться на время или, повидимому, довериться блестящему военному с манерами кавалера старого режима, чем адвокатам или журналистам, так резко обличавшим королевскую власть.

И когда 15 февраля король уведомил Дюмурье, бывшего тогда генерал-майором двенадцатой дивизии в Вандее, об его производстве в генерал-лейтенанты и послал его в северную армию, он, конечно, не жалел о том, что повысил чином человека со связями, который мог оказаться полезным.

В продолжение нескольких месяцев, проведенных им в Вандее для усмирения смут, для защиты патриотов, Дюмурье вполне обнаружил свой характер внимательным наблюдателям. Хотя ему было пятьдесят пять лет, он отличался изумительною духовною и телесною активностью, энергией, свойственной молодости, какой-то бодрою развязностью, казалось, делавшею легким всякое бремя, необыкновенною ясностью мысли и резко выраженным эгоизмом, не смущавшимся никакими предрассудками и не стеснявшимся ни одним твердым убеждением. Он не был привязан к непризнававшему его старому режиму никакими узами признательности и не был привязан ко двору чувством жалости или рыцарства. Но он вовсе не желал уничтожения королевской власти и, как мне кажется, он предпочитал такое сложное и переменчивое состояние, при котором демократия примешивалась бы к королевской традиции и интрига двора перепутывалась бы с интригою клуба, потому что он считал себя, более чем других, способным выдвинуться, возвыситься при таких осложнениях.

Ему казалось, что чистая демократия и чистая монархия, чрезмерно упрощая проблему, увеличивали, в ущерб ловким людям, число людей, способных ее разрешить. Не питая к королю и к королеве почтительной жалости, он не относился и к Революции с фанатическим и глубоким уважением; он любил в ней только новую, свежую силу, со всех сторон приводившую в движение оставшуюся без применения энергию. Мерсье дю-Роше в неизданных мемуарах, из которых Шассен приводит очень интересные выдержки, передает один разговор с Дюмурье в сентябре 1791 г. в Вандее, который удивительно хорошо характеризует его:

«Дюмурье повел нас поужинать у него в доме Данфе, находившемся на лугу...; ужин был прост и завязался оживленный разговор. Очень хитрый, очень распутный генерал рассказал нам свои приключения при старом режиме, говорил нам о своем заключении в Бастилии и обещал нам, что он принудит к послушанию всех недоброжелательных людей. Он прибавил, что между тем как у парижских якобинцев одобряли его поведение, в нантском клубе его называли аристократом, потому что он приказал выпустить на свободу дворян, заключенных в замке этого города, и что этого рода насилия ему вовсе не правились, хотя он был заклятым врагом контр-революционеров.

«Он говорил нам о Революции, о короле, о Национальном Собрании с легкомыслием французского военного; он сказал нам, что это Собрание являлось уже лишь старою блудницею, которую следовало поспешить выпроводить. Это было верно во многих отношениях. Он говорил нам о своих друзьях, он говорил нам о своем зяте (маркизе д'Ован де-Перри, который женился на его сестре).

«У него был еще и шурин, граф, а именно Ривароль, сестра которого жила с ним. Она, конечно, находилась в его доме; но она была молода и красива, а ему было пятьдесят четыре года, и так как все мы, его гости, были моложе его, то он

решил, что нам не следует ужинать с его любовницей. Он пожинал лавры на Марсовом поле и боялся, чтобы кто-нибудь из нас не похитил у него его миртов».

Его образ действий в Вандее было решителен и искусен. Он открыто сближался с патриотами; в городах он приветствовал речами общества якобинцев; он часто устраивал гражданские празднества, принимая участие в хороводных плясках, происходивших вокруг пышно иллюминованных алтарей отечества. Таким образом он снискал доверие патриотов, он советовал им благоразумие, умеренность: «Будем думать, что если еще появляются мятежники, то они французы, введенные в заблуждение фанатизмом и предрассудками... Будем строги, как закон, заставляющий нас действовать; но не будем ни жестоки, ни несправедливы».

Он говорил с солдатами языком Революции: он сказал 51-му полку, прибывшему из Ла-Рошели в Люсон: «Военный является гражданином; его первый долг по отношению к отечеству состоит в том, чтобы защищать свободу. Следовательно, если ему приходится выбирать между исполнением приказов начальника, повелевающего ему посягнуть на эту свободу, и требованиями своей совести, в качестве французского патриота, он не оказался бы противящимся закону, не повинуясь своему начальнику. Поэтому нужно, чтобы во главе армии стояли только генералы-патриоты».

И он прибавил, обращаясь к начальникам: «Я приказываю вам позволить солдатам посещать народные общества». В Фонтенэ национальная гвардия вышла навстречу отряду: оба войска смешались и прошлись по городу, распевая Ça ira.

Эти подробности были сообщены центральному обществу якобинцев и усилили популярность Дюмурье; в то же время он пользовался своим революционным влиянием на войска для того, чтобы удерживать их от грабежей, от насилий. Ему были хорошо известны черствость, жестокость, ужасный эгоизм, свойственные вандейской контр-революции. Собственно говоря, волнения крестьянского населения вызывались не религиозным фанатизмом или, по крайней мере, они вызывались фанатизмом, вызываемым более привычкою, чем верою. Оно восставало из ненависти к новой цивилизации, более активной, более свободной, более смелой, которая, обеспечивая права, готовилась, однако, возлагать и обязанности. В сущности, эти вандейские крестьяне хотели бы прозябать при сохранении своих неподвижных привычек, подобно растениям в пруду. Они боялись движения, новизны, жизни. Налоги были им не желательны; они не хотели носить оружие и, не питая очень сильной склонности к старому режиму, они предпочитали вновь подчиниться ему, но не делать кратковременных затрат, требуемых Революцией, проявляя мужество, принося жертвы, обнаруживая активность. В феврале 1792 г. Эпесский муниципалитет писал Дюмурье: «Наш патриотизм заключается в труде и в любви к миру, и всякий, кто приносит его нам, является для нас богом. *Мы платим воинам за то, чтобы они защищали наши деревушки, и тот, кто оторвал бы нас от наших сох для того, чтобы вооружить нас, являлся бы злодеем в наших глазах. Однако наши окрепшие тела вовсе не изнежены и не слабы; мы сознаем свою невиновность и свою силу, и если бы мы вооружились своими косами, в чем нас обвиняют, мы сумели бы внушить к себе уважение. Народ является кротким, как ягненок, и сильным, как лев, а если бы он вышел из себя, он проявил бы жестокость тигра*».

Итак, Дюмурье был предупрежден и он знал все силы дикой рутины, которые на Западе могли разразиться против Революции. Многие его речи в эту эпоху свидетельствуют о том, что он не обманывался относительно того, как велика была опасность, но он умел искусными личными обращениями к наименее замешанным в смутах приходским священникам, своею приветливостью, своим

искусством разъединять интересы и успокаивать самолюбия, смягчать и устранять столкновения. Такую же тактику, искусную и пронырливую, отважную и соблазнительную он собирается применить ко всей Революции.

После того, как он привлек к себе Бриссо и Жиронду, он прежде всего отправился к якобинцам. Он явился туда в понедельник 19 марта. Присутствие министра-«патриота» в клубе было большою новинкою. А так как это был министр иностранных дел, то каким резким ответом являлось это на сообщения императора и Кауница, в которых содержался донос на якобинцев.

Они пришли в восторг от этого. Дюмурье взошел на трибуну и по обыкновению, принятому несколько дней тому назад ораторами общества, он надел красный колпак. Он проявлял высшее изящество, не делая шагов, внушенных ему политическими соображениями только наполовину.

«Братья и друзья, — сказал он, — каждый момент моей жизни будет посвящен исполнению воли нации, и я оправдаю выбор, сделанный конституционным королем. Я выкажу в переговорах все силы свободного народа, и эти переговоры скоро приведут или к прочному миру или к решительной войне. (Аплодисменты.) А в таком случае я сломаю свое политическое перо и вступлю в ряды армии, чтобы победить или умереть свободным вместе со своими братьями. На мне, о, братья, лежит великое и тяжелое бремя; я нуждаюсь в советах, вы будете подавать мне их в ваших газетах, я прошу вас высказывать мне правду, самые суровые истины. Но отвергайте клевету и не отталкивайте от себя ревностного гражданина, которого вы всегда знали таким». (Аплодисменты.)

Робеспьер высказал несколько оговорок: «Я заявляю г-ну Дюмурье, что он не найдет среди членов этого общества ни одного врага, но большую поддержку и защитников до тех пор, пока явными доказательствами своего патриотизма, а главное, действительными услугами, оказываемыми народу и отечеству, он будет доказывать, как он возвестил счастливыми предзнаменованиями, что он является братом хороших граждан и ревностным защитником народа. Я не стану бояться, что присутствие какого бы то ни было министра повредило бы этому обществу, но я заявляю, что когда в этом обществе министр имел бы больше влияния, чем хороший гражданин, постоянно отличавшийся своим патриотизмом, тогда он вредил бы обществу, и я клянусь именем свободы, что этого не будет, что оно всегда будет ужасом тирании и опорою свободы».

«После этого, — отмечает протокол якобинцев, — г. Дюмурье бросился в объятия г-на Робеспьера. Общество и трибуны, считая эти объятия предзнаменованием согласия министерства с народною любовью, приветствуют это зрелище самыми громкими аплодисментами».

Не было сделано ни одного принципиального возражения против вступления патриотов, якобинцев (Ролан был секретарем общества) в министерство, составленное королем. По правде говоря, «друзья Конституции» не могли противиться применению Конституции, предоставлявшей королю право выбирать министров. До тех пор Собрания постоянно воздерживались даже от того, чтобы казалось, что они контролируют назначения министров, производимые королем. Он мог назначать и увольнять их по своему усмотрению, и революционный характер движения, вызванного отставкою Неккера, которая, впрочем, предшествовала Конституции, не может служить признаком существования противоположного обыкновения: даже тогда Учредительное Собрание заявляло, что оно отнюдь не имело в виду оказывать давление на королевскую волю. По правде говоря, парламентский режим еще не возник.

Министры даже в 1792 г. в гораздо большей степени являлись служителями короля, чем органами большинства: они были ответственны; против них можно было возбудить обвинение, как это было сделано незадолго до того против Делессара. Но эта ответственность не простиралась на действия, в которых они

являлись лишь орудиями королевской прерогативы. Поэтому, когда министры передавали Собранию отказы короля утвердить его постановления, в Собрании не подымалось ни одного голоса, который спросил бы министров: почему же вы соглашаетесь передавать отказы утвердить такие декреты и законы, которым представители нации придают величайшее значение? Показалось бы, что жаловаться на министров за то, что они передают veto, значило бы посягать на самое veto и уничтожать конституционное право короля, лишая его средств для осуществления этого права.

Однако когда, поставленный в безвыходное положение, король был вынужден назначить министрами уже не роялистов, вроде Бертрана, уже не монархистов, вроде Делессара, даже уже не умеренных конституционалистов, вроде Дюпор-Дютертра и Кайе де-Жервилля, а таких патриотов, демократов, якобинцев, как Дюмурье и Ролан, неясно почувствовалось, что в отношениях между министерством и королем произошла некоторая перемена. Предвидели, что новые министры не могли бы уже играть по отношению к королевской прерогативе такую же пассивную роль, как их предшественники, что они непременно расширили бы пределы своей ответственности: в этом проявляется как бы первый набросок, как бы первый проблеск парламентского режима.

Я нахожу признак, свидетельствующий об этой работе мысли, в статье О новых министрах, напечатанной в нумере от 24—31 марта в еженедельнике «Парижские Революции».

«Мы часто говорили, что существенный недостаток французской Конституции заключался в том, что она не опирается на непреложные основы, а поддерживается лишь предполагаемою честностью исполнительной власти и ее уполномоченных. Мы имеем дело с печальными последствиями этого с 14 июля 1789 г., в особенности же с тех пор, как конституционный акт был принят Людовиком XVI. Господа Дюпор, Бертран, Дюпортэль, Монморэн и т. д. вызвали народное бедствие, потому что они не пожелали быть честными людьми. Из этого вытекают два вывода, которые покажутся очень странными: во-первых, что Конституция, поскольку дело идет о правительстве, не представляет почти никакого преимущества по сравнению с деспотизмом; во-вторых, что нынешние министры тем не менее могут, если они этого хотят, немедленно осчастливить отечество.

«Выясним эти мнимые парадоксы. Народ выбирает своих должностных лиц, своих судей, своих представителей; представители народа заинтересованы в том, чтобы поддерживать и защищать народное дело, которое является их делом, и они поддерживали бы его, в силу своего личного интереса, если бы они не находили еще более выгодным для себя изменять ему; какой же посторонний интерес совращает с пути часть народных представителей? Дело в цивильном листе, в должностях по назначению исполнительной власти; следовательно, законодательный корпус непременно оказывался бы чистым, если бы исполнительная власть располагала лишь умеренным вознаграждением и не назначала ни на какие общественные должности.

«Раз доказано, что только влияние исполнительной власти может побуждать Законодательный Корпус к мерам, противным народному благу, равным образом доказано и то, что Конституция опирается лишь на предполагаемую честность главы исполнительной власти; потому что, если Законодательный Корпус не подкуплен, его декреты будут благотворны и справедливы, народ будет хорошо управляем всякий раз, когда эти самые декреты будут точно выполняться, а они будут точно выполняться, если исполнительная власть нисколько не заинтересована в том, чтобы они не выполнялись; но если исполнительная власть заинтересована в том, чтобы законы не выполнялись, она не будет выполнять

их, и что бы ни делалось, что бы ни декретировалось, ход машины от этого не улучшится и ее работа не станет производительнее.

«Из этого можно с уверенностью заключить, что, так как король неприкосновенен, и никто не в праве требовать от него отчета по поводу его бездеятельности или по поводу его действий, революция оказывается почти недейственною, если он упорно остается на месте и беспрестанно противится ходу революции.

«Из вышеизложенного вытекает, что на самом деле, народ, имеющий такой образ правления, при котором король неприкосновенен и никакими способами нельзя заставить его действовать, не более свободен, чем те народы, у которых воля короля является высшим законом; так как не существует различия между таким положением дел, при котором приходится подчиняться воле постороннего лица, и таким, при котором приходится отдавать распоряжение лицу, имеющему право не повиноваться им. Если представители Франции не могут надеяться на счастье государства без содействия короля, то государство оказывается не более счастливым и не более свободным, чем в том случае, если бы его счастье и его свобода зависели только от короля; однако король не может действовать единолично, он не может отдавать никаких приказов без содействия министров, а поэтому ясно, что сумма добра или зла, проистекающая из действий правительства, всегда будет зависеть от воли министров, которые отнюдь не обязаны во что бы то ни стало оставаться на своих местах и должны уметь отказываться от них в случае надобности. Именно в этом смысле мы и сказали, что если нынешнее министерство настолько благонамеренно, как мы в праве ожидать, оно будет иметь возможность дать народу такое счастье и свободу, которые будут продолжаться до тех пор, пока королю угодно будет сохранить их».

Демократы правильно указывали на существенное противоречие в Конституции. Она постановляла, что все власти являются выборными, кроме одной лишь верховной власти. Закон вотировался выбранными представителями нации; но глава исполнительной власти, навсегда являвшийся неприкосновенным и неответственным, мог или посредством veto на годы отсрочить действие закона или, назначая исполнителями закона лиц, проникнутых контр-революционным духом, уничтожить его действие и извратить его.

На деле это противоречие, теоретически неразрешимое, могло бы быть разрешено, если бы монархия поняла новые времена, если бы она честно приняла новую Конституцию. Но в этой Конституции таился скрытый враг, раз'едавший ее, так сказать, изнутри. Пусть король будет вынужден назначить министрами демократов, якобинцев, решительных революционеров, и тогда скрытый конституционный кризис непременно разразится. Или же министры, служители королевской власти, заставят ее действовать заодно с Революцией или, заставив короля уволить их, они сделают для всех очевидным, что Революция и монархия по существу дела несовместимы. Благодаря этому образование жирондистского министерства имеет революционный смысл.

Дюмурье поспешил, согласно своему обещанию, выяснить внешнее положение. Он уже давно был противником союза с Австрией. При старом режиме многие сожалели о том, что был заключен договор 1756 г., приписывали ему все несчастья Франции в Семилетней войне и желали иной группировки держав.

Революционные события представлялись Дюмурье превосходным поводом для осуществления этой дипломатической мысли. Бороться против Австрии, вести переговоры с Пруссией—таков был его план, отчасти совпадавший с планом Бриссо, но вытекавший из совершенно другой мысли и клонившийся к совершенно иной цели. Когда от князя Кауница потребовали дополнительных об'яснений, он повторил 18 марта свои прежние соображения и утверждал, что они соответствуют взглядам нового короля Франца II. Дюмурье отправил в Вену послание, долженствовавшее потребовать решительного обещания отказаться от конгресса государей.

Князь Кауниц ограничился в краткой ноте от 7 апреля ссылкой на свое сообщение от 18 марта, а после этого Дюмурье посоветовал Людовику XVI об'явить войну «королю Богемии и Венгрии». Король, поставленный в безвыходное положение, испуганный и к тому же надеявшийся, что война представила бы конгрессу государей повод проявить себя, согласился предложить Собранию войну, согласно с Конституцией.

Король прибыл в Собрание 20 апреля. Дюмурье прочел мемуар, в котором он доказывал необходимость войны и повторял жалобы, много раз изложенные Бриссо. «Король взволнованным голосом, — говорится в протоколе, — произнес следующие слова: Вы только что выслушали, господа, результат тех переговоров, которые я вел с венским двором. Заключения доклада выражают единогласное мнение членов моего Совета. Я и сам принял его; оно согласно с неоднократно из'явленным мне желанием Национального Собрания и с чувствами, выраженными мне множеством граждан из различных частей государства. Все предпочитают войну дальнейшему унижению французского народа и беспрестанным угрозам национальной безопасности.

«Я должен был предварительно исчерпать все средства, клонившиеся к сохранению мира; сегодня я предлагаю Национальному Собранию, на основании Конституции, войну с королем Богемии и Венгрии».

Только один депутат Беккей попытался воспротивиться этому.

Война была решена огромным большинством голосов на заседании 20 апреля. Готовилось громадное столкновение между старым монархическим и феодальным миром и демократической Революцией. Тогда никто из голосовавших за войну не предвидел ее громадности и продолжительности. Они или думали, что она ограничится Австрией, или воображали, что возбуждение в мире революционного духа в несколько дней согнет старые силы, подобно тому, как трава гнется и блекнет от бурного ветра. Но у революционной Франции была такая сила страсти, такая пылкая гордость свободою, что даже если бы она могла точно рассчитать, как велика начатая ею борьба, она не отступила бы. Только показывавшийся на горизонте призрак военного деспотизма, может быть, заставил бы ее поколебаться. Горячность и сияние энтузиазма скрывали от нее опасность.

Замечательный и в самом деле драматический факт! В тот момент, когда Людовик XVI вошел для того, чтобы предложить Собранию об'явление войны, на трибуне был Кондорсе, и он развивал удивительный и широкий план народного образования.

Как мы видели, Кондорсе верил в необходимость войны; но он старался ограничить ее, и можно было бы сказать, что он пытался заранее занять кругозор великолепными мирными проектами.

Такой план народного образования, как тот, который он излагал, в самом деле, предполагал мир. Он предусматривал быстрое расширение предложенных

первоначальных мер и говорил: «Можно было бы упрекнуть нас за то, что мы слишком сузили пределы образования, даваемого всем гражданам, но необходимость довольствоваться одним учителем для каждого учебного заведения, необходимость устраивать школы поближе к детям, то, что дети из бедных семейств могут уделять на учение лишь небольшое число лет, принудили нас ограничить это первоначальное образование узкими пределами; их легко будет расширить, когда, благодаря улучшению положения народа, более равномерному распределению богатств, которое явится необходимым последствием хороших законов, улучшениям в методах преподавания, наступит подходящий для этого момент; наконец, когда уменьшение долга и сокращение излишних расходов позволят посвящать более значительную часть общественных доходов на в самом деле полезные назначения».

Вот великая мечта миролюбивой просвещенной демократии, стремившейся к равенству, которую выражал Кондорсе в тот самый момент, когда появился король, принесший официальное об'явление войны, которой суждено было поглощать все рессурсы страны в течение жизни ряда поколений. То, что Кондорсе должен был сойти с трибуны для того, чтобы вместо его речи раздалось об'явление войны, является поразительным символом уклонения Революции в сторону милитаризма.

Когда он продолжал на следующий день изложение своего плана, он об'явил, что усердие к учению, к науке следует тем более распространять, что в обновленном мире умы, уже не находя себе пищи в воинственных страстях и в завоевательной деятельности, должны были найти приложение для своей энергии во все более усердном исследовании истины.

«М ы присоединились, — сказал он чудным языком, — к общему умственному движению, которое в Европе, повидимому, со всевозрастающим усердием предается научным занятиям. Мы почувствовали, что, благодаря прогрессу человеческого рода, эти занятия, представляющие для его деятельности вечную, неистощимую пищу, становились тем более необходимыми, чем меньше предметов, возбуждающих честолюбие или жадность, должно представляться при усовершенствовании общественного строя; что в стране, где желали соединить бессмертными узами мир и свободу, нужно было, чтобы оказывалось возможным, без скуки, не угасая в праздности, согласиться быть только человеком и гражданином; что важно было направить эту потребность к деятельности, эту жажду славы, для которой состояние хорошо управляемого общества не представляет достаточного простора, на полезные предметы и таким образом заменить стремление господствовать над людьми стремлением просвещать их».

Вот прерванный доклад, вот, если я могу так выразиться, надежда, разбитая об'явлением войны. Предполагал ли Кондорсе, что война будет кратковременна? Или он думал, что даже если бы война должна была длиться много лет, быть может, в течение жизни ряда поколений, то все-таки следовало сразу формулировать высший идеал Революции, идеал науки и мира?

Не старался ли этот многооб'емлющий ум, привыкший размышлять о веках, выяснить даже далекое будущее? В двуединой душе Революции, готовящейся спасти войною свободу и размышляющей о способах одушевить мир, есть нравственное величие. В конце концов эти двоякие усилия не оказались неудачными, так как силы старого режима были сокрушены войною, и усиливающаяся демо-

кратия занималась, несмотря на это бремя, распространением знаний. Но какую меланхолию, какую мучительную грусть вызывает мысль о том, во что мог бы обратить Францию идеал Кондорсе, если бы война не воспламенила ее на первых порах и не поработила ее впоследствии!

Именно потому, что мы горько страдаем от этого революционного уклонения, мы строги, может быть, слишком строги к этой неблагоразумной и сварливой Жиронде, которая с предвзятым решением ускорила события, еще остававшиеся сомнительными, с целью вызвать войну. Она лишила нас того утешения, что мы достоверно знали бы, что война была неизбежна. Но человечество простит ей ради высокого идеала свободы и мира, которому она хотела служить воинственными способами, и при дивном свете мысли Кондорсе я уже не различаю интриги Бриссо.

Непростительно, неизгладимо было преступление лукавой, лживой, предательской королевской власти, никогда не примирявшейся с новою свободою, никогда честно не принимавшей Конституции, служить которой она клялась, и своим тайным, скрытым, постоянно чувствовавшимся, но неуловимым предательством заставившей изнемогавшую Францию решиться на войну и настоявшей на вмешательстве колебавшихся иностранных держав.

Когда король читал об'явление войны, в его голосе слышалась тревога. Дрожал ли он от горя, от гнева, от страха или от стыда? Был ли он раздражен и унижен тем, что, в силу тактических соображений, он снизошел до об'явления войны тому самому лицу, которое он просил о помощи? Не задавался ли он со страхом вопросом о том, какова будет для него развязка этой драмы? Или он чувствовал, что он обманывал нацию, которую он готовился предать, и это чувство заставляло его голос несколько дрожать пред представителями Франции?

В тот самый момент, когда король соглашался об'явить войну Францу II, он старался ускорить нашествие армий, долженствовавших попирать французскую землю и свободу, и он осведомлял врага относительно вероятных действий французских армий.

24 марта барон де-Бретейль истолковывает поручение к императору Францу II, возложенное на Гогела, принявшего имя Даммартэна. Гогела вез с собою следующую простую записку королевы:

«Верьте, мой дорогой племянник, во всем тому лицу, которому я поручаю передать вам эту записку.

Мария-Антуанетта».

И следующую приписку короля:

«Я вполне разделяю мнение вашей тети и питаю к нему такое же доверие.

Людовик».

Итак, Бретейль писал:

«Вы убедитесь, государь, на основании тех подробностей, которые вам изложит г. Даммартэн, что нельзя подвергнуть одни и те же лица всякого рода бедствиям и опасностям, более раздирающим сердце и более возмутительным. Достоверно известно, что партия, господствующая в королевстве, решилась довести свою дерзость до об'явления войны; она хочет, не откладывая, напасть сразу в двух местах: на империю и на территорию сардинского короля.

«Эта партия решила, начиная эти два предприятия, отрешить короля от его функций, разлучить королеву с его величеством, под предлогом разных обвинений, формулированных в девятнадцати пунктах, главным из которых является то, что она побудила покойного императора образовать союз с великими европейскими державами в пользу королевской прерогативы. Нельзя думать, не содрогаясь от ужаса, о том, до чего эти негодяи могут дойти при осуществлении этого гнусного проекта, или скрывать от себя, что их жестокость беспредельна, потому что на них нет узды.

«Государь, только ваше величество в состоянии достаточно быстро и твердо обуздать их. Король уверен в том, что он найдет в принципах и в душе вашего величества полную готовность оказать действительную помощь, ставшую необходимой в настоящее время как в виду тех опасностей, которым подвергаются он и королева, так и для восстановления монархии.

«Вы почувствуете, государь, узнав об их проекте мятежных нападений и об их плане свергнуть короля с престола, насколько важно, чтобы войска, которые, как надеется король, ваше величество желает, как желал покойный император, употребить совместно с прусским королем, непременно двинулись вперед до его декларации, приготовленной для держав, интересующихся судьбою королевской фамилии и французской монархии. Если бы на берегах Рейна собрались соединенные войска вашего величества и прусского короля, это произвело бы внушительное впечатление на злодеев и помешало бы выполнению их ужасных проектов внутри страны и их враждебных намерений против наших соседей».

Итак, в конце марта, за месяц до того дня, когда он сам предложил Собранию об'явить войну Францу II, Людовик XVI, через своих поверенных, Гогела и Бретейля, побуждает его войти в соглашение с Пруссией и послать свои войска на берега Рейна.

И королева Мария-Антуанетта пишет 26 марта графу Мерси:

„Г. Дюмурье, уже не сомневаясь в согласии держав относительно движения войск, намеревается первый начать с нападения на Савойю и на Льежский край. Для этого последнего нападения должна служить армия Лафайета. Вот результат вчерашнего заседания Совета. Хорошо знать об этом проекте для того, чтобы быть настороже против него и принять все надлежащие меры. Повидимому, это совершится скоро“.

Это — явная, преступная измена. И тщетно было бы ссылаться на то, что королева, дочь Австрийского дома, оставалась прежде всего привязанной к своим родственникам, потому что самая традиция королевской власти ставила интерес нации выше семейных привязанностей. Тщетно было бы ссылаться на то, что королю и королеве, которым грозила опасность, было простительно искать внешней помощи, так как долготерпение революции после государственного переворота 23 июня, после неудавшегося государственного переворота 14 июля, после бегства в Варенн достаточно показывает, что король и королева не подвергались бы никакой опасности, если бы они согласились признать национальную волю, не лукавить, не лгать, не изменять. Наконец, нельзя даже ссылаться на естественные предрассудки королевской власти, потому что пример Англии, где монархия уже в течение веков приноровлялась к конституционным правилам, был хорошо известен королю. Лишь самый низкий и глупейший эгоизм, самое убогое и трусливое ханжество, самое ребяческое тщеславие возбуждали короля против Революции, необходимость которой он сам признавал и которой он сам открыл дорогу.

Извинения нет, и единственным возможным возмездием будет эшафот. Один французский посол рассказывал мне, что князь Лобанов, который был русским министром иностранных дел, написал о Революции краткий этюд, в котором, судя о событиях и о людях, с точки зрения аристократа-абсолютиста, но патриота, он говорил: «Люди, совершившие события 14 июля, были мятежники и их следовало повесить; но король изменил своему народу и его следовало гильотинировать».

Война, об'явленная 20 апреля, не сразу повлечет за собой решительные события, достопамятные столкновения; итак, мы можем на время приостановить изложение, чтобы выяснить, каково было в 1792 году экономическое и социальное положение Франции, каковы были тенденции, идеи, страсти различных классов. Нужно знать, какова та руда, которой предстояло быть брошенною в горнило войны.

Экономическое и социальное движение в 1792 году.

Как я уже сказал и доказал, Франция, готовившаяся вступить в борьбу с Европою, отнюдь не обеднела и не страдала как бы от анемии, вследствие ослабления экономической деятельности. Наоборот, в 1792 г. замечалось большое оживление меновых сделок и производства. Однако с конца 1791 г. французской торговле грозила опасность вследствие смут в колониях. В Сан-Доминго нерешительная политика Учредительного Собрания, руководимого эгоистическою и жадною партией белых колонистов, представителями которых были Барнав, Ламеты и клуб в отеле Массияк, повлекла за собою, как мы видели, ужасное восстание негров, которым оказала поддержку часть мулатов.

27 октября 1791 г. этот вопрос был возбужден в Законодательном Собрании, когда Франсуа де-Невшато сообщил ему письма, возвещавшие о возмущении негров. И тотчас же умеренная консервативная партия начала обвинять демократов. Говорили, что это они, своими бессмысленными проповедями, идеями равенства, обещаниями освобождения, переданными ими в колонии, вызвали возмущение негров и подготовили разорение Франции.

На это легко было ответить, так как негры-рабы не восстали бы, если бы свободные мулаты-собственники не отделились от белых колонистов, а они не отделились бы от последних, если бы им было предоставлено политическое равноправие, если бы, еще когда существовало Учредительное Собрание, умеренным и колонистам не удалось уничтожить действие майского декрета, предоставлявшего право голоса свободным мулатам; если бы позднее, в сентябре, они даже не добились отмены майского декрета.

Сначала Бриссо опрометчиво отрицал подлинность писем, извещавших о восстании негров; но эти известия не замедлили подтвердиться, и завязалась борьба, являвшаяся одним из величайших экономических и социальных столкновений этого времени между расовою гордостью и идеей равенства, между правами человека и собственностью, понимаемою, как освящение самого рабства.

Сперва умеренные потребовали, чтобы в Сан-Доминго немедленно были отправлены вспомогательные войска. Большие торговые города, в особенности города, поддерживавшие обширнейшие деловые сношения с Сан-Доминго, послали в Собрание настоятельнейшие письма и депутации. Многие негоцианты из города Ларошели писали в Законодательное Собрание 6 ноября.

«...Вы, господа, будете разделять чувства, внушаемые нам ужасным, только что дошедшими до нас подробностями; но вы никак не можете представить себе, какое уныние, какое отчаяние господствуют в наших гаванях.

«При бедствиях, постигших Сан-Доминго, всякому из нас приходится бояться за брата, за родственника, за друга; наконец, всякий предвидит при разорении колоний потерю своего состояния и уничтожение всех своих средств существования и труда. На вас, господа, возложена забота об общественном благоденствии. В эту многообнимающую задачу входит и забота о колонии Сан-Доминго... Мы советуем вам, господа, благоразумно отправить туда корабли, припасы, провиант, монету, войска, патриотических и благоразумных начальников».

Итак, триста негоциантов, подписавших эту петицию, грубо становились на сторону белых колонистов, оказавшихся такими преступными и безрассудными эгоистами. Они требовали только оружия для подавления восставших негров и сражавшихся вместе с ними мулатов; они не хотели никакой справедливой меры, которая, успокоив, по крайней мере, мулатов, изолировала бы и обезоружила бы негров. И, однако, даже с купеческой точки зрения нелепо было надеяться на

умиротворение острова одним лишь применением войск для отстаивания привилегии.

Такой же эгоизм и такое же ослепление обнаруживали и бордоские негоцианты. Директория департамента Жиронды пишет 5 ноября, равно как и Директория Бордоского округа: они возвещают отправление депутатов, которым поручено «предложить нации корабли для перевозки войск и провианта». Бордоская делегация сказала 10 ноября следующее: «Граждане Бордо отправили нас к вам для того, чтобы уговорить вас обратить серьезное внимание на бедствия, о которых сообщалось из Сан-Доминго. Толковать с вами о несчастиях, разоряющих эту драгоценную колонию, значит излагать вам наши несчастия, значит изображать вам горестное и печальное положение всех приморских местностей; такой же удар может постигнуть и другую американскую колонию; он может убить главную отрасль национальной промышленности и вследствие чего может иссякнуть обильнейший источник общественного кредита».

«После продолжительного и тягостного застоя коммерческие операции, наконец, снова оживились; в Бордо снаряжалось сорок девять кораблей, бо́льшая часть которых предназначалась к отплытию в колонию Сан-Доминго и притом, главным образом, в злополучную часть этой колонии. При первом известии о тех опустошениях, которым она подвергается, уныние сменило надежды, среди нас распространился ужас. Эх! какие французы холодно слушали бы рассказ о несчастьях своих братьев? Родственные, дружеские связи, более крепкие, чем связь интереса, побуждают нас поспешить помочь им, и сделают для нас легкими и дорогими всякие жертвы.

«Но не в праве ли мы, заботясь об облегчении бедственного положения колонистов, обратить некоторое внимание и на то, что совершается вокруг нас? Граждане Бордо, их администраторы, стали бы жертвою новых опасений, если бы работы в гавани, уже замедлившиеся, надолго приостановились. Эти столь оживленные, столь разнообразные работы обеспечивали существование множества рабочих всякого рода, и нельзя скрывать от себя, что общественное спокойствие подверглось бы опасности, если бы этот внушающий сочувствие класс наших сограждан лишился этого единственного ресурса в самое суровое время года, которое пришлось бы считать бедственным, ввиду состояния урожая у нас.

«Господа, спокойствие, столь благополучно царившее в нашем департаменте и в соседних с ним департаментах, может быть, об'ясняется образцовым порядком и уважением к законам, которыми город Бордо отличался в самые трудные моменты. В настоящее время он стремится представить новое доказательство своего самоотвержения и в тот самый момент, когда тяжелое несчастие угрожает подорвать его благополучие, он предлагает вам то, что он еще может предложить для усмирения смут в колониях и для того, чтобы доставить необходимую помощь тем из наших братьев, которые переживут эти бедствия и на сохранение собственности которых еще можно до некоторой степени надеяться...» (Громкие аплодисменты.)

Итак, ни слова я не говорю уже в пользу рабов, но даже и в пользу свободных мулатов, которые были так гнусно лишены эгоизмом и лицемерием белых колонистов даже и того права, которое было признано за ними Учредительным Собранием.

Несмотря на нетерпение умеренных, несмотря на давление, оказываемое портовыми городами, Собрание не решалось отправить войска в Сан-Доминго, так как оно, конечно, подозревало, что сделать это, значило бы усилить дух олигархии и привилегии, и во всяком случае, оно желало подождать до тех пор, пока оно будет лучше осведомлено. Мерлен из Тионвилля, непримиримый противник всякой колониальной политики, умолял Собрание сосредоточить все силы

Франции на границе, которой угрожали деспоты, и его слова вызвали сильный ропот:

«Эх, господа, будем последовательны в наших принципах: каков дух Конституции? На чем она основана? На свободе, которая побудила вас разбить ваши оковы... (Ропот.) Ах, моя душа возмущена и я отказался присоединиться к вашему вчерашнему постановлению, в котором из'является благодарность английской нации за ее старание примкнуть к людям, стремящимся поработить других людей. (Полноте! Полноте!) Сегодня же вы хотите поспешить сделать это порабощение еще более тяжелым, и вы забываете, что вы освободились от ваших цепей святыми восстаниями; будьте же последовательны или готовьтесь с вашими нынешними принципами вскоре рукоплескать Леопольду и остальным тиранам, когда они уничтожат вашу свободу и погубят отечество... Пусть оставят у нас наши войска, которые, несомненно, понадобятся нам скорее, чем думают». (Аплодисменты на трибунах.)

Затруднительность положения Собрания заключалась именно в том, что оно защищало в Европе свободу во имя Прав Человека и поддерживало на островах расовые разграничения и даже рабство: это было жестокое противоречие и Мерлен беспощадно подчеркивал его.

Смущенное и раздраженное Собрание освистало его, но оно не осмеливалось принять решение и откладывало рассмотрение вопроса. Однако Бриссо, одумавшись и получив документы, побуждал Собрание назначить большие общие прения относительно положения колоний. Колониальный комитет, в котором господствовали друзья колонистов, повидимому, не торопился представить свой доклад: может быть, нужно было много времени для того, чтобы сделать выписку из очень об'емистых документов, относящихся к делу. Может быть, умеренные также боялись прений, в которых снова раздались бы речи о справедливости и о свободе, которые вихрь Революции, вовсе не ослабевавший на далеких расстояниях, занес бы и на Антильские острова. Однако Бриссо об'явил, что 1 декабря, даже если бы колониальный комитет не был готов, он сам начнет прения. Прения, в самом деле, начались.

Уже 30 ноября депутаты общего Собрания французской части Сан-Доминго были допущены к решетке, и один из них, Миллэ, изложил тезис белых колонистов. Это был наглый манифест против демократов, против Общества друзей негров, против Бриссо, против аббата Грегуара; это была теория рабства, формулированная белыми собственниками на островах; и так как я не буду цитировать других документов в том же духе, я приведу довольно длинные выдержки из этого документа. Сначала оратор старается возбудить чувствительность Собрания изображением ужасных посягательств негров.

«...В то же самое время мастеровые Флавилля, те самые, которые поклялись прокурору в верности, вооружаются, возмущаются, входят в жилища белых и убивают из них пять человек, привязанных к дому. Жена прокурора просит на коленях пощадить своего мужа: негры неумолимы; они убивают мужа, говоря несчастной жене, что она и ее дочери назначены для их наслаждений.

«Г. Робер, плотник, работавший в том же помещении, был схвачен своими неграми, которые связывают его между двумя досками и медленно распиливают его. Один шестнадцатилетний юноша, раненый в двух местах, убегает от ярости этих каннибалов, и мы узнаем эти факты от него.

«Там от кинжалов переходят к факелам, зажигают тростник у поселения, а вслед за тем и строения... Один колонист был зарезан тем из своих негров, которому он оказал множество благодеяний; его жена, которую бросили на его труп, была вынуждена утолить скотскую страсть этого злодея...

«Г. Потье, живший в порте Марго, научил своего негра-распорядителя читать и писать; он дал ему свободу, которою последний пользовался: он завещал

ему 10.000 ливров, которые ему должны были уплатить; он подарил и матери этого негра участок земли, на котором она собирала кофе; этот изверг возмущает мастеровых своего благодетеля и своей матери, зажигает и разоряет их владения, и за этот поступок его производят в генеральный чин...»

Я прерываю здесь рассказ об этих насилиях, об этих дикостях и воздержусь от выражения порицания. По правде говоря, у того негра, о котором идет речь в конце и который, будучи лично освобожден, тем не менее становится на сторону своих собратьев-рабов и доходит до того, что зажигает мастерскую, которую господин подарил его матери, повидимому, была довольно сильная и возвышенная душа. Однако достоверно известно, что возмутившиеся негры-рабы с их африканскою кровью, скотскими страстями и озлобленными сердцами, у которых накопилось много старого горя и много старинной ненависти, не раз бывали ужасны и доводили утонченную жестокость до невероятия. Но возникал вопрос: как они, недавно бывшие спокойными, были таким образом возбуждены к бунту? И не были ли виновны в этом люди, не понявшие, что французская Революция должна была выразиться в колониях в настоящих реформах? Итак, все это выставление на показ крови и похоти не имеет никакого смысла и заключение оратора относительно этого совершенно произвольно и неосновательно.

«Одним словом, если бы осуществились кровожадные проекты этих грубых и жестоких людей относительно белых, если бы им удалось истребить белую расу в колонии, то вскоре в Сан-Доминго можно было бы видеть все ужасы Африки. Будучи порабощены абсолютными властителями, будучи раздираемы жесточайшими войнами, они обратили бы в рабство своих пленных, и то смягченное рабство, в котором они живут среди нас, превратилось бы в рабство, отягощенное всеми утонченностями варварства».

Но в действительности дело шло вовсе не об этом. Дело шло вовсе не об истреблении белых и о предоставлении острова одним только неграм-рабам, которые, вновь распавшись на африканские племена, стали бы порабощать или пожирать друг друга. Дело шло вовсе не о выборе между «смягченным» рабством, на которое белые соглашались для негров, и жестоким, убийственным рабством, в которое негры-людоеды обращали бы друг друга. Самые смелые люди, вроде Марата, требовали просто того, чтобы свободные мулаты-собственники получили политическое равноправие; чтобы с их согласия, достигнутого благодаря этому при равенстве, был сохранен порядок, и чтобы постепенное и благоразумное освобождение рабов мало-по-малу избавило Францию от этой гнусности, не потрясая основ экономической колониальной жизни. Вот чего требовали до тех пор самые смелые люди, и было ребяческою глупостью противопоставлять этим требованиям фантастическую картину острова в состоянии дикости, в котором черные демоны со своими адскими факелами, устроив повсюду пожары, сплошь истребили бы всех белых. В этом изложении, представленном креолами, есть грубое ребяческое и в то же время наглое преувеличение. Но вот странная идиллия, своею спокойною кротостью вполне развеселяющая рабовладельческую душу.

«*Господа, мы жили мирно среди наших рабов. Отеческое управление уже много лет тому назад облегчило положение негров, и мы смеем сказать, что в жизни миллионов европейцев, которым приходится терпеть всякую нужду, которых преследуют всякого рода бедствия, гораздо меньше приятного, чем в жизни тех, кого вам и всему свету изобразили, как закованных в цепи, как погибающих после долгих мучений. Положение негров в Африке, где у них нет ни имуществ, ни политического существования, ни гражданственности, где они беспрестанно являются игруш-*

ками нелепого неистовства тиранов, между которыми разделена эта обширная и варварская страна, превращено в наших колониях в сносное и приятное состояние. Они ничего не потеряли, так как свобода, которою они не пользовались, еще не является таким растением, которое принесло бы плоды на их родине; и что бы ни утверждали люди, проникнутые духом партийности, какие бы выдумки ни измышлялись, образованных людей никогда нельзя будет убедить в том, что негры Африки пользуются свободою.

«Последний из путешественников, посетивший почти неизвестную до настоящего времени часть этой огромной страны, написал в длинном и интересном рассказе о своем путешествии лишь историю кровопролития и ужасов. Люди, обитающие в Абиссинии и Нубии, племена галласов и фунджэ, от берегов Индийского океана до границ Египта, повидимому, соперничают в варварстве и жестокости с порожденными там природою гиенами и тиграми. Рабство там почетно, и жизнь в этом ужасном климате является благом, неохраняемым никаким законом и находящимся в руках кровавого деспота.

«Пусть чувствительный, образованный человек сравнит жалкое положение людей в Африке с их приятною и облегченною участью в наших колониях; пусть он отстранит декламации, т.-е. картины, которые охотно рисуют сторонники ложной философии, гораздо более для того, чтобы составить себе имя, чем для того, чтобы отомстить за человечество; пусть он припомнит режим, установленный для наших негров до тех пор, пока их не сбили с толку, не сделали нашими врагами: у них не было недостатка ни в чем, нужном для жизни: они были окружены достатком, неизвестным в большей части европейских деревень; им было обеспечено пользование их собственностью (так как они владели собственностью, и она была священна); во время болезней за ними ухаживали с такими расходами и с таким вниманием, которых тщетно стали бы искать в столь восхваляемых английских госпиталях; их охраняли и почитали в старческой дряхлости; они мирно жили со своими детьми, со своими семьями, со своими близкими; их принуждали к труду, соразмеренному с силами каждого индивидуума, потому что индивидуумы и труды классифицировались, и, если бы не проявлялась достаточная гуманность, расчет предписывал бы позаботиться о сохранении людей: они были освобождаемы, когда они оказывали какие-либо важные услуги: такова была верная и неприкрашенная картина управления нашими неграми, и это домашнее управление совершенствовалось, особенно за последние десять лет, с такою изысканностью, примеров которой вы не найдете нигде в Европе.

«Господин и рабы питали искреннюю привязанность друг к другу; мы спали в безопасности среди этих людей, ставших нашими детьми; в домах у некоторых из нас не было ни замков, ни запоров.

«Нельзя сказать, господа, и мы не скрываем этого, чтобы между плантаторами не встречалось еще небольшого числа черствых и жестоких господ, но какова же была участь этих злых людей? Заклейменные общественным мнением, внушающие отвращение честным людям, лишенные всякого общества, не пользующиеся кредитом в своих делах, они жили бесславно и позорно и умирали в нищете и отчаянии. Их имена не произносятся в колонии иначе, как с негодованием, и их репутация служит предостережением для тех лиц, которые, будучи еще неопытными в заведывании мастерскими, могли бы в увлечении, вызываемом их запальчивым характером, прибегнуть к насилиям, которые, как показал опыт, вредны для хорошего управления, и устранению которых способствовали просвещение и смягчение нравов.

«Мы умоляем здесь—не тех, кто пишет романы для того, чтобы составить себе репутацию чувствительных людей, чтобы приобрести кратковременную популярность, которой общее негодование должно скоро лишить их,—но тех, кто посещал колонии, тех, кто знает их; пусть они скажут, верен ли вышеизложенный рассказ, впали ли мы в чем-нибудь в преувеличение, чтобы возбудить в вас сочувствие к нашему делу?»

Вот самая смелая из речей в защиту рабства: она была произнесена рабовладельцами пред революционным Собранием, и является как бы наглым вызовом логике событий и идей. Она заставляет смущенную, потрясенную буржуазию собраться с мыслями, спросить себя, в глубине души: отступает ли она собственность, даже рабовладельческую, или Права Человека?

Мы последуем совету оратора и устраним всякую декламацию. Не станем напоминать, что как бы ни было ужасно положение негров в Африке на их родине, их увозили оттуда насильно, против их желания. Мы не станем говорить, что со стороны торговцев неграми было бы несколько лицемерно утверждать, что они похищали негров и увозили их на дне трюма для их блага, для их полуосвобождения.

Нам приятно думать, и это часто бывало верно, что в Сан-Доминго и на островах хозяева мягко обращались со своими рабами. Но оратор сам вынужден признать, что встречались дурные хозяева; так что даже у раба, с которым хорошо обращались, не было гарантии, он зависел от изменения настроения, от припадка гнева, от каприза чувственности. Наконец, рабство заключает в себе следующее убийственное противоречие: или с рабом дурно обращаются, его бьют, бичуют, и он возмущается или изнемогает; или с рабом обращаются мягко, он мало-по-малу входит в семью; эта самая мягкость, пробуждая в нем чуткость и приближая его к господину, способствует тому, что он понимает свободу и желает ее.

Восстание негров не свидетельствовало именно против колонистов, оно могло, наоборот, доказывать, что в мире рабов, вследствие умеренности и доброты

господ, гордость давно обратилась в привычку. Но обнаружилось неизбежное последствие этого: когда-нибудь должно было пробудиться желание свободы и, благодаря этому немому чувству, зародившемуся в глубине сердца и как бы скрывавшемуся под прежним наружным видом семейного и безропотного положения прислуги, все отношения между господами и рабами были втайне расстроены. В это время у белых колонистов в самом деле не обнаружилось достаточной силы мысли. Они рассуждают так, как будто им вменяли в преступление ужасный торг человеческим мясом, так долго разорявший берега Африки. Они рассуждают так, как будто всех их обвиняли в скотстве, в жестокости, они забывают, что самый ход событий, эволюция идей и нравов должны были оказаться пагубными для рабства, и что умеренность хороших господ так же подготовляла его падение, как и жестокость дурных. А главное, они забывают, что даже колонии не могут считать Революцию такою величиною, которою можно было бы пренебрегать, и, что с точки зрения Декларации Прав Человека, проблемы непременно принимают новый вид.

И что же сделали они для того, чтобы приспособиться к новым нуждам? Что сделали они для того, чтобы согласить с привычками и потребностями колониального производства свободные учреждения и принципы гуманного права? Они не сделали и даже не пытались сделать решительно ничего. Они сумели лишь лукавить, говорить двусмысленно, лгать, искажать смысл декретов Учредительного Собрания; сопротивляться силою инерции его осторожнейшим и благоразумнейшим законам; растянуться, если я могу так выразиться, в своей гордой лепности ума; неподвижно замкнуться в своих расовых предрассудках. В этот самый момент пред Законодательным Собранием, в то время, когда Сан-Доминго в огне, и когда, под опасением гибели, нужно искать истины, они еще хитрят и плутуют. В самом деле, выдвигать таким образом на первый план вопрос о рабстве, постановку которого если не отстранили, то, по крайней мере, отсрочили все партии в Учредительном Собрании и вне его, значит плутовать.

Возлагать всю ответственность на одно общество, на Общество Друзей Негров,—как будто это общество, в котором участвовал Мирабо, в котором участвовал аббат Грегуар, само не являлось выражением великодушного духа XVIII века, одним из тех бесчисленных органов, которые создала для себя его мысль,—значило плутовать.

Наконец, плутовством и недобросовестностью со стороны белых колонистов является то, что они скрывают ту ответственность, которую они сами взяли на себя своим высокомерным и лукавым поведением относительно свободных мулатов. Послушайте злобные обвинения этих добрых рабовладельцев, вввергнувших весь мир в пожаре, вспыхнувшем из-за их эгоистической непредусмотрительности:

«Однако, господа, во Франции образуется общество, издалека подготовляющее раздоры и волнения, жертвою которых мы являемся. Сначала неизвестное и скромное, оно обнаруживает лишь стремление к облегчению участи рабов; но оно не знало никаких способов осуществить это облегчение, столь усовершенствованное на французских островах, тогда как мы беспрестанно занимались этим; и, далеко не имея возможности способствовать этому облегчению, оно заставляло нас отказываться от него, распространяя дух неповиновения среди наших рабов и вызывая беспокойство среди нас.

«Для того, чтобы все более и более облегчить участь рабов, чтобы сделать более частыми случаи их освобождения, следовало бы именно оградить безопасность господ; но это благоразумное средство нисколько не содействовало бы известности; слава требовала отказа от колоний, чтобы передать их декламаторам, чтобы распространить вокруг нас тревогу и ужас, чтобы подготовить те

бедствия, которые мы предсказывали с тех пор, как начались действия Друзей Негров, и которые, наконец, осуществились».

Таков всегда один и тот же софизм консерваторов. Они об'являют, что они осуществили бы реформы, если бы они одни их требовали. Но в то же время они требуют сохранения торга неграми, обеспечивающего беспредельный набор рабов при гнусных условиях.

«Вскоре,—говорят они,—это общество потребует, чтобы был уничтожен торг неграми, т.-е чтобы *те барыши, которые могут получаться от него для французской торговли, были предоставлены иностранцам*; потому что его романтическая философия никогда не убедит всех европейских держав в том, что они обязаны отказаться от культуры в колониях и скорее оставить обитателей Африки в жертву варварства их тиранов, чем давать им занятие в других местностях и делать их более счастливыми под властью господ, заставляя их обрабатывать землю, которая без них оставалась бы невозделанною, и обильные произведения которой служат для владеющей ими нации плодотворным источником промышленности и благополучия».

Но разве делегаты от Сан-Доминго не знали, что вопрос об уничтожении торга неграми был уж за несколько лет до того поставлен в английском парламенте, что Уильберфорс своею удивительною настойчивостью мало-по-малу склонял на сторону своего проекта все возраставшие меньшинства, и что он вызывал такое движение умов, что вскоре, 2 апреля 1792 г., сам Питт примет участие в обсуждении этого вопроса в Палате Общин, чтобы потребовать в своей знаменитой речи уничтожения торга неграми. Правда, предложение Уильберфорса: «По мнению Комитета (т.-е. Палаты Общин, обсуждающей вопрос в качестве Комитета), торговля, производимая английскими подданными с целью приобретения рабов на африканском побережьи, должна быть уничтожена». было принято лишь с добавлением слов «постепенно», предложенного Дэндасом. Но, конечно, с тех пор, казалось, что этой гнусной торговле был нанесен смертельный удар. Его можно было предчувствовать с конца 1791 г., в тот момент, когда французские рабовладельцы говорили в Законодательном Собрании, и в самом деле с их стороны требовалось некоторое бесстыдство для того, чтобы утверждать, что Общество Друзей Негров предоставило бы иностранцам барыши от этого торга.

Они жалуются на то, что «Декларация Прав», это «бессмертное произведение, благотворное для просвещенных людей, но неприменимое и, по этому самому, опасное при нашем режиме», рассылается в колонии во множестве экземпляров; что оно читается там и истолковывается в мастерских, и что открыто заявляют, что им провозглашена свобода негров. Но в действительности ни Друзья Негров, ни белые колонисты не могли бы заглушить бесконечного и неизбежного отголоска Революции. И если колонисты боялись слишком резкого потрясения, то они должны были именно приобщить к своему делу свободных мулатов, предоставить им политическое равенство и создать, таким образом, в *революционном смысле* сдерживающую силу, которая сделала бы возможным приступить к освобождению самих рабов лишь осторожно и постепенно.

Но гордые, безрассудные люди, повидимому, изо всех сил старались оскорблять мулатов: об'яснения колонистов относительно этого вопроса, который был практически поставлен в эпоху Учредительного Собрания, жалки:

«Когда выяснилось, что напрасно надеялись побудить Национальное Собрание провозгласить освобождение рабов, постарались вызвать среди нас раздоры, побуждая его к тому, чтобы оно само разрешило вопрос о мулатах.

«Мы потребовали, чтобы нам самим предоставили выработать наши законы относительно этого пункта, требовавшего большой осторожности и большого

благоразумия при их применении; мы об'явили, что эти законы были бы гуманны и справедливы. Но такое благодеяние, оказываемое белыми колонистами, которое увековечило бы узы привязанности и доброжелательности, существовавшие между этими двумя классами людей, изображается Друзьями Негров, как тщеславная претензия и как средство уклониться от выполнения справедливых требований.»

О, ребяческое тщеславие, лицемерие и ложь! Если бы белые колонисты в самом деле намеревались предоставить свободным мулатам политическое равноправие, то зачем же они так ожесточенно и в то же время так скрытно боролись, для того, чтобы воспрепятствовать Учредительному Собранию принять закон, установивший это равноправие, а затем, для того, чтобы отменить изданный декрет?

На самом деле, для колонистов не было оскорбительно, чтобы мулаты получили грамоту, удостоверяющую их политические права от великого державного Собрания. По какому высшему гордому расчету они хотели еще унизить мулатов, бросая им равенство, как милостыню? Если же они желали, чтобы это новое законодательство явилось узами, связующими между собою «два класса людей», если они из'являли претензию на признательность мулатов, то у них было решительное средство ее заслужить, а именно: им следовало бы побудить Национальное Собрание издать справедливый закон и затем добросовестно применять его.

Наконец, как будто для того, чтобы сделать себе оружие из тех самых бедствий, которые они же вызвали, депутаты от колонистов требовали в конце своей обвинительной речи пред Законодательным Собранием не только отправки войск и помощи, но и воспрещения, осуждения «всех возмутительных сочинений» Друзей Негров.

Законодательное Собрание молчаливо выслушало эту резкую критику. Она льстила известным страстям, но она оказывалась ужасно компрометирующею. Учредительное Собрание могло уверить себя в том, что оно не законодательствовало относительно рабства из своего рода стыда, к которому, конечно, примешивалось буржуазное лицемерие, но и также и некоторое уважение к человечеству; оно принимало постановления относительно свободных мулатов; но, хотя оно и гарантировало колонистам «их собственность», т.-е. на самом деле сохранение рабства, оно не пожелало произносить слово «рабы»: в тот день, когда один из его членов, как будто для того, чтобы покончить с умолчаниями, представлявшими опасность для колонистов, пожелал ввести в текст закона слово «раб», Собрание возмутилось.

Итак, благодаря добровольному неведению, Собрание сохранило прежнее положение вещей, но оно не ввело официально рабства в систему Революции. Теперь, вследствие восстания негров, вопрос о рабстве выдвигался с темного заднего плана, на который он был отстранен по своего рода всеобщему соглашению. Негры-рабы скакали с факелами в руках, и взрыв их ярости уже не позволял прибегать, как это делало Учредительное Собрание, к тому, чтобы искусно подразумевать невысказанные слова.

Сами белые колонисты, которых побуждали заявить их «права», открыто говорили о рабстве: «мы жили счастливо среди наших рабов». И Законодательному Собранию пришлось выслушать систематическое оправдание, чуть ли не прославление рабства. Ему пришлось выслушать приговор, осуждавший на вечное отлучение часть человечества, поставленную вне человеческого права.

«Эти грубые люди неспособны узнать свободу и благоразумно пользоваться ею, и неразумный закон, который уничтожил бы их предрассудки, явился бы смертным приговором для них и для нас».

Вот жизненный предрассудок, вечно необходимый для общественной жизни. Негры — люди, но они этого не знали и сами ставили себя ниже человека, и

следует навсегда оставить их в этом унизительном, но необходимом заблуждении. И от Законодательного Собрания требуют, чтобы оно согласилось участвовать в этом методическом уродовании человечества. Пред ним выдают торг неграми за вечную необходимость, за выгодную национальную спекуляцию, касаться которой воспрещает даже патриотизм. Когда говорили рабовладельцы, Собранию пришлось испытать очень тяжелое чувство; я не нахожу в протоколе упоминания ни об аплодисментах, ни о выражении порицания. Только под конец, когда председатель Собрания, Дюкастель, пригласил делегатов к почетному присутствию на заседании, раздался ропот крайней левой, и Базир воскликнул:

«Как, господин председатель, вы приглашаете присутствовать на заседании людей, только что оскорбивших философию и свободу, только что издевавшихся над...?»

Но эти самые слова Базира раздражили все консервативные или буржуазные страсти Собрания. Хотя оно испытывало неловкость, будучи вынуждено выслушать прославление рабства, оно не имело в виду что-либо сделать для его уничтожения и значительным большинством голосов постановило, чтобы речь делегатов была напечатана. Но к чему эта ярость собственников и капиталистов? К чему эта дерзость белых колонистов и эгоизм их соучастников, портовых арматоров, торговцев неграми или членов коммандитных товариществ, в мастерских которых работали рабы? Рабство могло укрываться лишь при молчании, и все то, что приводило его в непосредственное соприкосновение с «Декларацией Прав Человека», с силою и мыслью Революции, подвергало его опасности.

Бриссо вмешался в прения 1 декабря и представил мастерской, хотя отчасти тенденциозный анализ различных интересов, различных социальных и политических сил, боровшихся в Сан-Доминго.

«Можно,—сказал он,—разделить население Сан-Доминго на четыре класса: белых колонистов, владеющих крупною собственностью; мелких белых, не владеющих собственностью и живущих изворотливостью; мулатов, владеющих собственностью или занимающихся каким-либо честным промыслом; наконец, рабов.

«Белых колонистов следует разделить на два класса, соответственно их состоянию и тому, в каком порядке находятся их дела.

«Некоторые из них владеют обширными имениями, и у них мало долгов, потому что их дела в порядке; но у большей части их много долгов, потому что они очень беспорядочно ведут свои дела.

«Первые любят Францию, чувствуют привязанность к ее законам и повинуются им, так как они чувствуют, что им нужно ее покровительство для сохранения их имуществ и для поддержания порядка. Эти первые колонисты любят и поддерживают мулатов, так как считают их истинным оплотом колонии, людьми, наиболее способными удерживать негров от возмущений. К числу этих почтенных колонистов принадлежал г. Жерар, депутат предшествовавшего Собрания. Он беспрестанно сдерживал неистовство своих сотоварищей, голосовавших только за насильственные средства, так как эти средства казались им весьма пригодными для того, чтобы вызвать беспорядки, необходимые при их несостоятельности для их тщеславной жизни.

«Колонисты-расточители, обремененные долгами, не любят ни французских законов, ни мулатов и вот почему: они хорошо понимают, что свободное государство не может существовать без хороших законов и без надлежащего выполнения своих обязательств; итак, рано или поздно, эти самые законы заставят их выплачивать свои долги; их принудят к этому гораздо строже, чем при деспотизме, потому что при деспотизме его аристократические льстецы хитростью добиваются предписаний об отсрочке, приказов о приостановке взысканий, препятствующих исполнению законов о наложении запрещения на имения. Но сво-

бода не признает ни предписаний об отсрочке, ни приказов о приостановке взысканий. Она говорит и вскоре скажет всякому на островах: если ты должен — плати, или предоставь свое имущество твоему кредитору.

«С другой стороны, расточительные задолжавшие колонисты одинаково не любят ни граждан мулатов, ни негров, так как они, конечно, предвидят, что эти мулаты, у которых почти нет долгов и из которых почти все аккуратно ведут свои дела, всегда будут склонны защищать законы, и что их мужество, их многочисленность и их усердие могут сами по себе, и даже без помощи европейских войск, обеспечить исполнение законов.

«Другой мотив раздражает расточительных белых колонистов против мулатов, а именно предрассудок относительно унижения, на которое они их обрекли и от которого последние хотят, наконец, избавиться. Они вменяют им в преступление их любовь к равенству и, гремя против министерского деспотизма, они хотят освятить деспотизм белых и добиваются того, чтобы этот деспотизм был освящен Собранием свободных людей...»

«Именно этим об'ясняется ненависть, питаемая одним и тем же колонистом, как к мулату, требующему признания своих прав, так и к негоцианту, требующему уплаты его долга, и к свободному правлению, предписывающему, чтобы со всеми поступали правосудно».

«Итак, господа, вы должны считать врагов этих мулатов жесточайшими врагами нашей Конституции. Они ненавидят ее, так как усматривают в ней уничтожение гордости и предрассудков; они восстановили бы прежнее положение вещей, если бы усматривали в нем гарантии, дающие им возможность безнаказанно притеснять других, но чтобы их самих не притесняли министры.

«Итак, дело мулатов является делом патриотов, делом прежнего третьего сословия, наконец, делом так долго угнетаемого народа.

«Здесь я должен предупредить вас, господа, что когда я буду характеризовать вам этих колонистов, уже в течение трех лет прибегающих к преступнейшим проискам для того, чтобы расторгнуть узы, связующие их с метрополией, чтобы подавлять мулатов, я имею в виду лишь этот класс колонистов, которые бедны, несмотря на свои громадные имения, мятежны, несмотря на свою бедность, горды, несмотря на свою полную неспособность, дерзки, несмотря на свою трусость, мятежны, не располагая для этого средствами, наконец, тех колонистов, которых их пороки и их долги беспрестанно влекут к смутам и которые в течение трех лет побуждали разные колониальные собрания стремиться к установлению независимой аристократии. Хотите в одно мгновение составить себе суждение о них? Вдумайтесь в следующую фразу, сказанную одним из них для того, чтобы польстить тогда еще могущественному монарху: «Государь, у вас сердце настоящего креола». Он был прав, они были родственны друг другу по своим порокам, аристократизму и деспотизму. (А п л о д и с м е н т ы.)

«Этого рода люди оказывают в высшей степени сильное влияние на другой, не менее опасный класс, названный «мелкими белыми», состоящий из авантюристов, из беспринципных и почти сплошь безнравственных людей. Этот класс является истинным бичом колоний, так как он набирается исключительно из подонков Европы. Этот класс с завистью смотрит на мулатов, и на ремесленников, потому что они лучше и дешевле работают и, в виду этого, существует большой спрос на их труд, и на собственников, потому что их богатства возбуждают его зависть и уничтожают его гордость. Этот класс жаждет лишь смут, так как он любит грабить; независимости, потому что сделавшись господами колонии, мелкие белые надеются разделить между собой добычу, которую они получили бы, ограбив мулатов.

«Мелкие белые наполняют, главным образом, города, в которых обитает другой, более почтенный класс людей, а именно класс негоциантов и комис-

сионеров, в силу своих интересов привязанных к Франции, к делу мулатов, так как они видят, что, благодаря им, растут потребление и благосостояние.

«Кто же, наконец, эти мулаты, стоны которых так давно раздаются во Франции? Это, господа, вовсе не негры-рабы (и следует часто повторять это, чтобы отстранить коварные инсинуации колонистов); это—люди непосредственно или не непосредственно происходящие от европейцев с примесью африканской крови. Не скорбите ли вы, господа, при мысли о жестокости белого, желающего унижать мулата? Он унижает свою же кровь: он клеймит позором чело своего сына; для того, чтобы поразить своего сына, он прибегает к мечу закона, или желает, чтобы его сын был опозорен законом.

«Заметьте еще, что почти все мулаты, требующие политического равноправия со своими братьями, белыми, подобно им свободны, владеют собственностью, платят подати; и они, в большей степени, чем эти белые, являются истинным оплотом колоний: они образуют в них третье сословие, столь трудолюбивое и, однако, столь презираемое столь глубоко порочными, бесполезными и глупыми существами. Эти последние, чтобы им не пришлось быть справедливыми по отношению к мулатам, имели бесстыдство об'явить Франции в начале Революции, что на островах не существовало третьего сословия, несомненно, с тою целью, чтобы уничтожить во французском народе то чувство отеческой нежности, которое влекло бы его к полезным людям, испытывающим в другом полушарии такую же участь, как и он; но теперь не время входить в эти подробности, я ограничиваюсь здесь анализом различных классов людей, обитающих в Сан-Доминго, так как там вы найдете ту нить, руководясь которою вы верно определите причину смут.

«Последним классом является класс рабов. Он многочислен, так как их количество превышает 400.000 душ, между тем как белые, мулаты и свободные негры составляют лишь шестую часть этого населения.

«Я не стану изображать вам участь этих несчастных, лишенных своей свободы, своего отечества, для того, чтобы орошать чужую землю своим потом и своею кровью без всякой надежды и под ударами бичей жестоких господ. Несмотря на двойное мучение, создаваемое для него его собственным рабством и свободою других, раб в Сан-Доминго оставался спокойным до этих последних смут, даже среди сильнейших волнений, вспыхивавших на наших островах; иногда он слышал чарующие слова «свобода»: его сердце было растрогано, ибо и сердце негра также бьется, стремясь к свободе (аплодисменты); однако, он молчал, он продолжал носить оковы в продолжение двух с половиной лет, и если он сбросил их, то он сделал это, будучи подстрекаем жестокими людьми, которых вы узнаете.

«Таковы классы людей, обитающих в Сан-Доминго. На основании быстро нарисованного мною их изображения можно угадать те чувства, которые должны были одушевлять каждый класс, когда пришло известие о французской Революции. Честные колонисты и хорошие собственники были уверены в том, что министерский деспотизм исчез навсегда, и что они заменят его колониальным и народным правлением; и они полюбили Революцию. Мулаты нашли в ней надежду на уничтожение предрассудка, удерживавшего их в позорном положении, на то, что им будут предоставлены права; и они полюбили Революцию. Расточительные колонисты, раболепствовавшие до тех пор в передних интендантов, губернаторов или министров, с удовольствием увидели их унижение и, чтобы отплатить им за их презрение и за их наглость, превозносили свободу, как те истинные хамелеоны в политике, которых мы последовательно видели холопами двора, холопами народа, которые надевали, бросали и опять надевали значки рабства и национальную кокарду. (Аплодисменты.) Колонисты

свергнули служителей деспотизма, потому что, подобно французским дворянам, они надеялись, что они одни будут участвовать в нем.

«Мелкие белые, которых администрация удерживала до тех пор в их имениях и часто наказывала, жадно пользовались случаем разбить, изорвать в клочки те кумиры, пред которыми они были вынуждены повергаться. Итак, первым всеобщим желанием на островах была свобода, а затем расточительные колонисты и мелкие белые начали стремиться к личному деспотизму, между тем как честные колонисты и мулаты желали лишь порядка, мира и равенства, а этим, господа, вызваны междоусобия, вспыхнувшие на наших островах».

Я счел нужным воспроизвести эту широкую картину, этот глубокий социальный анализ, прежде всего потому, что он в самом деле дает ключ к пониманию событий, а затем и потому, что он еще раз доказывает, насколько поверхностен и неоснователен упрек в «идеологии» по отношению к Революции, бывшей столь идеалистическою и в то же время столь реалистическою. Это не означает, что каждая из этих крупных черт не требовала какой-либо поправки, некоторого смягчения. Так, из тех самых писем, которые я цитировал, излагая деятельность Учредительного Собрания, вытекает, что мелкие белые были более разделены, чем говорит Бриссо. По крайней мере, некоторые из них становились на сторону мулатов или под влиянием дела справедливости и великодушия или из ненависти к белой аристократии. Но подобно тому, как мы видели, что христианская чернь соединилась против евреев с христианским дворянством в надежде на легкий грабеж, вероятно, что и чернь, состоявшая из белых колонистов, у которой не было ни социальной устойчивости, ни классового духа, присоединилась к аристократии крупных белых собственников для того, чтобы сперва унизить, а затем ограбить мулатов - собственников.

Возможно также, что, когда Бриссо выясняет нам аристократический и олигархический дух части белых колонистов, он несколько преувеличивает влияние, оказанное на их поведение их задолженностью. Гордость, желание удержать мулатов в зависимом положении и раз навсегда устранить на острове всякую мысль об освобождении рабов, достаточно об'ясняют их сопротивление, их бессильные стремления к сепаратизму. Однако он верно и глубоко отметил эту задолженность многих мятежных колонистов и ретроградное неистовство, внушаемое им их обнаружившимся безденежьем. Дошли ли они, как далее утверждает Бриссо в своей речи, до того, что стали мечтать об отделении от Франции или даже в самом деле собирались отделиться? Захотели ли они обратить острова в чуть ли не самостоятельное государство? Не думали ли они даже о том, чтобы заменить верховную власть Франции некоторого рода американским или английским протекторатом? Колонисты и умеренные резко протестовали против этих обвинений. Наверно, в самом деле, существовал некоторого рода, если можно так выразиться, конституционный сепаратизм. Крупные белые колонисты утверждали, что «Декларация Прав Человека» была издана не для колоний, что законы французских собраний не имели для них силы, и они не считались с ними. Во всем, касавшемся постановлений о личных правах, колониальные собрания претендовали на верховную власть.

Какое решение этого необычайного кризиса предлагали Бриссо и его друзья? Относительно этого среди жирондистов могли обнаружиться некоторые колебания. Парижский депутат Бриссо был свободен в своих действиях, а те из них, которые, как, например Жансоннэ и Верньо, были представителями города Бордо и крупной буржуазии портов, очень привязанной к Революции но также очень привязанной к своему колониальному богатству, оказались в более затруднительном положении. Следует отдать им справедливость в том отношении, что они не уклонились от исполнения долга. Бриссо, охотно разрешавший проблемы путем возбуждения обвинений, предложил жестокий декрет: он распускал существо-

вавшие тогда колониальные собрания, предавал Верховному Суду их главных членов, обвиняемых в том, что они изменили Франции, и вместе с ними губернатора Бланшланда, виновного в том, что он не донес на них за их сепаратистские и изменнические происки, учреждал новые колониальные собрания, члены которых были бы избраны голосами всех свободных людей, белых и мулатов при соблюдении лишь тех, установленных для французских граждан, общих условий, которым должны были удовлетворять избираемые и избиратели.

Наконец, он постановил, чтобы были отправлены комиссары, избранные из числа членов Собрания и формально уполномоченные приступить в Сан-Доминго, Мартинике, Санта-Луции, Гваделупе к выполнению этих энергических решений. Это являлось логическим выводом из его речи, оканчивавшейся следующими угрожающими словами: «Все эти измены не останутся безнаказанными».

Но этот вывод был не только жесток, но и, еще в большей степени, неполон; и здесь опять-таки сказывается странность ума Бриссо, который часто верно угадывал, раз'яснял сложные проблемы, устремлялся вперед, как бы импульсивным движением по рискованным путям, но никогда не обозревал всего поля действия и не доводил необходимых решений до конца. Он всегда останавливался на полдороге между осторожностью и сильною смелостью, вновь переходящею в осторожность. В его, с виду энергическом декрете недоставало одного существенного пункта: урегулирования положения негров-рабов. Бриссо, повидимому, забывал, что их восстание было в полном разгаре. Возбуждать обвинение против их непосредственных врагов, крупных белых колонистов, заседавших в колониальных собраниях в тот момент, когда они поднимались, угрожая и внушая ужас, значило сильно возбуждать их надежды. Но что же предлагал им декрет Бриссо? Ничего. Он уничтожал влияние олигархии белых; он не организовал колониальной демократии, которая была бы доступна для постепенно освобождаемых негров; это был ужасный пробел.

Верньо и Гюадэ не примкнули к ужасной и в то же время бесполезной системе Бриссо. Они ограничили проблему гораздо более узкими пределами. Стараясь щадить обидчивость и успокоить опасения крупных бордоских негоциантов, они не противятся немедленному от'езду войск, назначенных к отплытию в Сан-Доминго. Но они требуют, чтобы войскам было предписано защищать всякие соглашения, всякие комбинации, сближавшие белых колонистов и свободных мулатов. Два обстоятельства помогли им найти среднее решение. Во-первых, в Порт-о-Пренской области между белыми колонистами и свободными мулатами был заключен договор от 11 сентября. Белые колонисты, испуганные восстанием черных, пытались привлечь на свою сторону свободных мулатов; они обязались (конечно, еще не зная о декрете от 23 сентября, которым Учредительное Собрание отменило свой декрет, изданный в мае) соблюдать мартовский декрет, обеспечить свободным мулатам политическое равноправие.

«Статья 1. — Белые граждане будут действовать заодно с гражданами-мулатами и будут всеми своими силами и всеми способами содействовать буквальному исполнению всех пунктов декретов и инструкций Национального Собрания, утвержденных королем, и при том без ограничений и не позволяя себе истолковывать его по-своему.

«Статья 2. — Белые граждане обещают и обязуются никогда ни прямо, ни косвенно не противиться исполнению декрета от 15 мая, который, говорят, официально еще не получен в этой колонии, протестовать даже против всяких протестов и требований, противоречащих постановлениям вышеупомянутого декрета, а также и против всякого обращения к Национальному Собранию и королю, к 83 департаментам и к различным французским коммерческим палатам, с целью добиться отмены этого благотворного декрета.

«Статья 3. — Вышеозначенные граждане потребовали скорого созыва и открытия первичных и колониальных собраний для всех активных граждан согласно статье четвертой Инструкций Национального Собрания от 28 марта 1790 г.

«Статья 4. — Послать депутатами прямо в Колониальное Собрание и назначить депутатов, избранных из числа граждан-мулатов, которые, как депутаты от свободных граждан, будут иметь голос как совещательный, так и имеющий влияние на решение дел...

«Статья 7. — Граждане-мулаты требуют, чтобы, согласно закону от 11 февраля и чтобы не оставалось никаких сомнений относительно искренности готовящегося примирения, прекратились и были отменены всякие проскрипции; чтобы все лица, сосланные, осужденные и преданные суду из-за смут, происходивших в колониях с тех пор, как началась Революция, были немедленно возвращены, и чтобы они находились под священным и непосредственным покровительством всех граждан, чтобы они получили торжественное и законное удовлетворение за оскорбление их чести».

Если бы этот дух с самого начала господствовал в колонии, если бы он оказался в ней общим и искренним, то ясно, что согласие между белыми колонистами и свободными мулатами предотвратило бы беспорядки и позволило бы благоразумно и мирно приступить к разрешению проблемы рабства. Но в тот самый момент, когда комиссары национальной гвардии Порт-о-Пренса и комиссары национальной гвардии мулатов того же города рассуждают о «средствах, наиболее пригодных для примирения граждан всех классов и для прекращения успехов и устранения последствий восстания, одинаково угрожающего всем частям колонии» чувствуется, что дело идет лишь о непрочном местном соглашении, при котором многое подразумевалось.

Таким образом между тем как все статьи были приняты безусловно, статья, относящаяся к амнистии для мулатов, оканчивается следующим упоминанием: принято, поскольку это нас касается. Комиссары не смели ручаться за чувства тех людей, представителями которых они являлись. А мулаты выражают свое справедливое недоверие к статье 2-й.

«Кроме того, вышеупомянутые граждане-мулаты замечают, что та искренность, доказательства которой только что представили им белые граждане, не позволяет им умалчивать о тревожащих их опасениях, и вследствие этого они никогда не будут упускать из виду признания своих прав и прав своих братьев в других местностях; что их очень огорчило бы, если бы примирение, готовящееся в Порт-о-Пренсе и в других местах той же области, было затруднено в других местностях колонии; они заявляют, что в таком случае ничто не могло бы помешать им присоединиться к тем лицам из их среды, которые, вследствие старинных злоупотреблений в колониальном режиме, встретили бы препятствия, добиваясь признания своих прав и, следовательно, своего благополучия».

Итак, мулаты, которых так жестоко обманывали в течение двух лет, благородно представляют себе свободу присоединиться к своим братьям, если соглашение, заключенное между двумя расами в Порт-о-Пренсе, не распространится на весь остров. Ясно, насколько непрочно было это соглашение. К тому же большинство белых колонистов не придавало ему почти никакого значения. Тон и слова делегации, выслушанной Законодательным Собранием, достаточно показывают, что договор, заключенный в Порт-о-Пренсе, не выражал подлинного настроения умов. Однако Верньо, Гюадэ, Дюко придавали этому договору серьезное значение, и вся их политика клонилась к тому, чтобы обобщить его, упрочить его. Может быть, они в самом деле надеялись положить таким образом конец смутам. Может быть, также они были счастливы, имея возможность сказать бордским негоциантам, что, в конце концов, обеспечивая свободным мулатам политическое равноправие, они лишь санкционировали желание самих белых

колонистов. Наконец, этот договор доставлял им средство обойти декрет, изданный Учредительным Собранием 21 декабря. Оно отменило свой декрет от 15 марта и постановило, чтобы колониальные собрания окончательно разрешали все вопросы, относящиеся к политическим правам. Это было полное отречение от своих прежних решений в угоду отелю Массиак. Но казалось трудным добиться от Законодательного Собрания постановления, формально противоречащего постановлению Учредительного Собрания. Поэтому Верньо и его друзья прибегают к образу действий, выходившему, так сказать, за пределы легальности. Они пользовались договором, заключенным в Порт-о-Пренсе, как частным соглашением, и поручали войскам, посылаемым в Сан-Доминго, обеспечить его применение и содействовать его распространению. В то же время Жиронда старалась, по мере возможности, отделить интересы негоциантов французских портов от интересов белых колонистов. По правде говоря, между теми и другими не существовало коммерческой связи. Крупные бордоские арматоры и негоцианты нисколько не были заинтересованы в том, чтобы удерживать остров Сан-Доминго под игом белой олигархии. Достижение свободными мулатами политического равноправия не могло подвергнуть меновые сделки никакой опасности; наоборот, оно благоприятствовало бы им, расширяя основу колониального порядка. Но многие из портовых негоциантов были членами коммандитных товариществ, кредиторами сан-домингских белых собственников, и из боязни лишиться своих капиталов они слепо поддерживали претензии своих должников.

Жиронда старалась доказать бордоским капиталистам, что им следует держаться лучшего образа действий, и что в их истинных интересах было организовать в колониях законную процедуру, позволяющую кредиторам легко взыскивать причитающиеся им долги. Некоторые из членов Общества Друзей Конституции в Бордо или по убеждению, или для того, чтобы помочь жирондистским депутатам выйти из затруднительного положения, написали Собранию письмо в этом смысле, и 3 декабря Бриссо поспешил торжествовать по этому поводу:

«Какое бы решение вы ни приняли, нужнее всего, несомненно, безотлагательно внушить доверие коммерсантам и арматорам, находящимся в непосредственных сношениях с колониями и могущим ссудить им полезные для них денежные суммы. Итак, вы будете в состоянии внушить это доверие, лишь уничтожив коренной недостаток в колониальном режиме, неизбежно вызывающий большой беспорядок и недоверие у капиталистов и замедляющий обработку земельных участков. Для расчистки всех плантаций потребовались ссуды из метрополии, и, однако, когда негоциант требует от неисправного или недобросовестного плантатора уплаты, он не может наложить запрещение на плантации в обеспечение этой уплаты. В действительности кредитор находится в зависимости от своего должника; боязнь деспотизма своего должника побуждает кредитора снова давать в долг денежные суммы для того, чтобы не лишиться тех сумм, которые он уже ссудил, а должник, будучи уверен в том, что он может повелевать, пред'являет беспредельные требования, всегда сопровождаемые угрозою разорить своего кредитора. Отсюда вытекает эта столь безусловная независимость колонистов от всех законов, от всех принципов, от всякой нравственности; отсюда вытекает их необузданная роскошь, их беспредельная фантазия, одним словом, их поведение, во всем сходно с поведением тех богатых мотов, которых дурное воспитание обрекло в жертву всяким порокам; отсюда же вытекают и убыточные отношения между ними и их кредиторами, вследствие которых плантаторы вынуждены платить более высокие цены за вещи, в которых они нуждаются, как для успешного ведения хозяйства, так и для личного повседневного потребления.

«Могут ли люди, от самой колыбели окруженные рабами, не сдерживаемые никакими узами, научиться правилам и обязанностям благоразумной экономии?

И может ли человек, ссужающий им денежные суммы, принимать иные предосторожности, кроме условий, служащих для него страховой премией против всегда оказывающегося ненадежным должника? Итак, не следует удивляться этой всегда тягостной задолженности, беспрестанно заставляющей колонистов желать перемен, и внушающей их кредиторам беспрестанные опасения.

«Капиталисты боятся не столько гибели торговли и утраты колоний (потому что они поддерживаются прочно обоснованными соглашениями), сколько банкротства, которое повлекло бы за собою потерю значительных капиталов и в то же время надолго лишило бы их обычных доходов. В этом, господа, и состоит тайна союза, так долго существовавшего между колонистами и негоциантами. Первые грубо приказывали вторым. Они говорили коммерсантам: помогите нам вашим кредитом во Франции, чтобы сокрушить наших врагов, льстить нашей гордости и т. д. Таков союз, вызвавший в пользу колоний, против филантропии, эти адреса, подаваемые после униженных просьб, и в которых обиженный кредитор еще защищал и расхваливал должника, которого в глубине души ненавидел. Таков союз, который город Бордо имеет честь первый расторгнуть, восставая против несправедливых притязаний колонистов; он, наконец, почувствовал, что солидная торговля, в особенности в свободной стране, могла основываться лишь на уважении к принципам и к обязательствам, и что свободным людям неприлично лгать пред своею совестью для того, чтобы продать несколько бочек вина или получить несколько процентов на свои капиталы; он почувствовал, что хороший закон относительно колониальной торговли оказал бы лучшую услугу колониальной торговле и вернее обеспечил бы ему уплату долгов, чем торговля, связанная с ложью и с оскорблениями. (Аплодисменты.)

«При нынешних обстоятельствах помочь арматорам в метрополии — значит помочь колонистам: вы наверно откроете последним новый источник кредита, который вскоре вознаградит их за их потери. Закон, который вы издадите для того, чтобы предоставить кредиторам право налагать запрещение на недвижимые имущества их должников, не придавая этому закону обратно действующей силы, обеспечит им несравненно более значительную и более плодотворную помощь, чем все те деньги, которые вы могли бы извлечь из национальной казны для того, чтобы подарить или одолжить их им... Эх, господа, с какой стати колонисты воспротивились бы столь справедливому закону? Он существует в английских колониях... Англичане прежде всего издали бы этот закон, если бы могли иметь успех те изменники, которые собирались сделать их господами наших колоний».

Жиронда очень старалась отделить негоциантов от колонистов и, по правде говоря, каким образом могла бы она продолжать в колониях политику Бриссо, если бы буржуазия портов, представителями которой являлись наиболее выдающиеся из ее членов, была против нее?

Тактику Жиронды очень удачно поддерживали делегаты от Сен-Пьера на Мартинике. В Сен-Пьере, как мы видели, некоторые негоцианты играли по отношению к крупным собственникам внутри острова такую же роль заимодавцев, капиталистов, какую купеческая буржуазия портов Франции играла по отношению к собственникам в Сан-Доминго. Негоцианты явились к решетке Законодательного Собрания для того, чтобы жаловаться именно на недобросовестность и на ретроградные расчеты своих неисправных должников. 7 декабря делегаты Крассу и Кокилль Дюгоммье говорили в Собрании: «Я должен сказать по правде, что первые свободные голоса одинаково взволновали все части Мартиники: все с некоторым энтузиазмом праздновали разрушение Бастилии. Но это впечатление не везде привело к одним и тем же последствиям: оно было чисто в Сен-Пьере; граждане полагали, что они составляют часть нации, что они не могли сбиться с пути, идя с нею; они во всем имели в виду великий принцип

равенства и свободы; у них были комитет, муниципалитет, народные собрания, национальная гвардия; *они забыли, что они являлись кредиторами.* и в деревнях к ним дружески относились, им подражали целые приходы, или, по крайней мере, у них оказалось множество сторонников».

Однако в Колониальном Собрании, образовать которое побудили граждане Сен-Пьера, они тотчас же оказались в меньшинстве по сравнению с крупными собственниками. «Палата, составившаяся из губернаторов, владельцев больших поселений, начальников милиции или стремившихся стать ими, которые почти все были обременены долгами, подчинила Революцию своим корыстолюбивым и гордым расчетам, и Колониальное Собрание служило для них уже лишь средством для того, чтобы присвоить себе власть».

Делегаты от Сен-Пьера напоминают (мы уже отметили этот факт), что белым собственникам удалось возбудить мулатов против негоциантов и капиталистов Сен-Пьера. Ничто не могло сильнее раздражить французских негоциантов, чем этот союз. Как! Сан-Домингские белые колонисты жалуются на то, что свободные мулаты, которых они долго отталкивали от себя, действуют заодно с восставшими неграми! А мартиникские белые колонисты для того, чтобы восстать против своих кредиторов, против негоциантов, подстрекают к восстанию свободных мулатов и даже рабов! Не оказываются ли, следовательно, эти белые колонисты повсюду как в Сан-Доминго, так и в Мартинике недобросовестными должниками? Бордоская буржуазия должна была ощущать некоторое беспокойство, и делегаты от Сен-Пьера, наверно, произвели впечатление, показав на примере г-на Дюбюка, к каким предательским и бесчестным комбинациям могли прибегать должники на островах для того, чтобы уклониться от уплаты своих долгов. «Г-н Дюбюк-отец, прежде служивший в морском министерстве и бывший главным интендантом колоний, должен государству 1.580.627 ливров французскими деньгами и причитающиеся с этого капитала проценты за два года, составляющие 226.000 ливров. Эта сумма, признанная договором, заключенным с г-ном де-Кастри, морским министром, 22 февраля 1786 года обеспечена закладом поселения, расположенного в участке Троицы на Мартинике: она была ссужена ему для устройства сахарного завода.

«Задолго до революции, г. Дюбюк писал против сосредоточения торговли в Сен-Пьере для того, чтобы привлечь ее в тот участок, в котором находится его сахарный завод. В 1787 г. побудили тогдашнее Колониальное Собрание обложить колониальным налогом торговлю в Сен-Пьере, и он внушил сельским жителям желание уничтожить этот город.

«Город был об'явлен враждебным колонии, потому что он дружелюбно относился к метрополии; его поклялись погубить, потому что он являлся непреодолимым препятствием для выполнения *проектов, изложение которых я нахожу в письмах г-на Бельвю-Бланшетьера,* чрезвычайного депутата Колониального Собрания. Я не стану приводить вам его злых бранных речей против Учредительного Собрания и против нового порядка вещей; *но он писал г-ну Дюбюку-сыну* 28 марта 1790 г.;

«Я считаю возможным, что в то время, когда вы будете читать это письмо, вы будете находиться под властью англичан. Имейте в виду, что если бы это случилось, следовало бы принять решительную меру относительно долга г-на Дюбюка королю. Этот долг причитался бы английскому королю; следовало бы представить те заключенные здесь сделки, которые лишили бы победителей права требовать его уплаты».

В самом деле, это значило очень скоро покориться господству Англии. и когда кто-нибудь так спешит рассчитывать на то, что победа врага позволит

уклониться от уплаты долга Франции, он не очень далек от того, чтобы желать этой победы.

Итак, сен-пьерские негоцианты помогали Жиронде возбудить недоверие буржуазии французских портов против белых колонистов.

Но при всех этих столкновениях вопрос о рабах не был ясно поставлен. В самом деле, в Законодательном Собрании боролись между собою две различные системы укрощения восставших рабов. Делегаты сан-домингских колонистов желали, чтобы Франция послала войска для подавления как негров-рабов, так и присоединившихся к ним свободных мулатов.

Жиронда с Гюадэ и Верньо желала, чтобы в основу умиротворения был положен договор от 11 сентября, заключенный в Порт-о-Пренсе, чтобы белых колонистов и мулатов примирили политическим равноправием и чтобы, пользуясь этою восстановленною силою, прекратили восстание рабов. Но для обезоружения этих последних никто не предлагал сделать им уступку или дать им какое-нибудь обещание. Бланжилли, депутат от департамента Устьев Роны, смутился этим молчанием и приготовил замечания насчет полной бесполезности средств, принимаемых для усмирения смут в Сан-Доминго, если в то же время не будет улучшена участь негров-рабов, если колонисты не воспретят чрезмерных строгостей, которые они позволяют себе по отношению к ним.

Он говорит там:

«Можно ли удивляться восстанию негров? Кто же с самого детства не слышал, что колонии погибли бы благодаря общей резне? Кто же не слышал о многочисленных попытках, делаемых неграми в продолжение уже более века, с целью избавиться от своего невыносимого рабства? Кто же, наконец, может не знать, что мщение рабов разрушило величайшие государства?»

И он констатировал, что, занявшись исключительно распрею между белыми колонистами и мулатами, собрание, повидимому, забыло о неграх-рабах:

«Как! Наиболее многочисленный и наиболее оскорбляемый из трех классов не пользуется никакими правами и не может пред'являть никаких жалоб? Не было ли естественно задаться вопросом о мотивах его отчаяния вместо того, чтобы призвать к порядку того из нас, кто пожелал сказать слово в защиту негров?.. Ужасная участь негров недостаточно известна, и лица, имеющие некоторое понятие о ней, несомненно, думают, что совершенно невозможно облегчить ее... Следует опровергнуть утверждение, согласно которому будто бы невозможно без затруднения смягчить чрезвычайные жестокости рабства».

И депутат от Устьев Роны, предаваясь своим воспоминаниям, излагает некоторые из тех ужасов, о которых он, конечно, слышал с детства рассказы мореплавателей:

«Множество раз видели, как они, будучи рассекаемы, умирали под ударами кнута или сами себя убивали, ударяясь головой о камень, к которому они были прикованы. Можете ли вы поверить, что не щадят женщин накануне родов? Можете ли вы поверить, что после восьмилетнего труда, сильнейшего человека, лишившегося сил, беспощадно прогоняют, и тогда ему приходится питаться мышами и мертвыми животными? Путешественник часто встречал на своем пути ужасную сцену, когда один труп пожирает другой труп. Назвать ли вам двух известных братьев, богатых порт-о-пренских колонистов, которые сожгли некоторых из принадлежавших им негров, и одного из них за то, что он пересолил рагу? Назвать ли вам некоторых мартиникских колонистов, недавно сжигавших негров на кострах? В Гваделупе нашелся такой колонист, который медленно умерщвлял своих негров, заставляя их проглатывать горячую золу; а когда они иногда сбрасывают свои оковы, считаете ли вы возможным, что на этих несчастных охотятся, как на дичь, что за ними гоняются с собаками

и, поразив их, с торжеством несут их головы в город?.. Такою ценою разводятся драгоценные произведения, назначенные для нашего удовольствия».

Бланжилли предлагал план постепенного освобождения и гарантий, о котором следует упомянуть, потому что, если я не ошибаюсь, это был первый план, представленный французскому Собранию и поэтому, хотя он не обсуждался, хотя и даже не был изложен с трибуны, но только сообщен, будучи напечатан, хотя и тогда показался наполовину скандальною попыткою, которую не следовало бы оглашать, он является предвестием освободительных законов и поэтому имеет истинное историческое значение:

«Статья 1. — На всем протяжении французских владений колонисты не могут ни под каким предлогом бить своих рабов, и постановление «Свода законов о неграх», ограничивающее число ударов кнутом, отменяется.

«Статья 2. — Колонист, который побьет своего раба, лишается всякой власти над ним. Колонист будет уличен в своем преступлении, когда шесть свидетелей, не принадлежащих к числу его рабов, засвидетельствуют факт судебным порядком. Полицейский суд примет словесную жалобу раба. Он решит тяжбу через три дня после выслушания свидетелей и предпишет отпустить раба на волю, если окажется повод к этому.

«Статья 3. — Колонист, которому придется жаловаться на какого-нибудь из его рабов за отказ последнего от работы или за воровство, подаст жалобу согласно нижеизложенному постановлению. В главном городе каждого кантона будет устроен смирительный дом. В этих домах будут помещаться те негры, на которых их господа подадут жалобы. Они могут быть обмениваемы по взаимному согласию их господ на определенное время; если же обмен не может состояться, то негр будет содержаться в заключении, при чем его будут кормить на счет его господина...

«Статья 6. — Негры, которые уже не могут работать, вследствие их слабости или старости, будут продолжать получать обычное пропитание, а господ, которые отказались бы от этого, заставят кормить их в богадельне госпиталя, в который явятся негры.

«Статья 7. — Рабы, у которых окажутся достаточные средства для того, чтобы выкупиться, могут отныне делать это, если они этого потребуют. Цена выкупа будет установлена в размере средней цены при торге неграми на местах в течение года. Акт, удостоверяющий отпущение на волю, будет выдаваться безвозмездно и без взимания каких-либо поборов.

«Статья 8. — Дети негров-рабов будут отныне свободны от рождения. Господа могут требовать от них услуг, соответствующих их возрасту, до тех пор, пока им исполнится двенадцать лет, за прокормление, а после этого дети-негры могут требовать сверх того по два су в день, пока им исполнится семнадцать лет, если они захотят остаться у своих господ...

«Статья 10. — Негры, находящиеся ныне в рабстве у одного и того же господина в продолжение четырех лет, будут свободны и отпущены на волю в течение четырех лет с обнародования этого закона. Вновь приобретаемые негры будут освобождаемы и отпускаемы на волю при соблюдении тех же обязательств через восемь лет, считая с тех пор, как они были в первый раз куплены. С тех пор они будут обязаны работать или самостоятельно или поденно. Поденная плата будет равняться шести франкам колониальными деньгами с кормом. В городах не будет установлено определенной поденной платы, но муниципалитеты будут обязаны ограничить число работающих там негров так, чтобы не страдала торговля и чтобы сельские негры не стекались в города».

Бесполезно рассматривать ценность этого плана, так как Собрание даже не обсуждало его. Но это — первая определенная попытка разрешить проблему

рабства законодательным путем и хотя к ней отнеслись с пренебрежением и чуть ли не подозрением, она сохраняет большое значение для истории.

В Законодательном Собрании партии согласились отклонить вопрос о неграх-рабах. Но даже и столь умеренный проект Гюадэ и Верньо, принимавший к сведению соглашение, заключенное между свободными мулатами и белыми колонистами и рекомендовавший его распространение, вызвал сопротивление большинства. Умеренные утверждали, что Учредительное Собрание отменило своим сентябрьским декретом, имевшим конституционное значение, прежние декреты, благоприятные, для мулатов, и предоставило колониальным собраниям неограниченное право разрешать этот вопрос по их усмотрению. Вмешиваться для того, чтобы придать чуть ли не силу закона договору, предоставлявшему свободным мулатам политические права, значило бы присвоить себе права колониальных собраний, значило бы нарушить или извратить декрет Учредительного Собрания; это значило бы нарушить самую Конституцию. И таково было влияние интересов собственников, таково было также сначала почти суеверное уважение Законодательного Собрания к делу Учредительного Собрания, что Верньо и Гюадэ должны были отказаться от своего предложения. Жансоннэ, депутат от Бордо был вынужден смягчить его до такой степени, что оно лишилось всякого значения, потребовав не распространения соглашения на весь остров, а лишь того, чтобы воспрепятствовать его возможным нарушениям. Вот этот бледный недействительный декрет, принятый 7 декабря:

«Национальное Собрание, принимая во внимание, что, главным образом, союз между белыми и свободными мулатами способствовал прекращению восстания сан-домингских негров; что этот союз подал повод к различным соглашениям между белыми и мулатами, и к различным постановлениям, принятым относительно мулатов 20 и 25 сентября колониальным собранием, заседающим в Капе, декретирует, что король будет приглашен отдать приказания, чтобы национальные войска, назначенные в Сан-Доминго, могли употребляться лишь для подавления восстания негров, при чем их нельзя ни прямо, ни косвенно употреблять для защиты возможных посягательств на то положение свободных мулатов, которое было установлено в Сан-Доминго 25 сентября, или для содействия подобным посягательствам».

Но капское Колониальное Собрание вовсе не признало политических прав свободных мулатов. Оно лишь дало им право собираться для составления петиций и «выразило свое намерение улучшить их положение». Это была жалкая двусмысленность, и декрет Законодательного Собрания, являвшийся кратким, неясным отражением этого колониального лицемерия, не мог ничего сделать для успокоения острова.

Известия, полученные Собранием в декабре, январе, феврале и в марте усилили общественное возбуждение; беспорядки распространялись; раздраженные свободные мулаты, мало доверяя непрочным соглашениям, заключенным в нескольких местах на острове, присоединялись к восставшим неграм или даже побуждали их к восстанию. И даже казалось, что там, где свободные мулаты оставались спокойными, негры-рабы не восставали. Итак, с каждым днем становилось все более и более очевидно, что если оставался какой-нибудь шанс на усмирение острова, то он заключался в том, чтобы успокоить мулатов, предоставив им политические права.

Тщетно умеренные, представители белых колонистов, продолжали упорно сопротивляться. Вышеуказанная мера становилась с каждым днем все более и более настоятельно необходимою: к тому же усиливалось влияние Жиронды и во второй половине марта, как раз тогда, когда жирондистское министерство достигло власти, начались решительные прения. Гюадэ в резкой и сильной красноречивой речи утверждал, что декрет от 24 сентября, изданный Учредительным Собранием,

не составлял части конституции, что поэтому его можно было изменить, и что это следовало сделать по политическим соображениям.

Как будто для того, чтобы ознаменовать в этом столь спорном вопросе о колониях победу жирондистов над фельянами, Гюадэ не раз цитировал речь Барнава, произнесенную в сентябре 1791 г., чтобы опровергнуть ее: и эта, так сказать, ретроспективная борьба против Барнава свидетельствует, что о молодом и блестящем адвокате умеренной буржуазии осталось глубокое воспоминание. «Я рассмотрю, — воскликнул Гюадэ, — только принцип, выраженный г-ном Барнавом и, пользуясь его собственными выражениями, повторяя с ним, что прошедшее подготовляет будущее, я скажу вам: хотите ли вы спасти Сан-Доминго? Отмените декрет от 24 сентября и сохраните в силе мартовский декрет. Относительно этого уже не существует ни сомнений, ни колебаний: все заинтересованные стороны признали, что от этой меры зависит спасение колоний; договор, заключенный между ними, заранее осудил декрет от 24 сентября, как пагубный. Желать его исполнения, значило бы желать полной гибели колоний, это значило бы навлечь на королевство величайшие, ужаснейшие бедствия. Поспешите же,—воскликну я, в свою очередь,—теперь же разрешить этот вопрос так, как я имею честь вам предложить. Не бойтесь великой, глубокой и решительной меры, которая непременно должна спасти отечество: сегодня ваше постановление решит судьбу Франции, потому что, не обманывайтесь относительно этого, если, сохраняя в силе декрет от 24 сентября, вы оставите решение вопроса о политическом положении мулатов в руках белых колонистов, то колония Сан-Доминго потеряна и вы оставите в наследство вашим преемникам не только вечную войну и бесконечные смуты, но, вместо самой цветущей в мире колонии, развалины и груды пепла».

Указывая на малодушие Барнава и на ошибочность его взгляда, он энергически сказал: «Представители народа сочли угнетателей более сильными, чем угнетенных, и покинули последних из боязни, что колония погибнет с ними. Но, к счастью, этот расчет, столь неутешительный для друзей свободы, оказался ложным: тираны (т.-е. белые колонисты) оказались более слабыми, что я говорю, они побеждены, они не посмели сопротивляться; они не посмели воспользоваться этим декретом, от которого, как имели смелость утверждать крамольники, принадлежащие к их партии, будто бы зависит спасение колоний; они заранее отменили его и лишь благодаря этой мере они спасли свое имущество, свою жизнь, всю колонию... Какой же мотив еще удерживал бы вас? Почему же вы, издавшие этот варварский, но, по вашему мнению, необходимый декрет, медлите с его отменою? Вы дали мне лекарство для того, чтобы вылечить меня; доказано, что оно меня убьет; неужели же вы допустите, чтобы я его проглотил, и не вырвете роковой чаши из моих рук? (Неоднократные аплодисменты.)

«Простите, господа, что я так настаиваю на этом пункте, но именно в нем заключается вся трудность. Потому что,—я говорю это с сожалением, но этого требуют от меня выполняемые мною здесь функции, — прежде всего следует выяснить, какой из двух декретов: декрет от 8 марта или декрет от 24 сентября должен погубить колонии; не потому, что, по моему мнению, судьба Франции связана навеки с их сохранением, но потому, что она связана с ним по крайней мере в данный момент; но потому, что после бедствий, неразлучно связанных с революцией, среди со всех сторон делаемых усилий повернуть ее вспять и разных, грозящих нам опасностей, внезапно лишившись наших колоний, мы могли бы в то же время лишиться нашей свободы.

«Следовательно, скажут мне, вы жертвуете принципами выгоде, вы ставите политику выше справедливости... Ах, господа, эта мысль далека от меня: политика исходит от людей, а справедливость исходит

от бога; я надеюсь никогда не забывать этого». (Аплодисменты.)

Заметьте это выражение, свидетельствующее о деизме, на которое, как мне кажется, не обращали внимания и которое мы вспомним, когда Гюадэ вскоре резко обвинит Робеспьера в том, что он произнес у якобинцев слово провидение.

Я тороплюсь и могу дать лишь очень слабое понятие о чудесной, столь убедительной, отличающейся такими вариациями тона речи Гюадэ, в которой острая и агрессивная аргументация поддерживает живое, гуманное, душевное движение. Я отмечаю еще только два пункта, а именно то, что он говорил относительно общественного мнения в портах и то, что он говорит о мнимо-конституционном и будто бы неотменном характере декрета от 24 сентября: «Возражая мне, может быть, укажут на противоположное мнение, выраженное некоторыми торговыми городами, и повторят то самое, что говорил г. Барнав 24 сентября, а именно, что интерес коммерсантов является здесь интересом самой Франции. Но пусть соблаговолят не включать в число этих торговых городов важнейшего из них, а именно города Бордо, который беспрестанно требовал гражданских прав для свободных мулатов и, настолько же гордясь этим поведением, как и теми оскорблениями, которые он навлек им на себя со стороны г-на Марта де-Гуи, никогда не противоречил ему и не станет ему противоречить. Пусть соблаговолят также не причислять к торговым городам, не желающим отмены декрета от 24 сентября и города Нанта, который, наконец, выяснив себе истинный характер смут в Сан-Доминго и способы прекратить их, указал в петиции, подписанной 600 гражданами, как на один из этих способов, на отмену декрета от 24 сентября.

«Итак, что же остается?—Гавр. Но следует заметить, что этот город поддерживает торговые сношения в наших колониях только с белыми, что у него, к тому же, имеются основанные там торговые дома, и что таким образом дело белых колонистов является, так сказать, его собственным делом.

«Эх! Без этого, господа, разве можно было бы понять то озлобление, которое коммерсанты этого города проявили против мулатов? Разве можно было бы понять, что этот город, где, впрочем, встречается и патриотизм, мог стать очагом заговора против принципов гуманности и справедливости, которыми руководилось Национальное Учредительное Собрание по отношению к мулатам до 18 мая? Можно ли было бы понять ту варварскую радость, которую он выразил когда пришло известие о казни Ожэ? Можно ли было бы понять те проклятия, которым он предавал память этой несчастной жертвы ярости белых колонистов?»

Итак, жирондисты, несомненно, с некоторым преувеличением гордились тем, что по поводу этого вопроса они привлекали на свою сторону почти всю буржуазию портов. Во всяком случае, им удалось раз'единить ее.

Относительно второго пункта, доказав, не без некоторой натяжки, что учредительные полномочия Учредительного Собрания уже прекратились до того, как оно издало свой декрет от 24 сентября, так как оно уже само об'явило, что его труды окончены, Гюадэ восклицает: «Господа, я не стану настаивать на том, что оспариваемый мною здесь принцип противоречит верховной власти народа; я ограничусь замечанием, что если хорошему гражданину свойственно проявлять свое уважение и свою любовь к Конституции, то свободному гражданину неестественно выказывать идолопоклонство по отношению к Учредительному Корпусу и утверждать, что, подобно богу, он сохраняет свое всемогущество, окончив свое». (Аплодисменты.)

Замечательные слова, так как я полагаю, что в первый раз верховная власть народа была поставлена выше Конституции 1791 г. Было задето «идолопоклонство» по отношению к той священной книге, которую молодые люди и старики торжественно принесли в Законодательное Собрание. Но, по правде говоря, по отношению к вопросу о колониях, Учредительное Собрание обнаружило такую непредусмотрительность и такое непостоянство, что Франция не могла быть навсегда связана последним из его противоречивых декретов. Несмотря на искусные ответы Вьено-Воблана и Матье Дюма, Собрание почти единогласно приняло жирондистское предложение. Жансоннэ в последний раз прочитал его 24 марта 1792 года.

«Национальное Собрание, принимая в соображение, что враги общественного дела воспользовались этого рода раздорами для того, чтобы подвергнуть колонии опасности полного разорения, возмущая мастеровых, дезорганизуя общественную силу и раз'единяя граждан, только совместные усилия которых могли избавить их имущества от ужасов грабежа и пожара;

«Что этот искусный заговор, повидимому, связан с проектом заговора против французской нации, которые были задуманы сразу в обоих полушариях;

«Принимая в соображение, что можно надеяться на то, что любовь всех колонистов к отечеству побудит их, забыв о причинах раздоров и о взаимных винах, явившихся их последствием, безусловно согласиться на спокойное, откровенное и искреннее примирение, которое одно лишь может предотвратить смуты, жертвами которых все они одинаково явились, и дать им возможность пользоваться выгодами прочного и долговременного мира;

«Декретирует, что следует признать неотложную спешность этого вопроса. Национальное Собрание признает и декретирует, что мулаты и свободные негры должны пользоваться такими же политическими правами, как и белые колонисты, и, декретировав неотложность вопроса, декретирует нижеследующее:

«Статья 1. — По обнародовании этого декрета, в каждой из французских колоний на Наветренных и Подветренных островах следует немедленно приступить к новым выборам в колониальные собрания и в муниципалитеты при соблюдении форм, предписанных декретом от 8 марта 1790 г. и инструкцией Национального Собрания от 28 числа того же месяца;

«Статья 2. — Цветные, мулаты и свободные негры будут пользоваться такими же политическими правами, как и белые колонисты; они будут допущены к участию в выборах во всех первичных собраниях и во всех собраниях выборщиков и они будут иметь право быть избираемыми на всякие должности, когда они будут удовлетворять условиям, предписанным статьею 4 инструкции от 28 марта.

«Статья 3. — Король назначит гражданских комиссаров, а именно: трех для колонии Сан-Доминго и четырех для островов Мартиники, Гваделупы, Санта-Люция и Табаго.

«Статья 4. — Комиссары уполномочены принимать постановления о прекращении заседаний ныне существующих Колониальных Собраний и даже распускать их, принимая все необходимые меры для созыва приходских собраний и поддерживать в них единение, порядок и мир, а также временно, с предоставлением права апелляции к Национальному Собранию, решать все вопросы, которые могут возникнуть относительно правильности выборов, заседаний собраний, формы выборов и избирательных прав граждан.

«Статья 5. — Они также уполномочены наводить всевозможные справки относительно виновников смут в Сан-Доминго и продолжения этих смут, если бы оно наступило, и задерживать виновных, подвергать их аресту и препровождать их во Францию, для предания их там суду, в силу декрета Законодательного Корпуса, если к этому представится повод.

«Статья 6. — Гражданские комиссары обязаны будут в виду этого отправлять Национальному Собранию составленные ими протоколы и поступившие к ним показания, относительно вышеупомянутых обвиняемых.

«Статья 7. — Национальное Собрание уполномочивает гражданских комиссаров вызывать войска всякий раз, когда они сочтут это нужным или для своей собственной безопасности, или для исполнения приказов, отданных ими в силу предшествующих статей.

«Статья 8. — На исполнительную власть возлагается обязанность отправить в колонии достаточное количество войск, бóльшая часть которых должна состоять из национальных гвардейцев.

«Статья 11. — Соединенные Комитеты Законодательный, Коммерческий и Колониальный немедленно займутся составлением проекта закона для обеспечения кредиторам пользования заложенными недвижимыми имуществам их должников во всех французских колониях».

Этот важный декрет означает в колониальном вопросе конец политики фельянов и олигархии белых колонистов. Принятые постановления достаточно строги для того, чтобы на этот раз декрет был выполнен. Правда, гражданские комиссары назначаются королем. Собрание не осмеливалось само назначить их. Однако в первоначальной редакции декрета Жансонэ предусматривал, что комиссары будут назначаться не из членов Собрания, но самим Собранием: это был шаг к верховным делегациям, которые впоследствии будут назначаемы Конвентом. Однако, Законодательное Собрание протестовало против этого и, почти единогласно, с одной стороны, фельянами, не желавшими причинить непоправимый ущерб исполнительной власти, а с другой стороны, и жирондистами, делавшими вид, что выбор новых министров успокоил их относительно действий короля, была вотирована постановка предварительного вопроса о том, стоит ли рассуждать об этом предложении.

Мерлэн из Тионвилля, бывший почти единственным представителем антиколониальной политики в Собрании и потребовавший к великому негодованию всех своих товарищей, чтобы колониальные интересы были отделены от интересов метрополии и чтобы колония Сан-Доминго позднее сама уплатила издержки экспедиции, отправленной для оказания ей помощи, Мерлэн воспротивился тому, чтобы комиссары назначались Собранием. Он желал возложить всю ответственность на короля, и в то же время и он тоже говорил о своем доверии к новым министрам.

Камбон восстал против назначения комиссаров королем. Он желал, чтобы комиссары избирались совместно Собранием и королем. «Мне жаль,—сказал он,— что друзья свободы сами протежируют агентам короля, потому что начинает функционировать новое министерство». На самом деле, произведенные назначения доставили удовлетворение Жиронде, так как через три месяца после этого, 15 июня, Верньо предложил и побудил принять без прений добавочный декрет, расширявший полномочия гражданских комиссаров, предоставивший им право распускать не только Колониальные Собрания, но еще и провинциальные собрания и муниципалитеты, давший им право требовать содействия военного флота для беспрепятственной высадки и облекавший их официальными знаками, свидетельствующими об их власти. «Гражданские комиссары будут носить при исполнении своих обязанностей трехцветную ленту через плечо, к которой будет при-

креплена золотая медаль с надписями, с одной стороны: нация, закон и король, а с другой: гражданский комиссар». Это уже тот шарф, который впоследствии носили члены Конвента, посылаемые к армиям.

Гюадэ не ограничился в своей речи опровержением докладов Барнава и теорий, изложенных им в Учредительном Собрании. Он нападал на него лично чрезвычайно резко. Он сказал, что Барнав принял «за ужасы Сан-Доминго ужасы отеля Массиак», и что Барнав и Малуэ даже посещали отель Массиак для того, чтобы сговариваться с представителями колонистов.

Теодор де-Ламет (его два брата, Александр и Шарль не могли быть членами Законодательного Собрания) поднялся, чтобы защищать своего друга. Его голос был заглушен свистками. Из Гренобля Барнав прислал 2 апреля ответ Гюадэ. По существу дела этот ответ был слаб: Барнав не может оправдаться пред судом истории по обвинению в том, что своим потворством белым колонистам он обнадежил эгоистическое сопротивление, которое легко было бы сломать при некоторой твердости. Но он мстил, указывая в угрожающих и несколько неясных выражениях на пробелы и на недостаточность декрета, поддержанного Гюадэ, где не было речи о громадном вопросе о неграх-рабах.

«Впрочем,—говорил Барнав,—не следует скрывать от себя, что принятое решение влечет за собою громадные последствия: оно возбуждает, оно ускоряет наступление великого кризиса природы. Мы достигли такого пункта, что было бы в высшей степени пагубным заблуждением воображать, что установлен прочный порядок и закрывать глаза на будущее все равно, хотят ли способствовать действию этого сильного толчка или ослабить его, одинаково необходимо предвидеть его, потому что, если своевременно не принять сильных мер или для того, чтобы предотвратить вызываемое им движение, или для того, чтобы направить его, то, если не вмешиваться в ход событий, через несколько лет получились бы еще более ужасные результаты, чем те, которые мы видели, и все системы смешались бы в общем бедствии»

Открывая эти широкие и мрачные перспективы, Барнав мстил Жиронде: в самом деле, после декрета, дававшего удовлетворение свободным мулатам, ставшим благодаря ходу событий союзниками негров-рабов, у этих последних должно было усилиться стремление к свободе: но проект, принятый Законодательным Собранием, не делал ничего для того, чтобы урегулировать это стремление или расчистить путь, ведущий к его осуществлению.

Дюко отважился 26 марта предложить Собранию проект, состоявший из четырех статей, из которых первая гласила: «Всякий ребенок-мулат будет свободен с самого рождения, каково бы ни было положение его матери». Собрание с негодованием постановило, что следует решить, стоит ли рассуждать о сделанном предложении, и Дюко не мог даже отстаивать своего мнения с трибуны.

Смуты в Сан-Доминго, наверно, вызвали некоторое беспокойство в портах и расстройство в общей деятельности страны. Меновые сделки между Францией и островами были настолько значительны, они составляли столь важную часть экономической деятельности Франции, что одна боязнь уничтожения или хотя бы даже приостановки или просто упадка этой крупной торговли сильно волновала умы и интересы.

Однако не следует думать, что торговым сделкам между Францией и Наветренными и Подветренными островами сразу и уже с 1792 года грозила опасность. Сперва крики ужаса колонистов вызвали некоторую панику, но вскоре выяснилось, что бедствие было довольно ограничено, что число сожженных и в самом деле ставших неспособными к производству заведений было невелико и что во многих пунктах свободные мулаты и цветные, отчасти успокоенные договорами, заключенными с колонистами, могли или усмирить или предотвратить восстания рабов.

Итак, множество кораблей продолжало отплывать от наших пристаней, направляясь к отдаленным островам, везя туда вина и сукна,—французские продукты — и привозя оттуда сахар и кофе.

Газета Бриссо прямо пишет в номере от среды 25 января: «Если предположить, что сожжено двести сахарных заводов, а эта цифра выше действительной, то это не оставило бы одной шестой доли обычного сан-домингского производства, и заметьте, что если были сожжены строения, то не был сожжен сахарный тростник».

Если не доверять утверждению Бриссо, который мог уменьшать размеры бедствия, за главного виновника которого его с озлоблением выдавали умеренные и белые колонисты, то мне кажется по крайней мере, что слова ораторов всех партий не оставляют никаких сомнений на счет этого. Во время больших мартовских прений жирондисты и умеренные, повидимому, единогласно признают, что опустошения были прекращены. Гюадэ говорит: «Кто же прекратил восстание рабов в Сан-Доминго? Союз свободных и белых колонистов. Кто же предотвратил его на острове Мартинике? Союз свободных мулатов и колонистов. Этой мере, этой единственной мере все официальные сообщения из Мартиники и Сан-Доминго приписывают сохранение этих островов».

Эти слова не вызвали ни одного возражения. Итак, Собрание знало, что бедствие было остановлено.

Умеренный оратор Матье Дюма рисует очень мрачную картину положения Сан-Доминго, но из нее ясно, что если торговые сношения Франции с большими островами несколько расстроились и как будто стали нерегулярными, они на самом деле не пришли в упадок. Мне кажется, что он скорее предчувствует будущие опасности, чем указывает на непосредственные убытки.

«Я надеюсь, что нам удастся усмирить беспорядки в колонии; но они уже оказывали роковое влияние на торговлю и на национальное мореплавание. Иностранцы спешат захватить часть торговли, которую вели исключительно наши порты. Администраторы и суды не в силах воспрепятствовать этим предприятиям; они все более и более будут прикрываться предлогом оказания помощи этим разоренным странам. Эти связи не будут уже даже прикрываться теми переодеваниями, к которым прибегала контрабандная торговля, и между тем как мы спасем развалины этой колонии, мы на самом деле лишимся ее, лишившись торговли с нею. Великодушное и братское чувство одушевляет наши порты и побудит их к усиленным снаряжениям; но наши негоцианты и наши мореплаватели поражены настоящим ужасом. Они доставляют в колонию помощь, которую мы должны одобрять и поощрять всякого рода способами, но им угрожают опасность получить в обмен за привезенные товары лишь немного продуктов и по чрезмерным ценам... Пора успокоить эту многочисленную часть населения, получающую средства к существованию из колонии и, в свою очередь, долго поддерживавшую их благополучие; нужно, чтобы колония Сан-Доминго могла рассчитывать на регулярные экспедиции, которые гораздо предпочтительнее этих скоропреходящих сношений то редких, то частых, которые сегодня доставят большое изобилие, а вскоре оставили бы колонию в нужде. Поспешим ограничить иностранную торговлю ее прежними пределами, постараемся, пока еще есть время, о том, чтобы не установить привычек, которые могли бы укорениться лишь в ущерб общественному богатству и лишь благодаря разорению множества французов».

Одним словом, Матье Дюма, повидимому, не думает, что производительность колонии и ее покупательная сила серьезно пострадала. Он боится, главным образом, того, что настоятельная потребность в зерновых хлебах, в провианте и в

строительных материалах, ощущавшаяся в колонии Сан-Доминго, побудит иностранцев, англичан или американцев, доставлять туда свои продукты и что таким образом сложатся привычки, невыгодные для французской торговли. Собрание попыталось устранить эту опасность статьею 12 декрета:

«Национальное Собрание, желая помочь колонии Сан-Доминго, предоставляет в распоряжение морского министра сумму в шесть миллионов для доставки туда припасов, строительных материалов, животных и земледельческих орудий».

Позднее морской министр был уполномочен предварительно вычесть эти шесть миллионов из взносов, производившихся Соединенными Штатами, которые в то время еще были должны Франции, и любопытно проследить в корреспонденции американского представителя, губернатора Морриса, переговоры относительно этого вопроса. Французские министры побуждали Соединенные Штаты ускорить уплату. Моррис предлагал такие комбинации, которые обеспечили бы Соединенным Штатам ту «выгоду, что значительные суммы были бы употреблены на покупку предметов, являющихся произведениями нашей страны и промышленной деятельности ее трудолюбивых обитателей» (21 декабря 1792 г.). Итак, я считаю возможным сделать тот вывод, что хотя беспорядки в Сан-Доминго и вызвали беспокойство и причинили некоторым лицам значительные убытки, однако, они не могли остановить в 1792 г. экономическую деятельность Франции. И менее удивительно, что в этом самом году оживление мануфактур, как оказывается, совпадает с беспорядками в колониях. В торговых сделках не было задержки.

Но в январе 1792 г. был такой момент, когда колониальные дела отразились на цене сахара. Она чрезвычайно быстро поднялась с 30 су до трех ливров. Она удвоилась за несколько дней: раздраженный парижский народ возмутился, разграбил магазины и лавки. Революции, повидимому, уже в течение двух лет не подвергавшейся этой опасности, снова пришлось считаться с обострившимся продовольственным вопросом. Боязнь недостатка в сахаре и надежда на то, что редкость колониальных товаров вызовет их быстрое вздорожание, побудили многих торговцев делать большие запасы и именно эти значительные покупки, сразу производившиеся на сахарном рынке, вызвали немедленное и ужасное повышение цены.

Рабочие семьи, по свидетельству Мерсье, уже привыкшие пить за завтраком кофе с молоком, были очень раздражены тем, что казалось им проделкою скупщиков, и произошло настоящее народное возмущение.

Не только боязнь недостатка в товаре побуждала торговцев делать более значительные запасы, чем обыкновенно; сказывалось также и то, что можно назвать возбуждающим действием ассигнатов и революционных операций. Выпуск более чем двух миллиардов ассигнатов увеличил количество средств, которыми располагали покупатели, и, чтобы превратить эти ассигнаты, эти бумажные деньги в солидные ценности, буржуазия торопилась покупать товары, когда она не покупала звонкой монеты. Это, так сказать, давало толчок производству и меновым сделкам, но это же вызывало и резкие изменения цен, внезапные потрясения в производстве и в торговле, которые, так сказать, или подпрыгивали или становились на дыбы.

Кассы вспомогательных билетов, о которых мы уже упоминали, пополнявшие недостаток в мелких ассигнатах, еще более способствовали лихорадочному оживлению обращения. Наконец, в обширных недвижимых церковных имуществах в монастырях, аббатствах, национализированных и быстро распродававшихся, оказывались большие помещения для торговли, и мысль о том, чтобы устроить в них обширные склады товаров, естественно приходила буржуа, у которых было множество ассигнатов, благодаря уплате недоимочных сумм в счет долга, благодаря уплатам за выкуп судебных должностей и благодаря продолжительным рассрочкам, предоставляемым законом для уплаты готовыми взносами

за купленные национальные имущества. Итак, внезапное повышение цены сахара в январе, возмутившее Париж, является сложным явлением, в котором, так сказать, отзывалось влияние всех экономических сил Революции. К тому же купеческая буржуазия и рабочий люд вдруг столкнулись и возникал классовый конфликт.

Современники поняли всю важность движения, все его экономическое и социальное значение. Собрание взволновалось по этому поводу. 23 января оно приняло депутацию граждан и гражданок от секции Гобленов, резко протестовавших против «скупщиков»: «Представители народа, желающего быть сободным, граждане секции Гобленов, защитники свободы и точные исполнители закона, сильно встревоженные теми громадными опасностями, которые влекут за собою действия всякого рода скупщиков, являются к вам с доверием, чтобы указать на ужасную причину нового бича, грозящего нам со всех сторон, особенно в столице, и всего более поражающего бедняков. Неужели эта драгоценная масса граждан, заслуживающая вашей отеческой заботливости, принесла столько жертв лишь для того, чтобы видеть, что предатели пожирают ее продовольствие? Неужели она вооружена лишь для того, чтобы охранять подлых скупщиков, призывающих войска для того, чтобы защищать свое грабительство? Пусть они не говорят нам, что опустошение наших островов являются единственною причиною нужды в колониальных товарах. Это их ненасытный ажиотаж запирает обильные сокровища, показывая нам лишь ужасные скелеты, свидетельствующие о нужде. Этот ужасающий призрак исчезнет на ваших глазах, если вы откроете эти громадные и тайные магазины, устроенные в этом городе, в церквах, в местах для игры в мяч и для других общественных развлечений, в Сен-Дени, в Пеке, в Сен-Жермене и в других городах, находящихся вблизи столицы. Устремите ваши отеческие взгляды дальше до Гавра, Руана и Орлеана, и вы фактически убедитесь в том, что, как все мы уверены, в наших магазинах хранится такое количество всякого рода припасов, которого хватит по крайней мере на четыре года. Если вы немедленно не примете мер для обеспечения себя ими, вы должны бояться действительной нужды, и ежедневные перевозки этих товаров в те страны, которые доставляли их нам, производят теперь на нас чудовищное впечатление вод, возвращающихся к своему источнику. Эти подлые скупщики и гнусные капиталисты возражают нам, что конституционный закон государства устанавливает свободу торговли. Может ли существовать закон, уничтожающий основной закон, гласящий, см. параграф 4 Прав Человека: «Свобода заключается в возможности делать все, что не вредит другому», и параграф 5: «Закон вправе запрещать лишь действия, вредные для другого»?

«Но, мы спрашиваем вас, законодатели, наши представители, не значит ли скупать необходимейшие товары для того, чтобы продавать их лишь по очень дорогой цене, вредить другому? (Аплодисменты на трибунах.) И не преступно ли и не вредно ли для общества соглашаться на гибельное употребление денежных сумм, уплаченных не во-время и находящих несправедливое применение?

«В самом деле, с каким негодованием мы видим, что эти прежние должностные лица Учредительного Собрания (этому намеку на прежнего депутата фельяна Дандрэ, владевшего большими магазинами колониальных товаров, слегка аплодируют в Собрании и громко аплодируют на трибунах), один из прежних наших представителей, участвовавший в выработке того закона, на который мы ссылаемся, теперь бесстыдно об'являет себя вождем скупщиков и удерживает свободу торговли в когтях своих злых товарищей. Отмена ввозных пошлин обещала нам счастливое будущее; она открывала нам землю обетованную; мы

надеялись, что мы приближаемся к ней: буря, поднявшаяся вследствие эгоизма и жадности, повидимому, отдаляет нас оттуда; вы ее рассеете. Вот мотив наших требований. Твердость мер, уже принятых вами против внешних врагов, не позволяет сомневаться в том, что вы сумеете различить и наказать также и этих врагов. Мы указываем вам на них, как на единственных врагов, которых нам приходится опасаться!

«Граждане секции Гобленов не заставили выдать себе, как утверждали в этом Собрании, по дешевым ценам сахар, спрятанный в одном из мест, принадлежащих нации в их городской части. Безрассудно оклеветали секцию, считавшую своим священным и святым долгом повиновение закону и его отстаивание. (Громкие аплодисменты.)

«Мы требуем, чтобы вы отдали приказания, уполномочивающие муниципалитет хорошо присматривать за магазинами, чтобы их не могли разграбить и дать находящимся в них товарам преступное употребление, и чтобы они могли по крайней мере облегчить положение народа, который уже очень давно страдает от ужасной дороговизны всех необходимейших с'естных припасов». (Аплодисменты.)

Это очень резкий тон. правда, как делегаты уверяют, что они не установили принудительной цены на сахар, но они ждут от самого закона воспрещения всяких проделок, вызывающих вздорожание товаров. Они приписывают это вздорожание не только относительной редкости сахара, вызванной смутами в Сан-Доминго, а, главным образом, расчетам крупных торговцев. И они откровенно обвиняют буржуазию в том, что она употребляла на скупку товаров с целью спекуляции те ассигнаты, которые она получала в уплату за выкуп своих судебных должностей. Следовательно, петиционеры протестуют, собственно говоря, не против старого режима, а против того, что новые буржуазные классы злоупотребляют новыми орудиями обращения, созданными Революцией. Итак. в самой Революции вырисовывается. классовый антагонизм между потребителями и купцами, между пролетариями и ремесленниками, с одной стороны, и богатой буржуазией. с другой стороны. Замечательна также формальная ссылка на два параграфа Декларации Прав Человека для борьбы против коммерческих и капиталистических злоупотреблений.

Петиционеры не считают свободы, гарантируемой Правами Человека, неопределенным правом и, с их точки зрения, игра экономических сил имеет пределом интерес другого. Уже в петиции рабочих плотников в июне 1791 г. было сделано первое применение Декларации Прав к экономическим отношениям и к социальным явлениям. В народном мышлении слово свобода получает полный и конкретный смысл, совершенно противоположный невмешательству.

Петиционеры не требуют определенного установления законом тарифов, цен товаров, повидимому, они не думали о таком законе, который устанавливал бы максимальные цены товаров; но они, очевидно, стремятся к этому, так как их заключение, довольно неясно выраженное, или вследствие неясности самой мысли, или из осторожности, может иметь только один смысл. Нужно, чтобы муниципалитет присматривал за магазинами, чтобы воспрепятствовать из'ятию значительных количеств сахара из продажи, обращению их в недвижимость или их припрятыванию. Муниципалитет воспретит крупным торговцам скрывать сахар и товары в тайных складах. Следует, чтобы товар, так сказать, всегда был выставлен напоказ и находился в распоряжении публики. Это, в осторожных выражениях, теория принудительной продажи. Но принудительная продажа подразумевает установление цены законом: так что, следовательно, с этих пор дело идет к установлению максимальных цен.

Что могло сделать Собрание? Оно чувствовало, что пред ним возникает мучающая его проблема, превышавшая в то время его силы. Гюадэ, председатель-

ствовавший на заседании, отвечал петиционерам с заискивающею и неопределенною доброжелательностью, а парижский мэр был вызван к решетке для того, чтобы представить отчет о положении столицы. Он постарался смягчить краски, ослабить впечатление. Он желал успокоить умы и в то же время возложил всю ответственность на Законодательное Собрание.

«Уже несколько дней,—сказал он,—можно было чувствовать, что в Париже происходит тайное движение. Народ открыто выражал свое неудовольствие по поводу значительного вздорожания сахара и некоторых других товаров. Он собирался группами в общественных местах, и все предвещало близкий взрыв. В пятницу (т.-е. 20 января) ропот и злословие возрастали; некоторые частные приставы начинали даже вызывать войска. В ночь с пятницы на субботу обнаружился пожар в тюрьме Форс. Это событие вызвало большую тревогу... Еще не выяснено, вызвано ли это происшествие случайностью или заранее обдуманным намерением... Мы не можем умолчать о неутомимом усердии г. главнокомандующего национальной гвардией... Мы должны еще довести до вашего сведения, господа, что пожар не коснулся ни одного здания, кроме Форс, и тот, кто сказал вам, что сгорели магазины, наполненные сахаром, был введен в заблуждение.

«В то самое мгновенье, когда мы были всецело заняты этим прискорбным событием, распространяли, словно для забавы, тревожнейшие слухи; нам сообщали, что такие же несчастья произошли в Консьержери, в Шатлэ, в Бисетре... Гораздо реальнее было сборище в предместье Сен-Марсо вокруг магазина, наполненного сахаром; г. парижский мэр и г. прокурор генеральный синдик отправились туда. Они нашли там довольно значительное число граждан и гражданок. После нескольких увещаний они побудили их выбрать из своей среды двенадцать человек для об'яснения относительно тех требований, которые они желали предявить, что они тотчас же и сделали. И здесь мы должны сказать к чести этих граждан, что они прежде всего заявили нам, что они пришли не для грабежа. Они повторили нам это с беспокойством, которое свойственно честным людям, опасающимся, что их могут заподозрить в этом.

«З а т е м о н и с к а з а л и н а м, ч т о ц е н а с а х а р а и н е к о т о р ы х д р у г и х т о в а р о в в д р у г н а с т о л ь к о п о в ы с и л а с ь, ч т о о н и с т а л и н е д о с т у п н ы д л я б е д н ы х, ч т о э т о в ы з в а н о п р е с т у п н ы м и п р о д е л к а м и, и ч т о н е п р е м е н н о с л е д у е т д о б и т ь с я п о н и ж е н и я э т о й ц е н ы.

«Дав им понять, что расстройство торговли не только не вызвало бы понижения цен, но могло бы лишь повысить их, мы сказали им, ч т о м ы н е и м е л и п р а в а у с т а н а в л и в а т ь ц е н ы т о в а р о в, что если они хотят выразить какие-либо желания, закон предоставлял им мирное средство, достойное свободных людей, а именно, подачу петиции, что они могли спокойно собраться и изложить свои жалобы».

«Они удалились, убедившись в этой истине, и все успокоились. Они не заставили выдать им, как вам сказали, сахар по 22 су за фунт. Затем вечер прошел совершенно спокойно; из тюрьмы Форс перевели заключенных там за долги в Сент-Пелажи; все это совершилось в полном порядке.

«Тем не менее мы несколько беспокоились относительно следующего дня, а именно воскресения: этот день во время волнений обыкновенно оказывается одним из наиболее трудных. Г. главнокомандующий отдал благоразумнейшие распоряжения. Он расположил войска в тех местах, которым, повидимому, грозила наибольшая опасность. Этот день прошел гораздо спокойнее, чем мы могли надеяться.

«О д н а к о о д и н б а к а л е й н ы й т о р г о в е ц н а у л и ц е п р е д м е с т ь я С е н - Д е н и, и с п у г а н н ы й б о л ь ш и м с т е ч е н и е м

народа, собравшегося вокруг его лавки, роздал некоторое количество сахара по 24—26 су за фунт.

«Мы утешились, думая, что на следующий день все успокоится: каково же было наше изумление, а главное, каково же было наше беспокойство, когда между 10 и 11 часами утра со всех сторон стали приходить письма, извещавшие нас о появлении групп и многочисленных сборищ в разных участках? Одно из этих сборищ даже направилось в ратушу.

«Оно отправилось из секции Гравилье и следовало за конным вестовым, везшим письмо от пристава этого участка. Г. мэр вышел к этим гражданам и ему легко удалось побудить их внять голосу благоразумия и справедливости.

«Он напомнил им, что именно враги общественного дела старались вызвать крупные беспорядки, столкновение между гражданами, в особенности же борьбу между национальною гвардией и жителями; что следовало избежать этой ловушки, ведя себя благоразумно и прибегнув к тому пути, который закон сделал доступным для всех граждан, а именно к петиции. Они удалились удовлетворенные, и обещали успокоить пославших их в качестве депутатов.

«Г. главнокомандующий национальной гвардией прибыл одновременно с ними. Он передал мэру разные известия и с своей стороны наводил у него справки; они посоветовались друг с другом и опасались, что дело примет очень серьезный оборот, и что придется прибегнуть к решительным мерам. Г. мэр немедленно собрал экстренное собрание муниципального совета, некоторые члены уже были на своем посту и он отправился вместе с г. главнокомандующим в Директорию департамента, члены которой также были созваны; обсудили разные решения, которые можно было бы принять в этих обстоятельствах. Прошло целых два часа, в течение которых не получалось неприятных известий, и мы уже имели удовольствие думать, что спокойствие восстановилось; но вскоре явилось несколько офицеров национальной гвардии, рассказавших нам о прискорбных событиях.

«Нам сказали, что сборища на улицах Сен-Мартен, Кладбища Св. Николая, Шапон и Гравилье были многочисленны, что двери магазинов были взломаны, стекла выбиты, национальная гвардия разбита, что народ пытался обезоружить ее, и что одного офицера, командовавшего батальоном, схватили за воротник и тяжко оскорбили.

«Тогда мы почувствовали, что нельзя было терять ни одного мгновения, что муниципальные чиновники должны были тотчас же отправиться в эти разные места, говорить во имя закона, всегда сильно действующего на души хороших граждан, и образумить заблуждавшихся. Г. мэр, г. заместитель прокурора коммуны и другой муниципальный чиновник вышли из городской думы в сопровождении нескольких гренадеров и отправились на все вышеупомянутые улицы.

«Они зашли к г.г. Шолэ, Боскари; они увидели разбитые окна; но магазины вовсе не были разграблены.

«Стекла дома Бло также были разбиты; но и там не похитили товаров.

«Магазин на улице Гравилье, в Римском глухом переулке, был заперт. Нам сказали, что в одном месте столпившимся гражданам роздали сахарного песка по 10 су за фунт.

«К нашему прибытию, на этих разных местах народ уже разошелся и мы встретили там лишь небольшое число любопытных, намерения которых были успокоительны.

Когда мы шли, мы с удовольствием узнали, что уже ничего не происходило также и на улице Ломбардов. Когда мы вернулись в Городскую Думу, один офицер пришел предупредить г. главнокомандующего, что довольно большая толпа собралась у двери одного бакалейного торговца в Сант-Антуанском предместьи, и г. главнокомандующий тотчас же послал туда войска.

«Он разместил также некоторое количество людей на ночь в каждом из домов, в которые могли бы ворваться.

«Как вы видите, при этих затруднительных обстоятельствах муниципальный корпус не упустил ни одного из имевшихся в его распоряжении средств. Он постановил, что его заседания должны безотлагательно продолжаться до восстановления спокойствия, но в то же время он понимает, как опасно было бы, если бы посторонние лица преувеличивали только что происходившие, взволновавшие его движения, которые, следует надеяться, не повлекут за собою тех прискорбных последствий, на которые, несомненно, рассчитывали враги нашей свободы и нашего счастья.

«Вам, господа, надлежит благоразумно обдумать, чего требуют переживаемые нами моменты, подготовить решительные меры для поддержания порядка и спокойствия, обеспечить спасение этого великого города, от которого так существенно зависит спасение государства».

По отчету Петиона можно судить о внезапной силе действия народа, об его твердом намерении не быть обманутым в великом революционном движении. Волнения охватили довольно обширный район; они происходили в предместье Сен-Марсо, в предместьи Сент Антуан и в сердце Парижа, в кварталах Сен-Дени, Сен-Мартен и Гравилье. Волновался весь народ, весь пролетариат и все парижские ремесленники. И революционная буржуазия не смела, как во время бунта против Ревейльона или во время первых крестьянских движений в 1789 г., говорить о «разбойниках». Это, по словам Петиона, «граждане», не желающие предоставить выгоду от революции буржуазным скупщикам и монополистам. На этот раз движение было направлено не против отеля де-Кастри и не против дворян, а против буржуазных революционеров, крупных покупателей национальных имуществ. Когда Фошэ первый указал 21 января Собранию на беспорядки в Париже и на скупку товаров, он заявил, что церковь Сент-Оппортюн, церковь св. Илария и церковь св. Бенедикта были наполнены сахаром и кофе. Очевидно, сторонники Революции купили эти церкви и обратили их в большие магазины. Итак, пролетариат и народ волновались против новой силы, проистекавшей из Революции. Одно время Петион задавался вопросом, не станет ли положение серьезным, не столкнутся ли национальная гвардия и народ, между которыми за несколько месяцев до этого произошло столь трагическое столкновение на Марсовом поле, снова, и, на этот раз, из-за продовольственного вопроса. Осторожность Петиона, благоразумные отсрочки платежей, позволившие страстям успокоиться, избавили революцию от этого несчастья: но в Париже начи-

нает чувствоваться народная сила, более самосознательная, гордая теми жертвами, на которые она уже согласилась для Революции, теми услугами, которые она ей оказала, и решившаяся не дать спекулянтам и капиталистам конфисковать в свою пользу радости новых времен. Народ еще не пытался анализировать социальный механизм. Он не видит ясно, что эти проделки спекулянтов являются почти неизбежным следствием торговой конкуренции и частной собственности, Но по крайней мере он противопоставляет этому беспорядку свое право. Он готов не преобразовать собственность, но исправить энергическим вмешательством и силою закона наиболее вопиющие ее излишества. Он не сомневается в том, что даже в сфере собственности закон может и должен охранять истинную свободу действительную свободу людей, свободу жить. И таким образом медленно, неясно в народе возникают те идеи, которые найдут свое выражение сперва в регулирующем законодательстве Конвента, а затем в коммунизме Бабефа. В январе 1792 г. эти тенденции были еще очень неопределенны, так как сами лица, подавшие петицию, говорившие от имени народа, не смели определенно требовать установления цен товаров законом. Этой общей нерешительности умов и сил довольно хорошо соответствовала примирительная и неопределенная манера Петиона. Но можно предчувствовать, что настанет день, когда грубость потребует более сильных мыслей.

Эти народные движения очень испугали купеческую буржуазию. Некоторые из тех негоциантов, которым угрожали, или протестовали или даже заговорили вызывающим тоном. Один из них, д'Эльбэ, называвший себя американцем (была ли это действительно существовавшая личность или же коллективный псевдоним нескольких надменных и в то же время боязливых негоциантов?) потребовал от Собрания, чтобы оно заставило уважать его право собственности, из которого он выводил даже право быть скупщиком, приводя цифры, являющиеся хвастовскою угрозою. При чтении его петиции, составленной в вызывающей форме, раздался ропот: «Вчера утром,—говорил он,—одна из столичных секций, допущенная к решетке, явилась с Правами Человека в руках требовать закона против всех скупщиков, в особенности же против скупщиков колониальных товаров, редкость которых начинает чувствоваться. Сегодня я, гражданин, имеющий определенное место жительства, отец семейства, являюсь, чтобы самому указать на себя, как на одного из тех людей, которых стараются сделать ненавистными, потому что они считают возможным свободно располагать законною собственностью.

«Я, господин председатель, бывший собственник больших поселений на этом несчастном, может быть, уже не существующем острове. Мои имения опустошены, мои дома сожжены, мой последний урожай, ссыпанный на суда до беспорядков, к счастью, получен мною.

«Итак, я об'являю, что я получил до сентября месяца 2 миллиона сахара, миллион кофе, 100 миллионов индиго и 250 миллионов хлопчатой бумаги.

«Товары находятся здесь, в моем доме и в моем магазине, но они никогда не будут припрятаны, потому что гражданину нечего стыдиться того, что он извлекал выгоды из превосходных мануфактур, благодаря которым отечество благоденствовало.

«Теперь эти товары стоят 8 миллионов. — согласно обычному ходу вещей они должны в ближайшем будущем стоить более 15 миллионов. Я очень жалею, господин председатель, тех, которые так мало уважают представителей народа, что ходатайствуют о декретах, посягающих на священное право собственности. Я же засвидетельствую им более чистое почтение, вверяя свою собственность охране их принципов; итак, я об'являю Национальному Собранию, в котором читается этот адрес, и всей Европе, которая внемлет ему, что мое весьма ясное жела-

мне не продавать теперь ни по какой цене товаров, собственником которых я являюсь. (Ропот.) Они принадлежат мне; они представляют собою суммы, вложенные мною в дело в другом полушарии, земли, которыми я владел и которых у меня уже нет, одним словом, все мое состояние и состояние моих детей. Может быть, мне угодно будет наделить их сахаром и кофе. По крайней мере, я в самом деле не хочу продать их ни по какой цене, и я громко повторяю это для того, чтобы в этом никто не сомневался. (Ропот.) Но в то же время мне неудобно, чтобы мое имущество сжигали в Америке и грабили во Франции. Я вызываю здесь общественную силу, чтобы благородно попробовать применить Конституцию, чтобы узнать, насколько она может обеспечить собственность... (Ропот.) Некоторые члены: «К порядку дня!». Другие члены: «Нет, нет, кончайте!»... защитить гражданина, никого не заставляющего требовать от него его имущества, но уверяющего, что он хочет сохранить в натуре собранное им. (Ропот.) Итак, соблаговолите, господин председатель, отдать распоряжение г-ну мэру, чтобы мои магазины были окружены достаточно стражею, при чем справедливо, чтобы расходы на это производились на мой счет. В особенности же я требую, чтобы это распоряжение было сделано до начала прений относительно требования секции Гобленов, которая добивалась вчера установления цен товаров, не позаботившись о том, чтобы указать законодателям тот щекотливый пункт, где кончается собственность и где начинается скупка товаров.

Подписал: Иосиф-Франсуа д'Эльба, американец, активный гражданин Попенкурской секции, волонтер-гренадер в батальоне этого участка, улица Шаронн, № 158 bis».

Это, несомненно, мистификация, но также и контр-революционная проделка с целью испугать собственников и противопоставить народным требованиям, в виде резкого констраста, неограниченное право собственности. В раздраженном мозгу какого-нибудь собственника с островов могла зародиться эта странная фантазия социальной полемики в форме петиции. Но была подана и другая петиция, более подлинная и в более серьезной форме. Это была петиция банкира Боскари, члена Законодательного Собрания, занимавшегося в дополнение к своим банковым операциям еще и коммерческими операциями. Он вверял себя защите своих товарищей по Собранию.

«Господин председатель... Народ, веденный в заблуждение злонамеренными людьми, вчера явился ко мне толпою в тот момент, когда я собирался отправиться в Собрание, и помешал мне явиться на свой пост. Народу внушают, что мой торговый дом, под именем Ш. Боскари и компания, скупал колониальные товары. Это ложь и клевета. Пытались насильно войти в мой дом и разбили у меня все стекла в первом этаже (шум на трибунах), прежде чем войска могли защитить меня. Мне грозят еще и теперь, несмотря на стражу, которую соблаговолили дать мне, бросают камни в мои окна; мое состояние, состояние наших друзей подвергаются опасности. Я взываю к закону, я тр[illegible] охраны собственности не только для меня, но и для всех парижских негоциантов, которые могут пострадать от народных заблуждений... (Глухой ропот.) Я не ожидал, господин председатель, что навлеку на себя ярость народа. Я никогда не причинял зла никому, я делал добро, когда мог. Никто не обнаружил такой преданности революции, как я. Занимая гражданские и военные должности, я постоянно первый защищал имущества, которым грозила опасность, а теперь опасность грозит моему имуществу. Я надеюсь, что народ, отказавшись от своих заблуждений, окажет мне уважение и справедливость, которых я заслуживаю во всех отно-

шениях. Я прошу вас, господин председатель, немедленно сообщить Собранию это важное для меня письмо. (Смех на трибунах.)

Подписали: **Боскари,** депутат от Парижа».

Коммерческая и умеренная буржуазия, одним из главных представителей которой являлся Боскари, была, если можно так выразиться, совершенно ошеломлена этим народным возмущением. Ей казалось, что она в самом деле всецело «предана Революции», и вдруг она с изумлением видит, что за пределами несколько узкого круга ее мыслей волнуются иные силы. Несмотря на негодование части Собрания, трибуны заглушали чтение письма банкира-революционера свистками и прерывали его насмешками. Некоторые депутаты предлагали оставить письмо Боскари, равно как и письмо таинственного и иронического д'Эльбэ, без последствий, но Собрание переслало петицию к Исполнительной власти. Это были любопытные стычки между двумя частями третьего сословия, которые вместе совершили Революцию, которые еще часто вместе будут спасать ее, но которые начинают сталкиваться друг с другом и выступать, как враждебные классы.

Собрание не находило решения той проблемы, с которою ему тогда приходилось иметь дело по отношению к цене колониальных товаров. Одно время его коммерческий комитет собирался предложить ему отмену пошлины в 9 ливров с центнера, которою был обложен ввозимый во Францию иностранный сахар, но он скоро признал, что это было бы бесполезно, так как Франция, производя большое количество сахара, занимала господствующее положение на сахарном рынке, так что во всем мире вскоре установились бы цены сахара, соответствующие его цене во Франции.

Следовательно, иностранцы не могли бы ввозить сахар во Францию по более дешевой цене, чем цена, установившаяся в самой Франции, и не произошло бы никакого понижения цены. С другой стороны, возможно ли было воспретить вывоз французского сахара? Но ведь Франция оплачивала бо́льшую часть ввозимых из-за границы товаров вывозимым из нее сахаром. Итак, Комитет приходил к тому выводу, что ничего нельзя было сделать, что, следовательно, не было надобности в обсуждении поставленного вопроса. Собрание роптало, но никто не пытался указать определенное решение. Дюко, блестящий депутат от Бордо, испуганный мыслью о том, что могли бы быть предложены запретительные или ограничительные коммерческие меры, которые разорили бы наши порты, возражал против них с замечательным талантом, не прибавляя по существу дела ничего к тезису Комитета. Но интернациональный механизм торговли сахаром никогда не был изящнее и отчетливее выяснен. В этих столь содержательных и блестящих речах обнаруживается солидное экономическое и положительное образование буржуазии XVIII века, относительно которого так грубо ошибся Тэн. «Три средства,—сказал он,—были предложены этому Собранию для того, чтобы вызвать понижение цены сахара:

«Первым из них является разрешение иностранцам ввозить сахар в наши порты, вторым—воспрещение его вывоза из королевства; третье из предложенных средств (закон относительно обращения кредитных билетов) заслуживает серьезнейшего внимания.

«Я считаю первое средство совершенно бесполезным. В самом деле, для того, чтобы извлечь из него какую-либо выгоду, нужно было бы иметь возможность ожидать, что при свободе ввоза в наши порты будет доставлено настолько значительное количество иностранного сахара, чтобы возникла конкуренция, которая вызвала бы понижение цены нашего сахара, но вы не можете надеяться на это. Вам не безызвестно, что ни одна из коммерческих наций, владеющих колониями, не добывает настолько значительного количества его, чтобы

сбывать этот продукт в большом количестве и вывозить излишек, остающийся от потребления. Англия, являющаяся тою коммерческою державою, плантации которой доставляют наибольшее после наших количество сахара, вывозит лишь очень небольшую часть этого количества. Благодаря зажиточности ее жителей, потребление сахара стало в ней более обыкновенным и более значительным, чем у нас. Правда, правительство поощряло премией и возвращением пошлин при вывозе, называемым drawback, вывоз очищенного сахара; но, испугавшись внезапного увеличения количества этого товара на французских рынках, оно отменило и drawback и премию». (Дюко хочет сказать, что английские сахаровары, привлекаемые барышом, который, по крайней мере в течение нескольких дней, им обещала высокая цена на сахар во Франции, отправили бы во Францию огромные количества своего сахара, если бы их еще поощряли к этому премия и drawback; следовательно, английский рынок остался бы без сахара, и английские потребители платили бы за него слишком дорого. Итак, Англия отменила все поощрения к вывозу.) Мы,—продолжает оратор,—снабжаем этим товаром всю остальную Европу, и большинство иностранных коммерсантов могло бы воспользоваться тою свободою, которую вы предоставили бы им лишь для того, чтобы отвезти вам назад тот же самый сахар, который они вывезли бы из наших портов.

«Может быть, скажут, что нужды, если скупка сахара вызвала такое вздорожание этого товара во Франции, что иностранцы получают еще барыш, перепродавая нам тот товар, который они купили у нас несколько месяцев тому назад, по гораздо более дешевой цене? Но те лица, которые сделали бы это возражение, рассуждали бы, исходя из фактической ошибки, которую следует опровергнуть. Что касается цен колониальных товаров, то наше влияние на наших соседей таково, что изменения цен у них на северных рынках всегда приблизительно соответсвуют изменениям этих цен на наших рынках. Дорожает ли сахар в Бордо и в Нанте? Он дорожает в довольно постоянной равномерной пропорции в Амстердаме и в Гамбурге; дешевеет ли он в наших коммерческих городах? Удешевление тотчас же отзовется в Германии и в Голландии. Причина этого проста. Франция удерживает у себя приблизительно лишь одну восьмую долю сахара, получаемого ею из ее колоний; остальное количество покупается в ее портах коммиссионерами по доверенностям от иностранцев. Итак, цена сахара чрезвычайно подымается у наших соседей, а равно как и у нас, так что вследствие этого у них не останется надежды на какой бы то ни было барыш при вывозе назад во Францию. Я делаю из этих фактов иные выводы: те покупки, производимые скупщиками, по поводу которых вы столь основательно негодуете, производятся по доверенностям от иностранных негоциантов, и голландские и немецкие

потребители пострадают от новых проделок наших спекулянтов так же, как и французский народ. В тот самый момент, когда парижские граждане роптали по поводу повышения цены сахара до 42 су за фунт, в Бордо его раскупали для иностранцев по 290 ливров за центнер, что составляет около одного экю за фунт.

«Эти факты показывают вам, что даже при потере при переводе денег, цена сахара не позволит иностранным негоциантам спекуляций на счет продажи нашего собственного сахара в наших портах. Наши ассигнаты подвергались значительному обесценению по отношению к металлической монете или к иностранным ценностям; например, за 100 ливров золотом получали 150 ливров ассигнатами; следовательно, иностранцы получали барыш, проистекавший из перевода денег, когда они покупали во Франции; но, несмотря на этот барыш, тенденция сахара к вздорожанию на иностранных рынках до уровня французских цен была, по мнению Дюко, такова, что англичанам, немцам или голландцам не было бы никакого расчета покупать у нас для того, чтобы перепродавать нам. Вы видите по крайней мере, что мы не одни будем страдать от повышения цены сахара и что французская нация по крайней мере, получит слабое вознаграждение за это кратковременное бедствие благодаря увеличению своих барышей от торговли с иностранными нациями. Я никогда не дам своего согласия на запретительные меры, которые вам предложат; но, возвышая свой голос в пользу свободы торговли, я буду требовать вовсе не частичной и не призрачной свободы. Я доказал, что та мера, которой добиваются, не могла бы в данный момент принести никакой пользы. Впрочем, я не нахожу в ней неудобств, кроме того, что она бесполезна, и что если бы она была принята, то она внушила бы столь же благоприятное, как и несправедливое мнение о сведениях Собрания относительно коммерческих дел. Одним словом, сделанное вам предложение сводится к тому, чтобы был разрешен свободный ввоз во Францию такого товара, которого в нее ни откуда нельзя ввозить. Я прихожу к тому выводу, что эту меру следует отклонить.

«Решительная мера, состоящая в запрещении вывоза сахара из королевства, повлекла бы за собою более пагубные последствия. Лица, имеющие здравые понятия о наших коммерческих отношениях, не могут думать о ней без ужаса. Я показал, что Франция потребляет приблизительно лишь одну восьмую долю сахара, получаемого ею из своих колоний; итак, она ежегодно вывозит за границу семь восьмых этого количества; сделаю и еще одно замечание. Мы получаем из наших колоний сахар двух сортов: неочищенный, подвергшийся лишь предварительному приготовлению, — и национальные фабрики потребляют почти исключительно этот сорт, — и очищенный глиною сахар, уже подвергнутый первоначальному рафинированию и сбываемый нашим соседям: ценность этого последнего сорта приблизительно вдвое превышает ценность неочищенного сахара.

«Вы понимаете теперь, что, воспрещая вывоз этого огромного остатка от потребления:

«во-первых, вы лишаете нацию весьма значительной и весьма прибыльной части дохода, которую можно выразить суммою, превышающею 30 миллионов в год;

«во-вторых, вы отнимаете у нее возможность выгодно избавиться от долгов, делаемых ею за границею, так как выгоднее рассчитываться с нашими соседями сахаром, на котором мы зарабатываем, чем ассигнатами, которые приносят убыток;

«в-третьих, вы совершенно парализуете торговлю портов с вашими колониями, так как арматор воздержался бы от отправления в Сан-Доминго вина и муки для того, чтобы получить в обмен за них сахар, для которого он уже не находил бы сбыта и на котором он потерял бы, чтобы отделаться от него, значительную часть своего капитала;

«в-четвертых, вы вызовете ужасное потрясение в положении ваших сограждан, так как внезапное падение цены этого товара и внезапная уступка его кредиторам повлекли бы за собой множество банкротств, которые довели бы до нищеты трудолюбивых и честных граждан, вызвали бы беспорядок и тревогу во всех коммерческих городах, причинили бы ущерб общественному богатству и поколебали бы доверие к вашим ассигнатам;

«в-пятых, вы вдруг лишили бы работы и средств к существованию класс рабочих, матросов ваших портов, которые уже проявили в Революции свой патриотизм великими жертвами и которых следует поддерживать и беречь для того, чтобы воздавать им такие же похвалы и в будущем;

«в-шестых, вы скоро увидели бы, что станут обходить тиранические постановления этого запретительного закона. Иностранцы сами отправлялись бы в наши колонии, чтобы закупать там сахар, которого они уже не могли бы покупать в портах Франции, так как всемогущество законодателя изнемогает в борьбе против природы вещей;

«в-седьмых, вы окончательно сделали бы невыгодными наши коммерческие сделки с другими народами, вызвав новое понижение нашего курса».

Вот теория абсолютной свободной торговли. Отмечу, что Дюко говорит так, как будто сан-домингские смуты являлись случайностью, которой не суждено повторяться в близком будущем; он даже не намекает на возможную задержку в торговых сделках, и это опять-таки доказывает, что в 1792 г. колониальные беспорядки, несмотря на их серьезность, еще не затрудняли дел. А главное, я констатирую, что этот свободный дух международной торговли, без напряжения пускающейся во всемирные комбинации, воспротивится законам о регулировании, о таксации. Жирондисты будут более заботиться о том, чтобы доставить Франции обилие и легкое обращение богатств, чем о том, чтобы урегулировать их распределение соответственно законам непреклонной демократии.

Придется припомнить эту речь Дюко, когда в 1793 г. Верньо противопоставит свои взгляды на общественную жизнь, на коммерческую, предприимчивую и богатую республику тезисам Робеспьера. Жирондисты не равнодушны к положению бедных, к благосостоянию рабочего класса, но им кажется, что общее богатство нации само собою отзовется на положении рабочих, подобно тому, как обильный свет освещает все и, отражаясь, проникает и туда, куда его луч не проникал непосредственно. Ясно, что жалея о кратковременном убытке, который терпят потребители вследствие чрезмерной дороговизны сахара, Дюко находит утешение, думая о том барыше, который эта дороговизна доставляет нации в ее торговле с иностранцами. Наконец, мысль о том, чтобы установить законом цены товаров в одной стране, должна была представляться особенно химерическою этим людям, привыкшим к перекрещиваниям, к бесчисленным отражениям экономических явлений на мировом рынке: потому что, как же поддержать постоянный уровень в открытом рейде, где отзывались волнения громад-

ного моря? Как обеспечить неподвижность цен, когда конкуренция других наций и тонкие комбинации всемирной торговли неизбежно заставляют цены в одной стране изменяться вместе с изменением цен во всех других странах?

Эти широкие перспективы международного рынка нравились жирондистам тем более, что Франция господствовала на нем, поскольку дело шло о многих из ее произведений, о сбыте сукон в восточных странах, о сбыт сахара во всем мире. И я уверен, что эта гордость коммерческою силою Франции в мире способствовала возбуждению мечты о революционном расширении, одушевлявшей деятелей Жиронды.

Они очень желали для Революции широкого кругозора, к которому они привыкли благодаря своим почти беспредельным деловым связям. Идея максимума, внутренней регламентации цены товаров, продуктов, работ западет глубоко в умы и станет господствовать над ними лишь после того, как международная торговля будет почти уничтожена и Франция будет как бы блокирована вследствие всемирной войны.

Итак, в этом сахарном кризисе, с января 1792 г. проявляется не только конфликт между буржуазией и народом: кроме этого, можно предчувствовать разногласия между группою жирондистов и рабочим людом. Податели петиции от секции Гобленов непосредственно угрожали торговой и фельянтистской буржуазии; но существует также разногласие и между подателями петиции, уже помышляющими, хотя и робко, о регламентации, и точкою зрения жирондистов.

Дюко хорошо понял опасность и попытался выразить свой отказ голосовать за закон против скупки товаров в популярной форме: «Я с сожалением отказываюсь поддержать предложение принять меры против гнусных проделок спекулянтов, разыгрывающих между собою общественное богатство; но следует признать, что чрезвычайно трудно выработать закон против скупки товаров, потому что он мог бы одинаково осуждать как трудолюбивого коммерсанта, так и жадного скупщика; потому что он уничтожил бы торговлю, стесняя ее; потому что нет торговли без свободы. Однако я вовсе не думаю, что этот закон невозможен; но я думаю, что его следует тщательно обдумать, потому что он должен касаться границ права собственности, не нарушая его. Я предложу, чтобы к комитету торговли был присоединен комитет законодательства для того, чтобы вскоре представить вам проект закона против скупщиков.

«Впрочем, существует, не сомневайтесь в этом, вещественный предел для тех бедствий, которым скупщики подвергают народ: этого рода ажиотаж должен сам себя уничтожить своими собственными излишествами; дороговизна товаров уменьшит потребление; наступление сроков платежа по обязательствам, принятым на себя этими безумцами, принудит их открыть свои магазины; вы увидите, что эти продукты, из'ятые из обращения, опять будут пущены в оборот. Сильная конкуренция должна вызвать внезапное падение ценностей, и скупщики будут первыми жертвами этой пагубной игры. (Р о п о т.) Хорошо еще, если честные люди не будут увлечены в бездну; они будут достойны вашего сожаления. Что же касается тех людей, которые уже в продолжение нескольких месяцев спекулируют насчет хлеба бедняка и обогащаются насчет его жестоких лишений, то вы даже и не станете жалеть о них. Я же знаю об их постыдном промысле, об их гнусных операциях, к сожалению, не могу заклеймить их лбов печатью позора, но по крайней мере сойду с этой трибуны, выразив им то негодование, которое они должны возбуждать в каждом хорошем гражданине». (С о б р а н и е и т р и б у н ы н е о д н о к р а т н о а п л о д и р у ю т.)

В этих резких словах, за которыми скрывается почти отрицательный вывод, проявляется слабость Жиронды. Правда, по требованию Дюко, Собрание постановило, что следует представить проект закона, долженствующего действи-

тельно предотвратить скупку товаров и карать скупщиков. Но это была очень неопределенная мысль, и проект даже не был представлен Законодательному Собранию. Почти все его члены разделяли мысль депутата Массея; полагавшего, что установить цену товаров значило бы нарушить право собственности.

Бриссо ограничился в своей газете «Французский Патриот» некоторыми несколько неопределенными декламациями и оптимистическими утверждениями. Ему досаждали эти экономические смуты, грозившие вызвать распадение великой революционной армии в тот самый момент, когда он мечтал двинуть ее на Европу. В номере от 24 января он был очень суров по отношению к скупщикам: «Несомненно, закон должен охранять всякого гражданина, но не обязан ли всякий гражданин также выполнять свой патриотический долг? Как может смотреть отечество на людей, спекулирующих насчет общественного бедствия, насчет понижения курса, насчет редкости звонкой монеты, насчет высоких цен товаров?» Но в номере от 26 числа он спешил доказывать, что кризис не мог бы долго продолжаться, что цены непременно понизились бы, что следовало бы устранить опасения и распространить доверие.

Еженедельник Прюдома, «Парижская Революция», старается оправдать народ и в то же время успокоить его. Под заглавием: «Народные движения против скупщиков» он напечатал большую статью, которую я, к сожалению, не могу воспроизвести целиком, но которая является очень важным социальным документом. Неясные тенденции демократов-революционеров в данный момент находят свое выражение в этой статье во всей их сложности. Порою он, повидимому, не только оправдывает народ, но и поощряет его: «Иосиф-Франсуа д'Эльбэ, или те лица, для которых он служит маскою, хочет, чтобы отомстить за восстание своих негров в Сан-Доминго, осудить парижан на то, чтобы у них постоянно были перед глазами два миллиона сахара и чтобы им приходилось обходиться без них; но что сказал бы он, если бы народ, ловя его на слове, написал на дверях его магазинов, а также и на дверях других помещений, в которых лежат груды с'естных припасов, злостно из'ятых из обращения:

Salus populi suprema lex esto [1]).
По повелению народа.
Два миллиона сахара, продающихся
по 30 су за фунт.

Ведь следует сказать откровенно: справедливо ли, чтобы трудолюбивое бедное население в 600.000 душ лишалось каких-либо с'естных припасов, из-за того, что дюжине мстительных или жадных индивидуумов угодно будет закрыть свои магазины или увеличить во сто раз свои барыши? А так как эти граждане бесцеремонно не стесняются правилами честности и принципами гуманности, то можно ли отважиться считать преступлением со стороны народа то, что он на мгновение перестанет стесняться бессильными законами гражданского общества? И кто же более народа, более парижского народа заслуживает всякого внимания и осторожного отношения к себе, если не со стороны закона, не признающего таковых, то, по крайней мере, со стороны своих законодателей и должностных лиц?.. Он все терпел, но считается преступлением с его стороны, когда он, на мгновение теряя терпение, с некоторою энергией устремляется к некоторым из своих церквей, обращенных в кладовые для сахара, за который с него с редким бесстыдством запрашивают слишком высокие цены. Разве так преступно, что народ стекается на улице Экуфф, у зала для игры в мяч или же около Râpée после того, как ему сказали: добрые люди, слушайте: Дандрэ, заставлявший вас так дорого платить за суд в Провансе и продававший вашу Конституцию в Тюй-

---

1) Благо народа да будет высшим законом.

ильерийском дворце, в настоящее время скупает на деньги цивильного листа большие запасы сахара вместе с Фино и Шарлеманом для того, чтобы опорожнить ваши кошельки, перепродавая его вам?

«Делэ и компания, уже слишком известные вам, пользуются вашею нуждою и мстят за немилостивое отношение к ним со стороны закона в их торговле зерновыми хлебами и мукою, складывая в амбары кофе и сахар в королевских малых конюшнях и у некоего г-на Блока, владельца погребальных колесниц, на улице Шапон на Болоте (у них имеются запасы этих товаров на два года; это удостоверяют реестры адмиралтейства, вы можете справиться в них), а также в другом складе, в Сен-Жерменском аббатстве.

«Лаборд сделал заем по 4% с теми же намерениями; Кабани, негоциант на улице Кладбища св. Николая, у одного шапочника; Гомар и братья Дюваль, на улице Сен-Мартэн и многие другие соединились для того, чтобы бесстыдно перепродавать вам товар, как им известно, любимый вами, и они радуются тому, что, заботясь о своих выгодах, они в то же время служат и интересам двора, где у них имеются сообщники».

В качестве точного репортера, журналист «Революций» исправляет в заметке сделанную им ошибку в деталях: «Неосновательно распространялся слух, что в Сен-Жерменском аббатстве находился склад сахара. Мы сами фактически проверили это, и мы можем утверждать, что в громадном помещении, служившем прежде подвалом для дома и нанятом год тому назад г-ном Лораном де-Мезьер сыном, банкиром и комиссионером, живущим на улице св. Бенедикта, мы увидали только двести сорок бочек вина, сто шестьдесят две бочки водки, пятьдесят тюков соды и сорок один миллион кофе, принадлежащих различным нантским и гаврским негоциантам, о чем было заявлено в муниципалитете».

Любопытно, что в тот самый момент, когда революционная буржуазия складывает свои товары в церковных помещениях и в подвалах монахов, наконец, подвергнутых секуляризации, при чем ей, несомненно, кажется, что таким образом она совершает Революцию, она вдруг навлекает на себя обвинение в скупке товаров и гнев народа. Революция внезапно вызывает столкновение двух заключающихся в ней сил.

Однако, защищая таким образом народ, демократы «Парижских Революций» тем не менее предупреждают его, что эта скупка товаров является выполнением плана, составленного его врагами для того, чтобы вызвать в нем раздражение и побудить его к беспорядкам и к излишествам, которые скомпрометировали бы самую Революцию. Итак, они умоляют его не попасться в ловушку и не доверять грабителям, которых контр-революция смешивает с народом, чтобы его дискредитировать. Очевидно, что не только эти волнения, но и эти проблемы вызывают нервное раздражение всей революционной буржуазии, даже и наиболее демократической. Под видом указания на проделки врагов народа, она останавливает самый народ.

«Граждане! Вот как с нами поступают наши внутренние враги, по отношению к которым мы еще оказываемся столь великодушными. Сначала они стали скупать фабрикуемые товары в обмен на свои ассигнаты, совершенно в убыток, чтобы дискредитировать национальные бумажные деньги, и, с виду оживляя торговлю, убить ее; но они подрывали ее основу, не заботясь о знаке общественного богатства. Эти первоначальные происки не причинили патриотам всего того зла, которое надеялись причинить. Мануфактуры не могли удовлетворять спроса, поэтому быстро усилился спрос на задельную работу; заработная плата ремесленников повысилась соответственно цене искусно изготовленных предметов; по крайней мере, промышленность процветала и, повидимому предотвращала

нищету. Не таков был расчет гнусных спекулянтов,—не желая общественного благополучия, они прибегли к другим средствам, сказав самим себе: скупим сырые материалы, так, чтобы фабрикант не мог достать их ни за золотые, ни за серебряные деньги, ни за ассигнаты, по крайней мере, установим столь чрезмерные цены, чтобы уже не смели подходить к ним, не могли добираться до них.

«Фабрикант, уже отягощенный повышением цены задельной работы, предпочтет бездействие работе в убыток; следовательно, он уволит своих рабочих. Эти последние, оставшись без работы и без хлеба, проклянут революцию, доводящую их до нищеты и загораживающую от них все рынки для сбыта произведений промышленности; они пожалеют о дворянах, благодаря которым они получали средства к существованию, о богачах, дававших им занятие.

«Сделаем так, чтобы через две недели не работали ни на одной фабрике за отсутствием сырых материалов; скупим даже бумаги, аспидные доски и булавки; к этому бедствию присоединим бедствие, еще ближе касающееся народа: сложим в амбары товары, бывшие некогда предметами роскоши, но теперь ставшие необходимейшими предметами. Прекрасный предлог для этого нам дает революция в колониях. Существует закон, оказывающий покровительство скупке товаров и защищающий скупщиков; вследствие этого народ станет проклинать закон, воспрещающий ему касаться товаров, без которых он не может обойтись: он станет проклинать законодателей».

Ясно, конечно, что там, где газета Прюдома указывает на контр-революционный план, лишь сказывается естественный результат действия частных интересов при новых условиях, созданных Революцией. Неограниченная свобода торговли и промышленности, уже не задерживаемых никакими корпоративными стеснениями, и возможность располагать огромною массою бумажных денег побуждали революционную буржуазию, к тому же поощряемую взбудораживающими событиями, умножать, расширять свои операции. Этим об'ясняется то, что устраивались большие магазины, этим об'ясняются значительные заказы мануфактурам; и ясно, конечно, что коль скоро мануфактуры расширяли производство, то или самим мануфактуристам или спекулянтам должна была придти мысль о том, чтобы запастись большим количеством необходимого для промышленности сырья; цена последнего повышалась вследствие этого, и, таким образом, мануфактурное производство подвергалось действию двух противоположных сил, из которых одна давала ему толчек, а другая тормозила его. Обилие ассигнатов действовало, как поощрение, дороговизна сырых материалов действовала, как узда. Итак, тенденциозное истолкование экономических явлений не имеет никакого значения; но интересно установить на основании вышеупомянутой статьи, во-первых, как мы часто доказывали, приводя свидетельства, имеющие решающее значение, что в эту эпоху наблюдалась оживленная промышленная деятельность, а затем, что конфликт, возникавший между буржуазией и народом, не был, собственно говоря, конфликтом между рабочими и хозяевами.

Мы отметили этот конфликт в 1791 г. по поводу большой стачки плотников, распространившейся почти на всю Францию. Но вообще социальные кризисы Революции были, главным образом, продовольственными кризисами, а вследствие этого столкновение происходило скорее между коммерческою буржуазией и совокупностью народа, включая сюда ремесленников и часть фабрикантов. В данный момент пролетарии не выражают никаких жалоб на промышленников, на фабрикантов; повидимому, последние сумели соразмерить цену задельной работы, заработную плату с ценою товаров; да и самое оживление производства, требовавшее большого количества задельной работы, заставляло мануфактуристов хорошо обращаться с рабочими. В самом деле, в этот период у рабочих и фабрикантов, повидимому, были одни и те же интересы и одни и те же враги: «монополисты».

«скупщики», которые вредят рабочим и вымогают у них деньги, повышая цены товаров, вредят в то же время и фабрикантам и ставят их в затруднительное положение, повышая цены сырья. К тому же было труднее сконцентрировать промышленность, чем сконцентрировать торговлю, труднее было вдруг создать большие мануфактуры или заводы, чем устроить большие магазины. Итак, капиталистическая деятельность, сильно возбуждаемая неограниченною свободою и обилием бумажных денег, проявлялась, главным образом, в коммерческой сфере и, в гораздо меньшей степени, в промышленной сфере. Еженедельнику Прюдома угодно было усматривать заговор в этих экономических явлениях, вытекавших из самой природы вещей и новых учреждений.

Может быть, по правде говоря, буржуазные демократы лишь отчасти отдавали себе отчет в неизбежных капиталистических последствиях Революции. Может быть, также радость контр-революционеров, конечно, надеявшихся воспользоваться этими беспорядками, внушала им мысль, что контр-революционеры были их единственными виновниками. Впрочем, весьма возможно, что люди, подкупленные контр-революционерами, вмешивались в народные волнения. «Если народ проявил свое чувство досады по отношению к мелочным лавочникам, то он совершил тяжкое преступление; но до такой степени забылся не настоящий народ, не он заставил раздавать себе сахар головами по 20 и 25 су за фунт. Народ слишком беден для того, чтобы делать такие покупки; богачи, сторонники министерства (в январе министерство состояло из роялистов и фельянов), друзья двора, друзья белых, корреспонденты эмигрантов подучили негодяев для того, чтобы взволновать народ, чтобы вызвать возмущение, начало контр-революции и чтобы, показывая целые сахарные головы, насильно купленные по 20 су за фунт, утверждать, что в Париже уже не существует безопасности для крупных негоциантов, что происходят посягательства на имущества, что свободы торговли не существовало и что Париж никогда не станет складочным местом, достойным того, чтобы соперничать с Амстердамом, если в нем не будут принимать во внимание изменения в ценах товаров».

Итак, несмотря на сильный гнев, возбуждаемый спекуляцией, еженедельник Прюдома в заключение требовал, подобно Дюко, неограниченной свободы торговли; и первая фраза статьи ясно указывала, что не было повода прибегать к закону: «в Париже и в главных городах некоторых департаментов ныне совершается национальное преступление, тяжкое преступление, против которого, однако, закон не может и не должен высказаться».

В самом деле, эта выжидательная политика, заключавшаяся в ораторских манифестациях и в бездействии закона по отношению к спекуляции или к скупке товаров, или даже к их естественному вздорожанию, была возможна в 1792 г. потому, что хотя экономическое положение и было тогда несколько неспокойно, но не существовало ни острого застоя, ни глубокого расстройства.

Курс ассигната, поддерживавшего Революцию, не был серьезно поколеблен, и казалось, что он пользуется таким доверием, что возможны были даже новые выпуски их и при том в больших количествах. Однако в этом доверии к ассигнату начинали проявляться некоторые темные стороны. Финансы не были в хорошем положении. Бюджет революции в 1791 и 1792 г.г. составлял в среднем 700 миллионов в год. Но если расходы действительно достигали этой суммы, то сборы, «доходы», далеко не равнялись ей; налоги, существовавшие при старом режиме, были отменены, а новые подати, поземельный налог, личный налог на движимость, исчислявшийся по довольно сложному тарифу, соответственно квартирной плате за жилища, занимаемые гражданами, еще не взимались серьезно. Администрация департаментов, округов и коммун запаздывала с раскладкою налога с составлением податных списков и, несмотря на усилия патриотических обществ,

тайное сопротивление контр-революционеров во многих пунктах парализовало государственную казну. Когда начались заседания Законодательного Собрания, оно должно было констатировать, что за 1790 и 1791 годы оставалось 700 миллионов недоимки; была уплачена лишь половина податей. И, конечно, пришлось покрыть этот дефицит выпуском ассигнатов. Будучи созданы для удовлетворения чрезвычайных потребностей, для уплаты несметных долгов старого режима, для платежей за выкуп должностей, они, повидимому, назначались, кроме того, для покрытия обыкновенных расходов революции. Это бремя уничтожило бы доверие к ассигнатам; но революционеры надеялись (и без войны их надежда осуществилась бы), что новый фискальный порядок не замедлит установиться, и полные доходы окажутся достаточными для покрытия расходов. Тем не менее относительно этого существовало некоторое беспокойство и неприятное чувство.

Во-вторых, отношение ассигната к его земельному обеспечению все еще не было достаточно определено. Ценность и благонадежность ассигната обусловливались тем, что он был обеспечен национальными имуществами; так как ассигнаты принимались в уплату за распродаваемые церковные имущества, то ясно, что доверие к ассигнатам должно было сохраниться до тех пор, пока ценность тех имуществ, которые предстояло продать, явно превышала бы ту сумму, на которую были выпущены ассигнаты. Разность же была еще очень велика. Между тем как г. де-Монтескиу, докладчик прежнего комитета финансов Учредительного Собрания, в докладной записке, представленной Законодательному Собранию, оценивал совокупность проданных и подлежащих продаже имуществ суммою в 3 миллиарда 200 миллионов, и Камбон, повидимому, принимал приблизительно эту же цифру, выпуски ассигнатов, вотированные Учредительным Собранием, достигали только 1.300 миллионов. Итак, в это время не только поземельное обеспечение ассигната было более чем достаточно и даже с избытком, но это обеспечение быстро реализовалось. К концу 1791 г. известных продаж было произведено на 903 миллиона; а так как 114 округов еще не прислали выписок из своих счетов, то в данный момент совокупность произведенных продаж следовало оценивать суммою в 1.500 миллионов. Следовательно, было известно, что, по мере того, как производились платежи, ассигнатам, служившим для уплаты за приобретенные имущества, предстояло поступать в кассу чрезвычайных расходов. Там они сжигались по мере их поступления, и таким образом тяжесть выпусков чрезвычайно облегчалась.

Но функционирование этого механизма было несколько ненадежно. Уплата за приобретаемые имущества производилась аннюитетами: некоторые из покупателей расплачивались до срока; другие пользовались отсрочками, предоставленными законом, до конца, так что поступление ассигнатов и их сожжение производились нерегулярно; и между тем как новые выпуски разом выбрасывали на рынок по сотне миллионов или даже по нескольку сот миллионов ассигнатов, их обратное поступление затягивалось и совершалось с перерывами. Но чем продолжительнее был промежуток времени, отделявший тот момент, когда ассигнат был выпущен, от того момента когда он возвращался для сожжения, после того как он послужил для уплаты за купленные национальные имущества, тем более было шансов на то, что непредусмотренные события могли расстроить этот механизм.

Можно было, например, опасаться, что Революция, от которой война требовала исключительных расходов, перестанет сжигать возвращающиеся ассигнаты, и, несмотря на все предосторожности, принимавшиеся для того, чтобы придать этому сожжению засвидетельствованную форму, Революции никогда не удавалось убедить всю страну в том, что ассигнаты действительно сжигались по мере их возвращения в кассу чрезвычайных расходов; также можно было бояться чрезмерных выпусков. К тому же невозможно было точно соразмерить

сумму, на которую выпускались ассигнаты, с не вполне выясненною ценностью распродаваемых имуществ, и было известно, что ассигнаты останутся в обращении после того, как все имущества будут уже проданы.

В самом деле, их нельзя было бы вдруг из'ять, не лишая страны безусловно нужных ей орудий обмена. Но следовало также предусматривать в конце великой операции распродажи национальных имуществ целый период, в течение которого для ассигнатов, по крайней мере для тех, которые еще не были бы возвращены, уже не оказывалось бы земельного обеспечения. Монтескиу основательно доказывал, что в этом предположении не было ничего страшного: он предусматривал (если бы выпуск не превысил суммы, установленной Учредительным Собранием), что в 1799 г. оставалось бы в обращении не более 400 — 500 миллионов ассигнатов. И он прибавлял: «В эту эпоху может быть почувствуют необходимость не лишать обращения в королевстве фиктивной монеты, которая, будучи доведена до надлежащей пропорции, была бы весьма полезна и уже не могла бы вредить.

«Основание национального банка, который поглотил бы остаток ассигнатов и заменил бы их билетами, за которые уплачивалось бы по их пред'явлении, обеспечивало бы в 1800 году полное окончание операции». Тем не менее, в процессе выпусков ассигнатов и их возвращения было что-то несколько неопределенное и колеблющееся и это могло уменьшить доверие к ассигнату.

Но ему угрожала и другая опасность: Учредительное Собрание предписало ликвидацию уничтоженных должностей. Эта операция неизбежно оказывалась несколько медленною: и чтобы не лишать слишком долго лиц, занимавших эти должности, капитала, соответствовавшего цене их должностей, оно постановило, чтобы они получали временные расписки, которые давали бы им возможность покупать национальные имущества. Директор ликвидационного ведомства Дюфрен Сен-Леон указывает Законодательному Собранию на опасность в важной записке от 9 декабря: «Владельцы уничтоженных должностей имеют право требовать от меня временных расписок, которые могут приниматься в уплату за национальные имущества до половины суммы наличных денег, соответствующих предполагаемой стоимости их неликвидированных должностей.

«Я повиновался закону относительно этого не без опасений, так как я всегда считал эту операцию выпуском ассигнатов, который хотя и предписан законом и ежемесячно доводится до всеобщего сведения в отчетах кассы чрезвычайных расходов, но не происходит столь же непосредственно на глазах народа».

Таким образом благодаря этому существовал чуть ли не тайный выпуск ассигнатов, присоединившийся ко всем известному, и эти расписки, принимавшиеся подобно ассигнатам при расплате за национальные имущества, конкурировали с ассигнатами и, понижая ценность их обеспечения, грозили ослабить доверие к ним. А при этой ликвидации дело шло о больших суммах: было уничтожено 12.000 должностей; ликвидаций уже было произведено на 318.856.000 ливров, и комиссар-ликвидатор, Дюфрен Сен-Леон, оценивал всю ликвидацию должностей в 800 миллионов. Благодаря этому, неявно, в форме временных расписок, могло появиться бесчисленное множество ассигнатов.

Сверх того, Революция, заботившаяся прежде всего об избежании банкротства, предназначала ассигнаты, главным образом, для погашения долга, уплаты которого можно было бы требовать, а потому, неопределенность, все еще существовавшая относительно самого долга, уплаты которого можно было бы требовать, вредно отзывалась и на ассигнатах.

Искусный финансист Клавьер, работавший вместе с Мирабо и очень раздраженный тем, что его не выбрали в Законодательное Собрание, попросил, чтобы

его допустили к решетке для того, чтобы указать на опасность, который эта невыясненность долга подвергла доверие к ассигнатам. Он решительно утверждал, что многие из пред'являемых ко взысканию долговых обязательств были сомнительны или подозрительны, что торопливая и беспорядочная ликвидация санкционировала множество обманов, и он предложил, чтобы ликвидация и уплата этих долгов были приостановлены до тех пор, пока подробное и тщательное исследование не позволит установить сумму всего долга и проверить его в деталях. Продолжать эти выплаты, не проверив всего, значило подвергаться опасности все возрастающих выпусков ассигнатов.

С этих пор Клавьер стал финансистом Жиронды. Сам он был замешан во многих спекуляциях. Прежде его обвиняли в том, что он воспользовался пером Мирабо для того, чтобы вызвать понижение акций Компании Вод: и если его предложение было расчитано на поднятие революционного кредита и на облегчение бремени ассигнаций, то оно также могло быть сделано для того, чтобы вызвать внезапное обесценение всех прав, подвергаемых ликвидации. Верньо, председательствовавший в этот день (5 ноября), похвалил «его гений». В самом деле, в его точке зрения было нечто смелое и популярное. Она угрожала в особенности лицам, пользовавшимся привилегиями при старом режиме, пред'явителям требований об уплате подозрительных долгов; лицам, занимавшим безнравственные должности, которые в большом количестве создавались двором. Она заграждала или повидимому заграждала, по выражению самого Клавьера, «траншею, угрожавшую обеспечению ассигнатов» вследствие конкуренции ликвидационных расписок. Наконец, Клавьер, поддержав таким образом доверие к ассигнату, требовал выпуска купонов ассигнатов в 10 су, т.-е. выпуска бумажной монеты, удобной для народа, а поэтому его предложение имело некоторое время очень сильный успех в народной партии.

И Бриссо в декабре высказался вполне в том же смысле. Но Собрание сопротивлялось. Оно было смущено резкими протестами всех пред'явителей, и оно боялось, что выражение «приостановка платежей» будет истолковано в стране в смысле банкротства: ужасные слова Мирабо не были забыты, и Законодательное Собрание торжественно и почти единогласно отвергло всякую приостановку, всякую отсрочку платежей, как противоречащую публичному обещанию. Это значило тем самым обязаться немедленно превысить сумму, установленную для выпуска ассигнатов Учредительным Собранием.

Камбон, который сразу приобрел большой авторитет в Собрании благодаря ясности своего ума, силе своего характера и громадности своего труда, был с тех пор как бы ворчливою сторожевою собакою, охранявшею революционный кредит. Втайне он также до некоторой степени одобрял предложение Клавьера; он желал бы, чтобы до полного выяснения положения революционных финансов не было выпущено ни одного нового ассигната. Но резко выраженное нежелание Собрания прибегать к какой-либо приостановке платежей побудило его искать более умеренных комбинаций. Он предложил 24 ноября Законодательному Собранию назначить всем кредиторам срок для пред'явления своих прав: по истечении этого срока уже нельзя было бы требовать уплаты долга; долг вовсе не был бы уничтожен, но он был бы консолидирован, будучи обращен в вечный долг, и нации приходилось бы уже лишь выплачивать проценты, но она уже не была бы обязана выплатить капитал ассигнатами.

Но хотя все эти усилия Клавьера, Бриссо и самого Камбона свидетельствуют о том, что в это время предусмотрительные люди старались ограничить выпуск и предотвратить обесценение ассигната, они не избавили Революции, потребности которой были огромны, от того, что в конце 1791 г. она перешла за черту, намеченную Учредительным Собранием. И несмотря на последнее сопротивление Камбона, требовавшего, чтобы уплата долгов производилась лишь по точному

подсчету, по мере возвращения ассигнатов в кассу в уплату за национальные имущества, Законодательное Собрание издало 17 декабря следующий декрет:

«Сумма выпускаемых ассигнатов, установленная декретом от 1 ноября в 1.400 миллионов, будет составлять 1.600 миллионов». Само Учредительное Собрание превысило сперва установленную им сумму: оно предусмотрело дополнительный выпуск на 100 миллионов ассигнатами по 5 ливров; в течение нескольких месяцев Законодательное Собрание дошло до суммы в 1.600 миллионов.

В то же время Собрание заботилось о выпуске мелких купонов или об увеличении их числа. Учредительное Собрание выпускало почти исключительно крупные ассигнаты в—2.000, 1.000, 200, 50 ливров. Таким образом недоставало бумажной монеты для мелких сделок, для выдачи жалованья, заработной платы и для мелочной торговли.

В мае Учредительное Собрание постановило выпустить на 100 миллионов ассигнатов по 5 ливров взамен 100 миллионов крупными ассигнатами. Но этого было очень мало: эти 100 миллионов были почти немедленно же поглощены общественными администрациями, нуждавшимися в них для того, чтобы платить священникам, офицерам, солдатам; и хотя они могли затем распространяться в стране, бо́льшая часть департаментов была лишена их. Законодательное Собрание пожелало энергически исправить это зло. Оно сочло нужным действовать с ассигнатом так, как будто он являлся единственною монетою, и, следовательно, соразмерить его количество со всеми деталями меновых сделок. Оно приняло формулу Камбона: «чтобы количество мелких ассигнатов было настолько увеличено, чтобы оно соответствовало прежде находившемуся в обращении количеству металлической монеты». Оно рукоплескало Мерлену, сказавшему, что нужно сделать так, чтобы «исчезла ма́гия золота и серебра». Оно декретировало 23 декабря, чтобы при выпуске новых ассигнатов было выпущено на 100 миллионов ассигнатами по 50 су, на 100 миллионов по 25 су и на 100 миллионов по 10 су.

Благодаря выпуску этих мелких ассигнатов, соответствовавших всем разветвлениям меновых сделок, Революция, наконец, проникла во всю сеть обращения и экономической жизни, в маленькие артерии и вены и во всю систему волосных сосудов. Это был полный глубокий захват социальной жизни революционным знаком, ассигнатом.

Каковы были действия, оказанные в 1792 г. этою массою ассигнатов, общая сумма которых увеличилась и которые были раздроблены, на экономическое и социальное движение? Это сложный вопрос и следовало бы анализировать: во-первых, отношение ассигнатов к иностранным ценностям; во-вторых, отношение разных категорий ассигнатов между собою; в-третьих, отношение ассигнатов к металлической монете; в-четвертых, их отношение к цене товаров и сырых материалов, употреблявшихся в промышленности; наконец, после этого анализа следовало бы скомбинировать все эти отношения и проследить их действия на производство и на обмен в целом и на отношения классов. В этом неизбежно кратком обзоре я могу лишь указать метод и выяснить некоторые общие черты.

Когда говорят об обесценении ассигнатов в тот или иной период Революции, пользуются слишком общим выражением, которое в столь общем виде даже не имеет смысла, так как степень обесценения оказывалась весьма различною, смотря по тому, сравнивался ли ассигнат с тою или иною ценностью.

Так, в конце 1791 г. и в начале 1792 г. ассигнат теряет, по сравнению с французскою металлическою монетою, или, точнее говоря, он теряет в Париже, по сравнению с экю, 20%. Это, конечно, средняя величина, так как эти отношения между ценностями изменялись каждый день.

Но мы знаем из сообщения комитета финансов, что именно в это время, если казначейству приходилось производить мелкие платежи, и совершенно не

имея ассигнатов в 5 ливров, оно бывало вынуждено покупать экю на крупные ассигнаты, то оно теряло 20%: оно бывало вынуждено давать сто двадцать ливров ассигнатами для того, чтобы получить за них 100 ливров в экю.

Обесценение уже значительно и вскоре оно усилится, но оно не беспокоило современников в такой степени, как мы могли бы предполагать, потому что: прежде всего стоимость ассигната в обращении никогда не стояла наравне с его нарицательною стоимостью: он всегда терял по крайней мере от 7 до 8%; металлическая монета, по многосложным причинам ставшая довольно редкою, являлась почти предметом роскоши, и казалось естественным платить премию за то, чтобы достать ее.

Но между тем как ассигнат терял лишь 20% по сравнению с французской металлической монетою, он терял в это время 50% по сравнению с иностранными ценностями. Для того, чтобы достать германских, голландских, швейцарских, английских денег или билетов или купить векселя, по которым уплачивалось бы в Лондоне, в Амстердаме, в Женеве, в Гамбурге, нужно было обменять 150 ливров ассигнатами на 100 ливров иностранными ценностями. Или, рассматривая факты с другой стороны, иностранцы получали за 100 ливров своими ценностями во Франции 150 ливров ассигнатами.

Отчего происходит это чрезвычайное понижение курса при обменах ассигнатов на иностранные ценности, являющиеся одним из сильнейших понижений, которым могла подвергнуться страна? Обыкновенно это понижение курса показывает, что в той стране, к невыгоде которой оно происходит, обнаруживается вызывающее беспокойство состояние слабости или кризиса. Когда производство в этой стране очень слабо развито, когда эта страна вынуждена покупать за границей гораздо больше, чем она может продавать за границу, она не может расплачиваться национальными продуктами за заграничные продукты; итак, она оказывается вынужденною покупать иностранные ценности, чтобы платить за эти иностранные продукты и, следовательно, она вынуждена дорого платить за эти иностранные ценности.

Отсюда вытекает нарушение равновесия между ценностями страны, мало продающей и много покупающей, и ценностями другой страны, продающей больше, чем она покупает.

Или еще когда страна, которой не хватает капиталов, может развивать свои внутренние предприятия лишь с помощью иностранных капиталов, она вынуждена для уплаты процентов производить многочисленные платежи за границей. Отсюда также вытекает для нее понижение курса.

Или еще когда в какой-нибудь стране дела ведутся плохо, когда ее финансы обременены долгами, когда ее промышленные предприятия ненадежны и безрассудны, когда финансовая или коммерческая катастрофа может подорвать доверие ко всем национальным ценностям, то естественно, что иностранцы покупают эти ненадежные ценности лишь по дешевым ценам и со скидкою, покрывающею их риск. Как бы то ни было, постоянное понижение курса при обмене денег на иностранную монету является признаком стесненного положения, возрастающего малокровия и нарушения равновесия.

И если бы мы применили это правило к Революции, то следовало бы заключить, что экономическое положение Франции в 1792 году было чрезвычайно беспокоящим. Однако именно к стране, в которой совершается революция, нельзя применять правила, применимого лишь к нормальным периодам.

Конечно, в это время некоторые причины, в самом деле вызывавшие понижение курса, оказывали на него влияние. Во-первых, огромный недочет в урожае в 1789 году вызвал вывоз большого количества нашей монеты за границу. Во-вторых, незначительность поступления доходов в бюджетах 1790 и 1791 г.г. могла внушить сомнения относительно устойчивости наших финансов. В-третьих.

старый режим произвел много займов за границей, в Женеве, в Гамбурге, в Амстердаме, в Лондоне, во всех протестантских странах, богатых капиталами, а потому внезапные платежи, производившиеся Революцией, вызывали скопление французских ценностей в руках иностранцев, при чем вследствие этого ценности эти обесценивались.

Однако это понижение курса при обмене французских денег на иностранные об'ясняется, главным образом, моральною причиною. У иностранцев не было такой же веры в успех французской Революции, как у самой Франции. Не разделяя страстей эмигрантов, иностранцы принимали к сведению их позорящее злословие, их зловещие предсказания; и между тем как Франция чувствовала себя предохраненною от опасности уже в силу своей веры, за границей очень сомневались, а сомнение означало потерю кредита.

Но в данном случае эта потеря кредита вытекает скорее из неправильной точки зрения других держав, чем из ослабления жизненных сил самой Франции. А при этих условиях понижение курса вовсе не вызывало неблагоприятных последствий; оно даже оказывало благотворное влияние на производство. Иностранцы предпочитали, чтобы им платили товарами, а не деньгами, ценность которых понизилась, и они делали значительные заказы на наших мануфактурах. Или же, так как они дешево приобретали ассигнаты и эти ассигнаты, ценность которых понизилась по отношению к монете, не лишились покупательной силы по отношению к товарам, то им было выгодно покупать на ассигнаты много товаров; и таким образом наш вывоз быстро возрастал, равно как и наше производство. Наконец, наши промышленники и коммерсанты могли покупать иностранные товары, лишь выплачивая значительную премию за обмен денег, а поэтому они ограничивали заказы за границею, и соответственно этому поддерживалось национальное производство.

Таковы второстепенные и кратковременные выгоды, вытекающие из понижения курса для стран, кредит которых пострадал; странным и парадоксальным следствием этой потери доверия к их монете и к их ценностям является то, что она поощряет вывоз и затрудняет ввоз. Но на долю революционной Франции выпало то совершенно исключительное счастье, что эти косвенные выгоды понижения курса соединились с удивительною активностью страны, находившейся в полном расцвете сил. Главным образом, именно это различие моральной температуры во Франции и в остальном мире вызывало понижение курса к выгоде Франции. *Итак, она в одно и то же время располагала силою жаркой страны, в которой кипела жизнь, и теми искусственными средствами развития, которые самый упадок временно доставляет подвергающимся ему странам.*

Многие революционные деятели поняли, что это понижение курса не означало ослабления Франции, или даже указали на доставляемые им выгоды.

13 декабря 1791 г. Делопэ (из Анжера) клеймит проделки ажиотажа, по его мнению, вызывавшие или усиливавшие понижение курса, и тем самым он констатирует, что оно не вытекает из ослабления экономической жизнедеятельности нации.

«Я с сожалением говорю, — восклицает он, — что общество еще не достаточно обращает внимание на финансы, так как народ ничего не смыслит в финансах. Этим об'ясняются всеобщий ажиотаж, грабительство, мрак. У нас не существует моральной репрессии. У англичан, если бы их банкиры, их биржевые маклеры оказались настолько плохими гражданами, что стали бы производить очевидно вредные операции или благоприятствовать им, то хотя бы это происходило в эпоху благополучия и тем более, когда общественному делу грозит опасность, общественное негодование скоро довело бы их до полного бессилия.

Существует, господа, большой заговор, клонящийся к тому, чтобы возбудить недоверие к ассигнатам, и я указываю вам на этот заговор, которому способствует ненасытная жадность занимающихся ажиотажем. Цель этого заговора состоит в том, чтобы вызвать всеобщее вздорожание, для того, чтобы народ роптал...»

Переходя к более специальному вопросу об иностранном курсе, Делопэ говорит: «Курсом является та ценность, которую за границею дают за наши деньги, так как наши ассигнаты ныне являются деньгами, которых наши соседи не осмеливаются принимать; и, однако, они не настолько нелепы и безрассудны, чтобы смешивать ассигнаты на национальные имущества с бумажными деньгами, для которых не установлено специальной ипотеки, формы и срока платежа. К тому же они знают, что они могли бы расплачиваться с нами нашими ассигнатами, подобно тому, как они возвращали бы нам наши деньги. Почему же наши соседи не осмеливаются принимать наших ассигнатов подобно тому, как мы сами их принимаем? Их пугают речи врагов Конституции, удалившихся к ним...»

«То, что наши соседи не принимают наших ассигнатов, тем более является результатом боязни, что повышение ценности денег оказывалось и все еще оказывается вредным для них. Не терпели ли они и не терпят ли они ежедневно огромного убытка при реализации тех сумм, которые мы им должны? Однако курс стал таким, что он предполагает уничтожение нашей торговли, прекращение работ на наших мануфактурах, запущенность и невозделанность наших земель и неограниченную потребность во всякого рода иностранных продуктах, между тем как в действительности все национальные ресурсы никогда не были более активны и наши потребности в иностранных продуктах более ограничены.

«Чем же вызвано огромное понижение нашего курса? Почему наш курс продолжает понижаться, когда мы менее нуждаемся в иностранных продуктах, чем иностранцы в наших?»

Впоследствии Конвент ответит на эти жгучие вопросы законными мерами, которые приравняют ассигнат к ценности денег. Эти меры действительны в отрезанной от мира Франции, но они не оказали бы действия на международный рынок. Но я повторяю, что Делопэ не может весьма логично обвинять ажиотаж, не констатируя, что общее состояние дел не об'ясняло понижения курса.

Беньо 23 декабря об'ясняет исчезновение нашей звонкой монеты причинами, не находящимися в связи с ассигнатами, а именно, торговлей с Индией, где мы покупали шелковые ткани и пряности, за которые Франция расплачивалась не продуктами, а золотою и серебряною монетою. Он об'ясняет это исчезновение монеты еще и торговым договором с Англией, который, открыв с 1785 г. наш рынок для английских товаров, вызвал вывоз нашей монеты. Но он прибавляет: повышение курса, которого так некстати боятся, нисколько не повредило нашим мануфактурам, а усилило их энергию; иностранцы, вынужденные получать французские капиталы и не могущие или не желающие принимать наших ассигнатов, получают эти капиталы товарами французского производства; потребители, французские негоцианты, уже не имеющие возможности потреблять иностранные товары, вследствие повышения курса, вынуждены запасаться товарами на французских мануфактурах. Итак, в этих отношениях, это повышение курса, которого так испу-

гались, наоборот, может служить лишь термометром, показания которого свидетельствуют об оживлении нашей торговли и о процветании наших мануфактур; об экономической деятельности Франции следует судить, руководясь этими принципами, а не по колебаниям в курсе процентных бумаг на улице Вивьени (где находилась биржа). (Аплодисменты.)

«Но если французские мануфактуры до такой степени активны, как они никогда не были, если они получают больше заказов, чем когда-либо, сумма в сто миллионов подразделенной монеты, очевидно, оказывается недостаточной для удовлетворения их потребностей».

Через два месяца после этого, 18 февраля 1792 г., министр внутренних дел, Кайе де-Жервилль таким же образом определяет экономическое положение Франции в своем общем отчете Собранию о состоянии королевства:

«Торговля в нынешний момент дает выгодные результаты, важность которых злонамеренные люди тщетно пытались бы умалить. Все наши мануфактуры работают в высшей степени активно; большое число лиц, изнемогавших в нищете и в бездействии, вновь занялись трудом и, по крайней мере, могут существовать.

«Но я не скрою от Национального Собрания, что бо̀льшая часть деятельности наших мануфактур вызвана необходимостью доплачивать при расчетах, производимых в нашей торговле с иностранцами, предпочитающими продукты нашей промышленности другим ценностям, которых они не склонны принимать. Падение нашего курса еще доставляет иностранцам кратковременные облегчения для их покупок.

Весьма значительный рост внутреннего потребления, вызываемый всякого рода закупками, обусловливаемыми нынешними обстоятельствами, или спекуляциями отдельных лиц, также должен считаться одною из причин усиленной деятельности наших мануфактур».

Указывая на непосредственные выгоды этого экономического положения, Кайе де-Жервилль в то же время выясняет и его непрочность. В самом деле, не подлежит сомнению, что, когда прекратится действие всех этих причин, в своей совокупности ускоряющих во Франции потребление, когда буржуазия постарается обратить все находящиеся в ее распоряжении ассигнаты в товары, когда иностранцы возместят себе то, что Франция должна им, произведя у нас большие покупки, цены всех товаров, продуктов и сырых материалов мало-по-малу поднимутся до такой степени, что сделаются едва доступными для наших промышленников, а иностранцы прекратят свои покупки, несмотря на выгодный для них курс. Тогда может произойти общий застой или даже прекращение промышленной деятельности, уже не находящей достаточного количества сырых материалов для переработки. «Из этого краткого отчета, — прибавляет министр, — о случайных и кратковременных причинах усиленной деятельности наших фабрик можно видеть, что наша торговля вовсе не возросла абсолютно и независимо, что ее преуспеяние непрочно, что мы вовсе не достигаем истинного увеличения национальных богатств. Наши рабочие живут, мы выплачиваем наши долги продуктами нашей промышленности; вот вся наша выгода; но она велика, если принять во внимание обстоятельства. К тому же, вероятно, когда сырые материалы,

которые мы получаем за границей, будут израсходованы, мы будем вынуждены вновь запасаться ими, при чем его цены значительно повысятся как вследствие состояния курса, так и в соответствии с теми ценностями, которыми придется расплачиваться за них; тогда продукты нашей промышленности уже не будут в состоянии конкурировать с продуктами промышленности наших соседей».

Это предсказание несколько мрачно, и, может быть, Кайе де-Жервилль несколько преувеличивает искусственность и непрочность усиления деятельности и роста богатства в этот период. Кроме влияния меновых сделок, огромное социальное обновление, все ускорявшееся с каждым днем, переход огромного количества имуществ из одних рук в другие, побуждавший новых собственников производить расходы на переделки в приобретаемых имуществах и на приведение их в порядок, стремление к благосостоянию, пробудившееся в низших слоях третьего сословия благодаря революционной гордости,—все это способствовало более прочному и более глубокому возбуждению национальной деятельности, чем то, на которое указывает министр. Однако он не напрасно указывал на опасности, и, как мы уже видели, во время частичного сахарного кризиса в январе, через три недели после министерского доклада, эти предсказания, вызывавшие беспокойство, осуществились.

Уже Клавьер, старавшийся напугать Законодательное Собрание ужасными последствиями слишком значительного понижения ценности ассигната, настойчиво указывает на гибельные результаты понижения заграничного курса. В противоположность Бенье и в гораздо большей степени, чем Кайе де-Жервилль, он особенно подчеркивал опасности и почти не упоминал о благоприятных сторонах. В письме, сообщенном Собранию 1 декабря, в котором он опровергает возражения против предложенной им системы приостановки уплат, я нахожу следующие серьезные слова: «Так как курс оказывает решающее влияние на наши сношения с иностранцами, то его изменения касаются не только сделок игроков, они влияют на цены тех иностранных продуктов, в которых мы нуждаемся; низкий курс вызывает их вздорожание, следовательно, он вредит пользующимся им мануфактурам; он беспрестанно лишает нас некоторого количества нашей звонкой монеты, так как при отливе золота и серебра из Франции за границу, вследствие низкого курса, часть их остается там, что составляет чистый убыток для Франции. Низкий курс всегда свидетельствует о каком-нибудь сильном расстройстве; он внушает опасения, и даже коммерческие сношения, основанные на кредите, полезном для французов, прерываются или ослабевают вследствие него. Ассигнаты, по какой бы то ни было причине вывозимые за границу, теряют там ценность, и эта потеря ценности, вызывая их скупку за бесценок, обусловливает некоторое понижение их ценности в самом королевстве. Низкий курс, несомненно, благоприятствует спросу на французские продукты; но этот спрос ограничен потреблением; он сообразуется с потреблением еще более, чем с ценою товара, между тем как операции, производимые с золотом и с серебром и связанные с низким курсом, не имеют пределов».

Но, несмотря на эти опасения, сильный под'ем жизни, рост производства, богатства приподнимал и увлекал революционную Францию; уносимая этим быстрым и внезапно усилившимся течением, она шла с бодрою радостью, к которой примешивалось некоторое беспокойство, громко и гневно крича, когда она наталкивалась на какое-нибудь внезапно возникавшее затруднение, вроде сахарного кризиса, но бесстрашно идя далее или надеясь устранить опасность несколькими декретами.

Одно время, в феврале и в марте, некоторые сырые материалы, необходимые для промышленного труда, так сильно вздорожали, что Собрание намеревалось всеми способами понизить цены на них: например, цена хлопчатой бумаги быстро поднялась с 240 до 500 ливров за центнер. Цена шерсти, как необделанной,

так и пряжи, подиялась приблизительно в таких же пропорциях. И многие вла-
дельцы мануфактур, фабриканты, кричали: «Но что же с нами будет? И как мы
будем работать? Как дадим мы занятие нашим рабочим, если сырые материалы
стоят так дорого и если иностранцы, поощряемые курсом, скупают и поглощают
их?» И вдруг, очень ловко пользуясь паникою, вызванною высокими ценами.
фабриканты потребовали от Собрания полного запрещения вывоза значительного
числа сырых материалов. Существовали прецеденты. Учредительное Собрание во-
все не применяло без ограничений принципов так называемой свободы торговли.
Оно обложило иностранные мануфактурные продукты высокими ввозными пошли-
нами. И оно воспретило вывоз некоторых сырых материалов: хлеба, необходимого
для пропитания людей, льна, необходимого для изготовления их одежды. и
шелка, находившего применение во многих производствах. В силу этих
примеров, производивших очень сильное впечатление на Собрание, комитет тор-
говли, орган промышленных интересов, потребовал, чтобы закон воспретил вы-
воз «хлопчатой бумаги и шерсти, привозимых из французских колоний, француз-
ской шерсти как в пряже, так и в необделанном виде, необделанной, очищенной
и отделанной пеньки, сырой и выделанной кожи, сенегальской камеди и обрез-
ков кожи и пергамента». Депутаты Маран, Массэй, Форфэ, Арена горячо отстаи-
вали запрещение вывоза этих продуктов. Публика, помещавшаяся на трибунах.
полагавшая с несколько узким экономическим национализмом, что эти запрети-
тельные меры обеспечили бы труд всем французским рабочим, горячо аплоди-
ровала депутату Арена. «Какова ваша задача? — воскликнул Арена: она
заключается в том, чтобы ваши сырые материалы не вывозились за границу для
питания рабочих других стран, и чтобы они не возвращались во Францию с над-
бавкою, соответствующею задельной плате». Это рассуждение было просто, слиш-
ком просто, и оно не соответствовало бесконечной сложности экономических явле-
ний. Маран воскликнул, что без запрещения вывоза существованию двух мил-
лионов рабочих грозила бы опасность. Но Эммери резко протестовал, утверждая.
что это являлось простою проделкою владельцев мануфактур, направленною про-
тив торговли и против земледелия. Как, в этом году было собрано мало земле-
дельческих продуктов, шерсти, пеньки, льна; земледельцы, которые немного
могли продать, могли по крайней мере получить некоторое вознаграждение
благодаря повышению цен, а, закрывая для них внешние рынки, их хотят оста-
вить на произвол фабрикантов! Хотят заставить их сбывать свои товары за бес-
ценок. Он заметил, что колонии, вместо того, чтобы отправлять свои продукты,
и в особенности свою хлопчатую бумагу, во Францию, где эти продукты остава-
лись без движения и обесценивались, отправляли бы их прямо за границу, и что
Франция лишилась бы и выгоды, доставляемой куртажем, и возможности самой
запасаться этими продуктами.

Собрание обратило внимание на эту опасность и отказалось запретить вы-
воз хлопчатой бумаги так же, как оно отказалось запретить вывоз сахара, по-
тому что колонии стали бы прямо отправлять его другим нациям. Но. признав
невозможным применение этого же запретительного режима к продуктам, произ-
водимым вне Франции, оно, наоборот, позаботилось об удержании законодатель-
ною мерою во Франции сырых материалов, добываемых во Франции. Итак, оно
декретировало 24 февраля:

«Национальное Собрание, выслушав доклад своего комитета торговли отно-
сительно повышения цен сырых материалов, служащих для производства, и от-
носительно их вывоза за границу, принимая во внимание, что вывоз льна и
шелка уже запрещен и что не менее необходимо удержать и другие сы-
рые материалы, необходимые для наших мануфактур, принимая во внимание, что
оно должно заботиться о предотвращении тех бедствий, которые неимение доста-
точного количества вышеупомянутых материалов причинило бы Франции, если бы

продолжал быть дозволенным их дальнейший вывоз; что оно должно сохранить для всех граждан возможность удовлетворять свои главные потребности и лишить врагов общественного дела возможности вывозить за границу массу своих капиталов, в виде сырых материалов, декретирует безотлагательность и, предварительно признав безотлагательность, декретирует нижеследующее:

«Статья 1. — Вывоз из королевства морским и сухим путем шерсти как в пряже, так и в необделанном виде; пеньки кусками, в виде прядева или обделанной; сухих и сырых шкур, сухой и сырой кожи и обрезков кожи и пергамента — временно воспрещается.

«Статья 2. — Вывоз колониальной хлопчатой бумаги временно воспрещается до тех пор, пока Национальное Собрание не издаст окончательного постановления относительно повышения пошлины, взимаемой при вывозе этого товара за границу.

«Собрание поручает своему Комитету торговли немедленно представить ему проект декрета относительно этого повышения пошлины.

Следует заметить, что по отношению к хлопчатой бумаге это лишь временное воспрещение вывоза относится только к хлопчатой бумаге, привозимой из колоний. Камбон указал на то, что в Марсель привозилась для дальнейшего вывоза хлопчатая бумага из Леванта, что очень легко было отличать эту хлопчатую бумагу от колониальной, и что если бы был воспрещен ее вывоз, то марсельские торговцы складывали бы их в порте Ливорно, и что таким образом от Марселя было бы отвлечено важное коммерческое течение, и снабжение наших мануфактур было бы не обеспечено, а затруднено. Собрание согласилось с ним, поступив подобно Учредительному Собранию, из'явшему от запретительных мер восточный шелк.

Даже и для вывоза разных сортов шерсти пришлось, правда, неохотно и нескоро, согласиться на некоторые смягчения и из'ятия; после первого чтения в марте и второго—в апреле Собрание лишь 14 июня издало декрет, разрешавший вывозить за границу непряденую иностранную шерсть по пред'явлении доказательств ее происхождения. Тот же самый декрет освобождал, кроме того, седанских фабрикантов сукна и ретельских и реймских мануфактуристов от уплаты пошлин за вывоз приготовленной для прядения шерсти, которую они отправляли за границу для прядения и ввозили обратно во Францию. Пересучиватели ниток в департаментах Нор и Эн также могли свободно посылать эти нитки за границу для беления их там и для обратного ввоза в королевство.

Но эти самые из'ятия только свидетельствуют о том, что Собрание старалось как можно более беречь для французского производства необходимые для промышленности сырые материалы. Пошлина, взимаемая при вывозе хлопчатой бумаги, была повышена до 50 ливров с центнера. Очевидно, в этот период в 1792 году какой-то инстинкт предупреждал Францию, что ей следует сжиматься, замкнуться. Действие курса, позволившее иностранцам дешево покупать всякие материалы и товары, заставляет ее изворачиваться и защищаться.

В самом деле, уже начинается в экономической форме война между Революцией и остальным миром. Ассигнат дискредитирован за границей, потому что в остальном мире не оказывается сил, в достаточной степени заинтересованных в успехе Революции. Она вызывала в народах частные и ненадежные симпатии. Но ни для немецкой, ни для голландской, ни для английской буржуазии, ни для рабочего класса в Амстердаме и в Лондоне успех Революции не стал, если я могу так выразиться, их собственным делом. Если бы они надеялись на этот успех и желали его, то они поддержали бы курс ассигната и выразили бы свою веру в Революцию своим доверием к революционной монете. Недоверие к ассигнату за границей является доказательством недоверия народов к самой Революции и его мерилом. Там не готовы к Революции, как во Франции, и это

различие в степени революционности находит свое выражение в соответственном различии в высоте курса ассигната по ту и по сю сторону французской границы.

Обвинять в этом спекуляцию, как делал Делопэ, да и сам Клавьер, было довольно наивно и поверхностно. Она могла в бесчисленном множестве случаев пользоваться этими различиями в высоте курса для своей игры; она могла усиливать их; но первоначальною и существенною причиною недоверия к ассигнату на внешних рынках была, конечно, основная дисгармония между революционной Францией и остальным миром. Это недоверие к ассигнату за границей действовало на французские продукты, на французские сырые материалы, как всасывающий насос, при чем французская промышленность была поощряема спросом на продукты, и в то же время ей грозила опасность, вследствие спроса на сырые материалы. Революция, встревоженная и колебавшаяся, старалась устранить опасность, воспретив вывоз веществ, необходимых для национального труда.

Если бы Жиронда, вместо того, чтобы обольщаться словами о спекуляции, подумала о глубоких причинах этого явления, то она увидела бы в них несомненнейший признак, точнейшее доказательство недостаточной подготовленности остального мира к Революции. Идея всеобщей войны, при которой симпатия народов немедленно отозвалась бы на пропаганду Революции, как бесконечное эхо, не вызвала бы у нее так легко энтузиазма. Между экономическим самоограничением, ставшим уже с этих пор обязательным для Франции, и тем чудесным революционным расширением, о котором мечтала Жиронда, оказывалось существенное противоречие, которого не увидали эти пристрастные и самонадеянные умы. Правда, они говорили, что победоносная война подняла бы во всем мире курс ассигнатов. В адресе, посланном якобинцами, под воинственным влиянием Жиронды к филиальным обществам от 17 января 1792 года, выражается эта надежда:

«Поспешим же... введем свободу во всех соседних странах, создадим из свободных народов оплот против тиранов; заставим их трепетать на их шатающихся тронах, а затем возвратимся в свои жилища, спокойствие которых уже не будет нарушаться фальшивою тревогою, которая хуже самой опасности. Вскоре в государстве возродится доверие, восстановится кредит, вновь установится равновесие курса, наши ассигнаты наводнят Европу и таким образом заинтересуют наших соседей в успехе Революции, у которой с тех пор уже не будет опасных врагов».

Жиронда забывала, что если бы у промышленных и торговых классов, у буржуазных классов, которые одни только были способны пожелать Революции, сходной с французскою, или действительно попытаться совершить ее, уже существовала сильная склонность к этому, если бы экономические и политические условия их развития в Англии, в Голландии, в Германии были весьма благоприятны для этого, то эти классы проявили бы солидарность своих революционных интересов с нашими, поддержав доверие к ассигнату. Одним союзом государей, эмигрантов, спекулянтов и тиранов нельзя было об'яснить этого рода падения Революции на всех европейских биржах, где властвовала буржуазия. И если бы Робеспьер обращал больше внимания на экономические явления, то он мог бы указать на это недоверие к революционной монете за границей, возражая против тех мечтаний о легком и радостном революционном расширении, которые с героическою и преступною опрометчивостью распространяли жирондисты.

Но хотя этот кризис в меновых сделках свидетельствовал о нарушении равновесия между Францией и миром, хотя кроме того, он грозил вызвать неустойчивость экономического положения и производства Франции, все-таки

остается верным, что в 1792 году неслыханная деятельность мануфактур предохраняла рабочее население Франции от худшего из бедствий — от безработицы. Как естественное следствие усиленного спроса на задельную работу, обнаруживалась тенденция к повышению заработной платы, как констатирует цитируемая выше статья в «Парижских Революциях». Но не страдали ли в этот период рабочие и ремесленники от редкости орудий обращения и от вздорожания товаров?

Следует теперь же сказать, что если в конце 1791 года и в начале 1792 г. ассигнат обменивался на иностранные ценности с потерею 50%, а на деньги— с потерею 20%, то потеря оказывалась гораздо менее значительною по отношению к товарам. Это—бесспорное явление, которое и было отмечено в эту эпоху очень многими наблюдателями. Металлическая монета, золото и серебро считались товаром совершенно особого рода. Те, у кого были серебро и золото, чувствовали себя в безопасности от всяких кризисов, от всяких сюрпризов, вызываемых курсом бумажных денег или изменением цен товаров. Золотая и серебряная монета, которую легко было прятать и сохранять, не подвергалась опасности испортиться, как другие товары, и она вполне сохраняла по отношению к иностранным ценностям покупательную силу, которую утрачивали ассигнаты. В особенности велик был спрос на золотую и серебряную монету со стороны тех, кто хотел обратить свои бумажные ценности в солидный металл, не беря на себя хлопот, связанных с торговлею товарами, а поэтому ценность золотой и серебряной монеты чрезвычайно повышалась; это повышение не распространялось на многие товары, а именно на все те, которые не представляли, подобно сахару или хлопчатой бумаге, вследствие особых причин, удобств для спекуляции.

Кельгасон ясно говорит в своем докладе от 17 декабря:

«Всем известно, что менее ценная из двух монет, ценность которых неодинакова, неизбежно вытесняет другую. Тогда цена последней, подобно ценам всех остальных товаров, подвержена изменениям по отношению к первой. А когда многие обстоятельства вызывают ее отлив за пределы государства, ее ценность должна значительно возрастать. Если бы ценность ассигнатов зависела от их размена и от цены денег, то при внезапных изменениях, вызванных ажиотажем в эти последние дни, наблюдалось бы, что эти изменения коснулись бы всех предметов, обмениваемых на ассигнаты. *Однако цены хлеба и необходимейших товаров не изменились*».

Через три месяца после этого, хотя произошло вызывавшее беспокойство повышение цен многих товаров: кожи, хлопчатой бумаги, сахара, Кондорсе также констатировал в превосходной записке, представленной Собранию 12 марта, что понижение ценности ассигната по отношению к товару, которое очень трудно было вычислить, наверно, было менее значительно, чем понижение ценности ассигната по отношению к деньгам.

«Итак,—говорит он,—суждение о действительной ценности ассигнатов, на основании отношения их ценности к ценности металлических денег, было бы ошибочно, и сколько-нибудь точное определение этого понижения ценности было бы возможно лишь на основании цен известных товаров путем довольно сложного вычисления, для которого даже трудно было бы представить достоверные основания. Но важно заметить, что это понижение ценности гораздо менее значительно, чем то, на которое указывает цена денег, и следует опровергнуть это заблуждение, охотно распространяемое нашими врагами».

В самом деле, повышение цен товаров было мало заметно, и современников поражало, главным образом, не то, что эти цены повышались, а то, что, несмотря на отмену сборов и пошлин с напитков, со с'естных припасов, они не понижались. Именно это отмечает Гебер в статьях в «Отце Дюшене», в которых с большою силою выражались чувства и гнев народа:

«Как, проклятие! — восклицает он в 83 номере своей газеты, относящемся к этому периоду.—Неужели мы ничего не выиграли от уничтожения застав? Нас обложат новыми налогами, и мы всегда будем платить те же пошлины с продовольственных продуктов?».

Итак, в это время нет острого кризиса, нет застоя, но, наоборот, замечается общее стремление к деятельности и к благосостоянию, сильное деловое оживление.

«Протестанты, — пишет 12 декабря 1791 года аббат Саламон, — только что открыли еще новый банк».

И если это сильное экономическое возбуждение иногда вызывало повышение цен товаров, то оно же возвышало и труд и повышало заработную плату.

Отсутствие мелких ассигнатов и мелкой монеты одно время было очень стеснительно для промышленников и для рабочих. В ноябре обнаруживается такое сильное стремление приобретать мелкие пятиливровые ассигнаты, которые были еще очень редки, что они приносят премию при обмене на крупные ассигнаты. 28 ноября Госсман говорит в Собрании:

«Мелкие ассигнаты являются единственным рессурсом торговли, и, если вы не примете всевозможных мер для предотвращения их расточения, то вы отнимете их у департаментов».

«При этом обмене следует принять строжайшие меры предосторожности. Следует обеспечить себя против этого ажиотажа, заменяющего при платежах крупными ассигнатами мелкие, продающиеся с 7 или 8% барыша». Так что если бы народ имел в руках пятиливровые ассигнаты, он не страдал бы от очень значительного понижения ценности ассигнатов, так как потеря на них была бы не так велика, как потеря на крупных ассигнатах. Но, с другой стороны, сам пятиливровый ассигнат был неудобен, пока не было выпусков еще более мелких ассигнатов, потому что трудно было разменять его на более мелкую монету, и в некоторых местностях это вредило мелкому ассигнату. Доказывая необходимость выпуска очень мелких ассигнатов, Мерлен говорит 13 декабря: «Ассигнаты, даже пятиливровые, настолько неудобны, что в моем департаменте, например, в Меце, на них теряют 14% (по сравнению с деньгами): это вызывает вздорожание необходимейших товаров и могло бы вызвать новое народное восстание».

Мелкая монета была настолько редка, что рабочие, бо̀льшая часть которых платила менее пяти ливров налога, не могли бы уплачивать причитающихся с них податей, если бы они не соглашались производить свои платежи в складчину и если бы это не было разрешено им специальным постановлением. Во многих местах, вследствие любопытного регрессивного явления, промышленникам приходилось заменять уплату деньгами уплатою натурою, чтобы расплачиваться со своими рабочими. Они покупали хлеб, холст и раздавали эти товары рабочим. Потребность в очень мелкой монете была настолько велика, что чрезвычайно развились выпуски кредитных билетов.

Частные банки выпускали очень мелкие билеты и обменивали их на ассигнаты. В некоторых местностях, например, в Арденнах, сама Директория департамента брала на себя инициативу этого выпуска, и это сводило к минимуму шансы ажиотажа и возможный убыток.

Но почти везде, если эти выпуски оказали большую услугу, поддерживая обращение и давая Революции время, наконец, выпустить очень мелкие ассиг-

наты, за эту услугу пришлось дорого платить. Прежде всего, пятиливровые ассигнаты обменивались на эти кредитные билеты с потерею: рабочий, обладавший билетом в 5 ливров и вынужденный разменять деньги, получал очень мелкими кредитными билетами только $4\frac{1}{2}$ ливра. «До сих пор,—говорит Каминэ 16 декабря,—мелкие ассигнаты служили только богатым, они стали в их руках средством уменьшать заработную плату бедняков и лишать рабочих десятой доли их недельного заработка за размен».

Гебер советует народу бить палками лиц, занимающихся ажиотажем, «евреев», спекулировавших таким образом на пятиливровом ассигнате. Притом, у этих билетов не было иного обеспечения, кроме самих ассигнатов; но учреждения, принимавшие эти ассигнаты на хранение, не были серьезно контролируемы: они имели полную возможность не сохранять этих ассигнатов в неприкосновенном виде, а, наоборот, пользоваться ими для всякого рода операций. Благодаря этому возникали две опасности: эти операции могли оказываться неудачными, и обеспечение кредитных билетов сразу становилось ненадежным. И во всяком случае получалось фиктивное увеличение числа монет, которое могло окончательно дискредитировать бумажные деньги и вызвать еще большее повышение цен товаров.

Ассигнат служил представителем национальных имуществ; кредитный билет служил представителем ассигната. Если кредитный билет и ассигнат обращались одновременно, то, повидимому, уже не существовало предела для выпуска бумажных денег. Крестен энергически указывает Законодательному Собранию 28 марта на все эти опасности: «Существовали только ассигнаты на крупные суммы. Парижские банкиры спекулировали, пользуясь этим затруднительным положением. Народу внушили, что выпуск допущенных мелких денежных знаков, на которые обменивались бы обеспеченные ипотекою национальные ценности, заменил бы монету, не вызывая неудобств: народ ухватился за это коварное средство, как за единственное спасение. Учредительное Собрание, уступая этому желанию без тщательного исследования вопроса, не заметило ловушки или притворилось, что не заметило ее.

«Учетная касса, Патриотическая касса, Вспомогательная касса стали одновременно пускать в обращение ценности на всевозможные суммы. Эти учреждения разделились на отделения; начались выпуски частных лиц: это дошло даже до того, что стали выпускать монету в виде бумаг на пред'явителя.

«Наконец, эти эпидемические выпуски под видом благодеяния распространились по всему государству, так что в настоящее время существует более 40 миллионов билетов на пред'явителя, имеющих, так сказать, общественный характер, при чем у нации нет никакой уверенности в ответственности тех, кто выпускал билеты.

«Таким образом в течение десяти месяцев все орудия обращения и обмена, как металлическая, так и национальная бумажная монета, превратились:

«во-первых, в билеты Учетной кассы, так называемой Патриотической кассы и так называемой Вспомогательной кассы;

«во-вторых, в векселя или в процентные бумаги на пред'явителя, выпускаемые банкирами;

«в-третьих, в билеты Касс, рассеянных по разным городам и подражавших Парижу.

«Что же, господа, произошло благодаря этому сосредоточению? С одной стороны, возник естественный союз между банкирами и тремя вышеупомянутыми кассами; а с другой стороны, произошло неопределенное увеличение количества фиктивной монеты.

«Я замечаю, что сумма, служащая обеспечением со стороны парижской патриотической кассы, составлена вовсе не из ассигнатов или из звонкой мо-

неты, а лишь из национальных процентных бумаг или из процентных бумаг Индийской компании и других компаний. Это было первое побуждение к ажиотажу с ее стороны. Это истина... в подтверждение которой я ссылаюсь на свидетельство парижского муниципалитета, хранителя этого обеспечения.

«Тогда начался обмен ассигнатов на кредитные билеты. При обмене ассигнатов в 50 и в 100 ливров на ассигнаты в 500 и в 2.000 ливров наживали от 2 до 3%. Патриотическая касса обменяла таким образом получаемые ею ассигнаты в 50 и в 100 ливров на ассигнаты в 500 и в 2.000 ливров и воспользовалась ими для учета векселей с тремя подписями или для ссуд, обеспечением которых служили процентные бумаги национальных или частных компаний и золотые и серебряные монеты. Благодаря этому, она уподобилась Учетной кассе. И вот обе они одинаково занялись банковыми операциями и серьезными делами, которыми занимаются все банкиры».

Таким образом революционная монета, бывшая надежною благодаря обеспечению ассигната землею, становится теперь, благодаря выпуску кредитных билетов, колеблющеюся монетою, служащею предметом всякого рода спекуляций. Вдруг начинают кричать о бедствии и о разорении. В Париже в конце марта распространяется слух, что Вспомогательная касса растратила свой актив, или что он стал ненадежен, что она не в состоянии платить при пред'явлении выпущенных ею кредитных билетов. Пред'явители этих кредитных билетов, вдруг встревожившиеся насчет их надежности, все вместе отправляются в кассу и требуют уплаты. Один из заведующих убегает; паника усиливается: билетам Вспомогательной кассы, которых в Париже было в обращении на сумму в 7 миллионов, угрожает полная потеря доверия к ним: народ сильно возбужден против спекулянтов, занимающихся ажиотажем банкиров, и грозит возмущением. Парижский мэр уведомляет об опасности правительство и Собрание. 30 марта Лафон-Лабеда представляет доклад о безотлагательных мерах:

«Если бы муниципалитет не принял мер предосторожности, то в Париже могли бы произойти величайшие беспорядки. У нас еще нет точных сведений относительно того, в каком состоянии находится эта касса. Господин Гильом, главный заведующий, утверждает, что всего было выпущено в обращение билетов только на сумму 7 миллионов и что 4 миллиона уже возвращены. Он утверждает также, что у кассы имеется значительный актив и что один торговый дом в Бордо, два торговых дома в Лондоне и один в Амстердаме должны ей большие суммы.

«Господин Гильом даже утверждает, что при старании и со временем актив уравновесит пассив. Пусть же его надежды осуществятся! А пока ежедневные, ежеминутные услуги, оказываемые этою кассою, необходимы. Сегодня утром парижский муниципалитет внес в нее капиталы; но он не имеет возможности продолжать оказывать эту услугу. Однако какие граждане обладают билетами этой кассы? Это рабочие. Это небогатый общественный класс, у которого нет хлеба. Следовательно, Собрание непременно должно оказать им помощь».

Но этому сильно сопротивлялись. Повидимому, в Собрании в данный момент преобладали два чувства: прежде всего боязнь создать опасный прецедент и принять на себя ответственность за все кассы, функционировавшие во Франции, а затем в нем зарождалась своего рода ненависть к Парижу. Как! Мы дадим три миллиона парижским рабочим и окажем помощь Парижу из податных сумм, выплачиваемых провинциями! Пылкий и непоследовательный Иснар, дебютировавший в Собрании в высшей степени резкими революционными речами, вдруг посоветовавший держаться примирительной и умеренной политики и возбудивший своим очевидным поворотом столько подозрений, что серьезный еженедельник Прюдома формально обвинил его в том, что он получил деньги от двора, Иснар, который произнесет в Конвенте знаменитые резкие бессмысленные слова, направленные против Парижа, повидимому, начал играть эту роль

депутатского «сельского обывателя», возражая против того, чтобы было решено оказать какую бы то ни было помощь. Он дошел до того, что до такой степени неприлично прервал Верньо, говорившего в пользу Парижа, что снисходительный Верньо был вынужден потребовать, чтобы Иснара призвали к порядку. Сначала Собрание довольно неохотно приняло 30 марта предложение, в котором обнаруживалось недоверие к парижскому муниципалитету: «Национальное Собрание, постановив безотлагательность, декретирует, что Касса чрезвычайных расходов предоставит в распоряжение министра внутренних дел и под его ответственность сумму в 3 миллиона, которую он вручит Директории парижского департамента в качестве аванса и с обязательством, что она уплатит эту сумму, для того, чтобы она была затем внесена в кассу муниципалитета по получении им надлежащих полномочий».

Фельянцы, раздраженные происшедшим незадолго до того вступлением Жиронды в министерство, доверяли капиталы умеренной Директории департамента и, повидимому, принимали меры предосторожности против Петиона. Этот первый декрет, свидетельствовавший о досаде Собрания, был нелеп, так как он организовал довольно длинную процедуру, и, однако, нужно было безотлагательно принять меры для уплаты по пред'явлении билетов под опасением вызвать возмущение внезапно разоренного парижского населения. 30 марта Петион возобновил свою попытку.

Министр внутренних дел Ролан вмешался и об'явил Собранию, часть которого встретила это заявление ропотом: «Гнетущие обстоятельства принимают весьма опасный оборот и, если не будет оказана необходимая помощь, нельзя ручаться, что не произойдет возмущения». Наконец, Собрание, уступая необходимости и давлению со стороны жирондистов, постановило, по предложению Жирардо, что 500.000 ливров будут немедленно предоставлены в распоряжение Директории и в тот же самый день переданы ею муниципалитету.

Таким образом кризис был устранен, и к тому же в это самое время в Париже распространялась новая медная монета, выпуск которой был ускорен Собранием, при чем снятые с колоколен колокола попадали в руки революционного народа в виде мелких металлических монет; впрочем, кредитные билеты вышли из обращения лишь в 1793 году.

Но благодаря всему этому возбуждению и волнению, внезапным изменениям цен, сахарному кризису, сосредоточению орудий обращения в руках банкиров, народ сознавал, что в недрах самой Революции развивались новые силы, и его классовое сознание начало обостряться.

С другой стороны, буржуазия, стесненная в своих коммерческих операциях, испуганная движением или упреками, которые, как ей казалось, угрожали, под именем скупки товаров, торговле и даже собственности, относилась к пролетариям с недоверием и почти с ненавистью. В особенности, часть буржуазии, участвовавшая в колониальных предприятиях, сердилась, видя, что публика, помещавшаяся на трибунах, становилась во имя Прав Человека на сторону мулатов и даже чернокожих рабов против белых колонистов и крупных собственников. Скрытый разрыв между двумя частями третьего сословия, буржуазною и народною, уже выяснившийся благодаря законодательству, устанавливавшему привилегию активных граждан, благодаря преступному столкновению на Марсовом Поле, усиливался теперь благодаря экономическим конфликтам. Петион, который в качестве парижского мэра принимая предложения и жалобы тех и других, выражения гнева рабочих, выражения ужаса и гордости богатых буржуа, начал с февраля бояться этого зарождавшегося раздора и, попытавшись в январе осторожно сдерживать народ, возмутившийся против негоциантов, он попытался в феврале пробудить в буржуазии более широкие и великодушные мысли. Он обратился 6 февраля 1792 года к Бюзо с письмом, которое возбудило

внимание и которое следует воспроизвести, так как, несмотря на то, что оно написано человеком, ум которого не отличался глубиною, оно является первоклассным социальным документом: это официальное и ясно выраженное констатирование первых симптомов классовой борьбы в самой революционной партии.

«Мой друг, вы указываете мне на то, что общественный дух ослабевает, что принципы свободы искажаются, что, беспрестанно говоря о Конституции, на нее беспрестанно нападают; вы говорите мне, что ее ревностнейшие защитники не принимают и не придерживаются никакой общей системы для того, чтобы поддерживать ее, что все обращают внимание лишь на текущие дела и на мелочи, отражают частные нападения, что мы едва думаем о будущем. Вы спрашиваете меня, что я думаю, какими способами я считаю возможным предотвратить, повидимому, угрожающую нам великую катастрофу. Я ограничусь в настоящее время тем, что изложу вам один способ.

«Я восхожу к идеям, которые кажутся уже далекими от нас, и я буду употреблять выражения, вычеркнутые Конституцией из нашего словаря: но это единственное средство, пользуясь которым мы можем хорошо понимать друг друга; итак, я буду говорить вам о третьем сословии, о дворянстве и о духовенстве.

«Что такое было третье сословие до революции? Все, что не принадлежало ни к дворянству, ни к духовенству. Сила третьего сословия была непреодолима, оно было в двадцать раз сильнее остальных; поэтому, пока оно действовало заодно, дворянство и духовенство не могли воспротивиться его желаниям; оно сказало: «Я—нация», и оно было нацией. Если бы теперь третье сословие было тем, чем оно было в эту эпоху, то не подлежит сомнению, что дворянство и духовенство были бы вынуждены подчиниться его желанию и они даже не задумали бы бессмысленного проекта возмущения; но третье сословие разделено, и вот в этом-то и заключается истинная причина наших бедствий.

«Буржуазия, этот многочисленный и состоятельный класс, отделяется от народа; она ставит себя выше его, она считает себя стоящею на одном уровне с дворянством, которое ее презирает и ждет лишь благоприятного момента, чтобы ее унизить.

«Я спрашиваю каждого здравомыслящего и непредубежденного человека: кто же именно желает бороться против нас в настоящее время? Не привилегированные ли? Потому что, когда они неопределенно говорят о том, что монархия разрушена, что у короля нет власти, то не означают ли в конце концов эти утверждения, если их выразить ясным языком, что теперь уже нет прежде существовавших отличий, и что хотят бороться, чтобы добиться их.

«Буржуазия должна быть ослеплена, если она не замечает столь очевидной истины; она должна быть очень безрассудной, если она не действует заодно с народом. Ей в ее заблуждении кажется, что дворянства уже не существует, что его существование совершенно невозможно, так что она нисколько не боится его и даже не замечает его намерений; она относится с недоверием только к народу. Ей столько раз повторяли, что дело идет о войне имущих против неимущих, что эта идея всюду преследует ее. Народ, со своей стороны, чувствует раздражение против буржуазии, он негодует по поводу ее неблагодарности, он вспоминает те услуги, которые он оказал ей, он вспоминает, что все они были братьями в прекрасные дни свободы. Привилегированные тайно возбуждают эту войну, которая незаметно ведет нас к гибели.

«Буржуазия и народ, соединившись, совершили Революцию; лишь их примирение может сохранить ее.

«Эта истина очень проста и, конечно, именно поэтому на нее не обратили внимания. Говорят об аристократах, о сторонниках министерства, о роялистах, о республиканцах, о якобинцах, о фельянах; ум запутывается во всех этих наименованиях, не знает, какой идеи держаться, и сбивается с толку.

«Конечно, создавать таким образом бесчисленные партии, раз'единять граждан из-за мнений и интересов, доводить их до борьбы между собою, составлять из них мелкие частные корпорации — значит быть очень хитрым; но благоразумным людям следует разоблачить эту коварную политику и выводить не замечающих ее и увлекающихся из их заблуждений.

«На самом деле существуют только две партии, и я прибавляю, что они таковы же, какими они были во время Революции; одна хочет Конституции, и это та партия, которая создала ее; другая не хочет ее, и это та партия, которая ей противилась. Некоторые лица перешли из одной партии в другую; но это исключения; существуют также некоторые оттенки мнений.

«Не обманывайтесь относительно этого, положение дел не изменилось; предрассудки не исчезают в один день. Сегодня хотят того же, чего хотели вчера: отличий и привилегий. Пусть как угодно прикрашивают эти претензии; форма ничего не значит, вот в чем заключается сущность дела.

«Итак, пора третьему сословию открыть глаза, сплотиться, или оно будет раздавлено. Все хорошие граждане должны отказаться от своего мелкого личного чувства досады, заглушить свои личные страсти и всем пожертвовать для общего блага. У нас должен быть только один клич: союз буржуазии и народа, или, если угодно, об'единение третьего сословия против привилегированных.

«Этот святой союз немедленно уничтожит всякие гордые и мстительные проекты. Этот союз предотвратит войну, так как нет таких сил, которые можно было бы противопоставить столь огромной силе. Тогда можно будет справедливо утверждать, что двадцать пять миллионов человек желающих мира, непобедимы. Но бунтовщики и поддерживающие их державы не рассчитывают в настоящее время на это внушительное сопротивление; они полагают, что эти двадцать пять миллионов раз'единены, и это разделение ободряет их.

«С моей стороны, не лишнее повторять вам: пусть третье сословие об'единится, и отечество спасено. Я не сомневаюсь в том, что оно будет спасено. Буржуазия почувствует необходимость об'единиться с народом, а народ почувствует необходимость об'единиться с буржуазией; их интересы нераздельны, их счастье является общим.

«Народу беспрестанно вероломно повторяют, что он несчастнее, чем при старом режиме. Я не утверждаю, что народ не страдает; но все граждане страдают и Революция не может совершиться без лишений и боли. Переход от деспотизма к свободе всегда бывает труден. Ах, чего только не вытерпели в продолжение целых семи лет эти смелые американцы, у которых был недостаток во всем: в одежде, в продовольствии; которые выносили невзгоды беспрестанно, мужественно и упорно сражаясь; ничто не могло утомить их настойчивость, и они преодолели все препятствия, а теперь они являются свободнейшими и счастливейшими людьми на земле. Последуем этому великому примеру, и, подобно им, мы достигнем прочного и долговременного счастья.

«Сильно пожелаем, и мы станем грознее, чем когда-либо. Эти союзы держав, которыми нам грозят, исчезнут, как пустые призраки; первый пушечный выстрел послужит сигналом к нашему об'единению и к гибели наших врагов».

Как я сказал, это письмо, конечно, написано не очень умным человеком. Петион неудовлетворительно и неточно указывает причины того «разделения», о котором он сожалеет. Да, по мере того, как буржуазия, владеющая собственностью, перестает бояться дворянства, старого режима, она в самом деле больше заботится об опасности, угрожающей ей с другой стороны, со стороны неимущих. И Петион прав, напоминая буржуазии, что борьба старого режима не окончилась, что грозит и еще долго будет грозить контр-революция. По правде говоря, и теперь, по прошествии более ста лет после этих великих событий, она все еще грозит, и те, кого Петион называет третьим сословием, должны были не раз, даже недавно, вновь об'единяться против нее. Но Петион плохо об'ясняет и, повидимому, не замечает, что самое усиление народа, революционное, политическое и социальное давление, оказываемое им в продолжение двух лет, создает новые проблемы.

Просто говорить, что положение дел не изменилось с тех пор, как были созваны Генеральные Штаты, значит сразу извратить тот вопрос, который следовало разрешить, потому что в данное время дело шло именно о том, чтобы выяснить, благодаря какой политике единство двух частей третьего сословия, народа и буржуазии, могло быть сохранено, несмотря на изменения в отношениях этих двух частей, совершившиеся за два года. Петион увещевает, вместо того, чтобы определять, анализировать и предвидеть. Просто призывать к защите Конституции, когда эта Конституция как бы разрывается между двумя вытекающими из нее тенденциями, одна из которых оказывается демократическою, а другая олигархически-буржуазною, значит заменять разрешение проблемы ее изложением, потому что следует сказать именно то, в каком же смысле Конституция должна быть понимаема и применяема. Далее, в тот самый момент, когда Петион говорит о нераздельных интересах и об общем счастии народа и буржуазии и когда, следовательно, их согласие должно было бы казаться легким и нормальным, он, очевидно, рассчитывает для сближения двух частей лишь на двойную войну: на войну против старого режима, на войну против иностранных держав. К тому же он, повидимому, не подозревает, что война, усилив опасности и возбудив страсти революционной Франции, сделает чрезвычайно острым грозный вопрос: кто же и какие силы должны защищать Революцию? Соглашаясь относительно того, что ее следует спасти, народ и буржуазия не окажутся непременно согласными в том, какими способами следует спасти ее.

Итак, взгляды Петиона оказываются совершенно неясными и неопределенными, и весьма понятно, что этот неясный оптимизм с его склонностью к поучениям, поставит жирондистов в беспомощное положение во время безрассудно вызываемой ими грозной внешней бури. Но чем ограниченнее мысль Петиона и чем слабее его ум, тем поразительнее это констатирование возрастающего антагонизма классов внутри того, что недавно являлось третьим сословием. Подобно ускоренно движущемуся решету, по мере ускорения революционного движения, Революция обособляет интересы, сперва смешивавшиеся друг с другом; и решительнейшим признаком политического и социального усиления тех, кого Петион называет народом, за эти два года Революции, оказывается то, что мысль начинает изолировать его, рассматривать его как особый элемент.

Это вызвало некоторое беспокойство даже у буржуазных демократов, потому что, защищая Петиона от тех резких нападок со стороны контр-революционеров и фельянов, которые на него навлекло это письмо, они стараются смягчить его смысл, а главное, они протестуют против всякой мысли о различении двух классов в третьем сословии. «Французский Патриот», газета Бриссо, пишет в нумере от 13 февраля:

«Мы просим извинения у наших читателей за то, что мы еще говорим им о сотрудниках «Всеобщего Вестника»: но мы обязаны сказать пару слов о клеветах, взведенных ими вчера на г-на Петиона. Все патриоты одобрили письмо,

написанное этим превосходным гражданином г-ну Бюзо. И что же?—Это письмо дало сотрудникам «Всеобщего Вестника» повод взвести на него ужаснейшее обвинение. Они обвиняют его в желании установить в обществе существование двух противоположных классов. буржуазии и народа! Они обвиняют в этом его, который во всем своем письме не перестает проповедывать единение не этих двух классов, а этих частей народа. Они обвиняют его, который убеждает буржуазию присоединиться к менее счастливым гражданам для того, чтобы одолеть сторонников контр-революции, в том, что он утверждает, что буржуазия хочет контр-революции».

Газета Бриссо играет словами. Петион не мог утверждать существования двух классов, потому что у буржуазии и у народа не было различия в основном взгляде на общество и на собственность. И, конечно, он не пытался возбудить друг против друга эти две «части народа», как искусно выражается «Французский Патриот», но важное значение имело констатирование того, что эти две «части народа», на первых порах соединенные и почти смешивавшиеся в первоначальном революционном движении, теперь — и притом все более и более — обособлялись по своим интересам, идеям и страстям.

Это придает письму Петиона значение симптома. Буржуазия, умеренная и владевшая собственностью, хорошо чувствуя, что «союз», предложенный Петионом, потребовал бы от нее некоторых жертв влиянием и деньгами, отвечала гневными криками. Ее душа, которую уже можно было бы назвать «цензовою», изливалась в газетах и брошюрах. Особенно неслыханную резкость проявила колониальная буржуазия. А сторонники старого режима попытались довести буржуазию до безумия, внушить ей страх за ее собственность. Вот, например, памфлет, появившийся 18 февраля:

«Призыв чести и истины к собственникам, Иосифа де-Баррюэль-Бовэра. Предостережение: г. Петион, мэр, только что предупредил собственников, что не следует отделять их интересов от интересов санкюлотов, потому что это значило бы служить аристократии, и этот благоразумный совет внушен г-ну Петиону красноречием патриотизма; однако, я боюсь, что этому совету не так легко последуют, как это было бы в том случае, если бы он написал санкюлотам: «Любезные граждане, имейте в виду, что следует связать ваши интересы с интересами собственников». Правда, что иные ответили бы ему: «Будьте уверены, господин мэр, что мы не преминем сделать это».

И затем:

«Проснитесь же люди, владеющие собственностью; очнитесь от летаргического сна, в который вы погружены уже более двух лет; еще есть время; но не медлите ни одной минуты. Я вижу, что над вашими головами со всех сторон собираются тучи. Якобинцы, подобные Титанам, вызвав анархию и беспорядок в королевстве, вызвав жестокости и пожары во всех наших колониях, хотят погубить вас под развалинами монархии. Предместья Парижа унизаны пиками... Нет ли у вас имуществ, которые нужно охранять? Нет ли у вас семьи? Дождетесь ли вы того, чтобы у вас отняли то, чем вы владеете? Чтобы гнусные разбойники разделили между собою при вас же все награбленное у вас... Неуместно называть гражданами этих людей, которые готовы на всякие преступления, так как им нечего терять. Истинными гражданами являются те, которые владеют имуществом; остальные являются лишь пролетариями или рождающими детей; и, как в Англии, они никогда не должны были бы ни быть вооруженными, ни вотировать. Жалкие защитники распущенности, неистовые члены клуба, якобинцы, ослепляемые властолюбием, вам придется слишком осязательно убедиться в этой истине... О, граждане, сколько поводов у вас не доверять всем этим людям, желающим сравняться с вами лишь для того,

чтобы проживать ваше достояние. С каких пор трутни считаются братьями пчел? По первому же сигналу к бунту, бегите, прогоните это множество насекомых, желающих без усилия и бесславно разделить ваше достояние, которое вы приобрели или которое вы скоро увеличите благодаря вашей промышленности».

И он закончил следующею пламенною фразою, в которой прописные буквы чередуются с курсивом:

«**Собственники,** кто бы вы ни были, воздержитесь от того, чтобы отстаивать ложное учение: Люди, у которых **ничего нет,** не равны вам».

Я не стану преувеличивать значение слов графа де-Бовэра, неистового контр-революционера, что было бы смешно. Но достоверно известно, что в данный момент все сторонники старого режима старались запугать буржуазию, встревоженную внезапным движением в январе. И эта тактика вовсе не оказывалась безрезультатною, о чем свидетельствует фраза Петиона: «Буржуазии столько раз повторяли, что дело идет о войне имущих против неимущих, что эта идея всюду преследует ее».

Контр-революционеры, уже не осмеливавшиеся открыто требовать восстановления своих привилегий, королевского произвола, дворянства и феодализма, пытались образовать своего рода лигу собственников, коалицию злопамятных аристократов, раз'яренных колонистов и испуганных буржуа. Если бы это удалось им, Революция была бы поражена параличом.

Но, несмотря на опасения буржуазии, о которых свидетельствует письмо Петиона, Революция не обнаруживала готовности сдаться. При возвращении назад, к старому режиму, революционная буржуазия подвергалась опасности потерять все: национальные имущества, консолидацию долга, политическое влияние, высокое наслаждение, доставляемое свободою. Наоборот, чем рисковала она, ускорив революционное движение? Возможны были кратковременные беспорядки и убытки, но она не думала, что право собственности, соответствовавшее ее пониманию, могло надолго быть нарушено в новом обществе. К тому же, хотя экономическое усиление промышленной и коммерческой буржуазии в XVIII веке было одною из причин, вызвавших Революцию, и хотя в течение долгого времени именно она должна была, главным образом, выиграть от нового строя, ход Революции даже уже не зависел от того класса, который явился ее инициатором и которому она принесет наибольшую выгоду. Революции свойственна логика и разбег, которых не могли бы остановить даже ослепление и узкий эгоизм буржуазии. Даже если бы организованные и производительные силы буржуазии, даже если бы фабриканты, купцы, рантье, вызвав революцию, испугались ее и отошли от нее, она сумела бы призвать к себе других рекрутов; она сумела бы привлечь в самой буржуазии, хаотической и разнородной, «новые ряды» защитников. И народ не покинул бы ее, потому что, будучи раздражен буржуазным эгоизмом, он не отрекается от революции, а наоборот, идет все дальше и дальше в революционном направлении, все более и более чувствуя свою силу и как бы будучи уверен, что настанет день, когда он заставит Революцию служить себе.

В эти первые месяцы 1792 г. народ не выражает ясных политических требований. После подавления движения на Марсовом Поле, даже в клубе Кордельеров, даже в газете Гебера решено не нападать на «Конституцию».

Но народ не забыл, что закон о марке серебра и привилегия, предоставленная активным гражданам, лишили его избирательного права и, будучи унижен этим, он в то же время гордился тем, что он может сказать буржуазии, что он истолковывает Права Человека лучше, чем она, что буква Конституции за нее, но Права Человека за него.

Народ уже не требует, как в июле, низложения короля и Республики; иногда он даже, повидимому, приносит повинную за эту смелость; но в его

взглядах сохранилось республиканское увлечение, и глубокий инстинкт внушает ему мысль о том, что его стремления соответствуют логике фактов, надлежащему ходу событий. Народ раздражен быстрым обогащением буржуазных спекулянтов, дерзостью скупщиков, жестоким эгоизмом колонистов.

Но он гордо противопоставляет их эгоизму — Права Человека, которые они обходят, нарушают или искажают, и он знает, что его прямая совесть согласна с чистым идеалом. При всеобщих изменениях в условиях существования и в состояниях, при удивительном изменении интересов народ чувствует, что сплошные роковые нищета и рабство уже не гнетут его, как скала. Даже когда народ страдает, все вокруг него так сильно колеблется, старинные отношения людей и вещей так быстро преобразуется, что он понимает далекую возможность таких справедливых комбинаций, при которых он, наконец, найдет счастье. При всей умышленной грубости газеты Гебера, я часто чувствую в ней это сильное биение народного чувства. Является ли ненатуральный цинизм «Отца Дюшена» только комедиантом, как часто утверждали? Я не сказал бы этого; мне противно это сквернословие, унижающее пролетариев, но эта газета является искреннею в том смысле, что она инстинктивно понимает народное чувство, которое она непринужденно отражает. Марат одинок; он мысленно построил целую систему Революции, и он с ожесточением старается навязать эту систему событиям и людям. При всяком революционном кризисе, каково бы ни было народное чувство, Марат предлагает диктатора, военного трибуна для того, чтобы казнить изменников. Конечно, даже из глубины своего подземелья, он слышит ропот толпы, крики, в которых выражается страдание, даже шопот изменников, и он отвечает на все это резкими воззваниями и грозными речами. Вырывающийся у него порою гневный крик выражает возвышенное сострадание, он производит глубокое, трогательное впечатление на народную душу и оставляет в ней неизгладимое возбуждение. Порою же он поражает странною ясностью своих взглядов, изумительным совпадением своих невероятных предсказаний с невероятными событиями. Но этот беспрестанный гнев, это непрерывное подозрение утомляют народ; ему иногда нужна передышка; он не всегда волнуется: он предается доступным ему житейским наслаждениям; прогуливается на воздухе при солнечном свете, относится к людям с доверием. Марат, не дающий ему почти никем восхищаться (кроме Робеспьера) и не оставляющий ему почти никакой надежды, порою выводит его из терпения и, чрезмерно напрягая его нервы, утомляет их. В противоположность человеку из подземелья, «Отец Дюшен» является человеком улицы, вращающимся в толпе, бывающим в садовых беседках, где пьют хорошее вино, поругивая скупщиков, повышающих его цену. Он наблюдает за народными трибунами, бранит их или доносит на них, но порою он проявляет по отношению к ним своего рода грубую нежность, соответствующую свойственной народу потребности любить. Более приближаясь к народной мысли, «Отец Дюшен» не мечтает в дни кризисов о мрачной диктатуре: после бегства в Варенн, он требует республики, широкой демократии, которая не станет дурно обращаться с сыном короля, но обойдется без него.

После того как постановления Собрания и репрессивные меры на Марсовом Поле оттолкнули его, он не повторяет упорно яростных проклятий; по-видимому, он на краткое время отказывается от своей прекрасной мечты о республике, но он сохраняет в глубине души чувство веселия, вызываемого свободою, какое-то радостное ожидание Республики, которое проявится 10 августа. «Отец Дюшен» не бьется своим разгоряченным лбом о стены погреба, он не думает, что народ заснул навеки, потому что он говорит потихоньку; он знает, что в народной душе накопляются порой безмолвные жизненные силы, неведомые, как глубокие воды, и внезапно обнаруживающиеся, когда они бьют дивным ключом.

Итак, между тем как изнуренный, пришедший в отчаяние Марат воображает, что уже ничего нельзя ни сделать, ни сказать, потому что со всех сторон раздаются проповеди об уважении к тексту Конституции, Гебер приноравливается к этим кратковременным мировым сделкам и продолжает весело итти своим путем. От 15 декабря до 12 апреля Марат, газета которого почти не находит покупателей, перестает писать, а «Отец Дюшен», наоборот, со все возрастающим успехом кричит на перекрестках о своем сильном гневе, о своем сильном горе и о своих сильных радостях:

«Я, проклятие, настоящий Отец Дюшен!»

Уже более года чрезвычайно разнообразным тоном он бранится, выражает то свое раздражение, то свою радость, переходя от сентиментальной непринужденности к внезапному недоверию. Послушайте, как он сначала восхищается Мирабо в своем 10 номере:

«Я не удивляюсь, что красноречивый Мирабо с его громовым голосом находит такое удовольствие в том, чтобы сокрушить их (аббата Мори и его друзей)... Продолжай говорить, наш дорогой любимец отечества: мы будем радоваться всякий раз, когда ты откроешь рот, чтобы произносить речь в нашем августейшем Собрании».

Это в самом деле отголосок слов рыночных торговок, называвших его в Версали «нашим батюшкою Мирабо». Но вдруг комбинации Мирабо, его сложная политика беспокоят его (№ 12):

«Мы находим, что твоя проклятая башка вызвала у нас смертельное беспокойство... Недостаточно иметь хорошую глотку, следует иметь хорошую душу, понимаешь, дружище?»

Именно таково было по отношению к Мирабо смешанное чувство народа: беспокойство и привязанность. У Марата нет этих великолепных замечаний.

Но вот с лета 1791 года начинается биржевая игра, торговля ассигнатами. Гебер начинает энергический поход против «скупщиков» (№ 14) и рисует пикантный портрет революционных капиталистов:

«Как ни бранил я проклятых торговцев деньгами, этих лихоимцев, скупающих наши экю, как ни гонялся я за ними, как ни преследовал я их ударами бича, негодяи осмеливаются снова показываться и продавать мелкие ассигнаты, которых мы ждали с таким нетерпением. Кто окажется настолько трусливым, что не посмеет оттолкнуть таких наглецов, броситься на них, сильно поколотить и прогнать их, избитых, к их окаянным подстрекателям?

«Я не знаю, какая проклятая политика еще до сих пор мешала добраться до источника этих проделок, так часто приводивших в отчаяние народ и армию. Существует шайка негодяев, которые руководят общественным мнением, которые делают вид, что они служат благу народа, одною рукою ласкают его, а другою наносят ему удары. Тысяча проклятий! Неужели я никогда не буду в состоянии схватить кого-нибудь из них и поступить с ним так, как он того заслуживает? Разве эти проклятые люди, занимающиеся ажиотажем, воображают, что они одни останутся безнаказанными? Как? Дворянство, члены парламента, духовенство сокрушены, и мы пощадили бы этих бессердечных лихоимцев? Пусть они трепещут, чудовища! Настанет день, когда раз'яренный народ подвергнет их ужасному, но справедливому наказанию.

«Разве возможно не чувствовать отвращения, смотря на эти великолепные дома, которые они скрепили слезами несчастных? Проклятые делали вид, что они становятся во главе Революции, говоря, что они защищали свободу, тогда как они защищали свое золото. Да я видел, что они всегда менялись, сообразуясь с обстоятельствами. Когда издавались какие-либо декреты, вы-

годные для их проделок, негодяи, конечно, являлись патриотами; когда работы Собрания несколько замедлялись и получались известия о каком-либо движении в провинциях, негодяи имели печальный вид, их лица бледнели, их носы вытягивались, теперь, когда государственные имущества успешно продаются,—тысяча бомб!—они невыразимо рады; их акции поднялись на половину своей цены, а их жестокость нисколько не уменьшилась; они не только скупили наши экю или для себя или для аристократов; они хотят еще овладеть мелкими ассигнатами; они сумели побудить народ вооружиться, чтобы окружить залу Собрания в тот день, когда был издан декрет об ассигнатах; но, проклятие, этот народ не получит ни ассигнатов, ни экю, а когда все дела будут устроены выгодно для них, а бедный народ все еще будет несчастен, пусть он жалуется, ему вместо всякого ответа скажут: ты хотел этого, Жорж Данден.

«В округах вы ежедневно слышите восклицания проклятых торговцев: «Как редки стали деньги, что с нами будет? Ах! Это невыносимо!» И наглецы умалчивают о том, что именно они являлись первыми торговцами деньгами. Они ежеминутно кричали, как быки: «Аристократы, аристократы скупают деньги, чтобы вывозить их за границу». Эх, проклятые, не продавайте денег, и их не станут покупать. Именно вы являетесь первыми аристократами, тем более опасными, что под видом патриотизма вы вредите жизни ваших братьев. Если наказывают изменников, то прежде всего следовало бы наказать вас или, если вы будете продолжать заниматься вашею проклятою торговлею, вы окажетесь не людьми, а тиграми. Возможно ли, что при новом режиме, как при старом, существуют люди, занимающиеся ажиотажем, монополисты?... Эти проклятые люди, занимающиеся ажиотажем, всегда чертовски злы. Их можно сдержать лишь палочными ударами. Не вздумайте возмущаться у их дверей и не желайте врываться в их дома, потому что это доставило бы негодяям величайшее удовольствие. У них ничего не взяли бы, а они стали бы говорить, что у них украли миллионы».

Затем он обвиняет духовенство, но при этом он тщательно отделяет, сообразуясь с народным чувством в эту эпоху, священника от религии. Он с иронией говорит о «признательности, заслуживаемой ростовщиками, которые, занимаясь ростовщичеством вместе с нашими бывшими прелатами, ввели в церковь всякие пороки, заставившие нас раскрыть глаза... Видя, как бессовестные священники смешивали религию со своими страстями, сам бог, мне кажется, не узнавал в ней себя. Но, проклятие! Теперь он увидит наши открытые сердца и увидит, что все мы братья, что мы любим нашего доброго короля и еще более любим нацию...»

И, встревоженный начинающимися волнениями, вызываемыми фанатизмом, прибавляет:

«Нам следует убедить женщин перестать вмешиваться в дела священников, потому что, если они вздумают болтать о неизвестных им предметах, этому конца не будет» (№ 16).

Он картинно выражает свое негодование по поводу постоянного отлива звонкой монеты:

«Не послали ли эти негодяи (эмигранты) перед своим от'ездом по магниту во все другие страны и на границу, чтобы притягивать остаток нашей звонкой

монеты? Ах, проклятие, в этом есть какое-то колдовство или же мы попали впросак».

Но вот приближается конец Учредительного Собрания:

«Само Национальное Собрание прихрамывает. Это старая девка, которая некогда была честною женщиною, но, пожив слишком долго в столице, предалась распутству и за деньги продавалась исполнительной власти и аристократам. Но, проклятие, к счастью, приближается его конец, и день его похорон вызовет у нас такую же радость, какую у дитяти знатного рода вызовет день похорон старого угрюмого опекуна, отравлявшего его существование».

Но если Учредительное Собрание раздражило демократическую партию, произведя пересмотр Конституции в смысле благоприятном для исполнительной власти, сделав те условия, которым должны были удовлетворять избиратели и избираемые депутаты, более тяжелыми, ограничив свободу печати и право подачи петиций, то «Отец Дюшен» выражает беспокойство относительно того, что сделает «его дочь» — Законодательное Собрание, возникшее при режиме марки серебра:

«Пресловутый закон о марке серебра, — восклицает он в 58 номере своей газеты, — всегда будет мешать нам иметь депутатами таких искусных и таких честных людей, как эти лица (Робеспьер и Петион); если бы этот закон имел силу до Генеральных Штатов, то есть сильные причины думать, что три четверти храбрецов, поставивших дворянство и духовенство в безвыходное положение, не были бы избраны, и мы, более, чем когда-либо, находились бы в когтях деспотизма.

«Помешаем же, если возможно, существованию этого ненавистного закона. Я не хочу сказать, чтобы для этого мы должны были восставать против декретов Национального Собрания, потому что даже если бы некоторые из них были несправедливы, все же лучше подчиняться им, чем возбудить всеобщие раздоры и вызвать гражданскую войну. Но, проклятие! следует кричать так сильно, так сильно, чтобы наши крики были слышны и в глубине Манежа (где заседало Собрание); они рассердят, я в этом уверен, многих аристократов и притворных патриотов, оказывающихся настоящими лошадьми или, скорее, овернскими лошачихами, когда говорят о народе и о свободе; но, проклятие! ведь не у всех же уши заткнуты, и посреди этих негодяев есть еще и честные люди, которые станут на нашу сторону. Не советовали ли мы вам низвергнуть старые кумиры и поднять бедный народ, уже столько веков находившийся в невылазной грязи? Вы уничтожили аристократию дворян и духовенства, и вы создаете новую, гораздо более ненавистную аристократию богачей».

Вдруг распространяется известие о бегстве короля. Гебер, который изо-дня в день следил за народными впечатлениями и не отличался зоркою предусмотрительностью Марата, не предсказывал и не предчувствовал его. Но вдруг в «Отце Дюшене» пробуждается какое-то широко распространенное народное чувство; он, очевидно, почувствовал волнение народа, тревожное и в то же время радостное возбуждение, вызванное в нем неизвестным, и, в нескольких картинах, проникнутых, если можно так выразиться, идиллическим и грубым реализмом, он хорошо выяснил противоположные чувства консервативной и умеренной буржуазии, которая изворачивается, и стремящегося вперед народа. Почти весь 59-й номер составлен очень искусно, и, конечно, на сцене выступает сам народ, так как Гебер, главным образом, передает свои впечатления:

«Что же мы сделаем с этой толстой свиньей?», спрашивают себя все мои зеваки, говоря об Эгидии Капете. — Но, — говорит один председатель секции, — он все-таки наш король, он неприкосновенен, и нам не следует перестать уважать его и повиноваться ему. — Браво, — говорит батальонный командир, — только поджигатели говорят иначе. — «Как, проклятие, поджигатели? Разве не дать поджечь дом значит быть поджигателем?»...

«Я посылаю всех этих активных граждан к чорту и, чтобы утешиться, иду выпить глоток в небольшую кофейню у хлебной пристани. Ах, проклятие! как я был вознагражден за скуку, вызванную во мне всеми этими болтунами. Я еще не успел усесться на скамейку, как тотчас же раздается громкое пение Ç a i r a! Ç a i r a! Да здравствует нация! Я выглядываю за дверь—и что же я вижу? Кучку молодцов, вооруженных пиками и держащих под руки наших вчерашних гуляк. «И откуда же вы идете, — говорю я им. — Разве еще существуют Бастилии, которые следует взять приступом?» — «Ах, отец Дюшен, где же ты был? Мы только что поклялись умереть за отечество, и это не будет клятва негодяя, вроде той, которую только что нарушила проклятая свинья, погубившая отечество».

«Ну что же, отец Дюшен,—говорит мне мать Какс, торговка устрицами,—что нам следует думать о нашем проклятом бубновом короле? По моему мнению, проклятие, его следует поместить в сумасшедший дом, так как уже не существует монастыря, чтобы упрятать его там и постричь его, как делали наши добрые предки со слабоумными и ленивыми королями». Под впечатлением события шелушильщица Като восклицает: «Дело кончено, уже нет ни Капета, ни цивильного листа, ни австриячки; не нужно аристократа для того, чтобы править нами, и какой-нибудь добрый малый, как мы с вами, окажется столь же годным на этом месте, как и этот проклятый боров, умеющий только об'едаться».

«Говорят, что верховная власть принадлежит народу; следует сделать попытку осуществить наше право, назначив какое-нибудь подходящее лицо. Мы не возложим на него короны, так как она губит здравый смысл и добродетель: но, проклятие, мы хотим, чтобы это лицо всегда держалось запросто, как отец Дюшен. короля. Да здравствует отец Дюшен! Да здравствует отец Дюшен!».

«Я поддерживаю это предложение, — говорит отец Бондо, сильнейший из всех силачей на пристани и на рынке, — и я требую, чтобы отец Дюшен был регентом Франции во время слабоумия Эгидия Капета, бывшего французского короля. Да здравствует отец Дюшен! Да здравствует отец Дюшен!

«И вот меня тотчас же провозглашают регентом, обещают поддержать мое право тремя стами тысяч пик: примемся за дело, проклятие, это пойдет. — «Что же ты сделаешь, отец Дюшен, став регентом?» — Я начну с того, что прогоню всех притворных патриотов, проскользнувших, подобно змеям, в Национальное Собрание, в муниципалитет, в департамент. Я соберу вам новое Законодательное Собрание, которое будет состоять не только из активных граждан, но изо всех честных людей, бедных или богатых, которые заслужат эту честь вследствие их патриотизма или их дарований.

«Когда законодательный корпус будет таким образом организован, я, проклятие, не буду настолько нагл, чтобы желать шефствовать, не имея равных себе, не буду заявлять притязание на то, чтобы одному мне сосредоточивать в своих руках половину силу нации и одному мне проживать такие суммы, на которые могли бы существовать все граждане какого-нибудь департамента.

«Итак, я ограничусь тем, что буду присматривать за машиною и извещать рабочих, когда что-нибудь расстроится. Я буду покровительствовать искусствам, поддерживать торговлю, я добьюсь казни всех тех, кто занимается ажиотажем... Между тем Эгидий Капет окончит свою постыдную жизнь в своей каморке, а его мерзкая жена околеет в госпитале; когда их сын вырастет, он будет воспитан, занимаясь трудом в бедности; он забудет всю первоначально окружавшую его пышную обстановку; наконец, он научится быть человеком и гражданином, и если в эту эпоху будут нуждаться, не говорю, в короле, ибо его не нужно, если хотят быть свободными, но если непременно нужен первый фальсификатор, можно будет обратить на него внимание, и он наследует отцу Дюшену».

Странное рабство духа, которому даже в его сильном и сквернословном возмущении против королевской власти еще не удается вполне отделаться от предположения о возможности существования королевской власти.

В этой неясной форме народ начинал предвидеть Республику. Несомненно, народная мысль в эту эпоху находит самое смелое выражение в этой статье Гебера: это почти Республика и это демократия, без разделения граждан на активных и пассивных; в социальном отношении это законы против лиц, занимающихся ажиотажем, но не высказывается никакого нового взгляда на собственность.

Эта почти республиканская экзальтация проходит после возвращения короля, и сам отец Дюшен, прибегая к смягченным фикциям, делает визит Людовику XVI в его Тюильерийском дворце с тем, чтобы поздравить его с принятием Конституции и полудоверчивым, полубранчливым тоном убеждать его на этот раз остаться верным ей.

Гебер даже поддается энтузиазму в день провозглашения Конституции в Париже: «Пушечные залпы находили отзвук в наших сердцах». Но как бы то ни было, у народа в 1792 г. сохранялось то странное душевное волнение, чувство избавления, радости, беспокойства, гордости, которое охватило народное сознание при известии о бегстве короля. В течение нескольких дней народ презирал и оскорблял короля, нарушившего присягу и ставшего беглецом.

В течение нескольких дней народ чувствовал себя стоящим выше королевской власти, которую он клеймил, и революционной буржуазии, не сумевшей принять решения, вполне враждебного королю. И все это возвеличивало пролетариев, все это подготовляло их к тому, чтобы свысока судить не только о королевской власти, но и о буржуазных олигархиях, старавшихся эксплоатировать Революцию. Груб был отец Дюшен в эти первые месяцы 1792 г. по отношению к буржуям-скупщикам (№ 68). «Я видел всех наших купцов, всех наших мелочных торговцев, бакалейщиков, продавцов разных сортов водки, виноторговцев, одним словом, — всех негодяев, постоянно обкрадывающих и отравляющих нас; я видел, что все они пользуются нуждою в деньгах для своего обогащения; скупив все наши экю, и продав и передав их эмигрантам, они вызвали затем исчезновение всей мелкой монеты, так что в настоящее время можно видеть лишь бумажки, и теперь гроши встречаются реже, чем прежде двойные луидоры.

«Что же с ними случилось? Дело в том, что наши негодяи, наконец, вынуждены отдавать то, что они украли у народа. Они, болваны, не подумали о том, что, скупая всю монету, они остановили бы торговлю. Теперь, проклятие, когда их лавки безлюдны и их товары остаются у них, они кусают свои пальцы, и они очень хотели бы, чтобы прежде им не приходила мысль о том, чтобы заниматься ажиотажем. Теперь эти проклятые гады, чтобы устранить это зло, которое они сами себе причинили, хотят контр-революции. Все подлые торговцы уже не могут грабить народ, разоренный их мошенничеством: они надеются, что им удастся лучше устраивать свои оргии с бывшими дворянами».

Это насчет скупщиков монеты: вот насчет скупщиков товаров (№ 83). «Я надеялся, проклятие, что после отмены ввозных пошлин мне можно было бы позволять себе ежедневно несколько лишних бутылок; но нет, проклятие; вместо того, чтобы подешеветь и улучшиться, вино так же дорого, как и прежде, и так же отравляет нас. Я полагал также, что для нас удешевят другие товары, но бакалейщик д'Андрэ и его собратья все еще хотят заставлять нас платить ту же цену за перец.

«Несколько дней тому назад я ожесточенно спорил со своим башмачником, который желал взять с меня дороже за башмаки. «Проклятый Мори,—сказал я ему,—неужели ты стал аристократом?»—«Ты сам Мори,—ответил он мне (Мори, аббат Мори, являлся для Гебера символом контр-революции; в краткой фразе отца

Дюшена есть игра слов: memento mori (помни о смерти) относительно аббата):—если цена моего товара повышается, то не следует ли мне брать дороже за свою работу?» Как, проклятие, неужели мне придется платить дороже за пару башмаков, которые должны были стоить мне на четверть своей цены дешевле вследствие уничтожения управления сборов акциза с кож?

«Эх, проклятие, — сказал он мне, — разве ты не знаешь, что откуп все еще притесняет нас? Он был отменен только для виду. Все глупые вымогатели решили скупить все товары на фабриках; они скупили всю кожу в королевстве и теперь продают ее по такой цене, которая им желательна». Через несколько месяцев, проклятие, если против этого не примут мер, пара башмаков будет стоить золотой. Я не пропустил мимо ушей этой мысли важничавшего человека. Потом я осправлялся у других мелочных торговцев, и все они засвидетельствовали мне что проклятые вымогатели овладели всеми отраслями торговли, и что они, как воры на ярмарке, сговорились с министрами и с муниципалитетами относительно того, чтобы брать с бедного народа слишком дорого.

«Что же, проклятие, значит, мы ничего не выиграем от уничтожения застав? Нас обложат новыми налогами, и мы всегда будем платить те же пошлины с продовольственных продуктов! Боже мой! Этого не будет! Везде, где обнаруживается какое-нибудь зло, должно существовать средство против него. Новые законодатели, ваше дело найти это средство. Уничтожьте новые злоупотребления, это ваш долг. Прикажите повесить всех капиталистов и всех проклятых торговцев человеческим телом, спекулирующих насчет жизненных потребностей народа и наживающихся насчет крови несчастных; призовите секцию ломбардов, — она выяснит вам в чем дело.

«Вы узнаете, проклятие, что существует гнусный заговор, клонящийся к тому, чтобы довести нас этой зимой до последней крайности».

Так повышался тон народных протестов. Уже возвещается режим террора, применяемый к экономическим отношениям. Революция не имеет в виду касаться индивидуальной собственности, заменить меновые сделки и купеческую конкуренцию коммунизмом; итак, у нее не оказывается иных способов сдержать спекуляции буржуазии, кроме устрашения купцов; «Отец Дюшен» грозит им повешением; вскоре им будет грозить эшафот.

Так начинают проявляться экономические причины террора.

Однако «Отец Дюшен» еще не призывает народ к восстанию, к новой Революции. Он жалеет о том, что Конституция оказалась неудачною, о том, что она не проникнута великим народным и демократическим духом, но пока он покоряется (№ 84): «Если бы голос парижского населения не был заглушен, то мы не получили бы из рук вон скверной Конституции, настоящего шутовского наряда, в котором виднеются великолепные куски, сшитые с ветошью. Эта Конституция целиком вытекала бы из Прав Человека, и когда-нибудь она стала бы законом для всего мира; но что сделано, то сделано, и не следует убивать лошадь, потому что она крива».

Таким образом отец Дюшен приспособлялся к движению народных мыслей, которое то ускорялось, то становилось медленным и неясным; но вскоре народ, временно утомленный постоянным возбуждением Марата, вновь почувствовал потребность слышать этот пронзительный пламенный голос. Один «Отец Дюшен» оказался недостаточным и вульгарным.

25 августа клуб Кордельеров обратился к Марату с просьбой опять появиться на сцене. Письмо было подписано Гебером, председателем. «*Друг Народа*» снова начал выходить 12 апреля 1792 г., и таким образом народ высказывался, так сказать, двумя голосами, из которых один являлся голосом зубоскала, простофили, часто сквернословившего, а другой был резок, пронзителен, весь дрожал от страсти и выражал мысль, то впадая в жестокие заблуждения, то становясь пророческим.

Однако вопрос о продовольствии, в особенности вопрос о хлебе, вызывал волнения и смуты не только в больших городах, но и в местечках и в деревнях. В течение двух лет, в течение 1790 г. (кроме трех первых месяцев) и в течение всего 1791 г., не приходилось разрешать вопроса о хлебе. Урожаи были обильны; цена хлеба постепенно настолько понизилась, что фунт хлеба стоил менее трех су и ничто не тревожило воображения народа, который Тэн изображает, как находившийся в состоянии постоянного напряжения и безумия.

В конце 1791 г. пришлось констатировать, что урожай был недостаточен, по крайней мере, в некоторых важных районах. В своем докладе Законодательному Собранию от 1 ноября 1791 г. министр внутренних дел Делессар об'являет на основании сведений, доставленных ему Директориями департаментов, что урожай оказался обильным во всей северной Франции, средним—в центре и недостаточным—на юге.

Очевидно, положение дела не вызывало сильного беспокойства. Прежде всего Париж, центр национальной деятельности и волнений, был снабжен большим количеством провианта.

«Благодаря всем предосторожностям, принятым парижским муниципалитетом,—говорит министр,—и согласно сведениям, представленным им мне, относительно имеющихся у него запасов зерна и муки разных сортов и тех рессурсов, на которые он теперь с уверенностью рассчитывает, снабжение столицы продовольствием представляется обеспеченным на эту зиму. Справедливо полагали, что действительнейшим средством успокоить народ было запастись таким количеством провианта, которое скорее превышало бы потребности, чем оказывалось бы недостаточным для их удовлетворения... Но муниципалитет не имел возможности воспрепятствовать также и повышению цены хлеба, потому что это повышение цены является неизбежным следствием редкости товара в части королевства».

И 10 декабря Монерон защищает парижский муниципалитет от упреков торговцев хлебом и булочников. Они жаловались на то, что муниципалитет, накопивший в общественных магазинах большие запасы хлеба, заставлял булочников покупать даже испорченное зерно, которое могло закисать в магазинах. Они обвиняли муниципалитет еще и в том, что он стремился получить барыш от спекуляций, занимаясь будто бы полезными для общества операциями.

Упрек был нелеп, потому что муниципалитет не пользовался монополией продажи зерновых хлебов и, снабжая общественные магазины запасами, он способствовал понижению цены товара; следовательно, тем самым он делал получение какого-либо барыша невозможным для себя. Монерон констатирует это, и здесь я опять-таки отмечаю новое свидетельство о превосходном состоянии хлебных запасов в Париже: «Если парижский муниципалитет занимается торговлею зерновыми хлебами, если он вывозит их из других департаментов с целью получения прибыли при продаже их в столице, то он очень обманулся в своем расчете: *потому что в Париже хлеб лучше, доброкачественнее и дешевле, чем где бы то ни было во всем королевстве*».

И в Собрании не раздалось ни одного протеста против этого утверждения. В самом деле, в 1792 г. парижское население более протестовало по поводу недостатка сахара и бакалейных товаров, чем по поводу недостатка хлеба. Но в некоторых сельских местностях происходили очень сильные волнения. Собранию были

поданы петиции от городов и местечек Сент-Омера, Монтелимара, Куа, Саме, Шомона-на-Марне, Нейлльи-Сен-Фрон, Бомона-ла-Дин, Макона, Вилле-Утро, Суппа, Дюнкирхена, Сен-Венана, Дуэ, Арраса, Нанта, Верберн, Сен-Жермена и Монпелье.

Там народ возмущался, как только показывались возы, нагруженные хлебом, или когда хлеб везли на кораблях. В Шомоне народ собирался при звоне набатного колокола. В Дюнкирхене, в Сент-Омере он мешал нагрузке кораблей. Очевидно, расстраивая таким образом движение, он усиливал то бедствие, от которого страдала страна, но до какой степени его опасения оправдывались воспоминаниями, относившимися к прошлому, и даже примерами, наблюдавшимися в настоящем! В последние годы старого режима, когда, чтобы пополнить недочет от сбора, монархия уплачивала премию за ввозимые зерновые хлеба, крупные спекулянты тайком вывозили французский зерновой хлеб и ввозили его обратно, чтобы получить премию.

Народ боялся, что проделки в том же роде еще более уменьшат количество продуктов на недостаточно снабженных ими рынках. Ему тщетно говорили в портах, что вывозимая мука предназначалась для наших колоний; у него не было доверия даже в тех случаях, когда увозили зерновые хлеба с Севера, где их было очень много, для снабжения провиантом Юга. Население Севера боялось, как бы, под приличным предлогом, не вывезли его запасов. Податели петиций требовали от Собрания строгого запрещения всякого вывоза зерновых хлебов. Собрание ответило через своего докладчика Моперона, что, за исключением муки, назначенной для наших колоний, доставка которой по назначению строго контролировалась, ни зерновые хлеба, ни мука не вывозились из Франции.

Кроме того, податели петиций требовали, чтобы собственники зерновых хлебов, вместо того, чтобы продавать их спекулянтам-«скупщикам», которые могли увозить зерновой хлеб в далекие местности, были обязаны доставлять их на рынок в количестве, соответствующем имевшимся у них запасам. Собрание, не решаясь прибегнуть к этого рода регламентации и принуждению, к которым, когда наступит крайняя опасность, решительно прибегнет Конвент, отвечало, что «верным средством усилить недоверие собственника зерновых хлебов является опечатание его хлебных амбаров, требование, чтобы он доставил зерновые хлеба на рынок. Подобный розыск оказал бы на зерновой хлеб такое же действие, какое в эпоху регентства запрещение иметь у себя более 500 ливров деньгами оказало на звонкую монету».

Наконец, податели петиций требовали, чтобы в каждом департаменте был устроен склад зернового хлеба, поступающего в урожайные годы, из которого можно было бы, по мере надобности, брать хлеб в голодные годы. Собрание не возражало против этого принципиально, оно не говорило, что это противоречит призванию государства, которое должно наблюдать за проявлениями индивидуальной инициативы, а не поглощать их; наоборот, государственное вмешательство казалось деятелям Революции весьма законным. Но Законодательное Собрание указывало на практические трудности: на необходимость большого капитала, на боязнь взяточничества и утраты зерна, наконец, на «застой в ценах» вследствие отсутствия конкуренции и на вызываемый этим ущерб для земледелия.

Итак, оно ограничилось, после многих отсрочек, организацией системы паспортов, которыми должны были быть снабжены все обозы, и в которых указывались бы пункт отправления и место назначения. Не везде удалось успокоить возбуждение этими мерами: исчезновение звонкой монеты раздражало умы и вызывало в них опасение подобного же вывоза зерновых хлебов. Тэн, в рисуемой им картине этих беспорядков, чрезвычайно преувеличил и извратил факты: читая его, можно было бы подумать, что вся Франция была в огне, и что озверевшие люди, обезумевшие, разнузданные, предоставленные сами себе вследствие бессилия Конституции, повсюду совершали насилия.

В действительности же, в продолжение всего 1792 г., народные волнения происходили не более чем в пятнадцати округах, и кратковременная паника и нужда в некоторых местностях не мешали сильному движению, свидетельствовавшему о доверии и о богатстве. У Тэна есть очень плохая привычка, противоречащая требованиям научности: он группирует факты, относящиеся к весьма различным эпохам; он указывает, например, на разорение мануфактур, как на следствие революционной системы; и где же он ищет доказательство этого?—в административных отчетах X и XII годов, и в его изложении эти отчеты сопоставляются с крестьянскими восстаниями 1792 г.

Повидимому, Тэн не подозревает, что как раз в 1792 г. мануфактуры усиленно работали. Вопреки требованию истории, он не следит за эволюцией фактов и, вместо того, чтобы различать оттенки, последовательно принимаемые плавящим металлом и его изменяющиеся соединения, он смешивает в чрезвычайно странной амальгаме впервые показывающиеся огни и последний остывший пепел. В самом деле, при всех этих восстаниях 1792 г. почти никогда не умирал ни один человек и народ останавливал и таксировал зерновой хлеб, так сказать, придерживаясь некоторого метода и соблюдая известную дисциплину. К тому же, причины восстаний были очень сложны, и, следуя своей мании классифицировать факты по отвлеченным категориям, Тэн лишил себя возможности понять сложную действительность. Иногда перевозка зерновых хлебов казалась подозрительною. Лекиню рассказывает 6 января об исследовании, произведенном им в департаменте Нор. Его речь является весьма умеренною, потому что он требует просто свободы перевозки зерновых хлебов.

«Жалуются на скупку товаров,—говорит он,—да, она производится, но вовсе не министерством, а именно теми, кому, несомненно, всего выгоднее, чтобы ее вовсе не было: я имею в виду фермеров, земледельцев и всех тех, у кого имеются зерновые хлеба. И почему же? Потому что везде стеснена свобода перевозки. По моему мнению, этому нельзя помочь устройством хлебных амбаров для накопления запасов. Они опасны или, по крайней мере, бесполезны... Лучшее средство помочь этому бедствию, от которого страдают некоторые местности, заключается в том, чтобы охранять свободу перевозки зерновых хлебов внутри страны». В этих словах, очевидно, нет ничего такого, что клонилось бы к возбуждению умов и вызывало бы или усиливало бы подозрения.

Итак, можно верить Лекиню, когда он прибавляет: «Я тщательно осведомлялся в департаменте Нор, в котором я живу, относительно причин, вызывающих беспокойство населения этих местностей, и я узнал, что в октябре месяце прошлого года из порта Дюнкирхена была вывезена треть урожая. Его обитатели встревожились по этому поводу тем более, что они вспоминают, что в 1786, 1787 и 1788 годах все зерновые хлеба Северного округа были скуплены и ссыпаны на суда в порте Дюнкирхене под неосновательным, но благовидным предлогом снабжения провиантом южных департаментов, и что, вместо того, чтобы отправить эти зерновые хлеба во Францию, их держали за границей и ввезли обратно во Францию в 1789 г., когда они были проданы по цене, в четыре раза превышающей их стоимость».

В тот же самый день Форфэ в очень смелой речи, в которой намечались решения, впоследствии принятые Конвентом, указывает на то, что сложное движение, связанное с хлебною торговлею, должно было смущать народ. «Я об'ясняю эти опасения неблагоразумием тех, кто запасается провиантом: и в данном случае, для спасения народа, следует, по крайней мере, на несколько лет пожертвовать частью тех выгод, которые нам обещает неограниченная свобода коммерческих операций. Итак, следует заставить покупателей сговариваться относительно их операций.

Я усматриваю источник вышеупомянутых опасных мнений в нецелесообразной постановке транспорта, который, в самом деле, как будто умышленно организуется таким образом, что благодаря ему усиливаются подозрения и опасения. Вот примеры: зерновые хлеба вывозятся из северных департаментов лишь через порты Дюнкирхен, Гавр и Нанти, и через те же самые порты ввозятся те зерновые хлеба, которые покупаются на берегах Балтийского моря и в Великобритании. Народ естественно должен думать, что ввозятся те же хлеба, которые, как он видел, были вывезены; и видя, что цена этого драгоценного товара быстро повышается, он об'ясняет это вздорожание явною проделкою, возмущается, и его волнения вызывают еще большее повышение цены, так как они останавливают перевозку: таким образом голодают среди изобилия, и подозрение и недоверие являются сперва результатом, а затем причиной дороговизны. Это очень хорошо знают люди, старающиеся возбудить беспорядки: они говорят народу, что при старом режиме никогда не бывало подобных операций, и им верят и им должны верить, потому что в самом деле при старом режиме суровый деспотизм руководил всем и обращал большое внимание на основательную заботливость народа.

«В то же время в Гавр было привезено еще большее количество зернового хлеба, купленного в Гамбурге; он будет доставлен из этого порта в Руан, затем в Пек, а из Пека в Париж. В то же время, но в обратном направлении, зерновые хлеба, купленные в окрестностях Суассона, перевозятся вниз по Сене, подвергаются таким же перегрузкам в тех же портах и грузятся на суда в Гавре для отправки в Бордо. Каким образом можно будет убедить обитателей обоих берегов Сены в том, что для народа полезно, чтобы перевозки и перегрузки товара, необходимого для его существования, совершались таким образом в диаметрально противоположных направлениях? При деспотическом режиме зерновые хлеба, доставленные из окрестностей Суассона, были бы оставлены в Париже, а хлеба, привезенные из Гамбурга, были бы отправлены в Бордо. Только остаток был бы отправлен необходимым путем, и народ видел бы в этом благодеяние, так как этот остаток получается при ввозе».

Итак, Форфэ констатировал, что «неограниченная свобода торговли ведет к ненужным, тягостным и бесплодным осложнениям», и он решается сказать, что лучше было бы организовать хлебную торговлю таким образом, чтобы она стала общественным делом; или, по крайней мере, ее следовало бы подчинить государственному контролю.

«Я знаю, господа, лишь одно средство против этих зол. Это средство заключается в том, чтобы учредить в Париже центральную администрацию продовольственного дела. (Ропот.) Она должна была бы, под надзором и за ответственностью министра внутренних дел, выяснять количество урожая в департаментах, количество покупок, производимых за границей, и ей было бы предоставлено право указывать те пути, по которым продовольственные продукты должны перевозиться во всем королевстве, чтобы они не сталкивались друг с другом».

Собрание выразило неодобрение и отвергло предложение Форфэ, возбудив вопрос о том, стоит ли обсуждать его. Это предложение было, по крайней мере, преждевременно: положение Франции, в которой доставка хлеба была в общем достаточно обеспечена, в данный момент еще не требовало этих энергических мер, но это уже являлось зачатком революционной политики Продовольственного Комитета Конвента.

В Дюнкирхене, откуда уже с осени приходили известия о беспорядках, в марте произошли очень сильные волнения. Испуганные администраторы письменно уведомили Собрание, что они уже не могут ручаться за поддержание порядка и за неприкосновенность имуществ, что национальная гвардия потвор-

ствовала возмутившемуся народу, что только вмешательство линейных войск спасло город и порт от пожара и что «громадному городу, в котором было более чем на 100 миллионов имуществ», грозила опасность погибнуть от анархии. И они также требуют государственного вмешательства в хлебную торговлю, чтобы успокоить народ.

«Если продовольственные продукты принадлежат нации, пусть нация возьмет на себя их доставку из тех мест, где их много, туда, где в них обнаруживается недостаток; тогда товары уже не находились бы во власти жадных спекулянтов».

Собрание не пошло так далеко, но оно поручило правительству купить зерновых хлебов за границей и перепродавать их.

«В обычное время,—сказал Камбон,—может быть, не благоразумно возлагать покупку зерновых хлебов на правительство, но теперь следует принять чрезвычайные меры. Наш юг нуждается в зерновом хлебе; если бы вы оказали ему денежную помощь, то возникла бы конкуренция на всех заграничных рынках и при покупках бумаг, пред'являемых за границей, а это могло бы причинить значительный вред: во-первых, вызывая вздорожание зерновых хлебов на рынках, во-вторых, вызывая понижение курса бумаг, пред'являемых за границей; следовательно, покупка этих зерновых хлебов должна быть поручена министру внутренних дел».

Волнения особенно усилились весной, в марте и в апреле, или потому, что в это время опять началась усиленная перевозка зерновых хлебов, отчасти приостановившаяся зимой, или потому, что истощились запасы, остававшиеся от прошлого года, когда урожай был очень хорош, и беспокойство усилилось, или потому, что все вопросы обострились благодаря все возраставшему возбуждению, вызываемому борьбою против эмигрантов и священников, и предстоявшею войною с иностранными державами. Кроме того, повышение товарных цен, сложные причины которго мы указали, было особенно ощутительно в это время и вызывало довольно сильное волнение даже в деревнях. Поэтому рабочие и земледельцы восстают в эту, полную тревоги и волнений, весну 1792 года как для того, чтобы добиться повышения заработной платы или установления товарных цен, так и для удержания зерновых хлебов на местах.

В Пуатье мануфактурные рабочие требуют установления цены хлеба, говоря, что когда фунт хлеба стоит дороже трех су, он слишком дорог для лиц, живущих на свой заработок. 20 марта делегат от муниципалитета города Пуатье требует пособия в 30.000 ливров для прокормления бедного рабочего населения и жалкого и униженного населения, состоявшего из нищих, которые в этой местности, где было много монастырей и аббатств, еще недавно пользовались покровительством монахов.

«Несколько дней тому назад произошло внезапное и ужасное вздорожание зерна; булочники основательно требовали соответствующего повышения цены хлеба... Тогда муниципалитет собрался вместе с Директориями округа и департамента и было решено, что нельзя обойтись без повышения цены хлеба...».

Но 600 рабочих окружили ратушу, крича: «К оружию!» Прибежали национальные гвардейцы, один рабочий был убит выстрелом.

«В городе Пуатье нет ни торговли, ни общественных учреждений; в нем, приблизительно, 20.000 жителей, в том числе более 6.000 бедняков. Заработок одних так мал, что они не в состоянии покупать хлеб по нынешним ценам; другие с детства привыкли позорно нищенствовать; многие немощны; все бедны, все требуют от нас хлеба, все имеют право жить, и наш святейший долг заключается в том, чтобы облегчить их бедственное положение».

Пуатье был одним из тех городов, которые перестали жить тою жизнью, которою они жили при старом режиме, но в которых не оказывалось достаточно

сильных зачатков и элементов новой жизни. Собрание аплодировало и вотировало.

Между 20 и 30 марта возникает очень интересное движение на границах департаментов Ниэвры и Йонны в Кламеси, Куланже-на-Йоне, Крэпэ и т. д., а именно, дровосеки, рабочие, занятые заготовкой дров для Парижа, которые спускались вниз по рекам, до самой столицы, возмутились по поводу недостаточности получаемой ими заработной платы. Директория Йоннского департамента сообщила 13 апреля Собранию об этой стачке, сопровождавшейся насилиями:

«Законодатели, Директория Йоннского департамента сообщала вам о волнениях, происходивших в расположенных на ее территории приходах, пограничных с округом Кламеси, в городе Кламеси и в его окрестностях. Она доложила вам о том, что навигация на Йонне была прервана, что мятежники прогнали рабочих из мастерских под предлогом недостаточности заработной платы, что 27 марта около 2.000 рабочих из Кламеси, Куланжа-на-Йоне, Крэпа собрались толпой в вышеупомянутом городе Кламеси; что когда национальная гвардия взялась за оружие, против нее вооружили народ, что удалось вызвать раздоры в ней, что она была обезоружена, раздета (у национальных гвардейцев отнимали даже рубашки) в присутствии народных должностных лиц, на увещания которых не обращали внимания, что муниципальному чиновнику, исполнявшему обязанности прокурора коммуны, был нанесен удар кинжалом или штыком, что бунтовщики преследовали национальных гвардейцев до самых квартир, что некоторые были вынуждены для спасения собственной жизни выброситься из окон или броситься в реку, что затем торжественно несли одежды и оружие, что мятежники овладели портами и заставили отслужить благодарственный молебен по случаю победы, одержанной ими над национальной гвардией».

В этом движении обнаруживается какое-то смешение грубости с ребячеством, но мы можем судить о нем лишь по буржуазному рассказу. Мы не знаем, ссылались ли бедные рабочие, йоннские и ниэврские дровосеки, требуя прав на жизнь, на Права Человека, как это делали рабочие-плотники во время большой стачки 1791 г., или парижские петиционеры по поводу скупки сахара. Директория, весьма строгая по отношению к мятежникам и требующая, «чтобы слишком долгая снисходительность перестала ободрять дурных граждан», признает тем не менее, что у них есть основание жаловаться на крупных парижских заказчиков:

«По мнению, выраженному комиссией, относительно причины возмущения портовых рабочих, это возмущение, повидимому, вызвано, во-первых, чрезмерною скаредностью парижского купечества к требованию портовых рабочих и медленностью его решений относительно требований повысить заработную плату».

Но рассказ Директории свидетельствует о духе узко буржуазного братства и консервативной солидарности, которым были проникнуты йоннские и ниэврские национальные гвардейцы. Все национальные гвардейцы выражают соболезнование по поводу участи, постигшей их довольно странно раздетых «братьев», рубашки и мундиры которых с торжеством несли грубые дровосеки; все национальные гвардейцы с торжественным и несколько смешным волнением клянутся помогать друг другу и мстить один за другого, защищать порядок и собственность.

«Мы всегда будем наготове возле наших братьев, — искренно говорили они, — мы почувствуем нанесенные им обиды; мы будем добиваться удовлетворения за них; мы заставим уважать имущества и людей, или мы погибнем...».

Некоторые граждане потребовали, чтобы знамя, попавшее в руки бунтовщиков, было сожжено. Оно уже было брошено на середину площади.

«Нет, этого не будет,—воскликнул командир,—это знамя очищено, оно побыло в руках храбрецов и патриотов».

Бедные восставшие рабочие и крестьяне! Как прокаженные, они осквернили своими руками знамя революционной буржуазии, и требуется, чтобы оно было очищено, побывав в доблестных руках командиров вооруженной силы, героев буржуазного порядка. Это театральное и истинное волнение свидетельствует о том, что эти люди, эти революционеры ни на одно мгновение не смутились при выполнении своей репрессивной функции, она кажется им святым делом; был ли это глубокий и спокойный эгоизм, или же они до некоторой степени уверяли себя, что эти судорожные движения страдающего народа могли служить лишь контр-революции?

Знаменательно и в то же время печально, что, как бы уже возвещая союз эгоизма крестьян-собственников и буржуазного эгоизма против докучливых и смелых рабочих, владельцы виноградников, и притом беднейшие из них, покинули свои орудия и свои виноградники, чтобы принять участие в репрессии. И для этих людей, гордившихся своими крошечными, жалкими виноградниками, рабочие-дровосеки являлись «разбойниками». И за это Директория департамента торжественно выражает признательность этим крестьянам, мелким собственникам и консерваторам:

«Между тем как наши национальные гвардейцы спешили восстановить порядок и заставить соблюдать законы, муниципалитеты, в том числе муниципалитет города Жуаньи, главного города одного из наших округов, с воистину отеческою заботливостью принимали меры для прокормления жен и детей бедных владельцев виноградников, из патриотизма приостановивших свои работы. Одним словом, их семьи получали пропитание, их виноградники возделывались, и отечество нашло защитников».

Вот характерные и глубокие черты, ускользнувшие от Тэна. Стараясь отмечать признаки «самопроизвольной анархии», он не заметил тех удивительных охранительных сил, которыми располагала буржуазная и крестьянская Революция. Собрание также растрогалось, выразило одобрение, приветствовало, и даже на крайней левой не раздалось ни одного голоса в защиту бедных презираемых дровосеков. Для того, чтобы оказать некоторое влияние на Законодательное Собрание, державшееся узкой буржуазной точки зрения, понадобилось непосредственное давление со стороны парижских предместий. Однако рабочие пытались придать своему «бунту» легальную форму, и это свидетельствует о какой-то наивной и трогательной вере в новый порядок. В то самое время, когда рабочие-«сплавщики», прибегая к насилию, требовали «повышения платы за все работы, выполняемые в портах по случаю гонки леса и его доставки в Париж», в то самое время, когда утомленные тщетными переговорами с господином Пейнье, приказчиком купцов, они запечатывали отверстия узких проходов в Крэне, чтобы помешать гонке сплавляемого леса, в то самое время, когда при барабанном бое они уговаривали всех рабочих не приниматься за работу и грозили нескольким рабочим, явившимся по требованию предпринимателей из провинции, они законным порядком избрали «капитана сплавщиков», и предложили мировому судье подписать протокол этих выборов. Судья отказался. Нет, нет, о, пролетарии, вы не можете сразу добиться узаконения ваших решений, и сколько усилий с вашей стороны нужно для этого еще и по прошествии целого столетия!

Но крестьянское движение, вызванное недостатком продовольствия, приняло весною 1792 года широкие размеры, в особенности в ближайших к Парижу департаментах Сены-и-Марны, Сены-и-Уазы, Эра, Луара-и-Шера, Луарэ, в

Эврэ, в Жуи, в Монтлери, в Вернейле, в Этампе. А главное, это движение представляет совершенно особый характер, которого Тэн, заботившийся исключительно о собрании деталей для ребячески рисуемой им ужасающей картины, даже не заметил. Здесь дело, повидимому, шло об аграрном движении против крупных фермеров, против очень сильного в этом районе земледельческого капитализма.

Я уже упоминал о том, как крестьянские наказы от Иль-де-Франса протестовали против крупных ферм и требовали их раздела. Продовольственный вопрос и вопрос о ценах являлись для крестьян отличным поводом для того, чтобы причинить неприятности крупным фермерам, которых они ненавидели. В книге, впрочем, не отличающейся достоинствами изданной Лекинио в 1792 г. под заглавием «Уничтоженные предрассудки», он энергически выражает те чувства, которые сельские жители питали против этих крупных фермеров. Его XIII глава, посвященная «земледельцам», начинается так:

«Речь идет не о земледелии, и я говорю вовсе не о том небольшом числе богатых людей, которые живут в деревнях и эксплоатируют громадные имения в окрестностях столицы и в некоторых департаментах, в которых установилась система крупных хозяйств и больших ферм; об этих тщеславных земледельцах, подражающих столичной роскоши и всяким столичным излишествам; об этих скупщиках земельных участков и ферм, потому что я мог бы также правильно назвать их и так: это капиталисты, для которых сельское хозяйство служит источником спекуляции; у них вместе с преимуществами городской и часто роскошной культуры можно встретить все недостатки старого режима, вытекающие, главным образом, из несправедливого имущественного неравенства. Если, с одной стороны, благодаря их состоятельности, они кажутся опорами земледелия, то это оказывается лишь иллюзией, а, с другой стороны, они, очевидно, являются бичами населения и поглощают достояние соседей. Правда, вокруг них находятся обширные равнины, покрытые жатвами, но там не встречается ни одной хижины; совсем нет мелких собственников; их слуги и несколько бедных поденщиков, находящихся в зависимости от этих сельских владык, составляют все население страны; это другие деревенские сеньеры; они часто усваивают себе их надменность и бо́льшую часть их недостатков; они умеют сочетать с ними финансовую теорию, торговые расчеты и спекуляции, и еще чаще они проявляют недостатки этих двух профессий, вместо того, чтобы придавать общеполезное назначение доставляемым ими доходам; это, так сказать, особый класс в великом классе земледельцев; это богатые горожане, живущие в деревнях: это мелкие сельские деспоты».

И не только во всем этом районе вокруг Парижа движение направлено против этих крупных фермеров, но, как мы видели, часть, доставшаяся при распродаже национальных имуществ буржуа или самим крупным фермерам, особенно велика в департаментах, расположенных вокруг столицы. Этим об'ясняется очень сильное недовольство, направленное против всякого рода капитализма, господствовавшего среди этих плодородных равнин, засеянных зерно-

выми хлебами, со стороны мелких крестьян, мелких собственников, которые лишились своих земельных участков, или которым грозила опасность лишиться их. Кроме того, для тех заготовок большого количества продовольствия, о которых мы упоминали, нужно было покупать хлеб во всей прежней провинции Иль-де-Франс и в части Нормандии, и бедные поденщики боялись чрезмерного вздорожания зерна и хлеба.

Если верить докладу Тардиво, вздорожание хлеба не могло быть главной причиной агитации, потому что, по его словам, «зерновой хлеб в Эре был дешев, и фунт хлеба стоил только два су». Если это верно, то главной причиной движения явилась враждебность крестьян к крупным фермерам и капиталистам.

Во всей этой агитации в департаментах Эра-и-Луара, Сены-и-Марны обнаруживаются две весьма характерные черты. Во-первых, большие толпы крестьян действовали, соблюдая своего рода метод и дисциплину, избегая бесполезных насилий, воздерживаясь от грабежей и поджогов, заставляя итти впереди себя, всякий раз, когда они могли это сделать, убеждаемых или увлекаемых ими муниципальных чиновников. Департаментские Директории, составители докладов, представляемых Законодательному Собранию, с очевидною заднею мыслью подчеркивают эту дисциплину. Буржуазные революционеры очень хотели бы, чтобы успокоиться, верить, что крестьяне повинуются тайному паролю, исходящему от контр-революционеров, и что дело идет об интриге старого режима, а не о предвестнике огромного социального восстания. Так, администраторы округа Эврэ пишут, что «бунтовщики» заставили управителей железоделательного завода в Луше подписать договор, «продиктованный размышлением и точным знанием торговли железным товаром». Это явная инсинуация. Предполагается, что крестьяне-земледельцы неспособны заключить столь точный договор, если нет хитрого и ловкого лица, которое руководило бы движением. Тардиво сказал 13 марта от имени комиссии Двенадцати, резюмируя доклады, присланные ему из департамента Эра: «В течение более трех месяцев, множество сильных, бойких, плохо одетых, но никогда не просивших милостыни бродяг ходило по разным округам этого департамента в продолжение всей зимы. Они постарались прельстить простодушных и легковерных жителей, и им удалось уверить их в том, что они имеют право таксировать хлеб, равно как и все другие товары».

Это были бедняки и бродяги, но они не просили милостыни. Итак, они получали тайные пособия, несомненно, доставляемые им врагами Революции, чтобы вызвать ужасную агитацию. Вот тот вывод, который подразумевает Тардиво. Но этот вывод представляется совершенно произвольным. Трудно было бы об'яснить простыми контр-революционными происками и внушениями эти огромные скопления восьми, десяти, пятнадцати тысяч земледельцев и поденщиков. Их движение было вызвано самопроизвольной силой. К тому же, если бы контр-революция тайно вызвала это движение крестьянских толп, она была бы заинтересована в том, чтобы побудить их к крайним насилиям, к грабежам, к поджогам, к убийствам. Наоборот, агенты-пропагандисты воздержались даже от того, чтобы просить милостыню. Итак, это не было ни искусственное движение, вызванное подкупом, ни отчаянный бунт нищего, бродячего пролетариата. Крестьяне питали отвращение к бродягам, и чтобы не пугать их, организаторы движения, даже беднейшие, воздерживались от того, чтобы просить милостыню.

Эти местности, в которых преобладают крупные фермы, где мало разбросанных хижин, и где сельское население скучено в довольно больших деревнях, довольно удобны для коллективных и регулярных манифестаций. Иногда крестьяне побуждали приходские муниципалитеты становиться во главе их движения; таким образом они узаконяли свои действия, или им казалось, что

они узаконяли их; а когда муниципалитеты сопротивлялись, они назначали новые, точно так же, как парижское население назначит 10 августа революционную коммуну. Они назначали лиц, которых Тардиво называет в своем докладе «гражданскими чиновниками» и, при посредстве их, как при посредстве органа законной власти, они устанавливали товарные цены.

Мне кажется, что движение парижского населения, требовавшего в январе установления цен сахара и других товаров, не могло не отразиться в окрестных департаментах. Замечательно, что инсургенты устанавливали цены не только зерна и хлеба, как можно было бы предполагать, но и всех товаров. Это доказывается как некоторыми уже приведенными мною выдержками, так и многими другими свидетельствами. Администраторы Эврэ пишут от 5 марта: «Они увлекают за собой муниципальных чиновников, национальных гвардейцев, которые при барабанном бое, с развернутыми знаменами, устанавливают цены зернового хлеба, дров, железа». «Первое сборище, о котором имеются сведения,—говорит Тардиво,—состояло, приблизительно из четырехсот человек, столпившихся в приходе Нэв-Лир и двинувшихся оттуда к рынку, находящемуся в городке Барре, в Бернейском округе. Во главе их стояли некоторые муниципальные чиновники и даже мировые судьи. Придя на рынок в Барре, они обратились к муниципалитету с просьбой сопровождать их на местный рынок и установить там цены зерна и всего того, что продавалось на этом рынке. Верный своему долгу, муниципалитет об'яснил. насколько такое распоряжение противоречило законам и насколько оно в то же время было пагубно для тех, кто позволил бы себе его сделать. Муниципалитет был распущен и толпа, при посредстве лиц, которых она называла своими гражданскими чиновниками, сама сделала то, чего она хотела требовать от муниципалитета.

«На следующий день они отправились на рынок в Нэбуре, а еще через день—на рынок в Бретейле, прибегая к таким же насилиям. 29 февраля муниципалитет Конша, другого городка в Вернейльском округе, получает уведомление о том, что толпа собиралась притти на находившийся в нем рынок на следующий день. В виду этого, 29 февраля он принимает решение вызвать национальную гвардию для того, чтобы воспротивиться тому, что толпа захотела бы сделать на рынке. Я не знаю, искренним ли является это решение; вы можете судить об этом по приводимому ниже протоколу:

«В четверг, 1 марта, когда мы, муниципальные чиновники, собрались в ратуше для приведения в исполнение нашего вчерашнего постановления и отряд национальной гвардии этого города занял плац-парад, командир отряда предложил нам во главе его отряда пойти навстречу столпившимся, как нам говорили, вооруженным гражданам. Мы тотчас же исполнили его желание, и выйдя с сопровождавшим нас отрядом за город, мы увидели около четырехсот человек, бо́льшая часть которых была вооружена ружьями, а у остальных были топоры, вилы, кривые ножи и другие орудия.

«Командующий национальной гвардией нашего города отправил навстречу им отряд на разведку. Они ответили, что они национальные гвардейцы и что они только что установили порядок на рынке.

«Мы дождались их прихода и об'явили им, что сборища воспрещены, что им не следовало входить с оружием в руках; мы предложили им, во имя закона, удалиться и разоружиться; не будучи в состоянии уговорить их и не считая себя достаточно сильными для того, чтобы оказать сопротивление, мы пропустили их, заявив им, что мы составили протокол об этом. Их муниципальные чиновники заявили нам, что они были вынуждены угрозами следовать за ними. Мы предложили им помочь нам сдержать нарушителей спокойствия и способство-

вать восстановлению порядка на рынке. Мы приказали сопровождавшему нас
отряду и национальным жандармам охранять хлебный рынок. Граждане из при-
хода Св. Маргариты и из других приходов тотчас же овладели этим хлебным
рынком; несмотря на наши неоднократные отказы, они заставили нас установить
цену зернового хлеба в 19, 20 и 21 ливров, цену овса — в 10 и 11 ливров и
цену вики в 9 ливров, грозя нам неприятностями в том случае, если бы мы не
установили этих цен; они даже выразили нам свое желание,
чтобы эти цены остались совершенно неизмен-
ными до 1 августа, говоря, что в противном случае, они вернутся
в количестве пятнадцати тысяч человек. Их угрозы заставили нас подчиниться.

Как только рынок опустел, вооруженные граждане отвели нас в дома
г.г. Раймона и Перье, граждан этого города, и заставили нас там раздать зерно,
находившееся в их амбарах. Они заставили выдать себе, в нашем присутствии,
сто четвериков по 3 ливра 10 су (т.-е. даже не по цене, установленной ими утром).
Затем все они разошлись по своим приходам».

«Господа, — продолжает Тардиво, — члены городской думы г. Конша утвер-
ждали, что в этот день они вынуждены были исполнить все то, чего от них тре-
бовали; но через три дня после этого, они, находясь, как оказы-
вается, на расстоянии полмили оттуда, продолжали
устанавливать цены уже не зерна, а железных изделий,
дров и угля. Сопровождавшие их прихожане из Нэв-Лира потребовали от
управителя литейного завода, чтобы за оказанную ему помощь он дал им две
пушки, из которых стреляли шестифунтовыми ядрами.

«Первого марта, в толпе, как мы видели, было еще только четыреста чело-
век. 3 марта, на бодуанском литейном заводе, в ней было пять тысяч; 6 марта в
Вернейле — восемь тысяч человек. Был намечен план действий: сообщили, что
в Эвре окажется пять тысяч человек и что, заставив город подчиниться их же-
ланиям, они толпою перейдут в департамент Сены-и-Уазы, где в то же время
происходили такие же сборища... Одновременно такие же волнения происходили
в соседних департаментах Эра-и-Луары, Уазы, Сены и Нижней Сены».

Очевидно, во многих местностях выборные власти поддерживали или до-
пускали крестьянское движение. И уже это могло бы служить доказательством
того, что в данном случае дело шло вовсе не о тех, кого крестьяне сами назы-
вали «разбойниками», т.-е. о нищих и бродягах. Можно сказать, что в движении
участвовало все сельское население, за исключением крупных буржуазных соб-
ственников и крупных фермеров. Это было как бы осуществление требований,
выраженных в тех крестьянских наказах, столь резкий тон которых все еще
производит на нас сильное впечатление, несмотря на усилия городских буржуаз-
ных юристов смягчить и ослабить их. Вероятно, те же деревенские юристы и
адвокаты, которые помогали крестьянам составлять выразительные наказы от
приходов, тогда принимали участие в движении и благоразумно решали, какие
цены следует платить за товары.

В Мелене тридцать вооруженных общин явились на рынок для того, чтобы
установить на нем хлебные цены; по требованию меленского муниципалитета,
сельские общины разоружились, но удержали установленные ими хлебные цены.
Движение отличалось стройностью, единством и умеренностью.

Правда, иногда, как, например, в Эперноне, в Луаре-и-Шере, происходили
лишь беспорядочные волнения, единственной целью которых было установление
цен зерна и хлеба. «Если мы понизим цену нашего зерна на 4 франка, — спра-
шивают собственники, — т.-е. если мы станем продавать его по 20 ливров, то
удовлетворятся ли этим?» Тогда некто Франсуа Бретон, землекоп из Эпернона,
державший в руке палку фута в два длиной; некто Конис, поденщик из Пати
в общине Банше, вооруженный саблей, и некто Мариньи-сын, прозванный Кюю,

возражали по поводу цены хлеба; три первые взобрались на мешки и сказали: «Это слишком, дорого, мы хотим, чтобы он стоил 18 ливров». В то же время отряд национальных гвардейцев из Банша и 40 национальных гвардейцев из Гу, «вооруженных ружьями, алебардами, кривыми ножами и другими орудиями», помогали народу добиться от эпернонского муниципалитета установления цены зерна. Командующий национальной гвардией в Гу, некто Легэ, принадлежал к числу наиболее возбужденных.

Итак, отряды деревенской национальной гвардии, состоявшие, главным образом, из бедных крестьян и мелких земледельцев, поддерживали крестьянские требования законной властью, данною им Революцией. Это проливает странный свет на душевное состояние деревенских национальных гвардейцев. Там, в действительности, почти нельзя было отличить активных граждан от пассивных, и бедный крестьянин, плативший достаточную сумму налога для того, чтобы быть активным гражданином и национальным гвардейцем, конечно, не оскорблялся тем, что в день восстания «пассивный» гражданин, вооруженный заступом или топором, присоединялся к нему, чтобы добиться понижения цены слишком дорогого хлеба, а также кованого железа, в котором все нуждались для своих мотык, лопат или плугов. Конечно, у всех этих крестьян не было широких общих взглядов. Повидимому, они не умели бы поставить свои требования в связь с принципами Революции и с Правами Человека. Поэтому они иногда казались подозрительными не только буржуазии, владевшей собственностью, но и революционерам-рабочим в маленьких городах; так, в Эре национальные гвардейцы в Эгльской общине, среди которых было много рабочих, приняли очень деятельное участие в подавлении этих крестьянских движений. Эгльские рабочие работали на булавочных фабриках; но за отсутствием латунной проволоки (так как все материалы становились редки в это время) им пришлось приостановить работу на несколько дней, но они говорили: «За Революцию, во что бы то ни стало», и они прогоняли толпы крестьян, боясь, что их толкала «невидимая рука» контр-революции. Но что сказали бы эти эгльские рабочие, если бы крестьяне сумели ответить им: «Мы только подражаем движению ваших парижских братьев... Подобно им, мы боремся против скупщиков, против эгоистов, искажающих Революцию в своих интересах». Но крестьянские мысли отличались неясностью и недальновидным эгоизмом.

Однако, и это очень важно в историческом отношении, народ подготовлял таким образом будущие законы о максимуме и впервые самопроизвольно применял их. И, понятно, даже смелый Конвент ни в каком случае не мог бы или не осмелился бы устанавливать цены всех товаров во Франции, если бы это страшное предприятие не было подготовлено как движением парижских секций, так и восстаниями крестьян в 1792 году.

В Вернейле крестьяне устанавливают цены зерна, хлеба, масла, яиц, дров и железа. Но дело не ограничивается этим. Они понимают, что при таком установлении товарных цен они, затронув крупных фермеров, рискуют в то же время вызвать неудовольствие и мелких фермеров. Да и сами крупные фермеры могут утверждать, что их арендная плата также повысилась соответственно вздорожанию товаров. Что можно было ответить на это? Единственным возможным ответом являлся п е р е с м о т р д о г о в о р о в, и, как докладывает Директория Эврэ, «крестьяне, установив в общем, как они выражаются, цены, должны обойти деревни, требовать пред'явления договоров, заключенных фермерами, понижать плату и затем грозить собственникам, что их ограбят». Ясно, что в данном случае дело идет об условных угрозах: собственники были бы ограблены лишь в том случае, если бы они отказались понизить арендную плату, и весьма вероятно, что мелкие фермеры участвовали в этом деле: они допускали по отношению к себе принуждение для понижения арендной платы.

Итак, в этих местностях кипела сложная и запутанная крестьянская жизнь. Ох, до какой степени Тэн, этот неосведомленный и недобросовестный идеолог, упростил и представил в грубом виде все это! Как ложно изобразил он крестьянскую хитрость, еще изощренную Революцией, в виде разнузданного скотства! И как грубы и убоги его формулы при сопоставлении их с этим глубоким и мощным брожением!

Впрочем, административные власти, сперва застигнутые врасплох, легко, в большинстве случаев без кровопролития, подавляли все эти движения. Революционная буржуазия так настойчиво и настолько искренним тоном говорила крестьянам, что, благодаря анархии, они вызовут восстановление старого режима, что пораженные и смущенные «бунтовщики» скоро сдавались без сопротивления.

В деревнях возбуждение значительно усиливалось благодаря вопросу об имуществах эмигрантов. Уже Учредительному Собранию несколько раз приходилось заниматься этим вопросом, но оно уклонялось от его разрешения. Законодательное Собрание декретировало 13 декабря, что государственные кредиторы могли получить недоплаченные им ренты, лишь доказав, что они жили в королевстве по крайней мере в течение шести месяцев. Это означало секвестр части движимых имуществ. Оставался великий вопрос о земельной собственности. И в данном случае, как и относительно декретов от 4 августа, самопроизвольные крестьянские движения, повидимому, ускорили решения Собрания. Когда крестьяне видели, что начинается распродажа национализированных церковных имуществ, и слышали доносы на эмигрировавших дворян, как на изменников отечеству, они естественно должны были поддаваться искушению захватить в свои руки имущества этих изменников, разделить между собою их земли и пожитки, хранившиеся в их замках. Как, эти люди, так часто угнетавшие и эксплоатировавшие нас, отнявшие у нас общины и земли, в течение ряда веков разорявшие нас взиманием десятин и поборов, удалились за границу, они вооружаются против Франции, против Революции! И, победив, они снова поработили бы нас и даже воспользовались бы для того, чтобы бороться против нас и поработить нас, доходом с тех имений, которые мы, несчастные, обязанные отбывать барщину, так долго должны были обрабатывать для них! Захватим их. Может быть, также крестьяне полагали, что если бы имущества эмигрантов были национализированы подобно церковным имуществам, они распродались бы, и лишь зажиточные земледельцы и богатые буржуа могли бы приобретать их части. Не лучше ли было бы самопроизвольно приступить к разделу этих имуществ? Боязнь этого крестьянского движения вызвала появление Ламарка на трибуне 21 января 1792 года. «Я предлагаю вам, господа, подвергнуть секвестру имущества всех изменников, составивших заговор против Конституции и государства. Поспешите об'явить в департаментах, что те, кто своими заговорами сделают войну неизбежною, уплатят военные издержки, и что граждане, которые будут выполнять связанные с войною труды, должны быть вознаграждены за них»...

«...И относительно этого, господа, я должен сообщить вам такой факт, который, конечно, может ускорить ваше решение.

«В департаменте Дордони нашелся округ, который собственными силами изготовил три тысячи пик. Национальная гвардия этого округа, открывшая подписку для уплаты податей, от которых она была освобождена, направляет к вам теперь депутацию, которой поручено выразить вам сожаление по поводу того, что она вынуждена бездействовать и потребовать от вас, господа, чтобы ей был дан приказ немедленно присоединиться к своим братьям по оружию для защиты свободы. *Но вблизи от этого округа некоторые сельские жители, говорят, составили список всех лиц, эмигрировавших из их местностей, и, следуя только*

внушению своего негодования против этих изменников, они грозят при первом же сигнале разграбить, опустошить их владения и сжечь их замки».

Ламарк был прерван шумным ропотом Собрания, полагавшего, что он хотел выразить поощрение разрушительным действиям, и аплодисментами с трибун. Депутаты были сильно взволнованы, и многие из них потребовали, чтобы администрации было специально поручено присматривать за имуществами дворян и эмигрантов и охранять их, пока нация не распорядится этими имуществами. По всей вероятности, если бы Собрание не приняло довольно скоро решений относительно имуществ эмигрантов, началось бы непреодолимое движение, которое сопровождалось бы насилиями и грабежами. Достаточно упомянуть о восстании нескольких кантонов в Нимском и в Алеском округах. Многочисленные толпы крестьян срывали сеньериальные гербовые щиты со многих замков, разграбили и сожгли около 20 замков, и общее раздражение против людей, изменивших отечеству, от которого они вымогали деньги, и призывавших иностранцев, было таково, что, по свидетельству Директории департамента Гарда, «никакая общественная сила не поддерживала сопротивления, а заблуждавшиеся национальные гвардейцы считали патриотическими поступками преступные насилия, совершавшиеся в их присутствии».

Церковные имущества были защищены от этих инстинктивных и диких насилий. Они были об'явлены национальными имуществами и уже не были церковными имуществами, так как они были приобретены муниципалитетами и еще принадлежали им или распродавались ими: они составляли часть нового мира. Все воспоминания об угнетении, эксплоатации и ненависти как бы изгладились благодаря тому, что у церкви были отняты ее имущества, доставшиеся новым собственникам. Все эти крупные и мелкие буржуа, крестьяне, ремесленники, купившие или желавшие купить хотя бы небольшую часть этих имуществ, заботились о безопасности имущества, которое принадлежало им или должно было стать их собственностью. Итак, по отношению к церковным имуществам огромная революционная и законная экспроприация предотвращала индивидуальное насилие. Наоборот, сеньеры, дворяне остались собственниками своих владений; мало того, как мы видим, они, согласно буквальному смыслу и духу декретов Учредительного Собрания, все еще требовали взимания еще невыкупленных феодальных рент, и когда эти дворяне удалялись за границу, оставляя в своих имениях или в своих замках только своих управляющих, забирая с собою свои деньги, прекращая свои расходы в местностях, где эти расходы доставляли многим средства к существованию, это вызывало крайнее раздражение. Например, протокол о поведении муниципалитета города Вилльфранш в Авейроне (от 27 апреля) свидетельствует о том, что в этой дикой местности, где на хребтах возвышалось множество крепких замков, наводивших ужас на долины, весною 1792 года снова началось волнение умов, возбужденных в первые дни революции, а затем довольно спокойных в продолжении 1790 и 1791 годов.

«Этот возмутительный фанатизм», сказано в протоколе, «охватил наш департамент в начале революции, но казнь нескольких виновных остановила заразу. Все имущества оставались неприкосновенными среди нас до тех пор, пока эмиграция и угрозы нескольких бывших сеньеров не послужили мотивом или предлогом для новых грабежей». И поразительно, что, повидимому, все население участвовало в этих грабежах с совершенно спокойною совестью. Население как будто вступало во владение тем имуществом, которое дворянин несправедливо удерживал. По моему мнению, нет ничего более характерного и более странного вместе с тем, чем протокол, соста-

...вленный жандармами после разграбления Привзакского замка. Из него мы знаем, что почти во всех домах какой-нибудь из предметов, прежде находившийся в замке, был странно присоединен к убогой домашней утвари авейронских крестьян или ремесленников.

«У некой Ромир мы нашли зеленую юбку, обои, охотничью куртку из силезского сукна, желтые пуговицы, и т. д. (Я вынужден сокращать...) Зайдя к Габриэлю Лознаку, прозванному Каффе, мы нашли в доме кресло, обитое камкою лимонного цвета, с подушкою и два тростниковых стула с отделкою... В доме Жанны Пурсель, дочери покойного Бернара, мы нашли кресло, обитое камкою лимонного цвета, жестяной туалетный ящик... муфту из лебединой кожи, высокую соломенную шляпку... У трактирщика Иосифа Местра, обыскав прежде всего его скотный двор, мы нашли корову, по его сознанию, приведенную со скотного двора господина де-Привзака... У Марии Леве—кусок красной материи, дверь от большого шкапа... У Габриэля Брюнье—три колеса от тележек, 4 плуга... У *каретника* Жана Манье — 4 ставня, кожаный чемодан... У *чесальщика шерсти* Пьера Адемара — мешок чечевицы, занавеску для карет, салфетку для детей... У Антуана Бори—тюфяк, стулья, пару простынь из роганского полотна... У Бернара Видаля—главным образом шелковые вещи, три белых юбки с оборками, шелковое зеленое стеганое одеяло, два чепчика из тонкой материи с отделкою из фландрских кружев, высокую круглую шляпу, дамские ботинки, колеса от тележек и т. д... В доме Бедена—сундук, наполненный вещами: юбками, утренними костюмами и т. д....

В списке лиц, участвовавших в штурме, я нахожу на ряду со многими сыновьями крестьян-собственников, многих ремесленников: кровельщика Пьера Грэ, из Привзака, плотника Жана-Антуана Фуассака, прозванного Лу Давидом, и его брата, портного, из Привзака же; кровельщика Вильгельма Турнье, кровельщика Пьера Франсуа, прозванного Моригоном, из деревни Англа, плотника Кудерка из Дрюлильского прихода и т. д....

Все местные жители побывали там и унесли с собою что-нибудь. Если бы Собрание не решило подвергнуть имущества эмигрантов секвестру, если бы оно не заменило, если так можно выразиться, старинных гербовых щитов на фронтонах замков надписью: «Нация и закон», то, вероятно, всюду произошли бы грабежи, и притом довольно противные. Точно так же, если бы социальная Революция вспыхнула прежде, чем организация пролетариата станет достаточно сильною, то, лишь немедленно национализировав заводы, большие магазины и большие имения, можно было бы спасти их в некоторых местностях от дикого разрушения или от подлых грабежей.

Предложение Ламарка было отослано в комитет законодательства. И сначала докладчик Садиллье, являвшийся органом умеренных, предложил лишь довольно мягкую меру: обложить доходы с земельных имуществ эмигрантов тройным налогом. Левая протестовала. Собрание желало вовсе не только этого: оно хотело, чтобы нация завладела всеми имуществами дворян для покрытия расходов, вызываемых тою войною, к которой измена эмигрантов принуждала Францию.

Тогда Комитет, несколько уступая течению, предложил соединить мысль о секвестре с мыслью о тройном налоге. Верньо воскликнул, что нет никаких оснований ограничивать право нации на доходы и на имущества эмигрантов. И Собрание, приняв 9 февраля принципиальное постановление, предоставлявшее имущества эмигрантов в распоряжение нации, приступив 5 марта к обсуждению вопроса о способах применения и выслушав 10 марта красноречивую речь Верньо, просившего его принять решительные меры, приняло, наконец, 30 марта окончательный текст.

«Национальное Собрание, принимая во внимание, что следует быстро определить способ заведывания имуществом эмигрантов, которое оно, в силу сво-

его декрета от 9 февраля, предоставило в распоряжение нации, и установить способы осуществления этой конфискации и те из'ятия, которых требует справедливость или человеколюбие, а также желая помочь кредиторам, которые будут вынуждены заставлять продавать недвижимое имущество своих эмигрировавших должников, заменяя наложение запрещений на недвижимые имения упрощенным и менее обременительным способом, об'являет, что вопрос безотлагателен.

«Национальное Собрание, признав вопрос безотлагательным, декретирует нижеследующее:

«Статья 1. Имущества эмигрировавших французов и доходы с этих имуществ назначаются на уплату вознаграждения, причитающегося нации.

«Статья 2. Всякие распоряжения относительно владения или пользования этими имуществами или относительно приносимых ими доходов, состоявшиеся после обнародования декрета от 9 февраля нынешнего года, равно как и все распоряжения, которые могли бы состояться впоследствии в течение того времени, когда вышеупомянутые имущества будут находиться в распоряжении нации, признаются недействительными.

«Статья 3. Этими имуществами как движимым, так и недвижимым будут сообща заведывать, так же как и национальными имуществами, управители регистратурного отделения государственных имуществ и сборов, их приказчики и надзиратели, под надзором административных органов».

Это была суровая мера. Когда умеренные желали лишь обложить доход тройным налогом, они имели в виду не оставить неприкосновенным доход, три четверти которого отбиралось бы, но не затрагивать этой операцией самого фонда. Наоборот, под влиянием жирондистов, овладевших властью со средины марта, самый фонд, точно так же, как и доход, удерживается в качестве обеспечения уплаты вознаграждения, причитающегося нации с дворян.

По правде говоря, это означало безоговорочную национализацию имуществ эмигрантов, так как предстояла война. И заведывание имуществами дворян, ставшими, наконец, составною частью национального достояния, было поручено тем же самым агентам, которые заведывали национальным достоянием. Наконец, все операции, которыми эмигранты, узнав о неизбежных последствиях декрета от 9 февраля, передавали бы реально или фиктивно, право собственности на свои имущества другим лицам, признавались недействительными, и секвестр имел обратное действие до 9 февраля. Так же как при национализации церковных имуществ и при воспрещении монашеских обетов, революция гарантировала долг кредиторам духовенства и дала монахам и монахиням приют и пенсию. Революция и по отношению к эмигрантам устанавливает процедуру, которой должны придерживаться кредиторы эмигрантов, для взыскания долгов с имуществ, подвергнутых секвестру.

Кроме того, Собрание постановляет, статьею 17 декрета, что во всех случаях женам, детям, отцам и матерям эмигрантов будет предоставлено временное пользование жилищами, в которых они обыкновенно проживают с находящимися в них мебелью и движимостью, служащими для их употребления; тем не менее будет произведена опись вышеупомянутой мебели, которая так же, как и дом, назначается на обеспечение уплаты вознаграждения, причитающегося нации.

Наконец, Собрание постановляет статьею 18: «Если вышеупомянутые жены, или дети, отцы или матери эмигрантов нуждаются, то они могут сверх того требовать в свою пользу вычета из личных имуществ этих эмигрантов ежегодной суммы, размер которой будет установлен начальником того округа, в котором находится последнее место жительства эмигранта, при чем наибольшая величина этой суммы не может превышать четверти чистого дохода эми-

гранта, по уплате всех сборов и налогов, в том случае, если окажется только один истец, будет ли это жена, дитя, отец или мать, одной трети, если их несколько, до 4-х; половины, если их окажется большее количество».

Страстные голоса требовали, чтобы точно так же, как обыкновенные кредиторы, накладывая запрещение на имение, служившее обеспечением взыскиваемого имь долга, принимали в расчет только размеры долга, а не потребности семьи должника, и Революция, являющаяся высшим кредитором, не вычитала из обеспечения, поступавшего в распоряжение нации, которой эмигранты изменили, расходов на существование жены, матери и детей эмигранта. Но сперва восторжествовала более широкая гуманная мысль, которой нельзя будет надолго удержаться во время все усиливавшейся бури.

Если на долю великой социалистической и пролетарской Революции выпадет то дивное счастье, что она совершится путем регулярного и мирного действия, то она с пользою вникнет в дух этих первых энергических и милосердых решений буржуазной революции.

Но с того времени этого рода из'ятие в пользу семейств эмигрантов не должно было являться препятствием для окончательной национализации или даже для распродажи имуществ дворян, потому что так же, как Революция заменила специальную долговую ипотеку на имущество духовенства общею ипотекою на совокупность национальных имуществ, она могла обеспечить семьям эмигрантов пенсию на содержание, предусмотренную декретом от 3 марта, беря ее уже не из отдельных доходов имуществ, подвергнутых секвестру или проданных, а из общей суммы средств, доставляемых распродажею. Поэтому с этих пор проницательные люди должны были предвидеть, что революция не замедлит овладеть имуществами эмигрантов вслед за церковными имуществами.

30 марта, в тот же день, когда Законодательное Собрание подвергло имущество эмигрантов секвестру прежде, чем приступить к их распродаже, которая будет решена 10 августа, в нем возобновились прения, сильно затрагивавшие интересы многих лиц.

Речь шла об отчуждении национальных лесов. Этот вопрос был поставлен уже несколько месяцев тому назад. Когда Собранию пришлось приступить к организации управления лесами, некоторые депутаты потребовали, чтобы они были распроданы. Они утверждали, что всякое общественное управление было бы обременительно, что частные лица управляли бы лесами, ставшими их собственностью, гораздо лучше, что леса приносили едва четыре или пять миллионов чистого дохода, и что, наоборот, если их распродать по их стоимости, по мнению одних, превышавшей триста миллионов, а по мнению других, доходившей до миллиарда, государство избавилось бы от значительной части долга.

Они утверждали, что оставлять в руках государства, т.-е. тех, кто мог бы в день упадка сил утомленных душ овладеть государством, столь обширные владения, стол могучий ресурс—значило заранее доставить деспотизму финансовый запас, по сравнению с которым цивильный лист ничего не значил. Тем, кто опасался, что возможное истребление лесов или уменьшение их количества причинит вред нашей промышленности, они отвечали, что Франция, придерживаясь рутины, слишком долго рассчитывала лишь на дрова в качестве топлива для своих заводов. Настало время последовать примеру Англии, рыться глубоко в земле и добывать каменный уголь.

К тому же закон мог бы обязать частных лиц, которые приобретали бы лесные участки, охранять известные виды деревьев, беречь известные деревья для флота. Все эти доводы были довольно слабы. Но дело в том, что революционные финансисты начинали беспокоиться по поводу обесценения ассигната, и им казалось, что если бы к уже происходившим распродажам вдруг присоединился еще новый огромный процесс распродажи, то он мог бы произвести сильное впе-

чатление на умы, обнаружить неистощимость ресурсов революции и поднять или поддержать доверие к революционным бумажным деньгам. В особенности Жиронда, вызывая великую войну, желала обеспечить себе возможность энергически вести эту войну, и она искала новых ресурсов, новые средства для поддержания доверия к ассигнату. Робеспьер резко упрекал ее в том, что она таким образом приносит национальное достояние в жертву своим воинственным фантазиям.

Южные департаменты, в которых было мало лесов, охотно соглашались на их отчуждение, дававшее жившим в южных городах владельцам процентных бумаг и предъявителям ассигнатов новые гарантии. Наоборот, представители тех местностей, где были большие леса, в особенности представители востока, резко протестовали. Они утверждали, что для того, чтобы работы в копях настолько подвинулись вперед, чтобы каменный уголь мог заменить дрова, потребовалось бы много времени, они говорили, что эксплоатация лесов при раздроблении их на небольшие участки, а, следовательно, и их распродажа мелкими участками, была невозможна, что одни лишь могущественные компании капиталистов овладели бы лесными богатствами, принадлежавшими нации, что благодаря грубому эгоизму новых собственников бедные лишились бы той поддержки, которую они находили в национальных лесах, откуда они уносили сухие сучья, что отрасли промышленности, нуждающиеся в топливе, очутились бы в зависимости от этих компаний монополистов, которые завладели бы лесом, без пользования которым невозможно производство на железных и на стеклянных заводах. И в своем раздражении они даже намекали на то, что эти компании подкупили законодателей, оказавшихся настолько преступными, что они предложили подобное посягательство на национальное достояние, на право бедных и на интересы промышленности. Как знать, прибавляли они, не скупят ли враги отечества, иностранцы, стремящиеся, как английские аристократы, погубить его, леса Франции, ставшей жертвой измены?

«В Вогезах, в густых лесах, — сказал Вожьен, депутат от департамента Вогезов, — существуют хутора, которые представляют собою единственный вид собственности, распространенный в этом краю, где пасутся стада более или менее многочисленные, в зависимости от обилия пастбищ, расположенных возле этих хуторов; их продуктами питаются соседние департаменты, и эти продукты нисколько не уступают продуктам прежней области Бретани. Однако всякое новое упущение в деле сохранения лесов заставило бы их покинуть свои жилища, почти разоренные весьма неудовлетворительным финансовым управлением, существовавшим при старом режиме. Но и избавление их от этой опасности путем установления общественного надзора за частною собственностью было бы бесполезно, если бы у них были отняты выгоны, и, однако, было бы невозможно соединить с распродажею надежду на тщательное управление лесами частными лицами и на сохранение местных обычных прав, так как для того, чтобы достигнуть первого, нужно было бы передать вместе с собственностью и все связанные с нею права, согласно правовым началам, признаваемым Конституцией».

А затем он возбуждает важный вопрос относительно общинных имуществ:

«Общины или владеют почти всеми, окружающими их лесами, или пользуются правами рубки и выгона в них... В первом случае отобрали бы у них принадлежащую им собственность. Общая распродажа является делом настолько несправедливым, что у нас оставалась бы только слабая надежда на то, что не решатся на последний шаг».

Что же касается права на рубку и на выгоны, покупатели-капиталисты поспешили бы отменить их: «Следовательно, те общины, которым лесничества отпускают леса для каретного мастерства, для построек и для отопления, и права которых выражены термином пользующиеся правами рубки и выгона, таким образом лишились бы этого ресурса, при чем выгон, дозволенный

им в известные времена в рощах и во всякое время в ельниках и полезный для них в двух отношениях, так как стада находят благодаря ему убежище от дневного зноя, был бы воспрещен им, и с тех пор все леса обратились бы в большой парк».

Из всех депутатов восточных департаментов почти один только Вюйлье высказался за отчуждение:

«Эти опасения,—сказал он,—не очень смущают меня, потому что предполагается, что число капиталистов-скупщиков или мало или велико. В первом случае, это предположение является химерическим, так как стоимость национальных лесов совершенно не соответствует средствам небольшого числа лиц, как бы ни было громадно их богатство. Во втором случае, союз большого числа капиталистов представляется столь же невероятным, как и союз всех землевладельцев королевства для произвольного назначения цены хлеба или какого бы то ни было иного товара».

По его мнению, леса лучше эксплоатировались бы частными лицами, а государство избавилось бы от непосильных хлопот. Владея лесами, государство является землевладельцем; кроме того, оно является еще и промышленником-мануфактуристом, так как существуют отрасли промышленности, зависящие от национальных лесов и заключающие договоры с администрацией. Следует предоставить простор частной промышленности. Таким образом по поводу лесов между частным капитализмом и сторонниками государственной собственности началась борьба, продолжающаяся в течение всего девятнадцатого века из-за железных дорог, рудников, каналов и опять-таки из-за лесов. Тюрпетен, депутат от Луарэ, говорит противоположное тому, что было сказано Вюйлье:

«Нельзя скрывать от себя, что только компании капиталистов в состоянии купить большие лесные участки. Некоторые из этих участков занимают сплошные пространства в несколько квадратных миль, так что нельзя возлагать никаких надежд на конкуренцию и следует бояться жадности. Жадные миллионеры добиваются вашего решения и стараются ускорить его. Они вернут себе то, что им придется сначала заплатить, и еще получат барыш, уже при поверхностной эксплоатации».

«Компании готовы, — восклицает в свою очередь Шерон, депутат от департамента Сены-и-Уазы, — они ждут, чтобы вы бросили им их добычу, чтобы поднять свою ужасную голову; клеветники даже уже осмелились утверждать своими нечистыми устами, что эти компании заговорщиков имели наглость и бесстыдство хвастаться своею уверенностью в успешности своих заговоров... и что среди нас нашлись подкупленные члены, вступившие в тесную связь с ними... Тревожный крик, раздавшийся во всей Франции по поводу этого пагубного предложения, не является криком подкупленной фракции: это крик, вызываемый нуждою: повелительный голос державного народа гремит против лиц, занимающихся ажиотажем: «Вы не истребите моих лесов; это мое достояние, это достояние моих детей; пользуясь ими, я строю свое жилище, умеряю суровость зимы; им я обязан тем, что у меня есть рукоятка моей лопаты, главная часть моего плуга, и древко, к которому прикрепляю железное острее, защищающее мою свободу».

Наконец, многие депутаты и податели петиций указывают на то, что промышленность окажется в зависимости от капиталистов, владельцев лесов. Здесь, опять-таки по поводу лесов, как будто слышится длинная жалоба, раздающаяся в течение всего девятнадцатого века против транспортных компаний и против компаний, владеющих каменноугольными копями, господствующими посредством своих тарифов над производством. Этьен Кюнен, депутат от департамента Мерты, говорит 2 марта ясно и энергически:

«В департаментах Мерты, Мааса, Мозеля, Вогезов, Дуба, Юры, Верхней Саны почва влажна и пастбища тучны, вследствие чего в этих департаментах получаются лишь очень грубые сорта шерсти; по той же причине и вследствие холодного климата, обитатели этих департаментов не могут разводить шелковичных червей и вынуждены ограничиться льном и коноплею самого низкого качества... Природа вознаградила их, дав им соляные источники и железные рудники; не имея возможности выдерживать конкуренции с другими фабриками королевства, на которых изготовляются суконные и шелковые ткани, жители занялись разработкою рудников и работами на других заводах, потребляющих топливо. Жители, лишенные ископаемого топлива, но богатые лесами, количество которых в одной бывшей провинции Лотарингии составляет около четверти всех лесов королевства, устроили соляные, железные, литейные, жестяные, стеклянные и фаянсовые заводы; вывозя продукты этих мануфактур за границу и в местности, находящиеся внутри Франции, они получают обратно часть сумм, которые им приходится платить за ввоз шелковых, суконных и полотняных изделий. Бо́льшая часть этих заводов пользуется лесами в силу долгосрочных договоров (т.-е. договоров на 99 лет, обеспечивающих пользование лесом на определенных условиях); все предприниматели строили заводы, лишь будучи уверены в том, что они будут получать лес по дешевой цене; если нация приступит к отчуждению лесов и к их распродаже, то она будет вынуждена вознаградить долгосрочных арендаторов за неиспользование их договоров, на что, может быть, пойдет вся выручка от продажи лесов, а кроме того, все заводы, за неимением топлива, или будучи вынуждены покупать его по цене, произвольно назначаемой покупателями лесов, сами собой придут в упадок: 10.000 рабочих, с детства привыкших к работе на этих заводах, останутся без средств, впадут в крайнюю нищету».

Граждане Эпиналя также заявляют Собранию в своей петиции от 30 марта:

«Вскоре те же самые собственники лесов скупили бы наши фабрики, заставив такими же способами лиц, основавших их, продать или уступить их по пониженным ценам; благодаря этому все наши фабрики достались бы одним и тем же лицам и наши новые собственники лесов получили бы еще и возможность произвольно назначать цены всех изделий, изготовляемых в королевстве, при чем эта новая монополия оказалась бы столь же опасною, столь же бесчеловечною, как и монополия на самый лес».

Эта энергическая резкая оппозиция, вызванная проектом отчуждения лесов, заставила отсрочить его и отказаться от него. Но какое оживление всех интересов! Это возбуждение охватило все формы экономической и социальной жизни страны.

Предохраняя себя от отчуждения государственных лесов, крестьяне в то же время во многих местностях старались отобрать назад у сеньеров захваченные последними общинные имущества. Им недостаточно было того, что они освобождались от феодальных повинностей и требовали их безвозмездной отмены или принуждали к ней сеньеров. Они вспоминали о совершавшихся в течение долгого времени захватах, благодаря которым сеньеры овладели землею, лесами,

лугами, прежде бывшими общим достоянием. Они требовали возвращения всего этого. Но, как мы видели в наказах, крестьяне не руководились в вопросе об общинных имуществах никакою определенною общею точкой зрения. Одни хотели сохранить их, прибавив к ним взятое обратно у сеньеров; другие хотели приступить к разделу. Дюфенье указывает Собранию 5 февраля 1792 года на волнения, происходившие по этому поводу в Ло:

«Я замечу еще вам, господа, что в этом департаменте также происходили волнения по поводу р а з д е л а о б щ и н н ы х и м у щ е с т в, которые очень обширны и которыми очень плохо управляют. Учредительное Собрание об'явило, что оно установит порядок этого раздела. Н е к о т о р ы е К о м м у н ы, с н е т е р п е н и е м о ж и д а в ш и е д е к р е т а о т н о с и т е л ь н о э т о г о, с а м и з а н я л и с ь э т и м и у ж е п о д е л и л и с в о и и м у щ е с т в а. Другие пожелали подражать им, но они встретили сильное сопротивление, много препятствий и вследствие этого, так сказать, в каждом кантоне началась гражданская война».

Он требовал немедленного доклада, но Лоро указал на сложность и трудность этого вопроса.

«По моему мнению, не следует поручать комитету земледелия представить проект декрета в п о л ь з у раздела общинных имуществ... Вы предрешите таким образом, что эти общинные имущества будут разделены и что комитет укажет лишь способ их раздела. Было бы очень опасно, чтобы один из важнейших вопросов сельской администрации этого королевства был благодаря такому предубеждению разрешен подобным образом торопливо и без исследования. В некоторых областях уже были произведены разделы общинных имуществ: эти попытки не оказались настолько удачными, чтобы можно было смело и без исследования принять общую меру этого рода».

Вопрос был отложен, и Законодательное Собрание не разрешит его, но он занимал умы, и в этом также обнаруживалось нового рода беспокойство.

В ноябре 1790 г. Учредительное Собрание постановило, что по истечении годичного срока будет отменено право выкупа посредством двенадцати аннюитетов. Уже в декабре 1791 г. Законодательное Собрание продолжило этот срок до 1 мая 1792 г. Своим декретом от апреля 1792 г. оно еще продолжило его до 1 января 1793 г. «Национальное Собрание, желая предоставить покупателям еще не проданных национальных имуществ точно такие же рассрочки платежа, как и прежним покупателям, и принимая во внимание, что срок пользования рассрочкою, допускаемою декретом от 14 мая 1790 г., истекает 1 мая 1792 г. об'являет, что вопрос безотлагателен...

Национальное Собрание декретирует, что срок 1 мая 1792 г., установленный законом от 11 декабря прошлого года для покупателей национальных имуществ для пользования рассрочкою платежа, допускаемою 5 статьей III раздела декрета от 14 мая 1790 г., будет продолжен до 1 января 1793 г., но только для сельских имуществ, для строений и пустых мест в городах, домов для жилья и служб при них, где бы они ни находились; леса и заводы формально исключаются из этой льготы.

«После 1 января 1793 г. платежи будут производиться в сроки, установленные статьями III, IV и V декрета от 4 ноября 1790 г.»

Г. Саньяк ошибся, предположив, что декрет от 4 ноября 1790 г., ограничивавший рассрочки, допускаемые при платежах четырьмя годами, оказал непосредственное действие. В действительности, благодаря ряду отсрочек, постановление, допускавшее рассрочку платежа на двадцать лет, было сохранено, и распродажа была таким образом ускорена.

Но возникает важный вопрос: во что обращалось понятие собственности при всеобщем потрясении и изменении интересов и привычек? Следует иметь

в виду, что продажа национальных имуществ, церковных имуществ, две трети которых были распроданы в течение 1791 г., продолжалась в 1792 г., что таким образом повсюду, в мелких и в больших имениях, в фермерских хозяйствах, в монастырях, в аббатствах прежние владельцы понемногу заменялись новыми: что буржуа и крестьяне делили между собою церковные имущества; что промышленники обращали общие спальни, столовые и подвалы монахов в мануфактуры. Следует помнить, что, несмотря на статью о выкупе в декрете от 4 августа, крестьяне считали феодальные ренты и оброки окончательно отмененными и платили их уже только по принуждению, вследствие угроз должностных лиц, при чем они все с бо́льшим и бо́льшим нетерпением ждали их полной и безвозмездной отмены.

Следует заметить, что в близком будущем была обещана распродажа имуществ эмигрировавших дворян, уже в то время подвергнутых секвестру и назначенных для покрытия военных расходов, при чем дело шло вовсе не об имуществах, имевших феодальный характер, а о собственности того же рода, как и буржуазная собственность поземельная или движимая. Следует принять во внимание, что, благодаря исчезновению денег, монета, почти исключительно бумажная и уже не обладавшая действительною ценностью, получала всю свою ценность благодаря доверию к самой Революции, т.-е. к операциям, производимым силою нации; что таким образом знак, служивший для выражения всех ценностей, орудие всех обменов, был связан с существованием нации и с ее деятельностью и что он придавал всем имуществам, находившимся в зависимости от его обращения, национальный характер.

Следует помнить, что когда городские рабочие и крестьяне требовали установления цен всех товаров, проверки и понижения арендной платы, предотвращения «скупок», они вмешивались в функционирование буржуазной собственности в то время, как они упраздняли церковную, феодальную собственность и ту дворянскую собственность, которая отличалась от буржуазной лишь благодаря политическим взглядам собственников. Наконец, следует помнить, что из-за общинных имуществ и лесов боролись друг с другом не только старые и новые интересы, не только крестьяне, требовавшие возвращения захваченных общинных имуществ и сеньеры, но еще и различные категории революционных интересов, и что фабриканты, ремесленники, мелкие крестьяне защищали национальные леса от домогательств стремившихся захватить их скупщиков-капиталистов. Следует вспомнить негодующие народные крики, брань и проклятия «Отца Дюшена», направленные против новой аристократии богачей и против монополистов. И, в самом деле, можно спросить себя, какой смысл имеет идея собственности и насколько она сильна при этого рода изменении всех интересов и всех идей, при этом всеобщем потрясении, которое, повидимому, передавалось колебавшеюся почвою источнику всех прав, прав старинных или новых.

В самом деле, контр-революционеры утверждали, что эта идея исчезла, уничтожилась. Они уже не ограничивались тем, что возвещали, как это делал аббат Мори, что на посягательство на церковную собственность стали бы ссылаться как на прецедент против всякой собственности.

В 1776 году Сегье, королевский адвокат, произнес пред парламентом обвинительную речь против брошюры Бонсерфа «Н е у д о б с т в а ф е о д а л ь н ы х п р а в». Он утверждал, что эта брошюра является посягательством на собственность. «Система, которую хотят распространить, еще более опасна в виду тех последствий, которые она может повлечь за собою со стороны сельских жителей, которых автор, повидимому, желает побудить к бунту против отдельных сеньеров, от которых они зависят. Правда, это намерение не выражается открыто: внушается мысль, что они могут лишь обратиться к своим сеньерам

с ходатайством об отмене и выкупе прав, принадлежащих сеньерам, и что нельзя будет отказать им в этом, если все вассалы соберутся и согласятся сделать одни и те же предложения. Но не ясно ли, что эти толпы, собравшиеся в различных замках каждого отдельного сеньера, потребовав этой отмены и предложив выкуп и будучи возбуждены теми правилами, которые будут изложены им, может быть, захотят принудить к тому, чего не пожелают дать им?...

«Однако, этими гигантскими и бессмысленными идеями намереваются соблазнить слабых и невежд, из которых состоит масса... Что станет с собственностью, с этим благом, которое настолько священно, что даже наши короли заявляли, что они, к счастью, не в силах посягать на него?» Понятно, что мог писать тот же самый Сегье в 1792 г. В своем сочинении «Ниспровергнутая Конституция», которое осталось неоконченным вследствие его смерти, он с задорным ожесточением делает замечания относительно статьи 8; «Конституция гарантирует также неприкосновенность имуществ».

«Удивительная гарантия. Я же призываю в свидетели всю Европу и я гарантирую разорения всех имуществ. Я обращаюсь ко всем собственникам и спрашиваю их: кто из них не трепещет? Я не говорю о тех мятежных предложениях, клонящихся к изданию аграрных законов, которые всегда оказывались гибельными и всегда одобрялись. У римлян тот, кто имел смелость сделать такие предложения, делался любимцем народа, а при нынешней неурядице, тот, кто предложит эти законы, добьется аплодисментов с трибун, названия хорошего гражданина от людей, стремящихся лишь к грабежу и к разорению имуществ.

«Как можно было бы рассчитывать на сохранение имуществ во время столь острого кризиса, при адском ажиотаже, при бесчисленных выпусках ассигнатов и всякого рода бумажных денег, когда колонии в огне и Франции грозит то же бедствие, когда, в силу множества декретов, движимые имущества конфискуются, когда по отношению к ним требуют неисполнимых продолжительных формальностей и т. д.

«Итак, какие же имущества гарантирует Конституция? Каким имуществам не грозят постановления Законодательного Корпуса и давно уже начавшееся банкротство? Конституция обещает справедливое и предварительное вознаграждение в тех случаях, когда общественная надобность потребует пожертвования каким-нибудь имуществом. Это обещание столь же обманчиво, как и первое, и тысячу раз требовали вознаграждения, не добиваясь справедливости. Где получить законное вознаграждение за уже понесенные и за еще предстоящие убытки? Во Франции уже не существует права собственности; эта основная общественная связь уничтожена. Было издано множество декретов, прямо нападающих на право собственности; Учредительное Собрание и Законодательное Собрание не пощадили его и смеют говорить об уважении, о неприкосновенности, о вознаграждении за убытки? Ваши Собрания походят на того разбойника, который положил себе за правило отбирать у прохожих только половину того, что было в их карманах. Был остановлен один купец, у него нашелся только один экю: вор хочет вернуть ему 30 су. «Все равно, если вы удержите все»,—говорит ему купец.—«Нет, сударь, я не в праве взять от вас более, чем 30 су; я не должен, по совести, удержать остальное». Скольким людям Национальное Собрание не оставило половины, четверти того, что у них было, при чем ваши законодатели сказали им, оскорбляя их: «Мы грабим вас для вашего блага, чтобы сделать вас святыми, чтобы приучить вас

к терпению, к добродетели. Покоритесь; если вы останетесь в живых, то вы еще будете очень счастливы».

Я воспроизвел эти довольно пошлые обвинения только потому, что в них резюмируются бесчисленные памфлеты, в которых священники, дворяне, члены парламентов, старая буржуазная олигархия и колонисты изливали свою ярость и старались вызвать панику. Интереснее и оригинальнее тот юридический прием, посредством которого Сегье пытается возбудить сомнение в покупателях национальных имуществ. Он констатирует, что ассигнаты обеспечены имуществом духовенства, и прибавляет:

«Я спрашиваю, что станет с ипотекою ассигнатов, которые останутся после того, как будут проданы все имущества? Что станет с ипотекою кредиторов духовенства, с ипотекою кредиторов государства, с ипотекою бывших должностных лиц, служащею обеспечением получаемого ими содержания?.. Покупатели национальных имуществ должны, уже в силу этого, знать, на каких условиях заложены покупаемые ими имущества. Будут ли пред'явители ассигнатов и те кредиторы, которые останутся неудовлетворенными по окончании продаж, лишены той обещанной им ипотеки, на которую они имеют право? Не будут ли они в праве возбудить иск против всех покупателей и потребовать платежа? Если у меня есть какие-нибудь юридические познания, то, как мне кажется, таково действие ипотеки, и раз она обещана, обязательно давать по ней полное удовлетворение, а в противном случае нация была бы,—как очень хорошо говорил г. Мирабо,—«воровкою».

Итак, покупателям национальных имуществ возвещается, что если после того, как церковные имущества будут вполне распроданы, не будут погашены все ассигнаты, то на обеспечение и на реализацию их ценности будут употреблены имущества, приобретенные буржуа и крестьянами-революционерами. Скорбя об уничтожении всякой собственности, решительный консерватор Сегье в то же время возбуждает недоверие к новой собственности, возникающей благодаря Революции из хаоса старого режима. И я не считаю доказанным, что контр-революция не воспользовалась бы юридическим приемом, придуманным Сегье для того, чтобы отобрать назад все проданные имущества, если бы она победила. Она сочла бы привлекательным сослаться для этого на революционное право, на ипотеку ассигната. При первой победе контр-революции курс ассигнатов совершенно упал бы, казначейство приобрело бы их за бесценок и затем оно применило бы к имуществам революционеров право ипотеки, соответствующее определению Сегье. Сторонники старого режима придумали бесчисленное множество комбинаций для того, чтобы подготовить возвращение к прошлому и устрашить всех владельцев.

Реакционеры утверждали, что с того времени или был нанесен удар всякой собственности, или что она подвергалась опасности. Один из умереннейших, Малле-дю-Пан, говорил, резюмируя в «Меркурии» дело Учредительного Собрания: «Оно оставляет... право собственности затронутым, подорванным в его основах». Но 16 марта 1792 г. он говорит более резким тоном. Он, очевидно, старается распространить ужас. «Еще не усмирено восстание в Пикардии, как вот уже пять тысяч вооруженных грабителей или агитаторов обходят департамент Эра, назначая цены зерновых хлебов, совершая множество насилий и грозя напасть на Эврэ. В Этампе г. Симоно, городской мэр, был убит ружейными выстрелами и пиками среди национальной гвардии; в Монтлери один фермер был изрублен в куски. И Дюнкирхен еще боится возобновления грабежей, происходивших в прошлом месяце; в департаменте Верхней Гаронны нападают на хлебные амбары, сжигают дома, грабят собственников, в жилищах которых

(а именно в Тулузе и в ее окрестностях) клубы своею властью поместили гарнизон, составленный из неизвестных людей: всякий думает, что немедленно начнется всеобщий грабеж; подати уплачиваются с бо́льшим опозданием, чем когда-либо; сборщики оброков не смеют требовать их; судебных приставов, тех лиц, которые осмеливаются пытаться сделать это, убивают: не только опустошаются леса, принадлежащие частным лицам, но общины, наконец, делят их, составляя насчет этого формальные постановления».

И следуя тактике, которая, как показал опыт, оказалась преждевременною, но которая будет часто применяться впоследствии, он пытается сгруппировать всех «собственников», всех владеющих, против Революции, против народа, против демократии, внушив им страх. «Настал день, когда собственники изо всех классов должны, наконец, почувствовать, что они, в свою очередь, падут под косою анархии, они искупят бесрассудное содействие, оказанное многими из них при узаконении первых грабежей, потому что тогда разбойники являлись в их глазах патриотами; они искупят то равнодушие, с которым они отнеслись к ниспровержению всякого правительства, к вооружению всей нации, к упразднению всякой власти, к безумному созданию множества ослушных властей и к окончательному уничтожению полицейской и общественной силы. Пусть они не скрывают от себя, что, при том состоянии, в котором мы находимся, их достояние станет добычею сильнейшего. Уже нет ни закона, ни правительства, ни власти, которые могли бы защитить их достояние от смелых и вооруженных бедняков, которые, заняв знамённую линию, готовятся к всеобщему разграблению».

Расчет Малле-дю-Пана, парафразой статей которого в педантической форме ограничился Тэн, являлся довольно ребяческим. Он хотел побудить всех сторонников «порядка», присоединиться к одному и тому же символу веры, к отстаиванию собственности. Но невозможно было остановить Революцию, составив союз собственников, обратив собственность в консервативную силу. Дело в том, что взгляды сторонников старого режима и умереннейших буржуазных революционеров на собственность расходились между собою и даже противоречили друг другу. Для того, чтобы буржуазная собственность определилась и усилилась, для того, чтобы она завоевала себе всю свободу действий и все необходимые гарантии, она должна была вытеснить собственность, существовавшую при старом режиме, отягощенную феодальными или дворянскими притязаниями и искавшую опоры не в общем праве собственности, а в монархической привилегии, являвшейся гарантией всех остальных привилегий. Искать в собственности опоры для контр-революции значило дать ей расшатавшееся основание; собственники составят один класс лишь тогда, когда буржуазная собственность, победив и устранив собственность, существовавшую при старом режиме, вполне естественно станет средоточием всех интересов. Этот союз собственников, о котором Малле-дю-Пан мечтал в 1792 г., не только не мог остановить Революцию, но, наоборот, предполагал полную победу Революции.

Он тщетно старается искусственно вызвать страхом соглашение, которого природа вещей не допускала в этот момент. Прежде всего, перечисляемые им отдельные беспорядки недостаточно сильны и недостаточно постоянны для того, чтобы вызвать панику. А затем даже в высшей степени осторожной, боязливой революционной буржуазии не нужно было долго размышлять, чтобы понять, что серьезнейшая опасность для нее заключалась в контр-революции. У последней была общая точка зрения на общество, цельная политическая и социальная система, а именно та система, которая всего лишь два года тому назад применялась во всех учреждениях Франции и господствовала в них. Та же самая система как раз тогда применялась и господствовала почти во всей Европе. Итак, ее

восстановление не казалось ни невозможным, ни даже трудным предприятием. Наоборот, движения рабочих в парижских предместьях против скупщиков сахара, движения крестьян, назначивших цены товаров на некоторых рынках, не стояли в связи с таким социальным воззрением, которое существенно отличалось бы от буржуазного воззрения. Итак, для того, чтобы быть в безопасности с этой стороны, достаточно было разогнать нескольких «бунтовщиков», и революционная буржуазия знала, что она была в силах сделать это.

14 июля, после бегства в Варенн, на Марсовом Поле, она или дисциплинировала или без усилий разгромляла народных агитаторов, или тех, кого называли «разбойниками». Даже те крестьяне, которые назначали цены товаров, и многие из которых являлись мелкими собственниками, не допустили бы, чтобы общий раздел земель явно угрожал их небольшому достоянию, или, чтобы общинная организация вознамеривалась включить в себя это достояние, поглотить его. И городские рабочие или бедные разводители винограда предлагали, когда это было нужно, революционной буржуазии свои услуги для усмирения или подавления крестьянских восстаний. Итак, ей не угрожала большая опасность с этой стороны, и даже в разгар бури, даже в разгар террора, что̀ будут представлять собой те притеснения, или те опасности, которым подвергается умеренная буржуазия, по сравнению с тем кровавым разрушением, от которого она пострадала бы в том случае, если бы принцы и эмигранты вернулись победителями в 1792 г.? Признание продажи национальных имуществ недействительною, возвращение церковных имуществ церкви, разорение пред'явителей ассигнатов, избиение «патриотов» во всякой коммуне слугами дворян или фанатическими клиентами священников, возвращение всего старого режима, сторонники которого, как огромная раз'яренная стая, стали бы преследовать революционеров, при чем умереннейшие из деятелей Революции при этой дикой репрессии смешивались бы с крайними демократами, или, может быть, навлекли бы на себя особенно сильную ненависть, именно благодаря своей умеренности, способствовавшей движению вначале, когда успех был сомнителен: вот что ждало тех, кого Малле-дю-Пан желал об'единить, пугая их, в том случае, если бы Революция ослабела на мгновение в своем шествии. Даже страх действовал в это время в пользу Революции.

Да и сам Малле-дю-Пан почувствовал это, и он с отчаянием констатирует непримиримые раздоры между теми, из кого он хотел бы составить один сопротивляющийся блок: «Перестаешь удивляться чему бы то ни было,—пишет он в апреле,—при виде постыдных раздоров между теми, которые все потеряли, и теми, кому предстоит все потерять, когда разные общественные классы собственников, со всех сторон окруженные врагом, овладевшим проломами, сделанными в твердынях монархического образа правления, собственности, общественного порядка, общей безопасности, принципов, охраняющих все интересы, радуются взаимным бедствиям, когда приходится быть очевидцем их ненависти, их споров, их конфликтов из-за политических взглядов. Между тем как Франция стремится к своей гибели, между тем как учреждается Республика, недовольные спорят о наилучшем возможном образе правления, о двух и о трех палатах, о монархическом режиме в царствование Карла Великого и в царствование Филиппа Красивого, о том что̀ следует восстановить или удержать из разрушений, произведенных три месяца тому назад».

Итак, воображать, что буржуазия, даже умеренная, испугавшись, примкнет к людям и к делам старого режима, было пустою мечтою. В таком обществе, где собственность однородна, где она соответствует одному и тому же периоду экономической эволюции и опирается на одни и те же принципы, возможно образовать коалицию, лигу собственников.

Во времена социальной революции и когда оспариваются самые права собственности, тот факт, что люди являются «собственниками», может возбуждать их друг против друга, если они являются собственниками не в силу одних и тех же принципов и не в одном и том же смысле. Итак, консервативная попытка об'единить собственников в 1792 г. была преждевременна.

Но, если распространяемая таким образом тревога не могла вызвать серьезного контр-революционного движения, она могла, по крайней мере, вызвать некоторое беспокойство, и самая настойчивость, с которою деятели Революции возражают с этого времени против «аграрного закона», против всякой мысли о разделе земель, а, следовательно, и имуществ, доказывает, что они боятся или того, что страна испугается этой «мечты», или даже того, что эта мечта осуществится. Сторонники стараго режима старались испугать страну, говоря, что аграрный закон является логическим завершением Революции, и, может быть, с 1792 г. в некоторых умах намечаются некоторые неясные бессильные желания в этом направлении. У идеи аграрного закона было мало корней в политической и социальной философии XVIII века. У тех писателей, которые говорили о разделе и о регламентации состояний, это было лишь пикантное видоизменение всегдашней моральной декламации против богатства и опасностей неравенства.

Воспоминания о Греции и о Риме, о законах Солона или о законах Гракхов не могли действовать на массу и не действовали на образованных людей, которые, несмотря на свою античную фразеологию, знали различие эпох и цивилизаций. Аграрный закон отстаивается сколько-нибудь энергично и живо одним лишь Ретифом де-ла-Бретонном. Он излагается у него в «Развращенной крестьянке» своего рода Калибаном из непотребного дома, сутенером, который в причудливой, ребяческой и грязной мечте смешивает мысли о разврате и о гнусном обогащении с часто странными планами реформы и с филантропическими проектами. Но по крайней мере там это не является холодной абстракцией или школьною формулою; это как бы беспутная потребность в благотворительности, в мелочном тщеславии, странное революционное предчувствие в неопрятной конуре, нечистый ручей, грязь которого поднимается дождем во время бури. Это словно создание какого-то нечистого Бальзака, так сказать, Растиньяк из дома свиданий, или Вотрен, упавший ниже самого себя после смерти того, кто облагораживал его пороки и его преступления. «Во-первых, мы постараемся разбогатеть. У нас уже будет большое состояние благодаря нашим женщинам; но нужно будет его удвоить, и для того, чтобы добиться этого... Но я скажу тебе вот что: я опять-таки спрашиваю, для того ли нам следует разбогатеть, чтобы копить деньги?

Нет, нет! мы хотим разбогатеть для того, чтобы иметь возможность многое сделать! Все хорошее и все дурное, что мы захотим! Деньги служат всеобщим двигателем... Когда мы приобретем эти богатства и достигнем того высокого положения, которое мы надеемся занять, тогда, хотя бы нам пришлось разориться, нужно будет пустить в ход всевозможные средства для того, чтобы уничтожить суеверие. И прежде всего, эту монашескую гнусность... Мы воспрепятствуем всем монашеским орденам без исключения принимать послушников; мы сделаем собственниками всех тех, кто трудится для себя, и этим мы осчастливим народы... Да, дорогой Эдмунд, род человеческий, несомненно, дряхлеет. Нужна физическая и моральная революция для того, чтобы обновить его, и я не знаю даже, достаточно ли было бы одной моральной революции; может быть, необходимо полное разрушение земного шара. Итак, наша великая цель будет заключаться в том, чтобы доставить господство философии и повсюду утвердить ее. Мы постараемся уменьшить все огромные состояния и увеличить состояния крестьян, мало-по-малу делая их собственниками. Для этого мы сделаем модным волокитство, похожее на разврат, и мы постараемся, по мере наших сил, разорять

сеньеров для того, чтобы заставить их продавать свои имения; мы раздробим большие поместья и сделаем так, чтобы они присуждались с торгов по частям».

Странная мечта, в которой, на ряду с ребяческими подробностями, намечаются некоторые черты того, что́ будет сделано Революцией, но в более народном и демократическом духе. Что же, не способствовали ли мечты изображаемого Ретифом Рюи-Блаза из публичного дома развитию революционного сознания и проникновению в него идеи аграрного закона? Я хочу сказать и констатирую только то, что мысль об аграрном законе, о раздаче большого количества земель крестьянам была, так сказать, внесена в Революцию двумя путями: далекими воспоминаниями о древнем мире и нечистым потоком романических измышлений. Если прибавить к этому, что великий Жан-Жак, провозглашая высшую справедливость первобытного аграрного коммунизма, мог внушить мысль о том, чтобы воспроизвести эквивалент этого первоначального коммунизма путем всеобщего раздела, если вспомнить, что крестьянские наказы в некоторых местностях требовали если не раздела земель, то по крайней мере раздела ферм, и что часто они требовали даже ограничения права владеть землею, то придется признать, что в Революции существовал как бы неясный зачаток аграрного закона. А в 1792 г. некоторые боялись, что этот зачаток может развиться под влиянием событий. Не являлось ли установление товарных цен, в сущности, ограничением права владения, не касавшимся, если можно так выразиться, поверхности, но направленным в глубину?

В петиции жителей Этампа есть смелые указания. Этампский мэр Симонно, воспротивившийся силою закона и во имя закона крестьянам, желавшим установить цены зерна, был убит раз'яренным народом. Вся революционная буржуазия прославляла его, как мученика закона.

Парижские якобинцы почтительно выразили в письме сочувствие его вдове. И началась жестокая репрессия. Жители Этампа, подвергнутые ряду взысканий, в отчаянии обратились к Собранию с прошением; оно было составлено приходским священником-революционером, Пьером Доливье — «мошанским приходским священником и выборщиком», одним из тех священников-революционеров, которые остались близкими к народу и которые в это время и еще в продолжение нескольких месяцев умели выражать его мысль. В интересном примечании он выясняет, что он является верным выразителем народного сознания.

«Несомненно заметят, что в петиции содержится философия, недоступная умам подателей петиции. На это составитель петиции отвечает, что если он иногда возвышается над уровнем их понятий, то лишь для того, чтобы лучше выразить их истинное желание и чтобы приблизиться к идеям тех философов, к которым он обращается. Что бы ни говорили те, которые ныне презирают так называемый простой народ, *низшие классы народа гораздо ближе к философии права, иначе говоря, к естественной справедливости, чем все высшие классы, которые лишь все более и более удаляются от нее. Вообще, справедливости настойчиво требуют лишь для себя подобных, но вовсе не для стоящих позади.* Исключения даже льстят самолюбию, и их стараются оправдать в собственных глазах многими ложными рассуждениями. Так, условия, требуемые для того, чтобы иметь право голоса и право быть избираемым, исключающие три четверти граждан, нашли сторонников и защитников. *Так, человек, не владеющий собственностью, чувствует, что для того, чтобы справедливость распространялась и на него, нужно, чтобы она была всеобщею,* а этого никогда не будет у нас, несмотря на наши превосходные Права Человека, пока мы сохраним нашу аристократическую систему выборов».

Маркс и Лассаль часто высказывали ту замечательную мысль, что пролетарская революция была бы истинной человеческой революцией, потому что пролетарии могли бы ссылаться не на какие-либо привилегии, а лишь на свое человеческое право. Они доставили бы торжество не какой-либо форме собственности, а чистейшей гуманности, совершенно неприкрытому человечеству, и новая собственность служила бы только одеянием для человечества.

Когда Доливье, говоря от имени крестьян и рабочих Иль-де-франса, доказывает, что беднейшие являются истинными истолкователями, истинными хранителями Прав Человека, так как они в самом деле являются только людьми и у них никакая привилегия не препятствует гуманности, он истолковывает Права Человека в смысле, приближающемся к великому социалистическому просвещению, которое еще не проявилось, которое начнется с бабувизмом, но, повидимому, уже виднеется вдали и своим едва приметным, может быть, кажущимся отражением озаряет горизонт.

Податели петиции обвиняют этампского мэра, богатого кожевника, получавшего двадцать тысяч ливров дохода, в том, что он противопоставил народному движению грубый буквальный текст закона и свойственную ему непреклонную гордость.

«Вместо того, чтобы постараться образумить заблуждавшийся народ, вместо того, чтобы успокоить его опасения относительно продовольственных продуктов, он только ожесточил его, грубо отвергнув всякие увещания.

«Скажут, что на стороне мэра был закон, а народ действовал против закона. Закон точно запрещает каким бы то ни было образом препятствовать свободе хлебной торговли. Итак, желание нарушить его являлось покушением, заслуживающим наказания. У нас нет желания делать какие-либо замечания относительно применимости этого закона... Теперь более, чем когда-либо, мы знаем, что все должны при упоминании о законе относиться к нему с благоговением; однако, вам следует обратить внимание на следующее соображение: допускать, чтобы цена необходимейшего товара, служащего для питания, настолько повышалась, что он оказывается недоступным для бедного рабочего, поденщика, значит сказать, что он не существует для последнего, значит сказать, что только богатый человек, все равно, полезен ли он или нет, в праве не воздерживаться от пищи. Насколько счастливы они, эти смертные, с самого рождения пользующиеся столь прекрасной привилегией! Однако, если принять во внимание лишь естественное право, кажется, конечно, что вслед за тем, кто подобно божественному провидению, мудрость которого устанавливает порядок в этом мире, благодаря своим познаниям принимает меры к охранению общественного порядка и старается установить его законы на их истинных основаниях, вслед за теми, кто выполняет важные функции, заставляя точно и справедливо исполнять эти законы; кажется, конечно, говорим мы, что вслед за ними общество должно было бы оказывать благодеяние, главным образом, человеку, оказывающему ему самые трудные и самые неослабные услуги, и что рука, труд которой наиболее плодотворен, должна была бы получить наилучшую долю. Однако происходит противоположное, и масса, обездоленная с самого рождения, вынуждена нести на себе все бремя труда и постоянно ожидать, что она вскоре останется без хлеба, являющегося плодом ее трудов. В этом виновна, конечно, не природа, а политика, освятившая *великое заблуждение*, которое лежит в основе всех наших социальных законов и из которого неизбежно вытекают их сложность и их частые противоре-

чия, этого заблуждения далеко не сознают, и оно настолько извратило все наши идеи о первоначальной справедливости, что, может быть, еще не следует об'ясняться относительно него; но, как бы ни рассуждали, исходя из этого заблуждения, мы всегда глубоко чувствуем, что мы, трудящиеся, должны по крайней мере иметь возможность есть хлеб, если только природа, иногда оказывающаяся неблагодарною и немилостивою, не делает наших полей бесплодными, а тогда это должно быть общим бедствием, которое должны переносить все, а не один только трудящийся класс».

Этим великим заблуждением, очевидно, является индивидуальное присвоение земли. Доливье и податели петиции не выражают своей мысли ясно, но, повидимому, они ждут близкого дня, когда они будут иметь возможность, без скандала и не подвергаясь опасности, сообщить свою мечту более смелой Революции. Был ли это аграрный коммунизм? Был ли это закон о распределении земель, который в самом деле обеспечил бы всем людям собственность и пропитание? Мы не знаем этого, но ясно, что во многих умах зарождаются еще скрываемые смелые мысли. Ясно также, что в этих двусмысленностях и этих умолчаниях контр-революционеры усмотрели бы проекты аграрного закона. Да и сам Доливье высказывается несколько яснее в очень важном примечании, прибавленном к петиции.

«Начнем с того, что мы глубоко убеждены, что совершенно противоречит естественному праву, чтобы лентяи, ничего не сделавшие для того, чтобы заслужить довольство, которым они пользуются, находились в безопасности от всякого рода нужды и чтобы трудолюбивый бедняк, чтобы земледелец-рабочий подвергались всяким случайностям и одни переносили все бедствия, вызываемые неурожаем. Раз вполне доказано существование этого чувства, — а кто же, кроме зажиточных эгоистов, не находит его в своей душе? — я утверждаю, что когда наступает бедствие, деньги не должны являться достаточным средством для того, чтобы не страдать от этого бедствия. Возмутительно, что богатый человек и все его окружающие слуги, собаки и лошади ни в чем не нуждаются в своей праздности, а те, кто живет исключительно трудом, люди и животные, изнемогают под двойною тяжестью труда и недоедания. Итак, я утверждаю, что при этих обстоятельствах не следует допускать неограниченной свободы торговли с'естными припасами, столь плохо обслуживающей бедных, но что их следует распределять таким образом, чтобы всякий страдал от бича природы, но чтобы он не губил никого, в особенности же человека, всего менее этого заслуживающего. Итак, мне лично кажется, что в том случае, о котором я говорю, именно само общественное право требует установления надлежащей цены зернового хлеба, на которое так жалуются и которое считают правонарушением. Недавно назначили цену говядины у мясника, хлеба у булочника (и надо полагать, что стали бы опять назначать цены этих товаров, если бы они слишком злоупотребляли общественною нуждою), почему же еще с бо́льшим основанием не установить цены зернового хлеба на рынках? Возражают, ссылаясь на священное право собственности. Но, во-первых, это право являлось таким же для мясника и для булочника, и они столь же бесспорно являлись собственниками своего товара, как всякий является собственником своего. Скажут ли в виду этого, что по отношению к ним нарушалось право собственности? Во-вторых, какова точка зрения на собственность, а именно, на земельную собственность? Следует сознаться, что до сих пор об этом очень мало рассуждали, и что в основе того, что было сказано, лежат ошибочные

понятия. Повидимому, боялись заняться этим вопросом и очень поторопились облечь его таинственным и священным покровом, как будто для того, чтобы воспретить всякое исследование его; но разум не должен признавать никакого политического догмата, требующего от него слепого уважения и фанатического повиновения. Не восходя к тем истинным принципам, согласно с которыми может и должна существовать собственность, можно утверждать, что те, кого называют собственниками, являются ими лишь благодаря праву, представленному законом. Одна нация, в самом деле, является собственницей своей земли. А предполагая, что нация могла и должна была допустить существующий порядок для частных имуществ и для их передачи, могла ли она сделать это так, чтобы лишить себя своего права верховной власти над продуктами и могла ли она предоставить собственникам такие права, чтобы для тех, кто не является собственником, не оставалось никаких прав, даже неот'емлемых? Но возможно было бы иное рассуждение, гораздо более убедительное, чем все это. Для его обоснования понадобилось бы исследовать вопрос о том, что̀ может составлять истинное право собственности, само по себе, а здесь не место для этого.

Ж.-Ж. Руссо сказал где-то, что «всякий, кто ест хлеб, которого он не заработал, ворует его». Философы найдут в этих немногих словах целый трактат о собственности. А люди, не являющиеся философами, сочтут это, как и все то, что им не нравится, лишь парадоксальным изречением».

Однако теории Жан-Жака, которые могли казаться лишь парадоксами, получили гораздо более определенный смысл с тех пор, как вся нация провозгласила Права Человека, и народ яснее сознал свою силу. Доливье ставит свои смелые теории относительно земельной собственности в связь с попытками установления цены хлеба. И спрашивается, не начинает ли абсолютное право частной земельной собственности колебаться в сознании революционного народа.

Робеспьер вмешался в прения, вызванные этампскими событиями. Он постоянно выдавал себя за защитника Конституции и законов.

Но он требовал, чтобы Конституция и законы истолковывались в наиболее популярном и наиболее гуманном смысле. Он жаловался на то, что умеренная буржуазия отнеслась к преступлению, совершенному страдающим народом по отношению к богатому этампскому мэру, как к особенному преступлению, что на бедных людей так негодовали и что они подвергались беспощадному преследованию, между тем как все важные преступления, заключавшиеся в измене, в расхищении государственной казны, в скупке товаров, оставались безнаказанными. Когда фельяны обратили похороны Симонно в контр-манифестацию умеренных в ответ на «триумф» солдат из полка Шатовье, Робеспьер указал на старания буржуазной олигархии воспользоваться для своего эгоистического господства даже естественным негодованием, вызываемым убийством. Он потребовал более искреннего уважения к законам, более честного их истолкования и, неизменно заботясь о равновесии, он наметил довольно неопределенный социальный план, в котором он указал очень общие меры, которые следовало принять в интересах народа, протестовал против всякой мысли об аграрном законе с настойчивостью, свидетельствующею о том, что он несколько беспокоился.

Очевидно, он не боялся, что аграрный закон станет программою Революции, но он боялся, что эта мысль о новом распределении земельной собственности настолько распространится в умах, что контр-революция будет иметь возможность воспользоваться этим для возбуждения паники, и что самой Революции придется подавить движение, которого она не предотвратила во-время.

Он различает в революционном движении два класса людей: с одной стороны, существуют богатые, владеющие, в которых скоро пробуждается эгоизм и которые боятся равенства. Затем существует великодушный и добрый народ. Итак, для того, чтобы защищать Революцию и довершить ее, следует опираться на

народ. И Революция отблагодарит за эту услугу, обеспечив всем равенство политических прав и издав хорошие законы о призрении и об обеспечении, приняв строгие меры против скупщиков и лиц, занимающихся ажиотажем; но она не коснется и не даст касаться собственности. Робеспьер особенно тщательно развил свою социальную точку зрения в № 4 своей газеты «Защитник Конституции».

«От зажиточного лавочника до гордого патриция, от адвоката до бывшего герцога и пэра почти все, повидимому, желают сохранить привилегию презирать человечество под именем народа. Они предпочитают, чтобы у них были господа, тому, чтобы увеличилось количество равных им людей; служить, чтобы угнетать, находясь в подчинении, кажется им лучшею участью, чем пользоваться свободою наравне со своими согражданами. Какое дело им до человеческого достоинства, до славы отечества и до счастья будущих поколений? Пусть погибнет вселенная или пусть человеческий род будет несчастен в продолжение веков, лишь бы только они могли быть почитаемыми без добродетелей, знаменитыми без талантов, и лишь бы только их богатства могли ежедневно возрастать вместе с их развращенностью и вместе с общественною крайнею бедностью. Попробуйте проповедывать культ свободы этим жадным спекулянтам, признающим лишь алтари Плутуса. Их интересуют только сведения относительно того, в какой пропорции нынешняя система наших финансов может во всякое время дня повышать проценты, приносимые их капиталами. Даже эта услуга, оказанная Революцией их жадности, не может примирить их с нею. Им нужно было бы, чтобы она ограничилась именно увеличением их состояния; они не прощают ей того, что она распространила среди нас некоторые философские принципы и несколько ободрила великодушных людей.

«Из новой политики им известно только то, что все погибло бы с тех пор, как Париж взял Бастилию, хотя всемогущий народ тотчас же вернулся к мирным занятиям, если бы один маркиз (Лафайет) не учредил штаба и корпорации военных с блестящими эполетами вместо бесчисленной гвардии, состоящей из вооруженных граждан; дело в том, что они обязаны этому герою покоем в своих конторах, а Франция — своим спасением; дело в том, что славнейшим днем нашей истории явился тот день, когда он умертвил на алтаре отечества полторы тысячи мирных граждан, мужчин, женщин, детей, стариков; к тому же они глубоко убеждены в верности старинного правила, гласящего, что народ является диким чудовищем, всегда готовым уничтожить порядочных людей, если не держать его на цепи и если не заботиться о том, чтобы расстреливать его от времени до времени; что, следовательно, все, требующие прав, являются лишь бунтовщиками и виновниками мятежей. Они полагают, что небо создало род человеческий лишь для наслаждений королей, дворян, законников и лиц, занимающихся ажиотажем ажиотеров; они думают, что бог испокон века согнул спины одних для того, чтобы они носили тяжести, и создал плечи других для того, чтобы они носили золотые эполеты».

Эти мысли, выраженные изысканным и приличным слогом, резче и язвительнее, чем рассуждения отца Дюшена. Можно подумать, что могущество буржуазной олигархии, лишившей бедных людей избирательного права и исключившей их из вооруженной национальной гвардии, кажется Робеспьеру вечным; настолько сильным и почти отчаянным является его гнев.

Однако, этот народ, угнетенный и униженный отказом в правах, которые присвоили себе богачи, является истинною надеждою Революции. «Масса нации добра и достойна свободы; ее истинное желание всегда является справедливым приговором и выражением общего интереса. Можно подкупить частную корпорацию, каким бы величественным именем она ни прикрывалась, подобно тому.

как можно отравить застоявшуюся воду; но нельзя подкупить нацию, так как нельзя отравить океан. Народ, этот огромный и трудолюбивый класс, для которого гордецы оставляют это священное наименование, по их мнению унизительное,— народ совершенно не подвержен действию причин, развращающих так называемые высшие сословия.

«*Для слабых полезна справедливость*, для них гуманные и беспристрастные законы являются необходимою защитою; они являются неудобною уздою только для могущественных людей, которые так легко нарушают их... На стороне этих презренных эгоистов, этих гнусных заговорщиков могущество, богатство, сила, войска; для народа существует только его нищета и небесная справедливость... Вот в каком состоянии находится то великое дело, которое мы защищаем пред миром».

Странная точка зрения, демократическая и в то же время ретроградная. Да, справедливо, что в обществе законы должны помогать слабым. Они должны противодействовать всегда деятельной силе собственности, богатства, знаний ловких эксплоататоров. Но почему же не предвидеть такого общества, в котором уже не было бы «слабых»? Зачем считать богатство по существу дела развращающим, вместо того, чтобы постараться обеспечить участие всех в пользовании силами жизни и житейскими наслаждениями? Как Робеспьеру кажется, что эгоизм, порождаемый собственностью, отвлекает привилегированных от Революции, не дает им понять значение Прав Человека, и он не делает усилия, клонящегося к тому, чтобы сама собственность, перестав быть привилегией, слилась с человечностью! Повидимому, он считает «нищету» народа условием его бескорыстия. Можно подумать, что он применяет к Революции евангельское изречение. «Одни бедные войдут в царство божие!».

Итак, следует ли отбивать у человечества охоту искать богатства, т.-е. достигать все большей и большей власти над природою и жизнью? Робеспьер не отваживается на это прямо, но он смотрит на возрастание богатств беспокойным взглядом, как на разлив грозной реки.

Следует ли отбивать у народа охоту стремиться к богатству, становящемуся, наконец, общим достоянием человечества? Это остается неизвестным, и, повидимому, Робеспьер останавливается на решении допустить существование такого сурового и мрачного общества, в котором возрастающее богатство отдельных лиц будет не уничтожаться, а контролироваться и уравниваться политическою властью недоверчивой и бедной массы.

Во взглядах Робеспьера, как и во взглядах Жан-Жака, обнаруживается неясное и прискорбное смешение демократии и христианства, устанавливающего ограничения. Его идеал исключает как коммунизм, так и богатство, но последнее на самом деле допускается как прискорбная необходимость.

Это значило портить и сжимать все пружины. Это значило останавливать стремление владеющих классов к большому богатству и к энергичному действию. Это значило останавливать стремление народа к полной социальной справедливости. Во взглядах Робеспьера обнаруживается странное смешение оптимизма и пессимизма: оптимизма относительно нравственной силы народа, пессимизма относительно уравнительной организации собственности. Неверно, что бедные, страдающие подданные защищены самою их слабостью и их бедностью от эгоизма и испорченности. Прежде всего их умы и сердца слишком часто бывают ленивы, они привыкают к рабству, к пассивности или даже к презрению к смелым освободительным стремлениям. А также на них слишком часто влияют милости, неравномерно расточаемые привилегированными для разделения тех, кого они угнетают.

В словах: «ты добродетелен, потому что ты слаб, ты бескорыстен, потому что ты беден, ты чист, потому что ты бессилен», сказанных народу для того, чтобы таким образом утешить его в вечной нищете, вечной добродетелью оба

руживается какое-то неприятное сочетание угодливости и хитрости. Восстановление социального равновесия тем, что все пороки приписываются богатым, а все добродетели—бедным, является иллюзией или ложью, наивностью или расчетом.

Перестаньте завидовать имущим, потому что вы имеете больше, чем они, а именно,—душевные богатства: это недопустимое применение евангелия к новым обществам, которые такое демагогическое и в то же время консервативное фарисейство побуждало бы сойти с их пути.

Робеспьер был искренен, но это был сухой человек, и его мысль была недальновидна. Если бы народ мог удержать в руках орудия демократии, которые Робеспьер желал вручить ему, если бы все граждане и вооруженные избиратели могли удержать после периода революционных бурь свои избирательные бюллетени и свои ружья, то они воспользовались бы этим могучим оружием для более смелого и более широкого дела, чем то, о котором мечтал Робеспьер. Но вот, под видом защиты демократов от контр-революционных клевет, он резко нападает на «аграрный закон».

«Пусть мир,—восклицает он,—решит тяжбу между нами и нашими врагами, пусть он решит тяжбу между человечеством и его угнетателями. Они то лицемерно утверждают, что мы лишь обсуждаем отвлеченные вопросы, неосновательные политические системы, как будто основные принципы морали и драгоценнейшие интересы народов являются лишь нелепыми химерами и поводом для пустых словопрений; то уверяют, что свобода является потрясением всего общества: не старались ли они, с тех пор, как началась эта Революция, пугать всех богатых нелепым страшилищем, идеей аграрного закона, излагаемой глупыми людьми злым людям? Чем более опыт отвергал этот вздорный обман, тем упорнее они повторяли его, как будто защитники свободы являлись безумцами, способными задумать проект, настолько же опасный, насколько он несправедлив и неосуществим; как будто они не знали, что имущественное равенство по существу дела невозможно в гражданском обществе, что оно непременно предполагает общность имуществ, которая у нас, очевидно, является еще более химерическою; как будто существует хоть один человек, у которого имеется какой-либо промысел, личному интересу которого не грозил бы этот нелепый проект. Мы хотим равенства прав, потому что без него не существует ни свободы, ни общественного счастья; что же касается богатства, то, раз общество выполнило свою обязанность обеспечить своим членам необходимое и возможность существовать трудом, то не друзья свободы желают его: Аристид не позавидовал бы богатствам Красса. Для чистых или возвышенных душ существуют блага более драгоценные, чем такие богатства. Богатства, порождающие такую испорченность, вреднее для тех, кто владеет ими, чем для тех, кто лишен их».

Таким образом, если бедные являются истинными привилегированными, то социальный вопрос чрезвычайно облегчается. Лекинио, бывший довольно благонамеренным глупцом, тогда же защищал тот же самый тезис «морального равенства», но на свой лад, напыщенно и банально поучительно. «Я уже не признаю ни буржуа, ни народа в прежнем смысле и я не буду употреблять этих выражений, не понравившихся мне в знаменитом письме (Петиона к Бюзо); но я признаю богатые классы, и рабочие и бедные классы, и я вижу и я утверждаю, что три четверти богатых людей являются еще совершенно настолько же аристократическими, как прежде дворянство. Тщетно возражали бы мне,

что интерес будет всегда удерживать бедных в чрезмерном моральном неравенстве и порождать в них все пороки низости и лести по отношению к богатым; этого вовсе не будет, лишь только истинные принципы повсюду распространятся под эгидою свободы, потому что с тех пор бедные будут знать, что богатые превосходят их лишь своими бо́льшими потребностями; они будут знать, то чем богаче человек, тем более его мучит множество суетных желаний и множество фантазий, от которых он не может отказаться, не становясь несчастным, и которые делают его несчастным еще и впоследствии, благодаря отвращению и новым желаниям, появляющимся после того, как он удовлетворил свои первоначальные желания; бедные будут знать, что чем человек богаче, тем более он зависит от окружающей среды и что он тотчас же стал бы несчастнейшим человеком в мире, если бы каждый отказывался служить ему, потому что он не в состоянии сам позаботиться об удовлетворении почти ни одной из своих потребностей; бедные будут знать, что при желании удовлетвориться простым и необходимым, человек зависит лишь от самого себя, и что труд всегда даст всякому пропитание... Наконец, они будут знать, что если богатый еще проявляет наглость и гордость, они обязаны укрощать его, подвергать его унижениям и презирать его; что сто́ит им сговориться, и они вскоре выполнят эту обязанность и богатому, наконец, придется, как это и должно быть, уважать себя не более, чем снисходительного человека, соглашающегося наняться к нему и предоставить ему пользоваться своим временем или своим трудом.

«Богатый человек, предающийся многим наслаждениям, боится лишиться их; он непременно бывает труслив, а бедный, у которого ничего нет, может на все отваживаться; он никогда не отважится сделать что-либо противоречащее требованиям добродетели, но справедливо, чтобы он заставлял тщеславных людей отказываться от проявляемого ими презрения: чтобы он поражал деспотизм, равно как и высокомерие, где бы они ни проявлялись; чтобы он сумел занять подобающее ему место и, наконец, перестал оказываться жертвою всех до сих пор угнетавших его и стоявших выше его лишь вследствие того, что ему угодно было верить им и становиться ниже их».

Это удивительный ряд нелепостей. Но в виде невольной карикатуры, это является воспроизведением идей Робеспьера. Там, где Робеспьер только намекает, Лекинио грубо настаивает. Он подменяет подобно Робеспьеру действительно существующую социальную иерархию, жестокую иерархию собственности, давящую, порабощающую и унижающую бедных, воображаемой и фантастической моральной иерархией, в которой бедный, в качестве бедного, является независимым и сильным. Богатый является рабом своих потребностей, и что́ стало бы с ним, если бы все люди отказались служить ему? Но, у Лекинио, преимущество богатства заключается именно в том, что люди никогда не отказываются служить ему. Бедняк не всегда уверен в том, что он найдет богача, который дал бы ему занятие. Богач всегда уверен в том, что он найдет бедняка, который станет служить ему. Правда, Лекинио смело утверждает, что всякий человек всегда наверное проживет своим трудом, если он довольствуется немногим; но он не говорит, до каких пределов должно быть доведено это немногое.

Какой странный взгляд на экономические отношения: труд всегда обеспечен, надо только быть воздержным! Кажется еще, что если бедняк нанимается в услужение к богачу, он делает это не в силу необходимости, а потому,

что он этого хочет, и из снисходительности. Бедным, которые независимее богатых, бедным, в руках которых жизнь богатых, недостает лишь одного: в них должно пробудиться самосознание и им следует возгордиться. Пусть они оставят богатым их богатства, но пусть они заставят их держать себя приличней и скромней. В случае надобности, пусть они сговорятся для того, чтобы унизить богатые классы. Лекинио не советует рабочим требовать отмены закона Шапелье, воспрещающего им об'единяться в союзы для повышения получаемой ими заработной платы. Но, если можно так выразиться, он уговаривает их составить союз для того, чтобы наглостью унизить гордость богатых.

Пролетарий не прикроет дыр своего плаща, но, оставаясь в своем дырявом плаще, он гордо потребует уважения к себе. И, в случае надобности, несколько грубоватых слов, несколько внушительных жестов приучат богатых к обычаям, соответствующим равенству. Общественное неравенство, смягчаемое гордостью санкюлотов; богачи, вознаграждающие своею угодливостью, скромностью и заискивающим обращением за свои тщательно охраняемые богатства; общество, разделенное на два класса: на трусливых богачей, трусость которых будут эксплоатировать бедняки, и на надменных бедняков, мстящих грубостью слов и действий за свою нищету, впрочем, подчиняющуюся праву собственности: таков тот противный идеал, который предлагает нам Лекинио. Между тем как в таком обществе, в котором в самом деле существует равенство, прелесть жизни состоит именно в той вежливости, соблюдая которую всякий человек старается нравиться, будучи уверен, что он равен другим людям, и что никто не примет его любезности за низость, здесь бедные будут беспрестанно призывать богатых к равенству своим суровым обращением с ними. Богачи не выйдут из своих экипажей, но пролетарий в деревянных башмаках, со свойственной ему плебейской наглостью, будет забрызгивать их грязью для того, чтобы богатый буржуа не возгордился в своей великолепной и запачканной карете. Наглость отрепья в ответ на надменную роскошь: Лекинио составляет цивилизацию из этого двойного варварства.

Но опять-таки, хотя доктрина Робеспьера искажена в этом странном зеркале, она все же сохраняет свои отличительные черты. О, пора уже лучу коммунизма Бабёфа блеснуть сквозь этот раздутый туман, обманывающий обещанием ложного равенства!

Однако Робеспьер, очевидно, так сурово и резко охарактеризовал то, что он называет «аграрным законом», лишь потому, что он почувствовал, что под впечатлением революционного потрясения и под влиянием примера великих передач собственности и ее преобразований, умы могли бы, конечно, думать или мечтать о более глубоком преобразовании, благодаря которому вся земля перешла бы в руки тех, кто ее обрабатывает. Какое значение имела идея, которая была выражена еще столь неясно, и на которую даже самые смелые люди, вроде приходского священника Доливье, лишь робко и неопределенно намекали? Невозможно, да и бесполезно стараться выяснить это. Я только отмечаю признак, свидетельствующий о глубокой работе народной мысли, которая мало-по-малу размывала землю и могла вдруг угрожать самим корням буржуазной собственности. Вслед за теми страницами, которые я комментировал, Робеспьер воспроизводит петицию жителей Этампа; он воспроизводит и некоторые из примечаний приходского священника Доливье, но не то обширное примечание, в котором последний начинает яснее излагать свои взгляды относительно частной земельной собственности, т.-е. относительно индивидуального присвоения земли.

Таким образом с 1792 г. в революционном сознании образуется мощное и сложное понятие о собственности. Прежде всего ясно, что Революция укрепляет, освобождает частную собственность. Она укрепляет ее, осво-

бождая от произвола, существовавшего при старом режиме. Ни доход не может быть обложен налогом без согласия нации, ни ренты, обеспеченные обещанием нации выплачивать их, не могут быть уменьшены по желанию министра, желающего нарушить это обещание. Из того, что являлось колеблющимся, двусмысленным, ненадежным, Революция создает определенную гарантированную и верную собственность. К тому же она усиливает частную собственность, передавая индивидуумам все то, что являлось корпоративною собственностью, собственностью цехов, собственностью церкви; и она хочет передать индивидуумам даже имущества общин для их раздела. Эта частная собственность освобождается от всех тяготевших на ней повинностей, от всех условий, ограничивавших собственность при старом режиме. Церковь владела на известных условиях; те лица, между которыми распределяется ее достояние, владеют без условий. Вместо них заботу о поддержании культа взяло на себя государство; оно приняло на себя пассив церкви; оно предоставляет частным лицам чистый актив. Крестьянская собственность также освобождена и как бы очищена от всяких феодальных повинностей и оброков, или, по крайней мере, крестьянское и революционное движение вскоре достигнет этого. Итак, происходит огромное усиление частной собственности и ее возвеличение; с этих пор она будет отягощаться лишь в силу договора, заключаемого между индивидуумами, и ипотека явится тем остреём, при посредстве которого частная собственность одного лица втягивается в частную собственность другого лица. Она вовсе не окажется вечною кастовою повинностью или обязательным для собственности ограничительным условием. Но подобно тому, как индивидуум, освобожденный от феодальных, церковных и корпоративных уз, оказывается одиноким и свободным пред лицом нации, частная собственность также противостоит нации. Собственность существует в нации и благодаря ей; в основе ее лежит национальная воля, в том существенном договоре, в силу которого все граждане образуют нацию, заключается гарантия всех договоров, в том числе и договора относительно собственности. Из этого вытекает, что даже и договор о собственности ни в каком случае не может иметь большей силы, чем высший интерес, чем право нации на существование. Таким образом нация имеет явное право по отношению к собственности. Точно так же, если можно так выразиться, и Революция имеет право по отношению к собственности. Революция освободила ее. В одном смысле Революция даже установила ее, потому что собственность, подверженная королевскому произволу и всяким насильственным и несправедливым вычетам, производимым привилегированными, уже не является собственностью. Итак, Революция, спасающая и даже создающая собственность, в праве потребовать от собственности всяких жертв, необходимых для спасения самой Революции. Прежде всего она может и она должна требовать от собственности всего того, чего требуют самые принципы Революции. Но Права Человека являлись бы лишь преступной пародией на гуманность, если бы в нации оказывались люди, обреченные на голодную смерть вследствие их крайней бедности, а люди могут требовать прав, гарантированных им Декларацией, и осуществлять эти права лишь в том случае, если они могут жить, а поэтому Революция может и должна обеспечить всякому человеку право на жизнь, обеспечивая вспомоществование неспособным к работе и верный труд работоспособным людям. Итак, в силу своих принципов, Революция непременно ограничивает право собственности каждого правом всех на жизнь. Из этого вытекают некоторые выводы.

Наконец, чтобы защищаться, Революция, даже буржуазная, нуждается в политической и военной силе народа, в его сочувствии и в его мускулах. Конечно, Революция обеспечит этому народу, влияние которого усиливается по мере того, как возрастает опасность, все жизненные гарантии, даже вопреки

эгоистическому праву собственности. В случае надобности, она защитит его от скупщиков, от богатых, от всех тех, кто вызывает вздорожание предметов, необходимых для жизни, или уменьшает вознаграждение за труд. Благодаря этому идеи частной собственности и идеи демократии примиряются в Революции. Эта сложность Революции начинает обнаруживаться с 1792 года. В то самое время, как частная собственность освобождается от всех стеснявших и маскировавших ее остатков старого режима, крепнет все возрастающая сила народа, тех, кого уже называют пролетариями.

Законодательное Собрание не успело организовать призрение. Но 13 июня, от имени комитета общественного призрения, ему был представлен обширный доклад «относительно общей организации общественного призрения и относительно уничтожения нищенства». Докладчик Бернар, депутат от Ионны, формулирует те общие принципы, которыми руководился Комитет, нижеследующим образом: «Различные условия человеческой жизни беспрестанно наводят чувствительного и мыслящего человека на грустные размышления. Когда он видит чрезмерное имущественное неравенство, блестящее облачение, еще более украшающее, чем прикрывающее богатство возле убогого рубища; хижину, едва защищающую ее обитателя от непогоды, в двадцати шагах от пышного дворца; когда он видит возле счастливца, окруженного всякими излишествами, несчастного, нуждающегося в необходимом, он испытывает тягостное чувство, он мысленно переносится в тот золотой век, когда золото еще не было известно, когда еще не существовало моего и твоего, когда еще не были придуманы слова «бедность» и «богатство». Он вспоминает об этом первобытном равенстве, нарушенном на другой день после того, как был заключен общественный договор, когда земля, разделенная между всеми, перестала целиком принадлежать каждому из лиц, живущих на ней, и законы обеспечили каждому его новую собственность. Здесь предполагается, что этот раздел основывался на принципе равенства, что он был произведен с общего согласия и что обман и насилие не играли при нем никакой роли; но уже ясно, что даже и при этом предположении равенство не может удержаться, что человек, праздный по расчету и ленивый по склонности, поставил свое потомство в зависимость от трудолюбивого человека, которому вскоре удалось присоединить к доле, доставшейся ему при разделе, долю своего праздного и непредусмотрительного соседа. Вскоре, когда сложились еще новые комбинации, слабый отдался под покровительство сильного, или, скорее, дал сильному поработить себя. Наконец, множество второстепенных причин, перечислять которые бесполезно, присоединилось к первым, усиливая их действие, и с течением времени в человечестве появились все степени бедности и богатства».

Само собою разумеется, я не стану разбирать этой столь произвольной и столь неясной системы эволюции человечества; я лишь отмечаю, что согласно ей, неравенство состояний является для законодателя роковым, неизбежным результатом развития человечества.

«Итак, — говорит докладчик, — неравенство состояний и неравномерное распределение предметов, нужных для пропитания, непосредственно вытекает из принципа цивилизации. Если бы для установления всеобщего равенства оказалось возможным предоставить общей массе совокупность всех имуществ с тем, чтобы дать каждому из членов вновь образующейся ассоциации одинаковую часть, то такое положение вещей, очевидно, не могло бы существовать, и вскоре получилось бы возвращение к исходному пункту, так как одни и те же причины беспрестанно стремятся вновь вызывать те же самые действия.

«Но если доказано, что это неравенство вытекает из самого принципа цивилизации, если существование крайних степеней богатства и бедности и всевозможных промежуточных состояний между этими двумя состояниями является его прискорбным и необходимым следствием, то не менее строго доказано и то,

что для осуществления того первоначального соглашения, по которому каждый из членов великой семьи связан с государством, а государство связано с каждым из своих членов, и в силу этого первоначального соглашения государство обязано обеспечить всем безопасность и защиту и что собственность богатого и существование бедного, являющееся его собственностью, должны быть одинаково охраняемы общественным законом.

«Из этого, господа, вытекает следующая аксиома, не упомянутая в Декларации Прав Человека, но заслуживающая того, чтобы поместить ее в заголовке того гуманного свода законов, который вы намереваетесь декретировать: *всякий человек имеет право жить своим трудом, если он работоспособен, или получать бесплатно вспомоществование, если он не в состоянии работать»*.

И здесь я опять-таки не могу заняться разбором довольно неглубокой и неясной социальной точки зрения Комитета призрения. Какое значение имеет фикция договора, заключенного между государством и частными лицами? Я не буду рассматривать этого вопроса.

Очевидно, конечно, что между всеми людьми, живущими в обществе, существует молчаливый договор, который можно формулировать следующим образом:

«Мы соглашаемся жить с другими людьми и поддерживать общественные законы лишь с условием, чтобы жизнь не делалась невыносимою для нас и чтобы для нас не оказывалось полезнее разорвать общественную связь ценою всяких опасностей, чем уважать ее».

В сущности, этот мнимый, или, если угодно, подразумеваемый договор является лишь утверждением элементарной силы жизни и всеобщего инстинкта самосохранения. Может быть, вывод права человека, живущего в обществе, из договора является чем-то искусственным и как бы юридической подделкой социального факта. Ведь даже если бы слабые вступали в общество без всяких условий, даже если бы они, в силу какой-то изумительной пассивности, были готовы скорее согласиться на все, на крайнюю бедность, на голод, даже на смерть, чем освободиться от общественной связи, право человека все же существовало бы у них, и даже если бы жертвы отрекались от него, оно все-таки протестовало бы против несправедливости.

Но революционные юристы, к тому же являвшиеся последователями Руссо, охотно придавали человеческому праву форму договора. Или, скорее, об'явив что право человека предшествует обществу и стоит выше его, они выводили новую сферу прав, а именно тех прав, которые вытекают из договора в самом обществе, и первою статьею этого договорного социального права является право всех на пропитание. В сущности, важно знать, каковы в определенный момент те условия, от которых не могут отказаться люди в этом предполагаемом договоре. И вполне ясно, что требования слабейших индивидуумов растут по мере того, как увеличивается сила этих индивидуумов. Итак, самое содержание договора неизбежно оказывается изменчивым, договор между различными общественными классами, или, выражаясь языком XVIII века, договор между индивидуумами и государством беспрестанно подвергается пересмотру по мере того, как изменяются отношения между общественными классами или между индивидуумами, и этот пересмотр договора, подразумеваемый подобно самому договору, должен, время от времени, вызывать важные перевороты, при чем новые юридические формы выражают отношения новых сил. Итак, мы можем применять юридическую и буржуазную теорию общественного договора даже к социалистическому движению и к требованиям пролетариев.

С первого же применения общественного договора к проблеме нищеты в 1792 г. обнаруживаются неопределенность и нерешительность. Ведь докладчик говорит то о «существовании» бедного, то об его «воспитании», а право на «существование есть нечто совершенно иное, чем право на «пропитание». Право на существование, на жизнь предполагает сохранение и развитие всех способностей, всех сил индивидуума. Право на пропитание предполагает лишь выполнение функций питания. Это хорошо, по сравнению с теми временами, когда массы безропотно умирали голодною смертью, и когда государство на самом деле считало себя в праве давать им умирать голодною смертью. Но это жалко по сравнению с полным человеческим идеалом и с полным смыслом жизни.

Комитет утверждает: «Т о, ч т о в с я к и й ч е л о в е к и м е е т п р а в о л и ш ь н а с в о е п р о п и т а н и е, является аксиомою». Но этого положения нельзя защищать: всякий человек имеет полное право на такое участие в жизни человечества, т.-е. в деятельности и радостях, до которого он может доразвиться. Вышеупомянутая ложная аксиома означает лишь то, что в 1792 г. владеющая буржуазия считала себя в самом деле обязанною лишь обеспечить бедным «пропитание» и что бедные не были достаточно сильны и не достаточно сознавали свое право для того, чтобы придать слову «существование» его полное значение. На практике и для того, чтобы существовала полная уверенность в том, что в самом деле будут давать «только пропитание», в докладе и в предложенном декрете предусматривается, что заработная плата за участие в общественных работах, организуемых государством для оказания помощи способным к труду бедным, будет ниже заработной платы, получаемой рабочими, занятыми в частной промышленности; таким образом право на труд сводится к праву на пропитание.

«И пусть нам не возражают, что платить бедному меньшую плату за его труд, чем обычная заработная плата, значит быть несправедливым по отношению к нему, что это значит посягать на его собственность, так как было бы очень легко опровергнуть это возражение; ведь не говоря уже о том, что для бедного не могло бы существовать более выгодного положения вещей, чем то, которое обеспечивает ему его пропитание и оставляет ему свободу принять работу, предлагаемую ему ведомством общественного призрения, или отказаться от нее, когда ему отказывают в работе во всех других местах; не приняли ли мы за правило, что помощь оказывается бедному, неспособному к труду, потому, что он прежде выполнял или обещал выполнять работу? Следовательно, когда общество доставляет работу бедному, неспособному к труду, вышеупомянутая разница в заработной плате, предлагаемой им этому бедному, является не столько вычетом, сколько сбережением, которое оно ему оставляет, или даже возвращением части тех сумм, которые оно уже заранее выдавало ему, когда он еще не мог работать».

Комитет Законодательного Собрания, повидимому, не подозревает того ужасного экономического влияния, которое эта организация общественных работ, за участие в которых уплачивалась бы пониженная заработная плата, оказала бы вообще на размеры заработной платы в частной промышленности. И как странно обращать общественный договор, договор относительно взаимного обеспечения, в какой-то арифметический баланс, при чем одни бедные, способные к труду, должны посредством вычетов из своей заработной платы уплачивать расходы на вспомоществование, выдаваемое бедным, неспособным к труду? В действительности это оказывается даже нарушением договора, потому что в таком случае средства для существования бедных доставляются уже не государством, а самими бедными. Этим упраздняется вторая аксиома, провозглашенная Комитетом: «*призрение бедного является национальною обязанностью*».

Несмотря на все это, несмотря на эти недостатки в применении и на эту узость мысли, провозглашение права всякого человека на существование, на пропитание, является великим гуманным нововведением. Оно не является ни благотворительностью, ни страховой премией и мерою, принимаемою обществом из предосторожности против насилия со стороны голодных, ни благоговейным исполнением сверх'естественной воли. Оно является утверждением права, и по мере возрастания политической силы пролетариев, они будут углублять и расширять смысл права на существование.

Смелее и глубже были, уже с 1792 года, взгляды великого Кондорсе. Я рассмотрю их позднее, в том виде, как они прямо изложены в его бессмертной книге об успехах человеческого разума, когда я буду говорить о том, как трагическая борьба Жиронды и Горы довела все революционные мысли до высшей степени напряжения. Но я указываю уже теперь на то, что Кондорсе настолько заботился о разрешении социального вопроса, об устранении нищеты, что он пользовался всяким случаем для изложения своих взглядов на это великое дело. Так, 12 марта 1792 г. он поставил экономический и социальный вопрос в связь с вопросом об ассигнатах в ясном финансовом докладе, представленном им Законодательному Собранию. Он указывает на то, что можно было бы учредить «кассы для выдачи пособий и для накопления, т.-е. сберегательные кассы, и хотя это, конечно, не выходит из сферы того, что мы называем взаимопомощью, однако, уже можно видеть, и вскоре еще яснее обнаружится, что великий революционный и гуманный ум оживляет эту мысль о взаимной поддержке и что Кондорсе надеется, что, благодаря этому, социальное равенство, или, по крайней мере, социальное равновесие будет достигнуто в такой степени, что обновленное общество станет типом общего счастья, примеров которого не было в прошлом.

«В нации, занимающей обширную территорию, где население многочисленно, где промышленность настолько развилась, что не только всякое искусство, но почти всякая часть различных искусств является исключительным занятием какого-нибудь лица, чистого продукта земли или дохода, приносимого капиталами, не может хватать для прокормления почти всех жителей, и вознаграждение за их старания и за их труд не может являться для них лишь каким-то излишком. Итак, у многих людей неизбежно не оказывается средств не только на всю жизнь, но даже и на то время, в продолжение которого они способны к труду и это вызывает необходимость делать сбережения или для их семей, если они умирают в молодости, или для них самих, если они доживают до преклонных лет.

«Итак, во всяком большом, богатом обществе окажется большое число бедных, а следовательно, оно будет несчастно и развращено, если не существует способов выгодно помещать мелкие и почти ежедневные сбережения.

Наоборот, если эти способы могут стать почти всеобщими, нуждающихся будет мало; так как благотворительность будет уже лишь удовольствием, то бедность перестанет быть унизительною и развращающею, и если будут существовать хорошо составленная Конституция, мудрые законы, благоразумная администрация, то на этой земле, так долго страдавшей от неравенства и от нищеты, наконец, появится общество, стремящееся к счастью большинства своих членов и достигающее этого счастья... Эти учреждения доставляли бы пособия бедной части общества. Они избавили бы от разорения семьи, живущие на доходы, связанные с жизнью их глав; они увеличили бы число таких семейств, положение которых является обеспеченным; они примирили бы прочность состояния с изменениями, являющимися необходимым следствием развития промышленности

и торговли, и способствовали бы упрочению того, чего никогда нигде не было, а именно богатой, деятельной, многочисленной нации, без существования бедного и развращенного класса...»

Опять-таки было бы преждевременно основательно разбирать мысль, являющуюся в данном случае лишь побочною. Но бросается в глаза именно этот характер реальности, который, если можно так выразиться, принимают с 1792 года великие слова о братской справедливости и о равенстве. Речь идет уже не об умозрениях философа. Законодатель, привыкший к основательным утверждениям науки, возвещает пред политическим собранием, по поводу определенной финансовой проблемы, новое общество, такую жизнь человечества, которой не было примеров, в которой систематическая организация общего довольства, прочное и всеобщее благосостояние, не затрагиваемое изменениями в состояниях и в жизни, лежало бы в основе свободного развития изобретений и богатства, поддерживало бы это свободное развитие и уравновешивало бы его. Речь идет вовсе не о том, чтобы побуждать некоторых людей, отличающихся редким мужеством, выделяться из огромной бедной массы и призывать их к бережливости. Речь идет вовсе не о том, чтобы изолировать от страдающей массы деятельнейшие элементы и присоединять их к олигархическому общественному строю. Речь идет о том, чтобы дать всем людям в определенном обществе прочные гарантии против нищеты во всех ее формах, и мысль Кондорсе была сразу выражена с тою полнотою, которой общественные страховые учреждения или проекты общественного страхования от болезни, несчастных случаев, безработицы, инвалидности достигнут в государствах промышленной Европы через сто лет под все возрастающим влиянием демократии, социализма и рабочего класса. Таким образом в эти первые годы Революции, в то самое время, как коммунизм Бабёфа подготовляется и возвещается возрастанием политической силы пролетариев, первыми попытками таксации товаров, теориями относительно земельной собственности и тою подозрительностью, которую воинствующие революционеры начинают проявлять по отношению к промышленному классу, словами Кондорсе возвещается и самая смелая из формул и великодушнейшая из тенденций взаимопомощи. И только три года отделяют нас от тех первых революционных дней, когда буржуазия, живущая доходами, играла решающую роль в движении! Как быстро вырос пролетариат, и насколько огонь революционного движения ускорил созревание зачатков!

Кондорсе развил с трибуны Собрания 20 апреля от имени комитета народного просвещения прекрасный и широкий план всеобщего народного образования, при чем его изложение было с трагическим символизмом прервано об'явлением войны. Он хочет просветить все умы, распространить повсюду великий свет науки XVIII века и разума. При этом дело идет не о том, чтобы выработать олигархическое законодательство. Не будет «активных» и «пассивных» умов. Конечно, в образовании будут существовать ступени соответственно различию потребностей и условий; но ни один гражданин, ни одно из детей гражданина не лишится великого и простого просвещения вследствие своей бедности, начальная школа будет первоначально открыта для всех. У Учредительного Собрания не было времени дать Франции систему воспитания. Будучи вынуждено заняться спешными необ'ятными делами, оно в конце концов предоставило будущему заботу о создании национального образования. Оно ограничилось тем, что ввело в Конституцию весьма общий принцип и выслушало 10, 11 и 19 сентября 1791 года, всего лишь за несколько дней до окончания своих заседаний, чтение прекрасного труда Таллейрана. Статья Конституции, заключавшая в себе в зародыше целую систему воспитания, гласила:

«Будет создано и организовано народное образование, общее для всех граждан, причем предметы, необходимые для всех людей, будут преподаваться бес-

платно и учебные заведения будут постепенно распределены соответственно разделению королевства».

Народное? Итак, нация должна будет организовать и контролировать его. Общее для всех граждан? Это выражение, взятое таким образом отдельно, было бы двусмысленно. Учредительное Собрание не имеет в виду, что все дети будут получать одинаковое образование, оно предусматривает разные ступени обучения, так как оно декретирует бесплатное обучение только для начальных школ. А вовторых, оно не намеревалось отменить всякое частное преподавание, так как проект, изложенный Таллейраном и весьма одобренный Собранием, оканчивается специальною статьею: Свобода преподавания, единственный параграф которой гласит: Всякому частному лицу, подчиняющемуся общим законам относительно учебного дела, разрешается открывать учебные заведения; они обязаны лишь уведомлять об этом муниципалитет и опубликовать свои уставы». Итак, слова «общее для всех» означают, что никакая кастовая идея не будет разделять детей нации, что не будет существовать школ, назначенных для дворян или для бывших дворян или еще для лиц, платящих определенную сумму налога, и что по закону всякая школа будет открыта для всех, без иных пределов, кроме того времени и тех денежных средств, которыми могут располагать семьи. Это означает также, что все дети, даже те, которые должны получать высшее образование, пройдут через начальные школы. Наконец, конституционная статья устанавливала бесплатное обучение в начальных школах.

Как, в каких чертах Таллейран, явившийся истолкователем многих комитетов, изучивших эту проблему, выразил мысль Учредительного Собрания? Оно не могло обсуждать доклад, но оно постановило, чтобы он был напечатан и роздан членам будущего Собрания. Итак, этот доклад является как бы интеллектуальным завещанием первого революционного Собрания; он же служит и исходным пунктом и совершенно подготовленною темою для работ второго Собрания.

Прежде всего образование должно быть всеобщим и при том, во всех смыслах: всеобщим, так как все должны получать его; всеобщим, так как всем должно быть одинаково дозволено давать его; наконец, всеобщим, так как оно должно простираться на весь об'ем человеческого знания. «Оно должно существовать для всех, потому что оно является как одним из результатов ассоциации, так и одною из доставляемых ею выгод, а следовательно, нужно сделать тот вывод, что оно является общим достоянием членов ассоциации: итак, никто не может быть законно лишен его, и тот, у кого меньше частной собственности, кажется, даже имеет тем большее право на участие в пользовании этою общею собственностью.

«Во-вторых, этот принцип связан с другим принципом. Если каждый имеет право пользоваться благодеянием, доставляемым образованием, то, и обратно, каждый имеет право способствовать его распространению, так как величайшее благо всех будет получаться благодаря содействию и соперничеству индивидуальных усилий. Лишь доверие должно обусловливать выбор тех лиц, которым поручаются функции преподавателей; но все таланты по праву призваны к тому, чтобы состязаться из-за этой награды, свидетельствующей об общественном уважении; привилегия в деле образования была бы особенно ненавистна и еще более нелепа».

«В-третьих, образование должно быть всеобщим относительно преподаваемых предметов, так как тогда оно в самом деле является общим благом, подходящую для себя часть которого каждый может усвоить себе. Различные познания, входящие в состав образования, могут казаться не одинаково полезными, но среди них нет ни одного, которое не было бы в самом деле полезно, которое не могло бы делаться еще полезнее и которое, следовательно, нужно было бы отвергнуть

или которым следовало бы пренебрегать. К тому же между ними существует вечный союз, взаимная зависимость, так как все они об'единяются в человеческом уме, так что одно познание непременно обогащается и усиливается другим; из этого вытекает, что в хорошо организованном обществе хотя никто не может достигнуть всеведения, однако нужно, чтобы было возможно всему выучиться».

Итак, нация позаботится о том, чтобы бесплатно дать всем необходимые элементарные познания; но она не остановится на этом. Она обязана расширять даваемое ею образование в соответствии с развитием науки и поставить его на соответствующую высоту; все знание должно быть общим достоянием, хотя фактически лишь начальные основания этого знания могут быть усвоены всеми гражданами.

Благородный и широкий коммунизм знания, который станет совершенством тогда, когда не случайность, а сила собственных способностей будет определять ту ступень знания, до которой каждый может подняться, протяжение той научной сферы, которую он может занять.

Но как оправдать бесплатность элементарного или начального обучения? И не является ли употребление общественных податей на то, чтобы бесплатно доставлять гражданам такое благо, которое каждый должен доставлять себе своим собственными усилиями, парадоксом, противоречащим самой Конституции и ее духу?

«Единственным родом образования, который общество должно давать совершенно бесплатно, является тот, который оказывается существенно общим для всех, так как он необходим для всех. Простая формулировка этого утверждения заключает в себе его доказательство, так как очевидно, что расход, необходимый для общего блага, должен быть произведен из общественной казны, а начальное образование является совершенно и строго общим для всех, так как оно должно обнимать собою основные начала того, что необходимо для всякого, какое бы занятие он себе ни избрал. К тому же его главная цель заключается в том, чтобы научить детей стать людьми. Оно, так сказать, принимает их в обществе, выясняя им главные законы, которыми управляется общество, главные способы существования в обществе, а не справедливо ли бесплатно знакомить всех с тем, что следует считать условиями самой ассоциации, в которую их приглашают вступить? Итак, это начальное образование казалось нам долгом, который общество непременно обязано выполнить относительно всех. Нужно, чтобы оно выполняло этот долг без ограничений».

Это—превосходное применение теории договора. Это, если можно так выразиться, сознанный общественный договор. Прежде, чем вступить в ту ассоциацию, которою является общество, ребенок должен узнать от этой самой ассоциации, каковы ее принципы и правила. Начальное образование является как бы организуемым для детей обществом чтением уставов той ассоциации, в которую они вступят.

Итак, для первой ступени образования устанавливается полная бесплатность. Для других ступеней будет установлена бесплатность в отдельных случаях. Государство ограничится тем, что обеспечит существование других ступеней обучения, расходы же, превышающие этот минимум, оно возложит на самих граждан, желающих непосредственно пользоваться выгодами высшего образования. Таллейрану кажется, что безусловная бесплатность всех ступеней обучения вызвала бы всеобщее расстройство. Итак, достаточно будет, чтобы лица, обладающие выдающимися способностями, получали от государства пособия для того, чтобы «пройти все ступени образования».

«Таллейран и Учредительное Собрание весьма энергически провозглашают свободу преподавания»; никакой исключительной привилегии, никакой монополии ни государственной, ни иной. Но какой смысл имела в 1791 и в 1792 г.г.

свобода преподавания? Забавно видеть, как по поводу этих вопросов, остающихся жгучими и живыми и вызывающих в настоящее время столь глубокие разногласия, все партии спорят относительно текстов Революции и ее принципиальных деклараций; но в особенности забавно видеть, как, цитируя тексты, декларации или даже декреты и статьи законов, полемисты не принимают в соображение исторических обстоятельств, политической и социальной действительности, придающей законодательству его подлинный смысл. Итак, когда защитники церкви ссылаются на Таллейрана, на Кондорсе, чтобы в настоящее время возражать против идеи вполне национального обучения, они забывают, или делают вид, что забывают, две вещи: во-первых, что Революция уничтожила все корпорации и все конгрегации, воспретила монашеские обеты, итак, она не могла бояться обучения, организованного членами конгрегаций, государства, обучающего в обучающем государстве, контр-революции, обучающей в обманутой Революции; а во-вторых, что духовенство было подчинено гражданскому уставу. Священники, епископы являлись выборными должностными лицами, назначаемыми народом при соблюдении таких же условий, как и администраторы округов или департаментов. Являясь должностными лицами Революции и будучи вынуждены искать у нее защиты от набожного фанатизма, возбуждаемого непокорными священниками, они не могли думать о том, чтобы организовать обучение, соперничающее с государственным; к тому же они могли действовать только индивидуально, так как всякая постоянная ассоциация священников подозревалась бы в восстановлении уничтоженных корпораций. Итак, когда в 1791 и 1792 г.г. Революция дозволяла свободу обучения, она дозволяла ее не церкви, а только «частным лицам», как сказано в статье, предложенной Таллейраном; но этими «частными лицами» не могли быть ни монахи, так как конгрегации были воспрещены и предстояло разогнать их, ни непокорные священники, так как Революция, каравшая их сперва тюремным заключением, затем ссылкою и об'являвшая их «подозрительными», не могла предоставить им обучение. Итак, Революция ограничивалась возбуждением рвения «частных лиц», сторонников Революции, которые свободно содействовали бы делаемым ею огромным усилиям. Когда клерикальные полемисты ссылаются на эти тексты для того, чтобы, во имя Революции, оправдать свободу обучения, которая была бы предоставлена конгрегациям и церкви, они, добровольно или нет, допускают в высшей степени важную ошибку. Пусть они уничтожат конгрегации, пусть они подчинят духовенство гражданскому уставу, и вопрос перестанет существовать.

Таллейран, в самом деле, распределяя различные ступени обучения, как предусматривает конституционная статья, соответственно административным делениям, предусматривает четыре рода школ. Будут существовать начальные школы, соответствующие коммуне, а в Париже — секции. Затем, будет существовать окружные школы, в которых будут происходить обучение второй ступени. Специальные школы третьей ступени, богословские школы, училища правоведения, медицинские, военные школы будут основаны в главных городах департаментов; конечно, все школы не должны были находиться в одном и том же главном городе, и их даже вовсе не должно было существовать во многих главных городах департаментов. Наконец, на вершине, всеобщий Институт, о котором Таллейран говорит в прекрасных выражениях. Он представляет себе его, как соединение нынешнего Института и нынешней высшей нормальной школы, т.-е. как центр высшей науки и мысли и в то же время, как организацию, занимающуюся обучением.

Подобно тому, как выше всех административных учреждений стоит первый орган нации, Законодательный Корпус, облеченный всею мощью общественной воли, так и для пополнения образования и для быстрого движения науки вперед в главном городе государства и как бы выше всех учебных заведений будет

существовать школа, имеющая еще более национальный характер, универсальный Институт, который, «обогащаясь просвещением из всех частей Франции, будет постоянно представлять собою счастливейшее соединение средств, собранных для распространения человеческих знаний и для их беспредельного роста».

«Этот Институт, находящийся в столице, в этом естественном отечестве искусств среди всех образцов, приносящих честь нации, силою вещей предназначен к тому, чтобы пользоваться своего рода властью, а именно тою, которую даст всегда свободное и всегда заслуженное доверие; благодаря законной привилегии превосходства, он станет распространителем принципов и истинным законодателем методов, и отборные молодые люди из всех департаментов будут посылаемы в этот Институт, как в высшую школу человеческой мысли».

Итак, все дети будут получать образование в начальных школах и оставаться в них два года, от шести- до восьми- или до девятилетнего возраста. В них будут учить чтению и письму, основам французского языка, простым правилам арифметики, сообщать названия деревень кантона. В окружных школах, в которые будут принимать по окончании начальной школы восьмилетних детей, будут преподаваться языки (латинский, греческий, французский и новые языки), математика, физика, естественная история.

Я не излагаю программ специальных школ и программы Института, у которой, собственно говоря, нет других границ, кроме границ человеческого духа. Этот план, предложенный Таллейраном, приблизительно соответствует организации народного образования, существовавшей в течение большей части XIX века: начальные школы в коммунах, лицей или гимназия, дающие среднее образование, (в главном месте округа или части); затем, в некоторых городах специальные школы (школы или факультеты) для преподавания права, медицины, богословия и т. д... и, наконец, на верху, в Париже «Универсальный Институт», разделяющийся на Институт в собственном смысле и на высшую нормальную школу Недостает лишь специальных школ для изучения точных наук и литературы, того, что мы еще называем филологическим и физико-математическим факультетами: в провинции высшее образование ограничивается специальными профессиональными школами; собственно говоря, оно существует только в Париже в Универсальном Институте. Но, в общем, конечно, именно мысль Учредительного Собрания будет осуществлена с небольшими поправками.

Каковы были, по плану Таллейрана и Учредительного Собрания, отношения между обучением и общественными властями? Какими принципами вдохновлялся этот план? На какую доктрину он опирался? Для учителей начальных и средних школ назначался конкурс в главном городе департамента, и из лиц, признанных «избираемыми», составлялся один список для всей Франции. Из этого списка Директории департаментов, которые сами, как мы видели, избирались активными гражданами, выбирали учителей. Итак, и в учебном деле верховная власть нации также должна была осуществляться в форме избрания.

И подобно тому, как в гражданском уставе духовенства Учредительное Собрание пыталось осуществить компромисс между традиционною силою церкви и верховною властью нации, так, согласно плану Таллейрана, в обучении осуществляется компромисс между христианским воспитанием и чистым разумом.

В начальных и средних школах обязательно преподавание «принципов религии». Но если религия допускается в школе, она не играет в ней господствующей роли: не она указывает правила жизни, и даже кажется, что Революция принимает ее настолько же для того, чтобы присматривать за нею, как и для того, чтобы уделить ей место. Говоря об «элементах религии», которые будут преподаваться в начальной школе, Таллейран говорит: «Потому что, если не знать ее—несчастье, то, может быть, плохо знать ее—еще большее несчастье».

Очевидно, он хочет, чтобы Революция наложила свою печать даже и на обучение катехизису. К тому же чувствуется, что для Таллейрана и членов Учредительного Собрания истинным катехизисом является Декларация Прав Человека: они утверждают самым решительным образом, что мораль не должна быть выводима из религиозных догматов, но что она должна быть независимой, общей для всех вероисповеданий. Благодаря этому, несмотря на «элементы религии», революционная школа в том виде, как ее представляет себе первое Собрание, оказывается по существу дела светскою, так как религия не является в ней руководительницею жизни.

«Следует знакомить с Конституцией. Итак, Декларация Прав и Конституция должны составлять в будущем новый катехизис для детей, который будет изучаться и в самых маленьких школах королевства. Тщетно желали оклеветать эту Декларацию: обязанности каждого всегда будут вытекать из прав всех...

«Следует научиться улучшать Конституцию. Когда мы клялись защищать ее, мы не могли отказаться ни за наших потомков, ни для нас самих от права и от желания улучшать ее. Итак, следовало бы, чтобы при обновленном обучении могли изучаться все отрасли социального искусства; но трудно было бы осуществить эту идею во всем ее об'еме, в котором оно представляется уму в то время, когда наука еще только возникает.

«Однако нельзя отказаться от этой идеи, и следует, по крайней мере, поощрять все попытки, все отдельные учреждения этого рода для того, чтобы благороднейшее, полезнейшее из искусств не было совершенно устранено из преподавания».

«Следует учить проникаться моралью, наиболее необходимою для всех конституций. Итак, следует не только запечатлевать ее во всех сердцах путем развития чувства и совести, но и преподавать ее, как истинную науку, принципы которой будут доказаны разуму всех людей разуму всех веков. Лишь благодаря этому она выдержит все испытания. Долго горевали о том, что люди всех наций, всех религий ставили ее в зависимость исключительно от этого множества разделяющих их мнений. Это влекло за собою большие бедствия, потому что, делая мораль недостоверною, и часто нелепою, ее неизбежно компрометировали, делали ее изменчивою и колеблющеюся. *Пора утвердить ее на ее надлежащих основах*, пора показать людям, что если их разделяют пагубные разногласия, то, по крайней мере, мораль служит общим местом встречи, где они должны искать прибежище и об'единяться. Итак, следует, так сказать, освободить ее от того, что чуждо ей, чтобы затем связать ее с тем, что заслуживает нашего одобрения и нашего уважения, с тем, что должно служить ей опорою. Это изменение просто, оно ничему не вредит, а главное, оно возможно. В самом деле, не ясно ли, что, отрешившись от всякой системы, от всякого мнения, и принимая во внимание лишь отношения людей к другим людям, можно научить их добру, справедливости и внушить им любовь к ним?...»

Итак, подобно тому, как Конституция вытекает из Прав Человека и, отводя церкви административную роль, она вовсе не подчиняется церковному догмату, школы Революции, по плану Учредительного Собрания, уделяют религии место в программе, но не заимствуют от нее правил жизни, принципов морали.

Впрочем, Таллейран всего более заботится о том, чтобы пробуждать в умах, уже в школе, дух свободы, инициативу. Он предлагает, чтобы сами дети принимали участие даже и в поддержании дисциплины, при посредстве избираемых

ими цензоров, и чтобы таким образом при первых проблесках умственного развития они применяли представительный образ правления, свободно подчинялись одобряемому ими закону. И его общий метод обучения окажется методом свободы. Прежде всего он хочет освободить умы от обременения их бесполезной эрудицией: человек не должен погружаться в прошедшее и теряться в нем, сильное и сочувствующее любопытство, оживляющее всякую подробность человеческой жизни в глубине отдаленных веков, вовсе не необходимо, и, может быть, это романтическое любопытство могло пробудиться без опасности лишь после решительной Революции, когда у людей был досуг, благодаря которому они могли уклоняться от действия для того, чтобы предаться мечте. Можно было бы сказать, что Таллейран желает сконцентрировать вековые усилия человеческого духа так, чтобы они занимали наименьший об'ем и обладали наименьшим весом для того, чтобы грядущее поколение борцов не было обременено бесполезною тяжестью. Вовсе не следует суживать умственный кругозор или препятствовать его развитию. Наоборот, следует не подавлять ума мертвой наукой для того, чтобы он мог свободно, как бодрый солдат, обозревать вселенную.

«Вы собрали обширные хранилища человеческих знаний. Это множество книг, пропадающих в столь многих монастырях, но, мы должны сказать это, с таким знанием дела утилизируемых в некоторых из них, вовсе не явится бесплодным приобретением в ваших руках; для этого вы не только облегчите доступ к хорошим сочинениям, вы не только сократите поиски для тех, для кого единственным достоянием является время, но вы также ускорите столь желательное уничтожение того ложного и пагубного обилия, которое в конце концов довело бы человеческий дух до изнеможения. Множество сочинений, бывших интересными тогда, когда они появились, теперь должны считаться лишь усилиями, попытками человеческого духа, занятого исканием решения задачи; благодаря одной последней комбинации задача разрешается, остается единственное решение, и с тех пор все прежние ошибочные комбинации должны исчезнуть; это многочисленные помарки в сочинении, которые должны перестать раздражать глаза по окончании сочинения».

И Таллейран надеется, что, «когда искусные упрощения мало-по-малу сведут интереснейшее в трудах всех веков к небольшому числу необходимых книг», своего рода сжатые и популярно составленные ведомости могут сделать существенное в человеческих знаниях доступным для всех, даже для тех, у кого мало времени для учения. Благородная мысль, свидетельствующая о глубокой заботе об универсальной человеческой культуре, а может быть, и о гордом пренебрежении умного вельможи к огромной груде книг.

«Ум утешается надеждою на то, что это несметное множество столько раз воспроизводимых искусством произведений, которого никогда не должно было бы существовать, по крайней мере, не всегда будет существовать; что, в конце концов, книгам, принесшим столько пользы людям, не суждено когда-либо причинять им как физический, так и нравственный вред. А способ ускорить их уничтожение должен быть найден в самих библиотеках».

Момет быть, Таллейран слишком легок решается на это уничтожение. Полезно знать даже заблуждения человеческого духа. Неблагоразумно уничтожать те запутанные, неясные и ошибочные следы, которыми отмечено длинное движение мысли, ищущей истины. Иногда проницательный ум умеет извлекать частицу жизни из самых нелепых и посредственных книг. Даже помарки должны быть сохраняемы в книге человеческой мысли, в которую постоянно вносятся поправки, в которой постоянно делаются приписки над строками, потому что, как в рукописи великого писателя, они обнаруживают ряд попыток выразить идею, беспокойное искание идеальной формы. Нужны содержательные книги, благодаря которым человеческое знание может быстро и легко сообщаться всем и усваиваться

всеми. Нужно, чтобы умы, страстно любящие истину и красоту, умели сами составлять для себя отборную библиотеку и как бы обиходный круг образцовых произведений, из которого будут исключены посредственность и низость. Но нужно также, чтобы смелые искатели всегда могли рыться в огромных вековых отложениях. То, что недавно казалось рассеянному уму неважным или презренным, внезапно внушает новую истину. Но завоевательный гений Революции хорошо обнаруживается в этих мыслях Таллейрана. Он хочет, если можно так выразиться, вооружить и легко экипировать энциклопедию для того, тобы она могла проникнуть во все умы, проложить все пути, войти даже в бедные жилища с ярким блеском и радостным бряцанием простых и резких истин.

Метод в обучении представлятся ему средством, ведущим к упрощению, и средством, ведущим к свободе. Упростить задачи путем устранения бесполезного, решать их путем точного анализа, значит дать всем умам возможность самим итти исправленными и выравненными путями, приведшими к великим открытиям; итак, это значит, путем усовершенствования самой традиции, предоставлять всякому уму снова открывать истину, это значит доставлять новым поколениям вместе с силою накопленного знания и наслаждение открытием в применении даже и к тому, что уже известно.

«Методы должны указывать учителям правильные пути, выравнивать для них, сокращать трудный путь обучения. Они не только необходимы для обыкновенных умов, но они оказывают бесчисленные услуги даже и наиболее творческому гению, который часто бывал обязан им своими высочайшими мыслями, так как они помогают ему преодолевать все расстояния и, быстро доведя его до границ известного, оставляют у него силу, нужную для того, чтобы он устремился за эти границы. Наконец, для того, чтобы выразить оценку методов одним словом, достаточно будет сказать, что самая смелая наука, применения которой наиболее широки, а именно, алгебра сама является лишь методом, открытым гением для сбережения времени и сил человеческого ума...»

Но в этом нет механического упрощения, и не следует создавать какой-то умственный автоматизм. Для того, чтобы с детства придать уму «то постоянное направление к истине, которое тогда становится господствующею и почти исключительною страстью души, в высшей степени важно некоторым образом вызвать в учениках интерес к исканию всего того, что истинно (истина в самом деле является моралью ума так же, как справедливость является моралью сердца). Не менее важно заинтересовать их любопытство, вызвать их усердное соревнование, побуждая их как бы присутствовать при выработке тех различных познаний, которыми хотят обогатить их, и помогая им разделить по отношению к каждому из этих познаний славу тех людей, которые сами открыли их, так как то, что относится к области разума, не должно быть только запоминаемо: ум всякого лица должен овладеть этим; множество раз доказано, что человек действительно знает, ясно понимает лишь то, что он открывает».

Таллейран не боится применить этот метод упрощения, который должен двинуть вперед все умы к наиболее самопроизвольному, наиболее несвязному, наиболее обширному: к языку и к истории. Он мечтает о том, чтобы сделать французский язык верным и точным орудием, чтобы все умы, обращая внимание на содержание слов, избавлялись уже благодаря одному этому, от ошибок. Путем строгого определения необходимых слов, устранения бесполезных или неопределенных слов, язык достигнет ясной трезвости и всеобщей силы, а изящество общего орудия установит некоторое предварительное равенство между всеми занимающимися умственным трудом.

«Революция обогатила наш язык множеством новых оборотов, которые навсегда сохранятся, так как они выражают или вызывают идеи, представляю-

щие такой интерес, который не может исчезнуть, и, наконец, у нас будет существовать политический язык; но чем выше и сильнее идеи, тем важнее связывать точный и одинаковый смысл со знаками, назначенными для их передачи, потому что гибельные ошибки могут возникать вследствие простой двусмысленности. Итак, достойно хороших граждан и здравомыслящих людей, лиц, интересующихся как царством мира, так и царством разума, чтобы они своими усилиями содействовали тому, чтобы слова французского языка утратили те неясные и неопределенные значения, которые столь удобны для невежества и для недобросовестности, и в которых, повидимому, кроется готовое оружие для недоброжелательства и для несправедливости. Эта весьма философская задача, которую следует как можно более обобщать, требует для своего полного разрешения времени, проницательного анализа и поддержки со стороны общественного мнения. Поощрять разрешение этой задачи является делом, достойным Национального Собрания.

«Такая задача, естественно вытекающая для нас из образования некоторых новых слов и их случайной опасности, связана в нашем уме с другим намерением. Если французский язык обогатился новыми знаками и если нужно, чтобы их смысл был точно определен, в то же время нужно, чтобы французский язык освободился от избытка слов, которые делали его бедным и часто портили его. Истинное богатство языка заключается в способности выражать все сильно, ясно, но посредством знаков. Итак, нужно, чтобы старые, приторно вежливые формы, эти боязливые предосторожности, свидетельствующие о слабости, эти уклончивые косвенные обороты речи, в которых, кажется, обнаруживается боязнь полного выражения истины, вся эта обманчивая и рабская роскошь, свидетельствовавшая о нашей нищете, исчезли в простом, сильном и выразительном языке, потому что там, где мысль свободна, речь должна стать выразительною и искреннею, и лишь стыдливость в праве сохранять в ней свои покровы».

«Пусть нас не обвиняют здесь в желании клеветать на язык, в своем нынешнем состоянии обессмертивший себя образцовыми произведениями. Несомненно, гениальные люди везде справлялись с самыми неподатливыми языками, или, скорее, они везде сумели создать себе особый язык, но для этого нужно было все мужество, все дерзновение их таланта, и тем не менее наша обыкновенная речь сохранила в себе отпечаток нашей слабости и наших предрассудков. Справедливо, конституционно, чтобы отныне говорить на нашем языке с достоинством перестало быть привилегией нескольких необыкновенных людей, чтобы обыкновеннейший ум также имел право и возможность пользоваться благородными выражениями; чтобы французский язык настолько очистился, чтобы уже нельзя было претендовать на красноречие без идей; чтобы, одним словом, он принял для всех новый характер и, так сказать, закалился в свободе и равенстве. Труд новых преподавателей отчасти должен клониться к достижению этой, настолько же философской, как и национальной цели».

Какое странное смешение смелых или возвышенных взглядов и наивностей, буржуазных ограничений и гуманного великодушия! Таллейран глубоко понял, что политическая и социальная революция распространялась на все и что она вызвала революцию даже в языке.

И эта мечта об ясном, правдивом языке, сплошь проникнутом приветливым благородством, сразу сообщающем сведения всем умам и спокойно возвышающем их так, чтобы у них было общее достоинство, является одним из прекраснейших мечтаний в жизни человеческого общества.

Но да какой степени к этому примешиваются ребячество и химера! И как Таллейран не видит, что до тех пор, пока в обществе в самом деле будут существовать группы резко враждебных интересов, сила страстей и борьба интересов будут вызывать отклонения от наилучших и точнейших определений значения слов.

Тщетно надеяться на ясность, искренность, спокойный характер слов, если в самой жизни людей существуют беспорядок, ненависть и столкновения. В то самое время, когда я пишу и из'ясняю эти великие мысли революционной буржуазии, решительные слова человеческого общества, обязанного своим происхождением Революции, слова—справедливость, свобода имеют классовый смысл: под свободою капитализм разумеет силу неограниченного роста капитала, а пролетариат—уничтожение капитализма. Для одних слово «справедливость» связано с мыслью о дивиденде, а для других оно исключает его.

Эта прекрасная надежда на такой язык, который вызывал бы примирение благодаря своей ясности, приводит к тому, что получается словарь, отчасти оказывающийся двусмысленным, при чем по поводу одних и тех же выражений возникают бесконечные противоречия реальных значений социальных истолкований слов. Ныне вещи проходят перед словами, как сражающиеся люди перед зеркалом: оно отражает раз'яренные тени и не примиряет их.

Двусмысленность, обнаруживавшаяся в революционном словаре, смущала уже и самого Таллейрана, и он хотел вернуть слова к их буржуазному источнику, к их конституционной правдивости. Когда он говорит о тех новых словах, двусмысленностью которых могли бы воспользоваться недоброжелательные и вероломные люди, если бы эти слова не были определены, он, очевидно, имеет в виду все такие слова, как: гражданин, демократия, народ, свобода, равенство, верховная власть народа, и даже «Права человека» которых демократы вроде Робеспьера или Марата уже не истолковывали, не произносили в том смысле, который придавали этим словам умеренные конституционалисты.

Таллейран боялся, что эти новые неопределенные слова легко примут некоторые новые значения, и он хотел бы «закончить Революцию», как выражался Барнав, и в самом словаре. Ребяческая попытка; фиксировать основное, первоначальное значение, выражаемое словами, так же невозможно, как невозможно фиксировать образ, впервые отражающийся в воде; в потоке революционных слов неясное отражение мыслей пролетариата начинало мешать определенности пышного и гордого отражения буржуазной мысли.

Но с каким доверием относилась буржуазия к самой себе, к правоте своих принципов и к верности сделанных ею первых применений этих принципов! Таллейран об'являет от имени Учредительного Собрания, что достаточно было бы определить значение слов и устранить их двусмысленность для того, чтобы идеи, умы и даже события сохраняли тот первоначальный смысл, который был установлен членами Учредительного Собрания.

Устанавливая эти буржуазные ограничения и готовясь исключить из нашего языка то, что я назвал бы робеспьеровским направлением, Таллейран обнаруживал в то же время такое же отвращение и к духу аристократии и старого режима. Все обороты, в которых выражались рабство, неравенство, привилегия, должны были исчезнуть в то же время, как из слов должна была быть устранена всякая демагогическая тенденция.

Равновесие, установленное Конституцией 1791 г., далекое как от кастового духа, так и от полной демократии, должно было выражаться в языке, в его синтаксисе, откуда должны были быть устранены все следы рабства; в его словаре, из которого должны быть устранены все демагогические корни. Странная претензия сделать неподвижным вечно текущий язык, соответственно недолго существовавшей Конституции, которой уже грозила опасность!

Но для того, чтобы получить это определение смысла слова, чтобы придать каждому из них точное значение, не допускающее ни тиранических ограничений, ни противозаконного демагогического употребления слов в более широком смысле, следует как можно более ограничить количество слов. Как можно было бы без этого привести в порядок и держать в порядке бесчисленное множество двусмысленных синонимов, неопределенных слов?

«Истинное богатство языка заключается в способности выражать все посредством немногих знаков». Кажется, что мы уже слышим об устранении множества тех беспорядочно нагроможденных слов, которые романтизм восстановит и вернет потоками, в качестве живописной и пестрой клиентуры под выступами своих зданий в средневековом вкусе или у папертей своих соборов. Кажется, что Таллейран подает здесь сигнал к той борьбе, которая впоследствии возгорится между революционным классицизмом и романтизмом, на первых порах являвшимся ретроградным. «Романтизм побежден!», восклицает классик Бланки, снимая свое ружье вечером в июльские дни 1830 г.

И вот ученики Тэна, конечно, спешат заметить, что Революция является последним усилием абстрактной идеологии и что она заканчивает в языке, в идеях и в учреждениях работу упрощения и обеднения, начатую классическим духом. Пусть не торопятся. Ведь прежде всего Таллейран содрогается при мысли о вытекающих из запутанности опасностях, которым Революция подвергает язык. Она далеко не является дровосеком, срубающим своим топором плодоносные ветви, и он боится, что она свяжет с одними и теми же словами, — народ, демократия, свобода, верховная власть,—слишком много различных значений, происхождение которых вызывает беспокойство. Он боится, что в одном и том же слове сливаются значения буржуазные, законные, конституционные, и значения популярные, демократические, демагогические, анархические. Итак, Революция до такой степени не является причиною обеднения, что революционная буржуазия боится, что сложная и деятельная жизнь слов так же обгонит и опередит ее, как и деятельная и сложная жизнь самого народа. Таллейран принимает предосторожности против избытка революционного богатства и чрезмерного демократического роста.

К тому же, если ему кажется, что политический словарь должен быть строго определенным, он чувствует также, что Революция, воодушевляемая всеми силами национальной жизни, должна воскресить многие народные и свободные слова, устраненные классическою сухостью; в этом отношении он является романтиком, если я могу позволить себе употребить это название, говоря об эпохе, предшествующей его появлению. Романтиком же он является и тогда, когда он желает, чтобы французский язык стал доступен влиянию других, новых языков, когда он желает обогатить его всем содержанием сильных языков, всеми образами, рисуемыми сильными народами.

«Наш язык, — говорит он (и это является для него основным утверждением, формулировку которого он сам подчеркивает), — утратил большое количество выразительных слов, устраненных скорее слабым, чем утонченным вкусом: следует вернуть ему эти слова! Древние языки и некоторые из новых богаты сильными выражениями, смелыми оборотами, вполне соответствующими нашим новым правам; следует усвоить их; французский язык страдает от множества двусмысленных и синонимических слов, несмелых и растянутых конструкций, пустых и рабских выражений; нужно освободить его от них».

Это вся лингвистическая программа Гюго. Члены Учредительного Собрания желали закрыть лексикон и синтаксис Революции для Робеспьера, который, как

им казалось, искажал смысл слов и украдкой придавал им двусмысленные значения, служившие приманкою для толпы. Но они призывали к себе Гомера, Лукреция, Тацита, Раблэ, Монтэня, Шекспира, Шиллера, Гете и Клопштока, и они искали красок и образов во всех языках и во всех эпохах для великого обновления жизни.

Романтизм берет свое начало в Революции и, после кратковременной ошибки, он открыл в ней свой глубокий источник. Бесцветный и слабый язык не мог передать, даже после бури, страсти и мечты в высшей степени возбужденного общества. И если Таллейран желал удивительно точного и ясного языка для управления человеческими обществами, то он столь же ясно понимал, что даже в пределах Конституции, совершенно новая, кипучая жизнь требовала пламенных и сильных слов, в которых отражалось бы всякое проявление энергии, в которых выражались бы горячие следы вековой работы.

Подобно тому, как в этот период буржуазная Революция ограничивалась привилегией активных граждан, но все-таки,—призывая миллионы людей к участию в верховной власти, она соприкасалась с народной жизнью,—и литературная и лингвистическая точка зрения Таллейрана придавала смыслу политических слов буржуазное содержание, но она, принимала широкую, кипучую, народную и оживленную жизнь нового времени. Несколько холодное здание Конституции 1791 г. освещалось огнями, отражаемыми со всех сторон революционной страстью; оно освещалось и далекими отблесками античной свободы, яркими красками французского Возрождения, блестящими красотами поэзии Шекспира, отражениями немецкой меланхолии и мечтательности Вертера.

Заря, освещавшая вершины, ставшие доступными благодаря новым свободам, сияла над столькими горизонтами, что ее простейший луч, действуя на возбужденные души, разлагался на яркие и бесконечно разнообразные оттенки цветов, Таллейран соединил в своем стройном и в то же время блестящем плане классицизм и романтизм. Его доклад является как бы странным и обширным литературным манифестом, потому что в нем выражается вся сила Революции, из которой, правда, устранены принципы абсолютной демократии.

В его взглядах на язык Революции сказывается влияние двух, повидимому, противоположных тенденций, которые, впрочем, боролись между собой во всей Революции. Он мечтает, вслед за Лейбницем, об универсальном языке, который облегчал бы сношения между всеми людьми, а в то же время он хочет собрать во французском языке все богатства других народов, богатства слов, ощущений и образов, подчинив их духу французского языка, расплавив и преобразовав их в национальном горниле.

Таллейран понимает историю, как поучение, как пример, и благодаря этому он в самом деле упрощает и организует ее. Он сводит ее к изучению тех способов, которыми можно защищать свободу или подготовить ее наступление, и таким образом при изложении событий, всецело проникнутом моральными соображениями, их длинный ряд приводится в связь с Декларацией Прав Человека, как с притягивающим их к себе магнитом. «Общество должно, наконец, поощрять человека п р и м е р о м, и оно должно искать этого сильно действующего средства в и с т о р и и, потому что человек из гордости никогда не станет искать его у своих современников. Какая история окажется достойной того, чтобы выполнить это нравственное намерение? Конечно, ни одна из существующих: в дошедших до нас остатках истории древних содержатся отрывки, ценные для свободы; но это лишь отрывки; они слишком далеки от нас, их не оживляет никакой национальный интерес, и наше долгое порабощение слишком приучило нас причислять их к вымыслам. Наша история в том виде, как она изложена, почти везде оказывается лишь из'явлением раболепной покорности злоупотреблениям, она является трудом слабых, писавших под надзором тиранов и часто под их диктовку; но та же самая история, в том виде, как ее понимают в на-

стоящее время, может стать неисчерпаемым запасом возвышеннейших моральных поучений.

«Пусть отныне, сделавшись достойною своего высокого назначения, она станет историей народов, перестав быть историей небольшого числа начальников; пусть, вдохновляясь любовью к людям, глубоким сочувствием к их правам, святым уважением к их несчастьям, она изобличает излагаемые в ней преступления, пусть, избегая унизительной лести, не делаясь из неосновательного страха соучастницею преступлений, она нападает даже и на знаменитость всякий раз, когда последняя не является добродетельною; пусть, благодаря ей, тем, кто мужественно служил человечеству, будет обеспечена неистощимая признательность, а всех тех, кто пользовался своею силою лишь для того, чтобы вредить, постигнет вечный позор; пусть она не ищет во множестве обозреваемых ею фактов прав человека, которых там, конечно, вовсе не оказывается; но пусть она ищет и открывает там те средства защищать эти права, которые всегда можно найти там; для этого пусть она, жертвуя тем, что время должно уничтожить и от чего не останется никаких следов, всем тем, что не имеет никакого значения с разумной точки зрения, ограничивается указанием всех шагов, всех усилий, клонящихся к добру, к социальному усовершенствованию, которыми ознаменованы столь многие эпохи, и разоблачением тех многочисленных заговоров всякого рода против человечества, которые составлялись с такою настойчивостью, так глубоко обдумывались и осуществлялись с таким возмутительным успехом; словом, пусть к рассказу о том, что было, всегда примешивается энергическое чувство, вызываемое тем, что должно было быть; благодаря этому история сокращается и возвышается; она перестает быть бесплодною выдумкою; она становится моральной системой; прошлое приводится в связь с настоящим, и, выучиваясь жить в умерших, мы для счастья людей извлекаем пользу даже из долгого опыта, свидетельствующего об ошибках и о преступлениях».

Это чисто моральное понимание истории, при котором вся она рассматривается исключительно с точки зрения французской Революции, очевидно, является в некоторых отношениях неестественным и узким. История является поучением, но она же является и зрелищем, ярким проявлением человеческих страстей и великой драмы жизни. При чем «моральная система» в удивительных картинах варварского стана, нарисованных Шатобрианом, и кто пожелал бы уничтожить эти картины? Кроме того, сводить драму истории к борьбе добра и зла, благодетелей человечества и людей, являвшихся преступниками по отношению к нему, неестественно. Человечество медленно выходит из хаоса животных страстей, и часто сила оказывалась необходимою для укрощения и дисциплинирования силы; нельзя применять понятий, соответствующих кроткой морали и праву и извлеченных из рассмотрения недавних эпох человеческой жизни, к прошлому, ко всему прошлому, без ужасного искажения этого прошлого. И как пользоваться для нового времени даже теми примерами доброты, гуманности, которые можно найти в далеком прошлом? Нам приходится действовать при совершенно иных условиях; итак, великое вдохновение энтузиазма и гордости может доходить до нас из глубокой древности, но оно является смутным и неопределенным, оно волнует нас, но не руководит нами. Наконец, ход истории определяется не только действиями людей; у учреждений есть своя логика, климаты оказывают необходимое влияние; великие столкновения народов и рас вызывают неизбежные последствия, и странно, что Таллейран забывает *Опыт о нравах* Вольтера и *Дух законов* Монтескье. Но, несмотря на все это, это моральное и революционное понимание истории было плодотворно. Заинтересовавшись таким образом уже не славою начальников, а страданиями народов, историк непременно начи-

пает тщательно изучать последовательные изменения в условиях человеческой жизни, нравы, учреждения; а сила моральной страсти вызывает жизненность и яркость изложения. Все великие французские историки XIX века, даже те из них, которые преимущественно являлись художниками и поэтами, делали из истории моральную и политическую систему. Огюстен Терри, ярко выразивший характер варварских эпох, в то же время понимал историю как медленный рост третьего сословия и его пришествие. Мишле отождествился с самою душою Франции, которую он признавал единою силою, непрерывно и страстно стремившейся к свободе. Итак, с точки зрения Революции, несмотря на ее несколько абстрактный моральный идеализм, история заключала в себе принцип страсти, которому предстояло вызвать плодотворнейшее развитие идей, и та же сила, тот же пыл, которые призывали живые массы к свободе, должны были оживить и мертвые массы.

Доклад Таллейрана является прекрасным идейным завещанием, оставленным Учредительным Собранием Законодательному Собранию. У Учредительного Собрания не было времени заняться его обсуждением, но оно одобрило этот доклад и постановило, что он будет роздан членам нового Собрания. Кондорсе получил светоч из рук Таллейрана, и пламя вдруг запылало еще сильнее и ярче. По различию между докладом Таллейрана, прочитанным в Учредительном Собрании в сентябре 1791 г., и докладом Кондорсе, прочитанным в Законодательном Собрании в апреле 1792 г., можно судить о быстрых успехах Революции, демократии и свободной мысли.

Подобно Таллейрану, Кондорсе желает, чтобы образование было всеобщим, чтобы каждому был обеспечен некоторый минимум знания, над которым будут возвышаться более глубокие познания. Подобно Таллейрану, он не хочет, чтобы человеческий дух мог порабощаться, и он предвидит его бесконечное развитие, но он говорит и о равенстве в деле воспитания и о способности человеческого рода к бесконечному совершенствованию глубокомысленнее и более решительным тоном, чем Талейран. «Мы думали, что при составлении этого плана общей организации нам прежде всего следовало заботиться о том, чтобы, по мере возможности, сделать образование, с одной стороны, как можно более равным и всеобщим, а с другой стороны, как можно более полным; что следует давать всем одинаково такое образование, которое можно сделать доступным для всех, но не отказывать никакой части граждан в высшем образовании, которое не может стать уделом всех, ввести первое, потому что оно полезно для лиц, получающих его, а второе потому, что оно полезно даже и для тех, кто его не получает».

«Так как главное условие всякого образования состоит в том, чтобы учить только истинам, то учебные заведения, назначенные для этого общественною властью, должны быть как можно более независимы от всех политических властей. *Однако эта независимость не может быть безусловною*, а *поэтому из того же принципа вытекает, что их следует поставить в зависимость лишь от Собрания народных представителей, потому что из всех властей оно является наименее подкупным, наиболее далеким от увлечения частными интересами, наиболее доступным влиянию общего мнения просвещенных людей*, а, *главным образом, потому, что именно от него необходимо исходят всякие изменения, и вследствие этого оно наименее враждебно успехам просвещения, всего менее противится тем улучшениям, которые эти успехи должны вызвать*».

«Наконец, мы заметили, что образование, получаемое людьми, не должно прекращаться по окончании ими школы, что его следует давать людям всех

возрастов, что нет такого возраста, для которого учение не оказывалось бы полезным и возможным, и что это дополнительное образование тем необходимее, чѣм недостаточнее было образование, полученное в детстве. Это является даже одною из причин нынешнего невежества бедных классов общества; у них было еще менее возможности сохранить выгоды, доставляемые начальным образованием, чем получить его.

«Мы не желали, чтобы отныне хотя бы один человек в государстве мог сказать: «закон обеспечил мне полное равенство прав, но мне не дают возможности узнать их. Я должен зависеть только от закона, но вследствие своего невежества я завишу от всего меня окружающего. Правда, в детстве меня выучили тому, что мне нужно было знать, но я был вынужден работать для того, чтобы существовать, а поэтому я скоро забыл эти первоначальные сведения, и мне остается лишь с сожалением чувствовать, что в моем невежестве виновата не природа, а общественная несправедливость».

«Мы полагали, что общественная власть должна сказать бедным гражданам: «состояние ваших родителей было таково, что вы могли приобрести лишь необходимейшие познания; но вам обеспечивают легкие способы сохранить и расширить их. Если природа одарила вас способностями, то вы можете развить их, и они не пропадут ни для вас, ни для отечества.

«Итак, образование должно быть всеобщим, т.-е. все граждане должны получать его. Оно должно быть даваемо вполне равномерно, поскольку позволяют необходимые пределы расходов, распределение людей на территории и бо́льшая или меньшая продолжительность времени, которое дети могут уделять для него. Оно должно на своих различных ступенях обнимать всю систему человеческих познаний и обеспечить людям всех возрастов возможность сохранять свои познания и приобретать новые.

«Наконец, никакая общественная власть не должна иметь возможности ни силою, ни даже оказываемым ею влиянием препятствовать развитию новых истин, изложению при преподавании таких теорий, которые противоречат ее особой политике или ее кратковременным интересам».

Очевидно, вопрос о том, кто будет заведывать национальным образованием, всего более тревожит Кондорсе. С одной стороны, конечно, нужно вмешательство нации, она строит школы и платит учителям, она обязана давать всем гражданам образование и воспитание и она не может быть вполне безучастною к образованию, даваемому от ее имени. Но, с другой стороны, если общественные власти, кратковременные органы национальной воли, полагают, что в их интересах стеснять выражение истины, то неужели же следует оставлять ее без защиты от них? Из самой постановки этой задачи вытекает невозможность ее безусловного решения. Как бы ни была сложна система гарантий, придуманных для обеспечения индивидуальной свободы учителя, беспредельной свободы развивающейся науки таким образом, чтобы не разрывалась связь национального образования и самой нации, в ней всегда окажется какое-нибудь слабое место. По правде говоря, главным образом, обычаи, развивающиеся при умственной свободе, повсюду развитое чувство достоинства науки и права, мысли, отнимут как у общественных властей охоту стеснять выражение истины, так и у учителей охоту, не ограничиваясь тем, чего требует сила истины, унижать власти, у которых они находят уважение к свободе. Кондорсе предлагает, чтобы для двух первых ступеней образования учителя назначались преподавателями учебных заведений высшей ступени, муниципалитетами и отцами семейств. Высшее Национальное Общество Наук и Искусств, которое мы теперь называем Институтом, будет само пополнять свой личный состав, и профессора учебных заведений, ныне называемых высшими, будут избираться путем конкурса, назначаемого этим Обществом Наук и Искусств.

Итак, Кондорсе, если так можно выразиться, предоставляет для первых ступеней образования больше влияния нации, политическим властям: муниципалитеты, политические власти призваны играть значительную роль при назначении учителей, и для начальных школ проект декрета точно определяет, что «учебные книги будут составляться по наилучшей учебной методе, указываемой успехами науки и согласно принципам свободы, равенства, чистоты нравов и преданности общественному делу, освящаемым Конституцией».

Наоборот, для высшей ступени, соответствующей тому, что мы называем в настоящее время Институтом и высшим образованием, ученые будут, так сказать, сами пополнять свой личный состав, подвергаясь лишь контролю просвещенного общественного мнения Европы, при чем остается не вполне выясненным, ка́к в это могли бы вмешаться «представители нации». Относительно этого пункта проект Кондорсе вызовет неопреодолимое сопротивление, и в самом деле, кажется, что он лишает нацию власти, предоставляя ее академической олигархии, которая может стать исключительною и нетерпимою. Относительно этого вопроса трудно установить, каким путем можно достигнуть равновесия. Две мысли одушевляли Кондорсе. Во-первых, он знал не только науки, но и историю наук; он знал их развитие, их непрерывную борьбу против гнетущих и темных сил, и он не желал, чтобы интерес кратковременного политического учреждения, в его определенной форме, как всякого учреждения, мог временно препятствовать вечному движению мысли. А во-вторых, при том положении дел, с которым должна была считаться Революция в 1792 г., Революции уже не приходилось бояться обучения со стороны церкви, так как конгрегации были уничтожены и церковь была подчинена закону о народных выборах. Но Революция могла бояться того, что королевская исполнительная власть, злоупотребляя страшною прерогативою, предоставленною ей Конституцией, постаралась бы остановить умственное развитие, например, навязать, как неизменный догмат, veto, или даже королевскую власть. И как мог великий философ допустить, чтобы Конституция представлялась детям как законченный памятник в то самое время, когда демократы намеревались изменить Конституцию? Кондорсе должен был излагать свой проект организации учебного дела в то самое время, когда Революция беспокойно предчувствовала близкие преобразования. Этим об'ясняется, что в своем плане Кондорсе преимущественно заботится о том, чтобы прежде всего охранять свободу критики, беспредельную способность человеческой мысли к движению вперед, вечную текучесть идей и фактов.

«Ни французская Конституция,—решительно говорит Кондорсе,—ни даже Декларация Прав не будут представляемы ни одному классу граждан, как ниспосланные с неба скрижали, которым следует поклоняться и в которые следует веровать. В основе их энтузиазма не будут лежать предрассудки, детские привычки. Можно будет сказать им: «эта Декларация Прав, из которой вы знаете как то, что вы обязаны делать для общества, так и то, чего вы в праве требовать от него, эта Конституция, которую вы должны поддерживать, не щадя своей жизни, является лишь развитием тех простых принципов, предписываемых природою и разумом, которые вы в раннем детстве научились признавать вечно истинными. Пока будут существовать люди, не повинующиеся исключительно разуму, но заимствующие свои мнения от других, не принесло бы пользы и то, что были бы сброшены все оковы,

что эти несамостоятельные мнения являлись бы полезными истинами, род человеческий все-таки оставался бы разделенным на два класса,—на людей рассуждающих и на людей верующих, на господ и рабов».

Чудный идеализм, прежде всего приписывающий рабство или свободу самому духу, смотря по тому, способен или не способен он оправдать пред самим собою свое верование.

Чудный идеализм, подвергающий самый разум критике разума, заставляющий его беспрестанно исследовать самые основы всего, будто бы опирающегося на него общественного строя.

Но недостаточно напоминать о нравственных источниках Декларации Прав Человека, недостаточно сопоставлять ее с принципами достоинства, свободы, определенным выражением которых она является; следует предвидеть, что могут быть сделаны новые приложения тех же принципов, и так далее до бесконечности. А для того, чтобы государство могло спокойно дозволить распространение новых истин и при преподавании в учебных заведениях, для того, чтобы оно могло уважать свободу, так чтобы не казалось, что оно отрекается от самого себя, нация, по мнению Кондорсе, должна назначать преподавателей высших учебных заведений при посредстве национального Общества Наук и Искусств, которое само пополняет свой личный состав.

«Эта независимость от всякой посторонней власти, которую мы дали учебному делу, не может никого пугать, так как злоупотребления тотчас же исправлялись бы законодательною властью, ведению которой непосредственно подлежит вся система образования... Независимость образования составляет, так сказать, часть прав человеческого рода. Так как природа наделила человека способностью к совершенствованию, неизвестные пределы которой простираются далее всего того, что мы еще можем представить себе, даже если эти пределы существуют, так как знание новых истин является для него единственным способом развить эту счастливую способность, служащую источником его счастья и его славы, то какая же власть могла бы иметь право сказать ему: вот то, что вам нужно знать, вот та граница, где вы должны остановиться? Так как одна свобода полезна, так как всякое заблуждение является злом, то по какому же праву власть, какова бы она ни была, осмелилась бы определять; где истина, где оказывается заблуждение?

«К тому же власть, которая запретила бы излагать при обучении мнение, противоречащее мнению, послужившему основанием для установленных законов, непосредственно нарушила бы свободу мышления, противоречила бы цели всякого общественного учреждения, улучшению законов, являющемуся необходимым следствием борьбы мнений успехов просвещения...

«С другой стороны, какая власть могла бы предписать учить доктрине, противоречащей тем принципам, которыми руководились законодатели?..

«Итак, неизбежно пришлось бы или относиться к существующим законам с суеверным уважением, или допускать прямое нападение этих законов, которое, будучи совершаемо во имя одной из установленных ими главных властей, могло бы ослабить уважение граждан; так что, следовательно, остается только одно средство: безусловная независимость мнений во всем том, что превышает начальное образование. Тогда добровольное повиновение законам и указание способов исправить их недостатки, поправить заключающиеся в них ошибки будут совместно существовать, при чем уважение к закону не будет стеснять духа, не станет задерживать успехов просвещения и освящать заблуждения. Если бы нужно было доказывать примерами опасность подчинения обучения авторитетам, то мы сослались бы на пример тех народов, явившихся нашими учителями во всех науках, тех индусов, тех египтян, древ-

ним знаниям которых мы и теперь еще дивимся, у которых человеческий ум настолько прогрессировал в те эпохи, которых мы даже не можем установить, и которые впали в одурение, вызываемое позорнейшим невежеством, с тех пор как религиозная власть присвоила себе право учить людей. Мы сослались бы на Китай, где науки и искусства развивались прежде, чем у нас, и где правительство внезапно остановило прогресс уже несколько тысяч лет тому назад, сделав народное образование частью своих функций. Мы сослались бы на упадок разума и гения у римлян и у греков, наступивший сразу после того, как они достигли величайшей славы, чуть только обучение перешло из рук философов в руки священников. Будем же, имея в виду эти примеры, бояться всего того, что может затруднить свободное развитие человеческого духа. Чего бы он ни достиг, если какая бы то ни было власть остановит его движение вперед, то ничто не может предохранить даже и от возвращения грубейших заблуждений; он не может остановиться, не регрессируя, и с тех пор, как ему укажут предметы, которых ему нельзя будет исследовать и обсуждать, установление этого первого ограничения его свободы должно будет вызвать опасение, что вскоре уже не будет границ для его порабощения». (Аплодисменты.)

«К тому же сама французская Конституция делает строго обязательною для нас эту независимость. Она признала, что нация имеет неотчуждаемое и неот'емлемое право исправлять все свои законы; следовательно, она требует, чтобы все, относящееся к народному образованию, подвергалось строгому разбору. Она не установила ни одного закона, который не мог бы быть отменен по истечении десяти лет, следовательно, она требует, чтобы принципы всех законов были обсуждаемы, чтобы все политические теории могли быть излагаемы при обучении и оспариваемы; чтобы ни одна система общественного устройства не предлагалась в качестве предмета суеверного культа, принимаемого с энтузиазмом или в силу предрассудков, но чтобы все эти системы представлялись разуму в качестве различных комбинаций, из которых он имеет право выбирать; и разве стали бы уважать эту неотчуждаемую независимость народа, если бы позволили себе поддерживать какие-нибудь особые мнения всем тем влиянием, которое может оказать всеобщее обучение; и не захватила ли бы в самом деле власть, которая присвоила бы себе право выбирать эти мнения, некоторой доли национальной верховной власти?».

Следует сохранить этот чудный дух живой свободы и беспрестанного исследования; в учебном деле не должно быть ни одной идеи, которая не подвергалась бы критике, непрерывной проверке человеческим духом. В нем не должно быть ни одной запертой двери; наоборот, всякая истина, всякий ум должны быть доступны влиянию обновляющей их жизни, действующей на них и преобразующей их действительности. Не должно быть ни одного философского, политического, научного, социального догмата, и господствовать должен один разум. Всякое отдельное лицо, корпорация или государство, которые не будут понимать преподавания таким образом, всякий, кто не поставит самого духа выше своих утверждений, изменит истине, посягнет на умственное развитие.

Однако, хотя общие наставления Кондорсе удивительны, хотя для всех нас всегда обязательна эта исключительная забота об истине, нельзя утверждать,

что Кондорсе столь же несомненно нашел организацию, в самом деле наилучшим образом обеспечивающую свободу и успехи духа. Люди, пытающиеся, злоупотребляя его словами, требовать свободы преподавания для церкви, впадают в полное противоречие с его мыслью. Теоретически церковь, делающая умы неподвижными под властью своих догматов, является живым отрицанием того духа свободы, торжества которого желает Кондорсе. И я повторяю, что фактически этот вопрос даже и не ставился в эпоху Кондорсе. Католические полемисты, пытающиеся ссылаться на Кондорсе для того, чтобы поддержать закон Фаллу, делают философскую ошибку и в то же время совершают исторический подлог. Но прав ли Кондорсе, настолько же опасаясь тирании правительства, как и тирании церкви? Конечно, пример всех правительств в течение целого столетия, а именно Наполеона, Реставрации, Людовика-Филиппа, буржуазной Республики доказывает, что в учебном деле мысль часто наталкивается на запрещения и дух на преграды. Следовательно, истинная задача заключается в том, чтобы вызвать в демократии все возрастающую потребность в свободе; дать ей понять, что как в ее собственных интересах, так и для развития человечества, должна быть дана возможность излагать в государственных учебных заведениях все идеи, все доктрины под одним условием, чтоб они основывались только на разуме и действовали только на разум. Но вместо того, чтобы, если можно так выразиться, поставить вопрос о свободе внутри самого государства, Кондорсе старается бежать из государства. Он мечтает для далекого будущего о совершенно индивидуальном обучении, которым занимались бы свободные люди, ничем не связанные ни с церковью, ни с властью. Но он вполне сознает, что в настоящее время отстранение нации лишь предоставило бы свободу действий всяким суевериям и всякой тирании.

«Несомненно, наступит время, когда ученые общества, основанные властью, станут излишни, а следовательно, и вредны, когда даже всякое общественное учебное заведение станет бесполезно. Это будет такое время, когда уже не придется бояться никаких общих заблуждений, когда исчезнет влияние всех причин, благодаря действию которых интересы или предрассудки служат страстям; когда просвещение будет равномерно распространяться и во всех местностях, находящихся в одной и той же территории, и во всех классах одного и того же общества; когда все науки и все приложения наук будут одинаково освобождены от ига суеверий и от яда ложных доктрин; когда, наконец, всякий человек найдет в своих собственных познаниях, в честности своего духа оружие, достаточное для того, чтобы отвергнуть все ухищрения, к которым прибегает шарлатанство; но это время еще далеко, наша задача должна была заключаться в том, чтобы подготовить и ускорить его наступление; и, работая над созданием этих новых учреждений, мы должны были постоянно заботиться о том, чтобы поскорее наступил тот счастливый момент, когда они станут бесполезны».

Какая прекрасная мечта об индивидуализме, об умственном и научном «анархизме»! Никаких властей, заведующих обучением: ни церкви, ни государства, ни ученых обществ: истина, вытекающая из глубины всякого ума, как из источника, и возвращающаяся ко всякому уму, как в резервуар: непосредственное соприкосновение всякого ума с действительностью, при чем никакой покров, набрасываемый суевериями, никакая правительственная тирания, даже никакое обаяние чьей-либо славы не будут препятствовать взаимодействию между свободною мыслью и вселенною; знание, развивающееся самостоятельно и передаваемое одним умом другому исключительно в силу его достоинств; уничтожение

всех различий в уровне между классами так, чтобы передача истины одним умом другому совершалась без давления и принуждения, а благодаря легкому и спокойному общению, без падения, не вызывая спорных течений, без мутной накипи; это величайшая мечта о мыслящем и свободном человечестве, сообщенная одним человеком другим людям.

И в своих величественных мечтах Кондорсе призывает к свободному братству, научному и идейному общению крестьян, которые еще недавно были обременены барщиною и к которым относились с пренебрежением; великодушных, но необразованных пролетариев, живущих в предместьях; это философия, которою все всецело проникаются и которая стремится к тому, чтобы, наконец, все люди стали избранниками. Какое величие сказывается в этой надежде, в этой вере! какой возвышенный призыв к униженным не для того, чтобы их социальное унижение продолжалось при их религиозной безропотности, но для того, чтобы настолько возвысить их, чтобы выше их стояла уже только истина!

Для того, чтобы подготовить осуществление этой великой мечты, Кондорсе старается, по мере возможности, немедленно освободить истину от всех принуждений и от всех стеснений. Но при всем своем недоверии к политической власти, к правительственным учреждениям, он все же вынужден придать учебному делу национальный характер. И когда он, повидимому, освобождает высшее национальное общество, само пополняющее свой личный состав, от правительственного воздействия, у меня нет уверенности в том, что он создает благодаря этому для свободы истины такие гарантии, которые имели бы решающее значение: кастовый и кружковой дух академий, которые сами пополняют свой личный состав и которые иногда, повидимому, бывают поражены старческим бессилием, более противоречит смелым требованиям истины, чем это когда-либо бывало в государственном университете, где, несмотря ни на что, всегда стекаются новые силы. Итак, истинною задачею остается организация свободы в самом национальном обучении.

Свобода не должна служить каким-то добавлением к жизни нации, убежищем, в котором спрятались бы те, кого тиранит государство: светское государство, заведующее учебным делом, должно быть проникнуто свободою. Но недоверие Кондорсе ко всему, останавливающему развитие, его забота о том, чтобы всегда был возможен доступ к свободному развитию, подготовляющему лучшее будущее, свидетельствует о сильном порыве человеческого духа в 1792 г. Правда, Таллейран предвидел развитие общественных нук, но он не выражает, как Кондорсе, живого чувства того, что мир движется и что даже Конституция, в которой Революция резюмировала свои первые завоевания, является чем-то временным. С точки зрения Таллейрана, Революция является как бы неподвижным кораблем, с которого взор открывает широкие горизонты, к которым когда-нибудь нужно будет направиться; с точки зрения Кондорсе, Революция является движущимся кораблем, сотрясение и разбег которого возбуждают смелость духа. Но какая сила, кроме пролетариата, могла надеяться на лучшее будущее, подготовляемое новыми движениями и близкими успехами?

Подобно Таллейрану, но определеннее его, Кондорсе лишает древность как языческую, так и христианскую того первенствующего положения, которое она занимала до тех пор. Мне кажется, что Кондорсе недостаточно восприимчив к силе красоты и разума, заключающихся в греческой и в римской древности и легко и всегда могущих производить впечатление.

Но он хорошо понял, что для того, чтобы вполне понимать истинный смысл античных произведений и как следует ценить их, должно быть указано их положение в исторических рядах, они должны быть об'ясняемы и освещаемы духом времени, к которому относится их возникновение, нравами и учреждениями, в связи с которыми находится их происхождение. Он хорошо понял

и сказал, что теперь они могли служить уже не принципом воспитания, а чудным дополнением к воспитанию для тех, в ком уже выработались сознание и понимание новой жизни.

И, может быть он заслуживал бы, ввиду этого, чтобы г. Альфред Круазе причислил его к тем, кто подготовил историческое понимание и живое истолкование греческой литературы; в своем прекрасном введении г. Круазе слишком упустил из виду революционное происхождение этого исторического понимания и живого истолкования.

«Наконец, так как следует все сказать, так как теперь все предрассудки должны исчезнуть, долгое, тщательное изучение языков древних, которое потребовало бы чтения оставленных ими нам книг, было бы, может быть, более вредно, чем полезно.

«Мы стараемся при образовании научить истинам, а эти книги полны ошибок; мы стараемся развить ум, а эти книги могут ввести его в заблуждение.

«Мы так далеки от древних, мы настолько опередили их на пути, ведущем к истине, что ум человека должен быть уже вполне вооружен для того, чтобы это драгоценное наследство могло обогатить его, не вредя ему. Древние могут служить даже и образцами искусства писать, красноречия, поэзии лишь для умов, уже подкрепленных предшествовавшими занятиями. В самом деле, что же это за образцы, которым нельзя подражать, не исследуя постоянно, какие изменения в них необходимо сделать вследствие различия нравов, языков, религий? Демосфен на трибуне говорил собравшимся афинянам; декрет, которого он добивался своею речью, издавался самой нацией, и затем списки его сочинения медленно распространялись среди ораторов или их учеников.

«Здесь мы произносим речь не перед народом, а перед его представителями: и для этой речи, распространяемой путем печати, вскоре оказывается столько хладнокровных и строгих судей, сколько во Франции существует граждан, занятых общественным делом. Если увлекательное, пламенное, соблазнительное красноречие иногда может ввести в заблуждение народные собрания, то те, кого оно обманывает, могут принимать решения лишь относительно своих собственных интересов. Их ошибки вредны только им самим, но такие народные представители, которые, плененные оратором, подчинились бы действию иной силы, кроме своего ума, принимая решения относительно интересов других людей, изменили бы своему долгу и скоро утратили бы общественное доверие, являющееся единственною опорою всякого представительного образа правления. Таким образом это самое красноречие, необходимое для древних Конституций, явилось бы для нашей Конституции источником разрушительной порчи. Тогда было дозволено и, может быть, полезно возбуждать народ, а наш долг по отношению к нему требует, чтобы мы старались только просвещать его. Взвесьте все то влияние, которое изменение в форме Конституций и изобретение книгопечатания могут оказывать на правила искусства говорить, а затем решите, следует ли указывать на древних ораторов, как на образец для юношества в первые годы».

Я не знаю, удачно ли выбран пример Демосфена, у которого до такой степени преобладает сила чистого разума; но в общем, это замечание, конечно, является смелым применением исторического понимания к древним образцовым произведениям; в нем же обнаруживается и горячая вера в новое время.

«Вы должны организовать для французской нации такое образование, которое стояло бы на высоте, соответствующей требованиям XVIII века, той философии, которая, просвещая современное поколение, подготовляет и уже предваряет высший разум, к которому необходимые успехи человеческого рода призывают будущие поколения. Таковы были наши принципы, и, руководясь этой

философией, свободной от всяких оков, освобожденной от всякого авторитета, от всех старых привычек, мы выбрали и классифицировали преподаваемые предметы». Это все тот же прекрасный призыв ко всем силам мысли; это как бы сильный и ровный свет, вызывающий развитие бесчисленных зачатков и обещающий им все возрастающее блаженство к жизни.

Подобно тому, как живительное солнце ускоряет падение последних увядших листьев, вызывая распускание новых листьев, живительный свет Революции заставляет падать с дерева увядшую прежнюю пышную листву и вызывает распускание почек. Великолепная и печальная груда прежних вещей сумеет растрогать мечтательного человека: одни лишь молодые силы жизни восторжествуют в лучезарном эфире.

Но революционный прогресс во взглядах Кондорсе, по сравнению со взглядами Таллейрана ,обнаруживается в более определенных чертах, имеющих более непосредственное значение. Во-первых, план Кондорсе откровенно исключает религию из числа предметов, преподаваемых в школе. Таллейран оставлял религию в школе подобно тому, как гражданское устройство оставляло ее в государстве. Правда, он делал ее зависимой или, по крайней мере, он не подчинял ей морали. И он украдкою проводил рационалистическую тенденцию даже и в обучение в школах для священнослужителей. «Католический принцип гласит, что верование является даром бога, но выводить из этого принципа, что разум должен считать себя не имеющим отношения к изучению религии, значило бы странно злоупотреблять этим принципом, так как разум так же является даром божества и главным путеводителем, данным нам для того, чтобы, мы руководились им в наших исканиях».

Но ослабленная, стесненная, подвергнутая контролю религия все же продолжала составлять часть системы образования. От имени комитета Законодательного Собрания Кондорсе устраняет ее, обращает ее в нечто, являющееся только частным делом.

«В школах и в институтах будут учить принципам морали, которые, будучи основаны на наших естественных чувствах и на разуме, одинаково свойственны всем людям. Конституция, признавая право всякого лица избирать свой культ, устанавливая полное равенство между всеми жителями Франции, не позволяет допустить в народном образовании такое преподавание, которое, отталкивая детей части граждан, уничтожило бы равенство социальных выгод и предоставило бы особым догматам преимущество, противоречащее свободе мнений. Итак, было строго необходимо отделить от морали принципы всякой особой религии и не допускать в народном образовании преподавания никакого религиозного культа.

«Каждый из них должен излагаться в храмах своими собственными священнослужителями. Тогда родители, какова бы ни была их вера, каково бы ни было их мнение относительно необходимости той или иной религии, будут иметь возможность без отвращения посылать своих детей в национальные учебные заведения, и общественная власть не станет нарушать прав совести под предлогом ее просвещения и руководства ею.

«К тому же, разве не важно основать мораль на одних принципах разума?

«Как бы ни изменялись мнения человека в течение его жизни, эти принципы, установленные на этой основе, всегда останутся одинаково истинными; подобно ей, они всегда останутся неизменными; он противопоставит их возможным попыткам извратить его совесть, она сохранит свою независимость и свою пра-

зоту, и уже не придется с таким прискорбием видеть людей, воображающих, что они исполняют свой долг, нарушая святейшие права, и что они повинуются богу, изменяя своему отечеству.

«Люди, еще считающие необходимым поддерживать мораль определенной религии, должны сами одобрять это отделение; так как они, конечно, не ставят правильности принципов морали в зависимость от своих догматов; они только думают, что люди находят в них более сильные действующие мотивы для того, чтобы быть справедливыми, и не станут ли эти мотивы сильнее действовать на всякого человека, способного размышлять, если ими будут пользоваться лишь для подкрепления того, что уже предписывается разумом и внутренним чувством?

«Скажут ли, что идея этого отделения слишком возвышается над нынешним уровнем просвещенности народа? Конечно, нет, так как здесь дело идет о народном образовании, а следовательно, терпеть заблуждение, значило бы сделаться соучастником; не освящать истины открыто, значило бы изменять ей. И даже если бы было верно то, что из политической осторожности еще следовало бы пятнать законы свободного народа, если бы эта коварная или бессильная доктрина нашла оправдание в той глупости, которую некоторым угодно предполагать в народе для того, чтобы иметь предлог обманывать или притеснять его, то, по крайней мере, в образовании, которое должно вызвать наступление такого времени, когда эта осторожность станет бесполезною, может господствовать одна истина, и она должна всецело господствовать в нем».

Итак, по мнению Кондорсе, не только церковь должна быть отделена от школы, но это первое отделение должно ускорить полное отделение церкви от государства, полное устранение религии, которая стала бы делом индивидуальной совести и совершенно утратила бы официальный характер. В статье шестой проекта относительно начальных школ, в которой резюмированы эти смелые мысли, ясно сказано: «Закон божий будет преподаваться в храмах священнослужителями различных вероисповеданий».

После доклада Таллейрана за шесть месяцев, это является значительным освободительным усилием.

Но Кондорсе не ограничивается освобождением обучения, даже первоначального, от всякого религиозного влияния, он не ограничивается таким официальным сообщением народу, что он должен искать все принципы умственной, нравственной и общественной жизни вне религии. Он предусматривает гораздо бо́льшую продолжительность и гораздо более высокий уровень образования, чем те, которые предусматривались в докладе Таллейрана.

В проекте Таллейрана намечалась лишь одна ступень народного образования, и она была очень низка. Там должны были учиться всего лишь читать, писать, немного считать, и ребенок должен был посещать школу лишь в продолжение двух лет: он поступит в школу в возрасте от шести до семи лет и окончит ее в возрасте от восьми до девяти лет. Из всех этих детей, оканчивающих начальную школу в восьмилетнем или девятилетнем возрасте, только некоторые поступят в окружные школы, служащие их продолжением и являющиеся, в сущности, средними школами, в которых преподаются и древние языки, и которые будут доступны только для буржуазии. Таллейран прямо говорит это:

«Сверх начальных школ, в каждом округе будут основаны средние школы, открытые для всех, но тем не менее, по существу дела,

предназначенные лишь для немногих из учеников начальных школ.

«В самом деле, известно, что по окончании начального обучения, являющегося тою общею долею общественного достояния, которую общество уделяет всем, масса должна, под давлением нужды, скоро занимать первоначальное положение; что те, кто призван природою к механическим работам, поспешат (за некоторыми исключениями) вернуться в отцовский дом *или подготовиться в мастерских* и что желать заставить всех пройти разные ступени обучения бесполезного, а следовательно, и вредного для огромного большинства, было бы истинным безумием, жестокою для большинства благотворительностью».

Итак, по плану Учредительного Собрания, когда дети в возрасте от шести до восьми лет научатся читать и писать, общество перестанет заниматься ими: оно вручило им в виде весьма элементарного и скудного образования, такое орудие, которое, конечно, скоро износится или сломается до времени, когда они могли бы им воспользоваться. Общество не считает возможным пойти далее этого и далее откладывать наступление того с нетерпением ожидаемого момента, когда крестьянская семья будет иметь возможность располагать ребенком для земледельческих работ, или когда рабочая семья получит возможность приучать ребенка к промышленному труду или в мелких домашних мастерских или на заводах.

План Таллейрана показывает, что Учредительное Собрание не задавалось широкими стремлениями в деле народного образования. В то же время мы узнаем из этого плана, что отцы и матери, нетерпеливо желавшие, чтобы ребенок поскорее принимал участие в промышленном производстве, и проявлявшие жадный эгоизм, уже подстерегали ребенка с восьмилетного возраста и, несомненно, настоятельно требовали его.

Комитет Законодательного Собрания, представителем которого является Кондорсе, желает сделать более этого для бедных детей и в особенности для детей рабочих. Проект Кондорсе предусматривает две ступени народного обучения: во-первых, начальную школу, которую он так и называет; затем под именем «школы второй ступени» то, что мы теперь называем «высшим начальным училищем».

В школе первой ступени, в начальной школе в собственном смысле слова, которую все должны окончить, обучение продолжается уже не два года, как предполагалось по плану Учредительного Собрания, а четыре года:

«Статья 3. — Курс начальных школ будет разделяться на четыре отделения, которые ученики должны будут оканчивать одно за другим».

Они не могут поступать в школу до шестилетнего возраста, так что дети остаются в начальной школе от шести до десятилетнего возраста. Правда, в законе не упоминается об обязанности посещения школы. Революция боялась, что может показаться, что она посягает на индивидуальную свободу, и опасалась вызвать сопротивление семейств.

Таллейран откровенно устранил в своем докладе всякую мысль об обязательности, которая предписывалась бы законом: «Нация предлагает всем великое благодеяние, заключающееся в образовании, но она не навязывает его никому. Она чувствует, что всякая семья является также и начальною школою, во главе которой стоит отец... Она полагает, она надеется, что в семьях мало-помалу восторжествуют правильные принципы и что они вызовут там исчезновение всякого рода предрассудков, вредящих домашнему воспитанию; итак, она будет уважать вечные отношения, устанавливаемые Природою, которая, возлагая на родительскую нежность попечение о счастии детей, представляет отцу решать вопрос о том, что для них наиболее важно... Она предохранит себя от заблу-

ждений той суровой республики (Спарты), которая затем оказалась вынужденною расторгнуть семейные узы». Да, но если «родительская нежность» лишает ребенка всякого образования, всякого просвещения? К чему послужит то, что нация сделала образование «доступным для всех», если отец и мать не хотят, чтобы их ребенок получил его, если они не дают ему пользоваться общим светом? Замечу, что Кондорсе совершенно умалчивает об обязательности. Как будто он обходит эту затруднительную задачу и, после доклада Таллейрана, это молчание Кондорсе знаменательно. Повидимому, он даже не хочет допускать возможности того, чтобы варварство семейств лишало детей образования, организованного для них нацией, и он так настойчиво повторяет, что оно должно быть всеобщим, что он, несомненно, надеется на то, что сила обычаев восполнит пробел, оставляемый молчанием законов относительно этого пункта. Итак, все дети будут посещать начальные школы уже не только до восьмилетнего, а до десятилетнего возраста. Кондорсе откладывает их поступление в мастерские уже не до восьмилетнего, а до десятилетнего возраста. «Этот четырехлетний период времени, делающий возможным деление, представляющееся удобным для школы, в который может заниматься лишь один учитель, так же довольно точно соответствует продолжительности времени, протекающего для детей беднейших семейств, между тою эпохою, когда они могут начать учиться, и тою эпохою, когда они могут заняться полезным трудом, когда может начаться их регулярное обучение ремеслу». В течение этих четырех лет «в сельских школах научат читать и писать. Дети выучат правила арифметики, они получат первоначальные, моральные, естественнонаучные и экономические сведения, необходимые для сельских жителей. Те же самые предметы будут преподаваться и в начальных школах, находящихся в местечках и городах; но будут менее настаивать на приобретении сведений, относящихся к земледелию, и более на приобретении сведений, относящихся к искусствам и торговле».

Сразу можно видеть, что эта программа гораздо обширнее программы Таллейрана. Но Кондорсе не останавливается на этом, по крайней мере, для городского населения. Он не считает возможным пойти далее этого в сельских школах, конечно, прежде всего, в виду расходов, а также, может быть, еще и потому, что ему кажется трудным, чтобы вдали от городов, вдали от наиболее ярких центров научного просвещения и новой жизни, сама собою развивающаяся любознательность детей и добрая воля семейств шли значительно далее этого первого усилия.

Но для населения, состоящего из рабочих, ремесленников, мелких торговцев, Кондорсе надеется достигнуть лучшего и требует большего; и он предусматривает в городах основание школ второй ступени, повидимому, назначенных как для мелкой ремесленной и торговой буржуазии, так и для рабочего класса, или, по крайней мере, для его отборной части, страстно любящей учение.

«Средние школы, основанные в городах, составят вторую ступень. Там будут учить тому, что необходимо для того, чтобы занимать общественные должности и выполнять общественные функции, не требующие ни обширных познаний, ни специальной подготовки». А именно, в средних школах будут проходить:

«Во-первых, грамматические правила, необходимые для того, чтобы правильно говорить и писать; историю и географию Франции и соседних стран.

«Во-вторых, правила механических искусств, практические основания торговли, рисование.

«В-третьих, будут выяснять важнейшие вопросы нравственной жизни и общественной науки с об'яснением главных законов и правил относительно заключения условий и договоров.

«В-четвертых, будут давать элементарные уроки математики, физики и естественной истории, относящиеся к искусствам, к земледелию и торговле.

«В средних школах, в которых будет несколько преподавателей, можно будет преподавать один из иностранных языков, а именно тот, который наиболее полезен в данной местности.

«Курс учения будет разделен на три отделения, которые ученики окончат одно за другим».

Итак, дети будут поступать в эти школы в десятилетнем возрасте по окончании «начальной» школы и посещать их до тринадцатилетнего возраста, и программа курса, проходимого этою отборною частью народа, повидимому, соответствует как высшим курсам, проходимым в наших нынешних начальных школах, так, в то же время, и некоторым частям курсов наших высших начальных школ и наших коммерческих и профессиональных школ первой ступени. Кондорсе хочет открыть исход для всей рабочей и ремесленной интеллигенции и способствовать ее усилению. Как согласить с принципами, или, по крайней мере, с формулами равенства этого рода привилегию более высокого народного образования, предоставленную городам? Кондорсе приводит—и это доказывает, что он очень хорошо понимал смысл эволюции промышленности—очень возвышенное и благородное основание, а именно, он указывает на то, что в полевых работах бывают передышки, позволяющие крестьянину, если он хочет, развиваться и читать; что, к тому же, этот разнообразный и многосторонний труд уже сам по себе является упражнением умственных способностей и что, наоборот, в мастерских все возрастающее разделение труда подвергало бы рабочего опасности дойти до некоторого автоматизма, если бы бо́льшая энергия, развивающаяся благодаря начальному обучению, не являлась противодействием.

«У земледельцев бывают в течение года передышки, при чем они могут уделить часть свободного времени для образования, а ремесленники лишены этого рода досуга. Итак, польза, приносимая добровольными занятиями в уединении, уравновешивает для одних ту выгоду, которую другие извлекают из более продолжительного посещения уроков, и с этой точки зрения равенство все-таки скорее сохраняется, чем уничтожается, благодаря основанию средних школ.

«Далее, по мере того, как мануфактурное производство совершенствуется, его операции все более и более подразделяются или в нем беспрестанно обнаруживается тенденция к тому, чтобы всякий индивидуум занимался только чисто механическим трудом, сведенным к небольшому числу простых движений. Он лучше и скорее выполняет эту работу, но он делает это лишь в силу привычки, и при таком труде его ум совершенно перестает действовать. Таким образом усовершенствование искусств стало бы для части человеческого рода причиною тупости, создало бы в каждой нации класс людей, неспособных стать выше грубейших интересов, вызвало бы в ней унизительное неравенство и возбудило бы опасную ненависть, если бы более продолжительное обучение не давало лицам этого класса средства против неминуемого действия их ежедневных занятий».

Итак, великий человек желает спасти мысль рабочих. Он видит, что для рабочего пролетариата начинается длинный мрачный период промышленного труда, становящегося механическим, что рабочий пролетариат увязнет и заблудится там, и он хочет заранее в эту ночь, полную однообразного и притупляющего труда, широко распространить просвещение XVIII века: трогательная встреча энциклопедии и пролетариев, чудное гуманное усердие науки, стремящейся исправить для всякого ума действия созданного ею промышленного механизма. Сперва сделайте ум человека достаточно сильным, достаточно живым, обогатите его достаточным количеством разнообразных образов для того, чтобы он мог без опасности подвергаться продолжительному действию ремесла, ставшего однообразным. Увы, осуществление этой возвышенной мечты будет, по меньшей мере, отложено, и наука будет показывать нескольким поколениям рабочих, подавленных мраком, только свою темную сторону. Когда же, наконец, им от-

кроется вся ее светлая сторона? Но кому же не ясно, что великая мысль Кондорсе, резюмирующая возвышеннейшие надежды философии, вызвана также силою пролетариев, очевидно, все увеличивающеюся с 1789 г. до 1792 г., по мере усиления Революции? Сам он, несравненный оптимист, мог мечтать об этом стремлении всех подняться от глубокого невежества к просвещению только потому, что в течение нескольких лет все возвысились, перейдя от недавнего глубокого бессилия и бездействия к действиям. Я вижу в ясности философского просвещения отблеск пламенных взоров и в этом ярком свете, освещающем те горизонты, которые откроются в будущем, влияние революционного пыла. Тот же самый Кондорсе, уже требовавший в 1790 г. в городской думе избирательного права для всех, теперь, в Законодательном Собрании, требует, чтобы все получили возможность мыслить.

Он не ограничивается тем, что, по его плану, дети должны посещать школу в течение более продолжительного времени, чем предусматривало Учредительное Собрание. Он стремится к тому, чтобы дело обучения продолжалось в течение всей жизни. Прежде всего, «в каждый воскресный день преподаватель будет устраивать публичную конференцию, на которой будут присутствовать граждане всех возрастов. По нашему мнению, посредством этих конференций можно сообщать молодым людям те необходимые познания, которые, однако, не могли составлять часть их первоначального образования. При этом будут подробнее излагаться принципы и правила нравственности, а также те национальные законы, незнание которых помешало бы гражданину узнать свои права и пользоваться ими».

«...Не следует умалять просветительное значение еженедельных конференций, которые предполагается устраивать для этих двух первых ступеней (начальных и средних школ). В продолжение 40 или 50 уроков в год можно сообщить много сведений, важнейшие из которых в конце концов, благодаря ежегодному повторению, вполне понятны и усвоены, так что уже нельзя будет забыть их. В то же время на остальных уроках будет излагаться все новый материал, так как они будут посвящены или ознакомлению с новыми приемами в земледелии или в механических искусствах, с наблюдениями, с новыми замечаниями, или изложению общих законов по мере их обнародования, сообщениям о действиях правительства, представляющих общий интерес. Это поддержит любознательность, увеличит интерес к этим урокам, разовьет общественный дух и склонность к занятиям.

«Не следует опасаться того, что серьезность этих уроков оттолкнет от них народ. Для человека, занятого физическим трудом, один отдых является удовольствием и легкое напряжение ума является истинным успокоением; для него это имеет такое же значение, какое телесные движения имеют для ученого, предающегося занятиям, требующим сидячей жизни, а именно, средство избежать притупления тех из его способностей, которые недостаточно упражняются при его обычных занятиях.

«Сельский житель, городской ремесленник не станут пренебрегать сведениями, раз они узнают приносимую ими пользу благодаря своему опыту или опыту своих соседей. Если сначала их будет привлекать одно любопытство, то вскоре их будет удерживать интерес. Суетность, отвращение к серьезным предметам, пренебрежение к тому, что только полезно, не являются пороками бедных людей; а эта мнимая тупость, порождаемая порабощением и унижением, скоро исчезнет, когда свободные люди найдут возле себя средства, дающие им возможность сбросить с себя последние и позорнейшие из своих оков».

Но даже сверх начальных и средних школ, в которых дается народное образование в собственном смысле слова, Кондорсе предусматривает еще и постоянное общение между наукою и жизнью. В каждом департаменте будет открыто учебное заведение, которое Кондорсе называет институтом, и которое соответствует нашим нынешним лицеям. И там профессора также должны будут раз

в месяц читать публичные лекции; мало того, аудитории будут открыты не только для учеников, но и для добровольных слушателей, желающих пополнить свое образование. Таким образом истина должна быть всегда доступна для всех граждан. Как граждане, так и солдаты должны развивать свой ум и свою свободу. «В городах, в которых находятся гарнизоны, можно будет поручать преподавателям военного искусства устраивать для солдат еженедельные конференции, главною целью которых будет изложение военных законов и уставов, старание выяснить им дух и мотивы этих законов и уставов, потому что подчинение солдата дисциплине уже не должно отличаться от подчинения гражданина закону; оно должно также быть сознательным и предписываться разумом и любовью к отечеству, прежде чем его потребовали бы силою под страхом наказания».

Наконец, и это является последнею из тех черт, которыми план Кондорсе отличается от плана Таллейрана, между тем, как Таллейран сосредоточивал в своем Национальном Институте, организованном в Париже, всю высшую науку и все высшее образование, Кондорсе, учреждая на вершине свое Национальное Общество Наук и Искусств, предусматривает, под именем лицеев, несколько центров, несколько очагов того, что мы называем теперь высшим образованием, факультетами или университетами. Таким образом возвышенная и свободная наука будет распространяться по всей Франции из Дуэ, из Страсбурга, из Дижона, из Монпелье, из Тулузы, из Пуатье, из Ренна, из Клермон-Феррана, как и из Парижа; от скромного освещения в деревушке до великого центрального источника света будут распределены промежуточные центры исследований и знаний, и до всякого ума всегда будет доходить луч света.

Вот план Кондорсе и Законодательного Собрания, более широкий, более популярный, более гуманный, чем план Таллейрана и Учредительного Собрания. Конечно, Кондорсе даже не предвидит коммунистического общественного строя, при котором установится полное равенство, и развитие всякого ума будет определяться не его социальными силами богатства, а его природными силами понятливости и усердия, пенсии же, позволяющие даровитейшим получать высшее образование, не устраняют этого основного неравенства. Кондорсе не думает об его устранении. Но он верит, что широкое распространение просвещения, по крайней мере, смягчит неравенство.

«Для благосостояния общества важно дать бедным классам, которые оказываются наиболее многочисленными, средство развить свои способности: это является средством не только обеспечить для отечества существование большего количества граждан, способных служить ему, и для наук существование большего количества людей, способных содействовать их успехам, но еще и средством уменьшить неравенство, порождаемое различием состояний, смешать друг с другом классы, к обособлению которых клонится это различие. Природа не устанавливает в обществе иного неравенства, кроме неодинаковости образования и богатства и, распространяя образование, вы разом ослабите действия этих двух причин разделения. Преимущество образования, будучи менее исключительно связано с преимуществом богатства, станет менее ощутительным и уже не может оказываться опасным; преимущество, достающееся человеку, родившемуся богатым, будет уравновешиваться равенством, даже превосходством знаний, которого, естественно, должны достигать люди, у которых больше мотивов, побуждающих их приобретать эти знания».

Смешать между собою классы: при всей возвышенности идеала Кондорсе для того времени, он не идет дальше этого. Однако новый прогресс справедливости выяснит человеческой мысли, что их следует вовсе не смешивать друг с другом, а уничтожить. Кондорсе может надеяться даже и на

это смешение лишь для некоторых элементов двух классов, потому что каким же образом все бедные, не имеющие средств для продолжительного образования, получат возможность превосходством знаний вознаградить себя за то, что они менее богаты? Несмотря на все это, Кондорсе, великий друг Тюрго и Вольтера, благородный наследник науки и философии XVIII века, призывает весь народ к этому началу просвещения и побуждает его подняться на высоты мысли. Как мог бы народ не почувствовать себя более сильным для революционной работы, питающим большее доверие к самому себе после этого возвышенного призыва? Таким образом как бы совершался обмен силами и взаимным доверием между философией и пролетариями. Усиление народа, принимавшего участие в деятельности, способствовало расцвету возвышенной мечты о всеобщей науке, которой предавались энциклопедисты, и эта возвышенная мечта сама усиливала гордость народа, его стремление к деятельности.

Но, принимая все более и более деятельное и сильное участие в защите свободы и родной земли, народ также укреплял свою силу и расширял свое право на Революцию. Как могло долго устоять политическое различие между активными и пассивными гражданами, когда пассивные граждане, которых философия призывала к просвещению, кроме того, и сами вызывались отразить иностранцев? Сила их великодушия, деятельности и мужества сразу раздвигает легальные рамки, установленные буржуазной Революцией. Когда Учредительное Собрание, после от'езда короля в Варенн, могло опасаться внезапного нападения иностранцев, когда миролюбивое и великое Собрание, об'явившее, что Франция навсегда отказалась от всяких завоевательных войн, и полагавшее, что оно обезоружило недоверие народов и королей, было вынуждено импровизировать меры национальной защиты от вероломства Людовика XVI и от вероятного соучастия монархической Европы, оно, однако, не решилось приступить к рекрутскому набору и насильно вербовать солдат из французской молодежи; оно удержало принцип добровольного поступления в солдаты, имевший главное значение в законе, предложенном в январе 1791 г. Александром Ламетом и обнародованном 12 июня, предписывавшем организацию вспомогательных войск численностью в сто тысяч. Но, под впечатлением опасности, оно прямо обратилось с призывом к национальным гвардейцам королевства, умоляя их поступать добровольцами для спасения отечества и свободы.

Прежде всего обращение к национальным гвардейцам, предоставление каждому батальону заботы о составлении списка добровольцев, поступавших в солдаты, означало призыв к величайшей организованной революционной силе как военной, так в то же время и гражданской. Это значило также призывать к защите родной земли наиболее стойкие, наиболее консервативные силы, обеспечившие буржуазию как от домогательств и волнений пролетариев, так и от нападений сторонников старого режима. В этом духе были изданы два декрета от 21 июня 1791 года. Первый предписывал «парижским гражданам быть готовыми действовать для поддержания общественного порядка и для защиты отечества».

Второй постановлял:

«Статья 1. — Национальная гвардия королевства будет приведена на военное положение, согласно распоряжениям, изложенным в нижеследующих статьях.

«Статья 2. — Департаменты: Нор, Па-дэ-Калэ, Эна, Арденнов, Мозеля, Мерты, Нижнего-Рейна, Верхней-Соны, Дуба, Юры, Вар выставят такое число национальных гвардейцев, которого требует их положение и которое им может позволить выставить количество живущего в них населения.

«Статья 3. — Каждый из остальных департаментов выставит от двух до трех тысяч, города же могут прибавлять к этому количеству столько человек, сколько им позволит выставить количество живущего в них населения.

«Статья 4. — Вследствие этого всякий гражданин и сын гражданина, способный к военной службе, который пожелает поднять оружие для защиты государства и сохранения Конституции, запишется, немедленно после обнародования этого постановления, в своем муниципалитете, который отправит затем список зарегистрированных к комиссарам, которых Директории департаментов назначат или из числа членов генерального совета, или из других граждан, для того чтобы приступить к формированию отрядов.

«Статья 5. — Зарегистрированные национальные гвардейцы будут распределены по батальонам, каждый из которых будет состоять из десяти рот, а каждая рота будет состоять из пятидесяти национальных гвардейцев, не включая в это число офицеров, унтер-офицеров и барабанщиков.

«Статья 6. — Каждая рота будет находиться под начальством капитана, поручика, подпоручика, двух сержантов, фурьера и четырех капралов.

«Статья 7. — Всякий батальон будет находиться под начальством полковника и двух подполковников.

«Статья 8. — Все лица, составляющие роту, назначат своих офицеров и унтер-офицеров; штаб будет назначен целым батальоном.

«Статья 9.—С того дня, как соберутся эти роты, все граждане, составляющие их, будут получать: национальные гвардейцы — по пятнадцати су в день; капралы и барабанщики — в полтора раза бо́льшие оклады; сержанты и фурьеры—в два раза, подпоручики—в три, поручики—в четыре, капитаны—в пять, подполковники—в шесть и полковники—в семь раз большее жалованье.

«Статья 10.—Когда положение государства перестанет требовать чрезвычайной службы этих рот, составляющие их граждане перестанут получать жалованье и вернутся в роты национальных гвардейцев, не сохраняя никаких отличий».

Как мы видели, это является осуществлением демократического принципа избрания в пределах буржуазной Конституции, допускавшей в национальную гвардию лишь активных граждан. В этом также выражается и революционное недоверие ко всякой особой военной силе. Волонтеры организуются таким образом только для того, чтобы приготовиться к временной опасности, они должны быть распущены и снова войти в состав тех батальонов, от которых они были временно отчислены, при чем там у них не останется ни чинов, ни отличий, ни особых отзывов, которые позволяли бы им обособляться и которые увековечивали бы воспоминание об их военных действиях.

Но Революция имела в виду набрать своих защитников исключительно из числа национальных гвардейцев, т.-е. из числа тех граждан, которые оказывались достаточно зажиточными, чтобы быть активными гражданами, и самим купить себе все свое обмундирование и снаряжение. Ей были желательны такие солдаты, на которых она могла бы вполне положиться, естественные защитники как свободы, так и собственности. Учредительное Собрание, призвавшее лишь национальных гвардейцев для того, чтобы они являлись представителями Франции на Марсовом поле на великом празднестве Федерации, призывает лишь национальных гвардейцев к защите Франции в великой военной драме. Непосредственное обращение к пролетариям, к пассивным гражданам, явилось бы нарушением принципа Революции, и, в момент бегства короля, Учредительное Собрание слишком заботилось о том, чтобы поддерживать буржуазный строй, о том, чтобы предоставить руководство движением тем, кого Барнав называл «отборными собственниками и мыслящими людьми», так что оно не желало набирать вне легальных кадров буржуазии ту армию, на которую была бы возложена обязанность защищать ее. Отказывать пролетариям в политических правах и обращаться к ним с призывом спасти государство, об'явить их пассивными и

привлечь их к высшему виду деятельности, являлось бы опасным противоречием, потому что, каким же образом можно было бы впоследствии заставить оставаться лишенными избирательных прав людей, согласившихся пожертвовать собой для отечества и для Революции, и приобретших таким образом прекраснейшее из прав? К тому же, если бы пролетариям была дана возможность записываться на военную службу, то это потребовало бы больших расходов, так как бо́льшая часть их не была вооружена, не была в состоянии купить себе оружие, и, следовательно, их пришлось бы вооружить на казенный счет. В виду всего этого, революционная буржуазия обратилась с призывом лишь к национальным гвардейцам, т.-е. к самой себе.

Когда раздался призыв к защите свободы и отечества, которым грозила опасность, буржуазия проявила удивительную готовность. Достаточно пробежать опубликованный г.г. Шассеном и Ганнэ в первом томе их труда «Национальные волонтеры во время Революции» список, в котором перечисляются имена первых парижских волонтеров, чтобы констатировать чрезвычайное усердие парижской буржуазии. В течение нескольких дней в батальоны, реестры которых сохранились (недостает четырнадцати реестров, т.-е. одной четверти), записалось 4.535 человек. Люди всех состояний, всех профессий, всех возрастов, часто женатые и главы семейств, иногда отец с сыном, рантье, буржуа, средние и мелкие торговцы, скромные промышленники, ремесленники внесли в эти первые реестры, свидетельствовавшие об их героизме и об их любви к свободе, свои неизвестные имена, которые история, внимательно изучающая подробности событий, в настоящее время окружает меланхолическим ореолом, не восстановляющим для нас давно уже изгладившихся характерных черт всех этих существований. Все эти люди были убеждены в том, что отечество потребует от них участия в кампании, которая продолжалась бы лишь несколько месяцев, и что им можно будет вернуться в свои мастерские, в свои конторы, к своим станкам прежде, чем их покупатели рассеются или их дела придут в беспорядок, но они были готовы пожертвовать жизнью для спасения свободной Франции. Это — как бы церемониальный марш, как бы «смотр», на котором фигурируют люди всех состояний: бывший лейтенант торгового флота, студент-юрист, военный хирург, архитектор, студент изучавший хирургию, башмачник (хозяин башмачной мастерской), поваренок, человек занимавшийся хлопчато-бумажной промышленностью, поденщик, шляпочник-подмастерье, канатчик, бывший капрал полка Виварэ, каменоломщик, барабанщик стрелкового батальона, столяр, еще один поденщик, портной (16 лет), башмачник, башмачник, башмачник, столяр, слесарь, шляпочник, канатчик, слесарь, поденщик, парикмахер, парикмахер, словолитчик, бывший служащий по откупам (16 лет), каменоломщик, продавец бумаги, выгрузчик вин, слесарь, садовник-цветовод, мостильщик, ткач газа, парфюмер, приказчик, поденщик, каменотес, повар, почтальон, каменщик, токарь-вертельщик, булавочник, медник, торговец гвоздями, булочник, чулочник, еще один студент изучавший хирургию, ткач, бакалейный торговец. Я останавливаюсь; очевидно, преимущественно ремесленники, мелкие мастера и промышленники, хозяева мелких мастерских идут навстречу опасности: это была эпоха героизма парижской мелкой буржуазии и ремесленников.

Но что значит, что в списки внесены и эти бедные «поденщики» или эти бедные «подмастерья»? Не значит ли это, что они служили в национальной гвардии и обладали достаточными средствами для того, чтобы экипироваться? Ничего подобного. Но из примечаний к реестрам мы узнаем, что множество лиц выражало батальонным командирам желание поступить на военную службу.

Со всех сторон пролетарии обращались к ним с предложениями записаться и двинуться к границам; они не считали возможным отвергнуть все эти предложения и они записывали пролетариев, поскольку добровольные подарки зажи-

точных буржуа делали возможною их экипировку. Так, например, командир 1-го батальона Леклерк сообщает, что «все те лица, о которых упоминается, что они не в состоянии обмундироваться, предлагают записаться в отряды вспомогательных войск: большинство их занималось работами, организованными с благотворительными целями».

Часто геройски нелегальные предложения пролетариев оказывались настолько многочисленными, что батальонные командиры, не желавшие ни отвечать им грубым, оскорбительным отказом, ни записывать их в легальных реестрах на ряду с активными гражданами, составляли из них особые списки. Декрет от 15 июня, изданный до бегства в Варенн, в такой момент, когда революционная буржуазия, успокоившись после видимой победы, не предоставляла себе так ревниво, как 21 июня, руководящей роли в кризисе, позволял пассивным гражданам поступать на военную службу в отряды вспомогательных войск.

Ссылаясь на декрет от 15 июня, пролетарии, рабочие, «подмастерья» требовали, чтобы командиры батальонов национальной гвардии, ставшие главными вербовщиками, вписывали их если не в почтенный реестр буржуазии, то, по крайней мере, в добавочные тетради; в 1791 году герои-пролетарии вызывались не прямо, а в качестве какого-то нерегулярного придатка.

Например, в 7 батальоне в Сент-Этьен-дю-Моне в особой тетради, приложенной к реестру, указаны «имена и общественное положение лиц, не числящихся в национальной гвардии и желающих служить у границ». В регулярный, буржуазный реестр внесено 42 имени типографов, граверов на медных досках, одного шляпочника, двух хирургов, одного обер-секретаря при третьей парижской судебной палате, одного учителя музыки, одного преподавателя, одного лица, занимавшего должность писаря у прокурора, одного пирожника, одного торговца суровскими товарами, одного свечного мастера, юного Фондрико, которому было 15 лет,—все это были буржуа, тем более заслуживающие уважения, что для борьбы против врага они отказывались от доходного занятия и от прочного положения. Они действовали под влиянием революционной страсти, святой любви к свободе, а может быть, также и стремления к приключениям и к деятельности, вдруг побуждавшим их вырваться из тесной лавки, из привычных стен отцовской мастерской.

А вот и пролетарская тетрадь, в которую внесено 209 имен. Это было целое движение мужественных и смелых бедняков, преодолевавших пренебрежение и недоверие легальной Революции, чтобы также защищать ее и, защищая ее, возвысить ее, внушить ей более возвышенную мечту. Как перечислить всех их? Морель, служащий по откупам; Потэ, служащий по откупам; Эврар, подмастерье фейерверкер; Ле-Руа, подмастерье башмачник; Дешен, подмастерье башмачник; Веди, подмастерье башмачник; Серра, приказчик; Мерсье, подмастерье слесарь; Бремон, типограф; Бугран, поденщик; Арман, плотник; Нуррисон, занимавшийся изготовлением шпор; Шансон, слесарь; Агутэн, шляпочник; Клеман, занимавшийся резаньем шерсти для шляпочников; Пеше, поденщик; Боко, словолитчик; Пеллть", словолитчик; Гейллье, словолитчик; Веди, подмастерье башмачник; Понсо, башмачник; Корруа, переплетчик; Шелюр, производивший измерения построек; Башлэ, подмастерье башмачник; Ампар, писарь; Буланже, торговец платьем; Гедон, торговец подержанными вещами; Жарри, парикмахер; Миллльваш, торговец жестью; Жиро, башмачник; Баньер, торговец бумагою;Ками, каменотес; Пильон, басонщик; Лаваль, ювелир; Гильомон, ваятель; Матла, слесарь; Лекселлан, подмастерье булочник; Лошон, поденщик; Дюнюи, мостильщик;

Мартэн, служивший у торговца лошадьми; Дюпюи, переплетчик; Депуа, переплетчик; Морель, подмастерье каменщик; Марсо, подмастерье красильщик; Руже, подмастерье серебряник; Ганье, подмастерье плотник; Роз, торговец железными товарами; Левассер, подмастерье столяр; Дукрье, землекоп; Руссо, оптик; Блондель, странствующий торговец; Жосс, лодочник; Кильяне, резчик; Шольяк, водовоз; Ресторэ, служивший в винной лавке, Герлэ, 16 лет, служивший у пирожника; Майльяр, служивший у лимонадчика; Мошьен помощник парикмахера; Оже, инженер, специалист по феодальному праву».

Я привел лишь несколько имен, случайно бросившихся мне в глаза при перелистывании тетради. Как мы видим, в тетрадь «лиц, не служащих в национальной гвардии» и не могущих поступить на военную службу в те же роты и батальоны, в которые зачислялись национальные гвардейцы, внесены не одни только «пассивные граждане».

Там, на ряду с пролетариями, «подмастерьями», т.-е. пассивными гражданами, упоминаются и скромные ремесленники, которые не были в состоянии ни производить денежных трат, требовавшихся для службы в национальной гвардии, ни терять нужного для этого времени. Но их возбуждала наступившая опасность. Итак, в этом наборе, происходившем в конце 1791 г., классы были в значительной степени смешаны друг с другом и очень часто общественное положение лиц, внесенных в тот реестр, в котором записывались буржуа, поступавшие на военную службу, и общественное положение тех лиц, имена которых вносились в тетрадь для записывания, «не служивших в национальной гвардии», оказываются одинаковыми. Вероятно также, что между «башмачником» и «парикмахером», или «столяром», т.-е. предпринимателями башмачниками, парикмахерами, столярами, записавшимися в реестр, и подмастерьями башмачниками, парикмахерами, столярами, записавшимися в тетрадь, не было конфликта чувств, но, наоборот, между ними существовало революционное соревнование.

Подмастерья должны были относиться с уважением к хозяину, мастеру, ремесленнику, покидавшему свою мастерскую, свои дела, свою семью, чтобы взять в руки штык и ружье против эмигрантов и королей, а хозяева должны были проявить некоторую снисходительность к этой смелой молодежи, инстинктивно стремившейся к славе, к свободе и навстречу опасности.

Но пролетарии подмастерья, конечно, не без удовольствия говорили буржуазии: «Пассивны ли мы теперь и что значат ваши привилегии при общей храбрости и во время общей опасности?»

Но в продолжение всего 1791 г. имена всех этих волонтеров, всех этих пролетариев, всех этих «подмастерьев» продолжали числиться в списках лиц, готовых бороться за свободу и отечество, и таким образом среди пролетариата продолжало возбуждаться чувство гордости самопожертвованием; он чувствовал в себе, несмотря на легальные ограничения, все величие отечества и свободы, мужественный революционный пыл, возвышавшийся над буржуазным законом. Эти чувства возбуждались все сильнее и сильнее по мере того, как усиливались опасности, грозившие революционной Франции; так что, когда в апреле 1792 г. Революция об'явила войну Австрии, когда разразилась великая гроза, все пролетарии были воодушевлены стремлением играть важную роль, завоевать больше политических и социальных прав. Все подготовляло их к этому: воспоминание об июльских и об октябрьских днях 1789 г., когда они мужественно спасли Революцию, смысл Прав Человека, более широкий и более гуманный, чем Конституция 1791 г., первая экономическая борьба против буржуазии, стремившейся пользоваться монополиями и занимавшейся скупкою товаров, переход огромного

числа имуществ в другие руки и большие перемены в них, которые, не колебля самого принципа буржуазной собственности, повидимому, возвещали пролетариям возможность новых и обширных преобразований, планы всеобщего гуманного образования, составленные философами, наконец, героическое возбуждение, вызываемое смелым презрением к опасности, — сколько побуждений для рабочего люда! Итак, при первых военных испытаниях непременно проявится сильное стремление к свободе и равенству.

Когда Малле-дю-Пан пишет в «Меркурии Франции» 7 апреля 1792 г., что бедный класс господствует в Революции, он преувеличивает.

«До нас,—говорит он,—республиканские смуты затрагивали почти исключительно класс собственников, так что популярные стремления не распространялись среди тех классов, которых их работы, их бедность, их невежество естественно не допускают к участию в управлении; но теперь выработка новой политической системы, власть, управление достались этим самым классам, возбужденным массою бедных людей, соединившихся с чернью. Власть непосредственно и без противодействия перешла из Версальского дворца и из передней придворных в руки пролетариев и их льстецов».

Это неверно: и в апреле 1792 г. буржуазия еще продолжает руководить революционным движением; сила собственников громадна; но столь же достоверно известно и то, что «пролетарии» начинают думать о будущем, они начинают сознавать свою силу, еще не определившееся и не выяснившееся глубокое право; они начинают судить даже и буржуазию, они предчувствуют, что если вековой труд крепостных создал могущество и богатство дворян, то могло бы также обнаружиться, что народ в праве требовать себе значительной доли буржуазных богатств и могущества, и когда Иснар красноречиво воскликнул в январе 1792 г.: «Прошло то время, когда ремесленник дрожал перед материей, которую он соткал своею рукою», это было верно, особенно относительно пурпурных тканей дворянства, духовенства и королей; это было до некоторой степени верно и относительно блестящей одежды богатых и влиятельных людей, принадлежавших к новой буржуазии. Следовательно, выдержать великое военное испытание предстояло обществу, на которое влияли многие силы и в котором с каждым днем росли надежды пролетариев.

Десятое августа.

Как мы видели, Жиронда об'явила эту войну или, по крайней мере, ускорила ее, имея в виду подчинить королевскую власть своему господству. Но у жирондистского министерства не было никакого определенного плана, и оно вовсе не стремилось систематически к ниспровержению монархии, и к установлению республиканского образа правления. Дюмурье, как я уже указал, предпочитал сложное и двусмысленное положение дел, при котором он мог вполне использовать свою ловкость и способность к интригам. Он мечтал внушить всем партиям почтение к себе блеском победы над Австрией и затем сыграть роль маклера, стать посредником между королем и Революцией, при чем он получил бы выгоды от всех. У Роланов,—я имею в виду министра и его жену,—не было широких, смелых взглядов. Ролан являлся, главным образом, боязливым, недоверчивым администратором; он заботился о поддержании своего плебейского достоинства и проявлял его в мелочах, например, он являлся в совет министров в башмаках без пряжек, ужасавших всех хранителей протокола; он проявлял по отношению к Революции достоинства и недостатки, свойственные ему, как инспектору мануфактур, и вскоре он будет возмущаться тем, что в это бурное время было нерегулярного в народном движении.

Будучи человеком очень воздержным, потребности которого были весьма ограничены, и принимая свою несколько печальную суровость за единственный вид революционной добродетели, он был склонен скорее к ограничениям и к мрачным осуждениям, чем к смелым внушениям. Впрочем, далеко не подготовляя Республики, он был более тронут и польщен, чем ему хотелось бы признаться в этом, видимым добродушием короля, запросто расспрашивавшего своих министров насчет дел, относящихся к их министерствам, и казалось, интересовавшегося этими делами. Г-жа Ролан рассказывает, что она была вынуждена предостерегать своего мужа и других министров от сюрпризов, вызываемых чувствительностью. У г-жи Ролан не было более определенного плана. Это была стоическая и несколько тщеславная душа, с живыми и довольно значительными, но не разносторонними способностями, она выросла в мелко-буржуазной семье ремесленников, в которой ее горячая чувствительность со всех сторон наталкивалась на стеснение и на житейскую посредственность. Ее отец, довольно добрый человек, вел беспорядочную жизнь, огорчавшую и оскорблявшую дочь. Таким образом она рано привыкла подавлять свои чувства и с увлечением старалась найти в чтении книг героического или трогательного содержания, Плутарха и Руссо, развлечение и утешение. В ее душе навсегда запечатлелся тип героев древности, и Руссо научил любить меланхолическую природу, «задумчиво наслаждаться» сумерками, созерцать из своего окна, из которого открывался вид на набережную Сены, «огромную небесную пустыню».

Она рано и по рассудку вышла замуж за Ролана, пожелтевшего и грустного старика, которого она уважала, но не любила, и брачная жизнь была для нее лишь постоянным отречением от удовлетворения сердечных и чувственных влечений. Она с беспокойством следила за своею всегда легко возбуждавшеюся чувствительностью, отклоняя сперва нежными и трогательными записками Банкаля из Иссара, интимность с которым в деревне Платьер становилась опасною для нее, с гневом отвернувшись от Барбару, блестящая самонадеянная красота которого временно поразила ее, наконец, вполне отдав свое сердце Бюзо, поклявшись, однако, себе самой не принадлежать ему, при чем все усиливавшаяся революционная буря, все возраставшее возбуждение, вызываемое опасностью, требовавшею чистых сердец для последнего самопожертвования, помогли ей сдержать это слово, а осуждение и смерть спасли ее от непреодолимого влечения.

Впрочем, у нее была склонность к деятельности, или ей казалось, что она любит деятельность, но события являлись для нее, главным образом, средством испытать свою душу и, несмотря на свои порывы к жизни, к свету, к свободе, у нее никогда не было справедливого и верного взгляда на людей и на вещи. У людей, отличавшихся действительно сильным характером, например, у Робеспьера и Бонапарта, переживаемые ими душевные кризисы, тайный энтузиазм, внушаемый им Жан-Жаком или Оссианом, усиливали способность к действию и проницательность ума. Испытывая возбуждения и предаваясь беспредельным мечтам, они становились дальновиднее и изощряли свой взор, охватывавший затем действительность. Сквозь дальний туман им раскрывались широкие перспективы, а затем им постепенно вырисовывались определенные, ясные и далекие очертания горизонта.

Наоборот, г-жа Ролан никогда не освободилась от обаяния Плутарха и Руссо; она израсходовала свою энергию, проявляя заносчивую, надменную и излишнюю гордость. Она лишь на мгновение поняла Робеспьера и никогда не понимала Дантона. Она способствовала тому, что Жиронда замкнулась в высокопарном и бессильном стоицизме. Республика представлялась ей тем фоном, на котором должны были вырисовываться фигуры великих людей, и она мечтала о ней, как о воскресении Рима. Но она не выработала никакого определенного плана, и жирондистское министерство колебалось между Роланом

и Демурье, между неспособностью и интригою. Бриссо был поглощен в течение этих месяцев, апреля и мая, своею ролью тайного министра; он был всецело занят тем, что рекомендовал тогдашним министрам кандидатов на общественные должности, стекавшихся в его скромную квартиру в качестве просителей, и, несколько ошеломленный этим внезапным могуществом и, может быть, польщенный примешивавшейся к нему таинственностью, он, повидимому, не спешил ниспровергнуть монархию, служившую ширмою, прикрывавшею его влияние. К тому же, он вовлек Францию в войну, подобно тому, как врач дает лекарственное питье для того, чтобы испытать больного. Он выжидал.

Образование жирондистского министерства еще обострило борьбу между двумя революционными фракциями. В обществе якобинцев Робеспьер вставил в один адрес обращение к провидению. Гюадэ обвинил его в том, что он способствует суеверию, и зашла речь о ханжестве. Робеспьер ответил исповеданием веры теиста в духе савойского викария. Но разве Гюадэ забыл, что сам он еще недавно, в прениях в Законодательном Собрании, призывал бога? Ненависть внушает странные, предвзятые мнения. С другой стороны, Робеспьер злонамеренно пользовался против Жиронды теми последствиями, которые неизбежно влечет за собою достижение власти: он нападал на Бриссо за то, что последний доставлял места друзьям, а Бриссо отвечал у якобинцев: «Мне делают большую честь, предполагая, что я пользуюсь таким влиянием; но посмеют ли жаловаться на то, что якобинцы, патриоты, друзья Революции, наконец, занимают места? Для блага отечества следовало бы, чтобы все места были заняты ими». Вечный и скучный спор. Вскоре г-жа Ролан, жирондистка, обратится к Дантону с тем упреком, с которым теперь Робеспьер обращается к Бриссо, она обвинит его в том, что он искал в клубах, среди пламенных революционеров, служителей Революции, что он наполнил ими министерства, правительственные учреждения, армии.

Однако в своих спорах с Бриссо Робеспьер не забывал о контр-революции. Или, скорее, он гениально, с изумительною прозорливостью и ненавистью нашел средство одновременно нанести удар и контр-революции и Жиронде. Это средство заключалось в том, чтобы нанести удар Лафайету. В это время Лафайет являлся истинной главой фельянов. Он был последним из их популярных деятелей, он был их воином. Известно было, что он желал истолковать Конституцию в наиболее умеренном смысле, что он считал крамольниками всех тех, кто хотел расширить права нации в ущерб королевской прерогативе. А так как он сохранил некоторое влияние на национальных гвардейцев королевства, долго находившихся под его начальством, он являлся последнею надеждою умеренных. Может быть, он оказался бы опасным для демократов, если бы он мог сговориться с двором относительно своих действий. Но двор не доверял ему, к тому же двор намеревался не истолковать Конституцию в умеренном смысле, а уничтожить ее, воспользовавшись для этого войною.

Итак, Лафайет оказывался одиноким, между демократией и двором, и его подлинное влияние ослабевало с каждым днем. Но он все еще являлся большой помехой для стремлений революционной демократии. И ежедневно нападая на него, доносся на него, дискредитируя его, Робеспьер расчищал путь для Революции. Но в то же время он косвенно задевал и Жиронду. Конечно, между Жирондою и Лафайетом всегда существовала резкая вражда, и Робеспьер был неправ, обвиняя Бриссо в угодливости по отношению к Лафайету в близости к нему. Но власть была в руках Жиронды, а Лафайет командовал армией. Хотя Жиронда занимала министерские должности, она не была ни достаточно сильна, ни достаточно смела для того, чтобы обновить личный состав высших военных. Она оставила во главе армий Рошамбо, Люкнера, Лафайета, назначенных Нарбонном. И, по правде говоря, в данный момент страна не доверяла бы новым именам; военные события, еще незначительные и нерешительные, не выдвигали молодых

вождей. Слава еще не неслась с быстротой молнии. Таким образом Робеспьер мог утверждать, что Жиронда солидарна с Лафайетом, подобно тому, как несколько позднее и с гораздо более ужасным успехом он станет утверждать, что Жиронда солидарна с Дюмурье.

На первых порах военные действия были неудачны. Одна из дивизий Рошамбо, наступавшая на Турнэ, неосмотрительно столкнулась с австрийскими войсками, и французские солдаты обратились в бегство. Думая, что им изменили, они убили одного из своих офицеров Диллона, и эта первая неудача, сопровождавшаяся нарушением дисциплины, глубоко взволновала умы. Жирондисты, предсказывавшие, что воины свободы легко победят помощников тиранов, были довольно пристыжены. Марат жестоко насмехался над ними. Нас уверяли, говорил он саркастически, в том, что «пушечные ядра будут сами собой отскакивать назад пред Правами Человека». И, повторяя свои обычные слова об измене, он побуждал солдат убить начальников.

Раздраженная Жиронда потребовала, чтобы против него было возбуждено судебное преследование. Ласурс донес на него Законодательному Собранию в чрезвычайно резкой речи. Чтобы несколько прикрасить это предание Марата суду, в то же время было постановлено возбудить судебное преследование против роялиста-журналиста Руайу.

В один и тот же день были приняты декреты о возбуждении судебного преследования против «Друга Народа» и против «Друга Короля», но Жиронда в особенности желала поразить «Друга Народа». Таким образом с самого начала обнаруживалась эгоистическая непоследовательность и заносчивость партии жирондистов. Когда Бриссо ускорял войну, у него не было другого оправдания, кроме того, что она дала бы народу силу избавиться от всех своих внутренних врагов, устранить все предательские элементы. Сам Бриссо сказал в ответ на рассуждения нападавшего на него Робеспьера: «Мы нуждаемся в великих изменах». А в то самое время, когда пробуждалась народная подозрительность, когда солдаты стали применять эту политику недоверия и истребления, Жиронда сердилась до исступления.

Но, скажут, солдаты ошиблись, и Диллон не был изменником. Конечно, и Жиронда могла выяснить солдатам Революции их заблуждение. Но неужели, так сказать, систематически доведя Францию до безумия, чтобы спасти ее, Жиронда надеялась на то, что разум и мудрость будут руководить всеми проявлениями возбужденной подозрительности? Или, может быть, она обнаруживала претензию по своему желанию направлять подозрения и проявления гнева великой бурной души Революции, подобно тому, как божественная рука направляет молнию в изгибах громадных туч? Этот гнев, это негодование Ласурса и жирондистов против Марата с самого начала доказывают, что Жиронда осуждена, потому что она не способна держаться своей же собственной политики: тот, кто вызвал войну, вызвал тем самым и слепое ожесточение страстей и должен сразу открыть народу огромный, неистощимый кредит в ожидании его ошибок гнева и заблуждений. Гордо заупрямиться при первой ошибке, думать, что все погибло, потому что нельзя распутать хаос, вызванный войною, силою и случайностью, так, как человек может распутать моток, держа в руках все те нитки, из которых он состоит,—является признаком ребяческой гордости и полного бессилия. Уже с этих пор ясно, что другие люди, более решительные, более последовательные, обращающие больше внимания на самопроизвольность народных сил, будут руководить Революцией на путях, проложенных Жирондою.

Дантон выжидал, готовясь направлять события своею сильною рукою. Очевидно, он чувствовал, что его час настал, что предстоят большие, несколько смутные волнения, которыми люди с сильною и решительною волею руководят до конца. До февраля 1792 г., до тех пор, когда он начал выполнять свои

обязанности в качестве товарища прокурора Коммуны, он не считал нужным защищаться от взводимых на него клевет. Его враги шептали, что у него были нечистые сношения с двором при посредстве Мирабо, что он взял за продажу своей должности при суде денежную сумму, значительно превышавшую ее цену; и они изображали его продажным трибуном, требовавшим от Революции лишь удовлетворения своих сильных чувственных вожделений. Он никогда не давал об'яснений. Что за дело было ему до этого?

Он оказывал почти непреодолимое влияние на клуб кордельеров, на самых пылких революционеров. Благодаря своему высокому росту, своему громовому голосу, благодаря решительности своих советов и меткости наносимых им ударов, он господствовал в собраниях. И, конечно, он был слишком горд для того, чтобы унижаться до оправданий.

Тот, кто защищается, унижается. Возможно также, что он думал, что в великих революционных движениях пыл страстей и энергия воли были нужнее, чем узкая и малосильная добродетель. Защищаться, значило бы признать, что от деятелей Революции можно было требовать отчета; а зачем же приводить в уныние тех, в чьей частной жизни, может быть, были темные стороны или тайные пороки, но которые усиленно стремились к лучшей жизни, в которой они вновь стали бы добродетельными? Таким образом он слыл человеком несколько загадочным и сильным, обращавшим больше внимания на оценку сил, чем на проверку нравственности всех тех, кто стремился к великой цели.

Нельзя сказать, чтобы он унижался до вульгарной или скрытой демагогии. Он никогда не льстил гнусным и низким порокам, беспокойному тщеславию или трусливому эгоизму. Повидимому, он, главным образом, старался возбудить энергическое стремление к здоровой и честной жизни, естественное влечение к счастью и к радости, к широким и братским чувственным наслаждениям. Он не прибегал и к ненатуральному вульгарному языку.

Иногда у него вырывались тривиальные выражения, циничные фразы. Но он был не лишен образования: он читал по-английски Шекспира и романы Ричардсона; он знал латинских авторов и в его речах иногда обнаруживалась некоторая напыщенность: напыщенные картинные выражения, — «свобода, спустившаяся с неба, мы отбросим наших врагов в ничтожество, народ вечен, я выйду из цитадели разума с пушкою истины», придавали бы его речам некоторую натянутость, если бы тон, свидетельствующий о непреклонной решимости, и ясность практических советов не делали этих речей живыми, пламенными, сильно действующими.

Но когда он вступил в должность товарища прокурора Коммуны, в конце января 1792 г., ему показалось, что недостаточно было этой естественной силы действия и он пожелал еще и того почтения, того общественного уважения, без которых даже и в самые беспокойные дни никто не может играть важной революционной роли. В тщательно обдуманной речи, полный текст которой он, вопреки своему обыкновению, сообщил газетам, он рассказал всю свою общественную и частную жизнь. Он без горечи и предчувствуя близкое великое возмездие, говорил о своей неудаче на выборах в Городскую Думу. Он выяснил происхождение своего небольшого состояния и даже отрекся от всякого прямого участия в событиях, происходивших на Марсовом поле, которые он в последнюю минуту, несомненно, считал только опрометчивой и преждевременной попыткой, а чтобы успокоить тех, кого могла испугать его революционная суровость, он заявил, что следует защищать Конституцию. Но он предвидел, что на нее станут нападать, и он говорил угрожающим тоном о тех, кто захотел бы посягнуть на нее.

Он не побоялся представиться в качестве человека, способного принять смелые меры, оказывающиеся необходимыми.

«Господин мэр и господа, раз, — не в один из тех моментов, которым он обязан своею славою — человек, имя которого должно навсегда остаться знаменитым в истории Революции (Мирабо), сказал, что он, конечно, знает, что от Капитолия недалеко и до Тарпейской скалы; а я, приблизительно, в ту же самую эпоху, когда своего рода плебисцит не допустил меня в это Собрание, куда меня призывала одна из столичных секций, отвечал людям, об'яснившим ослаблением энергии граждан то, что являлось лишь следствием кратковременного заблуждения, что для чистого челвоека недалеко от подстроенного остракизма до выполнения важнейших общественных функций.

«Теперь событие оправдывает мою мысль; общественное мнение, не та неосновательная молва, которая распространяется благодаря усилиям партии, господствующей в течение нескольких месяцев, и держится столько же времени, а неопровержимое мнение, основанное на фактах, которых нельзя долго искажать, то общественное мнение, которое не прощает предателям и верховный суд которого отменяет суждения глупцов и приговоры судей, продавшихся тирании, это общественное мнение вызывает меня из той уединенной фермы, где я намеревался заниматься сельским хозяйством. Хотя эта маленькая ферма приобретена на деньги, полученные в качестве вознаграждения за гласную продажу уже не существующей должности, тем не менее наши клеветники выдавали ее за огромные имения, за которые заплатили какие-то неизвестные мне английские и прусские агенты.

«Я должен занять место среди вас, господа, потому что таково желание друзей свободы и Конституции, и я обязан это сделать, тем более, что в такой момент, когда со всех сторон угрожают отечеству, непозволительно отказаться от поста, заняв который можно подвергаться некоторым опасностям, подобно часовому, стоящему на передовом посту.

«Я молча вступил бы на открывающееся для меня поприще после того, как в продолжение всей Революции я не считал нужным опровергать какую бы то ни было из бесчисленных клевет, взводимых на меня, я не позволил бы себе ни на минуту говорить о себе самом, я ждал бы, что с течением времени заслуживаемая мною репутация установится благодаря моим поступкам, если бы те возложенные на меня обязанности, которые я буду выполнять, не поставили меня в совершенно иное положение. Как частное лицо, я презираю те нападки, которым я подвергаюсь; они кажутся мне лишь неосновательным свистом; став народным избранником, я должен, если и не отвечать на все, потому что есть вещи, заниматься которыми было бы нелепо, то, по крайней мере, защищаться от всяких сколько-нибудь искренно возводимых на меня обвинений.

«Население Парижа так же, как и всей Франции, состоит из трех классов. Первый класс, совершенно враждебный свободе, равенству, Конституции, заслуживает всех тех бедствий, которые он причинил и которые он еще желал бы причинить нации; я вовсе не желаю говорить о нем, я хочу лишь вести против него смертельную борьбу; второй класс состоит из отборных пламенных друзей, сотрудников, непоколебимейших защитников нашей святой Революции; именно этот класс постоянно желал, чтобы я был здесь; ему я также не должен ничего сказать; он оценил меня, я никогда не обману его ожиданий. Третий класс, многочисленный и благонамеренный, также хочет свободы, но он боится сопровождающих ее бурь; он не питает ненависти к ее защитникам, которых он всегда будет поддерживать во время опасности, но он часто порицает их энергию, которую он обыкновенно считает или неуместной или опасной; именно этот класс граждан я уважаю, даже тогда, когда он слишком легко поддается коварным внушениям людей, скрывающих свои жестокие замыслы под личиною умеренности; в качестве должностного лица, назначенного народом, я обязан познакомить с собой этих граждан, торжественно изложив мои политические принципы.

«Природа наделила меня атлетическим телосложением и суровою внешностью свободы. Я не имел несчастья родиться в каком-либо из тех семейств, которые при наших старинных учреждениях пользовались привилегиями и уже в силу этого почти всегда вырождались. Своими силами добившись занимаемого мною общественного положения, я сохранил всю присущую мне энергию, не переставая, однако, ни на одно мгновение как в своей частной жизни, так и в той профессии, которою я занимался, доказывать, что я умею соединять хладнокровный ум с душевным жаром и с твердостью характера.

«Если, с первых дней нашего возрождения, я испытал все патриотические увлечения, если я соглашался казаться крайним, чтобы никогда не быть слабым, если я навлек на себя первое осуждение, высказывая во всеуслышание, каковы были люди, нападавшие на Революцию, и защищая тех, кого называли фанатиками свободы, то я делал это только потому, что я видел, чего можно было ожидать от изменников, явно покровительствовавших змеям аристократии.

«Я всегда был искренно предан народному делу, я не разделял мнения многих, несомненно, благонамеренных граждан относительно людей, как мне казалось, отличавшихся весьма опасным непостоянством в своей политической жизни; я лицом к лицу, публично и честно требовал об'яснения от некоторых из этих людей, считавших себя главными опорами Революции; я желал, чтобы они представили об'яснения относительно тех сторон своих проектов, обманчивость которых обнаружилась мне при моих сношениях с ними. Я делал это, так как я всегда был убежден в том, что следует выяснить народу, чего он должен бояться от лиц, настолько ловких, что они постоянно сохраняли для себя возможность, смотря по ходу событий, переходить в ту партию, в которой они всего легче могли бы осуществлять свои честолюбивые стремления. Я делал это, считая достойным себя об'ясниться в присутствии этих самых людей, вполне высказывать им мою мысль, даже и предвидя, что они вознаградят себя за свое молчание тем, что станут как можно более чернить меня при посредстве своих креатур и возбуждать против меня новые преследования.

«Будучи силен сознанием правоты своего дела, являвшегося делом нации, я предпочел подвергнуться опасностям вторичного осуждения, основанного даже не на моем химерическом соучастии в петиции, ставшей слишком трагически знаменитою, а на какой-то жалкой выдумке относительно пистолетов, вынесенных в моем присутствии из комнаты одного военного в приснопамятный день. Дело в том, что я всегда руковожусь в своих поступках вечными законами справедливости, что я не способен поддерживать отношения, становящиеся нечистыми, и связать свое имя с людьми, не боящимися отступничества от святого народного дела, которое они сперва защищали.

«Такова была моя жизнь.

«Моя дальнейшая жизнь, господа, будет такова:

«Я был выбран для того, чтобы содействовать поддержанию Конституции, чтобы настаивать на исполнении законов, которые нация поклялась соблюдать; и, конечно, я сдержу свои клятвы, я выполню свои обязанности, я буду всеми силами поддерживать Конституцию, потому что это будет означать одновременную защиту равенства, свободы и народа. Мой предшественник по должности, которую я займу, сказал, что, призвав его в министерство, король снова доказал свою привязанность к Конституции; народ, избрав меня, так же сильно желает, по крайней мере, Конституции; итак, он хорошо поддержал намерения короля. О, если бы мы, мой предшественник и я, высказали две вечные истины! Все-

мирная история свидетельствует о том, что народ, обязавший себя своими собственными законами быть верным конституционной монархии, никогда первый не нарушал своей присяги; нации сменяют правительство или заменяют существовавший у них образ правления лишь тогда, когда чрезмерное притеснение принуждает их к этому; конституционная монархия может существовать во Франции в течение большего количества веков, чем существовала деспотическая монархия.

«Не философы, ограничивающиеся построением систем, колеблют государственный строй; гнусные льстецы королей, те, кто от их имени угнетает народ и морит его голодом, гораздо вернее вызывают стремления к изменению образа правления, чем все филантропы, излагающие свои взгляды на неограниченную свободу. Французская нация стала более гордою, не перестав быть столь же великодушною. Сбросив с себя свои оковы, она сохранила королевскую власть, не боясь ее, и очистила ее, не питая к ней ненависти. Пусть королевская власть уважает народ, в котором долгие притеснения вовсе не уничтожили доверчивости, пусть она сама предаст каре законов всех заговорщиков без исключения и всех этих прислужников заговоров, побуждающих королей давать им деньги в расчете на химерические контр-революции, для которых они хотят затем набрать, если можно так выразиться, приверженцев в кредит. Пусть королевская власть, наконец, обнаружит искреннюю любовь к свободе, своей верховной владычице; тогда она обеспечит себе столь же продолжительное существование, как и существование самой нации; тогда выяснится, что граждане, обвиняемые в том, что они не удовлетворяются Конституцией, лишь теми, кто, очевидно, считает ее слишком демократическою, что эти граждане, какова бы ни была их отвлеченная теория свободы, вовсе не стараются нарушить общественный договор; что они не хотят, ради лучшего идеала, ниспровергнуть порядок вещей, основанный на равенстве, справедливости и свободе.

«Да, господа, я должен повторить: каковы бы ни были мои личные мнения о делах и о людях во время пересмотра Конституции, теперь, когда принесена присяга соблюдать ее, я во всеуслышание потребовал бы смерти того, кто подымет преступную руку для нападения на нее, будь это мой отец, мой друг, будь это мой собственный сын: таковы мои чувства.

«Общая воля французского народа, выраженная столь торжественно, как это было сделано при из'явлении им своего согласия на Конституцию, всегда будет для меня высшим законом. Я посвятил всю свою жизнь этому народу, на который уже не будут больше нападать, которому не будут безнаказанно изменять, и который вскоре освободит землю от всех тиранов, если они не откажутся от лиги, составленной ими против него. Если нужно будет, я погибну, защищая его дело; мои последние желания будут относиться к нему одному; только он заслуживает их; его просвещение и его мужество избавили его от уничтожения и извлекли его из ничтожества; его просвещение и его мужество сделают его вечным».

Какая сила и какая искусная политика! Как старается Дантон о том, чтобы привлечь на свою сторону средний класс, чтобы обезоружить злобу умеренной буржуазии, симпатизировавшей Лафайету, на которую он так часто нападал! И до какой степени он в то же время заботится о том, чтобы народ сохранил свободу движений! Он так настойчиво заявляет, что если вспыхнет новая Революция, то она не будет вызвана предвзятым намерением осуществить «отвлеченную теорию свободы», т.-е. Республику, но явится ответом на вероломство власти, что таким образом боязливая буржуазия склоняется к допущению возможного народного движения, как непреодолимой необходимости.

Дантон искренно говорит, что дух системы не побуждает его стремиться к насильственной отмене Конституции. Он искренно заявляет, что, при желании

с ее стороны, конституционная монархия может продолжать существовать в течение веков и, может быть, прежде, чем броситься навстречу бурям и опасностям новой Революции, он, по-совести, мысленно оставлял за собою этот последний шанс. Но он не успокаивается на этой гипотезе; он не упускает из виду вероятной борьбы; он лишь уверяет робких людей в том, что сила разума всегда будет сдерживать пылкость его страстей.

Еженедельник Прюдома выражает удивление и несколько возмущается этою манерою говорить о самом себе; и в самом деле, у Дантона проявлялись некоторое самохвальство, хвастовство, потребность гордиться своею силою. Но, кроме того, он прибегал к этому самохвальству и по расчету. В этот период нерешительности и колебаний в 1792 г. он чувствовал, что для об'единения людей, желания которых расходились, и для того, чтобы определенным образом влиять на ход событий, нужно было решительно проявить энергию и силу и даже тщеславиться ими.

В корректной и умеренной форме эта февральская речь являлась революционным манифестом. Дантон об'являл массам: я здесь. В марте, в апреле и в мае он не хотел решительно вмешаться в спор между жирондистами и Робеспьером и скомпрометировать себя. Однажды он выразил у якобинцев ту мысль, что прежде, чем начать внешнюю войну, следовало победить внутренних врагов. Но он не боролся, подобно Робеспьеру, систематически против войны. Он воздерживался от нападок на жирондистов, но его возмущали их злобные клеветы на Робеспьера, и однажды он гневно воскликнул: следует прекратить эти систематические оскорбления, которым подвергаются лучшие служители отечества, и направленные против них инсинуации.

Очевидно, у него составилось определенное суждение о Жиронде. Он знал, что она не последовательна и тщеславна. Он не желал попасться в сети кружка. Он берег всю свою свободную силу для тех великих движений, которые он предусматривал: для решительной борьбы против королевской власти, против иностранных держав. Он ждал многого не от иногда слишком отвлеченных теорий Робеспьера и не от политических комбинаций Жиронды, а от самопроизвольной силы народа, почти ежедневно проявлявшейся в резких заявлениях, подаваемых Законодательному Собранию, в делегациях, говоривших повелительным тоном.

С этого времени он всего более рассчитывал на революционную силу секций; он хотел возбудить ее в то же время организовать эту силу; он хотел, если можно так выразиться, сделать так, чтобы вся эта живая сила подействовала на правительство для спасения свободы и отечества. Он надеялся спасти таким образом и порядок, который установился бы именно благодаря доверчивому призыву Революции к народной энергии.

Однако, несмотря на нерешительность жирондистского министерства, его деятельность была не бесполезна. Благодаря ей, по крайней мере, были поставлены задачи, выяснился конфликт между Революцией и королевской властью. Контр-революционные происки не присягнувших священников становились нестерпимыми. Они всюду возбуждали восстания, и наказания, установленные Собранием после доклада Франсуа де-Невшато, не достигали цели.

Запретив ношение церковного облачения и принудив таким образом священников носить такую одежду, которая не отличалась бы от одежды граждан, Собрание, наконец, приступило к обсуждению важных репрессивных законов. По предложению Верньо, 27 мая было постановлено наказывать тех непослушных священников, которые отказались бы присягнуть и вызвали бы смуты, ссылкой. Революция чувствовала, что от них ей грозит смертельная опасность. И чтобы понять ее гнев, достаточно прочитать невероятные памфлеты против нее, составленные мятежным духовенством, его открытые призывы к иностранцам.

С своеобразною ужасною искренностью священники доказывали, что австрийский император обязан вмешаться во французские дела. «Франция, — говорили они, — обратила германские народы в христианство во времена Карла Великого: германские народы оказались бы неблагодарными и нечестивыми, если бы они не восстановили во Франции христианства, которому грозит опасность».

Собрались толпы фанатических крестьян, и в лесах, под звуки музыкальных инструментов, под которые еще так недавно плясала деревенская молодежь, вооруженные шайки клялись в вечной ненависти к Революции. Священники возбуждали не только фанатизм, но и жадность. Они подговаривали крестьян отказываться уплачивать налоги, установленные Революцией вместо бесчисленных поборов и оброков, существовавших при старом порядке, а иногда они, в самом деле, осмеливались проповедывать «аграрный закон», не для того, чтобы подготовить общественное признание прав труда и окончательное освобождение крестьян, а в надежде на то, что на развалинах буржуазной собственности снова процвели бы десятины и доходы духовенства и что, благодаря анархии, возродился бы старый порядок. Законом о ссылке Жиронда нанесла сильный удар; но что же собирался сделать король? Отвергнув первые, довольно слабые меры, вотированные Законодательным Собранием, как мог бы он согласиться утвердить более грозный декрет? Этим путем Жиронда вызывала решительный конфликт.

Через несколько дней после этого, 5 июня, военный министр Серван предложил Собранию сформировать военный лагерь из двадцати тысяч человек, набранных изо всех департаментских отрядов национальной гвардии. По словам министра, этот лагерь должен был предохранять Париж от всякого внезапного нападения со стороны врага. В то же время он должен был доставлять вооруженные силы для поддержания порядка в столице и таким образом несколько облегчить то бремя, под тяжестью которого изнемогала парижская национальная гвардия.

В действительности, Жиронда надеялась, что, под влиянием министерства и общественного мнения, собранные таким образом люди окажутся вполне преданными ей. Они могли бы в самом деле защищать Париж от нападения врагов. Но они могли бы также оказывать влияние на решения двора. В то же время, очень сложным путем Жиронда лишала Париж принадлежавшей ему роли революционного авангарда. Обязанность защищать Революцию, в самом центре событий, возлагалась уже не на одну парижскую коммуну, а на всю революционную Францию. Несомненно, между Жирондою и Парижем еще не существовало острого конфликта, но именно в Париже особенно сказывалось влияние Робеспьера и Марата, которых жирондисты ненавидели и преследовали.

Именно в Париже было особенно сильно влияние Дантона, которому они не доверяли, хотя еще и не боролись против него. Конечно, они предчувствовали, что если бы их внешняя и внутренняя политика привела к резкому разрыву с королевской властью и если бы Париж руководил нападением на нее, то первенствующая политическая роль досталась бы Парижу, который предоставил бы ее тем людям, которым он особенно доверял.

Итак, они хотели организовать для служения Революции такую силу, составленную из разнородных и преимущественно провинциальных элементов, которою они сами могли бы располагать. Впрочем, у Сервана была и великая мысль, возвышавшаяся над этими расчетами: он всегда был сторонником вооружения нации; но ни обстоятельства, ни настроение умов еще не допускали поголовного ополчения. Но не являлось ли формирование небольшой революционной армии, набранной путем делегаций и выборов из всех отрядов национальной гвардии, первым движением целой нации?

Революционеры, относившиеся враждебно к Жиронде, Марат, Робеспьер, возражали против проекта Сервана столь же резко, как и приверженцы двора.

В номере своей газеты, вышедшей в пятницу 15 июня 1792 г., Марат утверждал, что этот проект является «смертельным ударом, нанесенным свободе и общественной безопасности Национальным Собранием, которое участвует в козиях двора и само является контр-революционным... Как могут думать о том, чтобы вручить оружие народу, значительную часть которого хотят погубить, если это понадобится для того, чтобы снова поработить его?

«Для того, чтобы обеспечить успех этого ужасного проекта, тайное совещание в Тюльери, не полагаясь ни на недостаток гражданственности и ослепление большинства парижской гвардии, ни на ужасные намерения многочисленных контр-революционеров, скрывающихся в наших стенах, сочло нужным подкрепить их, вызывая, под благовидным предлогом, со всех концов королевства 20.000 человек, готовых стать опорою деспотизма. И не сомневайтесь в том, что этот военный лагерь предназначен способствовать действиям столичных контр-революционеров, а затем и национальных или иностранных армий, призванных для восстановления деспотизма. Для достижения этой цели его начальниками будут назначены роялисты, которые будут всякими способами воздействовать на него».

Как странно партии извращают мысли и факты. В данный момент Жиронда всего более заботилась вовсе не о том, чтобы служить контр-революции, а о том, чтобы обеспечить себе руководящую роль в Революции. Я согласен, что эта эгоистическая мысль может стать контр-революционною, но отсюда, в самом деле, очень далеко до утверждения, что Серван действовал в интересах двора. Марат уже писал 9 июня: если Серван не действует по соглашению с двором, то почему же его не увольняют в отставку? Это ребяческий аргумент, потому что он предполагает, что королю не приходилось считаться с силами Революции. К тому же, через несколько дней, Серван в самом деле будет уволен в отставку. Стараясь найти глубокую, существенную причину вражды между Жирондою и Горою, г. Олар приходит к заключению, что, в сущности, в ней проявляется антагонизм провинции и Парижа. Этот ответ слишком прост. В самом деле, война возгорелась уже с 1792 г., а тогда представителями Парижа не были друзья Марата и Робеспьера. Глава Жиронды, Бриссо, был избранником Парижа. И любопытно, что в данный момент, именно Марат, повидимому, доносит на Париж.

В заметке, помещенной в нумере от 15 июня, он говорит: «Можно было бы подумать, что такие неверные народу депутаты, как депутаты от Парижа и Жиронды, продавшие государю важнейшие интересы отечества, намеревались окружить себя двадцатью тысячами национальных гвардейцев из департаментов против мщения двора и заговоров контр-революционеров; но в таком случае они позаботились бы о том, чтобы выбор этих гвардейцев производился массою народа, а не был предоставлен военному комитету, состоящему исключительно из офицеров контр-революционеров. Я как-то сказал, что партия депутатов Жиронды и Парижа была всемогуща. Я прибавил, что она играла руководящую роль в Собрании, и это еще верно; но не следует думать, что она является душою проводимых ею гибельных декретов; конечно, нет: она только предлагает их: это доказывается тем, что бо́льшая часть декретов, предлагаемых этими депутатами, рассчитана на то, чтобы доставить торжество врагам Революции, вполне восстановить деспотизм и подвергнуть их самих его яростным преследованиям. Итак, эта преступная партия, столь гнусно продавшаяся двору, является игрушкою Тюльерийского кабинета, который ловко заставил ее способствовать своим заговорам, а в конце концов погубит ее, чтобы отомстить, когда наступит подходящий момент...». Марат уже не идет так далеко в своих обвинениях. Он уже не обвиняет «партии депутатов от Жиронды и от Парижа» в том, что они систематически действуют в пользу двора.

Он обвиняет ее в том, что она одурачена двором и является игрушкою в руках того двора, которому она предалась. И если Марат хочет сказать этим, что двор внушил министрам жирондистам мысль созвать двадцать тысяч человек, то он грубо ошибается.

Робеспьер также высказал в 5-ом номере «Защитника Конституции» длинные возражения против проекта Сервана. Если этих двадцать тысяч человек собирают для борьбы против внешних врагов, то зачем же устраивать военный лагерь так далеко от границы? А если их собирают против внутренних врагов, то почему же не доверять революционному населению Парижа? «Каких разбойников нам следует бояться? По моему мнению, всего опаснее лицемерные враги народа, изменяющие общественному делу и попирающие принципы Конституции! Это те гнусные и жестокие интриганы, которые стараются все расстроить, чтобы безнаказанно раскрадывать государственные доходы, чтобы принести в жертву своему честолюбию и своей жадности и общественное достояние и самую Конституцию.

«Но армией нельзя победить таких врагов. Что я говорю? Когда-нибудь армия может достигнуть господства над самим Законодательным Корпусом, рано или поздно стать орудием партии; ею могут воспользоваться для угнетения народа, для его порабощения, для задуманного и уже начатого преследования ревностнейших патриотов, не вступающих в сделки ни с одной партией. Предложенный способ избрания может служить доказательством гражданских принципов министерства, но он нисколько не устраняет опасности. Интриганы и невежды могут овладеть избирательною урною; особенно в такое время, когда все партии так сильно волнуются.

«Несомненно, опыт уже научил нас довольно многому относительно этого: он доказал нам, как легко еще ввести в заблуждение и соблазнить тех, которые не были подкуплены. Слабый или невежественный человек и злой человек одинаково опасны; и тот и другой могут стремиться к одной и той же цели под руководством интриганов и коварных людей. Все эти неудобства увеличиваются, когда дело идет о вооруженном отряде. Гордость силою и групповой дух являются почти неизбежным камнем преткновения. Руссо сказал, что нация перестает быть свободною с тех пор, как она назначила представителей. Я далеко не соглашаюсь с этим принципом без ограничений..., но я, не колеблясь, утверждаю, что, с того момента, когда безоружный народ предоставил свою силу и свое спасение вооруженным корпорациям, он является рабом.

«Я утверждаю, что наихудшим видом деспотизма является военное правительство. Люди, возражавшие на эти общие политические замечания указанием на патриотизм департаментов, уклонялись от разрешения вопроса, так как те опасности, о которых я говорил, вытекают из самой природы вещей. Кто более меня выражал уважение к характеру французской нации, но разве явятся целые департаменты? Явятся лица, нам еще совершенно неизвестные, и, при таком положении дел, не требует ли от нас политическое благоразумие, чтобы мы приняли в расчет все возможные последствия страстей и человеческих ошибок?»

Все это очень неясно и производит несколько раздражающее впечатление. Ведь все эти возражения направлены не против военного лагеря из 20.000 человек. Они направлены против всякого применения военной силы, т.-е. против самой войны. А в данный момент она была об'явлена и начата: и Робеспьер не предлагал отказаться от защиты французских границ. Но все проекты Жиронды представлялись подозрительными и заранее осужденными.

По правде сказать, этот проект был театрален и в то же время неполон. Неясно, для чего служило бы это скопление вооруженных делегатов во время большой внутренней и внешней опасности. Повидимому, Жиронда, несколько разочарованная первыми военными неудачами, желала обмануть расслабленную

страну парадными демонстрациями. Однако в некоторых отношениях мысль Сервана была удачна, поскольку в ней заключались зародыши дальнейшего развития: призвать вооруженную делегацию от нации значило, как мы сказали, призвать уже самую нацию. И кто знает, не вызвала ли мысль о призыве Франции для надзора за королевскою властью великого движения марсельцев к Парижу перед 10 августа?

Робеспьер очутился в довольно неприятном положении. Как раз в то же время, когда он составлял вышеупомянутую запутанную и неясную речь против проекта Сервана, штаб парижской национальной гвардии также высказался против проекта. Но штаб был «лафайетистским». Он утверждал, что министры желали лишить хорошую парижскую национальную гвардию, верную Конституции и королю, занимаемого ею положения; он возбуждал самолюбие парижских национальных гвардейцев и вскоре подал Собранию петицию, подписанную 8.000 лицами. Итак, вдруг оказалось, что Робеспьер согласен, по крайней мере в выводах, с своим врагом, Лафайетом, на которого он указывал, как на человека, являвшегося наиболее опасным для Революции.

«В тот момент, когда я пишу,—прибавил он, несколько смущенный и раздосадованный, — штаб парижской национальной гвардии только что подал против оспариваемого мною проекта петицию, вызванную *диаметрально противоположными мотивами*. (Курсив принадлежит ему.)

«Я сделал из этого тот вывод, что истина не зависит ни от личных интересов, ни от временных обстоятельств. Я ссылаюсь на время и на опыт, которые слишком часто и бесполезно оправдывали меня с тех пор, как началась Революция».

Как время могло бы решить вопрос о правильности столь неясных «ссылок»? И в самом деле, то неприятное положение, в котором очутился Робеспьер, благодаря этому неожиданному совпадению его выводов с выводами Лафайета, не оправдывало этого обращения к будущему. Какое раздражительное и болезненное самолюбие!

Но вот «*Французский Патриот*» грубо и бестактно обвиняет Робеспьера в том, что он оказывается единомышленником контр-революции. Пишет Жирэ-Дюпрэ, но он является помощником Бриссо.

«Г. Робеспьер окончательно сбросил с себя маску. Являясь достойным соперником австрийских руководителей Комитета Национального Собрания, он, с свойственною ему ядовитостью, говорил с трибуны у якобинцев против декрета, предписывающего набор двадцати тысяч человек, которые должны явиться в Париж к 14 июля. Итак, в то время как сторонники системы двух палат стараются возбудить против Собрания богатых капиталистов и крупных собственников, г. Робеспьер пользуется остатками своей популярности для того, чтобы ожесточать против него ту драгоценную часть народа, которая так много сделала для Революции; итак, в то время как австрийская партия готовится употребить все усилия для того, чтобы побудить короля отказаться утвердить мудрый декрет Законодательного Собрания, «*Защитник Конституции*» изо всех сил старается подготовить общественное мнение к этому отказу, более пагубному, чем все предшествовавшие ему».

Таким образом они с озлоблением нападали друг на друга. В данный момент революционный инстинкт страны был на стороне Жиронды, потому что она, по крайней мере, внушала иллюзию действия.

Многие из петиционеров, подписи которых выманил фельянистский штаб национальной гвардии, взяли их назад. Оставался неразрешенным только один вопрос: что сделает король? В мае он согласился на распущение своей гвардии, подозреваемой в контр-революционности. Из'явит ли он свое согласие на декреты против священников и на формирование под Парижем революционного военного лагеря?

Несомненно, он пожелал бы увёртываться, тянуть. С тех пор как у него были министры, решительно стоявшие на стороне Революции, ему становилось очень трудно пользоваться своим veto: он мог сопротивляться, лишь рискуя вызвать кризис, котрый с каждым днем становился бы все более и более опасным. Когда Малле-дю-Пан писал: «последняя перемена в министерстве неизбежно вызывает упразднение повелительного veto, окружая трон агентами партии, диктующей декреты», он удивительно понял смысл и революционное влияние вступления Жиронды в министерство, между тем как Робеспьер, держась своей изумительно недеятельной и выжидательной политики, делал вид, что он совершенно не замечает значения этого события.

Министры-жирондисты, побуждаемые и поддерживаемые революционным движением, не могли, не губя себя, допустить, чтобы король уклонился: Ролан взялся пред'явить к королю требование в своем знаменитом письме к нему. Говорили, что нужно было большое мужество для того, чтобы написать это письмо; и я, конечно, знаю, что в это время (10 июня) престиж королевской власти, еще не подвергавшейся испытанию 20 июня, еще мог казаться огромным.

Но, несмотря на все это, король, окруженный враждебными силами, был уже очень ослаблен, и в худшем случае Ролан рисковал тем, что он будет уволен в отставку и, перестав быть министром, приобретет огромную популярность. Суровые и несколько тщеславные Роланы считали это выгодным для себя. Их истинная заслуга заключается в том, что они ускорили события, пред'явив королевской власти решительное требование.

Это письмо не является республиканским манифестом. Наоборот, Ролан заявляет, что Конституция может существовать с условием, чтобы король применял ее в революционном духе; чтобы он перестал мешать законодательной власти. Но, в осторожных выражениях, в этом письме была высказана грубая дилемма: «или король фактически откажется от применения veto, или Конституция погибнет». И в том и в другом случае министр-жирондист, конечно, предлагает или навязывает королю изменение Конституции.

Достижение власти Жирондою, так сказать, сузило то поле битвы, на котором сталкивались Революция и королевская власть... «Декларация Прав человека стала политическим евангелием, а французская конституция—религией, за которую народ готов погибнуть».

«Поэтому усердие иногда доходило до того, что оно дополняло закон, и когда последний оказывался недостаточно строгим для обуздания возмутителей, сами граждане позволяли себе наказывать их. Таким образом имущества эмигрантов подвергались опустошениям, вызванным мщением; поэтому многие департаменты вынуждены были строго наказывать священников, осуждаемых общественным мнением, жертвами которого они стали бы.

«При этом конфликте разгорелись страсти. Отечество не такое слово, которым тешилось бы причудливое воображение: оно является существом, для которого были принесены жертвы, к которому люди все более и более привязываются благодаря их заботам о нем. Отечество было создано с большими усилиями: оно возвышается среди тревог; люди любят его столько же за то, что им приходится для него делать, как и за то, что они надеются от него получить. Все нападения на отечество усиливают внушаемый им энтузиазм. До какой степени может дойти этот энтузиазм в тот момент, когда враждебные элементы, собравшиеся за границей, сговорятся с людьми, интригующими внутри страны, чтобы нанести гибельнейшие удары?

«Волнение чрезвычайно сильно во всех частях государства; оно вспыхнет с чрезвычайной силой, если только не удастся, наконец, успокоить его благодаря доверию к намерениям вашего величества, подкрепленному доказательствами; но это доверие не установится благодаря уверениям; оно могло бы основываться уже только на фактах.

«Для французской нации очевидно, что Конституция может осуществляться, что правительство будет иметь всю нужную для него силу с того момента, когда ваше величество, безусловно желая торжества этой Конституции, поддержит Законодательный Корпус всей силой исполнительной власти, устранит всякие предлоги для возбуждения народного беспокойства и заставит недовольных отказаться от их надежд.

«Например, были изданы два важных декрета: оба они имеют существенное значение для общественного спокойствия и для спасения государства.

«То обстоятельство, что утверждение этих декретов замедляется, вызывает недоверие: если это замедление будет продолжаться, оно вызывает недовольство; я должен сказать, что, при нынешнем возбуждении умов, недовольство может повлечь за собой всякие последствия. Уже не время откладывать, уже нельзя даже и медлить. В умах произошла Революция; она будет сопровождаться кровопролитием и будет скреплена кровью, если благоразумие не предотвратит тех бедствий, которых еще можно избежать.

«Я знаю, что можно воображать, что крайними мерами можно всего достигнуть и все обуздать; но после того, как были бы приняты насильственные меры, чтобы оказать давление на Собрание, после того как эти меры вызвали бы ужас в Париже, раздоры и оцепенение в его окрестностях, вся Франция восстала бы, негодуя и, сама себя терзая в ужасах гражданской войны, она проявила бы ту мрачную энергию, которая порождает добродетели и преступления и всегда оказывается гибельной для тех, кто возбудил эту энергию.

«Существует тесная связь между спасением государства и счастьем вашего величества; никакая сила не в состоянии разделить их; жестокие потрясения и неизбежные бедствия угрожают вашему трону, если вы сами не утвердите его на основах Конституции и не укрепите его благодаря миру, который соблюдение Конституции в самом деле должно нам обеспечить...

«Поведение священников во многих местностях, те предлоги, которые недовольные находили в фанатизме, вызвали мудрый закон против этих возмутителей; пусть ваше величество утвердит этот закон: этого требует общественное спокойствие, и это нужно для спасения священников. Если этот закон не войдет в силу, то департаменты будут вынуждены заменять его, как они повсеместно делают, насильственными мерами, а раздраженный народ заменит его насилиями.

«Попытки наших врагов, происходившие в столице волнения, чрезвычайно сильное беспокойство, вызванное поведением вашей гвардии и еще поддерживаемое теми из'явлениями одобрения, которое некоторые лица побудили ваше величество выразить ей в прокламации, в самом деле не соответствующей требованиям политики при данных обстоятельствах; положение Парижа и его близость к границам выяснили необходимость сформировать военный лагерь вблизи от Парижа. Эта мера, мудрость и неотложность которой очевидны для всех здравомыслящих людей, до сих пор еще не утверждена вашим величеством. Зачем же замедлением придавать этому утверждению вид поступка, совершаемого неохотно, когда быстрое утверждение заслужило бы признательность?

«Попытки штаба парижской национальной гвардии воспрепятствовать этой мере уже вызвали подозрения в том, что он действовал по внушению высшей власти: напыщенные речи некоторых крайних демагогов возбуждают подозрение в том, что они находятся в сношениях с лицами, заинтересованными в ниспровержении Конституции; общественное мнение уже компрометирует намерение вашего величества; еще некоторое замедление,—и опечаленный народ сочтет своего короля другом и соучастником заговорщиков. Силы небесные! Неужели вы поразили сильных мира сего ослеплением? И неужели у них всегда будут лишь такие намерения, которые их погубят?

«Я знаю, что у трона редко внемлют суровому голосу истины: я знаю также, что революции становятся необходимыми именно вследствие того, что так редко раздается этот голос; а главное, я знаю, что я должен высказать это вашему величеству не только, как гражданин, повинующийся законам, но и как министр, удостоенный вашего доверия, или выполняющий функции, предполагающие это доверие».

Это был выстрел, направленный прямо в короля и в королевскую власть. Письмо возлагало на короля ответственность за все волнения и оправдывало всякие насилия в том случае, если бы король не уступил. Предавались ли Ролан, подписавшийся под этим письмом, г-жа Ролан, составившая его, временно иллюзии, что оно подействует на короля? Будучи написано в таких резких выражениях, оно могло только раздражить его. Поэтому Роланы написали это письмо, главным образом, для того, чтобы избавиться от падавшей на них ответственности, они тщательно хранили его копию, чтобы опубликовать ее при удобном случае и сделать из этого письма нечто вроде манифеста ко всей Франции.

Но производит странное впечатление и хорошо характеризует узкую гордость, дух партийности, благодаря которым действия жирондистов становились мелочными, то обстоятельство, что в этом торжественном письме Роланы не забывают сделать донос на своих соперников. Так, они называют демагогами Марата и Робеспьера. С бесстыдным лицемерием они обвиняют Марата и Робеспьера в потворстве двору.

В действительности же, разве можно представить себе что-либо «более демагогическое» в их смысле слова и «более крайнее», чем их собственное письмо? Что такое? Вот министр внутренних дел, охранитель общественного порядка и Конституции, заявляющий королю в письме, назначенном для обнародования, что если король фактически не откажется от права v e t o, то против него восстанет вся негодующая Франция. Он возвещает и заранее оправдывает Революцию, нападение на трон. Он также извиняет или даже восхваляет насилия против эмигрантов и мятежных священников, производимые народом, прибегающим к ним за недостатком законов, которые оказываются бессильными или бездействуют! Дальше некуда итти: это уже как бы теоретическое предисловие к будущим сентябрьским убийствам. И тот же самый министр-жирондист, который подписывает этот манифест, возвещающий Революцию и насилие, указывает на преувеличение, на крайности «демагогов»! Очевидно, только жирондисты являлись государственными людьми; только у них было чувство меры; и то, что, будучи написано другими, являлось демагогией, неистовством или изменой, оказывалось умеренностью, благоразумием, дальновидностью в их устах. Тогда же Робеспьер воображал, что только в его сознании и мысли имеется план Революции. Какая мелочность самолюбия и эгоизма при величии событий!

Король ответил лишением Ролана, Сервана и Клавьера их портфелей; это означало резкий разрыв с Жирондой. Как решился на это Людовик XVI? Очевидно, он неохотно призвал жирондистов в министерство. Несомненно, он сделал это, чтобы выиграть время, прикрыть себя популярностью якобинцев и дать государям возможность мобилизовать армию и вступить во Францию. И он, конечно, предполагал, что для сохранения своих жирондистских ширм он должен был бы согласиться на жестокие жертвы. Но все эти соображения, побуждавшие к отсрочкам, к уступкам, оставались в силе в июне.

Державы или не двигались вперед, или двигались очень медленно. Русская императрица Екатерина вызывала в Европе все большее и большее беспокойство своими происками относительно Польши. И 2 июня сам Ферзен писал к Марии-Антуанетте, чтобы сообщить о колебаниях, о существующих трудностях: «Образ действий Пруссии хорош: э т о — е д и н с т в е н н а я д е р ж а в а, н а к о т о р у ю в ы м о г л и б ы р а с с ч и т ы в а т ь. В е н а в с е

еще отстаивает проект раздробления и соглашения с конституционалистами. Действия Испании нехороши; я надеюсь, что действия Англии не окажутся еще хуже. Императрица жертвует вашими интересами ради Польши... Старайтесь продлить войну и не удаляйтесь из Парижа...

«Авангард прусской армии прибудет 9 июля. Вся армия будет там 4 августа. Она будет оперировать на Мозеле и на Маасе, эмигранты—со стороны Филиппсбурга, австрийцы—у Бризгау. Герцог Брауншвейгский прибудет 5 июля в Кобленц, когда все соберутся там. Герцог Брауншвейгский двинется вперед, обойдет укрепленные города и с 36.000 отборных солдат пойдет прямо на Париж...»

Итак, повидимому, король и королева должны были бы, следуя своему плану притворства и измены, только смело утверждать все то, что декретировало Собрание, чтобы избежать внутренних столкновений до тех пор, пока не произойдет вторжение. Королева продолжала прибегать к прежним уловкам в своих сношениях с иностранцами, поскольку это было возможно для нее при строгом надзоре, окружавшем Тюльерийский дворец. При посредстве Ферзена и под видом деловой переписки она сообщала государям относительно политических и военных дел все подробности, которые она могла передавать в кратких шифрованных депешах, написанных дрожащею рукой. 5 июня 1792 г. Мария-Антуанетта пишет Ферзену:

(Не зашифровано.)

«Я получила ваше письмо № 7; я тотчас же взяла ваши фонды обратно от товарищества Боскари. Нельзя было терять времени, так как вчера было об'явлено банкротство, а сегодня утром о нем было сообщено на бирже. Говорят, что кредиторы много потеряют. Вот в каком состоянии различные фонды, находящиеся в моих руках».

(Шифром.)

«Отдано приказание, чтобы армия Люкнера немедленно перешла в наступление: он возражает против этого, но этого желает министерство. В армии недостаток во всем и величайший беспорядок».

(Не зашифровано.)

«Вы сообщите мне, что я должна сделать с этими фондами. Если бы я могла располагать ими, то я нашла бы для них выгодное назначение, приобретя несколько прекрасных имений, принадлежавших духовенству; что бы ни говорили, это — наилучшее употребление денег. Вы можете ответить мне тем же путем, которым я пишу вам.

«Ваши друзья находятся в довольно хорошем положении. Их потеря очень огорчает их; я делаю все, что могу, чтобы их утешить. По их мнению, им нельзя будет вернуть свое состояние или, по крайней мере, это окажется возможным лишь в очень далеком будущем. Постарайтесь утешить их; они нуждаются в этом; их положение становится с каждым днем все более и более ужасным. Прощайте. Они кланяются вам. Примите уверение в моей совершенной преданности».

Замечательно, что даже после об'явления войны Австрии, даже в июне, умеренные «конституционалисты» продолжают свои тайные переговоры с венским двором, и это свидетельствует об их неблагоразумии и бессовестности, граничащих с изменой! Мария-Антуанетта бессовестно обманывала их, уверяя их, что она одобряла их последнюю примирительную попытку и что она предлагала государям лишь обеспечить честное применение конституции. 7 июня Мария-Антуанетта пишет Ферзену:

(Шифром.)

«Мои конститут. (конституционалисты) отправляют одного человека в Вену, он поедет через Брюссель; следует предупредить г-на де-Мерси, чтобы он обращался с ним так, как будто бы королева сообщила о его приезде и рекомендовала его, и вести с ним переговоры в смысле врученного мною ему мемуара. Желают, чтобы он написал об этом в Вену, сообщил об этом... и сказал, что придерживаются плана, составленного венским и берлинским дворами, но что нужно делать вид, что разделяют взгляды конституционалистов, а главное, убедить, что это соответствует желаниям и требованиям королевы; эти меры очень нужны. Скажите г-ну де-Мерси, что написать ему не могут, находясь под неослабным надзором».

(Не зашифровано.)

«Вот в каком положении находятся ваши дела с Боскари и Шолем, о банкротстве которых я уведомила вас в своем последнем письме. Я жду известий из Ла-Рошели, чтобы сообщить вам, в каком положении ваши дела с Даниелем Гаршэ и Жаком Гибером; насколько мне известно, их банкротство не имеет большого значения. Лучше было бы, если бы вы купили имущества, принадлежавшие духовенству, как я вам советовала, а не поместили ваших фондов на проценты у банкиров. Если хотите, я употреблю таким образом фонды, причитающиеся вам в течение ближайшего месяца. Ваши №№ 7 и 8 получены мною».

Какая трагическая путаница! В сообщениях, будто бы касающихся денежных дел, оказываются вставки, в которых содержатся предательские поручения! И Мария-Антуанетта усиленно старается завлекать конституционалистов: она предупреждает, что в Вене не следует разочаровывать их. Нужно, чтобы они продолжали верить, что король и королева, освобожденные иностранцами, будут править конституционно. Таким образом их иллюзия, несомненно, смягчит первое впечатление, произведенное нашествием. Королева надеется, что они будут, так сказать, доверчиво ждать, и что это облегчит наступление иностранцев на Париж. Опять-таки, почему же, ведя эту столь сложную игру, король и королева не решаются попытаться обмануть и жирондистов, подобно тому, как они обманывают конституционалистов? Почему они не продолжают, утверждая декреты, пользоваться нужным им революционным кредитом?

Может быть, тон письма Ролана показался нестерпимым Людовику XVI, у которого иногда вдруг пробуждалась гордость. Вероятно, Людовик XVI считал нечестивым поступком выдачу священников хотя бы даже вынужденным и временным утверждением декрета. Наконец, проект революционного военного лагеря казался ему проделкою жирондистов, клонившеюся к тому, чтобы окружить короля и увезти его из Парижа.

Именно потому, что цель этого проекта оставалась невыясненной для всех, король и королева предполагали у министров заднюю мысль. В Париже королевская власть еще могла защищаться,—туда стекались роялисты со всей Франции: все лица, чувствовавшие, что в провинции они слишком на виду и что им грозит там слишком явная опасность, скрывались в большом городе, в котором было множество темных элементов. И, конечно, в день смелого нападения они сумели бы сплотиться вокруг королевского знамени. Если Тюльерийский дворец являлся уже почти тюрьмою, то он был также и своего рода крепостью. В Париже король еще продолжал быть королем. Пусть иностранцы, грозно наступая, перейдут границу; пусть герцог Брауншвейгский с небольшой отборной армией, о которой говорит Ферзен, форсированным маршем прибудет в Париж: тогда, если король еще будет в Париже, он получит возможность вести с победителями переговоры

от имени Франции. В своем дворце он явится государем и для других государей и для своего народа.

Итак, представляется естественным, что революционеры собираются увезти короля из Тюльери и из Парижа. Они доставят его в военный лагерь, а затем увезут его на юг Франции, южнее Луары. Таким образом иностранцы не будут иметь возможности вести переговоры с королем Франции. Таким образом, даже если толпы иностранцев проникнут в столицу, захваченную врасплох, им не с кем будет вести переговоры, и вскоре они будут, так сказать, поглощены громадными рассеянными силами революции.

Вот тот план, который Мария-Антуанетта и Людовик XVI приписывали министрам-жирондистам. Этим об'ясняется совет, данный Ферзеном 2 июня, еще до того, как Серван изложил свой проект перед Собранием: «главное, не покидайте Парижа». Ферзен повторяет этот совет в своем письме к Марии-Антуанетте 11 июня:

«Боже мой! как меня огорчает ваше положение, я всей душой скорблю о нем. Старайтесь только оставаться в Париже, и к вам придут на помощь».

В письме от 13 июня из Брюсселя к своему государю, шведскому королю, Ферзен точнее передает опасения Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

«Государь, я только что получил очень печальные известия из Парижа. Положение их величеств с каждым днем становится все ужаснее, и они считают свое избавление невозможным или, по крайней мере, очень далеким. Якобинцы с каждым днем становятся все более и более влиятельными и они овладели всем благодаря их позорным для французской нации престижу и подлости, потому что в сущности их ненавидят, и они возбуждают очень сильное недовольство. Они намереваются увезти с собой их величества внутрь королевства и опереться на армию, которую они постарались формировать на юге, и которая состоит из марсельской армии и из всех разбойников из Авиньона и других провинций. Как ни противоречит этот план истинным интересам города Парижа, сознающего это противоречие, он, конечно, мог бы удасться, в особенности после распущения королевской гвардии, так как с тех пор у буржуа и у той части национальной гвардии, которая захотела бы воспротивиться этому, уже нет ни начальников, ни об'единяющего центра, и они попрежнему будут охать, отчаиваться и ни во что не вмешиваться».

Не подлежит сомнению, что, боясь быть увезенным отрядом, который явился бы из революционного лагеря, Людовик XVI и отказался утвердить проект, даже рискуя вызвать этим резкий разрыв с Жирондой. Увольнение трех министров-жирондистов в отставку вызвало сильную тревогу. При чтении письма Ролана в Собрании раздавались громкие аплодисменты; оно было разослано в департаменты.

Собрание вотировало, что нация выражает сожаление по поводу отставки Ролана, Сервана, Клавьера. Однако не последовало открытого и грубого об'явления войны против королевской власти. Начать движение пришлось не политическим вождям или, как тогда выражались, «руководителям общественного мнения». Такие демократы, как Робеспьер, не очень жалели об удалении Жиронды. И как поднять народ по поводу увольнения в отставку министров-жирондистов после того, как часто говорилось, что достижение ими власти было несчастьем для Революции? К тому же, если бы началось большое народное движение для протеста против увольнения в отставку министров-жирондистов, то Жиронда даже стала бы центром Революции, а это было бы очень неприятно для Робеспьера. Поэтому он старался успокоить раздраженный народ, убедить его, что «волноваться из-за нескольких индивидуумов» было бы недостойно его. Он пишет в «Защитнике Конституции» по поводу заседания 13 июня в якобинском клубе:

«Увольнение министров в отставку вызвало в обществе сильное волнение: о нем говорили, как об общественном бедствии и как о новом доказательстве злонамеренности врагов свободы. Некоторые члены клуба, в том числе несколько депутатов Национального Собрания, очень горячились. Я присутствовал на этом заседании. После того как Учредительное Собрание перестало существовать, я продолжал довольно усердно посещать это общество, будучи уверен, что хорошие граждане не являются лишними на таких патриотических собраниях, которые могут оказывать благотворное влияние на успехи просвещения и на развитие духа общественности, и я боролся как против врагов Революции, которые желали бы сокрушить драгоценные опоры свободы, так и против интриганов, которые могли бы составить проект, извратить их дух, чтобы обратить их в орудия честолюбия и личных интересов. Если я иногда чувствовал, что эта борьба тяжела, то до сих пор я мог успешно вести ее благодаря чистым и бескорыстным гражданским добродетелям большинства тех граждан, из которых состоит это общество. Характер и резкость прений, начавшихся по поводу того, о чем я говорю, побудили меня выразить свое мнение, а нынешние обстоятельства делают для меня почти обязательным изложить его в этом труде».

Ах! Какая постоянная забота о театральном эффекте! Какая навязчивая мысль о *самом себе*! Итак, чтобы унять революционную агитацию якобинцев, важным недостатком которой являлось то, что она казалась жирондистской агитацией, Робеспьер говорит:

«Ораторы, говорившие до меня, полагают, что отечество в опасности; я разделяю их мнение, но я не согласен с ними относительно причин и средств. Отечество в опасности, когда ему грозят внешние враги и в то же время оно страдает и от внутренних раздоров; оно в опасности, когда нарушаются принципы общественной свободы; когда не уважается индивидуальная свобода; когда правительство нехорошо приводит в исполнение законы, а те, которые должны беспрестанно контролировать его, не выполняют этой обязанности или лишь отчасти выполняют ее. Отечество в опасности, когда сильные преступники остаются безнаказанными, слабые угнетаются, друзья свободы преследуются; когда интриги заменили принципы, а дух партийности вытесняет любовь к отечеству и к свободе. *Отечество в опасности, когда те, которые об'являют себя его защитниками, более заботятся о назначении министров, чем о законодательстве.*

«Отечество в опасности, но разве эта опасность возникла только сегодня? *И не замечают ли этого только в тот день, когда происходит перемена в министерстве и в положении или в надеждах друзей некоторых министров? Итак, почему же именно в этот день вдруг опять проявляют пылкую энергию, чтобы вызвать сильное возбуждение в Национальном Собрании и в общественном мнении? Разве из всех событий, которые могут иметь значение для общественного спасения, увольнение в отставку г.г. Клавьера, Ролана и Сервана всего более заслуживает того, чтобы им заинтересовались хорошие граждане? По моему мнению, наоборот, спасение отечества зависит не от особы какого бы то ни было министра, а от соблюдения принципов, от развития духа общественности, от мудрости законов, от неподкупной добродетели представителей нации, от могущества самой нации.*

Да, следует откровенно сказать, что каковы бы ни были имена и идеи министров, каково бы ни было министерство, всякий раз, когда Национальное Со-

брание будет мужественно стремиться к добру, оно всегда окажется достаточно сильным для того, чтобы принудить министерство держаться конституционного образа действий. Наоборот, что произойдет в том случае, если Собрание слабо, если оно забывает о своих обязанностях или о своем достоинстве? В таком случае общественное дело никогда не будет преуспевать. Итак, вы, сегодня возбуждающие тревогу и сумевшие так быстро взволновать Национальное Собрание, когда дело идет о перемене в министерстве, вы можете оказывать в нем такое же влияние на все решения, имеющие значение для общего блага; спасение отечества в ваших руках; вам достаточно будет проявить столь же активный интерес к этому вопросу, как тот, который вы проявляете сегодня.

Для представителей нации предпочтительнее контролировать министров, чем назначать их. Выгода, доставляемая назначением министров, ослабляет надзор, эта выгода может ввести в заблуждение или даже усыпить патриотизм. Она всего менее благоприятна для энергии духа общественности; она гибельна для того духа, который всегда должен одушевлять Общество Друзей Конституции. С тех пор как образовалось это министерство, которое назвали якобинским, мы замечаем ослабление и дезорганизацию общественного мнения; повидимому, доверие к министрам заменило все принципы; любовь к местам, повидимому, заменила в сердцах многих мнимых патриотов любовь к отечеству, и даже это общество разделилось на две части: на приверженцев министров и на приверженцев Конституции. Патриотические общества гибнут, коль скоро они становятся орудием честолюбия и интриг. Друзья свободы и представители народа не могут ослабеть, опираясь на вечные принципы справедливости, но они легко обманываются, надеясь на недолговечных министров тогда, когда дело идет о судьбе нации. Вспомните, что я излагал здесь эту доктрину несколько месяцев тому назад и что я предсказывал все эти бедствия, когда уже обнаруживалось намерение некоторых депутатов добиться назначения своих креатур на министерские места.

К тому же, когда хотят вызвать движение французского народа, следует, как мне кажется, предлагать ему достойные его мотивы. Каковы ваши мотивы? Непосредственные посягательства на свободу? Пусть Национальное Собрание укажет на них всей Франции, сами вы укажите на них Национальному Собранию. Восстать на защиту своего собственного дела достойно великой нации; но только порабощенный народ может волноваться из-за ссоры нескольких индивидуумов и из-за партийного интереса. Для самой свободы существенно важно, чтобы нельзя было подозревать народных представителей в желании взволновать государство из-за

столь постыдных мотивов. Предполагает ли увольнение в отставку трех министров существование гибельных проектов? Следует разоблачить их; следует строго и беспристрастно осудить их,—таков долг народных представителей. Разве они обязаны возбуждать в нас пламенную любовь то к г. Дюмурье, то к г. Нарбонну, г. Клавьеру, г. Ролану, г. Сервану; возбуждать нас то в пользу министров, то против них, и связывать судьбу Революции с их опалой или с их счастьем? Я признаю лишь принципы и общественный интерес; я знать не хочу никаких министров; слова не вызывают во мне ни энтузиазма, ни страсти, в особенности слова тех людей, которые уже не раз обманывались, которые в течение одной недели так поразительно противоречат себе относительно одних и тех же предметов и относительно одних и тех же людей».

В этом обнаруживается несравненная бессовестность. Робеспьер забывал, что образование министерства из жирондистов впервые серьезно поколебало королевское veto и стало угрожать этому veto, т.-е. высшей контр-революционной силе. Он забывал, что в данный момент дело шло вовсе не о пререканиях нескольких министров и не об интересах нескольких людей, а о политических соображениях, вызвавших их увольнение в отставку. Они были уволены в отставку за то, что они пожелали осуществления декретов Собрания против мятежных священников, за то, что они пожелали добиться того, чтобы была сформирована революционная сила, за то, что они почти угрожающим тоном заявили королю, что он должен честно способствовать осуществлению желаний Законодательного Собрания. Это была настоящая борьба, и откладывать ее под тем предлогом, что к ней могли примешиваться имена или даже интриги некоторых лиц, значило отказываться от всяких поводов к революционным действиям. Итак, Робеспьер и его друзья говорили: бездействие, ожидание, осторожность.

Жиронда также находилась в очень затруднительном положении. Как отомстить? Она могла сделать это, лишь возбудив уличное восстание, и она боялась, что народные силы перестанут слушаться ее. Кроме того, образ действий Дюмурье, которого она так превозносила и который, повидимому, вдруг изменил патриотам, ставил ее в ужасно фальшивое положение. В самом деле, Дюмурье, далеко не выражая солидарности с министрами, уволенными в отставку, старался сохранить власть без них и прикрыть короля.

Каков был его план? Хотел ли он, как утверждали еженедельник Прюдома и сам Бриссо, избавиться от своих товарищей, чтобы, с менее влиятельными людьми, усилить свою власть в качестве министра? Но не Дюмурье внушил Ролану мысль написать письмо, вызвавшее взрыв. И он вовсе не был настолько неблагоразумен, чтобы, едва достигнув власти благодаря Жиронде, умышленно ссориться с ней. На какие силы, на чью поддержку, он мог бы рассчитывать? Вероятно, он надеялся вежливыми приемами и приятной дипломатией добиться от Людовика XVI того, чего Ролан не мог добиться своею рассчитанной грубостью. Несомненно, Дюмурье намеревался выражать Людовику XVI чрезвычайное почтение, угодить ему, отделившись именно от оскорбивших его грубиянов, но заявить ему, что, ввиду общего возбуждения, он должен непременно утвердить декреты относительно священников и относительно военного лагеря. И какое двойное торжество, и пред королем и пред Революцией, ждало бы его, если бы он, с одной стороны, дал Людовику XVI возможность править без оскорбивших его министров, и, с другой стороны, доложил Собранию об утверждении декретов! Несомненно, таков был тайный расчет этого ловкого человека, и, как мне кажется.

он вовсе не был чрезмерно опечален тем ропотом, которым его сперва встретило Собрание после 13 июня, и выражениями негодования против него. Это как бы возвышало его в глазах короля, позволяло ему сильней повлиять на него.

Эти расчеты оказались ошибочными: Дюмурье скоро понял, что ему не удастся добиться от короля согласия на утверждение декретов или выманить у него это согласие. В таком случае он бесполезно, и не имея возможности защищаться, навлекал на себя гнев революционеров. После того как он в течение трех дней исполнял должность военного министра и тщетно пытался продолжать свою хитрую и смелую игру, он подал в отставку и попросил разрешения отправиться к границам. Но в течение нескольких дней Жиронда, которая, так сказать, поручилась за Дюмурье, была в ужасном затруднении, — у нее не было ни авторитета, ни вдохновения. Она пыталась спасти себя, резко нападая на Дюмурье. Бриссо пишет в среду 13 июня во «Французском Патриоте»:

«Человеку сколько-нибудь деликатному, патриоту, чувствующему, до какой степени согласие необходимо для наших военных успехов, неприятно приподнимать маску, скрывавшую вероломство министра, которого он уважал, и возбуждать и создавать себе новых врагов, но этого требует общественное спасение; следует сорвать все покровы, от прикосновения к которым удерживало воспоминание о временной близости; следует высказать всю истину, и я могу упрекнуть себя только в том, что я не сделал этого раньше.

«Читателю ясно, что я имею в виду господина Дюмурье, которому удалось уверениями в своем патриотизме, довольно хорошо выдержанным поведением в Вандее и своей репутацией военного с некоторыми дарованиями соблазнить патриотов и добиться того, что он был назначен министром по требованию общественного мнения.

«Начало его министерской деятельности соответствовало ожиданиям хороших граждан, но не трудно было убедиться в том, что его репутация незаслуженна, и что его патриотизм являлся лишь лицемерием. Здесь я не буду излагать тех подробностей, которые могли бы доказать это; я займусь этим в особых письмах, так как этот человек заслуживает того, чтобы его заклеймили так, чтобы можно было помешать ему быть опасным в будущем.

«Господин Дюмурье давно уже едва выносил, что г.г. Серван, Клавьер и Ролан являются его товарищами, во-первых, потому что он не руководил ими, как он надеялся, и затем потому, что они осмеливались порицать его за безнравственность, за то, что он покровительствовал подкупленным людям и за изменчивость его политики. Господин Дюмурье решился очернить их пред королем, и он легко достиг этого путем клевет и изображая их бунтовщиками и республиканцами, желающими все ниспровергнуть. Затем нужно было, чтобы представился такой случай, когда государю показалось бы, что его опасения могут сбыться. Этот случай представился по поводу декрета о военном лагере из двадцати тысяч человек: господин Дюмурье высказался против этого проекта; он дал понять, что этот план должен был способствовать осуществлению проекта бунтовщиков.

«Мы заметим здесь, что более двух месяцев тому назад и позднее именно сам господин Дюмурье не переставал повторять, что подобный военный лагерь был нужен для спасения Парижа в случае вторжения австрийцев и что он всего более желал быть начальником в этом лагере. По его настоянию, король лишил г. Сервана портфеля».

Все это очень слабо и неопределенно, и к вынужденным обвинениям против Дюмурье примешивается неясная защитительная речь в пользу короля, повидимому, введенного в заблуждение кознями министра иностранных дел. Было ли

это вызвано тем, что Жиронда участвовала в министерстве, или в этом сказывалось унижение, вызванное тем, что она оказалась обманутой, сыграв ту роль, которую она играла вместе с Дюмурье, или это свидетельствовало о страхе, внушаемом народным движением, которым она не руководила бы? Казалось, что обидный удар, нанесенный Жиронде королем, обессилил ее. Робеспьер злорадствовал по поводу инцидента Дюмурье: «Неделю тому назад едва решались говорить о министре Дюмурье без похвал; имена тех двух лиц, за увольнение которых в отставку его обвиняют, упоминались лишь после его имени, а когда я сам протестовал против этой системы угодливости, которую, повидимому, хотели ввести здесь, то не порицали ли меня громко те самые люди, которые хотят уничтожить самую Конституцию, чтобы отомстить ему? Я не хочу ни защищать, ни оправдывать его, ни все ниспровергать из-за дела его конкурентов.

«Только отечество заслуживает внимания граждан. Думают ли, что мы унизимся до такой степени, что будем воевать из-за выбора министров? И под чьими знаменами? Под знаменами тех, которые хвалили Нарбонна еще с большей энергией, чем Клавьера и его двух товарищей; тех, которые избавили его от представления отчетов, которые продолжают наперерыв защищать его, когда на него нападает вся Франция? Разве их суждения настолько непогрешимы и их проекты настолько благоразумны, что нам не разрешается выяснить, нет ли иных средств против наших бедствий, кроме потрясения государства? Разве не наступил такой момент, когда одна партия уже не скрывает намерения ниспровергнуть Конституцию? Уже было серьезно предложено, чтобы Национальное Собрание провозгласило себя Учредительным Собранием.

«Один депутат (г. Ласурс) публично сообщил нам, что ему было предложено войти в соглашение с частью Национального Собрания для того, чтобы осуществить этот проект. Уже повторяют вместе с врагами Революции, что Конституция не может существовать, чтобы избавить себя от ее поддержания. Но сделали ли люди, придумавшие эту систему, все, от них зависящее, для поддержания Конституции?... У Национального Собрания, говорят они, нет средств, необходимых для того, чтобы защищать ее. Я утверждаю, что у Национального Собрания есть беспредельная сила, что общая воля, непобедимая сила общественного духа, который оно ослабляет и возвышает по своему благоусмотрению, будет устранять все препятствия на его пути всякий раз, когда оно пожелает проявить всю ту энергию и все то благоразумие, которые оно способно проявить.

«Тщетно хотят соблазнить пылкие и непросвещенные умы приманкою более свободного правления и словом республика. Ниспровержение Конституции в данный момент может вызвать только гражданскую войну, которая приведет к анархии и к деспотизму. Как, во время войны, среди стольких гибельных раздоров нас хотят вдруг оставить без Конституции, без закона? Итак, нашим законом будет произвольное желание небольшого числа людей. Вокруг какого центра объединятся хорошие граждане? Чем будет руководиться общественное мнение? Какова будет власть Законодательного Собрания? Пожелав захватить власть, ему вовсе не принадлежащую, оно лишится той власти, которою оно облечено; его обвинят в том, что оно нарушило свою клятву поддерживать Конституцию; его обвинят в присвоении себе прав верховной власти; оно станет жертвою и орудием всех партий. Оно будет совещаться лишь окруженное штыками; оно будет только санкционировать волю генералов и военного диктатора. Мы увидим повторение среди нас ужасных сцен, происходивших в истории несчастнейших наций...

«Мы, бывшие надеждою Европы и предметом ее удивления, станем ее стыдом и причиною ее огорчения. У нас уже не будет того же самого короля, но у нас будет тысяча тиранов; вы будете иметь самое большее—аристократическое правление, установленное ценою величайших бедствий и чистейшей крови французов. Вот цель всех этих, уже так давно волнующих нас интриг. Что же касается меня, обреченного стать жертвою ненависти всех партий, против которых я боролся, обреченного стать жертвою мщения двора, мщения всех притворных друзей свободы, чуждого всем партиям, то я торжественно заявляю, что я постоянно буду отвергать всякие пагубные системы и всякие преступные проделки, и я уверяю свое отечество и вселенную в том, что я нисколько не буду способствовать наступлению тех бедствий, которые, как я вижу, готовы разразиться над ними».

Итак, как бы ни были сомнительны бессильные революционные стремления Жиронды, Робеспьер осуждал их. В данный момент его политика являлась очень недоверчивою и в то же время очень консервативною. Он желал, чтобы очень внимательно присматривали за двором, за генералами, но чтобы как можно меньше колебали конституционную систему. В сущности, Людовик XVI казался ему необходимою гарантией против большой партии заместителей. Стремиться к Республике — значило стремиться к аристократии или к военной диктатуре. Через два месяца после этого, 10 августа, королевская власть была ниспровергнута, и Робеспьеру пришлось применяться к новому режиму. Хочется сказать, что человеческий ум очень ограничен и что в своих неясных мыслях он редко точно прноравливается к ходу событий.

Много догадок и рассуждений, много опасений и надежд, и мало правды. Человеческий ум в разгар событий напоминает сырые дрова: много дыма и мало огня. Но в сущности, Робеспьер в продолжение всей Революции остается верным одной и той же мысли: истолковывать т о, ч т о е с т ь, в демократическом смысле, извлекать из того, что есть, как можно более свободы и равенства, но, по мере возможности, избегать потрясений и неожиданностей. В этом смысле, как бы парадоксально ни показалось это сближение, он, подобно Мирабо, является одним из наиболее демократических, а также и одним из консервативнейших революционеров.

Но ни нерешительность пришедших в замешательство и пристыженных жирондистов, ни хитрая осторожность Робеспьера не замедлили хода драматических событий. Собрание чувствовало, что Конституции грозит опасность отовсюду: с одной стороны, от контр-революционного заговора, с другой стороны—от натиска демократов и республиканцев. Оно не знало, как предотвратить столь многие опасности. 17 июня, по предложению Марана, оно постановило назначить чрезвычайную Комиссию Двенадцати, которой было поручено представить ему общий доклад относительно состояния Франции; но нерешительность Собрания обнаруживается в самых прениях и даже в декрете о назначении этой Комиссии. Собрание не знало, против правых или против левых должны быть направлены его удары, и в своем бессилии оно, повидимому, возвещало, что оно будет наносить удары во все стороны. «Собрание декретирует, что на нынешнем заседании будет назначена комиссия, состоящая из двенадцати членов, для всестороннего рассмотрения нынешнего положения Франции, и что она должна через неделю представить доклад относительно него и предложить средства спасти Конституцию, свободу и государство».

Оживление фельянов, перешедших в наступление, и их усилившаяся наглость ускорили наступление кризиса. Падение министров-жирондистов являлось торжеством «конституционалистов» фельянов. Прежде всего их сторонники были призваны в министерство. В продолжение нескольких дней можно было думать, что королю не удастся найти министров,—настолько ужасною казалась

предстоявшая в близком будущем ответственность. Однако в конце концов Ламеты уговорили нескольких подставных лиц согласиться: Шамбона был назначен министром иностранных дел, Лажар — военным министром, Террье-де-Монсьель, председатель юрского департамента,—министром внутренних дел. Жирондисты и робеспьеристы вдруг сблизились благодаря торжеству своих общих врагов. Но в особенности угрожающее, надменное вмешательство главы фельянов, Лафайета, на мгновение восстановило кажущееся согласие между Жирондою и Робеспьером. После падения Жиронды, Лафайет полагал, что решительное выступление умеренных остановило бы или даже подавило бы революционное движение. Из лагеря в Мобеже, где он состоял главнокомандующим центральной армией, он написал в Собрание письмо, датированное 16 июня, которое было прочитано в Собрании его председателем на заседании 18 июня.

Это письмо является манифестом задорного меморандума. В нем возвещается своего рода государственный переворот, который умеренные произвели бы против всех народных сил и пламенных революционеров. Популярность Лафайета сильно пошатнулась, особенно после событий на Марсовом поле, и его гордость и его тщеславие страдали. Кроме того, он, побуждаемый ложным чувством чести и ложным рыцарством, может быть, желал, оказав содействие ограничению королевской власти, защитить то, что от нее оставалось, от всякого нового нападения. Он являлся вождем умеренной буржуазии, средних классов, и ему казалось, что Революция не должна была итти дальше установившегося благодаря им равновесия. И он счел возможным говорить свысока, как будто он имел дело только с бессильною и презренною толпою, являвшеюся сильною лишь вследствие робости благоразумных людей.

Если бы он имел успех, если бы он склонил Францию к нетерпимому и задорному модерантизму, то Революция, лишенная своих живых сил, очень скоро была бы подавлена реакционерами. Итак, Собрание выслушало письмо Лафайета в трогательном молчании, вызванном ненавистью или удивлением и испугом.

«Господа, в тот момент, который я, может быть, слишком долго откладывал, когда я собирался обратить ваше внимание на важные общественные интересы и указать среди наших опасностей на поведение министерства, которое я давно уже обвинял в своей корреспонденции, я узнаю, что, разоблаченное благодаря существовавшим в нем разногласиям, оно пало жертвою своих собственных интриг, потому что наименее заслуживающий оправдания, наиболее запятнанный из этих министров (Дюмурье), несомненно, не упрочил своего двусмысленного и скандального положения в Королевском Совете, пожертвовав тремя товарищами, подчинявшимися его власти вследствие их ничтожества.

«Однако недостаточно, чтобы правительственная деятельность была избавлена от пагубного влияния в этом отношении. Общественному делу грозит опасность. Судьба Франции зависит, главным образом, от ее представителей; нация ждет от них своего спасения, но, выработав для себя Конституцию, она предписала им тот единственный путь, держась которого они могут спасти ее.

«Господа, будучи убежден в том, что как Права Человека являются законом для всякого Учредительного Собрания, так и Конституция становится законом для избранных на основании ее законодателей, я должен указать вам самим на слишком настойчивые попытки побудить вас уклониться от соблюдения этого правила, следовать которому вы обещали.

«Ничто не помешает мне воспользоваться этим правом свободного человека, выполнить эту обязанность хорошего гражданина, ни временные заблуждения мнения,—ибо что значат мнения, уклоняющиеся от принципа?—ни мое уважение к представителям народа,—ибо я еще более уважаю народ, высшим выражением воли которого является Конституция,—ни то доброжелательство, которое

вы постоянно проявляли по отношению ко мне, потому что я хочу сохранить его тем же способом, каким я его достиг, а именно непоколебимою любовью к свободе.

«Вам приходится действовать при затруднительных обстоятельствах. Франции угрожает внешняя опасность, и в ней происходят внутренние волнения. Между тем, как иностранные дворы возвещают недопустимый проект посягнуть на нашу национальную верховную власть и таким образом об'являют себя врагами Франции, внутренние враги, опьяненные фанатизмом или гордостью, питают несбыточную надежду и еще надоедают нам своим наглым недоброжелательством.

«Господа, вы должны обуздать их и вы будете в состоянии сделать это лишь постольку, поскольку вы будете действовать согласно Конституции, и окажетесь справедливыми. Вы, конечно, хотите этого... Но взгляните же, что происходит среди вас и вокруг вас. Можете ли вы не признаться самим себе, что одна партия,—и во избежание неопределенных обозначений, — что именно якобинская партия возбудила все беспорядки? Именно она громко сознается в этом. Эта секта, организованная, как особое государство в своей столице и в своих филиальных отделениях, слепо подчиняющаяся руководству нескольких честолюбивых вождей, образует среди французского народа, полномочия которого она захватывает, порабощая его представителей и его уполномоченных, отдельную корпорацию.

«Там на публичных заседаниях любовь к закону называют аристократией, а их нарушение патриотизмом. Там торжественно принимают убийц Дезилля, преступления Журдана находят панегиристов, там рассказ об убийстве, запятнавшем город Мец, опять-таки вызвал адские восклицания.

«Думают ли, что можно избежать этих упреков, хвастаясь австрийским манифестом, в котором упомянуты эти сектанты? Разве они стали священными потому, что Леопольд произнес их имя? И разве, будучи вынуждены бороться против иностранцев, вмешивающихся в наши раздоры, мы не должны освободить наше отечество от внутренней тирании?»

Лафайет хорошо понял, что нападки австрийского императора на якобинцев очень усиливали их. Казалось, что нельзя поразить их, не служа иностранцам. Он решительно отвергает это возражение и тотчас же, очень ловко, старается привлечь на свою сторону самих патриотов. Он утверждает, что министры-жирондисты и якобинцы оставили французские войска дезорганизованными. Он утверждает, что из ненависти к нему, Лафайету, Дюмурье отказал солдатам, защитникам отечества и Революции, во всякой помощи провиантом и оружием, без которых они не могли надеяться на победу. Итак, все партии, оспаривающие друг у друга руководящую роль в Революции, взывают к войскам. Итак, все они предъявляют друг другу убийственное обвинение в измене: Лафайет отвечает Бриссо, другу и покровителю Дюмурье, возбудившему обвинение против фельяна Делессара, обвиняя в измене самого Дюмурье, являвшегося до 15 июня сторонником Жиронды.

«Противопоставив, — пишет Лафайет, — всем препятствиям, всяким проектам, мужественный и постоянный патриотизм армии, которая, может быть, принесена в жертву интригам против ее начальника, я могу сегодня противопоставить этой партии корреспонденцию министра, достойное произведение его клуба; эту корреспонденцию, в которой все расчеты ложны, обещания напрасны, справки обманчивы или вздорны, советы вероломны или противоречивы; в которой сперва настаивали на том, чтобы я двигался вперед без предосторожностей,

нападал без оружия, а затем начали говорить мне, что сопротивление окажется невозможным, когда я с негодованием отверг это гнусное уверение».

И, польстив своей армии и национальным надеждам, Лафайет приходит к заключению, что для победы над своими внешними врагами Франции нужно только одно: подавить внутренних агитаторов.

«Конечно, в моей храброй армии недопустимо чувство страха. Здесь я нахожу патриотизм, энергию, дисциплину, терпение, взаимное доверие,—все гражданские и военные доблести. (Громкие аплодисменты большей части Собрания.) Здесь дорожат принципами свободы и равенства, чтут законы, собственность священна; здесь не знают ни клевет, ни партий... Но для того, чтобы мы, воины свободы, сражались с успехом, нужно... чтобы граждане, придерживающиеся Конституции, были уверены в том, что гарантируемые ею права будут добросовестно охраняться, и это приведет в отчаяние ее тайных или явных врагов».

«Не отвергайте этого желания, выражаемого искренними друзьями вашей законной власти. Будучи уверен в том, что никакой несправедливый вывод не может вытекать из какого-либо чистого принципа, что никакая тираническая мера не может служить делу, обязанному своею славою священным началам свободы и равенства, предоставьте уголовному суду возобновить свою деятельность, согласно Конституции; пусть для установления гражданского равенства, религиозной свободы вполне применяются истинные принципы.

«Пусть королевская власть будет неприкосновенна, так как она гарантирована Конституцией; пусть она будет независима, так как эта независимость служит одною из тех сил, результатом действия которых является наша свобода; пусть к королю относятся с почтением, потому что он облечен национальным величием; пусть он будет иметь возможность назначить министерство, не находящееся в рабской зависимости от какой-либо партии; если же существуют заговорщики, то пусть они погибнут, но пусть их поразит лишь меч закона.

«Наконец, пусть господство клубов, уничтоженное вами, уступит место господству закона, пусть, вместо их захватов, начнется непоколебимое и независимое выполнение установленными властями их обязанностей; пусть их разрушительные правила уступят место истинным принципам свободы, их сумасбродное неистовство—спокойному и постоянному мужеству нации, сознающей свои права и защищающей их; наконец, вместо их сектантских расчетов, пусть господствуют истинные интересы отечества».

Такова та программа, которую диктовал Собранию Лафайет, мятежный защитник Конституции, под скромным и законным названием петиции, но он делал это из военного лагеря в Мобеже и пользуясь тем авторитетом, которым он обладал в качестве главнокомандующего. Эту программу можно резюмировать следующим образом: отмена всех декретов против эмигрантов и неприсягнувших священников; свободное пользование королевским veto; строгие преследования всяких сборищ; уничтожение клубов, предание Дюмурье суду.

При тогдашнем состоянии Франции это был сигнал к контр-революции. И какие жалкие двусмысленности! Какая преступная забывчивость! Лафайет требовал уважения к Конституции; но когда veto парализовало действие тех законов, которыми защищалась Революция, не оказывалось ли veto, хотя и формально конституционное, нарушением Конституции? Лафайет доносил на жирондистов, как на противников конституционных законов; он делает вид, что не видит, или едва замечает возмущение мятежных священников, огромный заговор роялистов. Он хочет, чтобы к королю «относились с почтением», а в это самое время король ведет изменнические сношения с теми иностранными государями, против которых Лафайету поручено бороться. Не имелось вещественных доказательств этой измены, но если бы Лафайет не был ослеплен своим тщеславием и

своим честолюбием, если бы его недоверие и его ненависть не были направлены исключительно против демократов, он, конечно, признал бы участие короля и интригу двора в огромном внутреннем и внешнем заговоре против Революции.

Сперва Жиронда была как будто ошеломлена этим смелым шагом. Она даже не воспротивилась напечатанию письма Лафайета, но, когда центр и правая предложили разослать его 83 департаментам и армиям, поднялся Верньо. Он протестовал во имя свободы. Он напомнил, при ропоте большой части Собрания, что всякая петиция от какого-либо гражданина должна быть принята, но что, если этот гражданин был командующим армией, его петиция должна была быть передана через министерство. Будучи адресована непосредственно Собранию, она становится требованием,—и «свобода погибла».

Повидимому, Собрание успокоилось. Гюадэ выиграл время, утверждая, что письмо не могло быть написано Лафайетом, так как в нем говорилось об отставке Дюмурье, о которой Лафайет не мог знать в тот день, которым датировано его письмо. Это было неверно, потому что Лафайет говорил об отставке Дюмурье лишь как о вероятном в близком будущем событии.

Гюадэ, с некоторыми ораторскими предосторожностями, упомянул имя Кромвеля: «Чувства г-на Лафайета достаточно показывают, что он не мог быть автором только что прочитанного письма. Г-н Лафайет знает, что когда Кромвель осмелился заговорить подобным тоном...» Наконец, Собрание препроводило письмо в Комиссию Двенадцати для представления доклада относительно него и перешло к порядку дня относительно рассылки письма в департаменты. Это являлось серьезным поражением фельянов. Ведь они могли иметь успех только в том случае, если бы они нанесли решительный и неожиданный удар.

Дать стране время подумать, дать революционным партиям время организовать сопротивление, значило лишить политику Лафайета всех благоприятных ей шансов. Она не имела других непосредственных результатов, кроме сближения между Жирондою и Робеспьером и того, что революционеры опять стали относиться благосклонно к Дюмурье.

На следующий день министры-фельяны сообщили Собранию, что король отказался утвердить декреты относительно священников и относительно военного лагеря из 20.000 человек. Благодаря этому совпадению, революционеры могли думать, что между королем и Лафайетом состоялось соглашение, и близость опасности отчасти примирила революционные партии.

Бриссо в номере своей газеты от 18 июня резко нападал на Лафайета: «Это сильнейший удар, нанесенный свободе, удар тем более опасный, что он нанесен генералом, хвастающимся тем, что он располагает армией, что он действует заодно с армией; удар тем более опасный, что, благодаря притворной умеренности и ухищрениям этого человека, продолжает существовать партия его сторонников, среди которых встречаются даже люди, горячо любящие свободу; его письмо сбрасывает с него маску. Это второе издание писем Леопольда к королю; все эти письма сочинены одними и теми же лицами; всюду сказывается тот же самый дух, та же ненависть к якобинцам, такое же отвращение к бунтовщикам. И Лафайет жалуется на бунтовщиков!»

И Бриссо кончает намеком на Робеспьера: «Граждане, будем бодрствовать. Якобинцы, будем благоразумны, но непоколебимы. Вы, вызвавшие раздор среди них, вот ваше дело!» Это был горестный призыв к согласию.

Робеспьер вел регулярную полемику с Лафайетом. «Неужели мы уже дожили,—восклицает он в «Защитнике Конституции»,—до такого времени, когда военачальники могут пользоваться своим влиянием или своим авторитетом для того, чтобы вмешиваться в наши политические дела, выступать

руководителями установленных властей, властителями судьбы народа? Кто говорит в этом письме, которое Законодательное Собрание так терпеливо выслушало: Кромвель или вы? Лишились мы уже своей свободы или же вы сошли с ума?»

Робеспьер понимает, что резкие нападки Лафайета на министров-жирондистов обеспечивают последним сочувствие революционеров, и он несколько смягчается:

«Сначала вы гремите против бывших министров: один из них еще оставался в то время, когда вы писали, и вы утверждали, что он не надолго сохранит свое двусмысленное и скандальное положение в Королевском Совете.

«Не дай бог, чтобы какое бы то ни было личное предубеждение относительно министров, каковы бы они ни были, могло влиять на мои мнения и на мои принципы: меня обвиняли в глубоком равнодушии и даже к тем, которые, казалось, могли считаться патриотами, а мне самому приходилось быть очень недовольным некоторыми из тех, на кого вы так яростно нападаете. Но если бы что-нибудь могло убедить меня в том, что их взгляды могли быть полезными для общественного блага, то именно ваше злословие относительно них. Кажется, по крайней мере, что эти министры, будучи такими, какими они являются, снискали доверие Национального Собрания, так как оно торжественно об'явило, что нация жалеет об их увольнении в отставку, а вы отзываетесь об этих самых людях с наглым пренебрежением, обращаясь к Национальному Собранию».

Но даже, повидимому, защищая министров-жирондистов от Лафайета, Робеспьер все-таки считает нужным язвительно задеть их. «Вы говорите о двусмысленности, о скандальном положении одного из тех министров, увольнения которых в отставку вы только что добились после того, как вы же добились их назначения». Это был убийственный удар, нанесенный мимоходом и с равнодушным видом. Жирондисты призваны к власти Лафайетом! Это было неверно, но какая инсинуация могла быть опаснее этой в тот момент, когда Лафайет возбуждал против себя гнев всех революционеров? Итак, взаимная ненависть Жиронды и Робеспьера не смягчилась, но между ними было, так сказать, заключено политическое перемирие для отражения общего врага.

Прямой ответ королю, на veto, на письмо Лафайета, будет дан парижским населением. Уже в продолжение нескольких месяцев умы были чрезвычайно возбуждены. Об'явление войны, образование жирондистского министерства, а затем его падение вызвали какое-то трепетное ожидание.

Народ предчувствовал, что приближалась последняя борьба между Революцией и королевской властью, и, как бывает накануне великих событий, распространялись ужасные слухи. Одно время парижское население полагало, что королевская гвардия замышляла избиение патриотов: подозрительные взгляды искали заговорщика во всяком иноземце, появившемся в Париже. В мае общее возбуждение было настолько велико, что заседания Законодательного Собрания должны были продолжаться без перерывов в течение нескольких дней. И оно декретировало, что заседания секций также должны продолжаться без перерывов в течение нескольких дней.

Итак, гражданам, стекавшимся на собрания секций, было, так сказать, официально поручено защищать свободу и отечество. Дантон, не компрометируя себя, не выдвигаясь открыто, пристально следил за этим движением в секциях, возбуждая его, давая советы. В самом деле, в этих сложных народных центрах, в которых ежедневно вспыхивала страсть под влиянием событий, возбуждалась

великая революционная деятельность. Особенно в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсель народ был готов к решительным действиям.

Нужно было бы иметь возможность проследить изо дня в день (но протоколов не оказывается, или они слишком неполны) жизнь каждой секции, так сказать, подметить обнаружение революционных мыслей, наблюдать их развитие. Пивовар Сантер и Александр, командовавшие батальонами Воспитательного Дома и Сен-Марсельским, были очень деятельны; Фурнье, который тщетно искал счастья в Сан-Доминго и ожесточившись вернулся во Францию, работник-серебряник Россиньоль, мясник Лежандр, маркиз де-Сент-Юрюж, с первых дней Революции участвовавший в волнениях в Палэ-Рояле, поляк Лазовский, командовавший ротою канониров, повидимому, руководили движением. Но сколько неизвестных сил волновалось!

Вожди собирались у Сантера или в зале Комитета Секции Больницы для слепых. Но они действовали вовсе не как заговорщики. В их поступках не было ничего тайного. Они хорошо знали, что они не сделали бы ничего без народной энергии и что ее следует возбуждать открытыми, всем известными смелыми действиями. Дантон выжидал вследствие своего официального положения. Но хорошо знали, что он был человек, неспособный прятаться, и что его могучий голос зазвучал бы во время бури. Уже со 2 июля некоторые граждане просили разрешения организовать общественные собрания в церкви Воспитательного Дома. Они желали организовать как бы непрерывную проповедь революционного действия. Петион, парижский мэр, поддержал их просьбу. Он написал 2 июля Редереру: «Некоторые граждане из Сент-Антуанского предместья подали в Генеральный Совет Коммуны петицию, в которой они просят резрешения собираться, по окончании службы, в церкви Воспитательного Дома для выяснения своих прав и своих обязанностей. Совет постановил передать эту петицию в Директорию департамента. Поэтому я имею честь отправить ее вам с приложением постановления о ее передаче.

«Директория не преминет благосклонно принять все то, что может способствовать просвещению патриотических граждан и знакомить их с законами. Я буду бесконечно признателен вам, если вы представите Директории эту просьбу и попросите Директорию от имени поручившего мне сделать это муниципалитета как можно скорее и благосклоннее принять ее во внимание».

Несмотря на свою привязанность к партии фельянов, Директория департамента не посмела отказать. Но увольнение министров-жирондистов в отставку вызвало решительный порыв народа. Так как король прогнал министров, требовавших от него утверждения необходимых декретов, законов, нужных для спасения Революции, так как казалось, что нерешительное Собрание не могло добиться их утверждения, то следовало действовать на Собрание и на короля путем петиций. Не являлась ли петиция легальной?

Но следовало поддержать эти петиции большой демонстрацией, свидетельствовавшей о силе. Вооруженные граждане толпою пойдут в Собрание и в Тюльери. Они пойдут 20 июня в годовщину клятвы в Зале для игр в мяч, чтобы напомнить всем о том великом дне, когда твердость представителей народа сокрушила королевский произвол.

16 июня Лазовский и его товарищи сообщили Генеральному Совету Коммуны о своем намерении. Следовательно, мысль о том, чтобы протестовать манифестацией 20 июня, не была вызвана в предместьях письмом Лафайета, которое стало известным только через два дня после этого. Но это письмо чрезвычайно усилило гнев и рвение. Лазовский и его друзья надеялись получить от Городской Думы, от Генерального Совета Коммуны разрешение на манифестацию. Итак, народная сила развернулась бы беспрепятственно под прикрытием законных властей, и манифестация произвела бы более внушительное и бо-

лее верное действие. Нужно было, чтобы у делегатов от предместий было уже очень развито сознание своей силы для того, чтобы они осмелились потребовать административного разрешения пойти с оружием в Собрание и на трибуны.

Генеральный Совет Коммуны не обнаружил склонности пойти так далеко. Он отказал и принял следующее постановление:

«Г.г. Лазовский, капитан канонеров Сен-Марсельского батальона, Дюкло, Пави, Лебон, Лашапелль, Лежен, Вассон, граждане из секции Больницы для слепых; Женэ, Делиан и Бертран, граждане из секции Гобленов сообщили Генеральному Совету, что граждане Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий решили подать в среду, 20 числа текущего месяца, королю и Собранию петиции относительно нынешних обстоятельств, а затем посадить на террасе фельянов дерево свободы в память заседания в Зале для игр в мяч.

«Они просили, чтобы Генеральный Совет разрешил им надеть на себя те костюмы, которые они носили в 1789 г., а в то же время и быть вооруженными. Генеральный Совет, обсудив эту словесную петицию и выслушав прокурора Коммуны:

«Принимая во внимание, что закон воспрещает всякие вооруженные сборища, если они не входят в состав общественной силы, являющейся по законному требованию, постановил перейти к порядку дня.

«Генеральный Совет приказал, чтобы это постановление было передано в Директорию департамента и в департамент полиции и чтобы оно было сообщено муниципальному Корпусу».

Это постановление подписано председателем Лебретоном, старейшим по летам, и молодым секретарем Ройе, впоследствии прославившимся под именем Ройе-Коллара (см. Мортимер Терно). Оно сильно раздражило делегатов от предместий; но они нарушили его, продолжая, впрочем, повторять, чтобы успокоить других и увлечь их за собою, что они организовали мирную манифестацию. Директория департамента, очень испугавшаяся, отправляла к мэру Петиону одно письмо за другим, уведомляя его о подготовлявшемся движении и прося его вызвать, в случае надобности, линейные войска. Петион, избранник предместий, друг демократов и жирондистов, уклонялся. В качестве мэра он не мог способствовать революционному и нелегальному движению; но он не желал противиться ему силою и он увертывался от настояний Директории. Итак, не имея законного разрешения, руководители движения пользовались тайным потворством якобинского мэра и его добровольным неведением. Однако он не мог вполне воздержаться от вмешательства.

Чтобы прикрыть свою ответственность, он давал приказания. Но или эти приказания оказывались ребяческими, когда, напр., он вызвал вооруженную силу, чтобы помешать народу рубить на дворе монастыря Святого Креста тополя, которыми хотели воспользоваться в качестве майских деревьев, или эти приказания оказывались запоздалыми, когда, напр., он отдал 20 июня в полночь приказ собрать национальную гвардию.

В действительности он ограничился тем, что просил коменданта 19 июня удвоить посты в Тюльери. Уже с 19-го слышался гул приближавшейся бури и было ясно, что на следующий день произойдут волнения. Предместья, повидимому, решили двинуться, и пламенное вдохновение, так сказать, передалось Собранию с знойного юга. В Марселе происходили революционные волнения. Марсельские патриоты обратились к Законодательному Собранию с адресом, который был прочитан Камбоном 19 июня на вечернем заседании.

«Законодатели, французская свобода в опасности: свободные люди на юге восстают, чтобы защищать ее.

«Настал день народного гнева. (Громкие аплодисменты на левой стороне и на трибунах.) Этот народ, который всегда желали гу-

бить или порабощать, устал отражать удары и, в свою очередь, готов напасть на них, ему надоело расстраивать заговоры, и он грозно взглянул на заговорщиков. Этот великодушный, но теперь слишком раз'яренный лев, перестанет отдыхать, чтобы ринуться на стаю своих врагов.

«Способствуйте этому воинственному движению, вы, являющиеся как представителями народа, так и его руководителями; вы, которые должны спастись или погибнуть вместе с ним. Народная сила составляет всю вашу силу; она в ваших руках; поддержите ее. Слишком долгое принуждение могло бы ослабить или раздражить ее. Следует быть беспощадными, так как нам нечего ждать пощады. Борьба между деспотизмом и свободою может быть только смертельною битвою; потому что, если свобода оказывается всеобщею, деспотизм рано или поздно убьет ее. Тот, кто думает иначе, является безумцем, не знающим ни истории, ни человеческого сердца, ни адского маккиавелизма тирании.

«Депутаты, патриотизм требует от вас декрета, который дал бы нам право двинуться к столице и к границам с более внушительными силами, чем те, которые вы только что создали. (Аплодисменты на левой стороне и на трибунах.) Народ хочет непременно завершить Революцию, являющуюся его делом, славную для него и делающую честь человеческому духу. Он хочет спасти себя и спасти вас. Должны ли вы воспрепятствовать этому величественному движению? Можете ли вы сделать это? Граждане, вы не откажете в законном разрешении тем, кто хочет пойти на смерть, чтобы защищать закон». (Громкие аплодисменты на левой стороне и на трибунах.)

Это было как бы нераздельное об'явление войны королю и иностранным державам. Умеренные пришли в ужас от этого: они закричали, что этот адрес является посягательством на Конституцию, но левая протестовала: марсельские патриоты желали двинуться против врагов Франции: неужели намеревались обескураживать национальный порыв? Камбон не говорил, что они желали отправиться к границам и «в столицу».

Народ инстинктивно чувствовал измену короля: итак, следовало нанести иностранцам удар, задевающий и короля. Собрание, смущенное этою искусно составленною и жгучею смесью патриотизма и революции, не осмелилось выразить неодобрение адресу марсельцев: оно даже вотировало его напечатание и рассылку по департаментам: это значило повсюду разбросать республиканские искры. Таким образом Собрание, увлекшись, пошло гораздо дальше, чем предполагало; а когда несколько позднее, в тот же вечер 19-го, парижская Директория прислала ему копию постановления, в котором она требовала от мэра и от начальника национальной гвардии, чтобы они обеспечили поддержание порядка на следующий день, то что же могло оно сделать? Оно перешло к порядку дня, как бы возлагая всю ответственность на административные и муниципальные власти.

Однако ночью 20 июня Сент-Антуанское и Сен-Марсельское предместья волновались, как бдительный военный лагерь накануне приступа. Секции Гобленов, Попенкурская, Больницы для слепых заседали без перерывов. Однако эти два предместья двинулись только довольно поздно утром.

В продолжение всего утра шли переговоры между Петионом и начальниками революционных батальонов. Наконец, Петион, не имея возможности и не желая остановить движение, которое он признавал непреодолимым, решился «узаконить» его. Ему обещали, что податели петиции сложат свое оружие прежде, чем они войдут в Собрание и в Тюльери; а за то он разрешил всем гражданам, желавшим принять участие в манифестации, идти под предводительством офицеров национальной гвардии. Итак, революционный народ как бы окружался рамками законного порядка. Трогательное соглашение в дни борьбы!

При открытии заседания Собранию было сообщено, что двигались две вооруженные колонны, направлявшиеся одна от госпиталя Сальпетриер, а другая от Бастилии, что они соединились, что к ним примкнула многочисленная толпа и что они приближались. Жирондисты Гюадэ, Верньо настаивали на том, чтобы вооруженные податели петиции были допущены. Умеренные, как, напр., Рамон, противились этому.

Пока продолжались прения, толпа, двинувшаяся из предместий, приближалась к Собранию. Манеж, где оно заседало, находился там, где теперь пересекаются улицы Риволи и Кастильоне. Возле него находилась терраса фельянов с выходом в Тюльерийский сад. Сантер требует в письме к председателю, чтобы петиционерам было дозволено войти и пройти церемониальным военным маршем. Левая одобряет это письмо, правая ропщет. Но народ силою проникает в залу Собрания, и петиция, под которой в первой строке стоит подпись Варлэ, ставшего впоследствии одним из гебертистов, прочитывается оратором депутации. Это был резкий манифест против veto, т.-е. против того, что оставалось от королевской власти:

«Добейтесь же, наконец, исполнения воли народа, который вас поддерживает, который погибнет, чтобы защитить вас; об'единитесь, действуйте, пора сделать это... Тираны известны вам; не робейте перед ними. Неужели вы стали бы трепетать, тогда как простой парламент часто сокрушал волю деспотов? Исполнительная власть совершенно не согласна с вами; мы не желаем других доказательств этого, кроме увольнения в отставку министров-патриотов. Это означает, что счастье нации будет зависеть от прихоти короля, но должен ли этот король иметь иную волю, кроме требования закона? Этого требует народ, а его голова стоит голов коронованных деспотов...

«Мы жалуемся, господа, на бездействие наших армий; мы требуем, чтобы вы выяснили причину этого бездействия. Если оно вызвано исполнительною властью, то пусть она будет уничтожена. Кровь патриотов не должна быть проливаема для удовлетворения гордости и честолюбия Тюльерийского дворца... Законодатели, мы требуем от вас, чтобы мы могли остаться вооруженными до тех пор, пока Конституция не будет осуществляться. Такова петиция не только жителей Сент-Антуанского предместья, но всех секций столицы и окрестностей Парижа».

Около десяти тысяч человек, вооруженных, несших зеленые ветки, танцовавших и певших, прошло церемониальным маршем перед трибуною Собрания. Народ хотел положить конец нестерпимой двусмысленности, парализовавшей все, всеобщей внутренней и внешней измене короля и двора. Его оратор, Гушон, лишь отчасти выразил его мысль своею часто жеманною и нелепою риторикой: народ стремился к Республике.

Почти в течение трех лет, с 5 и 6 октября законодатели не соприкасались с народною силою. Но насколько политическое воспитание подвинулось вперед! 5 и 6 октября, конечно, существовали политические мотивы движения. Дело шло об устранении абсолютного veto, о требовании санкционировать «Права Человека». Но к движению примешивалось нечто наивное, инстинктивное и элементарное, остаток возмущений, происходивших при старом режиме, буйная страсть женщин, в которых вдруг пробудилась жалость и которые требовали хлеба. А теперь у нескольких тысяч вооруженных людей, входивших в Собрание, есть определенная мысль: в днях 5 и 6 октября выражается, если можно так выразиться, чувство страдающего народа; в день 20 июня выражается революционное сознание восставшего народа.

Но, выходя из Собрания, податели петиции окружают Тюльери со стороны сада и со стороны Карусели. Натиск наиболее силен со стороны Карусели: дверь открывается, и народ проникает в большой зал с круглым окошком. Король был

там с тремя из своих министров Больс, Лежаром и Террье. «Долой veto, к чорту veto! — кричат граждане, — призовите обратно министров-патриотов, прогоните ваших священников; выбирайте между Кобленцем и Парижем».

Несмотря на эти резкие выражения, толпа не имела угрожающего вида. У нее еще продолжал существовать какой-то остаток уважения, она еще не совсем отказалась от надежды страхом побудить короля, наконец, стать на сторону Конституции. К тому же спокойное мужество, с которым Людовик XVI относился в эту критическую минуту к гневу окружавших его людей, заставило их перестать произносить оскорбительные слова, и вскоре этот народ начал обращаться к нему как бы с настойчивой, порой нежною, но чаще всего недоверчивою и надменною просьбою. Людовик XVI, почти прижатый к амбразуре окна, взял из рук одного национального гвардейца красную шапку и надел ее. Он взял также из рук одной женщины шпагу, украшенную цветами, и помахивал ею. Раздался громкий радостный крик: «Да здравствует нация!» Эта шпага, украшенная цветами, являлась символом доблестной и нежной Революции, которая, даже борясь, хотела любить. Ах, сколько цветов, свидетельствующих о нежных чувствах, украсило бы шпагу короля, если бы он пожелал сделать ее оружием Революции! Но все это было лживо.

Однако можно было подумать, что король, обрекший себя на предательство, иногда пытался, так сказать, играть популярную роль, как бы для того, чтобы, обманывая других, обмануть самого себя. Он ставил ногу, если можно так выразиться, на другую дорогу, которую ему указывала судьба. Но нет, он неотменно склонялся к тому, чтобы итти гибельным путем лицемерия, ведшим к мраку и к смерти. Узнав, что король окружен угрожающим народом, Собрание взволновалось. Оно поспешило послать депутацию. Иснар, Верньо с трудом пробрались через толпу. Петион прибыл после них. Он увещевал народ спокойно пройти через дворец. Раздается еще больше восклицаний против Людовика XVI: «Назначьте снова министров-патриотов, или вы погибнете». В ответ на это Людовик XVI только говорит, что он будет верен Конституции; изнуренный жаждою в этот жаркий день, он пьет из бутылки, которую ему подает один гренадер. Мало-по-малу народ расходится, бормоча последние угрозы.

Жизнь короля уцелела, но между королевскою властью и Революцией начался, так сказать, личный смертельный поединок. День 20 июня представлялся неясным. Внешняя война велась еще вяло. Перед Рейнской армией не было врага. Центральная армия, опиравшаяся на Мобежский военный лагерь с Лафайетом, была почти неподвижна и завязывала только стычки. Северная армия с Люкнером без труда проникла в Бельгию и занимала Ипр и Менен. Иностранцы еще не начали серьезно борьбы, и Франция едва чувствовала, что была об'явлена война. Итак, не чрезмерное возбуждение национального чувства возмутило народ 20 июня, а революционный дух, который не был раздражен внешнею опасностью, а потому и не довел дела сразу до конца, до свержения королевской власти. Но ясно, что мы приближаемся к последней борьбе между Революцией и королем.

Относительно дня 20 июня Робеспьер хранит в «Защитнике Конституции» молчание, полное укоризны; эти смутные и буйные движения противоречили его тактике, отличавшейся консервативным, терпеливым и неуступчивым демократизмом. Одно время жирондисты боялись, что насилие, которое вынес король, вернет ему симпатию страны, и сперва они старались, по мере возможности, смягчить характер дня.

«Обитатели Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий, — говорит «Французский Патриот», — выйдя из Национального Собрания, посетили короля и подали ему петицию. Он принял ее очень

спокойно и, по их просьбе, надел на себя красную шапку. Один депутат сказал ему, что он пришел разделить его опасности. «Нет никаких опасностей среди французов», — ответил он. Во дворце народ вел себя, как народ, знающий свои обязанности и уважающий закон и конституционного короля. Узнав о том, что происходило, Национальное Собрание послало одну за другой несколько депутаций к королю. Парижскому мэру удалось добиться того, что народ мало-по-малу удалился из дворца; в девять часов он опустел, и все было спокойно, и, однако, двигалось более сорока тысяч человек. Вот на какой народ клевещут фельяны!»

По правде говоря, это—идиллия. Мне не нравится это притворное лицемерие. Если народ был обязан точно соблюдать Конституцию, то он нарушил свой долг, ворвавшись во дворец и пытаясь силою добиться от короля утверждения отвергнутых им декретов. Но народ был обязан избавить Революцию от предательской королевской власти, а Жиронда не говорила этого. Во время великих кризисов в ее политике всегда обнаруживалась некоторая слабость. Но жирондисты скоро увидели, что король и фельяны намеревались использовать события 20 июня против революционной демократии, и не замедлили повысить тон.

«Король взял одного гренадера за руку, прижал ее к своему сердцу и сказал ему: «Думаете ли вы, что я дрожу?» Он сказал другому: «Добродетельный человек всегда спокоен». Конечно, это спокойствие об'яснялось тем, что королю должны быть известны доброта и снисходительность французского народа; он хорошо знал, что ему нечего было бояться этого народа, простившего ему 14 июля и 6 октября 1789 г., 10 апреля и 25 июня 1791 г.; он хорошо знал, что этот народ долго терпит, прежде чем жаловаться, что он еще дольше жалуется, прежде чем карать».

Это было очень ясное предостережение, сделанное королю. Берегитесь: если вы попытаетесь придавать в своих интересах дню 20 июня драматический характер, если вы попробуете растрогать Францию, пробудить в ней верность и создать легенду о ваших страданиях и о вашем героизме, то мы восстановим историю ваших преступлений и ваших измен. Людовик XVI в своем деле старался возбудить чувствительность французов. Повсюду распространялись трогательные рассказы о «мученичестве» этого Христа королевской власти, о желчи и уксусе, которыми его напоили мятежные подданные. Сам он обратился к Собранию с сдержанным и искусно составленным письмом, в котором он внушал ему мысль о репрессивных мерах и возлагал на него ответственность за них:

«Господин председатель, Национальное Собрание уже знает о событиях, совершившихся вчера; Париж в унынии; Франция узнает о них с изумлением и с огорчением. Я был очень тронут тем вниманием, которое Собрание проявило по отношению ко мне в данном случае. Я предоставляю его благоразумию выяснение причин этого события, заботу о том, чтобы было обращено особое внимание на обстоятельства дела, и чтобы были приняты необходимые меры для поддержания Конституции, для обеспечения неприкосновенности и конституционной свободы наследственного представителя нации. Что же касается меня, ничто не может помешать мне во всякое время и при всяких обстоятельствах делать то, чего потребуют обязанности, возлагаемые на меня принятою мною Конституцией, и истинные интересы французской нации.

Подписали: *Людовик*. Контрассигнировал: *Дюрантон*».

Почти все члены Собрания громко рукоплескали. Повидимому, обнаруживалась реакция: колеблющиеся, на короткое время увлеченные Жирондою, отклонились к центру. Вот куда ведет агитация клубов! Вот к чему приводят беспрестанные доносы и декламации против короля! К анархии, может быть, к убийству!

И что будет с Францией, если бунтовщики ниспровергнут Конституцию, запятнают свободу кровью короля? Так рассуждали умеренные, распространяя страх.

21 июня Кутон пожелал поставить в Собрании вопрос, имеющий решающее значение, а именно вопрос о veto:

«Пора. Собранию следует безотлагательно и смело приступить к рассмотрению вопроса о том, подлежат ли декреты, касающиеся отдельных случаев утверждению или нет, и быстро решить этот вопрос».

Разразилась буря: «Вот об'яснение вчерашнего дня. Вы нарушаете вашу присягу». Все Собрание, за исключением крайней левой, постановило, что не следует обсуждать этого предложения. Министр юстиции об'явил, что относительно насилий, происходивших 20 июня, будет произведено расследование, и казалось, что королевская власть и фельяны отомстят Жиронде, демократии и самой Революции. Из разных частей Франции раздаются протесты против «бунтовщиков». Значительная часть революционной буржуазии волнуется и пугается. Меня удивляет, что не только Директории департаментов, в которых часто господствовало умеренное направление, но и муниципалитеты также выражают негодование. Тютэ приводит множество этих резких протестов, и я могу только сослаться на него.

В этих протестах уже начинает выражаться недоверие провинциальной буржуазии к Парижу. Так, например, граждане Гавра требуют в своем адресе «мщения злодеям, ворвавшимся в жилище наследственного представителя нации и оскорбившим его неприкосновенную и священную особу, требуют, чтобы была обуздана дерзость наглых петиционеров, самозванных органов столичных секций и чтобы заставили молчать трибуны, которые не составляют народа и аплодисменты или непристойный ропот которых отвергаются всеми хорошими гражданами».

Директория Соммы, администраторы Эны, директория Эра, администраторы Эндры, граждане Аббевилля, Генеральный Совет Перонской Коммуны, граждане Роны-и-Луары, Директория Уазы, муниципалитет Фонтэн-Франсез, Директория Сены-и-Марны, Директория Нижней-Сены, Директория Гара, Директория Па-де-Калэ, граждане Страсбурга, суд в Сент-Ипполите (в Гаре), Ламаншская Директория, амьенские граждане, Верденский округ, суд в Боже, департамент Эра-и-Луара, Маасская Директория, Арденнская Директория, округ Коммерси, Виганский муниципалитет, Одская Директория, Страсбургский суд, город Э, Седанские граждане, округ Витри-ле-Франсэ, Нимский округ, Директория Жиронды, округ Шато-Тьерри, друзья Конституции в Шомоне, 4-й легион Национальной гвардии в Лионе, Директория Верхней-Гаронны, Сент-Омерский округ, Директория Нижнего-Рейна, Директория Вара, монморилльонские граждане, Монтрейльский округ, коммуна Кани, Директория департамента Нор (Северного), Суассонский округ, мелльские активные граждане, сен-фаргоские активные граждане, Тарасконская Директория, Компьенская коммуна, округ Рокруа, Гранвильская коммуна, жители Ансени, коммуна Сен-Реми (Устья Роны), Безвилльский муниципалитет, Прадский муниципалитет, Ландасский муниципалитет, коммуна Орэ, Лаграсский округ (Од), гражданки города Сен-Шамана, Гокурская коммуна (Мозель), коммуна Бастия, коммуна Бриенн-ле-Шато, граждане города Булони (приморского) требуют, чтобы «меч законов» поразил бунтовщиков, поздравляют Людовика XVI по поводу его энергии, его спокойствия, требуют защиты Конституции от лиц, выступавших с противозаконными предложениями, от сочинителей пасквилей, от возмутителей, доносят на парижского мэра, соучастника бунта.

Реакционное движение умеренных охватило довольно широкие круги: казалось, что фельянское направление вдруг оживает, как тогда, когда оно окрепло после событий, происходивших на Марсовом поле. Это была последняя возможность спастись, представлявшаяся Людовику XVI. Он мог бы сохранить

эти симпатии, став, наконец, верным служителем Революции и Франции. Но в тот самый момент, когда умеренная буржуазия, из боязни анархии, чистосердечно группировалась вокруг него, в тот самый момент, когда король уверял Собрание в своей верности Конституции, продолжались предательские проделки, а королева сделала из дня 20 июня только тот вывод, что иностранные войска должны ускорить свое движение. 23 июня, через три дня после вторжения во дворец, Мария-Антуанетта писала Ферзену:

(Шифром.)

«Дюмурье уезжает завтра к армии Люкнера; он обещал вызвать восстание в Брабанте. Сент-Юрж также едет с тою же целью.

(Не зашифровано.)

«Вот какие суммы я уплатила за вас. Я сообщу вам размер ваших доходов, когда они получатся.

«Кажется, все ваши письма получены мною... Ваш друг подвергается величайшей опасности. Врачи уже не знают, что следует сделать. Если вы хотите повидаться с ним, торопитесь. Сообщите его родным об его плохом положении. Я окончила ваши дела с ним, так что у меня нет никаких опасений относительно этого. Я буду усердно извещать вас об его положении».

И, побудив таким образом Ферзена извещать о положении важного тюльерийского «больного» его венских, стокгольмских и берлинских «родственников», она адресует к Ферзену незашифрованное и неподписанное письмо, являющееся как бы отчаянным призывом к вторжению:

«26 июня 1792 г. Ваше письмо № 10 только что получено мною; спешу уведомить вас об его получении. Вы немедленно получите сообщение о подробностях относительно приобретенных мною для вас церковных имуществ. Сегодня я ограничусь сообщением о помещении ваших ассигнатов: их у меня остается немного, и через несколько дней, я надеюсь, они будут помещены так же выгодно, как и другие.

«К сожалению, я не могу успокоить вас относительно положения вашего друга. Однако в течение трех дней болезнь не усиливалась, но, тем не менее, ее симптомы представляются угрожающими: она приводит в отчаяние искуснейших врачей. *Для его избавления нужен быстрый кризис, но ничто еще не предвещает его; это приводит нас в отчаяние. Известите о его положении лиц, у которых есть дела с ним, для того, чтобы они приняли меры предосторожности с своей стороны; время не терпит*».

И друзья и агенты Людовика и Марии-Антуанетты думают вовсе не о смягчении Конституции, а об уничтожении всего революционного дела.

Испанскому министру д'Аранда пришла мысль предложить свое посредничество для переговоров между Францией и двумя державами, Австрией и Пруссией, с которыми она воевала, относительно такого пересмотра Конституции, который был бы благоприятен для монархии. Этот проект нелеп, так как он предполагал, что революционная Франция боялась, а она была полна энергии. Но непримиримые контр-революционеры отвергают этот проект, как его отвергла бы и сама Революция. Ферзен пишет из Брюсселя 26 июня к барону Эренсверду, шведскому посланнику в Мадриде:

«Господин барон, я вполне разделяю ваше мнение о том, как французский король должен отнестись к правильно приписываемому вами г-ну д'Аранда проекту посредничества и изменения Конституции. Только берлинский и петербургский дворы могли бы воспротивиться этому; при чем интерес императрицы к французским делам, после смерти покойного короля, несколько охладел, и она относится с живейшим интересом к польским делам. Однако ее тщеславие за-

ставляет ее не отказываться от дела принцев, за которое она так горячо взялась; но нельзя очень рассчитывать на венский двор и, несмотря на все его действия, можно думать, что ему доставило бы удовольствие, если бы начались переговоры, в которых он надеется играть важную роль. Я надеюсь, что не существует никаких непосредственых сношений между французским королем и г-ном д'Аранда; но у меня не может быть никакой уверенности относительно этого, так как в данный момент сношения с королем очень затруднительны и очень редки.

«Из всех государей, интересующихся участью французского короля, ни один не ведет себя так плохо, как испанский, и так хорошо, как прусский: он наверное обещал помощь; он и слышать не хочет ни о каких-либо переговорах, ни об изменении Конституции; наоборот, он требует, прежде всего, свободы короля и того, чтобы он сам дал такую Конституцию, какую он пожелает дать и какую он сочтет наиболее полезною для королевства. Он дает принцам 400.000 ливров для уплаты проходящим войскам и намеревается отвести им почетное место в предстоящих военных действиях. Он написал венгерскому королю, предлагая ему дать некоторую сумму на содержание эмигрантов. Я сомневаюсь в том, что это предложение будет принято. Нерасположение этого двора очевидно; в их армию эмигрантов не пускают даже в качестве простых зрителей, и, вместо того, чтобы принять 7.000—8.000 эмигрантов, помощь которых была предложена, они предпочли подвергнуть себя опасности того, что французские бунтовщики, превосходившие их лишь своею многочисленностью, займут весь край. После того как к ним подошли подкрепления, им уже нечего бояться, но им пришлось пережить очень критические моменты, и в тот момент, когда г. де-Бирон наступал на Монс, у генерала Болье было только 1.800 человек и три пушки; 1.200 человек прибыло ночью, и было прислано 6 пушек. Даже теперь, за недостатком людей, они не решаются атаковать французов и вытеснить их из Менена и из Куртрэ».

Итак, Ферзен и королевская власть возлагают свои надежды даже не на неопределенную и примирительную политику Австрии, а на непримиримые стремления прусского короля. Итак, фельянтизм мог оказаться только обманом, если только он не становился предательством. Людовик XVI готовил этой умеренной искренней буржуазии, которая, под впечатлением 20 июня, посылала ему адреса с выражением сочувствия, странное пробуждение: ее иллюзии были бы растоптаны бешеным галопом прусской конницы. Людовик XVI ответит на наивное доверие боязливых революционеров наездом герцога Брауншвейгского. Ферзен пишет Марии-Антуанетте 30 июня:

«Я получил вчера письмо от 23-го; нечего бояться, пока австрийцы не будут разбиты. Сотня тысяч Дюмурье не возмутят этого края, хотя бы ему и очень хотелось этого.

«Ваше положение постоянно тревожит меня. Ваша храбрость вызовет восхищение, и смелое поведение короля произведет превосходное впечатление. Я уже всюду разослал сообщение и я пошлю «Всемирную Газету», в которой изложен его разговор с Петионом: он достоин Людовика XVI. Нужно будет продолжать действовать таким же образом, а главное, стараться не покидать Парижа; это главное. Тогда легко будет притти к вам, и в этом и заключается намерение герцога Брауншвейгского. Перед своим наступлением он выпустит очень резкий манифест от имени союзных

держав, которые об'явят всю Францию и, в особенности, Париж ответственным за королевские особы. Затем он двинется прямо на Париж, оставляя комбинированные войска у границы для того, чтобы обложить крепости и помешать расположенным в них войскам действовать в других местах и противиться его операциям... Герцог Брауншвейгский прибудет 3-го в Кобленц, первая прусская дивизия прибудет туда 8-го».

Вот какое значение имело письмо Людовика XVI к Собранию от 21 июня. Только народная Революция могла спасти свободу и отечество. А в то время как королевская власть предательски призывала иностранцев и с нетерпением ждала их, стремясь уничтожить Конституцию, Лафайет, упорно признавая только революционную опасность, покинул свою армию и отправился в Париж. Теперь он желал потребовать от Собрания восстановления королевского авторитета и истолкования Конституции в смысле фельянов уже не письменно, но, решившись на шаг, походивший на попытку совершить государственный переворот, сам он неожиданно с угрозами явился в Собрание. Собрание выслушало его 28 июня. В данный момент он мог надеяться на решительное движение.

В очень большой части королевства умеренная буржуазия еще продолжала волноваться под впечатлением событий 20 июня. Собранию присылалось множество адресов. Когда сам Лафайет появился у решетки, многие из членов Собрания и значительная часть публики, помещавшейся на трибунах, приветствовали его аплодисментами. Он старался говорить в высшей степени конституционно. Он заявил, что явился один, не в качестве генерала, а в качестве гражданина, и что он сделал это для того, чтобы остановить незаконное составление петиции, начатое его армией. Но, несмотря на все это, в нем и через него говорила его армия: к тому же он положил на бюро Собрания уже поданные ему некоторыми армейскими корпусами адреса, направленные против «якобинцев» и «бунтовщиков».

Жиронда попыталась немедленно отразить удар. Гюадэ коснулся слабого пункта. Он предложил вопрос, попросил ли генерал Лафайет, прежде чем отлучиться от своей армии, разрешения военного министра и получил ли он это разрешение? Жиронда настаивала на том, чтобы этот вопрос был пред'явлен военному министру. Была произведена поименная перекличка. 234 голоса поддержали требование; 339 голосов отвергло его. Большинство высказывалось за Лафайета. Но, несмотря на все это, только смелыми и быстрыми ударами можно было поддержать его неправильный поступок. Что ему было делать? Для него было возможно только одно решение: очистить Собрание путем ареста и предания суду депутатов, которых можно было обвинить, по крайней мере, в некоторой моральной потачке возмущению 20 июня, и силою распустить якобинский клуб. Конечно, это был бы государственный переворот, но, кроме этой насильственной меры, Лафайет не мог ничего сделать, ничего не достигал. Этот государственный переворот оказался бы гибельным, так как двор, избавившись от надзора со стороны революционных сил, в течение нескольких дней справился бы с умеренными конституционалистами, и кризис привел бы к абсолютной контр-революции.

Как был бы наказан Лафайет, если бы в ту самую минуту, когда он рисковал, делая эту тщеславную и реакционную попытку, он ознакомился с теми предательскими письмами, которыми двор обменивался с иностранными державами, против которых Лафайет еще считал себя воюющим!

К счастью, для того, чтобы успешно совершить этот государственный переворот, Лафайет нуждался бы в безусловном содействии двора. Но двор ненавидел его и не доверял ему. Он продолжал считать его ответственным за дни 5 и 6 октября, за все унижения, вынесенные впоследствии, за пребывание

в Тюльери, являвшееся чуть ли не пленом. Итак, Лафайет, изолированный между Революцией и двором, не располагал средствами для решительных действий. Он наивно рассчитывал на свою парижскую популярность, являвшуюся колеблющеюся и ослабевавшею силою. Его встречали аплодисментами, но Петион отменил смотр Национальной гвардии, на котором Лафайет рассчитывал, внезапно явившись, увлечь буржуазные батальоны против якобинцев.

Лафайет не мог даже завязать сношений с буржуазией. Вскоре он почувствовал себя как бы очутившимся в пустом пространстве и, утратив свое влияние, он вернулся к своей армии. Он угрожал, но не нанес удара. Итак, он оставлял своих врагов усилившимися и ободрившимися. Теперь у революционеров найдется ужасное оружие против него. В самом деле, начинают получаться печальные и тревожные известия с границы. 30 июня Рюль сообщает Собранию, что «последний артиллерийский обоз только что прибыл к Рейну». Он восклицает: «Защищайте Рейн, защищайте Эльзас». И распространяется молва о предательстве тех, кто обманул нацию, кто помешал формированию военного лагеря из 20.000 человек под тем предлогом, что не угрожало никакой близкой опасности. Кроме того, распространился слух о том, что главнокомандующий северной армией Люкнер только что подал сигнал к отступлению.

Армия, проникшая в Бельгию, без затруднений занявшая Куртрэ, Ипр, Менен, получила приказ отступать к Лиллю. Почему? Это не могло быть, говорили жирондисты, добровольное решение храброго Люкнера. Очевидно, он повиновался предписаниям министров, преданных двору. Жансоннэ формулировал обвинение на том же самом заседании 30 июня. «Та война, которую мы теперь ведем против австрийского дома,—та война, которой двор не мог избежать, обратилась в интригу, в спектакль, над которым потомство смеялось бы, если бы он не приводил в негодование хороших граждан. Это лишь кажущаяся война; люди, руководящие ею, подчиняются внушениям Австрийского дома. Из-за уловок этого дома, который уже заставил и еще заставит французов носить траур, когда, благодаря первоначальным успехам наших войск, мы овладели Куртрэ, Ипром, Меневом, когда множество брабантских вождей уже об'единились под знаменем свободы, когда маршал Люкнер, командующий армией, к которой стараются не посылать подкреплений... занял в Куртрэ неприступную позицию... именно тогда, вследствие какой-то интриги (потому что я не считаю маршала Люкнера виновным в этом движении) угрозы адского австрийского комитета вызвали это отступление маршала».

Марат, против которого Жиронда за несколько дней до этого постановила возбудить обвинение в том, что он возбуждал подозрения и сомнения в умах солдат, никогда не произносил более суровых слов. Но, лишившись власти, Жиронда, которой грозили контр-революция и фельянцы, пыталась нанести смертельные удары.

Впрочем, разоблачая интригу, парализовавшую движения и энергию наших армий, она правильно смотрела на вещи и спасала отечество. Относительно подробностей Жансоннэ ошибался. Военный министр Лажар не давал Люкнеру приказов и, по-видимому, последний отступал добровольно. Он указывал причины своего отступления в письме, прочитанном в Собрании 2 июля. Он утверждал, что с армией, состоявшей только из 20.000 человек, он оставался без всякого прикрытия и подвергался большой опасности; он мог бы продолжать свое наступление или хотя бы удержаться на занятых им позициях лишь в том случае, если бы бельгийское население восстало против Австрии и примкнуло к Революции. Но этого вовсе не было. «Я занимаю позицию в Менене, мой авангард находится в Куртрэ; вся страна между Ламуа, Брюгге и Брюсселем занята моею армией и в ней нет неприятельских войск. Несмотря на это, бельгийцы остаются совершенно неподвижными; я даже не предвижу ни малейшей

надежды на столь явно возвещенное восстание; и если бы я даже овладел Гентом и Брюсселем, то я почти уверен в том, что народ также не стал бы на нашу сторону, что бы ни говорило небольшое число людей, для которых не важно спасение Франции и которые имеют в виду только удовлетворение своего честолюбия и свое обогащение... Находясь в таком положении и с 20.000 солдат, составляющих всю мою армию, я не могу держаться против неприятеля, не оставляя Лилля без прикрытия...»

В действительности политические соображения начальников расстроили военное ведомство или вызывали ошибочные меры с его стороны. Лафайет уже в течение нескольких недель, и даже еще до 20 июня, обращал гораздо больше внимания на Париж, чем на иностранцев. Он гораздо больше думал о том, чтобы сокрушить якобинцев, чем о том, чтобы победить австрийцев. Он успокаивал свой патриотизм, уверяя себя в том, что подавление якобинцев являлось безусловно необходимым для поражения иностранцев; но, находясь в таком настроении, он лавировал, ждал, откладывал.

В ряде посланий он передавал свои опасения Люкнеру. Люкнер, немец поступивший на французскую службу, человек хитрый и опытный, плохо говоривший по-французски и плохо разбиравшийся в событиях и в интригах, все более и более осложнявшихся с каждым днем, старался прежде всего не скомпрометировать себя ни в каком смысле. Он верил в силу, в популярность Лафайета, командовавшего недалеко от него центральной армией. Однако он не желал вполне присоединиться к нему, и когда Лафайет, перед своим от'ездом из армии в Париж, послал своего ад'ютанта Бюро-де-Пази с тем, чтобы предупредить Люкнера, когда он передал Люкнеру, что он, Лафайет, мог совершенно безопасно на краткое время отлучиться из своей армии, и когда он попытался побудить его разделить с ним ответственность, Люкнер уклонился. Он ответил тщательно обдуманным и искусно составленным письмом, указывая на то, что, находясь на некотором расстоянии от Лафайета, он не мог судить о том положении, в котором Лафайет оставил свою армию.

Но, не желая вполне присоединиться к Лафайету, он не хотел примкнуть и к Жиронде, стать на сторону демократов, революционеров. А энергически наступать на австрийскую армию, стараться вызвать революцию в Брабанте и провозгласить там «Права Человека» значило вполне применять политику жирондистов. Это значило поощрять, возбуждать надежды парижских революционеров.

А что случилось бы с Люкнером, если бы в то время, когда он содействовал бы таким образом успеху Революции, двор и умеренные восторжествовали в Париже? Лучше было подождать, беречь себя и ограничиться прикрытием границы. Этим об'ясняется отступление к Лиллю, свидетельствующее не о явно выраженной измене, а о скрываемой предосторожности, о рассчитанной нерешительности.

Совершенно верно, что глубоко клерикальная Бельгия не поднималась на призыв Революции, как возвещала самонадеянная Жиронда. Но все-таки в ней было много революционных элементов. Это признает сам Ферзен, и они ждали только решительной победы над Австрией, чтобы проявить себя, чтобы сорганизоваться. Во всяком случае, если бельгийское население не сразу встречало французскую революционную армию с тем энтузиазмом, который предсказывал Бриссо, то оно не оказывало ей явного сопротивления и даже не проявляло по отношению к ней такого недоброжелательства, которое вызывало бы тревогу.

Австрийская армия не была очень сильна, и Люкнер мог оставаться в Бельгии. Он мог даже продолжать свое наступление, потребовав значительных подкреплений и открыто поставив вопрос об ответственности Собрания и министров. Он предпочел полуотступление. Очевидно, фельянский дух господствовал в армии и парализовал ее. Солдаты, офицеры, преданные Революции,

хорошо чувствовали, что они являлись игрушкою интриги. Ламет всюду настаивал на насильственных мерах против якобинцев, и было известно, что он являлся агентом двора. Резкий и язвительный протест Людовика XVI против 20 июня был распространяем в войсках во множестве экземпляров. Лафайет и Люкнер беспрестанно обменивались посланиями, понятно, не исключительно и даже не главным образом, относительно военных действий.

Патриотическая и революционная сила армии ослабевала от интриги умеренных. Солдаты-патриоты выражали свой гнев в печальных или негодующих письмах, пересылаемых из армии в Париж. Некоторые из этих писем были прочитаны с трибуны Собрания: «Менен, 28 июня, год IV свободы. С тех пор, как произошла перемена в министерстве, интрига чрезвычайно усилилась. В армии так стараются возбудить недовольство, что можно было бы потерять всякую надежду, если маршал Люкнер не будет присматривать за всеми окружающими его людьми и в особенности за всеми лицами, стоящими во главе штаба.

«Армия ропщет по поводу бездействия, наступившего после первоначальных успехов. Вчера прибыл курьер от г. Лафайета для разговора с маршалом; через полчаса после его прибытия маршал приказал, чтобы все экипажи и повозки с хлебом вернулись в Лилль, и, вероятно, приказал бы, чтобы армия также отступала к Лиллю, если бы г. Бирон не побудил его отсрочить приказы... Маршал окружен настолько дурными людьми и его до такой степени обманывают, что его уверили в том, что бельгийский комитет берет все денежные суммы, имеющиеся в стране, с тем, чтобы переслать их в Англию... Вчера явилась депутация бельгийцев просить маршала поддержать готовое вспыхнуть восстание и соблаговолить защитить их, послав 2.000—3.000 человек, которые раз'езжали бы по стране.

«Эта депутация сообщила ему, что ничто не могло воспрепятствовать этой операции и что австрийцев вовсе не было. Он рассердился и сказал депутации, что его обманули, что ему обещали 60.000 человек, и что он двинулся бы вперед лишь тогда, когда они были бы в его распоряжении. Мне непонятно, как маршал может хотеть, чтобы страна вооружилась, когда у нее нет оружия, и без поддержки со стороны французских войск, которые продолжают бездействовать. Повидимому, маршала обманули относительно поведения Комитета и интриганы побудили его покинуть Бельгию в тот самый момент, когда восстание готово было вспыхнуть. Какова будет участь Комитета и 1.200 человек, так отличавшихся в разных атаках при Куртрэ? Что будет с нашими границами? Какая участь постигнет, после того как французская армия отступит, Менен и Куртрэ за то, что их жители так хорошо нас приняли и стали носить национальную кокарду?

«... Пора всей нации подняться. Наступил момент нанести удар; ей следует вернуть себе славу, которой она лишилась бы, если бы продолжала быть беспечною. Враг вовсе не силен, почему же мы отступаем? Вся армия ропщет. Если ей придется вернуться во Францию, то я не отвечаю за те прискорбные последствия, которые этот шаг может повлечь за собой. Теперь маршал собрал совет... Королевская прокламация была напечатана по приказанию маршала Люкнера и распространена в армии во множестве экземпляров: г. Ламет об'ездил всю свою дивизию, побуждая полки выражать свое мнение по поводу королевской прокламации и затем передать его маршалу. Некоторые полки поклялись быть верными нации, закону и королю и не участвовать ни в каких политических замыслах. Они поклялись нанести сильный удар неприятелю».

Появление прусских войск на Рейне, отступление Люкнера, которое не легко было об'яснить, возбуждали национальное и революционное чувство. Очевидно отечество в опасности, ему одновременно грозят внутренние и внешние враги, контр-революция и иностранцы. Отечество в опасности, и революционеры понимают, что об'явление об этой опасности, угрожающей отечеству, вы-

зовет у многих героическое напряжение силы воли. Никаких унизительных предосторожностей. Малодушные люди приходят в уныние, ясно увидав опасность; наоборот, она усиливает порывы людей, сильных душой. Об'явить, что отечество в опасности, значит возбудить против врага всю энергию нации; это значит также возбудить против измен двора всю энергию Революции. Революция наносит этот грозный двойной удар, направленный против внешнего и против внутреннего врагов, оказывающихся одним и тем же врагом, в первых числах июля. 30 июня, от имени Комиссии Двенадцати, Дебри представил проект декрета, организующего ту процедуру, которой следовало держаться при об'явлении отечества в опасности, и дальнейшие меры. Ссылаясь на этот проект декрета, Верньо, в своей бессмертной речи 3 июля, изобразил опасности, грозившие отечеству и свободе, и в смягченной, почти насмешливой форме предположения, являвшегося утверждением, нанес королевской власти и Людовику XVI смертельный удар. Чудная речь, в которой, наконец, отвергалось всякое лицемерие, устранялось фальшивое наружное почтение и разоблачался ряд интриг, и, наконец, истина была высказана Франции и королю! Вслушайтесь в эти прекрасные революционные слова. Повидимому, в этой речи еще есть несколько оговорок и изворотов, но это — изгибы облаков, освещаемые молнией. Они не ослабляют блеска молнии, но, повидимому, придают ее грозному великолепию гибкие и тонкие очертания.

Прежде всего он указывает, каким способом можно прекратить внутренние беспорядки: «Король отказался утвердить ваш декрет относительно религиозных беспорядков. Я не знаю, не блуждает ли мрачный дух Медичи и кардинала Лотарингского все еще под сводами Тюльерийского дворца; не ожило ли кровавое лицемерие иезуитов Лашеза и Летеллье в душе какого-нибудь злодея, жаждущего увидеть повторение Варфоломеевской ночи и Драгонад; я не знаю, не смущено ли сердце короля внушаемыми ему фантастическими идеями и не помутилось ли его сознание благодаря тому религиозному страху, который стараются вызвать в нем окружающие люди.

«Но, не оскорбляя его и не обвиняя его в том, что он является опаснейшим врагом Революции, нельзя думать, что он хочет безнаказанностью поощрять преступные покушения, вызываемые папским честолюбием... Итак, если надежды нации и наши обмануты, если дух раздора продолжает вызывать волнения среди нас, если фанатизм продолжает грозить нам гибелью, если религиозные насилия все еще приводят в отчаяние департаменты, то очевидно, что в этом следует винить только нерадивость королевских чиновников и отсутствие у них гражданских чувств; что уверения в тщетности их усилий, в недостаточности принятых ими мер предосторожности, в многосложности их забот явятся лишь презренною ложью, и что справедливо будет покарать их мечом правосудия, так как они являются единственною причиною всех наших бедствий. Ну что же? Подтвердите, господа, сегодня эту истину торжественным заявлением. Отказ утвердить ваш декрет вызвал вовсе не то угрюмое оцепенение, в котором обессиленный раб молча скрывает свои слезы, а то бодрое болезненное чувство, которое возбуждает страсти и усиливает их энергию у свободного народа. Поспешите предупредить волнение, последствия которого ни один человек не может предвидеть; об'явите Франции, что отныне министры будут отвечать головою за все беспорядки, предлогом для которых послужит религия; покажите ей, что эта ответственность устраняет ее опасения, дает надежду на то, что возмутители будут наказаны, лицемеры разоблачены, и спокойствие восстановится».

Это означает отмену права veto. Когда королевские чиновники будут отвечать головою, когда их будут казнить, в сущности, за то, что они не приняли таких мер, которые король отказывается утвердить, что же останется от

права утверждения? Но что останется от самого короля? В июле 1792 г. Верньо говорит об обезглавливании министров. Через шесть месяцев после этого будет обезглавлен король.

Но вот великий оратор отвергает последнюю отговорку короля: лицемерное и притворное уважение к Конституции. А именно, король отвечал народу 20 июня: «я буду применять Конституцию». И он в самом деле применял ее таким образом, что она уничтожалась. Верньо разоблачает эту проделку и отнимает у короля его последний рессурс, разоблачая ложь и коварство, которыми он прикрывался. Он так хорошо чувствует, что он готовится нанести ужасный удар и что королевская власть погибла, если вонзить нож несколько глубже, что сам он из предосторожности, не являющейся чисто ораторскою, умоляет не придавать его словам смысла, сколько-нибудь отступающего от того, который он имеет в виду:

«Существуют простые, но резкие и очень важные истины, одно высказывание которых может, по моему мнению, вызвать более значительные, более благотворные последствия, чем ответственность министров... Я буду говорить, будучи одушевлен лишь любовью к отечеству и сознанием тех бедствий, от которых оно страдает. Я прошу выслушать меня спокойно, не торопиться угадывать, что я имею в виду, чтобы заранее одобрить или осудить то, чего я не намерен сказать. Будучи верен своей присяге поддерживать Конституцию, уважать установленные власти, я буду ссылаться только на Конституцию. К тому же я буду говорить в хорошо понятых интересах короля, если, с помощью некоторых соображений, очевидность которых бросается в глаза, я выведу его из того заблуждения, в которое он введен интригою и лестью, и если я укажу ему, в какое положение стараются его поставить его вероломные друзья».

Надеялся ли еще Верньо склонить короля своим грозным предостережением на сторону Революции? Может быть: мысль о предстоящем новом революционном кризисе, полном неизвестного, наверно, была тягостна для него, — кто знает, не окажется ли возможным, после ошибочной осторожной тактики, подействовать на короля, произведя сильное впечатление правдою и ужасом?

«Во имя короля, — воскликнул он, — французские принцы попытались возбудить против нации все европейские дворы; для отмщения за унижение достоинства короля был заключен пильницкий договор и чудовищный союз между венским и берлинским дворами; чтобы защищать короля, отряды бывших телохранителей стекались в Германию под знамена мятежа; чтобы притти на помощь к королю, эмигранты испрашивают и получают назначения в австрийских армиях и готовятся напасть на отечество; чтобы присоединиться к этим храбрым рыцарям королевской прерогативы, другие храбрецы, гордящиеся своею честью и деликатностью, покидают свой пост в присутствии врага, нарушают свои клятвы, грабят кассы, стараются обольстить своих солдат и таким образом считают славными для себя поступками подлость, клятвопреступление, подстрекательство к нарушению обязанностей, кражу и убийства. (Аплодисменты трибун.) Король Богемии и Венгрии воюет с нами, а прусский король наступает на наши границы, действуя лишь против нации и Национального Собрания и для поддержания блеска трона; во имя короля нападают на свободу, и если бы удалось уничтожить ее, то вскоре расчленили бы государство, чтобы вознаградить союзные державы за их издержки: ведь щедрость королей известна; известно, с каким бескорыстием они посылают свои войска для того, чтобы вести разорительную внешнюю войну, и насколько можно верить, что они стали бы тратить свои богатства на такую войну, которая не должна была бы оказаться выгодною для них. Наконец, все те бедствия, которые обрушиваются на наши головы и которых

нам приходится опасаться, причиняются лишь во имя короля, и оно служит для них предлогом.

«Но я читаю в Конституции, глава II, раздел I, статья 6: «если король станет во главе армии и направит ее силы против нации, или если он не воспротивится формальным актом такому предприятию, совершающемуся от его имени, то он будет считаться отрекшимся от престола».

«Теперь я спрашиваю вас, как следует понимать выражение «воспротивится формальным актом»? Согласно здравому смыслу, это выражение означает акт сопротивления, по мере возможности соответствующего опасности и оказываемого в такое время, когда оно полезно для избежания этой опасности.

«Например, если бы во время нынешней войны 100.000 австрийцев наступали на Фландрию или 100.000 пруссаков — на Эльзас, а король, являющийся верховным начальником военных сил, выставил бы против каждой из этих двух грозных армий лишь отряд, состоящий из 10.000 или 20.000 человек, то можно ли было бы сказать, что он применил надлежащие способы защиты, что он исполнил требование Конституции и совершил тот формальный акт, к которому она его обязывает?

«Если бы король, обязанный заботиться о внешней безопасности государства, извещая Законодательный Корпус о предстоящих неприятельских действиях, будучи осведомлен относительно движения прусской армии, ничего не сообщил о них Национальному Собранию; если бы он, зная, или, по крайней мере, имея возможность предполагать, что эта армия через месяц нападет на нас, замедлял приготовления к отражению врага; если бы существовали основательные опасения относительно возможных успехов неприятелей внутри Франции, и если бы, очевидно, понадобился резервный военный лагерь для предотвращения или прекращения этих успехов; если бы существовал декрет, предписывающий непременно и скоро сформировать этот военный лагерь; если бы король отверг этот декрет и заменил его планом, успех которого был бы сомнителен, и для осуществления которого потребовалось бы настолько продолжительное время, что у врагов нашлось бы время сделать его невозможным; если бы Законодательный Корпус издал декреты относительно общественной безопасности, при чем близость опасности не допускала бы никакого промедления, но тем не менее было бы отказано в утверждении или оно откладывалось бы в течение двух месяцев; если бы король оставлял командующим армией генерала-интригана, ставшего подозрительным для нации вследствие серьезных ошибок, несомненнейших посягательств на Конституцию; если бы другой генерал, получивший воспитание вдали от развращенных дворов и привыкший побеждать, требовал для славы нашего оружия подкреплений, которые легко было бы прислать ему; если бы, отказывая ему в этом, король ясно сказал бы ему: «я запрещаю тебе побеждать»; если бы, пользуясь этою пагубною медлительностью, такою бессвязностью внешней политики или, скорее, таким самонадеянным и упорным стремлением к тирании, лига тиранов нанесла бы смертельные удары свободе, — то можно ли было бы сказать, что король оказал сопротивление, требуемое Конституцией, что он исполнил то, чего требует Конституция для защиты государства, что он совершил тот формальный акт, который она ему предписывает?

«Вы содрогаетесь, господа...

«Позвольте мне продолжать рассуждать, исходя из этого прискорбного предположения. Я преувеличил некоторые факты, сейчас я даже упомяну такие факты, которые, надеюсь, никогда не осуществятся, чтобы устранить всякий предлог для применений, являющихся чисто гипотетическими; но я вынужден вполне развить свою мысль, чтобы выяснить истину, устранив всякие недоразумения. (Громкие аплодисменты на левой стороне и на трибунах.)

«Если бы результат поведения, которое я только что изобразил, был таков, что Франция утопала бы в крови, что иностранцы господствовали бы, что Конституция была бы поколеблена, что наступила бы контр-революция, а король сказал бы вам в свое оправдание:

«Правда, враги, терзающие Францию, утверждают, что все их действия клонятся лишь к восстановлению моей власти, которая, по их мнению, уничтожена, к отомщению за мое достоинство, которое, по их мнению, унижено; к возвращению мне моих королевских прав, по их мнению, подвергающихся опасности или утраченных; но я доказал, что я не являлся их соучастником, я повиновался Конституции, предписывающей мне воспротивиться их предприятиям формальным актом, так как я выставил армии, ведущие кампанию. Правда, эти армии были слишком слабы, но Конституция не указывает, насколько сильными я должен был сделать их; правда, я собрал их слишком поздно, но Конституция не указывает, к какому сроку я должен был собрать их; правда, резервные военные лагери могли бы поддержать их, но Конституция не обязывает меня формировать резервные военные лагери. Правда, когда генералы победоносно двигались вперед по неприятельской территории, я приказал им остановиться, но Конституция не предписывает мне одерживать победы; она даже воспрещает мне завоевания. Правда, старались вызвать в армии дезорганизацию, побуждая многих офицеров в одно и то же время выйти в отставку, и я ничего не сделал, чтобы остановить эти увольнения, но Конституция не предусмотрела, что мне делать, когда совершаются подобные проступки. Правда, мои министры беспрестанно обманывали Национальное Собрание относительно численности и расположения войск и относительно снабжения их провиантом; правда, я удерживал как можно дольше тех министров, которые препятствовали ходу конституционного правления, и как можно меньше времени тех, которые старались укрепить его; но Конституция ставит их назначение в зависимость только от моей воли, и она нигде не предписывает мне оказывать доверие патриотам и прогонять контр-революционеров.

«Правда, Национальное Собрание издало полезные или даже необходимые декреты, которые я отказался утвердить, но я имел право так поступать, — это право священно, так как оно предоставлено мне Конституцией. Правда, наконец, что совершается контр-революция, что деспотизм опять вручил мне свой железный скипетр, что я сокрушу вас им, что вы унизитесь, что я накажу вас за то, что вы дерзко захотели быть свободными; но я сделал все то, что мне предписывает Конституция; от меня не исходило ни одного такого акта, который осуждался бы Конституцией; итак, нельзя сомневаться в моей верности ей, в моем стремлении защищать ее. (Громкие аплодисменты.)

«Если бы, говорю я, оказалось возможным, что во время бедствий, пагубной войны, во время смут контр-революционного потрясения король французов заговорил бы с ними этим насмешливым тоном, если бы оказалось возможным, что он когда-либо стал говорить им о своей любви к Конституции со столь оскорбительной иронией, то не в праве ли были бы они ответить ему:

«О, король, вы, без сомнения, полагали, вместе с тираном Лизандром, что истина не лучше лжи и что надо тешить людей клятвами, как детей тешат игрушками; вы делали вид, что вы любите законы, лишь для того, чтобы достигнуть могущества, которое дало бы вам возможность презирать их; вы делали вид, что любите Конституцию, лишь для того, чтобы она не свергла вас с престола, на котором вам нужно было остаться, чтобы уничтожить ее; вы делали вид, что любите нацию, лишь для того, чтобы обеспечить успех ваших измен, внушая ей доверие. Не думаете ли вы теперь обмануть нас этими лицемерными уверениями

и ввести нас в заблуждение относительно причины наших бедствий хитростью ваших оправданий и дерзостью ваших софизмов?

«Выставлять против иностранных солдат такие слабые силы, что в их поражении нельзя было и сомневаться, — значило ли это защищать нас? Отвергать планы укрепления внутри королевства или делать приготовления к сопротивлению в такое время, когда мы уже стали бы жертвою тиранов, — значило ли это защищать нас? Назначать таких генералов, которые сами нарушали Конституцию, или парализовать мужество тех, которые служили ей, — значило ли это защищать нас? Беспрестанно парализовать управление, беспрестанно дезорганизуя министерство, — значило ли это защищать нас? Для нашего счастья или для нашей гибели предоставляет вам Конституция выбор министров? Для нашей славы или для нашего позора сделала она вас главою армии? Для того ли, наконец, она предоставила вам право утверждать законы, цивильный лист и столько важных прерогатив, чтобы вы погубили конституционным путем и Конституцию и государство?—Нет, нет; вы человек, которого не тронуло великодушие французов, которого могла одушевлять только любовь к деспотизму; вы не исполнили требования Конституции; может быть, она уничтожена, но вы не воспользуетесь плодами вашего клятвопреступления, вы не воспротивились формальным актом тем победам, которые от вашего имени одерживались над свободою, но вы не пожнете плодов этих недостойных побед; вы уже ничто для этой Конституции (Аплодисменты с трибун.), для этой Конституции, которую вы так недостойно нарушили, для этого народа, которому вы так гнусно изменили». (Громкие аплодисменты на левой стороне и на трибунах.)

Эта речь представляет собою выражение истины и чудное произведение искусства, проявление страсти и применение тактики. Предположение, допускаемое Верньо, в стольких чертах совпадает с действительностью, что эта величественная обвинительная речь, едва смягченная и как бы отклоняемая последнею, почти невозможною надеждою, обрушивается прямо на короля. И, однако, преувеличивая некоторые черты, говоря некоторое время так, как будто Конституция уже уничтожена, Франция уже захвачена и обагрена кровью, Верньо, казалось, говорил королю: «то, что я говорю вам, вполне и окончательно осуществится по отношению к вам лишь в том случае, если вы допустите обострение кризиса, если вы не сойдете со все более и более опасных путей, ведущих к измене».

Эта речь Верньо обвивает короля ужасной молнией, но извивающаяся вокруг него молния не поражает его на смерть; она дает ему последнюю отсрочку. Я не знаю ничего более прекрасного, более трогательного, чем это прямое, сильное и, в то же время, задерживаемое действие. Чрезвычайное искусство и величественное вдохновение оратора обнаруживаются, пусть мне извинят эту деталь, даже в грамматической конструкции.

В одной фразе, как в огромной туче, содержатся и этот громовой раскат и это ослепительное сверкание молнии. Все это выражено в ее первой части, в которой высказано предположение: «если бы результат оказался таков»,— и эта первая часть условного предположения повторяется перед заключительной грозной анафемой: таким образом Собрание не может ни на одно мгновение забыть, что как бы ни приближалось предположение оратора к истине, как бы ужасно правдоподобно оно ни было, оно тем не менее до некоторой степени остается предположением. Однако следствия, вытекающие из этого предположения, настолько многочисленны и важны, их значение настолько непосредственно, что уже неясно, не смешалось ли незаметно само предположение с действительностью, подобно тому, как есть такой момент, когда притворное безумие Гамлета уже не отличается очень ясно от подлинного безумия. Я был неправ, только что извинившись по поводу того, что я отмечаю это удивительное и, в данном случае, почти волшебное

искусство. Дело в том, что мне нравится, что молния, при ярком блеске которой, наконец, был обнаружен королевский обман, была очень красива, и что пламенный взор Революции, ставшей в это мгновение чрезвычайно прозорливой, отличался гениальностью.

В сущности, вопрос был поставлен ясно: если король не защищает, в самом деле и искренно, свободу и отечество, то, согласно Конституции, он считается отрекшимся от престола. Но из всех известных фактов вытекает, что король не защищает отечество искренно и так, как его следует защищать.

Итак, если король не обезоружит готовой поразить его Конституции, резко изменив свои намерения или проявив, наконец, конституционную добросовестность, затемненную окружающими его лицами, он должен быть низложен. Итак, если не призойдет почти чудесного обращения Людовика XVI в конституционализм, то это означает конец его королевской власти, конец королевской власти вообще. Однако Верньо, как великие изобретательные ораторы, повидимому, надеялся на то, что обворожительная и грозная сила его слов, подкрепленная манифестацией Собрания, подействует на душу короля, явившись для него благотворным и решительным предостережением. Он формулировал свои выводы следующим образом:

«Я предлагаю декретировать:

«Во-первых, что отечество в опасности, а относительно того, каким образом это будет об'явлено, я ссылаюсь на проект чрезвычайной Комиссии Двенадцати;

«во-вторых, что министры будут ответственны за все внутренние смуты, предлогом для которых служила бы религия;

«в-третьих, что они ответственны за всякое вторжение в нашу территорию, за отсутствие мер предосторожности, которые во-время заменили бы тот военный лагерь, формирование которого вы декретировали.

«Затем, я предлагаю вам декретировать, что королю будет отправлено послание в указанном мною смысле;

«что будет составлен адрес к французам, чтобы пригласить их к единению и к принятию мер, требуемых обстоятельствами;

«что вы все вместе явитесь на празднование Федерации 14 июля и повторите там присягу, произнесенную вам и 14 января;

«что король будет приглашен присутствовать там, чтобы произнести такую же присягу.

«Наконец, что копия послания к королю, адрес к французам и тот декрет, который будет издан после этих прений, будут разосланы с нарочными в 83 департамента».

Ему отвечали рядом возгласов, выражавших одобрение, а когда умеренный Матье Дюма, не без таланта и не без мужества, возразил на речь Верньо, Собрание, еще находясь под впечатлением великолепной и искусной речи оратора-жирондиста, отказалось постановить, чтобы речь Дюма была напечатана. Это происходило через пять дней после попытки Лафайета: конечно, его дело было решительно проиграно.

Любопытно и драматично, что в тот же самый день, когда Верньо поражал Тюльерийский завод молниеносными ударами, которые, проникая через все отверстия, должны были подействовать как удары, наносимые пылающими мечами, королева Мария-Антуанетта послала Ферзену записку, полную надежды:

«Я получила ваше письмо от 25 числа, № 11. Оно меня очень тронуло. Наше положение ужасно, но не слишком беспокойтесь: я ч у в с т в у ю б о д р о с т ь д у х а, и что-то г о в о р и т мне, ч т о с к о р о м ы б у д е м с ч а с т л и в ы и с п а с е н ы. У человека, которого я посылаю, есть поручение к г. де-Мерси; я пишу ему очень резко, чтобы, наконец, заставить их высказаться. Действуйте так, чтобы произвести здесь внушительное впечатление: время

не терпит и ждать больше нельзя. Я посылаю бланковые подписи, как вы просили.

«До свидания. Когда же мы спокойно увидимся?»

Конечно, именно в этот вечер, 3 июля, она сказала г-же Кампо, указывая на ясную ночь: «Вскоре я, свободная и радостная, буду смотреть на эту спокойно сияющую луну».

Чем была вызвана ее надежда в этот трагический час, когда вокруг гремела Революция, когда враждебные уличные крики умолкали на краткое время лишь для того, чтобы громко раздавались слова трибуна? Она ждала спасения от манифеста союзников, от приближавшейся конницы герцога Брауншвейгского; в Тюльерийском дворце, мало-по-малу превращавшемся в крепость, король и королева ждали появления иностранцев-освободителей. Мария-Антуанетта уже видит себя во дворце, по ступенькам которого поднимаются короли и генералы.

7 июля Собрание окончательно устанавливает процедуру об'явления «Отечества в опасности». Это — не только призыв к энергии нации и к революционному самопожертвованию, но и организация защиты:

«Национальное Собрание, принимая во внимание, что настойчивые усилия врагов порядка и возбуждение всякого рода смут в различных частях государства в тот момент, когда нация ведет, для сохранения своей свободы, войну против иностранных держав, могут подвергнуть опасности общественное дело и вызвать мысль о сомнительности успеха нашего политического возрождения;

«принимая во внимание, что оно обязано предотвратить это возможное событие и смелыми, благоразумными и правильными распоряжениями не допустить замешательства, которое оказалось бы столь же вредным для свободы и для граждан, как и самая опасность;

«желая, чтобы в это время был установлен всеобщий надзор, чтобы задуманные меры деятельнее осуществлялись, а главное, чтобы меч закона беспрестанно угрожал тем, кто пытался бы преступным бездействием, вероломными проектами или дерзким преступным поведением нарушить стройный порядок в государстве;

«будучи убеждено в том, что, предоставляя себе право об'явить об опасности, оно предотвращает ее и успокаивает хороших граждан:

«помня о своей клятве: жить свободно или умереть и поддержать Конституцию, сильное сознанием своих обязанностей и требований народа, для которого оно существует, — Национальное Собрание декретирует неотложность».

«Выслушав доклад своей Комиссии Двенадцати и признав вопрос неотложным, Национальное Собрание декретирует нижеследующее:

«Статья 1.— Когда внутренней или внешней безопасности государства будет угрожать опасность, и Законодательный Корпус сочтет необходимым принять чрезвычайные меры, об этом будет об'явлено актом Законодательного Корпуса, составленным в следующих выражениях: «Граждане, отечество в опасности».

«Статья 2. — Немедленно после обнародования этого об'явления, департаментские и окружные советы соберутся и будут функционировать бдительно и непрерывно, равно как и генеральные советы Коммун; с этих пор ни одно лицо, занимающее какую-либо общественную должность, не может удалиться со своего поста или не быть на своем посту.

«Статья 3. — Все граждане, способные носить оружие и уже служившие в национальной гвардии, будут немедленно призваны в действующую армию.

«Статья 4. — Всякий гражданин обязан сообщить своему муниципалитету список находящегося у него оружия и аммуниции; за отказ пред'явить этот список или за сообщение ложных сведений, по поводу которого был бы сделан донос и которое было бы обнаружено, виновные подлежат наказаниям, назначае-

ным чрезвычайными полицейскими постановлениями, а именно, в первый раз,— тюремным заключением на срок не менее двух месяцев и не более года; во второй раз,— тюремным заключением на срок не менее года и не более двух лет.

«Статья 5.— Законодательный Корпус установит, сколько национальных гвардейцев должен выставить каждый департамент.

«Статья 6. — Директории департаментов произведут разверстку этого числа по округам, а округа — по кантонам, соразмерно числу национальных гвардейцев в каждом кантоне.

«Статья 7. — Через три дня после обнародования постановления Директории, национальные гвардейцы соберутся по кантонам и под надзором муниципалитетов главных городов они выберут из своей среды столько человек, сколько должен выставить каждый кантон.

«Статья 8. — Те граждане, которые будут удостоены чести первыми выступить на защиту отечества, находящегося в опасности, явятся через три дня после этого в главный город своего округа; они сформируют там роту в присутствии комиссара администрации округа, по закону 4 августа 1791 года; они будут там расквартированы по-военному и должны быть наготове, чтобы выступить по первому призыву.

«Статья 9. — Капитаны будут поочередно, каждый в продолжение недели, командовать избранными национальными гвардейцами, собранными в главном городе округа.

«Статья 10. — Когда будет сформировано такое количество новых рот национальных гвардейцев каждого департамента, которое окажется достаточным для сформирования батальона, они соберутся в тех местах, которые будут указаны исполнительною властью, и там волонтеры назначат свой штаб.

«Статья 11. — Им будет выплачиваться такое же жалованье, как и остальным национальным волонтерам; оно будет выдаваться со дня сбора в главном городе кантона.

«Статья 12. — Национальное оружие будет раздаваться в главных городах кантонов национальным гвардейцам, избранным для сформирования новых батальонов волонтеров. Национальное Собрание приглашает всех граждан добровольно и на время опасности доверить хранящееся у них оружие тем, на кого они возложат обязанности защищать их.

«Статья 13. — Немедленно по обнародовании этого декрета Директория каждого округа запасется тысячью боевых патронов военного калибра и будет хранить эти патроны в безопасном месте, чтобы произвести раздачу их волонтерам, когда это будет сочтено целесообразным. Исполнительная власть обязана будет сделать распоряжения относительно доставки в департаменты предметов, необходимых для изготовления патронов.

«Статья 14. — Причитающееся волонтерам жалование будет уплачиваться им Директориями округов из сумм, ассигнованных Директориями департаментов, и соответственные квитанции будут приниматься в государственном казначействе, как наличные деньги.

«Статья 15. — Волонтеры могут отбывать свою службу, не нося национальных мундиров.

«Статья 16. — Всякий мужчина, живущий или путешествующий во Франции, обязан носить национальную кокарду; это постановление не распространяется на послов и уполномоченных агентов иностранных держав.

«Статья 17. — Против всякого лица, носящего эмблемы мятежа, будет возбуждаться судебное преследование, а в случае, если оно будет изобличено в намеренном ношении их, оно будет наказано смертью. Всякому гражда-

нину предписывается задержать его или донести на него, а если он не сделает этого, он будет считаться единомышленником; всякая кокарда, отличающаяся от национальной трехцветной, является эмблемой мятежа.

«Статья 18.—Отечество не может быть об'явлено находящимся в опасности на том же самом заседании, на котором будет предложено сделать это; и прежде всего будет выслушано сообщение министра относительно положения королевства.

«Статья 19. — Когда прекратится опасность, угрожающая отечеству, Национальное Собрание об'явит это актом Законодательного Корпуса, составленным в следующих выражениях: «Граждане, отечество уже не в опасности».

Итак, национальное сознание не доверяется, если можно так выразиться, ни инстинкту самосохранения индивидуумов, ни самопроизвольным движениям, вызываемым гневом или страхом. Оно определяется лишь самим собою; оно руководится самим собою в своем единстве. Опасность проявится лишь в то самое мгновение, когда общее сознание отечества признает ее и об'явит о ней. Таким образом всякое индивидуальное сознание, даже в элементарных силах инстинкта самосохранения, об'емлется национальным сознанием. И сила порядка еще увеличивает силу экзальтации, потому что всякий человек, душа которого отзывается на сигнал, возвещающий, что свободе угрожает опасность, знает, что он действует заодно с отечеством: в его душе отражаются волнение и трепет самого отечества, она живет интересами общей свободы.

На первых порах Революция, которой грозит опасность, не прибегает к реквизициям; она призывает граждан к свободному самоотверженю. Волонтеры будут иметь честь выступить первыми; граждане, у которых есть оружие, дадут его добровольно на время опасности. Нет ли недостатка в мундирах? Это не важно: солдаты Революции не нуждаются в мундирах, чтобы пойти навстречу опасности. Они сражаются, как граждане; они защищают свою гражданскую свободу,—почему же им не носить пред врагами своего статского платья? И везде, в округе, в департаменте, гражданские власти, избранные граждане заведуют формированием, экипировкою, вооружением революционных рот и выплатою жалования.

Как это взволновало все сердца, стремившиеся к свободе, и какой героизм это возбудило в них! Через несколько дней после этого, после доклада, представленного Эро-де-Сешелем от имени Чрезвычайной Комиссии Двенадцати, Собрание об'явило, что отечество в опасности. Осторожные или боязливые люди, умеренные говорили: «К чему это? Разве вы увеличиваете таким образом реальную военную силу Франции? Не вызовете ли вы, возбудив таким образом чрезмерную тревогу, распадение Франции на бесчисленные мелкие группы, каждая из которых будет думать о своем непосредственном спасении?» Эро-де-Сешель отвечал указанием на движение неприятельских войск к французским границам. Он говорил, что от Законодательного Корпуса должна исходить «электрическая искра», которая вызвала бы во всех внезапный прилив энергии. И он указывал на исключительный, несравненный характер начатой борьбы. В первый раз во всемирной истории весь народ стал бороться за свою свободу. Но это произошло и в последний раз, потому что результатом этой борьбы явилась бы свобода всех народов, и тогда настал бы всеобщий и вечный мир.

«Наконец, господа, следует проникнуться мыслью, имеющей решающее значение. Дело в том, что та война, которую мы начали, ни в чем не походит на те обыкновенные войны, которые столько раз терзали и опустошали земной шар: это — война во имя свободы, равенства, Конституции, против коалиции держав, которые с ожесточением стремятся изменить французскую Конституцию, тем более, что они боятся, что наша философия и наши просвещенные принципы

распространятся у них. Итак, это—последняя война между ними и нами... Следовательно, представился единственный случай призвать всех тех, кого свобода сделала нашими братьями, а отныне такого случая уже не представится».

Об этой необыкновенной войне следовало торжественно возвестить серьезной и звучной декларацией, подобно тому, как о великом событии торжественно возвещают выстрелом из пушки. Последняя из всех войн!

Величественная иллюзия, которая еще усиливала мужество, придавая этой войне, долженствовавшей положить конец войнам, невинный и миролюбивый характер. Это была как бы свежая и чистая заря свободы, отражавшаяся в железных штыках и пиках.

Это был сильный удар врагу. Это был сильный удар и королевской власти. Потому что если отечество в опасности, то кто же вызвал эту опасность? И если отечество в опасности, то не представляется ли чрезвычайно опасным оставлять во главе нации и армии человека, не желавшего свободы и ставившего интерес королевской власти выше отечества? Эро-де-Сешель сделал следующий вывод:

«Отечество в опасности, потому что Конституция в опасности».

Итак, вестовая пушка была наведена на Тюльери. В конце заседания 11 июля Собрание приняло, при трогательном молчании, прекрасную и простую формулу:

«Национальное Собрание, выслушав министров и выполнив формальности, указанные законом от 4 и 5 июня, декретировало следующий акт Законодательного Корпуса:

Акт Законодательного Корпуса.

«Многочисленные войска приближаются к нашим границам; все те, кому свобода внушает ужас, вооружаются против нашей Конституции.

Граждане, отечество в опасности.

Пусть те, которые будут иметь честь первыми выступить на защиту того, что для них всего дороже, всегда помнят, что они—французы и что они свободны; что их сограждане охраняют на их родине безопасность лиц и имуществ; что избранные народом должностные лица внимательно бодрствуют; что все со спокойным мужеством, свойственным истинной силе, ждут сигнала, установленного законом, и отечество будет спасено».

Другой грозный удар был нанесен за несколько дней до этого умеренным защитникам монархии. Собрание декретировало, что заседания административных органов должны быть публичны. Таким образом Директории парижского департамента, ставшей центром фельянского направления и ретроградного модерантизма, предстояло быть окруженною народною силою. Следовательно, все ускоряло революционное движение. Все приближало последнюю схватку между Революцией и королевской властью.

Что нужды, что 7 июля Ламурет, епископ лионский, с сентиментальным умилением и не без задней мысли приглашал все партии примириться и братски обняться. Политическая формула этого примирения была обманчива:

«Одна часть Собрания приписывает другой мятежный замысел ниспровергнуть монархию и установить Республику, а эта часть, с своей стороны, обвиняет первую в преступном желании уничтожить конституционное равенство и добиться учреждения двух палат; вот в чем заключается гибельный источник раздоров, которые распространяются во всем государстве и на которых основываются преступные надежды людей, затевающих контр-революцию. Отверг-

нем же, господа, с всеобщим негодованием и произнеся последнюю и ненарушимую клятву, отвергнем и Республику и две палаты». (Единодушные аплодисменты.)

И все Собрание поднялось, чтобы официально засвидетельствовать, что оно одинаково отвергало и ненавидело Республику и две палаты! Тщетность человеческих слов и сентиментальных выдумок против великой силы вещей! Ненавидеть Республику! Отвергнуть Республику! Через три месяца после этого эта, всеми ненавидимая, единодушно отвергаемая Республика возвышалась, одушевляла сердца и метала молнии.

Но, в самом деле, когда Ламурет предложил свою формулу равновесия, дело шло вовсе не об этом. Дело шло вовсе не о том, чтобы выяснить, не хотят ли, в силу заранее принятого решения и следуя системе одни — двух палат, другие—Республики. Дело шло о том, чтобы выяснить, существовала ли готовность, для спасения королевской власти, подвергнуть опасности Революцию, или, для спасения Революции, уничтожить королевскую власть. На следующий же день революционеры, оправившись от умилительной неожиданности поцелуя Ламурета, осмеивали этот тщетный парад и это «притворное примирение».

Еженедельник Прюдома напоминал следующую восточную правоучительную басню персидского мудреца Саади:

«В это время Ариман, или дух зла, заметив, что просвещенные люди покидают его алтари, поспешил повидаться с Ормуздом, или духом добра, и сказал ему: «Брат, наш раздор тянется довольно долго. Примиримся, и пусть у обоих нас будет одна и та же часовня.—Никогда,—ответил ему очень догадливый Ормузд.—Что стало бы с бедными людьми, если бы они уже не могли отличать добро от зла?..»

Революционный поток не был задержан ни па один день.

А что нужды, что Директория парижского департамента с ожесточением добивалась отрешения Петиона и Манюэля от занимаемых ими должностей. Первоначальное движение в пользу короля, вызванное инцидентами, происходившими 20 июня, все ослабевало. Предместья подавали ряд адресов в пользу Петиона, виновного, как он сам говорил, только в том, что он не вызвал кровопролития. Министры не решались принять решительные меры, чувствуя опасность.

Однако король утвердил 11 июля постановление Директории. Но Собрание 13 июля, по докладу своей Комиссии Двенадцати, отменило это отрешение от должности, и популярность парижского мэра возросла после событий 20 июня. А главное, он оставался в городской думе; там он мог еще оказать содействие Революции, или, по крайней мере, умышленно закрыть глаза на революционные приготовления и действия.

В тот же самый момент исполнительная власть находилась в чрезвычайно критическом положении и совершенно разлагалась. Дюрантон, министр юстиции, принуждаемый силою и испугавшийся, подал в отставку уже 3 июля; 8-го числа он был заменен г-ном Жолли; но 10-го числа все министры,—Террье, Сципион Шамбона, Лакост, Жолли, Лажар и Больс, вообразив с наивным самодовольством, что они произведут сильное впечатление, об'явили Собранию, что, при всеобщей анархии, они не могли продолжать нести ответственность за ведение дел. В то же время они послали королю письмо, содержащее в себе коллективное заявление об их выходе в отставку.

Собрание отнеслось равнодушно к этому жалкому рассчитанному уходу ставленников фельянов, но он поставил короля в еще более затруднительное положение. Если он уже не мог даже назначать министров для функционирования Конституции, то на что же он был годен?

Однако по мере того, как поток кипел и приближалась развязка, партии, как бы боясь неисчислимых последствий того потрясения, которое они предчувствовали, еще колебались, откладывали, пытались ослабить удар. Когда 12 июля в Законодательном Собрании был прочитан откровенно и грубо республиканский адрес Генерального Совета Марсельской Коммуны и ее мэра Мурайля, которые заявили, что, сохранив королевскую власть, «члены Учредительного Собрания ничего не учредили», спрашивали, почему один привилегированный род присваивал себе право царствовать над Францией, приглашали законодателей «вырвать последний корень тирании», т.-е. именно королевскую власть, и, во всяком случае, вполне отменить право veto, почти все Собрание протестовало. Одни негодовали, другие не одобряли. Даже волонтеры, прибывшие в Париж, чтобы принять участие в праздновании 14 июля «в Федерации 1792 года», прежде чем отправиться к границам для борьбы против врага, выслушивали от самих якобинцев советы быть осторожными.

Робеспьер, выражая в несколько высокопарной речи «привет защитникам свободы, привет отважным марсельцам», предостерегает их, чтобы они не дали обмануть себя на церемонии 14-го числа лживыми предложениями и заискиваниями со стороны королевской власти, но он напоминал им также, в выражениях, в которых, несмотря на их рассчитанную резкость, можно было видеть совет соблюдать умеренность, о том, что прежде всего следовало уважать и поддерживать Конституцию. Даже 14 июля на Марсовом поле левые партии тщательно избегали всяких сколько-нибудь резких инцидентов, всяких сколько-нибудь пылких манифестаций: не раздавалось никаких враждебных возгласов против короля или против королевы.

Федераты были распределены по батальонам разных секций: таким образом вокруг них не могло произойти никакого движения, и организаторы празднества даже избежали всяких поступков, неприятных для короля.

Сначала было условлено, что он подожжет родословное дерево эмигрантов; его избавили от этой церемонии. День прошел довольно хорошо, блестяще, вяло, многое неясно подразумевалось; день был полон неопределенного ожидания, смягчаемых опасений и затаенной ненависти. Как якобинцы, повидимому, боялись приступить к решительному нападению или, по крайней мере, откладывали его, так и у короля и у королевы уже не было иной политики, кроме ожидания иностранцев. У них не было никаких иллюзий относительно поцелуя Ламурета. Мария-Антуанетта пишет 7 июля к Ферзену:

(Незашифровано.):

«Я сообщила вам несколько дней тому назад, в каком положении находится ваш актив. Вот дополнение к этому отчету, полученное мною сегодня утром от вашего лондонского банкира».

(Шифром.):

«Различные партии Национального Собрания примирились сегодня: это примирение не может быть искренним со стороны якобинцев; они притворяются, чтобы скрыть какой-либо проект. Один из тех проектов, который можно предполагать у них, заключается в том, чтобы попросить, при посредстве короля, о прекращении военных действий и побудить его вести переговоры о мире. Следует предупредить, что всякий официальный шаг в этом направлении не будет соответствовать желанию короля, что если ему понадобится выразить какое-либо желание, вызванное обстоятельствами, он сделает это через г-на де-Бретейля».

Странная, несбыточная мечта! Она еще воображает, что революционная Франция боится и старается начать переговоры даже при посредстве короля. Итак, следует сделать лишь одно: отвергнуть всякие переговоры и вонзить прусские и австрийские мечи в самое сердце Революции.

Она отвергает и комбинации, предлагаемые фельянами, желавшими увезти короля из Парижа, окружив его верными или считавшимися верными войсками Лафайета, а оттуда, несомненно, справиться с якобинцами.

Этот план был нелеп, так как если бы эти «конституционные» войска не соединили своих усилий с усилиями иностранцев, то они оказались бы бессильны против революционной Франции и, несомненно, могли бы только вызвать в Париже, которому они грозили бы, ужасные неистовства. А если бы эти роялистские войска соединились, как казалось неизбежным, с иностранными армиями, то они только продолжали бы дело эмиграции. Лафайет был настолько возбужден против «мятежников» и раздражен, он до такой степени чувствовал себя погибшим и лишившимся всякого значения благодаря их торжеству, что он не побоялся предложить двору этот бессмысленный план. В письме г-на Лалли-Толландаля к королю от 9 июля 1792 г. сказано: «Мне поручено г-ном де-Лафайетом прямо предложить его величеству осуществить 15-го числа этого месяца тот же самый проект, который он предлагал осуществить 12-го числа и которого уже нельзя осуществить в этот день, после того, как его величеством было обещано присутствовать на церемонии 14-го числа. Его величество должен был видеть присланный г-ном де-Лафайетом план этого проекта, так как г-н Дюпор должен был доставить его г-ну де-Монсьелю для того, чтобы он показал его его величеству. Г. де-Лафайет хочет быть здесь 15-го числа; он будет здесь вместе со старым генералом Люкнером; оба они только что повидались; оба они обещали это друг другу; у обоих их одни и те же чувства и один и тот же проект. Они предлагают, чтобы его величество открыто покинул город в сопровождении обоих их, написав Собранию сообщение о том, что он не уклонится от конституционного образа действий и что он отправляется в Компьень. Его величество и вся королевская фамилия будут помещаться в одном и том же экипаже. Легко найти сто хороших кавалеристов, которые будут конвоировать его. В случае надобности, войска и часть национальной гвардии окажут защиту при от'езде....

И Лалли прибавляет: «Если бы, что совершенно невероятно, его величество не мог выехать из города, то, ввиду столь очевидного нарушения законов, *оба генерала двинулись бы на столицу с армией*». Да, и они прибыли бы туда за несколько часов до прибытия герцога Брауншвейгского. Сам Лафайет пишет 8 июля: «Я расположил свою армию так, что лучшие эскадроны гренадер, конная артиллерия были под начальством М. в четвертой дивизии, и если бы мое предложение было принято, то я привел бы в два дня к Компьень пятнадцать эскадронов и восемь пушек, а остальная армия расположилась бы эшелонами на расстоянии одного перехода; *а такой полк, который не сделал бы первого шага, явился бы на помощь ко мне, если бы моим товарищам и мне пришлось сражаться*».

Итак, Лафайет не вполне уверен в своей армии. Но именно для этого похода против Парижа, или, по крайней мере, для того, чтобы ближе следить за ходом событий, Люкнер, по внушению Лафайета, отступил из Бельгии к Лиллю. В самом деле, пожелав остановить Революцию там, где сам он остановился, Лафайет, несмотря на свой искренний патриотизм, свернул на скользкий путь, от которого недалеко было до измены. Королева уведомила об этих проектах Ферзена и графа де-Мерси. Они энергически возражали против них. Несомненно, они опасались повторения того, что произошло в Варение, с более тяжелыми последствиями. А кроме того, если бы король очутился в руках Лафайета, то, с их точки зрения, он все-таки был бы еще в руках Революции. Ждать в Париже и не быть обязанным своим избавлением никому, кроме иностранцев, — вот их лозунг.

Ферзен пишет Марии-Антуанетте 10 июля: «Ваше мужество удивительно, и непоколебимость вашего супруга производит сильное впечатление. Нужно сохранить это мужество и эту непоколебимость, чтобы противиться всякой попытке побудить вас уехать из Парижа. Очень выгодно оставаться там. Однако я вполне разделяю мнение г. де-Мерси относительно того единственного случая, в котором понадобилось бы это сделать; но, прежде чем сделать эту попытку, следует тщательно удостовериться в мужестве и в верности тех, которые защищали бы вас при вашем от'езде... так как если бы оказалось, что у них нет мужества и что они не верны, вы погибли бы без поддержки, и я без ужаса не могу думать об этом. Итак, не следует решаться на эту попытку необдуманно и не обеспечив успеха. Если вы сделаете эту попытку, то, во всяком случае, следовало бы обратиться не к Лафайету, а к ближайшим департаментам...».

11 июня Мария-Антуанетта пишет Ферзену (шифром): «Конституционалисты, действующие заодно с Лафайетом и Люкнером, желают отвезти короля в Компьень на следующий день после празднества федерации; для этого оба генерала прибудут сюда. Король склонен согласиться на этот проект; королева возражает против него. Еще неизвестно, каков будет исход этого великого предприятия, которого я далеко не одобряю. Люкнер будет командовать рейнской армией, Лафайет переходит во фландрскую армию, Бирон и Дюмурье — в центральную. (Незашифровано.) Ваш лондонский банкир не очень исправно пересылает мне фонды».

Люкнер прибыл в Париж ночью с 13-го на 14-е и присутствовал на празднестве федерации. Лафайет не приехал. Он пришел в уныние от отрицательного ответа короля, наконец, уступившего настояниям Марии-Антуанетты, и весь этот неудавшийся заговор только еще более скомпрометировал короля и Лафайета. В самом деле, не замедлил распространиться слух о том, что оба генерала собирались двинуться на Париж. Еженедельник Прюдома таинственно говорит о Лафайете:

«Говорят, что 14-го числа, под бархатным ковром с золоченой бахромой, которым был покрыт балкон военной школы, была спрятана некая важная особа, которой пришлось, оставаясь невидимой, выслушивать, как кортеж из 60.000 человек беспрестанно проклинал ее, входя на то поле, где состоялось празднование Федерации: на то самое поле, где эта особа полагала в прежние годы, что она может задохнуться в облаках фимиама; по крайней мере, армия Лафайета повсюду искала его в этот день. Но Люкнер, конечно, также покинул свою армию и уланов, чтобы, в случае надобности, защищать своего короля против мятежников 14 июля».

Но важнее этих странных слухов для Лафайета было то, что Люкнер, недолго пробыв в Париже, проболтался. 17 июня, на вечере у парижского архиепископа, он дал понять, что Лафайет предлагал ему нечто ужасное, а именно, двинуться против Парижа. Так, по крайней мере, были поняты его слова. Жансоннэ, Верньо, Бриссо упомянули о них с трибуны в Законодательном Собрании. Они были засвидетельствованы Эро-де-Сешелем. Бюро-де-Пюзи, которого Лафайет высылал с поручениями к Люнкеру, был вызван к решетке для об'яснения относительно этих преступных проектов. Он отрицал, что когда-либо шла речь о походе войск против Парижа, но он пред'явил в защиту Лафайета письма, в действительности его обвинявшие. Лафайет писал Люкнеру: «Мне нужно многое сказать вам относительно политики». И для всех становилось ясно, что обе армии преданы интриге, что их патриотическая и революционная сила парали-

зована комбинациями начальников. Люкнер написал, что его слова были неверно поняты. Лафайет отрицал:

«Меня спрашивают, думал ли я, собирался ли я осаждать Париж, оставить границы, чтобы двинуться на Париж. Мой ответ короток: это — неправда.

Подписал: Лафайет».

Это была жалкая двусмысленность, очень мало отличавшаяся от лжи. Лафайет желал двинуться не прямо на Париж и не со всей своей армией. Он желал сперва отправиться в Компьень. Но существенно было то, что он в самом деле собирался покинуть границу и свой боевой пост, чтобы служить королевской власти. И Люкнер, несомненно, боясь быть скомпрометированным, по крайней мере отчасти, нарушил тайну. Отовсюду как бы веяло изменою. И Марат, в течение нескольких месяцев чувствовавший свое бессилие и подавленный этим, поднял голову, кичась своею проницательностью.

«Итак, французы, — пишет он 18 июля, — вам выяснилось, что́ такое представляет собою господин Моттье (Лафайет); вот уже несколько дней, как вы убедились в том, на что один проницательный гражданин беспрестанно указывал вам с тех пор, как началась Революция, и теперь великий генерал, герой обоих полушарий, соперник Вашингтона, бессмертный восстановитель свободы является в ваших глазах лишь презренным придворным, слугою монарха, недостойным сообщником деспотизма, изменником, заговорщиком... Не менее очевидно, что и Люкнер оказывается изменником, настолько гнусным, что он прикрывает свои грязные измены ложью; так как ложью оказывается и то, что он был вынужден отступить назад во Францию, не имея достаточно войск для того, чтобы проникнуть дальше в неприятельскую страну, все обитатели которой готовы были встретить его с распростертыми об'ятиями».

Таким образом росли справедливые и ужасные подозрения народа. Король решительно отвергал все проекты бегства, так что, следовательно, последней битве предстояло завязаться в Париже, на столичном бранном поле. Кто одержал бы победу—обитатели Тюльерийского дворца, с каждым днем все более и более превращавшегося в крепость, или жители предместий, возбуждаемые и подкрепляемые ежедневно прибывавшими федератами? В самом деле, 14 июля их еще было немного, но теперь они спешили явиться в Париж. Едва успев прибыть, они выслушали там множество неясных и противоречивых советов, но благодаря соприкосновению одушевлявшей их страсти со страстным возбуждением, существовавшим в Париже, получалось ужасное напряжение электричества.

Марат в номере своей газеты от 8-го числа советовал им захватить короля и королевскую фамилию, держать их в качестве заложников и быть готовыми убить их в том случае, если бы иностранцы сделали хоть один шаг на территорию отечества. Любопытно, что Марата мало слушали. Казалось, что он должен был бы оказывать значительное влияние в тот момент, когда общая страсть дошла до такого же напряжения, как у него. Но этого вовсе не было: сила событий, возбуждавших умы, бесконечно превышает действие чьих бы то ни было слов.

Пронзительный и несколько тонкий голос Марата теряется во все усиливающемся шуме приближающейся Революции, как резкий крик морской птицы теряется в возрастающем шуме вздымающихся волн. Раз, 21 июля, в припадке отчаяния, он даже возвещает о своем уходе: близка гибель королевской власти, а он, пророк, думает, что гибнет Революция:

«Что́ получил я за это патриотическое самоотвержение, кроме клеветы со стороны врагов свободы, ненависти злых людей, преследования со стороны сообщников деспотизма, потери моего состояния, бедности, проклятий от всех сильных мира сего, опалы и угрожающей мне опасности позорной казни! Но еще более тяжелое впечатление производит на меня

черная неблагодарность народа, гнусное отступничество патриотов. Где эти хвастуны, выражающие такое усердие, такую смелость в своих клубах, клявшиеся защищать меня с опасностью для собственной жизни, пролить за меня всю свою кровь? Они исчезли при виде опасности; у меня едва остается несколько друзей; я едва могу найти себе пристанище. Святая любовь к отечеству, какую ужасную беду навлекла ты на меня! Но нет, я не запятнаю чистоту моих пожертвований печальными жалобами. Как бы ни была ужасна моя участь, я решился выносить ее с той минуты, когда я присоединился к вашему делу, обрекая себя на всякие бедствия, чтобы сделать вас счастливыми. В моем чрезмерном несчастии единственным удручающим меня горем является гибель свободы. Как жаль, что враги отечества, знающие, до какой степени я дорожил им, и находившие преступным мое усердие, не могут быть очевидцами моего отчаяния: они нашли бы, что боги достаточно наказали меня».

Тон прекрасен, но в том-то и состоит наказание за эти беспорядочные и резкие проявления чувствительности. Она расточается в бесплодных неистовствах, в отдаленных предсказаниях, в тщетных упреках в часы неизбежной неподвижности народа. И, как бы сама собою истощившись, такая чувствительность уже не возбуждается при приближении великих событий, вызывающих душевное волнение даже у обыкновенных людей.

Марат 22 июля 1792 г. не предчувствовал близкой победы народа и Революции. Движение секций в первые дни августа оживит эту неустойчивую и расшатанную нервную систему.

Робеспьер, конечно, догадывался об огромных и близких движениях. Но возбуждение федератов пугало его. Он упорно старался удержать их в границах законности: результатом победы, одержанной после смелого нападения, явилась бы только анархия или диктатура. Он желал спасти и довершить Революцию законными средствами.

Следовало не отвергать средств, допускаемых Конституцией, а использовать их в смысле демократии и национальной воли.

«Федераты,—пишет он в нумере «Защитника Конституции» от 15—20 июля,—прибыли в Париж в тот момент, когда подготовляется ужаснейший заговор против отечества. Они могут расстроить его. Для того, чтобы сделать это, у них не окажется недостатка ни в мужестве, ни в любви к отечеству, но им понадобятся еще и благоразумие, и осторожность, необходимые для того, чтобы выбрать правильные средства для спасения свободы и избежать всех тех сетей, которые враги народа не перестанут расставлять для них, стараясь воспользоваться их откровенностью. Эмиссары и сообщники двора будут изо всех сил стараться возбудить в них нетерпение и довести их до крайних опрометчивых решений. Пусть они действуют осмотрительно и энергично; пусть они сперва узнают, к каким средствам прибегают интриганы; пусть они бережно относятся к мнению слабых, возбуждая патриотизм; пусть они воспользуются самой Конституцией для спасения свободы; пусть принимаемые ими меры будут благоразумны, прогрессивны и смелы.

«Нелепо было бы думать, что Конституция не дает Национальному Собранию средств защищать ее, когда очевидно, что Национальное Собрание далеко не применяет всех средств, предоставленных ему Конституцией; было бы чрезвычайно неблагоразумно в политическом отношении начать с требования чего-то большего, чем Конституция, когда нельзя добиться осуществления самой Конституции; еще неблагоразумнее в политическом отношении было бы желать добиваться с виду неконституционными средствами того, чего мы в праве требовать в силу формального текста Конституции.

Придерживаясь этого принципа, можно привлечь боязливых и неосведомленных людей, заставить клеветников умолкнуть и разоблачить всю гнусность преступных уполномоченных, которые беспрестанно ссылаются на законы, попирая их ногами.

«Зачем я стал бы уверять, что следует прибегнуть к чрезвычайным мерам, допустимым для общественного спасения, чтобы потребовать наказания двора, составляющего заговоры, генералов, оказывающихся изменниками и бунтовщиками, смещения контр-революционных Директорий, когда все это является лишь обязанностью наших представителей, выполнения которой Конституция строжайшим образом требует от них?.. Граждане-федераты, боритесь против наших общих врагов лишь мечом закона... Нетерпение и негодование могут побуждать к более скорым и с виду сильнее действующим мерам, но только вышеупомянутые меры одобряются благоразумною политикою, и только они применимы при нынешних обстоятельствах.

«Не всегда следует делать все то, что представляется законным... Судьба государства вовсе не связана с головой того или иного индивидуума; она зависит от самого образа правления, от свободных политических учреждений. В обширном государстве, среди партий, общественные бедствия вовсе не прекращаются с устранением нескольких вредных индивидуумов, и тирания не рушится вместе с тиранами. Частичные и бурные движения часто оказываются лишь смертельными кризисами. Прежде, чем отправиться в путь, нужно знать ту цель, которой желательно достигнуть, и ту дорогу, по которой следует идти. Нужен план и нужны вожди для того, чтобы осуществить великое предприятие».

Такова выжидательная, осторожная и легальная политика, рекомендуемая Робеспьером за двадцать дней до 10 августа пылким федератам: не нужно ни уличных волнений, ни восстания, ни штурма Тюльерийского дворца, ни нападения на особу короля, ни даже неконституционных нападок на его конституционную власть. Ждать спасения следует от энергических действий Собрания, а если их не будет, то от энергических законных действий всей Франции. Но каким образом? Робеспьер остается загадочным и неясным.

Каким образом может Собрание принять все спасительные меры, без которых свобода и отечество погибнут, если король может парализовать их, пользуясь veto, предоставленным ему Конституцией? Каким образом может Собрание наказывать генералов-изменников и назначать начальниками верных генералов, если министры, назначаемые королем согласно Конституции, упорно прикрывают измену, связывают отечество? Вернейший способ заключался бы, несомненно, в том, чтобы Собрание энергически и непоколебимо побудило короля назначить министров; но не означает ли это возвращение к политике Жиронды? И не заявлял ли Робеспьер много раз, что он считал все эти министерские комбинации подозрительными и развращающими? Кажется, конечно, что не оказывалось среднего пути между уличной революцией и политикою Жиронды. Казалось, что приходится непременно разрешить дилемму: или низвергнуть королевское правительство или водворить в нем Революцию; Робеспьер не желает ни того, ни другого: какой же исход допускает он для событий?

И что имеет он в виду, говоря об этом обращении к общим и законным действиям страны, на которое он, повидимому, указывает в неясных выражениях, как на крайнее средство? Он еще не желает сказать этого. Может быть, у него еще не было относительно этого определенного плана, который он изложит через несколько дней, когда события как будто поставят его в безвыходное положение;

может быть, также, при своей обычной осторожности, он не хотел преждевременно высказаться и усиливать агитацию преждевременными указаниями.

Какая искусная формулировка! Как, отговаривая от применения революционной силы, он возвещает ее законность, чтобы иметь возможность без затруднения принять достигнутые ею результаты! Но в этом, конечно, не обнаруживалось такой силы, которая служила бы импульсом.

Еще нерешительнее была Жиронда. После грозной, но еще неопределенной речи Верньо, Бриссо потребовал 9 июля, чтобы было начато расследование для выяснения вопроса о том, в самом ли деле король воспротивился иностранцам формальным актом, требуемым Конституцией. Это значило приступить к процедуре, влекшей за собою низложение. Но речь Бриссо, совпавшая с поцелуем Ламурета, не подействовала.

И казалось, что затем Жиронда и сам Бриссо отступили. Штурмовать Тюльери? Но руководство движением перешло бы от Жиронды к революционным силам секций. Предоставить королю свободу действий? Но отечество подверглось бы нашествию врагов, и свобода была бы погублена. Об'явить низложение в легальных формах? Это значило бы подать сигнал к уличной агитации. Снова побудить короля назначить министров-патриотов? На этот раз, если бы король был вынужден допустить их, после того, как он уволил их в отставку, это было бы для него таким унижением, таким ослаблением власти, что, прикрываясь именем короля, Жиронда и Революция захватили бы верховную власть. И отечество было бы спасено без насильственного потрясения Конституции. С этою мыслью жирондисты сперва направили свои усилия на разрешение министерского вопроса.

Не подлежит сомнению, что если Бриссо, после своей задорной речи 9 июля, внезапно прекратил нападение, то это об'ясняется тем, что коллективный выход министров в отставку, о котором было заявлено 10 июля, внушил Жиронде мысль, что она могла бы, во имя Революции, вновь овладеть министерством.

Министры коллективно подали прошение об отставке для того, чтобы доказать стране, что при том состоянии анархии, в которое впала Франция, Конституция не могла функционировать. И король не заменял министров, подавших прошение об отставке, другими—или для того, чтобы лучше выяснить это состояние анархии и бессилия, или потому, что в самом деле во время опасности ему было нелегко найти служителей. Несомненно, в этот период Гюадэ, Верньо и Жансоннэ, которых художник Роз, друг двора, попросил дать совет относительно кризиса и способов предотвратить его, написали то, впрочем, вполне честное и согласное с их публичными заявлениями, изложение своих политических взглядов, которое будет впоследствии найдено в железном шкафу и использовано против Жиронды.

«Назначение министерства,—говорили они в этом документе,—всегда являлось одною из важнейших функций той власти, которою облечен король: оно служит термометром, по которому общественное мнение всегда судило о намерениях двора, и понятно, каков может быть теперь результат таких назначений, которые во всякое другое время вызвали бы сильнейший ропот. Итак, назначение вполне патриотического министерства явилось бы одним из важных средств, к которым король может прибегнуть для восстановления доверия». 21 июля Верньо от имени Комиссии Двенадцати, превратившейся за несколько дней до этого в Комиссию Двадцати Одного, потребовал с трибуны Законодательного Собрания от короля, чтобы он назначил министров.

«Собрание заявляет королю, что спасение отечества настоятельно требует, чтобы было вновь составлено министерство, и что этого изменения в составе министерства нельзя откладывать без чрезвычайного усиления опасностей, угро-

жающих свободе и Конституции, и декретирует, что этот декрет будет сегодня же передан королю».

Надеялась ли Жиронда, что ее угрозы, вместе с ее предложениями, так подействуют на короля, что он уступит, доверится ей и предоставит в ее распоряжение, на этот раз без задней мысли, все силы Франции для спасения Революции? Безрассудная надежда, которой, однако, предавались эти великодушные и нежные сердца. При этом ожидании, при котором, несмотря на все это, было мало надежд, они избегали непоправимых слов. Они смягчали, они откладывали.

Однако события быстро следовали одно за другим, возбуждали страсти, с каждым днем все настоятельнее требовали решительных действий. И все усиливавшееся патриотическое и революционное возбуждение не дозволило бы продолжать прибегать к неопределенным комбинациям, замедлявшим наступление развязки. Солнце поднималось все выше и выше, зной все усиливался, и тень суетных государственных людей все укорачивалась у их ног.

После того, как Собрание 11 июля об'явило, что отечество в опасности, души волновались и как бы находились в приподнятом состоянии. В Париже муниципалитет обнародовал акт Законодательного Корпуса и приступил к набору граждан в воскресенье 22 и в понедельник 23 июля. Он придумал грандиозный и простой церемониал, один из тех великолепных планов празднеств, которые создавались гением искусства, одушевленным страстною любовью к свободе. Что представлял бы собой этот церемониал без энтузиазма и национального усердия? Но вовсе не следует относиться с пренебрежением к тем торжественным и многооб'емлющим формам, в которые вдохновенная и обдуманная мысль облекала самопроизвольную силу национального чувства. Революция обнаруживала в своей кипучей жизни удивительное понимание значения театра. В то самое время, когда она действовала, жила, боролась, дисциплинировала массы и воспламеняла души, она являлась как для самой себя, так и для мира величественным зрелищем, и она облагораживала огромные народные движения, придавая им красивые черты.

Прокламация.

«В семь часов утра генеральный Совет соберется в ратуше.

«Шесть легионов парижской национальной гвардии соберутся отрядами в шесть часов утра на Гревской площади со своими знаменами.

«В шесть часов утра три раза прогремит вестовая пушка в артиллерийском парке у Нового Моста, возвещая об'явление отечества в опасности, и этот залп будет повторяться каждый час до семи часов вечера. Такие же пушечные залпы будут раздаваться из арсенала.

«Барабаны забьют сбор во всех городских кварталах, и вооружившиеся граждане соберутся на своих постах.

«Ровно в восемь часов оба кортежа двинутся в следующем порядке:

«Отряд кавалерии с трубачом, саперы, барабанщики, оркестр музыки, отряд национальной гвардии, шесть пушек, трубачи.

«Четыре конных муниципальных пристава, с плакатами, к которым будут прикреплены гражданские венки с надписями: Свобода, Равенство, Конституция, Отечество, а над ними: Гласность, Ответственность. Эти четыре плаката будут носить на всех церемониях, на которых будет присутствовать муниципалитет.

«Двенадцать муниципальных чиновников, облеченных должностными знаками, нотабли, члены совета, все верхом.

«Национальный гвардеец верхом, с огромным трехцветным знаменем, на котором будет написано: Граждане, отечество в опасности.

«Шесть пушек, второй отряд национальной гвардии, отряд кавалеристов.

«Обе процессии выстроятся в одинаковом порядке на Гревской площади и одновременно направятся, каждая на место своего назначения.

«В местах, указанных в прокламации, кортеж будет останавливаться; один из его участников подаст народу сигнал, призывающий к молчанию, махая трехцветным флагом; раздастся барабанная дробь в качестве последнего сигнала; барабанная дробь прекратится, и муниципальный чиновник, стоя впереди своих товарищей, громко прочтет акт Законодательного Корпуса, возвещающий, что отечество в опасности.

«Кортежи вернутся в том же порядке на Гревскую площадь. Один из флагов с прокламацией, возвещающей, что отечество в опасности, будет водружен над ратушею, а другой—в артиллерийском парке, находящемся у Нового Моста, и эти флаги останутся там до тех пор, пока Национальное Собрание не об'явит, что отечество уже не в опасности.

«Во время шествия музыка будет исполнять только величавые и строгие мотивы.

Запись граждан волонтеров.

«На площади будут устроены амфитеатры, на которых будут помещаться палатки, разукрашенные трехцветными флагами и венками из дубовых ветвей: в передней части амфитеатра доска, положенная на два барабана, заменит бюро для записи добровольцев.

«Три муниципальных чиновника, в присутствии шести нотаблей, будут выдавать на этих амфитеатрах записавшимся гражданам удостоверения об их поступлении на военную службу, рядом с ними будут водружены знамена городской части, охраняемые национальными гвардейцами.

«В амфитеатре волонтеры образуют большой круг, в котором будут помещаться две пушки и оркестр музыки. Затем записавшиеся граждане будут сходить и станут в центре этого круга до окончания церемонии; тогда муниципальные чиновники и национальная гвардия проводят их до главной квартиры, откуда каждый из них отправится на свой пост».

Это была как бы постановка действия на античную сцену, при чем гром пушек придавал этому действию новую силу, а свобода, ставшая, наконец, общею для всех людей, придавала ему новое величие. Революция заимствовала от Греции и Рима величественное искусство соблюдать, даже и при наступлении опасности, важное спокойствие и возбуждать такой энтузиазм к смерти, на которую шли во имя свободы и отечества, что она являлась как бы высшей экзальтацией в жизни.

Это произвело глубокое впечатление, и восторг был изумителен. В течение нескольких дней на восьми амфитеатрах, устроенных в Париже, возле палаток, разукрашенных венками из дубовых ветвей, записалось 15.000 волонтеров. Увы!—должен был наступить момент, когда этому чистому стремлению к борьбе за свободу суждено было повлечь за собою военное порабощение, и под доской, на которой помещались реестры для записи волонтеров, всеобщему трепетному энтузиазму вторили барабаны. Но в это мгновение к священному порыву еще не примешивалось ничего механического, ничего рабского. Да и Марат, низводя великую революционную прозорливость до конвульсивного недоверия, тщетно язвительно уговаривал волонтеров отправиться к границе не прежде, чем туда будут посланы линейные войска, национальные гвардейцы, роялисты, все вооруженные сообщники тирании. Тщетно, по словам еженедельника Прюдома, который, борясь с Маратом, часто утомительно, педантично и многословно вторит ему, тщетно некоторые граждане, мотивы которых заслуживают уважения, говорили во всеуслышание: «Эх, несчастные, куда вы стремитесь? Думаете ли вы о том, под чьим начальством вам придется выступить против врага? Почти все ваши офи-

церы—дворяне; такой человек, как Лафайет, поведет вас на бойню. Эх! Разве вы не видите, как под решетчатыми ставнями Тюльерийского дворца жестоко высмеивают ваше великодушное, но слепое усердие? Подумайте же!» — «Эти слова,—прибавляет несколько жеманный очевидец,—были бесполезны и не могли ослабить общее рвение. Наэлектризованная молодежь и слышать ничего не хотела».

И она была права, не желая слушать подобных рассуждений. Революционные секции также были правы, воодушевляя всех граждан и даже не принимая в расчет возраста: благодаря великим событиям, даже дети вдруг становятся зрелыми, и юноши крепнут и мужают: рвение переродившихся детей озаряет серьезные надежды нации.

«Если бы я принимал в расчет лишь наружные признаки,—воскликнул офицер, приведший 78 юношей из секции Четырех Наций,—то некоторые из них не могли бы быть приняты из-за их роста; но я прижимал свою руку к их сердцам, а не к их головам: все они пылали патриотизмом».

Да, эти молодые люди были правы, не слушаясь советов ложной революционной мудрости. Стремясь к границе против вторгшегося врага, они сокрушали измену внутри страны; потому что какой гражданин, видя, что они идут навстречу опасности и, может быть, даже смерти для борьбы за общую свободу, не поклялся бы в глубине своей души не предавать их в жертву покушениям предателей и интриге «главного предателя», короля?

Так, в самом деле, Дюэм назвал короля с трибуны Собрания 24 июля. Началась присылка адресов, требовавших низложения Людовика XVI. Когда, 25 июля, генералы рейнской армии Ламорльер, Бирон, Виктор Брольи и Вимпфен письменно уведомили Собрание о том, что для прикрытия границы, которой угрожал враг, им пришлось, по долгу службы, вызвать эльзасских национальных гвардейцев; когда, на следующий день, Монтескью, командовавший южной армией, лично явился, чтобы сообщить Собранию, что с теми слабыми силами, которыми он располагал, он не мог помешать войскам сардинского короля вторгнуться во Францию и дойти до Ардешского департамента и до Лиона, чтобы поддерживать контр-революционные движения, то война, которая, повидимому, с апреля до конца июля, представлялась французскому народу лишь далеким и легким призраком, едва различимым на горизонте, вдруг становится ощутительною. И возникает вопрос: как бороться против иностранных тиранов под управлением короля, желающего их победы и подготовляющего ее?

Шудье, энергический революционер из департамента Мэна и Луары, первый выразил с трибуны требование низложить короля. Это была петиция из Анжера с десятью страницами подписей; при всей своей краткости она была грозна. Время жирондистских фраз, угрожающих и мягких, прошло.

«Законодатели, Людовик XVI изменил нации, закону и своим клятвам. Народ является его государем. Выскажитесь за низложение,—и Франция спасена».

Раздались громкие аплодисменты на крайней левой и на трибунах. Но для значительного большинства Собрания удар был еще слишком силен. Некоторые потребовали, чтобы Шудье был отправлен в тюрьму Аббатства. Он ответил с суровою гордостью: «Я хочу быть отправленным в тюрьму Аббатства за такой адрес»,—и этот адрес был передан в Комиссию Двенадцати. На следующий день Дюэм нападал на короля. С севера, из Валансьена, пришли плохие известия. «Вы, — воскликнул он, — приняли необходимые меры для восстановления порядка, но кому же вы предоставили осуществление этих мер? Исполнительной власти, главному изменнику во всем королевстве».

Таким образом Собрание приучалось выслушивать возбуждающие речи о низложении. Дюэм побуждает Комиссию Двадцати Одного указать, наконец, на истинный источник бедствий отечества, т.-е. на королевскую измену.

Верньо, председатель Комиссии, еще уклоняется. Он предлагал множество других мер, проектов военной организации, внес ряд предложений относительно коллективной ответственности и солидарности министров, чтобы выиграть время и не возбуждать пред Собранием вопроса о непосредственном осуждении короля и королевской власти. Он с раздражением отвечает Дюэму:

«Комиссия сначала предложила вам меры, касающиеся армии, так как неудовлетворительное состояние наших армий является одною из причин опасностей отечества. Что же касается той причины, о которой беспрестанно говорят, то я, может быть, сказал бы лишнее (ропот на правой стороне, громкие аплодисменты на левой стороне), ваша Чрезвычайная Комиссия занимается выяснением этой причины, но она не в состоянии предаться беспорядочным движениям, которые могут вызвать гражданскую войну».

Очевидно, Жиронда еще уклоняется. Чего же она ждала? Надеялась ли она все еще на, теперь несбыточное и запоздалое, разрешение вопроса путем назначения патриотического министерства, которое померкло бы в той бездне подозрений, от которых предстояло погибнуть королевской власти, не имея возможности рассеять эти подозрения?

Король назначил военного министра 23 июля; он выбрал д'Абанкура; следовательно, он не склонялся на сторону Жиронды и Революции. Но разве жирондисты, усвоив и держась некоторое время политики, состоявшей в том, чтобы проникнуть в правительство и сотрудничать с ним, утратили силу и энергию, необходимые для того, чтобы решительно пожелать иной политики?

Дюэм, возобновляя нападение 25-го, с резкостью, внушенною ему его доверителями из Северного департамента, которым угрожало нашествие врага, повторяет против короля обвинение в измене и указывает на тщетность системы жирондистов в этот момент, когда наступил всеобщий кризис, требовавший полного обновления.

«Все те,—сказал он,—кто поддерживает довольно правильные сношения с Северным департаментом и со всеми другими границами, вполне убеждены в том, что Двор и исполнительная власть изменяют нам, и сложили бы свои головы на эшафоте, утверждая это, не только не смеют дойти до источника зла, но еще отстаивают какую-то среднюю гермафродитскую систему, посредством которой можно было бы овладеть исполнительной властью, не осмеливаясь, однако, сознаться в этом намерении. Господа, мы совершенно не в состоянии овладеть исполнительной властью; нам скажут, что мы предоставим полномочия генералам; мы не можем сделать это. Нужно, чтобы их назначала исполнительная власть, а если глава исполнительной власти изменяет нам, у нас должно найтись мужество донести на него нации и даже покарать его...

«Но вовсе не следует тешить нас частичными мерами; не следует косвенно захватывать власть...»

Однако жирондисты, повидимому, стремились к такого рода косвенному и неявному упразднению королевской власти, которую, если не по закону, то фактически, заменила бы или власть Собрания, или власть министров. В этот же день граждане секции Красного Креста сказали у решетки:

«Законодатели, отечество в опасности; примите простую, легкую, осуществимую меру: об'явите низложение исполнительной власти; вы можете сделать это, опираясь на Конституцию».

И трибуны выражали одобрение подателям петиции. В тот же день секция Моконсейля писала, высказываясь в том же смысле. Жиронда, еще сопротивляясь, попыталась произвести последнюю диверсию. Гюадэ предложил, от имени Комиссии Двадцати Одного, отправить к королю послание, которое явилось бы последним требованием. Левая сперва встретила это новое замедляющее средство ироническим смехом, но Гюадэ сумел подействовать на умы, сказав несколько резких слов: «Нация хорошо знает, что спасение короля зависит от спасения народа, а спасение народа не зависит от спасения короля». И заключение проекта послания все еще гласило, что король должен призвать министров - патриотов.

«Вы еще можете спасти отечество, а вместе с ним и вашу корону; откажитесь же, наконец, сделать это; пусть имена ваших министров, пусть вид окружающих вас людей вызывают общественное доверие! Пусть все в ваших личных действиях, в энергии и деятельности вашего совета свидетельствует о том, что у нации, у ее представителей и у нас имеется лишь единая воля, лишь одно и то же желание, а именно, желание общественного спасения.

«Одна нация, несомненно, сумеет защитить и сохранить свою свободу, но она, в последний раз, предлагает вам, государь, соединиться с нею, чтобы спасти Конституцию и трон».

Это явилось последним призывом и последнею отсрочкою. После Гюадэ Бриссо вмешался в прения бесполезно и неловко. Можно подумать, что после того, как ему удалось составить первое жирондистское министерство, он стал способен только мечтать о невозможном возобновлении того, что послужило переходом к Республике и не могло спасти королевскую власть. С этим намерением, и как будто для того, чтобы склонить ум короля на сторону Жиронды, он преувеличивал значение консервативных формул. Он утверждал, что при возбуждении умов было бы опасно провозгласить низложение, что оно показалось бы вызванным страстью и, может быть, незаконным, что таким образом оно доставило бы союзным державам грозный аргумент, а недоброжелательным и недовольным людям во Франции — предлог для протеста.

Он добавил, что, с другой стороны, обращение к стране путем созыва первичных собраний было бы опасно, потому что, кто знает, не восторжествовал ли бы при всеобщей смуте аристократический дух, и не оказалась ли бы новая Конституция более роялистскою, чем та, которую хотели отменить? Наконец, он решился сказать, что, пока продолжалась война, нельзя было изменить Конституции.

«В доме пожар; сначала следует потушить его; политические прения лишь усилят его. Повторяю, успех на войне невозможен, если мы не будем воевать под знаменами Конституции».

В заключение он потребовал составления «адреса к французскому народу, чтобы предостеречь его от таких мер, которые могли бы погубить дело свободы». Его речь вызвала аплодисменты правой стороны и центра и шиканье на трибунах, с которых его называли новым Барнавом. Эта речь настолько неблагоразумна в политическом отношении, настолько странна, что она почти непонятна. Бриссо не мог желать statu quo, т.-е. королевской власти с министрами-сообщниками ее измены. Он желал, по крайней мере, чтобы при сохранении номинальной власти короля, министрами стали смелые и искренние патриоты. Но какое же средство оставалось для того, чтобы заставить короля назначить этих министров-патриотов? Только одно, а именно—страх. Итак, следовало указать ему, что если он не уступит, то его низложение окажется неизбежным. А именно это уже сделал Верньо.

Гюадэ только что повторил именно это в своем проекте послания. Наоборот. Бриссо успокаивает короля. Если низложение короля опасно, если обращение

к первичным собраниям невозможно, если всякое изменение в Конституции гибельно, пока продолжается война, то король может, не подвергая своей короны опасности, продолжать свою политику.

Эта речь Бриссо является самоубийством. Как об'яснить ее? Был ли он настолько загипнотизирован своею системою, клонившеюся к составлению революционного министерства, что он счел полезным дойти до псевдо-модерантизма, чтобы расположить к себе короля? Или он боялся, что низложение короля повлечет за собою обновление штата всех органов власти и что новое Собрание не подчинится, подобно Законодательному Собранию, усиливавшемуся влиянию Жиронды? Во всяком случае, его падение глубоко. Единственное извинение для Бриссо за то, что он опрометчиво вызвал войну, заключалось в том, что он вызвал такую бурю, которая искоренила бы королевскую власть. Но ссылаться на эту самую бурю, чтобы сохранить королевскую власть, значило отрекаться от всего того, что могло оправдать воинственное предприятие Жиронды.

В этот день она выказала себя в истинном свете. Она показала, что ей было не по силам руководить великими событиями, вызванными ею, что, будучи способна к смелым взглядам и даже к отважным порывам, она оказывалась неспособною к той последовательности, к тому постоянству, к тому могучему дерзновению, которые только и могут примирить ум человека с революциями.

В продолжение почти целого месяца после речи Верньо, и как будто мысль жирондистов вполне истощилась в одном великолепном проблеске красноречия, у Жиронды уже не обнаруживается ни ясной мысли, ни твердой воли. Она ограничивается стремлением выиграть время: ей нечего сказать при все усиливающемся волнении, или она нелепо бранит его, будучи одинаково неспособна руководить им или остановить его.

Пусть король останется, пусть Собрание не расходится, и пусть король, наконец, решится вновь назначить министров-патриотов. Она как бы остановилась на этой мысли, с каждым днем становившейся все более и более нелепою, а когда ей выясняется бессмысленность этой выдумки, она даже не ищет другой комбинации.

Тактика Жиронды, а в особенности движение секций, требовавших низложения короля, заставили Робеспьера отказаться от неопределенности, обнаруживавшейся у него еще около 20 июля, и также изложить свой план. Этот план заключается прежде всего в том, чтобы покончить с Законодательным Собранием и созвать Национальный Конвент. Робеспьер направляет свои удары не столько против Людовика XVI, сколько против законодательного Собрания, в котором теперь господствовали жирондисты, распоряжавшиеся в Комиссии Двенадцати.

Он слишком осторожен, чтобы возражать против низложения короля. Он хорошо сознает, что оно является требованием, с каждым днем все яснее и яснее выражаемым деятельнейшею частью народа. Но он настолько умаляет его значение, он так настойчиво утверждает, что сама по себе эта мера оказалась бы или недействительною, или даже вредною, что она, очевидно, является с его точки зрения скорее уступкою революционному мнению, чем политическим планом.

В особенности, он не желает, чтобы, об'явив короля низложенным, Законодательное Собрание сохранило власть. Законодательное Собрание без короля, Законодательное Собрание, ставшее королем, кажется ему более опасным, чем жалкое сожительство Законодательного Собрания с Людовиком XVI. Если король виновен, то Собрание еще более виновно в том, что оно не боролось во-время против «опасности, угрожающей отечеству», и допустило возникновение этой опасности. В № 11 «З а щ и т н и к а К о н с т и т у ц и и», составленном в самом начале августа, он говорит:

«Дойдем до корня зла. Многие усматривают его исключительно в том, что они называют и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т ь ю, они требуют или низло-

жения, или временного отрешения короля, и полагают, что судьба государства зависит исключительно от этой меры. Они далеко не обнаруживают полного понимания нашего настоящего положения.

«Главная причина наших бедствий коренится как в исполнительной, так, в то же время, и в законодательной власти: в исполнительной власти, желающей погубить государство, и в Законодательном Собрании, которое не может или не хочет спасти его. Счастье Франции в самом деле было в руках ее представителей... Нет такой меры, необходимой для спасения государства, которая не узаконялась бы самим текстом Конституции. Достаточно желать добросовестно истолковывать и сохранять ее.

«Сменяйте, сколько вам угодно, главу исполнительной власти; если вы ограничитесь этим, вы ничего не сделаете для отечества. Лишь участь народа-раба зависит от какого-нибудь индивидуума или от какой-нибудь семьи. Разве Людовик XVI царствует? Нет, теперь, как и всегда, и еще более, чем когда бы то ни было, царствуют всякие интриганы, один за другим подчиняющие его себе. Будучи лишен общественного доверия, составляющего единственную силу королей, он сам по себе уже ничто.

«Теперь королевская власть является уже лишь добычею всяких честолюбцев, разделявших между собою ее наследие. Вашими настоящими королями являются ваши генералы и, может быть, генералы деспотов, заключивших союз против вас,—все плуты, об'единившиеся для порабощения французского народа. Итак, отрешение, временное отстранение Людовика XVI от власти является мерою, недостаточною для устранения источника наших бедствий. Что нужды в том, чтобы призрак, именуемый королем, исчез, если деспотизм останется? В чьи руки перейдет королевская власть по низложении Людовика XVI? Не в руки ли регента, другого короля или Совета? Что выиграет свобода, если бразды правления останутся в руках властолюбивых интриганов? И что послужит для меня гарантией в том, что этого не будет, если сфера полномочий исполнительной власти останется столь же обширной?

«Не будет ли исполнительная власть принадлежать Законодательному Корпусу? Я считаю это смешение всех властей лишь нестерпимейшим из всех видов деспотизма. Одна ли голова у деспотизма или семьсот голов, — он все-таки является деспотизмом. Я не знаю ничего более ужасного, чем мысль о неограниченной власти, предоставленной многочисленному собранию, которое стояло бы выше законов».

Следовательно, простое временное отрешение короля от должности или даже простое низложение его не имеют никакого значения и ничего не исправят. Они не изменяют самой природы исполнительной власти, если королевская власть сохранится, будучи предоставлена другому лицу. Если же Собрание, в особенности же неспособное Собрание, доведшее отечество до почти безвыходного положения, унаследует королевское всемогущество, то все погибло.

Итак, к какому же средству следует прибегнуть? Нужно созвать первичные собрания, которые изберут Конвент, и этот Конвент исправит Конституцию, чтобы надлежащим образом ограничить исполнительную власть и упрочить верховную власть нации. А затем Робеспьер резко и злобно опровергает возражения Бриссо против созыва первичных собраний:

«Ввиду этого, вы, может быть, придете к тому выводу, что Национальный Конвент безусловно необходим. Уже начали изо всех сил стараться возбудить умы против этой меры. Ее боятся, или делают вид, что боятся, как опасной для самой свободы... Но, если разобрать возражения против этой системы, легко убедиться в их полной неосновательности: к подобному застращиванию обыкновенно прибегает макиавелизм, чтобы добиться отклонения благотворных мер. Говорят, что в первичных Собраниях будет господствовать аристократия. Кто мог бы

поверить этому, когда их созыв сам по себе послужит сигналом к об'явлению войны против аристократии? Разве мыслимо, чтобы оказалось возможным обольстить или подкупить столь многие секции?.. Как дерзко или как нелепо со стороны людей, избранных нацией, отрицать и ее здравый смысл и ее неподкупность в тех случаях, когда приходится принимать критические решения, когда дело идет об ее спасении и ее свободе?

«Какое прискорбное зрелище для друзей свободы! Какое посмешище для наших врагов-иностранцев, видящих, что некоторые, столь же нелепые как и властолюбивые, интриганы отвергают всесильную помощь французского народа, очевидно необходимую для поддержания здания Конституции, которое может раздавить их самих! Ах, поверьте, что их беспокоит только одно, а именно, они боятся, что они лишатся своего постыдного влияния на общественные бедствия; они боятся, что французская нация расстроит их проект поработить ее или изменить ей, для осуществления которого они уже много сделали!

«Австрийцы и пруссаки, говорят интриганы, будут господствовать над первичными Собраниями: итак, они условились предать Францию австрийским и прусским войскам?»

И Робеспьер продолжает с такою же язвительностью беспощадно критиковать речь Бриссо:

Итак, будет созван Национальный Конвент, но что же он сделает? Он совершит два дела. Он ограничит исполнительную власть. Он обеспечит контроль нации над ее уполномоченными. Но для того, чтобы этот новый Конвент мог авторитетно говорить от имени нации, нужно, чтобы он был уполномочен всею нацией. Итак, все граждане примут участие в выборах:

«Раз сила двора будет сокрушена, национальное представительство будет возрождено, а главное, нация соберется, общественное спасение будет обеспечено.

«Остается лишь принять столь же простые, как и верные правила для обеспечения успеха этих великих предприятий.

«Когда отечеству угрожают большие опасности, следует призвать всех граждан на его защиту. Поэтому нужно заинтересовать всех их в его сохранении и в его славе. Какое счастье, что первое Собрание лишило политических прав единственных верных друзей Конституции, являющихся истинною опорою свободы, а именно этот великодушный и трудящийся класс!

«Искупите же это преступление, являющееся нарушением народных прав и оскорблением человечества, отменив эти несправедливые различия, измеряющие добродетели и права человека уплачиваемою им долею налогов. Пусть все французы, живущие в округах, в каждом из которых будет созвано первичное Собрание, в течение достаточно продолжительного времени, чтобы их можно было признать имеющими законное местожительство, а именно в течение года, будут допущены к подаче голоса в первичном Собрании; пусть все граждане получат право быть избираемыми на все общественные должности по смыслу священнейших статей самой Конституции без иных привилегий, кроме тех, которые обусловливаются добродетелями и талантами.

«Одним этим постановлением вы поддержите и возбудите патриотизм и энергию народа; вы бесконечно увеличите ресурсы нации; вы уничтожите влияние аристократии и интриги и вы подготовите истинный Национальный Конвент, единственно законный, единственно полный, который когда-либо соберется во Франции.

«Собравшиеся французы, несомненно, пожелают навсегда упрочить свободу, счастье своей страны и всего мира. Они исправят или велят своим новым представителям исправить известные законы, в самом деле противоречащие основным принципам французской Конституции и всех возможных Конституций. Эти новые конституционные пункты столь просты, столь согласны с общим интересом

и с общественным мнением, к тому же их так легко внести в нынешнюю Конституцию, что достаточно будет предложить их в первичных Собраниях или в Национальном Конвенте, чтобы они были всеми приняты.

«Эти статьи можно разделить на два отдела: во-первых, статьи, касающиеся обширности того, что слишком правильно называется прерогативами главы исполнительной власти. Вопрос сводится к тому, чтобы уменьшить огромные средства, делающие возможным подкуп и накопленные именно благодаря подкупу. Вся нация уже держится этого мнения, и в силу одного этого уже можно было почти считать эти постановления истинными законами, согласно самой Конституции, в которой сказано, что закон является выражением общей воли.

Остальные статьи касаются национального представительства, а именно отношений к государю.

«...Нация постановит, что, в силу основного государственного закона, в определенные эпохи, отделенные одна от другой достаточно непродолжительным промежутком времени, для того, чтобы пользование этим правом не стало совершенно призрачным, первичные собрания могут выражать свое суждение о поведении своих представителей, или что они могут, по крайней мере, отзывать, согласно установленным правилам, тех представителей, которые злоупотребят их доверием. Затем, нация пожелает, чтобы, когда она соберется, никакая власть не смела лишать ее права выражать свои желания относительно всего того, что касается общественного счастья.

«...Мне нет надобности настаивать пред вами на том, что прежде всего следует приступить к обновлению состава Директорий, судов и общественных учреждений, стремящихся к восстановлению деспотизма, втайне действующих заодно с двором и с иностранными державами».

Таков был, в конце июля, политический план Робеспьера. Я привел главные пункты этой обширной программы, потому что Робеспьер столь тщательно рассчитывает все свои слова и так осторожно заботится о том, чтобы выразить все оттенки своей мысли, что следует, по мере возможности, излагать ее буквально. В данный момент его политические взгляды гораздо выше политических взглядов Жиронды. Во время этого кризиса Жиронда обнаруживала только свое бессилье, и, впав, если можно так выразиться, в оцепенение и выжидая, она занималась исключительно интригами.

Робеспьер указывает выход из положения, создавшегося благодаря совершавшимся событиям. Непоследовательное и истощенное Законодательное Собрание исчезнет, и Национальный Конвент, избранный всеобщим голосованием, в котором воплотится вся национальная энергия, исправит Конституцию. Это — великая идея, которая будет усвоена Революцией: первые адресы секций ограничивались требованием низложения короля, и, несомненно, революционная сила народа сперва стремилась исключительно к достижению этой цели, являвшейся наиболее неотложною.

Отчасти под влиянием Робеспьера парижские секции не замедлили дополнить свою программу низложения короля требованием созыва Национального Конвента. В этой мысли Робеспьера обнаруживается глубокий революционный смысл.

Робеспьер еще надеялся свести этим путем к минимуму потрясение, которое предстояло вынести Франции. Он вовсе не имеет в виду ниспровергнуть королевскую власть: он хочет как можно меньшего изменения Конституции; и он ясно говорит, что «необходимые изменения могут быть внесены в нынешнюю Конституцию». Он остается верен существенной мысли, которую он так часто высказывал со времен Учредительного Собрания: мысли о державной демократии, которая, однако, осуществляла бы свою верховную власть,

прикрываясь традиционною королевскою властью, строго ограниченною и контролируемою.

И он не только не хочет ниспровергнуть королевскую власть, но, при внимательном чтении его программы, становится ясно, что, в сущности, он не решается и на низложение и смещение Людовика XVI. Царствует, говорит он, вовсе не Людовик XVI, а, под его именем, партии, овладевшие наследием королевской власти. Но что ж это означает? Не становится ли таким образом Людовик XVI до некоторой степени неответственным. Если нация, организуя, наконец, свою верховную власть, устранит партии, грабившие королевскую власть, то в каком же отношении окажется неудобным оставить и Людовику XVI очищенную власть, которая отныне будет представлять собою лишь достояние нации? Я очень склонен думать, что мысль о Национальном Конвенте представлялась Робеспьеру как средством революционного спасения, так в то же время и ударом Жиронде, отклонением от мысли о низложении короля.

Кто знает, не представлялось ли низложение короля уже лишь поверхностною и второстепенною мерою, если бы народ не согласился отложить ее. К чему, приступив к продолжительному и трудному рассмотрению поведения короля, замедлять созыв Национального Конвента? Пусть тотчас же начнутся выборы, и новое Собрание, державный Конвент, рассмотрит вопрос о том, удобно ли, или небезопасно будет оставить Людовику XVI исполнительную власть, ограниченную и контролируемую новой Конституцией.

Таким образом, как в первые дни Революции и Учредительного Собрания, нация вновь оказалась бы лицом к лицу с королем, решившись еще благоразумным и бережным отношением к сложившимся привычкам согласить свою верховную власть с сохранением традиционной монархии и династии, при чем, однако, печальный опыт трех лет послужил бы для нее предостережением, и она твердо решилась бы обеспечить национальную верховную власть решительными гарантиями.

Мысль Робеспьера имела важное значение, так как она клонилась к тому, чтобы во время кризиса, какого еще никогда не приходилось переживать нации, привлечь на помощь все силы нации и в то же время избежать всякого слишком резкого потрясения, всякого бесполезного посягательства на традиции и на предрассудки. Это была великая мысль, и, несмотря на то, что к ней примешивается ядовитая и клеветническая ненависть к Жиронде, которую он обвиняет в готовности устроить вместе с королем даже его низложение, чтобы затем вернуть ему власть, усилив ее, эта мысль была бескорыстна.

Но слабым пунктом в программе Робеспьера было то, что в грозный час, когда выяснилось, что легальность стала бессильной и гибельной, и когда со всех сторон готовится решительное выступление революционной силы, он узко придерживается легальной процедуры.

Он тщетно указывает на виднеющийся вблизи на горизонте великий образ Национального Конвента. На первом плане остается вопрос о низложении короля, и, конечно, приходится разрешить его. Сам Робеспьер не осмеливается открыто предложить, чтобы разрешение этого вопроса было отложено и предоставлено Конвенту. Как усмирить грозное народное движение, умалчивая о существенном, прибегая к отвлекающим средствам?

К тому же, кто знает, не парализовало ли бы тягостное, фальшивое положение порыва самих первичных Собраний в том случае, если бы выборы происходили без предварительного формального признания короля низложенным?

С другой стороны, если нельзя обойтись без низложения короля, то, очевидно, что Законодательное Собрание, в котором сопротивление фельянов усиливается благодаря бездействию жирондистов, декретирует его лишь под давлением народной силы. Но не оказалось ли бы опасным, чтобы эта народная сила

приневолила Собрание, как бы то ни было, являющееся выразителем революционного духа против всех тиранов? И не предпочтительнее ли, чтобы революционный народ, оставляя Собрание в стороне, прямо напал на королевскую власть в ее крепости, в Тюльерийском дворце?

Итак, этот решительный кризис разрешится не благодаря жирондистам и не благодаря Робеспьеру, а благодаря революционному инстинкту народа и революционному смыслу Дантона.

В эти решительные дни фактическая деятельность Дантона не ограничивалась явными действиями. Он не мог подать публичный сигнал к восстанию, так как народные движения имеют шансы на успех лишь тогда, когда они, так сказать, вытекают из общей и самопроизвольной страсти. Но день 20 июня, нерешительность Жиронды, слишком педантические и несколько неестественные комбинации Робеспьера—все заставляло Дантона предчувствовать, что народная сила разрешит безвыходное затруднение. Он был убежден в том, что низложение короля необходимо и что настало время добиться его всякими способами, и, поскольку это от него зависело, он побуждал к достижению этой цели уже страстно волновавшиеся секции предместий.

Трудно отыскать точный след его личного действия в этом огромном и грозном движении. После преследований, наступивших вслед за событиями, происходившими на Марсовом поле, клуб кордельеров значительно ослабел, и многие из примыкавших к нему элементов после грозы присоединились к клубу якобинцев. Но Дантон наложил на многие умы отпечаток своей силы и порыва своей воли. Он не напрасно распространял вокруг себя в течение двух лет во всех опасных случаях дух дерзновения, перед днями 5 и 6 октября, агитируя против veto, затем против произвольного декрета об аресте Марата, а также против бежавшего короля и против самой королевской власти после бегства в Варенн.

Затем он сохранил всю свою энергию; он не дал связать ее множеством хитросплетенных уз, в которых запутались жирондисты. Он не дал этой энергии и охладиться под влиянием несколько отвлеченного духа легальности Робеспьера, и теперь он был готов к прямому и решительному действию. Нужно было нанести решительный удар королевской власти. Поэтому он не побоялся лично ринуться в первый ряд участников предстоявшей ошибки. И именно по его инициативе, под его председательством, секция Французского театра приняла 27 июля знаменитое постановление, которым она отменяла аристократическое деление граждан на активных и пассивных и призывала к себе всех граждан. Это на самом деле являлось первым нарушением Конституции. Это был мятежный поступок. Дантон и его секция об'явили этим, что они желали прежде всего восстановить народное право, национальное верховенство, и что лицемерные конституционные формулы, искаженные и как бы ставшие полными лжи, вследствие недобросовестности двора, не остановили бы их. И если во имя опасности, угрожавшей отечеству, для борьбы с которою требовалось содействие всех граждан, можно было отменить избирательный закон, устанавливавший привилегии, то тем более, во имя тех же высших интересов свободы и отечества, должна была пасть предательская монархия.

«Граждане секции Французского театра, именуемые активными, принимая во внимание, что все люди, родившиеся во Франции или имеющие в ней свое местожительство, суть французы, что Учредительное Национальное Собрание вверило охрану и защиту свободы и Конституции мужеству всех французов, что французы могут действительно проявить свое мужество лишь с оружием в руках и на важных политических совещаниях; что, следовательно, сама Конституция

разрешает всем французам вооружаться для защиты отечества и относительно всех касающихся его дел;

«Принимая во внимание, что мужество граждан и их познания никогда не оказываются столь необходимыми, как во время общественных опасностей; принимая во внимание, что общественные опасности таковы, что Собрание представителей народа сочло своим долгом торжественно об'явить о них;

«Принимая во внимание, что, после того, как отечество было об'явлено в опасности народными представителями, народ вполне естественно выполняет функции верховного надзора, что декрет, постановляющий, что заседания секции непрерывны, является лишь следствием, неизбежно вытекающим из этого вечного принципа;

«Принимая во внимание, что один класс граждан даже не имеет права присваивать себе исключительное право спасать отечество,—

«Заявляет, что так как отечество в опасности, то в самом деле все французы призваны к его защите; что граждане, которых вульгарно и с точки зрения аристократов именуют пассивными гражданами, также французы, что они должны быть призваны и действительно призваны как к оружию на службе в национальной гвардии, так и в секции и в первичные Собрания для обсуждения дел;

«Вследствие этого, граждане, которые до сих пор исключительно составляли секцию Французского театра, заявляя во всеуслышание о своем отвращении к своей прежней привилегии, призывают к себе всех французов, имеющих какое-либо местожительство в пределах секции; обещают им разделять с ними ту долю верховной власти, которая принадлежит секции; смотреть на них, как на своих братьев, сограждан, совместно заинтересованных в одном и том же деле, и как на необходимых защитников Декларации прав, свободы, равенства и всех неот'емлемых прав народа и каждого индивидуума в частности».

Этот документ подписали: **Дантон**, председатель; Анаксагор **Шометт**, вице-председатель; **Моморо**, секретарь.

Я усматриваю в этом постановлении доказательство влияния Дантона. Он являлся, если можно так выразиться, чудным юристом революционного дерзновения. Он отличался умением истолковывать в свободном смысле демократии прав народа самую Конституцию; он выяснял ее характер, он призывал ее дух или преобразовывал его. Как смелый юрист, он, истолковывая и расширяя смысл последней декларации Учредительного Собрания, вверившего защиту Конституции мужеству всех, пользуется им для того, чтобы призвать всех французов к осуществлению политических прав. А главное, следуя величественному вдохновению, он выводит из опасности, угрожающей отечеству, право всех французов. Он требует политического равенства для всех граждан не во имя бедных, а во имя отечества. Отечество и свобода, которым грозит опасность, в праве располагать мужеством всех, энергией всех, познаниями всех, и не дать всем гражданам одинаковых прав защищать отечество и свободу — значит обезоружить отечество, обезоружить свободу.

Подобно тому, как всем дают пики, следует дать всем политическую власть, которая так же служит оружием, и притом, самым грозным из всех оружий против врагов свободы, т.-е. отечества. Таким образом Дантон, связывая друг с другом возвышеннейшие слова, возвышеннейшие мысли Учредительного и Законодательного Собраний, выводил из них превосходную революционную юриспруденцию. На-ряду с ним подписались Моморо, типограф-демократ, взгляды которого на аграрный вопрос вскоре покажутся противоречащими собственности, и Анаксагор Шометт, который станет, после 30 августа, председателем, а затем прокурором Парижской Коммуны. Это был молодой, двадцатилетний эн-

тузиаст. Почти ребенком и после столкновения со своими учителями в Невере, он поступил на корабль юнгою; в качестве матроса и рулевого, он скитался по свету и, делая свое дело, постоянно умел пользоваться своими свободными часами для того, чтобы читать, учиться, мечтать. В 1784 году он отправился в Марсель, намереваясь уехать на корабле в Египет, «всегда руководясь,—говорит он,—страстным влечением к изучению природы и памятников древности. Я не мог уехать на корабле и вернулся на свою родину; постоянно занимаясь изучением растений и чтением книг, я провел там все время, предшествовавшее Революции, за исключением нескольких поездок из Молеона в Париж, из Парижа на берега океана, мечтая о счастии, страстно желая свободы».

Это был, так сказать, самоучка, с горячею и чистосердечною душою, более любознательный, чем образованный, но человек, в самом деле, великодушный и нежный. В эти дни, полные возбуждения, опасностей и надежд, его душа чудесно просветлялась, как будто солнце поднималось сквозь грозовые тучи над волнами, вздымавшимися от неизвестного возбуждения. На экземпляре декларации секции Французского театра Шометт написал: пример, которому следует подражать; и в самом деле, эта смелая инициатива вызвала повышение революционного тона во всех секциях.

У подготовлявшейся демократической и народной Революции было два органа, которые возникли самопроизвольно. Одним из этих органов является Комитет федератов, а другим—Собрание делегатов от секций. Сила и страстное возбуждение федератов чрезвычайно возросли, благодаря прибытию 30 июля батальона марсельских федератов.

Ребекки, Барбару прибыли в Париж еще до них. Было известно, какую борьбу за Революцию уже выдержали на юге марсельские федераты. Было известно, что знойный южный город был весь охвачен республиканским духом, ненавистью к королевской власти, и Сент-Антуанское предместье с энтузиазмом встретило батальон, вступивший в Париж.

Он пел боевую песнь свободы, которую совсем недавно, в Страсбурге, дал миру Ружэ-де-Лиль, в качестве вызова врагу, двигавшемуся к Рейну. Эта песнь, по правде сказать, не была создана одним человеком, который лишь продолжил и оживил прекрасным ритмом те слова, выражавшие гнев и надежду, которые, уже в продолжение нескольких месяцев, вырывались из глубины сердец повсюду во Франции:

Вперед, сыны отечества,
Настал день славы,
Против нас водружен
Кровавый флаг тирании.
Слышите ли вы в деревнях
Рев этих жестоких солдат?
Они идут к нам,
Чтобы перерезать наших детей и наших жен!
К оружию, граждане! Сформируемся в батальоны!
Вперед, пусть нечистая кровь оросит наши поля!

Чего хочет эта шайка рабов,
Изменников, королей-заговорщиков?
Для кого эти позорные оковы,
Эти давно заготовленные цепи?
Французы! Для нас—ах—какое оскорбление!
Какие порывы оно должно вызывать!
Нас осмеливаются замышлять
Поработить попрежнему!

Как! шайки иностранцев
Стали бы распоряжаться на нашей родине!
Как! Эти наемные войска
Поразили бы наших гордых воинов!
Великий боже! Скованные руки
Подчинили бы нас игу,
Презренные деспоты стали бы
Властителями наших судеб! [1])
. . . .
. . . .

Эти слова гремели настолько же против презренного деспота в самой стране, как и против иностранных деспотов. Это был как бы огненный поток, устремлявшийся в город, который уже был воспламенен. Центральный Комитет федератов был учрежден в зале, служившей для ведения корреспонденции у якобинцев, на улице Сент-Оноре. Он состоял из сорока трех членов, регулярно собиравшихся ежедневно с начала июля.

Федераты были люди дела. Они скоро поняли, что только восстание могло бы найти выход из критического положения, и избрали из сорока трех делегатов, составлявших Центральный Комитет, тайную Директорию, состоявшую из пяти членов, которой было поручено следить за ходом событий и подготовить штурм.

«Эти пять членов,—говорит Карра,—были: Вожуа, главный викарий епископа блуаского; Дебес, из департамента Дром; Гильом, профессор в Кане; Симон, журналист из Страсбурга и Галиссо из Лангра. Я был причислен к этим пяти членам при самом образовании Директории, а через несколько дней после этого туда пригласили: Фурнье-американца, Вестермана, Рьелена (из Страсбурга); Сантера; Александра, командовавшего в предместье Сен-Марсо; Лазовского, начальника канониров в Сен-Марсо; Антуана из Меца, бывшего члена Учредительного Собрания; Лагре и Карена, выборщиков 1789 года.

«Первое заседание этой Директории состоялось в маленькой харчевне у З о л о т о г о С о л н ц а, на улице Сент-Антуан, недалеко от Бастилии, в ночь с четверга на пятницу 26 июля, после гражданского празднества, устроенного для федератов на том месте, где прежде находилась Бастилия...»

Прибытие Марсельского батальона, так сказать, подало сигнал к нападению: Сантер устроил для них гражданский банкет на Елисейских Полях, при чем, по окончании этого банкета, произошло столкновение между федератами и национальными гвардейцами, преданными королевской власти. Это была стычка, предвещавшая близость великой битвы. Директория, организовавшая восстание, вновь собралась на второе «активное заседание» 4 августа.

«На этом заседании присутствовали почти те же самые лица, а кроме них, Камилл Демулен. Оно происходило у «С и н е г о Ц и ф е р б л а т а» на бульваре, а около восьми часов вечера оно было перенесено в комнату Антуана, бывшего члена Учредительного Собрания, на улице Сент-Оноре... На этом втором активном заседании, — добавляет Карра, рассказ которого не был опровергаем, — я собственноручно написал весь план восстания, движения колонн и нападения на дворец. Симон переписал этот план, и мы отправили его копию Сантеру и Александру, около полуночи; но вторично наш проект не удался, потому что Александр и Сантер еще не имели возможности приступить к его осуществлению, а некоторые хотели подождать до обсуждения вопроса о низложении короля, отложенного до 10 августа».

---

[1]) П р и м е ч а н и е п е р е в о д ч и к а. Насколько мне известно, удовлетворительного русского перевода Марсельезы в стихах не существует.

Итак, оставляя в стороне частности этого рассказа, действующим органом, конечно, являются, что было вполне естественно, Комитет федератов и их Директория, организовавшие восстание. Но что могли бы сделать эти борцы, собравшиеся изо всех пунктов революционной Франции, без общего движения парижского населения? Это движение было вызвано секциями.

Со второй половины июля они назначают делегатов, которые собираются в Городской ратуше, тогда, с марта месяца, называвшейся «Народным Домом». Эти делегаты от секций не являются, подобно центральному комитету федератов, просто органом, организовавшим восстание. Они считают себя истинными истолкователями воли державного народа, которым поручено устранить опасность, угрожающую Франции и свободе, и они излагают пред Законодательным Собранием политические планы, требования, с каждым днем становящиеся все более и более горделивыми. Они создают новую революционную и смелую легальность, и эта новая легальность, представителями которой они являются, вступает в борьбу с лицемерною, дряблою и полною несообразностей легальностью, сводившеюся к слабости Законодательного Собрания и к измене короля, и станет на ее место. Эта новая легальность находит свое юридическое выражение в формулах Дантона, принятых секций Французского театра.

Для ясного понимания великого народного движения, обнаруживающегося в июле и августе 1792 года, для выяснения его многосложных источников, бивших ключом, нужно было бы иметь возможность проследить изо дня в день за эти драматические недели кипучую, полную страстного возбуждения жизнь 48 парижских секций; нужно было бы иметь возможность отметить все революционные предложения, все подробности и перипетии борьбы, завязавшейся во многих секциях между умеренными и революционными элементами. В зависимости от случайного присутствия или отсутствия активных граждан на собрании секции, то принимались угрожающие адреса, то умеренные, в свою очередь, переходя к наступлению, добивались отречения от адресов, принятых накануне. Так, в секции Арсенала великий химик Лавуазье, незадолго до этого бывший откупщиком, а тогда заведывавший пороховыми и селитряными заводами, редактирует протест против республиканского адреса, который секция сперва, казалось, одобрила. Но революционная сила развивалась, отражая удары и преодолевая сопротивление, и, за исключением нескольких секций в центре города, где преобладало влияние умеренных, принадлежавших к богатой буржуазии, граждане высказывались против измены короля, за его немедленное низложение.

Помещение секции являлось в каждом квартале своего рода народною и революционною крепостью. Часто это помещение было обширно, оно должно было оказываться достаточно просторным не для общих собраний активных граждан, происходивших в церквах, но для ежедневных собраний комитетов секций, для разбора дел мировыми судьями, избиравшимися собраниями секций и для функционирования Военного Комитета. В эти тревожные дни эти помещения служили как бы законным местопребыванием революционного духа, и исходившие из них адреса имели как бы законную силу даже и тогда, когда они громили выродившуюся Конституцию.

К сожалению, я не могу привести целиком список этих помещений секций, составленный ведомством Государственных имуществ в начале 1793 г. (за исключением изменения названий некоторых секций, он годен для июля 1792 г.); при чтении его мы как-будто соприкасаемся с упрочившеюся, организованною революционною силою.

«Секция Св. Женевьевы (вскоре переименованная в секцию Французского Пантеона).—Первый этаж здания, находящегося на улице Кармелитов, состоящий из четырех комнат и кабинета и из двух чуланов. Общее собрание граждан в церкви Наваррской коллегии.

«Секция Ботанического сада (вскоре переименованная в секцию Санкюлотов).—Одна комната в антресоле, пять—в первом этаже, четыре—во втором и две — в третьем; Сен-Фермен, на улице св. Виктора. Общее собрание—в церкви св. Николая, в Шардоннэ.

«Секция Обсерватории.—Комитет этой секции занимает флигель. находящийся между двумя дворами, в котором жили исполнявшие должность священника при монахинях, и состоящий из трех этажей, в каждом из которых—по две комнаты; Урсулинский женский монастырь на улице Сен-Жак. Общее собрание—в церкви монастыря.

«Секция Арсенала.—Комитет этой секции занимает две комнаты в первом этаже с окнами, выходящими в сад. Общее собрание—в церкви св. Павла и св. Людовика, на улице Сент-Антуан.

«Секция Гобленов (вскоре переименованная в секцию Финистер).—Комитет занимает две комнаты возле церкви св. Мартина, в которых собирались церковные старосты. Общее собрание—в церкви св. Мартина.

«Секция бани Юлиана (впоследствии Борепера).—Небольшая комната в нижнем этаже, на дворе монастыря св. Троицы, и другая комната рядом, служащая складом оружия вооруженной секции. Общее собрание—в залах Сорбонны.

«Секция Королевской площади (вскоре переименованная в секцию Федератов).—Две комнаты в нижнем этаже для комитета. Общее собрание—в бывшей трапезной французских монахов.

«Секция Городской ратуши (впоследствии Народного Дома).—Эта секция занимает две комнаты в нижнем этаже и одну оранжерею для комитета на улице Барр; во-вторых, дом на улице Жоффруа-Анье, служащий главною квартирою для вооруженной секции. Общее собрание — в церкви Сен-Жервэ.

«Секция Вандомской площади (вскоре переименованная в секцию Пик).—Эта секция занимает для своего гражданского комитета, мирового суда и т. д. двух'этажное здание, выходящее на улицу, в котором и в том и другом этаже по пяти комнат, а кроме того, еще две комнаты в нижнем этаже на дворе для своего военного комитета. Общее собрание — в церкви Капуцинов.

«Секция Гренельского фонтана.—Эта секция занимает как для своих общих собраний, так и для своих комитетов, гражданского и военного, четыре залы в нижнем этаже, со входом через монастырь.

«Секция Французского театра (вскоре переименованная в Марсельскую).—Эта секция занимает для своего комитета, которому поручен надзор, комнату, прежде служившую ризницею; для своих общих собраний—так называемую залу св. Михаила, пока не будет переделана столовая зала в части большой трапезной; для военного комитета—одну комнату и один кабинет; для комитета благотворительности—залу, называемую малою трапезною; гауптвахту на улице Кордильеров. Общее собрание—в церкви св. Андрея.

«Секция Гравилье.—Эта секция занимает для своего военного комитета комнату в нижнем этаже справа, со входом со двора, а затем—залу, называемую залою капитула, для своих общих собраний».

Эти подробности в достаточной степени выясняют, так сказать, материальную сторону жизни секций. Для полного ознакомления с нею я рекомендую столь полезный труд Меллье о парижских секциях. Каждая из этих секций, снабженных средствами и часто располагавшихся в помещениях, отнятых у церкви при великой революционной экспроприации, представляла собою большую живую и деятельную силу. И с июля месяца, когда угрожало нашествие неприятеля, когда король изменял, революционные силы секций сближаются, об'единяются в одном центре: в Народном Доме. Несмотря на искреннее желание Петиона, ле-

гальный муниципалитет не мог служить для этих сил восстания связующим звеном; его состав был слишком разнороден, в нем обнаруживалось слишком много разногласий, и сам Петион был робок и неловок. Но рядом с легальным муниципалитетом, делегаты от секций, собиравшиеся в Народном Доме, образуют своего рода экстра-легальный муниципалитет, которому было суждено, по мере того как разгорались события, подчинять себе первый и в конце концов занять его место.

23 июля комиссары, назначенные парижскими секциями, собираются для обсуждения адреса к армии. Само по себе это собрание было законно, так как по закону в каждой секции было по шестнадцати комиссаров, и эти комиссары секций могли собираться для сравнения и об'единения результатов решений, принятых разными секциями; но если собрание и было законно по самому своему составу, то цель его являлась революционной, потому что дело шло о том, чтобы предостеречь армию против вероломных действий исполнительной власти. 32 секции из 48 одобрили проект адреса к армии, вотированный секцией Площади Невинных Младенцев.

Но секции решаются на гораздо более важный шаг. Комиссары секций, собравшиеся в Народном Доме, констатируют протоколами от 26, 28, 29 июля и от 1, 2 и 3 августа, что все парижские секции присоединились к желанию Гренельской секции, чтобы был подан адрес, требующий низложения короля, и чтобы этот адрес был подан мэром Петионом от имени всех секций. Следовательно сама легальная власть вовлекалась в такие действия, которые, являясь конституционными по форме, были, по существу дела, революционны.

Между тем как парижские секции сговаривались между собою относительно коллективной манифестации, герцог Брауншвейгский, командовавший прусской армией, издал в Кобленце наглый и угрожающий манифест, раздраживший Францию и окончательно погубивший короля. Этот манифест, помеченный 25 июля, сделался известным в Париже 1 августа, когда экземпляр его был вручен председателю Собрания.

Из этого манифеста вытекало, что австрийский император и прусский король намеревались вторгнуться во Францию, попрать и поработить ее для Людовика XVI, в его интересах. Какой ужасный гнев это вызывало!..

«Оба государя одинаково заинтересованы в важном и близко принимаемом ими к сердцу деле, а именно, они намерены положить конец анархии во Франции, остановить нападки против трона и алтаря, восстановить законную власть, вернуть королю безопасность и свободу, которых он лишен, и предоставить ему возможность осуществлять ту законную власть, которая должна принадлежать ему».

А затем, от имени короля Франции, иностранные государи об'явили Революцию и революционеров стоящими вне закона.

Они заявляли, что «союзные армии вовсе не имеют в виду вмешиваться во внутреннее управление Франции, но хотят лишь освободить короля, королеву и королевскую фамилию из неволи и представить его христианнейшему величеству необходимую безопасность для того, чтобы он мог, не подвергаясь опасности и беспрепятственно, заключить такие договоры, которые он признает уместными, и позаботиться об обеспечении счастья своих подданных.

«Что соединенные армии будут охранять города, местечки и села, а также и всех тех лиц, которые подчинятся королю, и их имущества, что забота о поддержании спокойствия в городах и деревнях, о личной безопасности всех французов и об охране их имуществ, временно, до прибытия его императорского и его королевского величеств..., возлагается на национальных гвардейцев под страхом их личной ответственности; что, наоборот, с теми из национальных гвардейцев, которые будут сражаться против войск двух

союзных Дворов и которые будут схвачены с оружием в руках, поступят как с врагами и их накажут, как бунтовщиков, возмутившихся против своего короля, и как нарушителей общественного спокойствия; что к генералам, офицерам, унтер-офицерам и солдатам французских линейных войск равным образом пред'является требование, чтобы они вновь стали попрежнему верны королю, своему законному государю, и немедленно подчинились ему; что члены департаментов, округов и муниципалитетов будут одинаково отвечать своими головами и своими имуществами за все проступки, поджоги, убийства, грабежи и за всякое самоуправство, которые они допустят или совершению которых на их территории они не постараются явно воспрепятствовать.

«Что жители городов, местечек и деревень, которые попытались бы защищаться против войск его императорского и его королевского величеств и стрелять в них в открытом поле или из окон, дверей и отверстий своих домов, будут немедленно наказаны по всей строгости военно-полевого суда, дома же их будут разрушены или сожжены».

Но всего ужаснее угрозы городу Парижу.

«Городу Парижу и всем жителям его, без различия, предлагается немедленно и без всякого отлагательства подчиниться своему королю, предоставить этому государю полную и совершенную свободу и обеспечить ему, равно как и всем членам королевской фамилии, ту неприкосновенность и то почтение, к которому естественное и народное право обязывает подданных по отношению к государям; его императорское и его королевское величества возлагают, под страхом смертной казни по военному суду, без надежды на помилование, личную ответственность за все, что произойдет, на всех членов Национального Собрания, департамента, округа, муниципалитета и на всех парижских национальных гвардейцев, на всех мировых судей и на всех должностных лиц. Кроме того, их величества ручаются своим императорским и королевским словом, что если их величества, король и королева и королевская фамилия, подвергнутся малейшему насилию, малейшему оскорблению; если немедленно не будут приняты меры, обеспечивающие их безопасность, их неприкосновенность и их свободу, то они отомстят за это примерным и навсегда памятным образом, а именно, **они предадут город Париж военной экзекуции и полному уничтожению,** а бунтовщики, виновные в посягательствах, будут подвергнуты заслуженным наказаниям. Наоборт, его императорское и его королевское величества обещают жителям города Парижа свое заступничество пред его христианнейшим величеством с целью испросить для них прощения за их вины и за их заблуждения и принять энергичнейшие меры для обеспечения их личной безопасности и для охраны их имуществ, если они быстро и точно подчинятся вышеизложенному требованию».

Итак, союзники грозили повесить или расстрелять всю революционную Францию, ее солдат, ее представителей, ее администраторов, ее граждан. Они не намереваются применять к французам законов, соблюдаемых на войне, они считают французов не неприятелями, а бунтовщиками, и именно, становясь на точку зрения короля Франции, во имя его законной власти, они готовятся грабить, жечь, разрушать.

Эта угроза являлась ребяческою уже в силу того, что она была направлена против слишком многих лиц. Ведь союзники могли бы осуществить ее, лишь обратив Францию в огромную груду трупов, от которой в Европе распространились бы зараза и смерть, при чем прежде всего были бы отравлены сами завоеватели!

Но эта угроза была гибельна для Людовика XVI, потому что в конце концов именно он становился в глазах французской нации ответственным за все насилия, совершавшиеся или задуманные против нее! Этот манифест мог повлечь за собою лишь одно из двух: или вся революционная Франция сразу унизилась бы до трусливейшего испуга, или он вызвал бы в народе сильную ненависть против короля. Но нужно было все легкомыслие эмигрантов, все контр-революционное ослепление, чтобы хотя на мгновение подумать, что обновленная Франция испугалась бы.

Итак, манифест был нелеп, но он являлся логическим и необходимым следствием самой войны. Раз король призывал иностранцев для восстановления своей власти, сам король воевал против своего народа под прикрытием и руками иностранцев. Итак, с революционерами приходилось поступать, как с бунтовщиками, а не как с воюющею стороною.

Тщетно умеренные роялисты, поздно испугавшись той ужасной ответственности, которая навсегда падала на монархию благодаря этому манифесту, утверждали, что он шел далее намерений короля, что он противоречил инструкциям, данным им в июне своему доверенному Малле-дю-Пану, посланному им с поручением сговориться с Пруссией и Австрией относительно тех выражений, в которых следовало составить этот манифест. Тщетно сами Малле-дю-Пан и герцог Брауншвейгский приписывают влиянию, оказанному эмигрантами на государей, оскорбительнейшие, ненавистнейшие места в этом манифесте.

Бесполезно критиковать эти утверждения. Ведь манифест, в том виде, как его задумал и предлагал Людовик XVI, мог отличаться от того манифеста, который был, в самом деле, составлен и издан, лишь оттенками в выражении мыслей. Правда, в инструкциях, врученных Малле-дю-Пану, Людовик XVI говорил:

«Король настоятельно просит французских принцев-эмигрантов не лишать этой войны враждебным и действительным участием с их стороны *характера внешней войны, которую державы вели между собою*. Он прямо советует им предоставить ему и вступившимся Дворам заботу об обсуждении и об охране их интересов, когда настанет время вести переговоры о них».

Но король тщетно советовал эмигрантам осторожность, которой они, впрочем, не соблюдали. Каким образом, даже и без компрометирующего участия эмигрантов в этой войне, она могла бы иметь характер войны между державами?

Выступая против Франции и Парижа, союзные государи не руководились при этом ни территориальными интересами, ни политическим соперничеством. Конечно, они шли на борьбу против одной партии; конечно, они желали подавить Революцию, враждебную королю; чем более они уверяли в своем бескорыстии и протестовали против всякой мысли посягнуть на целость французской территории, тем более они сводили, таким образом, войну к важной, чисто полицейской мере со стороны королевской власти, которой угрожали мятежные подданные. А из этого вытекало все остальное. К тому же, даже в самых инструкциях, данных королем Малле, можно прочесть следующее:

«Не навязывать и не предлагать никакой правительственной системы, *но заявить, что берутся за оружие для восстановления монархии и законной королевской власти в том виде, как его величество сам имеет в виду определить ее.*

«Решительно об'явить Национальному Собранию, местным властям, министрам, муниципалитетам, индивидуумам, что на них будет возложена личная и

имущественная ответственность за всякие посягательства на особы короля, королевы и королевской фамилии, на жизнь и на имущества кого бы то ни было из граждан».

Распространяясь на эту тему, нельзя было составить ничего, кроме вышедшего манифеста; и если бы он был написан самим королем, то, при редактировании его, получилась бы, самое большее, разница в некоторых оттенках выражения мысли, которая ни в чем не изменила бы ее смысла. В самом деле, подобно тому, как сообщение, присланное Собранию в апреле австрийским императором, представляло собой лишь воспроизведение мемуара, адресованного Леопольду Марией-Антуанеттою, так и известный манифест герцога Брауншвейгского исходил из Тюльерийского дворца и вернулся из Кобленца в качестве эхо. Именно французская королевская власть вызвала вторжение во Францию, именно французская королевская власть угрожала ей.

Было произведено сильное впечатление, но оно оказалось не чувством испуга, а чувством гнева; не манифест герцога Брауншвейгского вызвал Революцию 10 августа, которая открыто подготовлялась уже до того времени, когда этот манифест стал известен. Даже не этот манифест побудил секции решиться на их общее настоятельное обращение к Собранию, так как этот манифест стал известен лишь 1 августа, а секции уже раньше совещались относительно этого обращения. Но этот манифест усилил возбуждение умов и дал Революции еще одно основание требовать низложения королевской власти, а затем и добиться его силою.

Этот манифест, наверно, окончательно увлек, в промежуток времени между 1 августа, когда он стал известен, и 3 августа, когда Петион выступил у решетки Собрания, колебавшихся, преодолел в секциях сопротивление умеренных, интриги роялистов и в высшей степени увеличил возбуждение и нравственную силу Собрания комиссаров секций, заседавших в Народном Доме.

Шометт, с очевидною искренностью и со страстным чистосердечием, свидетельствует об этом энтузиазме секций, о том, что они все сильнее и сильнее чувствовали, что им предстоит роль освободителей.

«В эту эпоху,—пишет он в своих мемуарах, изданных г. Оларом (но разве есть такая часть истории Революции, на которую г. Олар не пролил нового света?), — в эту эпоху бо́льшая часть парижских секций собрала в Народном Доме комиссаров для обсуждения важного вопроса о низложении короля и подала Национальному Собранию петицию, требовавшую этого низложения.

«Роялисты пустили в ход решительно все, чтобы это Собрание было распущено, или, по крайней мере, чтобы, благодаря вызванным ими в нем разногласиям, оно пришло к нейтральному решению. Но здравый смысл значительного большинства этих комиссаров, их твердость и принятое ими решение спасти отечество преодолели все усилия проскользнувших в их среду аристократов, людей, склонных к смутам и трусов.

«Как оно было велико, это Собрание! Какие величественные порывы патриотизма я замечал в нем при обсуждении вопроса о низложении короля. Что́ такое представляло собой Национальное Собрание со всеми его мелкими страстями, с его партией сторонников короля, с его забияками, с его защитниками Лафайета, с его постоянною нерешительностью, с его декретами, которые составлялись на скорую руку, а затем упразднялись в силу veto, — что́ такое представляло собой, говорю я, это Собрание по сравнению со сходкою комиссаров парижских секций?

«Можно было бы подумать, что там, в Законодательном Собрании, заседали законники, беспрестанно и с ожесточением скучно спорившие, подгоняемые учи-

телями школ правоведения и не осмеливавшиеся подняться, чтобы сбросить с себя оковы и, наконец, образумиться. Наоборот, на сходке комиссаров секций братски, часто с увлечением, обнаруживая при этом превосходнейшее красноречие и всегда добросовестно, обсуждали доводы в пользу низложения короля и против него. Так сказать, устанавливали основы Республики. Среди этих столь интересных прений совершались события, характерные для членов этого Собрания.

«Некоторые из них обрекали себя в жертву кинжалам и юридическим убийствам, предлагая напечатать и самим расклеить афиши, которые могли бы способствовать тому, чтобы общественное мнение созрело и чтобы были разоблачены преступления Двора, и не давать срывать эти афиши.

«Я не обойду молчанием следующей черты, которую стоит отметить. Двор, действуя заодно с гнусной Директорией парижского департамента, заговорил о том, что следует назначить чрезвычайный военный суд. В той зале, где происходили совещания комиссаров, было несколько красных знамен в чехлах. Храбрый Лазовский, впоследствии ставший жертвою новых разбойников, занявших место двора, и Шомет находят среди этих знамен красное знамя. «О, небо, — восклицают они, — вот оно, да, вот оно, красное знамя! Оно еще обагрено кровью патриотов, убитых на Марсовом поле!». Тотчас же все участники Собрания встают и в единодушном порыве кричат: «Они будут отмщены. Пусть погибнут чрезвычайный военный суд и те, кто его придумал!»

«Двум гражданам, нашедшим это знамя, было поручено отнести его заседавшему тогда муниципалитету и заставить его убрать это знамя в какое-нибудь другое место. Входя в залу муниципалитета, эти граждане, побуждаемые внезапно вспыхнувшим в них негодованием, разорвали это знамя, воскликнув: «Смотрите, вот оно, этот смертоносный предмет, его следует зашить в мешок и бросить в реку.»

«Этот муниципалитет, в значительной степени состоявший из контр-революционеров, приверженцев Лафайета, и в особенности чрезвычайного военного суда, этот муниципалитет, который дерзко противился публичности заседаний Генерального Совета (Коммуны), имел наглость, вопреки желанию парижских граждан, сохранить в том месте, где происходили его заседания, бюсты Байльи, Лафайета и Людовика XVI, в качестве зачинщиков контр-революции, муниципалитет, — говорю я, — как бы остолбенел от изумления».

Итак, эти люди в своем исступлении и революционном возбуждении, будучи всегда готовы пожертвовать своею жизнью для свободы, чувствовали себя, уже в силу своей искренности, как бы стоящими выше всех законных властей, выше болтливого, разнородного, бессильного Законодательного Собрания, выше муниципалитета, проникнутого фельянским духом.

И если они еще соблюдали легальные формы и пользовались посредничеством мэра Петиона для того, чтобы передать Законодательному Собранию свое желание низложить короля, то они делали его с твердым намерением не остановиться на легальности, отныне ставшей подозрительною, и не связывать себя колебаниями самого Петиона.

Итак, Петион заявил, от имени волновавшихся секций, что Парижская Коммуна возбудила перед Национальным Собранием обвинение против главы исполнительной власти. Он «без горечи и без малодушных смягчений» напомнил о благодеяниях, оказанных нацией Людовику XVI, и об его неблагодарности и обманах. Он обвинил в довольно удачной формуле Директории департаментов, которые становились сообщниками Людовика XVI и, которые, «гремя против республиканцев, повидимому, хотят организовать во Франции федеративную республику».

И, переходя к внешней опасности, он сказал: «Извне неприятельские армии угрожают нашей территории. Деспоты издают против французской нации манифест, столь же наглый, как и нелепый. Французы-отцеубийцы, руководимые братьями, родственниками, союзниками короля, готовятся терзать отечество».

«И во имя Людовика XVI безнаказанно оскорбляют верховную власть нации; гнусный австрийский дом прибавляет к истории своих жестокостей еще новую главу, чтобы отомстить за Людовика XVI...»

Наконец, он точно выясняет личную и непосредственную ответственность короля.

«Глава исполнительной власти является первым звеном контр-революционной цепи. Повидимому, он принимал участие в Пильницких заговорах, о которых он так поздно уведомил. Отныне его имя враждебно нации... Он отделил свои интересы от интересов нации. Мы, подобно ему, отделяем их... Пока у нас будет такой король, свобода не может упрочиться, а мы желаем остаться свободными. По остающейся у нас снисходительности, мы желали бы иметь возможность потребовать от вас временного отрешения Людовика XVI от власти, пока отечество будет в опасности, но это противно Конституции... **и мы требуем его низложения.**

«Так как очень сомнительно, чтобы нация могла доверять теперешней династии, мы, после того как будет принята эта важная мера, потребуем, чтобы солидарно ответственные министры, выбранные Национальным Собранием, но не из его среды, как требует конституционный закон, выбранные открытою подачею голосов свободных людей, временно осуществляли исполнительную власть, пока воля народа, нашего и вашего верховного повелителя, не выскажет законно своего решения в **Национальном Конвенте,** как только это позволит безопасность государства».

«Но пусть все наши враги, каковы бы они ни были, организуются за границей; пусть трусы и клятвопреступники покидают страну свободы, пусть приближаются 300.000 рабов, они найдут перед собою десять миллионов свободных людей, приготовившихся как к смерти, так и к победе, борющихся за равенство, за землю отцов, за своих жен, своих детей и своих стариков; пусть каждый из нас, в свою очередь, станет солдатом и, если придется иметь честь умереть за отечество, пусть каждый из нас, прежде чем испустить последний вздох, оставит по себе славную память, поразив на смерть какого-нибудь раба или какого-нибудь тирана».

Это любопытный документ, в котором, конечно, отражаются различные влияния. В нем обнаруживаются пламенный революционный патриотизм федератов и секций, излюбленная мысль Дантона о немедленном образовании новой исполнительной власти, мысль о Национальном Конвенте, которую так энергически отстаивал Робеспьер, и, наконец, боязливость самого Петиона и части жирондистов, проявляющаяся в странной фразе, в которой идет речь о временном отрешении короля от власти.

Итак, в самом ли деле он настолько виновен и не оказывается ли он жертвою несчастной судьбы, обращающей его, против его воли, в предлог для вмешательства иностранцев, в их знамя, в их символ, потому что тотчас после великого кризиса собираются вернуть ему власть? Но это странное, противоречивое бессильное желание устраняется благодаря двум следующим решительным утверждениям: нужно постановить низложение Людовика XVI и апеллировать к нации, которая, несомненно, выскажется за низложение всей династии. Нужно созвать Национальный Конвент.

Этот адрес подписан комиссарами, являвшимися делегатами от 47 секций. Кто станет сетовать на меня за то, что, несмотря на кажущуюся монотонность этого длинного списка, я приведу его? В общих историях Революции, даже и в тех из них, которые проникнуты демократическим и народным духом, внимание слишком часто сосредоточивается исключительно на первоклассных деятелях, в которых, однако, не сосредоточивается все действие. Говоря об огромном движении, приведшем к 10 августа, Луи Блан едва упоминает о секциях вскользь, в нескольких местах. В его изложении действующим органом представляется, главным образом, Центральный Комитет Федератов.

Луи Блан упустил из виду движение секций, гораздо более широкое и обдуманное. Мишле, обнаруживавший столь удивительное понимание народной жизни, тех глубоких источников, из которых вытекают великие события, лучше, чем Луи Блан, подметил и отметил деятельность секций, но, тем не менее, и у него она остается не вполне выясненною. Он готовится быть настолько беспощадно суровым по отношению к мятежной коммуне, которая в августе будет господствовать в Париже, он так несправедлив к Шометту, что, обнаруживая недоверчивость к секциям, он, повидимому, до некоторой степени возлагает на них ответственность за действия революционной Коммуны, зародышем которой является Собрание секций.

Итак, справедливость и восстановление истины требуют, в особенности от всякого историка - социалиста, чтобы он, насколько это для него возможно, восстановил при изложении истории великих событий облики этих безвестных людей, неустрашимость которых спасла отечество. Лишь всматриваясь в ряд подписей этих, почти сплошь неизвестных, людей под документами, имеющими решающее значение, можно отчетливо чувствовать, насколько значительно было участие народа в великих событиях. Все эти люди доблестно брали на себя ответственность, и когда, вскоре, нам придется судить об их действиях и о действиях их товарищей в Парижской Коммуне, разве можно забыть о том, что они только-что рисковали своею свободою, своею жизнью и были возбуждены борьбою и опасностью?

Подписали в качестве комиссаров: Демарсенэ, секретарь; Колло д'Эрбуа, комиссар секции Библиотеки; Жоли, комиссар секции Ломбардов; Ксавье Одуен, из секции Гренельского фонтана; Коллен, из секции Палэ-Рояля; Пипин Дегруетт, из секции предместья Монмартр; Гобер, из секции Невинных Младенцев; Пифинэ, Мюнишаль, Паньи, из секции Гранж-Батальер; Коанде, из секции предместья Монмартр; Тиркур, из той же секции; Ресту, из секции Тюльери; Трюшон, из секции Гравилье; Шенр из Луврской секции; Буэн, из секции Площади Невинных Младенцев: Реаль, из секции Хлебного рынка; Шевалье, из Рульской секции; Доннэ, из той же секции; Невез, из Комитета секции Бонн-Нувелль; Дюпон, из секции предместья Сен-Дени; Тьерар, из той же секции; Мэз, из секции Арси; Тиссо, из секции Мокопсейля; Кольман, из секции Красного Креста; Лебуа, из секции Французского театра; Фабр д'Эглантин, из секции Французского театра; Ж.-Н. Паш, из Люксембургской секции; Теофиль Мандар, Деннего, из секции Городской Думы; д'Эффо, из секции Елисейских Полей; Мари-Иосиф Шенье, Деводиша, из секции Пуассоньер; Гарнерен, из секции Мокопсейля; Лурдейль, из секции Французского театра; Реномар, из секции Понсо; Дебуш-Фонтэн, из секции Городской Думы; Мате, из секции Елисейских Полей; Дезескелль, из секции Больницы для слепых; Пари, из секции Обсерватории; Дожон, из секции Бонди; Франсэ, из секции Острова; Жан-Батист Лувэ, из секции Палэ-Рояля; Анаксагор Шометт, из секции Французского театра; Гион, из секции Палэ-Рояля; Кэно, из секции Гобленов; Латурнелль, из сек-

ции Бонн-Нувелль; Дантон, из секции Арси; Бернар, из Монтрейльской секции; Лавор, Профюн, из секции Оратории; Мишель, из секции улицы Бобур: Дама, из секции Бобур; Борье, из секции Вандомской площади; Кложье, из секции Гренельского фонтана; Мати, из секции Четырех Наций; Таллиен, из секции Королевской площади; Нарфэ, из той же секции; Шамбон, из секции Хлебного рынка; Горэ, из секции св. Женевьевы; Озолле, из секции короля Сицилии; Гэлльон, из секции Анфан-Руж; Менсэ, из секции Генриха IV; Бодрон, из той же секции; Ле Ганьер, из секции Четырех Наций; Бодри, из секции св. Женевьевы; Куртуа, из секции Гобеленов: Матье, из секции Бани Юлиана; Шарль Жанн, из секции Почты; Леонард Бурдон, из секции Гравилье.

Конечно, это был как бы зародыш мятежной коммуны, еще прикрывавшейся легальными формами. Но некоторые секции уже ясно заявили, что они были готовы нарушить легальность, чтобы спасти Революцию; или они даже нарушали легальность. Уже с 31 июля секция Моконсейля, за подписью председателя Лешенара и секретаря Берго, рассылает мятежный адрес ко всем гражданам парижского департамента. Она сообщает им постановление, в котором она «принимая во внимание, что невозможно спасти свободу Конституцией», об'являет, что она уже не признает Людовика XVI королем французов, заявляет, что, «возобновляя столь драгоценную для нее клятву жить и умереть свободною и быть верною нации, она отрекается от своих остальных клятв, так как их выманили, обманув общественное доверие».

4 августа секция Гравилье доводит до сведения Законодательного Собрания через депутацию, допущенную к решетке, о том, что если Собрание не свергнет Людовика XVI с трона, то это будет сделано народом:

«Мы еще предоставляем вам, законодатели, честь спасти отечество. Но если вы откажете спасти его, нам придется принять решение самим спасти его».

Таким образом подготовлялась Революция. Неустрашимый Шудье, в интересных мемуарах, изданных Виктором Баррюкапом, отрицает деятельность Комитета федератов; он уверяет, что утверждения жирондиста Карра являются хвастовством. «Карра издал известный исторический очерк, в котором он по-своему излагает события 10 августа; там он даже утверждает, что он, в значительной степени, руководил ими с пятью или шестью другими лицами, столь же ничтожными, как и он сам, которые составляли в Шарантоне так называемый Центральный Комитет. Карра был слишком слабая личность, так что он не мог сыграть в этот день ту роль, которую он себе приписывает. Победою мы обязаны главным образом, парижским секциям, за исключением одной, а именно секции Женского монастыря св. Фомы, храбрым федератам, всему населению предместий Сент-Антуанского и Сен-Марсо и мужественным гражданам, захватившим власть в муниципалитете в ночь с 9 на 10 августа».

Но, хотя весьма возможно, что Карра — хвастун и что он преувеличил свою личную роль, все-таки остается верным, что федераты были организованы, что они образовали Центральный Комитет, и что этот Центральный Комитет, в который были призваны такие деятели, как Сантер, и, в особенности, как Лазовский и Вестерман, являлся одним из центров, руководивших движением. Но деятельность делегатов от секции была шире.

Дантон поддерживал сношения с обеими революционными организациями. Подписанным им постановлением секции Французского театра он вызвал мятежное движение секций. А, кроме того, на следующий день после банкета в честь марсельцев, марсельские федераты были приглашены секцией Французского театра поместиться у нее. Таким образом Дантон играл роль как бы передаточного пункта, в котором скрещивались две революционные организации. Робеспьер, несомненно, чувствовал, что сила событий опередила его. Он должен

был с первых чисел августа отказаться от надежды на легальную революцию, на которую он одно время рассчитывал и, хитрый и сдержанный, он ждал, каков будет ход событий.

Собрание, повидимому, совершенно утратило способность принимать решения, и его постановления были чисто отрицательны. Оно отменило постановление секции Моконсейля, но само не указывало никакого выхода из кризиса. Относительно военных дел его взгляды были широки, и оно принимало важные меры. Оно пыталось вооружить весь народ; оно одобрило 1 августа превосходный доклад Карно об изготовлении пик, о всеобщем вооружении:

«Ваша Комиссия предложила вам пики, потому что пика является, так сказать, оружием свободы, потому что она является наилучшим оружием в руках французов, наконец, потому, что она недорого стоит и что ее можно скоро изготовить.

«К тому же теперь во Франции еще нет и долго еще не может быть достаточного количества огнестрельного оружия для того, чтобы им можно было снабдить всех граждан; однако, их имуществу, их жизни, их свободе со всех сторон грозит опасность, и их оставляют почти без защиты от ярости их врагов.

«Всякий, кто хочет раскрыть глаза, должен, наконец, признать за очевидную истину, что все окружающие нас правительства хотят нашей гибели; что правительства, уверяющие нас в своей дружбе, делают это лишь для того, чтобы лучше обмануть нас; что в данный момент единственная политика, которой нам следует держаться, заключается в том, чтобы оказаться сильнейшими.

«Но нынешняя опасность, наиболее бросающаяся в глаза толпе, может быть наименее серьезна; наиболее реальная, наиболее неизбежная опасность заключается в самой организации вооруженной силы, той силы, которая, будучи создана для защиты свободы, содержит в себе коренной недостаток, который непременно должен уничтожить ее.

«В самом деле, всюду, где часть народа остается постоянно вооруженною, между тем как другая часть его безоружна, последняя неизбежно порабощается первою, или, скорее, и та и другая порабощаются теми, кто умеет присвоить себе командование; итак, в свободной стране непременно нужно, чтобы каждый гражданин был солдатом или чтобы никто не был солдатом. Но Франция, окруженная честолюбивыми и воинственными нациями, очевидно, не может обойтись без вооруженной силы. Итак, нужно, чтобы, по выражению Жан-Жака Руссо, всякий гражданин был солдатом, выполнял долг, и чтобы никто не был солдатом так, чтобы военная служба была его ремеслом. Итак, немедленно по заключении мира, все батальоны линейных войск должны стать батальонами национальной гвардии; для тех и для других должны отныне быть установлены одинаковый режим, одинаковое жалованье, одинаковая одежда... Тогда всякий отряд будет выбирать своих офицеров, и они уже не будут, продавшись исполнительной власти, переходить на сторону врага и изменять отечеству, осыпавшему их благодеяниями.

«Тогда новая военная система окажется наиболее простою, наиболее сильною, наиболее бережливою, наиболее соответствующею духу Конституции. Во время мира границы будут охраняться батальонами, ежегодно выставляемыми поочередно различными департаментами. Граждане будут упражняться—каждый в своем кантоне и округе, как в Швейцарии,—в небольших отрядах, в ротах, в батальонах; каждый будет заранее снабжен всем военным снаряжением; зажиточные молодые люди охотно заведут у себя обученных лошадей, чтобы формировать отряды кавалерии, и будут собираться, чтобы упражняться на маневрах; будут устраиваться военные празднества с тою пышностью, которою отличались турниры и карусели; победителям будут присуждаться торжественные награды»

Итак, Дантону, призывавшему всех граждан, в интересах отечества, к осуществлению политических прав, ответил Карно, призывавший всех их к оружию. Как могла бы удержаться буржуазная олигархия при всеобщем вооружении народа? Но Законодательное Собрание, непоследовательное и недоумевавшее, настолько же боялось приступить к разрешению конституционного вопроса, насколько оно оказывалось великодушным и смелым в деле организации военной защиты отечества, которому грозила опасность. Оно не сумело даже наказать Лафайета за его мятежный поступок, и 8 августа Собрание декретировало, несмотря на настояния жирондистов, что не существует поводов для возбуждения обвинения против него.

Народ сильно волновался, и все задавались вопросом: если Собрание не осмеливается нанести удар Лафайету, ставшему мятежным защитником двора, то как же осмелилось бы оно нанести удар самому двору? Как осмелилось бы оно потребовать от самой королевской власти отчета в ее изменах? Итак, оставалось только прибегнуть к силе. К этому восстанию, которое было предусмотрено и о котором заранее возвещалось, жирондисты отказывались присоединиться даже в этот последний день, 8 августа.

«С июля месяца, — утверждает Шудье, — многие из членов Национального Собрания, да и сами жирондисты, были убеждены в том, что мы могли выйти из состояния маразма, в котором мы изнемогали, лишь благодаря великому кризису, и каждый чувствовал, что этот кризис неминуем; члены Жиронды, которые боялись его, старались замедлить его, чтобы лучше руководить им; члены Горы, считавшие его необходимым, вызывали его, однако, не компрометируя себя, три из них—Мерлен из Тионвилля, Шабо и Базир, считавшиеся среди нас как бы охотниками, начинающими дело с неприятелями, являлись ежедневно по вечерам в секции предместий, где они пользовались большим влиянием; другие члены Горы, с своей стороны, собирались в одном частном доме на улице Сент-Онорэ.

«8 августа наиболее выдающиеся из членов Жиронды присоединились к нам, одни для того, чтобы узнать наши проекты, другие потому, что они считали возможным спастись лишь вместе с нами. Получив предупреждение о том, что они собирались сделать этот шаг, я сговорился со старым генералом Калоном, нашим председателем, и я воспользовался этим случаем, чтобы поставить жирондистов в фальшивое положение и заставить их и их приверженцев об'ясниться относительно того, какое решение они приняли бы, если бы, как все предвещало, завязалась серьезная борьба. Я знал, что на следующую ночь должны были ударить в набат, но, конечно, я воздержался от того, чтобы сказать это тем, которые не должны были знать об этом. Я предложил послать к Петиону депутацию, состоящую из шести членов узнать, каков был бы его образ действий в том случае, если бы было произведено нападение на дворец. Председатель, обыкновенно назначавший членов этого рода депутаций, назначил, как мы заранее условились между собою относительно этого, трех членов Жиронды и трех членов Горы. Жирондисты были: Жансоннэ, Иснар и Гранжнев; члены Горы были: Дюэм, Альбитт и Грапэ из Марселя.

«Петион категорически ответил, что он явился бы во дворец и что, если бы он подвергся нападению, он отражал бы силу силою. Три члена Жиронды заявили, что они разделяют мнение Петиона и что насилие являлось слишком сомнительным средством, чтобы они могли считать нужным участвовать в нем. Это заседание было последним».

Шудье—честный и храбрый человек; именно он, как было упомянуто выше, первый подал в Собрание петицию, требовавшую низложения короля. Но он ненавидел жирондистов и, несомненно, желая изобразить дело так, чтобы казалось, что у них не было никаких заслуг в день 10 августа, он выразил их неопределенную мысль в преувеличенно ясной форме. Между ними были такие люди,

как Барбару, которые желали штурмовать дворец, и их, несомненно, было достаточно для того, чтобы взволновать даже и умы тех, кто противился насилию.

Вероятно, что Петион ответил так категорически только потому, что он счел этот вопрос неосторожным и неблагоразумным. В качестве мэра он мог быть полезным восстанию снисходительным молчанием и добровольно двусмысленным вялым сопротивлением, а не признанным содействием. Образ действий жирондистов, присоединившихся вечером 8-го числа к монтаньярам и пошедших вместе с ними, чтобы предложить Петиону вышеупомянутый вопрос, сам по себе, конечно, показывает, что они не приняли определенного решения ни в смысле сопротивления, ни в смысле действия. Но, конечно, они чувствовали, что кризис был неизбежен. Уже в течение нескольких недель Революция и королевская власть обменивались публичными вызовами.

У двора, после празднества Федерации, была только одна мысль: ускорить появление манифеста иностранных держав и укрепить Тюльери, чтобы сопротивляться нападению народа. Он не знал наверно, каковы были проекты Собрания, в котором обнаруживались значительные разногласия и которое было очень нерешительно. Но опасность была неминуема. 24 июля королева пишет Ферзену:

«На этой неделе Собрание должно декретировать, что оно переносит свои заседания в Блуа и временно отрешает короля от власти. Ежедневно происходят новые сцены, которые, однако, всегда клонятся к гибели короля и его семьи; петиционеры заявили у решетки Собрания, что если его не низложат, они убьют его. Они были удостоены приглашения присутствовать на заседании в качестве почетных гостей. Скажите же г-ну де-Мерси, что жизнь короля и королевы подвергается величайшей опасности; что замедление на один день может повлечь за собою неисчислимые бедствия; что следует немедленно отправить манифест, что его ждут с величайшим нетерпением; что он непременно побудит многих присоединиться к королю и обеспечить его безопасность: что иначе никто не может ручаться за его безопасность в течение двадцати четырех часов, шайка убийц все усиливается».

Но какая анархия, какой хаос в мыслях этого обезумевшего двора! Между тем как Людовик XVI назначает Маллэ-дю-Пана своим уполномоченным у государей, между тем как он пытается добиться того, чтобы манифест был написан сравнительно умеренным тоном, Ферзен, друг и наперсник королевы, настаивает на резком манифесте и доносит самой королеве, как на несносную интригу, на действия Маллэ-дю-Пана. Вот, что он пишет Марии-Антуанетте из Брюсселя 28-го июля:

«Мы не переставали убеждать поскорее издать манифест и приступить к операциям; они начнутся 2 или 3 августа. Манифест составлен, и вот что говорит о нем барону Бретейлю г. де-Буйлье, который его видел: «Относительно манифеста и общего плана вполне руководятся вашими и, смею сказать, нашими принципами, несмотря на интриги, очевидцем которых я был и над которыми я, конечно, смеялся, будучи, на основании того, что мне было известно, вполне уверен в том, что они не восторжествуют». — «Мы настояли на том, чтобы манифест оказался угрожающим, в особенности относительно ответственности за королевских особ, и чтобы в нем не было и речи о Конституции или об образе правления».

В тот же самый день новая записка от Ферзена к королеве:

«Я только что получил декларацию герцога Брауншвейгского: она очень хороша: она принадлежит г-ну де-Лимону, и именно он прислал мне ее».

И мучимый беспокойством при мысли об опасностях, угрожающих королеве, он прибавляет:

«Вот наступает критический момент, и моя душа содрогается. Да хранит бог всех вас; это мое единственное желание. Если бы оказалось полезным, чтобы вы когда-либо скрылись, то, прошу вас, примите, не колеблясь, это решение: это могло бы оказаться необходимым для того, чтобы добраться до вас. В таком случае в Лувре есть небольшой погреб возле квартиры г-на де-Лапорта; я полагаю, что о нем знают лишь немногие и что он надежен. Вы могли бы им воспользоваться.

«Герцог Брауншвейгский выступает в поход сегодня; ему понадобится от восьми до десяти дней для того, чтобы дойти до границы».

Но в тех же письмах, в которых Ферзен выражал таким образом свои опасения, он передавал королеве соображения барона де-Бретейля относительно министерства. Есть что-то траги-комическое в этом распределении портфелей:

«Вот проект барона относительно составления министерства; он хочет, чтобы это дело было вполне предоставлено ему, во избежание противоречий: он хочет, чтобы военным министром был назначен ла-Галиссоньер, по его словам, выразивший ему очень хорошие мысли; морским министром—дю-Мутье; министром юстиции — Барантен; министром иностранных дел — Бомбелль, министром для Парижа — Лапорт и министром финансов — епископ Памьерский.»

Де-Бретейль был расчетливый человек: он не забывал о себе во время бури. К тому же он был уверен в победе.

Королева не так непоколебимо рассчитывала на победу. 1 августа она пишет Ферзену (без шифра):

«Происшествие, случившееся 30-го числа (столкновение между марсельцами и батальоном национальной гвардии), усилило беспокойство, раздражило часть национальной гвардии и привело в уныние другую часть ее. Ждут близкой катастрофы; эмиграция усиливается. Слабые люди с чистыми намерениями, те, у кого есть лишь ненадежное мужество и честность, скрываются; только злонамеренные люди смело показываются. Для того, чтобы вывести столицу из того состояния подавленности, в котором она находится, нужен кризис; всякий хочет, чтобы он прошел согласно его мнениям; но никто не отваживается рассчитать его последствия, опасаясь, что результат окажется в пользу злодеев. Что бы ни случилось, король и порядочные люди не допустят никаких посягательств на Конституцию; если же она будет уничтожена, то и они погибнут вместе с нею».

И она прибавляет симпатическими чернилами:

«Жизни короля, равно как и жизни королевы, очевидно, уже давно грозит опасность. Прибытие около 600 марсельцев и множества других лиц, посланных из всех якобинских клубов, конечно, усиливает наши, к несчастью, слишком основательные опасения. Принимают всякого рода предосторожности для безопасности их величеств, но убийцы беспрестанно бродят вокруг дворца; возбуждают народ; в значительной части национальной гвардии обнаруживается злонамеренность, а в другой части—слабость и трусость... Среди стольких опасностей трудно заниматься назначением министров. Если наступит спокойный момент, я сообщу вам, что думают о тех, которых вы предлагаете; в данный момент нужно думать о том, чтобы избежать кинжалов и расстроить замыслы заговорщиков, кишащих вокруг трона, готового рухнуть. Уже давно мятежники не стараются скрывать проекта истребить королевскую фамилию. В двух последних Национальных Собраниях разногласия касались лишь средств, которые хотели применять. Вы могли судить по моему последнему письму, насколько важно выиграть двадцать четыре часа; сегодня я только повторяю вам то же самое, прибавляя, что если не придут на помощь, лишь провидение может спасти короля и его семейство».

Не подлежит сомнению, что в этом письме Мария-Антуанетта, чтобы ускорить движение идущих на помощь, ставит на вид преимущественно мрачную сторону положения дел. Но я нахожу, что Мишле преувеличивает спокойную уверенность двора. Правда, он призвал в Тюльерийский дворец тысячу солдат-швейцарцев, к нему присоединились многие дворяне, и Манда обещал содействие нескольких батальонов национальной гвардии.

Правда, в батальонах федератов было не более пяти или шести тысяч человек и никто не мог сказать, восстанут ли предместья все вместе. Итак, у двора были некоторые основания надеяться на то, что ему удастся подавить восстание; и, изнывая в утомительном ожидании, король и королева в конце концов желали, чтобы настал решительный день. Тем не менее, они боялись его и, конечно, чувствовали, что огромная и мрачная толпа готовилась напасть на королевскую власть.

Законодательное Собрание постановило, что петиции, требующие временного отрешения короля от власти или его низложения, будут обсуждаться 9-го числа. Но, назначив таким образом день прений, оно тем самым назначило и день восстания.

В самом деле, оно могло бы обезоружить гнев народа, лишь приняв великое и смелое решение, к которому оно было неспособно, и Шудье с мужественною откровенностью сказал ему, что, не осмелившись накануне осудить Лафайета, оно не осмелилось бы «взобраться на ступеньки трона, чтобы нанести удар преступному двору». Шудье грозили тюрьмою Аббатства. Умеренные рассказали с трибуны о тех насилиях, которым они подвергались накануне на парижских улицах за то, что они голосовали в пользу Лафайета. И Веньо-Воблан решился сказать, что Собранию следовало бы покинуть Париж и отправиться в Руан вместо того, чтобы совещаться, «подвергаясь угрозам одной партии». Это оказалось бы смертельным ударом для Революции и для отечества.

От имени Комиссии Двенадцати Кондорсе ограничился предложением обратиться к французскому народу с адресом относительно осуществления права на верховную власть. Повидимому, этот адрес был составлен исключительно для того, чтобы предохранить совещания Собрания от всякого внешнего нелегального давления.

Великая проблема низложения короля не была даже поставлена в этом адресе, и Комиссия Двенадцати заявила, что темою ее доклада служат «т е п р е д в а р и т е л ь н ы е м е р ы, к о т о р ы е с л е д у е т п р и н я т ь п р е ж д е, ч е м о б с у ж д а т ь в о п р о с о н и з л о ж е н и и к о р о л я». При тогдашнем возбуждении умов и напряжении сил какая бы то ни было новая отсрочка была невозможна.

Наконец, были пущены в ход революционные способы действия. Забили тревогу, ударили в набат, и в ясную ночь с 9 на 10 августа население предместий, взявшись за свои ружья, приведя свои пушки в боевую готовность, приготовилось на рассвете начать великую борьбу. Эти люди думали вовсе не об узких и непосредственных интересах.

Рабочие, пролетарии, шедшие на борьбу вместе с отважнейшею частью буржуазии, не пред'являли никаких экономических требований. Даже борясь против скупщиков и монополистов, вызвавших вздорожание сахара и других товаров, парижские рабочие уже говорили: «Мы протестуем не как женщины, не для того, чтобы получить сласти, а потому, что мы не желаем оставить Революцию в руках эгоистов и угнетателей».

Прежде всего, они требовали полной политической свободы, полной демократии. В ней они, конечно, нашли бы гарантии, обеспечивающие удовлетворение их интересов, их заработную плату, самое их существование. Во время широкого народного движения, при сильном возбуждении в июле и в августе, закон Ша-

нелье уже был фактически отменен, и фельянская буржуазия жаловалась 7 августа на то, что рабочие устраивали сходки, чтобы совместно требовать повышения заработной платы.

Пролетарии хорошо знали, что всякий под'ем в национальной жизни и расширение свободы означали бы их усиление, и у них были неясные социальные предчувствия. Но непосредственно и сознательно они думали об отечестве, которому угрожали иностранцы, о свободе, преданной обманывавшим королем. Свергнем короля-изменника, чтобы вернее отразить и одолеть иностранных королей. Итак, восстание пролетариев не вызывалось ясно выраженным и непосредственным классовым движением.

Тем не менее, тогда как 14 июля и 5 и 6 октября рабочие, соединившиеся с буржуазией, боролись только против королевского деспотизма, теперь, в этот день, 10 августа, они борются как против королевской власти, так в то же время и против всей той части буржуазии, которая примкнула к королевской власти. Свергая короля, они в то же время отомстят той умеренной буржуазии, которая расстреливала народ, защищая королевскую власть на Марсовом поле в июле 1791 года.

И революционеры 10 августа овладевают Красным Знаменем, являвшимся знаменем военного положения, кровавым символом буржуазных репрессий. Они делают из него сигнал восстания, или, скорее, эмблему новой власти.

В какой именно момент революционному народу пришла мысль сделать знамя военного положения своим собственным знаменем и обратить его против своих врагов? Повидимому, это произошло около 20 июня. Когда Шометт рассказывает в своих мемуарах о приготовлениях к 20 июня, когда он указывает на то, что граждане Сент-Антуанского предместья и предместья Сен-Марсо, «гордясь тем, что аристократы в кружевных уборах называют их санкюлотами», готовились отправиться к королю, чтобы добиться от него утверждения декретов, он прибавляет:

«С другой стороны, самые пылкие и просвещенные патриоты сходились в клубе Кордельеров, а затем проводили почти вместе, чтобы сговориться между собою.

«В одном из Комитетов было изготовлено Красное Знамя с надписью: «*Чрезвычайный военный суд народа против бунта Двора*», и под этим Красным Знаменем должны были об'единиться свободные люди, истинные республиканцы, те, кто стремился отомстить за смерть друга, сына, родственника, убитых на Марсовом поле 17 июля 1791 года».

С другой стороны, Карра, рассказывая о приготовлениях уже не к 20 июля, а к 10 августа, пишет:

«В этой харчевне у Золотого Солнца, где собирался Центральный Комитет, подготовлявший восстание, Фурнье-американец принес нам красное знамя, на котором, по моему предложению, были написаны следующие слова: «Чрезвычайный военный суд державного народа против бунта исполнительной власти». В эту же харчевню я принес пятьсот экземпляров афиш с надписью «Те, которые станут стрелять в колонны народа, будут немедленно казнены».

Итак, мысль о том, чтобы сделать красное знамя своим собственным знаменем, повидимому, пришла народу до 20 июня, как только началась эра народных движений против королевской власти. Но, повидимому, красное знамя не было развернуто 20 июня или потому, что не хватило времени изготовить достаточное количество красных знамен с революционными надписями, или, скорее, потому, что Петион, старавшийся легализировать движение 20 июля, побудил своих друзей отказаться от того, чтобы развернуть его. Но эта мысль удержалась, и 10 августа красное знамя развевалось там и сям над революционными колоннами. Оно означало:

«Теперь мы, народ, представляем собою право. Теперь мы представляем собою закон. Мы облечены правомерною властью, а король, двор, умеренная буржуазия, все изменники под именем конституционалистов, на самом деле изменяющие Конституции и отечеству, являются бунтовщиками. Сопротивляясь народу, они сопротивляются истинному закону, и именно против них мы об'являем военное положение. Мы не бунтовщики. Бунтовщики находятся в Тюльери, и во имя отечества и свободы мы обращаем знамя легальных репрессий против мятежного двора и бунтовщиков умеренных».

Итак, красное знамя означало нечто большее, чем месть. Оно не являлось знаменем репрессий. Это было великолепное знамя новой власти, сознающей свое право, и поэтому с тех пор, всякий раз, когда пролетариат будет выражать свою силу и свою надежду, в руках пролетариев будет развеваться красное знамя.

В Лионе, в царствование Людовика-Филиппа, рабочие, истощенные голодом, развертывают черное знамя, знамя нищеты и отчаяния. Но после февраля 1848 г., когда пролетарии хотят ознаменовать новую Революцию своим собственным символом, они требуют от временного правительства, чтобы оно приняло красное знамя.

Для того, чтобы оно таким образом вновь поднялось, как ярко вспыхнувшее пламя, долго таившееся под пеплом, нужно было, чтобы революционная традиция, восходящая к 10 августа, в течение полувека непрерывно сохранялась в бедных домах предместий и устно передавалась от отца к сыну, трогая сердца. И Ламартин обнаружил странную забывчивость, сказав народу, собравшемуся пред Городскою Думою: «Красное знамя было протащено лишь по Марсовому полю, где оно обагрилось потоками народной крови».

Почему народ не ответил: «Да. Но под этим знаменем, обагренным кровью народа 17 июля 1791 года, народ двинулся против Тюльери 10 августа 1792 года. И в его ярком сиянии выражена надежда рабочих на победу республики».

Вечером 9 числа, около полуночи, удары в набат, барабанный бой возвестили членам Законодательного Собрания, разошедшимся по Парижу, что готовится сильное движение. Они поспешили в Собрание, и заседание открылось в полночь. Это было, если можно так выразиться, заседание, полное ожидания. Собрание решилось следить за ходом событий, но не вмешиваться непосредственно в борьбу, завязавшуюся между народом и королем.

Тщетно министры, желая, чтобы ответственность за совершившиеся события падала и на Законодательное Собрание, дали ему знать, что нужно безотлагательно принять меры для охраны дворца и для защиты Конституции. Законодательное Собрание ответило, что это касается административных властей. Тщетно некоторые депутаты предложили своим товарищам отправиться к королю, как 20 июня. Шудье ответил, что в этот опасный час истинная обязанность народных представителей заключалась в том, чтобы они оставались на своем посту. Собрание аплодировало.

Однако во дворце устроили западню для Петиона. Его вызвали туда, и мэр, боясь оказаться серьезно скомпрометированным в том случае, если бы он отказался последовать этому призыву, отправился в Тюльери. Там, очевидно, хотели, главным образом, держать его, как заложника. Испуганные его долгим отсутствием, администраторы Парижской Коммуны написали Собранию, и оно вызвало его к своей решетке, чтобы спасти его. Манда, командовавший национальной гвардией и преданный двору, не посмел задержать Петиона; мэр явился к решетке Собрания; он, в осторожных выражениях, намекнул на сказанные ему оскорбительные слова; он сообщил, что весьма энергические меры, принятые во дворце для того, чтобы защищаться, были достаточны для того, чтобы остановить всякое движение. Желал ли Петион подать парижскому населению последний со-

вет соблюдать благоразумие? Или он желал дать Собранию тот предлог, в котором оно нуждалось, чтобы не вмешиваться? Или дать таким образом самому себе право не усиливать защиты дворца? Между тем, в Городской ратуше состоялось общее собрание секций. И наиболее смелые секции, секция Французского театра, секция Гравиллье в три или четыре часа утра высказались в том смысле, что следовало заменить установленные власти новыми, революционными властями.

На рассвете, в тот момент, когда из всех предместий—Сент-Антуанского, Сен-Марсо — федераты, рабочие строились в колонны и двинулись на Тюльери, Собрание секций заняло место легальной Коммуны и сорганизовалось в революционную Коммуну.

Это был смелый и, быть может, решительный шаг, так как, благодаря этому, боровшийся народ обеспечил себе поддержку организованной политической силы. Кроме того, благодаря этому, можно было смутить штаб национальной гвардии, командовавшего ею Манда, отрешив их от должности. И революционная Коммуна наводила страх на врагов и расстраивала их ряды. Новая Коммуна тотчас же приняла следующее постановление, передававшее ей власть:

«Собрание комиссаров большинства секций, уполномоченных принять меры для спасения общественного дела, постановило, что общественное дело требовало, прежде всего, чтобы они приняли на себя все полномочия, переданные Коммуною, и лишили штаб того опасного влияния, которое он до сих пор оказывал на судьбу свободы. Принимая во внимание, что эта мера могла бы быть осуществлена лишь постольку, поскольку муниципалитет, который никогда и ни в каком случае не может действовать без соблюдения установленных форм, будет отрешен от своих функций, а г. мэр и генеральный прокурор Коммуны, которых они оставляли администраторами, будут продолжать выполнять свои административные функции».

Это было подписано Гюгененом, председателем, и Мартеном, секретарем; все эти люди рисковали своими головами. Следовательно, секции сместили установленные власти, так как эти власти не могли освободиться от легальных форм. Петион и Манюэль, которые были оставлены в должности, были вновь облечены властью; но, опасаясь, что мэр Петион, еще связанный легальными формами, может парализовать восстание, революционная Коммуна подвергла его домашнему аресту. Таким образом она обеспечивала свободу народных действий. И в самом начале этого великого дня она хорошо выяснила его характер: дело шло не о пред'явлении требований к королю, а о переходе власти в другие руки, и народ водворился в Городской ратуше, как верховный повелитель, чтобы решительно изгнать из Тюльери изменническую верховную власть.

Как имело в виду отнестись к этой новой власти, являвшейся революционным выражением воли народа, Законодательное Собрание? Около семи часов утра депутация от парижского муниципалитета, явившаяся с жалобой, уведомила его о событиях, совершившихся в Городской ратуше. Но как поступить? Правда, некоторые депутаты предложили упразднить новую власть, как незаконную. Но уже завязалась борьба вокруг дворца, и это предложение не имело успеха. К тому же новая власть действовала и весьма решительно поддерживала народные усилия. Еще прежде, чем об'явить себя Коммуною, делегаты от секций добились от законного муниципалитета, чтобы он вызвал к себе Манда, который командовал национальной гвардией и был предан королю.

В конце концов утром, т.-е. именно в тот самый момент, когда его присутствие в Тюльери было бы наиболее необходимо, Манда подчинился требованию муниципалитета. А явившись в Городскую ратушу, он нашел там новую власть. Революционная Коммуна отнеслась к нему, как к обвиняемому, она привлекла его к ответственности за отданные без ясно выраженного разрешения мэра неправомерные приказы вооружить национальную гвардию против народа. И в тот

самый момент, когда, по окончании допроса, он спешил вернуться в Тюльери, она приказала арестовать его.

Сопротивление в Тюльери было сразу дезорганизовано. Двор лишился всякой легальной поддержки; национальная гвардия уже не оказывала ни малейшей помощи швейцарцам и дворянам. Король убедился в этом около шести часов, когда он на краткое время вышел из дворца, чтобы произвести смотр постам у Карусели и у Тюльери. Канониры национальной гвардии встречали его угрюмым молчанием или возгласами: «Да здравствует нация!»

Людовик XVI со смертельной тоской почувствовал себя одиноким против своего народа. Он вернулся во дворец почти в полном отчаянии. Однако мало-помалу приближались нападающие и начали, но еще вяло, окружать дворец со стороны Карусели, со стороны Тюльери. Предстояло ли таким образом почти совершенно покинутым королю и королеве подвергнуться опасностям осады? Собрание очень беспокоилось. Что случилось бы, если бы король и королева были убиты во время неистового штурма? Не поднялась ли бы Франция, которая уже была растрогана 20 июня в пользу короля, которому тогда угрожали, против тех, кто убил бы его, а также и против тех, кто своим бездействием явился бы соучастником убийства? Некоторые депутаты потребовали, чтобы Собрание призвало короля к себе. Но это значило не только охранять жизнь короля, это значило, так сказать, вверить его власть покровительству нации. Может быть, это побудило бы революционные силы выступить против самого Собрания, с виду ставшего солидарным с королем.

Собрание поняло это и проявило большую осторожность. Тогда было внесено менее определенное предложение, подвергавшее Собрание менее значительному риску: оно вовсе не призывало бы к себе короля, но дало бы ему знать, что оно заседает и что он может, если ему угодно, явиться в Законодательное Собрание. Но это все же значило бы связать ответственность Собрания с ответственностью короля. Оно еще колебалось, несмотря на очевидное волнение Камбона, воскликнувшего, что бездействие Собрания было бы, по крайней мере, настолько же опасно, как и его действие, и что следовало «спасти славу народа», т.-е., очевидно, охранять жизнь короля. Так как Собрание все еще колебалось и оставалось в неподвижном, неповоротливом, стоячем положении в разгар бури, то король, побуждаемый прокурором-синдиком департамента, Редерером, решился покинуть Тюльери, чтобы отправиться в Собрание.

По центральной аллее сада, а затем, по Тюльерийской аллее, после сухого и жаркого лета уже сплошь усыпанной увядшими листьями, королевская семья, через толпу, часть которой колебалась, а часть была враждебна, с трудом добралась до входа в Собрание. Людовику XVI уже не суждено было вернуться в королевское жилище. В эту пятницу, ставшую для благоговейных роялистов Страстною пятницею, начались его с т р а д а н и я. Один мировой судья явился к решетке Собрания и сказал: «Господа, я пришел сообщить вам, что король, королева, королевская фамилия явятся в Национальное Собрание».

Явился ли король в Собрание, как одна из конституционных властей, присоединившаяся к другой конституционной власти? Или же это был беглец, искавший у алтаря закона, который он тщетно пытался сокрушить своею изменою, последнего убежища? Для Собрания он все еще являлся королем, или, по крайней мере, тенью короля, и 24 депутата, находившиеся всего ближе к двери, вышли ему навстречу, при все усиливавшемся шуме и всеобщем смятении. Таким образом, по крайней мере, продолжал соблюдаться конституционный церемониал. На этом заседании председательствовал Верньо. Собрание, если можно так выразиться, выдвинуло его пред собою, как блестящий щит, сиявший славою, красноречием и мудростью. Оно знало, что в Комиссии Двенадцати он проявлял медлительность и осторожность; итак, оно думало, что во время этого крайне обострив-

шегося кризиса, он не пойдет дальше того, чего требовала сама сила вещей. Но народ сохранил воспоминание о глубоко взволновавшей его, могучей и пророческой речи, произнесенной 5 июля. И Собрание надеялось, что отблеск популярности, которую снискал себе великий оратор, успокоит вдали волновавшуюся толпу. Престиж славы временно заменил бы силу закона.

Когда король вошел и, согласно протоколу, занял место рядом с председателем, он сказал Собранию:

«Я пришел сюда во избежание тяжкого преступления и я всегда буду считать себя и свою семью безопасными среди представителей нации».

Верньо ответил ему, по свидетельству Монитера, Логографа и Журнала прений и декретов:

«Национальное Собрание знает все свои обязанности. Оно поклялось охранять права народа и установленные власти».

Итак, призрак королевской власти еще не исчез; впрочем, сама Конституция разрешала высказаться за низложение короля или за его временное отрешение от власти, и Верньо ни к чему себя не обязывал. Через несколько минут после этого Собрание официально признало «установленные власти», а именно те, которые были установлены в ту же самую ночь Революцией. После ухода королевской семьи народ все гуще теснился у Тюльери, окружая его. Приходили и усиливались федераты, население предместий со штыками, пиками и пушками. Разве нельзя было избежать кровавого столкновения? Собрание спешит составить воззвание к народу, но чрез кого передать ему это воззвание? Прежний муниципалитет был распущен и бессилен. Тюрио определенно предложил Собранию фактически признать новый муниципалитет, революционную Коммуну:

«Я предлагаю, чтобы комиссарам, которые отправятся в город, было разрешено совещаться со всеми теми, кто в данный момент пользуется легально или нелегально каким-либо авторитетом и, по крайней мере, явным общественным доверием».

Собрание приняло предложение Тюрио, и таким образом при посредстве Коммуны, республиканская Революция начала врезаться клином в еще монархическую Конституцию 1791 года.

Через несколько минут после этого Собрание решило предоставить революционной Коммуне, по крайней мере, временное назначение нового начальника национальной гвардии. Между тем в Тюльерийском дворце, покинутом королем, повидимому, было решено разоружаться. Из окон дворца швейцарцы обращались к народу с дружелюбными словами. Открывается дверь, выходящая на большую лестницу, жители предместий и федераты с радостью вбегают; но вдруг ужасная ружейная пальба со всех ступеней лестницы явилась ответом на доверчивость революционеров. Была ли это гнусная западня и обман? Или же при анархии, наступившей среди этого небольшого отряда, внезапно покинутого королем и выслушивавшего противоречивые приказы, произошли гибельные недоразумения? Раздается ужасный, мучительный, смертельный и гневный крик прогнанного народа; он наводит свои пушки против стен, свои ружья против окон, из которых трещат ружейные залпы швейцарцев; загораются бараки, помещавшиеся возле дворца, вдоль всей Карусельной площади, и протяжные, гневные, заунывные звуки пушечных выстрелов, все усиливавшийся пронзительный шум залпов ружей, сверкание огней, бледневших при дневном свете, вопли и смятение, вызываемое разрушением и борьбою, распространяются на Карусельном дворе и доходят до Собрания. Около девяти часов у порога залы, в которой происходило заседание, вдруг раздается панический крик: «Вот швейцарцы; к нам ворвались силою».

Взволнованное Собрание думает, что наемные солдаты, служившие королевской власти, готовились напасть на него, что предательская королевская власть,

одержав победу над народом, готовилась поразить народных представителей, и что его членам оставалось только умереть, чтобы, по крайней мере, завещать новым поколениям, в героическом воспоминании, бессмертный протест свободы.

При первых пушечных залпах все граждане, находившиеся на трибунах, встают восклицая: «Да здравствует Национальное Собрание! Да здравствует нация! Да здравствуют свобода и равенство!» Собрание немедленно принимает постановление, гласящее, что все депутаты останутся на своем посту, ожидая своей участи, чтобы спасти отечество или погибнуть вместе с ним.

«Вот швейцарцы!—снова кричат граждане, находившиеся на трибунах, проявляя величественное мужество и в то же время чрезвычайно взволнованные неясным шумом,—мы не покинем вас; мы умрем вместе с вами!»

И они применяют к самим себе декрет Собрания; подобно ему, они обязуются быть свободными или умереть. Это была героическая и великая минута, когда все разногласия и взаимное недоверие на время исчезли в общем страстном влечении к свободе, в общем презрении к смерти, когда сердца посетителей трибун бились вместе с сердцами жирондистов, «государственных людей». В этом водовороте, среди которого Жиронда председательствовала, только что перед этим, в лице Верньо, а теперь в лице Гюадэ, она снова участвовала в великом революционном страстном возбуждении народа.

Испуг патриотов был непродолжителен. Швейцарцы, о приближении которых было возвещено, были уже побеждены; они уходили из дворца, в который ворвался народ, через Тюльерийский сад; они падали от пуль и под ударами штыков победителей. Каково было во время этой драмы душевное состояние короля? Этой тайны нельзя разгадать. Надеялся ли он одно время на то, что удастся защитить дворец, и Революция будет побеждена? Находясь в ложе скорописца, он присутствовал на заседании Собрания. Конечно, крики, возвещавшие прибытие швейцарцев, радовали его сердце. Возможно также, что при звуках выстрелов из пушек, при треске залпов из ружей, он пожалел о том, что не остался среди своих солдат, чтобы воодушевить их своим присутствием. Шудье, внимательно следивший за ним, утверждает, что пока продолжалась битва, его лицо оставалось бесстрастным, и что он взволновался только, узнав о поражении своих последних защитников. Когда уже было поздно, он передал швейцарцам приказ не стрелять больше. Победивший народ овладел Тюльерийским дворцом и обыскал его снизу доверху; и ежеминутно люди, почерневшие в пороховом дыму или с окровавленными лицами, входили в Собрание, принося бумаги, золотые монеты, драгоценные вещи королевы и восклицали: «Да здравствует нация!»

Это означало победу Революции и отечества. Это означало также и победу революционной Коммуны. Именно она, заняв место законной Коммуны, так сказать, разломала мосты за надвигавшейся Революцией. Нужно было победить или умереть. Она же, подвергнув Петиона домашнему аресту и арестовав Манда, обеспечила свободное проявление народной силы. С утра 10 августа и чуть только дворец был взят приступом, Коммуна предстала пред Собранием не для того, чтобы просить о законном утверждении власти, врученной ей самой Революцией, а, наоборот, чтобы предписывать законы. Гюгенен, явившийся вместе с Леонардом Бурдоном, Троншоном, Берье, Виго и Бюллье, сказал:

«К вашей решетке является новое городское начальство, назначенное народом. Новые опасности отечества вызвали наше назначение; обстоятельства побудили к нему и, благодаря нашему патриотизму, мы сумеем оказаться достойными его. Народ, в течение четырех лет всегда оказывавшийся игрушкою вероломного двора и интриганов и, наконец, уставший, почувствовал, что настало время спасти государство, которому угрожает гибель. Законодатели, остается только помогать народу: мы приходим сюда от его имени, чтобы условиться с вами относительно тех мер, кото-

рые следует принять для общественного спасения. Петион, Манюэль, Дантон продолжают быть нашими сослуживцами; Сантер стоит во главе вооруженной силы.

«Пусть изменники, в свою очередь, погибнут. Это день торжества гражданских добродетелей. Законодатели, пролилась кровь народа; иностранные войска, оставшиеся в наших стенах, лишь благодаря новому преступлению исполнительной власти, стреляли в граждан. Наши несчастные братья оставили вдов и сирот.

«Народ, пославший нас к вам, поручил нам об'явить вам, что он вновь облекает вас своим доверием; но в то же время он поручил нам об'явить вам, что он может признать лишь французский народ, являющийся вашим и нашим верховным повелителем, собравшийся на своих первичных Собраниях, имеющим право судить о тех чрезвычайных мерах, которые необходимость и сопротивление угнетению побудили его принять».

Собрание не протестовало против этой победоносной Коммуны, из'являвшей притязание на то, чтобы вести с ним переговоры, как равная с равным, или даже вновь облечь его властью от имени народа, но лишь для того, чтобы сам народ был созван им.

Собрание поручило именно этой революционной Коммуне передать народу декреты, призывавшие его к спокойствию. И в тот же самый день, выслушав доклады Верньо, Гюадэ, Жана Дебри, оно без прений издало решительные декреты. Первым из них оно приглашало французский народ образовать Национальный Конвент, постановив, что тотчас же будут указаны способ и время его созыва; а в то же время оно об'явило, что «глава исполнительной власти временно отрешается от своих функций, до тех пор, пока Национальный Конвент не выскажется относительно тех мер, которые он сочтет нужным принять для упрочения верховной власти народа и царства свободы и равенства».

Во втором декрете оно заявило, что тогдашние министры не пользуются его доверием и постановило, что министры будут временно назначены Национальным Собранием путем индивидуального выбора; они не могут назначаться из числа членов Собрания.

Наконец, третьим рядом декретов оно постановило, что уже изданные, но не утвержденные декреты и те декреты, которые будут изданы и не могут быть утверждены вследствие отрешения короля от власти, тем не менее должны именоваться законами и иметь силу во всем королевстве.

В сущности, это означало конец монархии. Конечно, речь шла даже не о низложении короля, а только о временном отрешении его от власти. Народ начал роптать, немедленно раздались протесты. Верньо обратился с речью к подателям петиции. Он сказал, что Собрание принимало лишь временные меры именно из уважения к верховной власти народа. Но когда было возвещено о предстоящем в близком будущем созыве Национального Конвента, все опасения исчезли и, вместо всяких упреков, обнаруживался энтузиазм. Народу казалось, что это новое Собрание, обязанное своим существованием его победе, положит конец коварству, лжи, изменам, полумерам, при опасности, угрожающей отечеству, равносильным предательству. Народ предчувствовал и надеялся, что в Национальном Конвенте проявится его собственная сила, могучая и справедливая. Борьба, происходившая утром, чрезвычайно ожесточила сердца. Неожиданные ружейные залпы швейцарцев, и угрозы, содержавшиеся в манифесте герцога Брауншвейгского, вызывали в высшей степени зловещие слухи. По свидетельству Шомета, рассказывали, что имелось в виду подвергать патриотов ужаснейшим мучениям, придуманным тиранами в прежние времена, что если бы король победил, тысячи их были бы казнены на эшафоте вроде того, который был придуман Людовиком XI, и что их дети, которых поместили бы под этим эшафотом, были бы обрызганы кровью. Народ преследовал тех, кого он подозревал в участии в борьбе про-

тив него, в западне, устроенной утром, а Людовик XVI не мог бы даже под конвоем, даже как пленник, проехать через Париж, не подвергаясь опасности в течение всего дня 10 августа.

Коммуна продолжала раздавать патроны в течение целого дня, как будто еще приходилось опасаться ужасного заговора. Но мало-по-малу гнев проходил при мысли о том, что народ, весь народ вскоре станет осуществлять принадлежащую ему верховную власть и изберет великое Собрание, которому предстояло бороться и от которого ждали спасения. Угасающее Законодательное Собрание, повидимому, до некоторой степени разделяло популярность того нового и неизвестного Собрания, созвать которое оно только что обещало Франции.

Хотя это еще и не возвещалось ясно, этот Конвент означал установление Республики, а главное, установление демократии. Ни ценза, ни привилегий, ни несправедливого и буржуазного различия между активными и пассивными гражданами. Выслушав доклад, представленный Жаном Дебри, депутатом от Эна, от имени Комиссии Двенадцати, Собрание без прений и на том же самом заседании 10 августа, вотировало, что все граждане, достигшие двадцатипятилетнего возраста, пользуются избирательным правом.

«Национальное Собрание, желая в тот момент, когда оно торжественно присягнуло свободе и равенству, санкционировать в тот же день применение столь же священного для народа принципа, декретирует, что в будущем, и именно на выборах в будущий Национальный Конвент, всякий французский гражданин, достигший двадцатипятилетнего возраста, имевший законное местожительство в течение года и живущий своим трудом, будет допускаем к подаче голоса в коммунальных собраниях и в первичных собраниях, как всякий другой активный гражданин и без всякого иного различия».

Итак, было введено всеобщее избирательное право и притом не только для выборов в будущий Национальный Конвент, но и для всех проявлений национальной жизни на вечные времена. А с 12 августа Собрание установило избирательное право на еще более демократических основах, понизив с двадцатипятилетнего на 21-летний возраст, требуемый от избирателей. Оно сохранило требование 25-летнего возраста для избираемости, но оно отменило всякое различие между активными и пассивными гражданами как для имеющих право быть избираемыми, так и для избирателей. Оно удержало двухстепенную систему выборов при посредстве первичных Собраний, но скорее в виде совета, чем как обязательную форму; и оно назначило созыв избирательных собраний на 26 августа, а избрание депутатов — на 2 сентября.

10 августа было составлено министерство под именем Временного Исполнительного Совета. По предложению Испара, всегда обнаруживавшего склонность к несколько театральным манифестациям, Собрание, отказавшись от индивидуальных назначений, разом назначило министрами Ролана, Клавьера и Сервана, трех министров жирондистов, уволенных в отставку королем. Однако Жиронда не могла одна воспользоваться результатами движения, в котором она лишь с перерывами принимала слабое участие. Собрание поняло, что могло бы оказывать некоторое влияние на революционный народ и удовлетворить Парижскую Коммуну, лишь призвав к ответственности, сопряженной с властью, революционера. И Дантон был избран министром юстиции 222 голосами из 284 голосовавших. Монж был назначен морским министром, а Лебрен — министром иностранных дел.

Дантон не принимал личного участия в штурме Тюльерийского дворца, но ночью он деятельно участвовал в приготовлениях, будучи готов нести ту ужасную ответственность, которой выдающиеся главы революции подвергались в этот опасный день. Победив вместе с народом, он сразу стал думать о великодушии и о милосердии. Прекрасны были его первые слова в Законодательном Собрании 11 августа:

«События, только что происходившие в Париже, доказали, что не было никакой возможности примириться с угнетателями народа; против французской нации со всех сторон составлялось множество заговоров; народ проявил всю свою энергию; Национальное Собрание помогло ему, и тираны исчезли; но теперь я обязуюсь пред вами погибнуть, чтобы спасти от слишком долго длящегося народного мщения тех же самых людей (швейцарцев), нашедших убежище в вашем Собрании. (Громкие аплодисменты.) Я только что сказал в Парижской Коммуне, что когда начинается деятельность уполномоченных нации, народная месть должна прекратиться. Эх, господа, никто не сомневается в том, что народ сознает ту великую истину, что он не должен запятнать своего торжества! Повидимому, вся Парижская Коммуна проникнута этим чувством; все те, кто слушает нас, разделяют его. Я беру на себя обязательство итти во главе этих людей, которых народ, в своем негодовании, счел нужным осудить, но которых он простит, так как ему уже нечего бояться своих тиранов». (Многократные аплодисменты.)

11 августа Людовик XVI со своим семейством был препровожден в Люксембург, а оттуда через несколько дней в Тампль; он был уже только узником.

Но следовало побудить Францию, несомненно, изумленную и смущенную, признать эту Революцию, которую в Париже нужно было регулировать и предохранять от кровавого безумия репрессалий. Следовало также побудить армии, в которых можно было, вследствие усилий Лафайета и Люкнера, бояться преобладания «конституционного» духа, признать эту Революцию.

Для этого, чтобы побудить Францию одобрить Революцию 10 августа, Собрание прибегло к двум важным средствам. Бумаги, найденные в Тюльери, доказывали измену короля, подкупы насчет цивильного листа. Они еще не обнаружили всего того, что мы знаем теперь; но тем не менее, из них выяснилось, что король действовал заодно с иностранцами.

Собрание обнародовало эти бумаги. Оно приказало своим комиссарам в армиях распространять их в военных лагерях. Якобинские общества всюду комментировали их, и по всей патриотической Франции, выставлявшей не только свою молодежь, но весь свой цвет, раздался громогласный крик негодования против предательской королевской власти.

Но Собрание поняло, что ему следовало непосредственно привлечь на свою сторону сердца крестьян, в самом деле отменив, наконец, феодальный режим. Начав историю Законодательного Собрания с очерка крестьянского движения, я уже отметил, что под давлением деревенской Франции это Собрание должно было серьезнее, чем Учредительное Собрание, коснуться феодального режима. В июне оно безвозмездно отменило случайные поборы, не тяготевшие на держателях ежегодно, но взимавшиеся в случаях продажи, смерти. И сеньеры все еще могли требовать уплаты этих поборов, если они представляли доказательство того, что эти поборы представляли собой вознаграждение за первоначальное пожалование земельных участков. Кроме того, лицо, обязанное платить, было вынуждено, когда производился выкуп, выкупать сразу весьма разнородные, тяготевшие на нем феодальные оброки; когда несколько владельцев прежних ленов или земельных участков были связаны круговою порукою при уплате поборов, один из них не мог производить выкупа без других. Наконец, и это было самое главное, такие ежегодно взимавшиеся поборы как чинш, оброк, натуральный полевой оброк продолжали тяготеть на крестьянах.

Но крестьяне, после 14 июня добившиеся своими волнениями декретов 4 августа 1789 г., поняли, что Революция 10 августа 1792 г. являлась для них прекрасным случаем избавиться от тяготевших на них повинностей. Итак, парижские пролетарии, проливая свою кровь за свободу, освободили крестьян от остатков феодальной крепостной зависимости.

Через несколько дней после взятия Тюльери, крестьяне начали подавать в Собрание петиции. 16 августа земледельцы «бывшей провинции Пуату» являются у решетки Собрания и от имени многих граждан Руйлльского прихода в департаменте Вьенны жалуются на судебные преследования, возбуждаемые с целью добиться взыскания феодальных поборов.

«Они еще являются жертвами остатков феодального режима. Прокурор-синдик Люзиньяна (в департаменте Вьенны) возбудил против них преследование из-за известного побора, являющегося, как он утверждает, земельным оброком, взимаемым натурою, но, на самом деле, представляющего собою лишь подлинную десятину; они требуют, чтобы Собрание избавило их от последствий несправедливого процесса, который повлек бы за собою их разорение».

Собрание почти тотчас же отвечает на призыв крестьян тремя важными декретами. Оно немедленно декретирует, что все судебные преследования из-за прежних феодальных повинностей прекращаются; далее оно немедленно признает, что оно должно, наконец, разрешить проблему во всем ее об'еме и постановляет, что обсуждение вопроса об остатках феодального режима должно быть включено в повестку дня ближайшего заседания.

В тот же самый день 16 августа делегат от сельских коммун Ланского округа, Каньяр, требует «во имя законов свободы и социального равенства» отмены всех тех феодальных поборов, относительно которых не будет доказано первоначальными документами, что они представляют собой вознаграждение за пожалование земельных участков. И немедленно же, как будто не желая терять ни одной минуты, чтобы не дать времени ожесточиться нетерпеливым крестьянам, Собрание с революционной поспешностью декретирует, что «ф е о д а л ь н ы е и с е н ь е р и а л ь н ы е п о в и н н о с т и в с я к о г о р о д а о т м е н я ю т с я б е з в о з н а г р а ж д е н и я, е с л и о н и н е я в л я ю т с я в о з н а г р а ж д е н и е м за первоначальное пожалование земельного участка». И оно поручает своему Феодальному Комитету безотлагательно заняться точною формулировкою условий доказательства.

Итак, подобно чужеядным растениям, находившимся в связи со старинной монархией и усиливавшим оказываемое ею гибельное влияние, феодальные повинности уничтожаются в тот же день, когда пала сама королевская власть.

20 августа, от имени Феодального Комитета, Лемальян представляет проект декрета, еще не вполне радикального, но тем не менее очень важного. Этот декрет относился к тем феодальным поборам, которые продолжали признаваться подлежащими выкупу, вследствие того, что они представляли собой вознаграждение за пожалование земельного участка. И целью декрета являлось облегчение выкупа. Для этого нужно было прежде всего постановить, что различные поборы могли выкупаться порознь, затем, что разные лица, обязанные их уплачивать, могли, если они были до тех пор связаны круговою порукою, производить выкуп отдельно, каждый для своей доли.

Этот декрет был принят без всяких возражений. Статья 1-я гласила:

«Всякому собственнику лена или земельного участка, прежде считавшегося зависимым, чиншевого или недворянского участка, разрешается производить отдельно выкуп как случайных поборов, относительно которых пред'явлением первоначального документа будет доказано, что они являются вознаграждением за пожалование земельного участка, так и чинша и других ежегодных и постоянных поборов, какого бы рода они ни были и под каким бы наименованием они ни взимались, при чем он не обязан одновременно производить выкуп и тех и других. Он также может производить порознь и последовательно выкуп различных случайных повинностей, оправдываемых пред'явлением первоначального документа».

Статья 2-я чрезвычайно понижала размеры выкупной суммы:

«Выкуп случайных поборов будет производиться лишь по расценке, в основу которой положена стоимость необработанной земли, не включая в нее стоимость построек, если в первоначальном документе о пожаловании не упомянуто о том, что земля была обработана, и что постройки существовали в то время, а в таком случае выкуп будет производиться по расценке, в основу которой будет положена стоимость построек и земли в момент пожалования».

Статья 3-я гласила, что момент выкупа определяется единственно желанием того лица, которое становится обязанным производить выкуп.

«Всякий покупатель может немедленно после того, как он купил земельный участок, потребовать от прежнего сеньера, чтобы он пред'явил свой первоначальный документ; если он его пред'явит, то покупатель обязан произвести выкуп случайных поборов согласно предшествующим законам; если же бывший сеньер не пред'явит первоначального документа в течение трех месяцев со дня требования, то покупатель будет навсегда освобожден от уплаты и от выкупа всяких поборов, чинша и пошлин с продажи наследств и иных поборов, под каким бы наименованием они ни взимались, и бывший сеньер неотменно лишается права когда бы то ни было впоследствии доказывать, что эти поборы ему причитаются»...

И статья 4-я добавляет:

«Всякий собственник земельного участка может пред'явить точно такое же требование к бывшему сеньеру, если первоначальный документ оказывается в порядке, то он обязан производить выкуп лишь в случае продажи земельного участка».

Эти статьи достаточно характеризуют, в каком духе был составлен проект; он всеми способами облегчал выкуп тех феодальных поборов, которые, будучи оправдываемы первоначальным документом, не отменялись безвозмездно.

Точно так же проект отменял круговую поруку лиц, обязанных производить платежи:

«Всякая круговая порука при платеже чиншей, оброков, податей, вносимых натурою, и поборов, какого бы то ни было рода и под каким бы наименованием они не взимались, отменяется безвозмездно; следовательно, всякое лицо, обязанное производить платежи, вольно вносить свою долю оброка, при чем его нельзя заставлять платить долю, причитающуюся с других должников».

Но вот в окончательном виде текст декрета, представленного Майлем от имени Феодального Комитета 25 августа. Он не ограничивается облегчением выкупа. Он постановляет, что все, безусловно все феодальные поборы как чиншевые и ежегодные, так и случайные, о т м е н я ю т с я б е з в о з м е з д н о, если не будет доказано первоначальным документом, что они являются вознаграждением за пожалование земельного участка.

Законы, изданные Учредительным Собранием, отменили безвозмездно лишь поборы, представлявшие собой выкуп личной крепостной зависимости. Что же касается тех, гораздо более многочисленных поборов, которые представляли поземельное или смешанное полупоземельное, полуличное прикрепление, то они должны были подлежать выкупу. Законодательное Собрание решительно устраняет эти остатки крепостной зависимости и безвозмездно отменяет все повинности.

«Все следствия, которые могли вытекать из правила: н е т т а к о й з е м л и, к о т о р а я н е п р и н а д л е ж а л а б ы с е н ь е р у, из правила рабства, из статутов, постановлений обычного права и тех правил, которых держались при феодальной системе, теряют силу.

«Всякая земельная собственность признается свободною от всяких повинностей и поборов как феодальных, так и чиншевых, если те, кто требует их взимания, не докажут противного в нижеизложенной форме.

«Все акты об освобождении от крепостного состояния, реального или смешанного, и все другие равносильные им акты, отменяются и признаются недействи-

тельными. Все поборы, десятины или какие бы то ни было оброки, вносимые натурою, установленные вышеупомянутыми актами. как представляющие крепостное состояние, отменяются безвозмездно.

«Все наследственные участки, уступленные в качестве награждения за освобождение от крепостного состояния общинами или отдельными лицами и еще находящиеся во владении бывших сеньеров, будут возвращены тем, кто уступил их, и нельзя будет требовать уплаты денежных сумм, обещанных за это и еще не уплоченных бывшим сеньерам.

«Постановления предшествующей статьи будут равным образом иметь силу и в прежних провинциях Буллонэ, Ниверпэ и Бретани для всех актов, относящихся к прежней ленной зависимости и требовавших платежа ежегодного оброка деньгами, зерном и домашнею птицею всякого рода».

Затем Феодальный Комитет перечисляет все изумительно разнообразные провинциальные и местные феодальные повинности, отяготительные или унизительные; он, так сказать, приглашает их представить пред торжествующей Революцией и, называя все эти повинности их различными и странными именами для того, чтобы ухо и сердце каждого крестьянина насторожились, он вдруг уничтожает их. Все они отменяются безвозмездно. Взгляните на эту живописную процессию и. хотя у меня нехватает времени и места для того, чтобы указать точный смысл каждого из этих слов, вспомните, что каждое из них представляет для какой-нибудь группы крестьян какую-либо повинность или какое-либо притеснение, и скажите, не нашло ли Законодательное Собрание, решившееся, наконец, под влиянием потрясения 10 августа, покончить со старым миром, гениального средства побудить французского крестьянина одобрить все более и более смелые революционные меры. Падение короля и падение феодальных повинностей, именно эту всесильную ассоциацию идей создавало Законодательное Собрание.

«Все феодальные или чиншевые повинности, приносящие выгоду, всякие ежегодные сеньериальные поборы, вносимые деньгами, зерном или живностью, воском, с'естными припасами или плодами земными, взимаемые под наименованием чинша, оброков, прибавки к чиншу, сеньериальных и долгосрочных рент, полевых оброков, феодальных десятин, поскольку они имеют характер феодальных и чиншевых оброков...»

«Все те из поборов, сохраненных (различными) статьями декрета от 15 марта 1790 года и известных под названием теплового побора, побора за право зажигать огонь, подымного сбора, побора с мещан, побора, взыскиваемого при выдаче отпускных билетов, побора, взимаемого за разрешение держать собак, побора, взимаемого за разрешение устраивать будки для собак, побора, взимаемого за дозор и охрану, побора, взимаемого при выдаче разрешений заниматься каким-нибудь ремеслом, сбора на ремонт оград и укреплений вокруг местечек и замков, побора, взимаемого за пропуск стад по дорогам, привилегии по продаже вина, побора с плотин, пошлин с вод, поборов за охранительную стражу, поборов за клеймение мер, налогов на хлеб в зерне, побора с домов, сбора с товаров, привозимых на ярмарки или рынка, побора, взимаемого в пользу сеньера с каждого сетье хлеба, продававшегося на рынке, побора за мерянье локтем, пошлин за выставку товаров, пошлин за взвешивание, пошлин за пользование весами и мерами помещичьих монополий и барщинных повинностей;

«Те из поборов, сохраненных под наименованиями сборов, взимаемых за разрешение пасти скот, за право пользования пастбищами, за разрешение пускать скот на подножный корм;

«Поборов за разрешение просить милостыню, за разрешение собирать пожертвования, права сеньера на двадцатую долю урожая, не упомянутых в предшествовавших декретах;

«И вообще все сеньриальные поборы как феодальные, так и чиншевые, сохраненные или признанные прежними законами подлежащими выкупу, каковы бы ни были их род и их наименование, даже и те, которые могли бы быть пропущены в прежде изданных законах или в нынешнем декрете, равно как и всякие уплаты, пенсии и какие бы то ни было взносы натурою, их представляющие, отменяются безвозмездно, если не будет доказано, что они взимаются на основании первоначального пожалования земельных участков, при чем это основание может быть установлено лишь в том случае, если окажется, что оно ясно упомянуто в первоначальном акте, удостоверяющем пожалование земельного участка, уступку его во владение на началах чинша или чиншевого договора, при чем этот акт должен быть пред'явлен».

Таким образом грохот народного движения 10 августа отозвался в глубине отдаленнейших долин освободительным словом. Защищайте, крестьяне, Революцию и отечество, чтобы защитить самих себя. В тот момент, когда Собрание обнародовало этот великий декрет, граждане начинали советоваться друг с другом, расспрашивать друг друга относительно предстоящего в ближайшем будущем созыва первичных Собраний. Итак, существовали повсюду разбросанные центры, откуда, как это, непреодолимо распространялась весть об освободительных законах.

Повидимому, на следующий день после 10 августа и как будто для того, чтобы сделать невозможною всякую попытку произвести контр-революцию, Законодательное Собрание пожелало сразу разрешить все вопросы, интересовавшие сельскую Францию. Я только что отметил его важное усилие, направленное против феодальных повинностей, против «этих обломков крепостной зависимости, заглушающих и пожирающих имения», по выражению вступления к декрету, предложенному Майлем. 10 августа Франсуа де Невшато вдруг возобновил вопрос об общинных имуществах и вопрос об имуществах эмигрантов. Прежде всего, он сказал: «когда Законодательное Собрание милостиво или, скорее, справедливо продолжило дело отмены феодального режима, начатое Учредительным Собранием, оно не сняло с народа всего тяготевшего на нем бремени. Существуют общинные имущества, которые не принадлежат никому, потому что они принадлежат всем: богатые присваивают их себе. Пора прекратить эту несправедливость и разделить эти имущества между беднейшими людьми. Поэтому я предлагаю, чтобы с нынешнего года, немедленно после уборки хлебов, все общинные земли были разделены между гражданами. Граждане получат возможность пользоваться теми участками, которые достанутся каждому из них, как вполне принадлежащею им собственностью. Для того, чтобы установить, каким образом должен быть произведен раздел, Комитет Земледелия обязан немедленно представить проект декрета».

Я вовсе не вхожу в обсуждение вопроса о том, было ли решение, предложенное Невшато, наилучшим из тех, которые можно было бы тогда придумать, и не лучше ли было бы уже с этой эпохи организовать коллективное, соответствующее требованиям науки и уравнительное пользование общинными землями. Но на самом деле, при тогдашнем положении вещей, этими землями пользовались, главным образом, богатые, и немедленное распределение земель между беднейшими жителями могло еще усилить привязанность Франции к Революции.

Собрание сразу приняло декрет, соответствовавший предложениям Франсуа де-Невшато.

Затем, он тотчас же внес другое решительное предложение. Он сказал: «В распродаже имуществ эмигрантов заключается средство привязать сельских жителей к Революции. Я предлагаю, чтобы эти имения эмигрантов отныне же распродавались мелкими участками по две, по

три, по четыре десятины, чтобы бедные могли ими воспользоваться, при чем с покупателями заключались бы договоры, обязующие их вносить ренту».

Таким образом имения эмигрантов, предоставленные в распоряжение нации, должны были немедленно распродаваться, будучи раздробляемы и распределяемы между революционной буржуазией и между крестьянами. Слова Франсуа де-Невшато вызвали восторженные аплодисменты Собрания, и оно тотчас же приняло без прений следующий декрет, изданный, если можно так выразиться, благодаря грому пушек, раздававшемуся 10 августа:

«Национальное Собрание, по предложению одного из своих членов, признав это неотложным, декретирует также, имея в виду увеличить число мелких собственников, во-первых, что в нынешнем году, немедленно после уборки хлебов, земли, виноградники и луга, принадлежавшие эмигрантам, будут разделены на мелкие участки по две, по три или, самое большее, по четыре десятины, чтобы быть таким образом распроданными с публичного торга и навсегда отчужденными по договорам, обязующим покупателей вносить денежную ренту, которая во всякое время может быть выкуплена; во-вторых, что Национальное Собрание отменяет по отношению к этим имениям свой декрет, предписывающий немедленную продажу имуществ эмигрантов, но что этот декрет остается в силе по отношению к движимому имуществу и к замкам, постройкам и лесам, которые не могут быть разделены в интересах земледелия; в-третьих, что тем, кто предложит купить на наличные деньги земли, виноградники и луга, тем не менее будет разрешено надбавить цену на любой участок, при чем все это будет происходить по плану, который немедленно будет представлен соединенными Комитетами Земледелия и Государственных Имуществ».

Таким образом, не исключая возможности немедленных платежей, в которых нуждалась Революция, не запрещая буржуазии или богатым крестьянам при таких немедленных платежах надбавлять цены, по сравнению с теми суммами, которые должен был платить бедный крестьянин, покупавший участок земли по договору, обязывавшему его вносить ренту, Собрание в данный момент принимает решение создать бесчисленное множество мелких собственников путем обязательного раздробления имений на небольшие участки и замены уплаты капитала уплатою ренты.

В вопросе об общинных имуществах Собрание не имело успеха. Франсуа де-Невшато, докладчик, сообщил ему, что, когда Комитет пожелал установить раздел имуществ, он натолкнулся на величайшие затруднения, и что он предпочел предоставить коммунам свободу действия и не представлять проекта относительно этого. Камбон энергически возражал против этого отрицательного заключения. Он воскликнул: «Следует предписать обязательный равномерный раздел общинных земель между несчастными гражданами, не владеющими собственностью». Собрание издало декрет, соответствовавший мысли Камбона, но это был лишь принципиальный декрет. Камбон потребовал передачи вопроса на рассмотрение Комитета, которому он изложил бы свои взгляды относительно того, каким образом должен быть произведен раздел.

И он прибавил:

«Но если хотят сегодня же обсудить этот вопрос, то я предлагаю, чтобы раздел был произведен по числу индивидуумов, без разбора. Если вы примете мое предложение, то отец семейства, у которого восемь детей, получит девять участков, а холостяк—только один. Мне кажется, что этот способ раздела точнейшим образом соответствует требованиям справедливости».

Другой депутат предлагает, чтобы раздел производился обратно пропорционально богатству граждан, т.-е. чтобы наиболее богатый получил наименьшую

долю, а наиболее бедный — наибольшую. Этот вопрос был передан на рассмотрение Комитета. Законодательному Собранию, деятельность которого приближалась к концу, не суждено было разрешить его. Этот вопрос будет разрешен Конвентом, но с этих пор у крестьян явилась новая надежда, осуществимая в близком будущем. Вопрос об общинных имуществах вызвал новое предложение. Недостаточно было обеспечить бедным, неимущим раздачу общинных имуществ. Нужно было также возвратить коммунам все имущества, захваченные сеньерами в течение веков.

Это составило предмет очень важного и очень пространного предложения, внесенного в Собрание Майлем от имени Феодального Комитета 25 августа. Оно уничтожало все последствия указа 1669 г., обязывало сеньера возвратить коммунам все невозделанные земли и пустоши, если им не пред'являлся точный документ, удостоверяющий, что сеньеру принадлежит право собственности на эти земли. Предложенный закон отменял все судебные решения, в течение веков противоречившие праву и интересам коммун и крестьян. И этот закон уже не мог быть вотирован Законодательным Собранием, завещавшим его Конвенту. Но путь был проложен, и крестьяне знали, что, держась революционного направления, они, так сказать, на каждом шагу обретут на своем пути новые благодеяния.

Боясь, что многие эмигранты, во избежание захвата принадлежащих им имуществ нацией, обратят свою земельную собственность в движимые ценности и векселя на пред'явителя, Собрание издало 23 августа декрет, обязывавший всех должников эмигрантов указать их долги. Кроме того, всем нотариусам, поверенным, регистраторам, лицам, принимающим деньги на сохранение, *управителям, лицам, стоящим во главе компаний акционеров, и директорам этих компаний* и всем другим лицам, занимающим общественные должности, и казначеям предписывается в течение недели со дня обнародования этого декрета подать в муниципалитет, в пределах которого они живут, перечисление ценностей, денег, акций, счетов и иных процентных бумаг на пред'явителя, документов, удостоверяющих право собственности, договоров об уплате рент, облигаций, платежи по которым должны производиться в определенные сроки, билетов и вообще всех находящихся в их руках предметов, принадлежащих эмигрантам. Эти заявления должны были подтверждаться присягой.

25 августа Собрание приняло энергический декрет, распространявший действие закона об имуществах эмигрантов на колонии.

«На имущества, явно принадлежащие эмигрантам в колониях, составляющих часть французского государства, будет наложен арест, они будут распроданы в пользу казны, при чем прибыль, полученная при этой продаже, послужит возмещением убытков нации. Для облегчения распродажи, администрация может приступить к отдаче имуществ с торгов, при чем платежи должны производиться или аннюитетами, выплачиваемыми в продолжение двенадцати лет, или выкупными рентами. Немедленно после обнародования этого декрета в каждой из колоний прокурор каждой коммуны добьется, подав об этом прошение, чтобы всякому управляющему имениями, в которых их собственник не живет, или относительно которых упомянутый собственник не может доказать, что там находится его местожительство, было воспрещено производить в пользу этого собственника платежи каких бы то ни было денежных сумм; он принудит его судебным порядком вносить доход с жилища, вверенного его заботам, в кассу колонии... кроме необходимых для поддержания этого жилища в исправном виде сумм, размеры которых будут определяться муниципалитетами по требованию управителя».

Это был сильнейший удар, нанесенный той колониальной аристократии, которая столь пламенно стремилась вызвать контр-революцию во Франции.

Наконец, 2 сентября Законодательное Собрание приняло окончательный текст декрета, постановления которого регулировали во всех подробностях распродажу имуществ эмигрантов, согласно принципам, установленным 10 августа. В этом декрете указывались меры для уплаты кредиторам эмигрантов; но, в случае недостаточности денежных сумм, обеспечением долговых обязательств служило лишь имущество должника, а не вся выручка от продажи всех имуществ эмигрантов.

Статья 10 гласила:

«Имения будут продаваться или будут заключаться договоры об уплате рент».

Статья 11: «Для того, чтобы увеличить число собственников, земли, луга и виноградники будут или при продаже или при заключении договоров об уплате ренты как можно выгоднее разделяться на мелкие участки. Что же касается лесов, а также прежних замков, домов, заводов и других предметов, которые не могут быть разделены в интересах земледелия, то они будут продаваться или сдаваться в аренду, целиком или по частям, смотря по тому, что администрация сочтет более выгодным».

Следует заметить, что максимальный размер участков в четыре десятины, установленный в августе, не сохранен, так что таким образом часто легко будет не производить «раздела» продаваемых имений. В данном случае финансовые и буржуазные расчеты сдерживают стремления демократии, выражавшиеся тотчас после 10 августа. Тем не менее, в законе остается выраженная тенденция к раздроблению имений.

«Статья 12: В случае конкуренции на публичных торгах между лицом, предлагающим заключить договор об уплате рент, и лицом, предлагающим купить на наличные деньги, при равенстве надбавок между суммою, предлагаемою в случае продажи, и тем капиталом, соответствующую которому выкупную ренту предложено уплачивать, предпочтение будет отдаваться покупателю, предлагающему заплатить наличными деньгами».

И в данном случае закон опять-таки оказывает предпочтение состоятельным покупателям, тем, кто может немедленно заплатить.

«Статья 13: Если лицо, которому присужден с торгов земельный участок, по заключении с ним договора об уплате им ежегодной ренты, не внесет в течение двух лет земельной ренты, условленной при отдаче с торгов, то он будет законным образом лишен собственности, в силу простого уведомления его об этом, при чем ни под каким предлогом не потребуется судебного приговора».

Наконец, для того, чтобы покупатели распродаваемых имуществ могли сразу свободно располагать ими, статья 16 предусматривает, что «лицо, которому на каком бы то ни было основании присуждено с торгов имение, может удалить фермера, вознаградив его за убытки, при чем, однако, относительно этого вознаграждения требуется, чтобы договор был заключен до 9 февраля прошлого года».

Впрочем, это являлось неизбежным последствием раздробления имений на мелкие участки.

Несмотря на те ограничения, которым подверглись первоначальные демократические тенденции закона в окончательном проекте, это об'явление о продаже имуществ эмигрантов привлекло на сторону Революции бесчисленное множество людей, возбудив их страсти и интересы. Совокупностью мер, принятых или возвещенных относительно феодальных повинностей, относительно имуществ эмигрантов, Законодательное Собрание вызвало в августе и в сентябре непреодолимое движение во всей сельской Франции.

В то же время Собрание энергическими и искусными мерами обеспечивало себе одобрение армии. Оно посылало к каждой из них комиссаров, которым было поручено об'яснять события и добиться, чтобы все генералы и солдаты повино-

вались державной нации. На своем пути комиссары останавливались в важнейших городах, выясняли общественное настроение, рассказывали о том, что произошло 10 августа. Почти повсюду их хорошо принимали. В Реймсе они увидели, что в городе устроена иллюминация, в знак радости были зажжены огни в честь федератов, победивших в Париже. В Лионе также обнаруживался сильный национальный порыв. В рейнской армии чувства генералов были весьма неодинаковы. Келлерман и Бирон были преданы Революции. Брольи, Каффарелли держали себя выжидательно. Карно и его товарищи отрешили их от должности. В северной армии, куда незадолго до этого отправился Дюмурье, настроение умов оказалось хорошим, и сам Дюмурье написал Собранию письмо с уверениями в полной преданности.

Но в центральной армии, которою командовал Лафайет, возникли кратковременные серьезные затруднения. Лафайет уверил войска в том, что 10 августа произошло лишь внезапное нападение со стороны марсельских бунтовщиков, что муниципалитет приказал систематически убивать всех швейцарцев, всех хороших граждан, что существовало соглашение между парижскими бунтовщиками и иностранными державами, вызывавшими при их посредстве дезорганизацию во Франции, что мятежники намеревались заменить на троне Людовика XVI парижским мэром, «королем Петионом». Неужели они готовы были проливать свою кровь, чтобы защищать корону короля Петиона? Кроме того, Лафайет уверил арденскую Директорию и седанских администраторов в том, что три комиссары Собрания— Антонелль, Перальди, Керсен—могли быть лишь орудиями мятежников и сами могли оказаться только мятежниками. По их прибытии они были немедленно арестованы и посажены в замок.

Но что мог сделать Лафайет? Ему пришлось бы двинуться на Париж, увлекая за собой свою армию. Но в больших городах, как, например, в Реймсе, уже было принято решение загородить ему дорогу. К тому же, его солдаты, смущенные, встревоженные, испытывали в том военном лагере, где их изолировали, такое впечатление, что им не говорили всей истины, и они встречали самого Лафайета, который произвел смотр, чтобы увериться в их повиновении, еще робкими возгласами: «Да здравствует Национальное Собрание! Да здравствует Нация!» «Как,—говорили волонтеры,—мы находимся у самой границы, и вместо того, чтобы сражаться против врага, для борьбы с которым мы явились из наших деревушек, мы двинемся против Парижа!»

Собрание послало трех новых комиссаров,—Кине, Иснара, Бодэна,—чтобы передать северной армии и администраторам свое требование. Оно декретировало, что они отвечают головой за жизнь комиссаров. Оно декретировало, что против Лафайета возбуждено будет обвинение, и приказало его армии перестать повиноваться ему. Лафайет в унынии перешел границу в ночь с 19 на 20 августа. К счастью, для его славы, враг еще считал его деятелем Революции. Он был арестован и на долгие годы посажен в австрийскую тюрьму. Дюмурье был назначен командующим центральной армией и он тотчас же оживил ее своею самонадеянностью, своею бодрою деятельностью. Солдаты говорили: «Наконец, мы двинемся!»

Таким образом переворот, совершившийся 10 августа, был вскоре признан и даже одобрен. Конституция 1791 года отжила свой век; должна была родиться Республика. Какой длинный путь был пройден в течение трех лет! В 1789 году все депутаты, все члены Учредительного Собрания являются роялистами. Все они хотят согласить идеальное и вечное право человека, верховное право нации с историческим правом монархии.

Среди них встречаются умеренные, вскоре испугавшиеся при мысли о том, что монархия слишком потрясена. На правой стороне этой группы оказывается

Малуэ; на левой стороне — Лафайет. Встречаются и такие, которых можно было бы назвать радикалами-конституционалистами, которые, чтобы вполне уничтожить дворянские привилегии и окончательно упрочить власть революционной буржуазии, повидимому, в течение краткого времени вполне доверяются страстям народа. Дразнят королевскую власть и хотят, как выражаются англичане, как можно более ограничить ее прерогативу. Эта группа, к которой принадлежали деятели от Барнава до Дюпора, колеблет монархическую власть, но она не хочет искоренить ее. Она кокетничает с демократией, и Дюпор предлагает даже всеобщее избирательное право, но, в общем, вся группа всего более заботится об упрочении власти буржуазии. Она обращается к народу лишь постольку, поскольку это оказывается необходимым для того, чтобы запугать и ограничить монархическую власть: она желает сохранить монархическую власть лишь постольку, поскольку это оказывается необходимым для того, чтобы защитить начинающееся правление просвещенной буржуазии от «анархических» элементов.

Дальше этой группы идет партия демократов с Робеспьером. Они не прибегают к ухищрениям, чтобы, если можно так выразиться, дозировать, что́ принадлежит королевской власти и что́ нации. Они имеют в виду нацию. Они хотят обеспечить ее полноправность: они хотят вооружить всех граждан, предоставить всем гражданам право голосовать; и они хотят, чтобы никакое veto, ни запретительное, ни только приостанавливающее, не ограничивало верховной власти народа, представителями которого являются его депутаты.

Что касается короля, то он сохранит всю власть, совместимую с полным осуществлением демократического права: королевская власть явится хранительницею, исполнительницею национальной воли, и все же сохраняющийся вес ее исторической привилегии лишь предотвратит захват центральной власти опрометчивыми партиями или популярными узурпаторами.

Одно время казалось, что гений Мирабо, старавшегося согласить полноту королевской власти и полноту народных прав, парил выше партий. Он надеялся, в своем всеоб'емлющем парении, так сказать, охватить весь кругозор и об'единить его противоположные крайности. Одинокий орел, паривший так высоко, стремившийся со свойственными ему честолюбием и слабостями к солнцу и к славе, пал в один день, пораженный смертью и отяжелев от своей тайной испорченности. И парадокс гения перестал расстраивать нормальные комбинации.

Но все, от Малуэ до Робеспьера, были монархистами от 1789 до 1791 года. И даже во вторую половину 1791 года в Учредительном Собрании обнаружилось как бы усиление монархического чувства благодаря тому, что те, кого я назвал радикальными конституционалистами, стали склоняться к более умеренному направлению. В это время, от марта до октября 1791 года, Барнав и его друзья представляли собой критическую силу Революции и имели решающее значение.

Если бы, предупрежденные упорным сопротивлением двора революционному делу и опасаясь тайных происков короля за границею, они поняли непрочность Конституции 1791 года и если бы они приблизились к демократической партии, то королевская власть, может быть, была-бы уничтожена после бегства в Варенн. Но Барнав и его друзья, далеко не стремившиеся к демократическому идеалу, сначала остановились, а затем пошли назад.

Не тревожила ли зарождавшаяся популярность Робеспьера этих тщеславных и легкомысленных людей? Не внушила ли Барнаву смерть Мирабо, единственным соперником которого на трибуне он одно время являлся, мысли о том, чтобы заменить его и играть роль регулятора Революции, оставшуюся вакантной после смерти великого трибуна? Или интересы влиятельных колонистов, которые он поддерживал, побудили его держаться консервативной политики, клонившейся к торжеству буржуазной олигархии? [illegible]

ционное движение, которое, с точки зрения социальной философии Барнава, должно было заменить господство земельной собственности господством движимой собственности, достигло своего завершения? Со второй половины 1791 г. Барнав становится сторонником сопротивления; его друзья, те, кого я назвал радикальными конституционалистами, сближаются с друзьями Лафайета, с умеренными; а после бегства в Варенн Барнав заботится только о спасении короля и королевской власти.

Таким образом в силу странного исторического парадокса королевская власть, повидимому, оказывает более значительное влияние на революционные партии по мере того, как сама она делает ошибку за ошибкой и совершает ряд преступлений против Революции.

Законодательное Собрание начало действовать среди этих затруднений и среди этой лжи: неудивительно, что оно оказалось нерешительным и слабым. Говорили, что тот декрет, которым Учредительное Собрание постановило, что его члены не могут быть избираемы, является причиною колебаний и неловкостей Законодательного Собрания. Это неверно. Конечно, совершенно новому Собранию недоставало, если можно так выразиться, профессионального опыта, но у него не было недостатка в политической опытности. Уже три года Революция была чудесной воспитательницей. К тому же Собрание являлось не единственным центром деятельности, и люди, не принадлежавшие к числу членов Законодательного Собрания, могли извне оказывать влияние на ход событий.

Робеспьер руководил, благодаря якобинцам, частью общественного мнения, как если бы он был депутатом. И Барнав, Ламеты, Дюпор интриговали при дворе, решались на опасные дипломатические комбинации и руководили тайною политикою фельянов, как если бы они были в Законодательном Собрании явными вождями своей партии. Нет, нерешительность Законодательного Собрания, его непоследовательность обусловливаются тем, что классы, руководившие Революцией, еще оставались монархическими, а монарх упорно изменял Революции. Историческая функция Законодательного Собрания заключалась в том, чтобы положить конец этому постыдному и гибельному противоречию. Выполнить эту задачу было трудно, так как измена короля оставалась тайною: он делал вид, что соблюдает Конституцию, хотя и парализовал ее, а его тайные переговоры с иностранцами прикрывались постоянною ложью его патриотических заявлений.

Я был очень строг к тем, кто, в своем нетерпении, со своим тщеславием не нашел для обнаружения королевской измены другого средства, кроме внешней войны. Я не жалею об этом, потому что не доказано, что благоразумная, непоколебимая и терпеливая политика не могла бы заставить короля раскрыть свои замыслы, при чем не существовало бы ужасной опасности, возникшей благодаря войне.

Правда, иностранные деспоты, конечно, рано или поздно заключили бы союз против Революции, светлый пример который угрожал бы тирании повсюду. Но было в высшей степени важно не вызывать этой коалиции, не побуждать к ней. Кто знает, не держалась ли бы Англия в 1793 г. совершенно иного образа действий без неблагоразумных поступков Жиронды в 1792 году? Но следует поспешить сказать, что нетерпение жирондистов, равно как и та иллюзия, в которую они впали, об'ясняются и оправдываются многими причинами. Чувствовать тайную измену короля, мало-по-малу, подобно яду, проникавшую в кровеносные сосуды страны, и не иметь возможности ни изобличить ее, ни устранить ее, ни наказать за нее, было нестерпимое мучение.

Подобно тому, как лаборант, изготовляющий анатомические препараты, впрыскивает разные вещества в организм, скрытые линии которого он хочет обнаружить, или подобно тому, как химик исследует, пользуясь реактивами, нейз-

Революция обнаружила тайный яд королевских измен. Бриссо не боялся сказать и повторить это еще раз 20 сентября 1792 г.; когда он как бы представит общий обзор деятельности Законодательного Собрания, он скажет с замечательной энергией:

«*Чтобы убедить всех французов в вероломстве двора, нужно было подвергнуть его тяжкому испытанию, и таким испытанием явилась война против австрийского дома; Францию спасли, как мы сказали, лишь привив ей измену.* Без войны ни Лафайет, ни Людовик не были бы вполне изобличены; без войны не совершился бы переворот 10 августа; без войны Франция не стала бы республикою; сомнительно даже, чтобы она стала республикою через двадцать лет».

Это была ужасная прививка; этот опыт был ужасен, и люди никогда не решатся притти к окончательному решению относительно него. Жиронда отчасти ошиблась относительно настроения народов; она считала его более благоприятным для французской Революции, чем оказалось на самом деле: но как естественна была эта ошибка! Как! Франция провозглашает полную свободу совести и всех умов! Она возвещает, что никого нельзя преследовать за его верования; она делает весь мир доступным всякой любознательности, всякому дерзновению ума! И она не встретит повсюду восторженной симпатии тех, чью совесть угнетали, тех, чей дух был наполовину порабощен? Как! Революция провозглашает Права Человека; она указывает всем людям на присущее им достоинство; она напоминает им, что это достоинство неот'емлемо, что это право неот'емлемо, что ряд веков порабощения не мог уничтожить этого права, и что миллионы людей, крепостные дворян, рабы королей могут пользоваться своею высшею свободою, словно они никогда не отрекались от нее! И порабощенные не отзовутся отовсюду на ее призыв? Как! Революция сокрушила старую феодальную систему; она уничтожила десятину, уничтожила барщину, уничтожила крепостную зависимость, уничтожила феодальные повинности,—и бельгийские, голландские, немецкие, итальянские крестьяне, изнемогающие под гнетом крепостной зависимости, барщины, бесчисленных феодальных повинностей, не восстанут по первому призыву Революции? Как! промышленная буржуазия, занимающаяся или руководящая производством, впервые призвана к контролю над общественными делами; Революция сразу предоставляет ей гораздо более значительное, гораздо более решительное влияние, чем то, которым пользуется английская буржуазия, все еще столь ограничиваемая королевскою прерогативою и могуществом ландлордов, и буржуазия не станет всюду приветствовать Революцию? Таким пылким надеждам предавалась Жиронда.

Жирондисты недостаточно принимали в расчет силу сопротивления предрассудков и обычаев, раздражительность тщеславных наций. Но, несмотря ни на что, после многих отсрочек и испытаний, их надежда оправдалась. Французская Революция, наконец, стала европейской Революцией; их мысль не извращала хода событий, она лишь преувеличивала его быстроту. И, может быть, эта примесь иллюзий была необходима для великой Франции, великодушной, отважной и одинокой.

По крайней мере, несмотря на свои ошибки, жирондисты сумели в этот период вызвать в стране воинственный энтузиазм, уменьшавший опасность. А против королевской власти их тактика имела решающее значение. Как только выяснилось, что дело идет о войне против Европы, выяснилась также и королевская измена. Тогда народное восстание должно было все преодолеть. Последние колебания Жиронды не должны мешать нам признать, что именно она вызвала события. И через год после монархического и буржуазного террора, начавшегося после возвращения короля из Варенна, народ сверг королевскую власть 10 августа

События совершались с такою быстротою, и удар, нанесенный 10 августа, оказался настолько сокрушительным, что современникам показалось, что в этот день была совершена новая Революция, или, по крайней мере, подлинная Революция. Фельянам, Барнаву это кажется новой Революцией, уничтожающей то, что было сделано прежней Революцией. Падение Конституции кажется ему прискорбным событием, имеющим, однако, такое же революционное значение, как падение старого режима.

Демократам и самим жирондистам кажется, что, наконец, настал яркий день Революции после бледной, неясной зари.

«В промежуток времени, прошедший после Революции 1789 года, — говорит газета Бриссо, — уже не существовало старого режима, но еще не было и свободы; он походил на тот момент дня, который наступает по окончании ночи и предшествует восходу солнца».

10 августа воссиял первый луч Республики, наконец, показавшийся на краю горизонта.

Величие Законодательного Собрания, несмотря на его нерешительность, опрометчивость или слабость, заключается в том, что оно наполовину подготовило и вполне признало это славное окончание опасного и мрачного кризиса. В общем, именно оно проложило путь, ведущий от Марсова поля, где в июле 1791 года, во имя короля, расстреливали народ в Тюльери, где 10 августа народ сокрушил королевскую власть.

Бриссо, с самодовольством, к которому примешивалась грусть, вкратце изложил то, что было сделано тем Собранием, в котором он и его друзья играли столь важную роль и, подобно всем деятелям, испытали много радостей и много огорчений.

«Таким образом оканчивается деятельность этого, просуществовавшего один год, бурного Законодательного Собрания, при котором общественный дух оказал столь быстрые успехи, и французская нация гигантскими шагами приблизилась к республике; о нем будут судить различно, соответственно различию страстей, интересов и мнений. Роялисты будут видеть в нем собрание постоянных врагов этого кумира, которые с первого заседания до того момента, когда оно разошлось, тайно подкапывались под трон, к которому они, повидимому, относились с почтением, требуемым добросовестным соблюдением Конституции. Анархисты будут утверждать, что это Собрание состояло из подкупленных или трусливых людей, губивших народ ради двора и свободу ради Конституции. Чистые, но непросвещенные патриоты, не принимающие в расчет ни обстоятельств, ни характеров, будут считать его нерешительным и беспринципным Собранием то нападавшим на двор, то рабски ладившим с ним, потрясшим Конституцию и желавшим поддержать ее, способствовавшим развитию духа общественности и задерживавшим его. Но патриот-философ, истинный республиканец, оценивающий усилия соответственно обстоятельствам, судящий о действиях, принимая в расчет средства, сравнит то, что Национальное Собрание сделало, с тем, что оно могло сделать, и, не извиняя его ошибок, не скрывая его заблуждений, он скажет, что оно оказало большие услуги отечеству, так как если для него понадобилась вторая революция, чтобы ниспровергнуть двор, составлявший заговоры, и м е н н о о н о в ы з в а л о, п о д д е р ж а л о и п р о и з в е л о э т у р е в о л ю ц и ю».

И, охарактеризовав политическую деятельность Законодательного Собрания, Бриссо резюмирует его социальную деятельность:

«Впрочем, когда потомство будет рассматривать действия этого второго Собрания, оно не без признательности увидит, что оно ниспровергло неконституционную церковь, воздвигнутую на развалинах национального культа, что оно установило развод, что оно уничтожило ненавистное различие, существовавшее между белым и его черным или смуглым согражданином, что оно приказало распродать

имения эмигрантов небольшими участками и произвести поголовный раздел общинных лесов; что оно уничтожило аристократическую преграду, установленную между французами и французами званием активного гражданина; что оно поклялось ненавидеть королей и королевскую власть и бороться против них, что оно мужественно об'явило войну против австрийского дома, являющегося жестоким врагом свободы Европы и бичом человеческого рода, и твердо выдерживало эту войну; наконец, что, подвергаясь нападениям, с одной стороны, деспотизма, желавшего возродиться, а с другой стороны, анархии, желавшей наследовать ему, оно вернуло нации вверенную ему национальную свободу без ущерба для этой свободы и даже значительно расширив ее».

В самом деле, благодаря Законодательному Собранию, демократия избавилась от тех бесчисленных, грубых или хитрых стеснений, которыми ее связывала Конституция 1791 года, а народ, движения которого она не всегда решительно поддерживала, но и не стесняла, очень усилился к концу 1792 года как в политическом, так и в социальном отношении.

Всеобщее вооружение, всеобщее избирательное право, верховная власть нации без противовеса, действительное и почти полное уничтожение феодального режима, огромная экспроприация дворян, производившаяся после экспроприации церкви,—вот те живые силы, которые Законодательное Собрание передало Конвенту. Но Конвенту пришлось бороться против опасности лицом к лицу; он должен будет не готовиться к войне, а выдерживать ее. Он должен не отрешить короля от власти, а судить его и создать новую форму управления.

Избрание первичных Собраний было назначено на 26 августа, выборы депутатов—на 2 сентября. Законодательное Собрание заседало до тех пор, пока мог собраться Конвент, т.-е. до 21 сентября; и в эти последние недели существования Законодательного Собрания произошли важные и ужасные события: сентябрьские убийства, кампания в Арденнах. Но ясно, что с августа месяца ориентироваться во всех политических событиях можно, руководясь их отношением к будущему Конвенту. Партии стараются использовать эти события, руководить ими или для того, чтобы в том или ином направлении повлиять на народный выбор, или для того, чтобы вызвать в новых депутатах, еще прежде, чем они соберутся, то или иное настроение. Трибуна Законодательного Собрания часто служит лишь трибуной, с которой обращаются к избирателям. Итак, политическая борьба, происходившая в августе и в сентябре, в большей степени относится к будущей жизни Конвента, чем к угасающей жизни Законодательного Собрания. Эта борьба является прологом к той великой драме, которая начнется с Конвентом.

Так как два года тому назад болезнь, продолжавшаяся несколько месяцев, помешала Геду окончить свой труд, то я изложу этот краткий пролог и эту великую драму до 9 термидора, а затем Габриэль Девилль, труд которого окончен, будет продолжать повествование. Я надеюсь, что добросовестные люди признают, что весь наш труд, конечно, недостойный столь великих событий, является серьезным стремлением к достижению истины.

И не нуждается ли борющийся пролетариат, главным образом, в истине?

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ИМПЕРИАЛИЗМ и ПОЛИТИКА.

Кайиро Сато. Япония и Америка в их взаимных отношениях. Мысли японца. Перевод с японского. Под ред., с предисловием Вл. Виленского-Сибирякова. Ц. 90 к.

Мостовенко, П. Н. Современная Чехо-Словакия. Ц. 45 к.

Сандомирский, Г. Фашизм. Ч. I. Ц. 50 к.

Его же. Фашизм. Ч. II. Итоги фашистского правления в Италии. Ц. 70 к.

Его же. Беседы о международной политике. Ц. 12 к.

Троцкий, Л. и Кабакчиев, Х. Очерки политической Болгарии. Ц. 75 к.

Троцкий, Л. и Раковский, Х. Очерки политической Румынии. Ц. 1 р. 50 к.

Устинов, Г. и Бесядовский, К. Современная Румыния. Ц. 1 р. 25 к.

Фашизм в Италии. Сборник. Ц. 15 к.

ЭКОНОМИКА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

[redacted] Мировое хозяйство и империализм.

Варга, Е. Мировое хозяйство и экономическая политика в 1923 г. Ц. 2 р [illegible] к.

Его же. Проблемы экономической политики при пролетарской диктатуре. Ц. 25 к.

Милютин, В. П. Новый период мировой экономики. Ц. 1 р. 20 к.

Павловский, Е. Быть ли Германии колонией?

Полонская, Л. Пути Германии. Экономические факторы и социальные силы 1913—1923 г.г. В фактах и цифрах. Ц. 1 р. 25 к.

Султан-Заде, А. Экономика и проблема национальных революций в странах Ближнего и Дальнего Востока. Ц. 50 к.

Шульце, Э. Развал мирового хозяйства. Перев. с немецкого Ш. Двойлайцкого. Ц. 1 р. 70 к.

Штейн, Б. Торговая политика западно-европейских государств. Ц. 2 р.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ и ВОПРОСЫ ТРУДА.

Барт, Э. В мастерской германской революции. Ц. 1 р.

Бризон, П. История труда и трудящихся. Ц. 1 р. 50 к.

Герц, П. и Зайдель, Р. Рабочее время, заработная плата и производительность труда. Ц. 1 р. 70 к.

Крушевский, С. и Здзярский, М. Быт рабочих в Польше. 1913—1921 г.г. Ц. 60 к.

Крэк, У. Краткая история современного рабочего движения в Англии.

Ледер, Ц. Почему амстердамцы жёлтые. (Факты и критика.) Ц. 75 к.

Ловстон, Д. Труд и капитал в Америке.

Манн и Бруккер. Рабочее движение в Бельгии.

Мстиславский, С. Рабочая Англия.

Его же. Классовая борьба в Германии.

Солнцев, С. Рабочие бюджеты в связи с теорией обеднения. Ц. 85 к.

